ШОДЕРЛО ДЕ ЛАКЛО
ОПАСНЫЕ СВЯЗИ



КРИСТИАНА БАРОШ
ЗИМА КРАСОТЫ

Опасные связи. Зима красоты

Шодерло де Лакло, Кристиана Барош

Аннотация
Шодерло де Лакло. Опасные связи. Кристиана Барош. Зима красоты
Предуведомление от издателя
Предисловие редактора
Опасные связи
Зима красоты
- I
- II
- III
- IV

Послесловие
- Рождение романа
- Лучший подарок
- Невероятная встреча
- Примечания

Аннотация

Шодерло де Лакло (офицер и писатель-любитель XVIII века) создал в 1781 году свой знаменитый роман в письмах «Опасные связи», посвященный развратным нравам и интригам высшего общества, желая «написать книгу из ряда вон выходящую, которая имела бы отзвук и тогда, когда его самого уже не будет в живых». Этот отзвук услышали читатели многих поколений, наслаждавшихся повествованием о пикантных похождениях французских аристократов. Долетел он и до лауреата Гонкуровской премии Кристианы Барош (биолога и профессиональной писательницы XX века), которая влюбилась в этот роман до такой степени, что решила не расставаться с его главной героиней, маркизой де Мертей, и придумала ей дальнейшую жизнь после бегства из Парижа в Голландию, где в основном и разворачивается действие в конце XVIII века, охваченного пожаром Великой французской революции. А параллельно она сочинила судьбу для ее праправнучки, живущей в XX веке, и эта история захваты-

вает не меньше, чем история безжалостной интриганки, ее прапрабабки.

Шодерло де Лакло
Опасные связи
Кристиана Барош
Зима красоты

Предуведомление от издателя

Считаем своим долгом предупредить Читателей, что, несмотря на заглавие этой Книги и на то, что говорит о ней в своем предисловии Редактор, мы не можем ручаться за подлинность этого собрания писем и даже имеем весьма веские основания полагать, что это всего-навсего Роман.

Сдается нам также, что Автор, хотя он, казалось бы, стремится к правдоподобию, сам нарушает его, и притом весьма неуклюжим образом, из-за времени, к которому он приурочил изложенные им события. И впрямь, многим из выведенных у него действующих лиц свойственны нравы настолько дурные, что просто невозможно предположить, чтобы они были нашими современниками, жили в век торжества философии, когда распространяющееся повсюду просвещение сделало, как известно, всех мужчин столь благородными, а всех женщин столь скромными и благонравными.

Мнение наше, следовательно, таково, что ежели события, описанные в этом Сочинении, и

являются в какой-то мере истинными, они могли произойти лишь в каких-то иных местах или в иные времена, и мы строго порицаем Автора, который, видимо, поддался соблазну как можно больше заинтересовать Читателя, приблизившись к своему времени и к своей стране, и потому осмелился изобразить в наших обличьях и среди нашего быта нравы, нам до такой степени чуждые.

Во всяком случае, мы хотели бы, насколько возможно, оградить слишком доверчивого Читателя от каких-либо недоумений по этому поводу и потому подкрепляем свою точку зрения соображением, которое высказываем тем смелее, что оно кажется нам совершенно бесспорным и неопровержимым: несомненно, одни и те же причины должны приводить к одним и тем же следствиям, а между тем в наши дни мы что-то не видим девиц, которые, обладая доходом в шестьдесят тысяч ливров, уходили бы в монастырь, а также президентш, которые, будучи юными и привлекательными, умирали бы от горя.

Предисловие редактора

Это Сочинение, или, вернее, это Собрание писем, Читатели, возможно, найдут слишком обширным, а между тем оно содержит лишь незначительную часть той переписки, из которой оно нами извлечено. Лица, которым она досталась, пожелали опубликовать ее и поручили мне подготовить письма к изданию, я же в качестве вознаграждения за свой труд попросил лишь разрешения изъять все то, что представлялось мне излишним, и постарался сохранить только письма, показавшиеся мне совершенно необходимыми либо для понимания событий, либо для развития характеров. Если к этой несложной работе прибавить размещение избранных мною писем в определенном порядке — а порядок этот был почти всегда хронологический — и еще составление немногих кратких примечаний, большей частью касающихся источников тех или иных цитат или обоснования допущенных мною сокращений, то к этому и сведется все мое участие в данном Сочинении. Никаких иных обязанностей я на себя

не принимал[1].

Предлагал я сделать ряд более существенных изменений, позаботиться о чистоте языка и стиля, далеко не всегда безупречных. Добивался также права сократить некоторые чересчур длинные письма — среди них есть и такие, где говорится без всякой связи и почти без перехода о вещах, никак друг с другом не вяжущихся. Этой работы, согласия на которую я не получил, было бы, разумеется, недостаточно, чтобы придать Произведению подлинную ценность, но она, во всяком случае, избавила бы Книгу от некоторых недостатков.

Мне возразили, что желательно было обнародовать самые письма, а не какое-то Произведение, по ним составленное, и что, если бы восемь или десять человек, принимавших участие в данной переписке, изъяснялись одинаково чистым языком, это противоречило бы и правдоподобию и истине. Я, со своей стороны, заметил, что до этого весьма далеко и что, напротив, ни один автор данных писем не избегает грубых, напра-

---

[1] Примечания: 1

Должен также предупредить, что я исключил или изменил имена всех лиц, о которых идет речь в этих письмах, и что ежели среди имен, мною придуманных, найдутся принадлежащие кому-либо, то это следует считать моей невольной ошибкой и не делать из нее никаких выводов.

шивающихся на критику ошибок, но на это мне отвечали, что всякий рассудительный Читатель и не может не ждать ошибок в собрании писем частных лиц, если даже среди опубликованных доныне писем различных весьма уважаемых авторов, в том числе и некоторых академиков, нет ни одного вполне безупречного по языку. Доводы эти меня не убедили, — я полагал, как и сейчас еще полагаю, что приводить их гораздо легче, чем с ними соглашаться. Но здесь я не был хозяином и потому подчинился, оставив за собою право протестовать и заявить, что держусь противоположного мнения. Сейчас я это и делаю.

Что же касается возможных достоинств данного Произведения, то, пожалуй, по этому вопросу мне высказываться не следует, ибо мое мнение не должно и не может иметь влияния на кого бы то ни было. Впрочем, те, кто, приступая к чтению, любят знать хотя бы приблизительно, на что им рассчитывать, те, повторяю, пусть читают мое предисловие дальше. Всем прочим лучше сразу же перейти к самому Произведению: им вполне достаточно и того, что я пока сказал.

Должен прежде всего добавить, что, если — охотно в этом признаюсь — у меня имелось желание опубликовать данные письма, я все же

весьма далек от каких-либо надежд на успех. И да не примут этого искреннего моего признания за наигранную скромность Автора. Ибо заявляю столь же искренне, что, если бы это Собрание писем не было, на мой взгляд, достойным предстать перед читающей Публикой, я бы не стал им заниматься. Попытаемся разъяснить это кажущееся противоречие.

Ценность того или иного Произведения заключается в его полезности, или же в доставляемом им удовольствии, или же и в том и в другом вместе, если уж таковы его свойства. Но успех отнюдь не всегда служит показателем достоинства, он часто зависит более от выбора сюжета, чем от его изложения, более от совокупности предметов, о которых идет речь в Произведении, чем от того, как именно они представлены. Между тем в данное Собрание, как это явствует из заглавия, входят письма целого круга лиц, и в нем царит такое разнообразие интересов, которое ослабляет интерес Читателя. К тому же почти все выражаемые в нем чувства лживы или притворны и потому способны вызвать в Читателе лишь любопытство, а оно всегда слабее, чем интерес, вызванный подлинным чувством, а главное, в гораздо меньшей степени побуждает к

снисходительной оценке и весьма чутко улавливает всякие мелкие ошибки, досадно мешающие чтению.

Недостатки эти отчасти, быть может, искупаются одним достоинством, свойственным самой сущности данного Произведения, а именно, разнообразием стилей — качеством, которого Писателю редко случается достигнуть, но которое здесь возникает как бы само собой и, во всяком случае, спасает от скуки однообразия. Кое-кто, пожалуй, оценит и довольно большое количество наблюдений, рассеянных в этих письмах, наблюдений, либо совсем новых, либо малоизвестных. Вот, полагаю, и все удовольствие, какое от них можно получить, даже судя о них с величайшей снисходительностью.

Польза этого Произведения будет, может быть, оспариваться еще больше, однако, мне кажется, установить ее значительно легче. Во всяком случае, на мой взгляд, разоблачить способы, которыми бесчестные люди портят порядочных, — значит оказать большую услугу добрым нравам. В Сочинении этом можно будет найти также доказательство и пример двух весьма важных истин, которые находятся, можно сказать, в полном забвении, если исходить из

того, как редко осуществляются они в нашей жизни. Первая истина состоит в том, что каждая женщина, соглашающаяся вести знакомство с безнравственным мужчиной, становится его жертвой. Вторая — в том, что каждая мать, допускающая, чтобы дочь ее оказывала какой-либо другой женщине больше доверия, чем ей самой, поступает в лучшем случае неосторожно. Молодые люди обоего пола могут также узнать из этой Книги, что дружба, которую, по-видимому, так легко дарят им люди дурных нравов, всегда является лишь опасной западней, роковой и для добродетели их, и для счастья. Однако все хорошее так часто употребляется во зло, что, не только не рекомендуя молодежи чтение настоящей Переписки, я считаю весьма существенным держать подобные Произведения подальше от нее. Время, когда эта именно книга может уже не быть опасной, а, наоборот, приносить пользу, очень хорошо определила некая достойная мать, выказав не простую рассудительность, но подлинный ум. «Я считала бы, — сказала она мне, ознакомившись с этой рукописью, — что окажу настоящую услугу своей дочери, если дам ей ее прочесть в день ее замужества». Если все матери семейств станут так думать, я буду вечно радо-

ваться, что опубликовал ее.

Но, даже исходя из столь лестного предположения, мне все же кажется, что это Собрание писем понравится немногим. Мужчинам и женщинам развращенным выгодно будет опорочить Произведение, могущее им повредить. А так как у них вполне достаточно ловкости, они, возможно, привлекут на свою сторону ригористов, возмущенных картиной дурных нравов, которая здесь изображена.

У так называемых вольнодумцев не вызовет никакого сочувствия набожная женщина, которую именно из-за ее благочестия они будут считать жалкой бабенкой, люди же набожные вознегодуют на то, что добродетель не устояла и религиозное чувство не оказалось достаточно сильным.

С другой стороны, людям с тонким вкусом покажется противным слишком простой и неправильный стиль многих писем, а средний читатель, убежденный, что все напечатанное есть плод писательского труда, усмотрит в иных письмах вымученную манеру Автора, выглядывающего из-за спины героев, которые, казалось бы, говорят от своего имени.

Наконец, может быть высказано и довольно

единодушное мнение, что все хорошо на своем месте и что если чрезмерно изысканный стиль писателей действительно лишает естественного изящества письма частных людей, то небрежности, которые зачастую допускаются в последних, становятся настоящими ошибками и делают их неудобочитаемыми, когда они появляются в печати.

От всего сердца признаю, что, быть может, все эти упреки вполне обоснованны. Думаю также, что смог бы на них возразить, не выходя даже за допустимые для Предисловия рамки. Но для того, чтобы необходимо было отвечать решительно на все, нужно, чтобы само Произведение не способно было ответить решительно ни на что, а если бы я так считал, то уничтожил бы и Предисловие и Книгу.

Опасные связи

Письмо 1

От Сесили Воланж к Софи Карне в монастырь ***ских урсулинок

Ты видишь, милая моя подружка, что слово свое я держу и что чепчики да помпоны не отнимают всего моего времени: для тебя его у меня всегда хватит. А между тем за один этот день я видела больше всяких нарядов, чем за четыре года, проведенные нами вместе. И думаю, что при первом же моем посещении гордая Танвиль[2], которую я непременно попрошу выйти ко мне, почувствует больше досады, чем надеялась причинить нам каждый раз, когда навещала нас in fiocchi*. Мама обо всем со мной советовалась: она гораздо меньше, чем прежде, обращается со мной, как с пансионеркой*. У меня есть своя горничная; в моем распоряжении отдельная комната и кабинет, я пишу тебе за прелестным секретером, и мне вручили ключ от него, так что

---

[2] Примечания: 2
Воспитанница того же монастыря.

я могу запирать туда все, что захочу. Мама сказала мне, что я буду видеться с нею ежедневно в то время, когда она встает с постели, что к обеду мне достаточно быть тщательно причесанной, так как мы всегда будем одни, и что тогда она будет сообщать мне, какие часы после обеда я должна буду проводить с ней. Все остальное время в полном моем распоряжении. У меня есть моя арфа, рисование и книги, как в монастыре, с той только разницей, что здесь нет матери Перпетуи, чтобы меня бранить, и что стоит мне захотеть — я могу предаваться полному безделью. Но так как со мной нет моей Софи, чтобы болтать и смеяться, то я уж предпочитаю быть чем-нибудь занятой.

Сейчас еще нет пяти часов. К маме мне надо в семь — времени достаточно, было бы только что рассказывать! Но со мной еще ни о чем не заговаривали, и не будь всех приготовлений, которые делаются на моих глазах, и множества модисток, являющихся к нам ради меня, я думала бы, что вовсе и не собираются выдавать меня замуж и что это просто очередная выдумка нашей доброй Жозефины[3]. Однако мама часто говорила мне, что благородная девица должна оставаться в мо-

[3] Примечания: 3
Привратница монастыря.

настыре до замужества, и раз уж она взяла меня оттуда, Жозефина как будто права.

У подъезда только что остановилась карета, и мама велела передать мне, чтобы я тотчас же шла к ней. А что, если это он? Я не одета, рука у меня дрожит, сердце колотится. Я спросила горничную, знает ли она, кто у мамы. «Да это же господин К***», — ответила она и засмеялась. Ах, кажется, это он! Я скоро вернусь и сообщу тебе, что произошло. Вот, во всяком случае, его имя. Нельзя заставлять себя ждать. Прощай, на одну минутку.

Как ты станешь смеяться над бедняжкой Сесилью! О, как мне было стыдно! Но и ты попалась бы так же, как я. Когда я вошла к маме, рядом с ней стоял какой-то господин в черном. Я поклонилась ему, как умела лучше, и застыла на месте. Можешь себе представить, как я его разглядывала! «Сударыня, — сказал он маме, ответив на мой поклон, — какая прелестная у вас барышня, и я больше чем когда-либо ценю вашу доброту». При этих словах, столь недвусмысленных, я задрожала так, что едва удержалась на ногах, и тут же опустилась в первое попавшееся кресло, вся красная и ужасно смущенная. Не успела я сесть — смотрю, человек этот у моих ног. Тут уж твоя

несчастная Сесиль совсем потеряла голову. Я, как мама говорит, просто ошалела: вскочила с места, да как закричу… ну совсем, как тогда, в ту страшную грозу. Мама расхохоталась и говорит мне: «Что с вами? Сядьте и дайте этому господину снять мерку с вашей ноги». И правда, милая моя, господин-то оказался башмачником! Не могу и передать тебе, какой меня охватил стыд; к счастью, кроме мамы, никого не было. Думаю, что, когда я выйду замуж, то пользоваться услугами этого башмачника не стану. Согласись, что мы необыкновенно искусно разбираемся в людях. Прощай, уже скоро шесть, и горничная говорит, что пора одеваться. Прощай, дорогая Софи, я люблю тебя так, словно еще нахожусь в монастыре.

P. S. Не знаю, с кем переслать письмо; подожду уж прихода Жозефины.

Париж, 3 августа 17…

Письмо 2

От маркизы де Мертей к виконту де Вальмону в замок***

Возвращайтесь, любезный виконт, возвращайтесь. Что вы делаете и что вам вообще делать у старой тетки, уже завещавшей вам все свое

состояние? Уезжайте от нее немедленно; вы мне нужны. Мне пришла в голову замечательная мысль, и я хочу поручить вам ее осуществление. Этих немногих слов должно быть вполне достаточно, и вы, бесконечно польщенный моим выбором, должны были бы уже лететь ко мне, чтобы коленопреклоненно выслушивать мои приказания. Но вы злоупотребляете моей благосклонностью даже теперь, когда она вам уже не нужна. Мне же остается выбирать между постоянным ожесточением против вас и беспредельной снисходительностью, и, на ваше счастье, доброта моя побеждает. Поэтому я хочу раскрыть вам свой план, но поклянитесь мне, что, как верный мой рыцарь, не будете затевать никаких других похождений, пока не доведете до конца этого. Оно достойно героя: вы послужите любви и мести. Это будет лишнее *шалопайство*[4], которое вы внесете в свои мемуары: да, в свои мемуары, ибо я желаю, чтобы они были в один прекрасный день напечатаны, и даже готова сама написать их. Но довольно об этом — вернемся к тому, что меня сейчас занимает.

---

[4] Примечания: 4

Слова «шалопай, шалопайство», которые в хорошем обществе, к счастью, уже выходят из употребления, были в большом ходу, когда писались эти письма.

Госпожа де Воланж выдает свою дочь замуж; пока это еще тайна, но мне она ее вчера сообщила. И как вы думаете, кого она наметила себе в зятья? Графа де Жеркура. Кто бы мог предположить, что я стану кузиной Жеркура? Я просто вне себя от бешенства... И вы еще не догадываетесь? Этакий тяжелодум! Неужто вы простили ему интендантшу? А у меня-то разве не больше причин пенять на него, чудовище вы этакое![5] Но я готова успокоиться — надежда на мщение умиротворяет мою душу.

И меня и вас Жеркур без конца раздражал тем, что он придает своей будущей жене такое значение, а также глупой самонадеянностью, заставляющей его думать, что он избегнет неизбежного. Вам известно его нелепое предубеждение в пользу монастырского воспитания и еще более смехотворный предрассудок насчет какой-то особой скромности блондинок. Я, право, готова побиться об заклад: хотя у маленькой Воланж шестьдесят тысяч ливров дохода, он никогда не

---

[5] Примечания: 5

Для понимания этого места надо иметь в виду, что граф де Жеркур бросил маркизу де Мертей ради интендантши де***, которая для него пожертвовала виконтом де Вальмоном, и что именно тогда маркиза и виконт сошлись. Так как история эта имела место гораздо раньше событий, о которых идет речь в этих письмах, всю относящуюся к ней переписку мы предпочли здесь не помещать.

решился бы на этот брак, будь она брюнеткой и не получи воспитания в монастыре. Докажем же ему, что он просто-напросто дурак: ведь рано или поздно он все равно окажется дураком, и не это меня смущает, но было бы забавно, если бы с этого началось. Как бы мы потешались на другой день, слушая его хвастливые россказни, а уж хвастать-то он будет непременно! Вдобавок эту девочку просветите вы, и нам уж очень не повезло бы, если бы Жеркур, как и всякий другой, не стал в Париже притчей во языцех.

Впрочем, героиня этого нового романа заслуживает с вашей стороны всяческих стараний. Она и впрямь хорошенькая; красотке всего пятнадцать — настоящий бутон розы. Правда, донельзя неловка и лишена каких бы то ни было манер. Но вас, мужчин, подобные вещи не смущают. Зато у нее томный взгляд, который сулит многое. Добавьте к этому, что ее рекомендую я, и вам останется только поблагодарить меня и повиноваться.

Письмо это вы получите завтра утром. Я требую, чтобы завтра же в семь часов вечера вы были у меня. До восьми я никого не буду принимать, даже ныне царствующего кавалера: для такого большого дела у него не хватит ума. Как видите, я отнюдь не ослеплена любовью. В восемь часов

я отпущу вас, а в десять вы вернетесь ужинать с прелестным созданием, ибо мать и дочь у меня ужинают. Прощайте, уже за полдень, и скоро мне будет не до вас.

Париж. 4 августа 17…

Письмо 3

От Сесили Воланж к Софи Карне

Я еще ничего не знаю, дорогая моя! Вчера у мамы было за ужином много гостей. Хотя я и наблюдала с интересом за всеми, особенно за мужчинами, мне было очень скучно. Все — и мужчины, и женщины — внимательно разглядывали меня, а потом шушукались; я отлично видела, что говорили обо мне, и краснела — никак не могла с собой справиться. А мне бы очень хотелось этого, я ведь заметила, что, когда глядели на других женщин, те не краснели. А может быть, это их румяна скрывают краску смущения, — очень уж, должно быть, трудно не покраснеть, когда на тебя пристально смотрит мужчина.

Больше всего меня беспокоила невозможность узнать, что обо мне думают. Впрочем, кажется, раза два-три я расслышала слово «хорошенькая», но также — и очень ясно — слово «неловкая».

Должно быть, это правда, ибо женщина, которая так сказала, родственница и приятельница мамы. Кажется, она даже сразу почувствовала ко мне расположение. Она — единственная, кто в этот вечер немного со мной поговорил. Завтра мы у нее ужинаем.

Слышала я также после ужина, как один мужчина сказал другому — я убеждена, что речь шла обо мне: «Потерпим, пока дозреет, зимой посмотрим». Может быть, это как раз тот, который должен на мне жениться. Но, значит, это произойдет только через четыре месяца! Хотела бы я знать правду.

Вот и Жозефина, она говорит, что ей надо спешить. Но мне все же хочется рассказать тебе, как я допустила одну неловкость. О, кажется, та дама права!

После ужина сели играть в карты. Я подсела к маме и — сама уж не знаю, как это случилось, — почти тотчас же заснула. Разбудил меня взрыв хохота. Не знаю, надо мной ли смеялись, но думаю, что надо мной. Мама разрешила мне удалиться, чему я была ужасно рада. Представь себе, был уже двенадцатый час. Прощай, дорогая моя Софи, люби, как прежде, свою Сесиль. Уверяю тебя, что свет вовсе не так занимателен, как нам

казалось.

Париж, 4 августа 17…

Письмо 4

От виконта де Вальмона к маркизе де Мертей в Париже

Приказания ваши — прелестны, а еще милее то, как вы их даете. Вы способны внушить любовь к деспотизму. Как вы сами знаете, я уже не впервые сожалею, что перестал быть вашим рабом. И каким бы «чудовищем» я, по вашим словам, ни был, я никогда не вспоминаю без удовольствия время, когда вы благосклонно давали мне более нежные имена. Порою даже я хотел бы снова заслужить их и в конце концов совместно с вами явить свету пример постоянства. Но нас призывают более важные цели. Удел наш — побеждать, мы должны ему покориться. Быть может, в конце жизненного пути мы с вами опять встретимся. Ибо, не в обиду будь вам сказано, прекраснейшая моя маркиза, вы от меня, во всяком случае, не отстаете. И с тех пор, как мы, расставшись для блага мира, проповедуем раздельно друг от друга истинную веру, сдается мне, что как миссионер любви вы обратили больше людей, чем я. Мне

известны ваше рвение, ваше пламенное усердие, и если бы бог любви судил нас по делам нашим, вы стали бы когда-нибудь святой покровительницей какого-нибудь большого города, в то время как друг ваш сделался — самое большее — деревенским праведником. Подобные речи удивляют вас, не правда ли? Но я уже целую неделю не слышу других и не говорю по-иному. И дабы усовершенствоваться в них, я вынужден пойти наперекор вам.

Не гневайтесь и выслушайте меня. Вам, хранительнице всех тайн моего сердца, доверю я величайший из задуманных мною замыслов. Что вы мне предлагаете? Соблазнить девушку, которая ничего не видела, ничего не знает, которая была бы, так сказать, выдана мне беззащитной. Первые же знаки внимания опьянят ее, а любопытство завлечет, может быть, еще быстрее любви. Кто угодно преуспел бы в этом деле не хуже меня. Не таково предприятие, которое я сейчас замыслил. Любовь, сплетающая мне венок, колеблется между миртом и лавром, а вернее всего — соединит их, чтобы увенчать мое торжество. Вы сами, прекрасный мой друг, охвачены будете благоговейным уважением и в восторге произнесете: «Вот мужчина, который мне по сердцу!»

Вы знаете президентшу* Турвель — ее набожность, любовь к супругу, строгие правила. Вот на кого я посягаю, вот достойный меня противник, вот цель, к которой я устремляюсь.

И если не дано мне будет обладанье,

Я обретаю честь хоть в прелести дерзанья.

Можно привести и плохие стихи, когда они принадлежат великому поэту[6].

Знайте же, что президент в Бургундии, где ведет большой судебный процесс (надеюсь, что мне он проиграет еще более важную тяжбу). Его безутешная половина должна провести здесь весь срок своего горестного соломенного вдовства. Единственными развлечениями должны были служить ей ежедневная обедня, немногочисленные посещения бедняков здешней округи, благочестивые беседы с моей старой тетушкой да изредка унылая партия в вист. Я же готовлю ей кое-что позанимательней. Мой добрый ангел привел меня сюда на ее и на мое счастье. А мне, безумцу, жаль было тех двадцати четырех часов, которыми я должен был пожертвовать прили-

---

[6] Примечания: 6
Лафонтену.

чия ради! Каким наказанием была бы для меня теперь необходимость вернуться в Париж! К счастью, играть в вист можно лишь вчетвером, а так как здесь для этого имеется лишь местный священник, моя бессмертная тетушка настоятельно просила меня пожертвовать ей несколькими днями. Вы догадываетесь, что я согласился. Вы и не представляете себе, как она ухаживает за мною с тех пор и в особенности как радуется, что я неизменно сопровождаю ее к обедне и на другие церковные службы. Она и не подозревает, какому божеству я там поклоняюсь.

Итак, вот уже четыре дня, как я одержим сильной страстью. Вы знаете, как пылко я умею желать, с каким неистовством преодолеваю препятствия, но вы не знаете, как одиночество распаляет желания! У меня теперь лишь одна мысль. Лишь об одном думаю я целый день, и оно же снится мне ночью. Я во что бы то ни стало должен обладать этой женщиной, чтобы не оказаться в смешном положении влюбленного, ибо до чего только не доведет неудовлетворенное желание! О сладостное обладание, взываю к тебе ради моего счастья, а еще больше ради моего покоя! Как счастливы мы, что женщины так слабо защищаются! Иначе мы были бы лишь

жалкими их рабами. Сейчас я полон чувства признательности ко всем доступным женщинам, что, естественно, влечет меня к вашим ногам. Припадаю к ним, вымаливая себе прощение, и на этом же кончаю мое слишком затянувшееся письмо. Прощайте, прекраснейший друг мой, и не гневайтесь!

Из замка*** 5 августа 17…

Письмо 5

От маркизы де Мертей к виконту де Вальмону

Знаете ли вы, виконт, что письмо ваше донельзя дерзко и что я имела бы все основания рассердиться? Однако оно ясно доказало мне, что вы потеряли голову, и только это спасло вас от моего гнева. Как великодушный и чуткий друг, я забываю о своей обиде и думаю лишь об угрожающей вам опасности. И как ни скучно читать наставления, я готова на это — так они вам в настоящий момент необходимы.

Вам обладать президентшей Турвель! Какая смешная причуда! Узнаю вашу взбалмошность, которая всегда побуждает вас желать то, что кажется вам недоступным. Что же представляет собой эта женщина? Да, если угодно, — у нее

правильные черты лица, но без всякой выразительности, она довольно хорошо сложена, но в ней нет изящества, она всегда смехотворно одевается, с вечной косынкой на груди, закрывающей ее до самого подбородка. Скажу вам как друг: и одной такой женщины достаточно, чтобы вы совершенно пали в глазах общества. Припомните тот день, когда она собирала пожертвования в церкви Святого Роха и когда вы еще благодарили меня за доставленное вам зрелище. Я так и вижу ее под руку с этим длинноволосым верзилой — как она чуть не падает на каждом шагу, все время задевая кого-нибудь за голову своей четырехаршинной корзиной, и краснеет при каждом поклоне. Кто бы подумал тогда, что вы воспылаете к этой женщине желанием? Ну же, виконт, покраснейте в свою очередь и придите в себя. Обещаю вам, что никому ничего не расскажу.

И вдобавок — подумайте, какие неприятности вас ожидают! С каким соперником придется вам тягаться! С мужем! Разве не ощущаете вы себя униженным при одном этом слове? Какой позор, если вы потерпите неудачу! И как мало славы даст вам победа! Больше того: и наслаждений никаких не ждите. Разве получишь их с недотрогой? Я имею в виду искренних недотрог, которые

скромничают даже в самый миг наслаждения и не дают вам вкусить всю полноту блаженства. Им неведомы такие радости любви, как полное самозабвение, как то исступление сладострастия, когда наслаждение как бы очищается в самой своей чрезмерности. Могу вам предсказать: в самом лучшем случае ваша президентша возомнит, что все для вас сделала, обращаясь с вами как с мужем, а между тем даже в наинежнейшем супружеском единении полного слияния с любимым существом никогда не бывает. Данный же случай гораздо хуже: ваша недотрога еще и святоша, притом у нее, словно у женщин из простонародья, набожность, обрекающая на вечное детство. Может быть, вам и удастся преодолеть это препятствие, но не льстите себе надеждой, что сможете его уничтожить: победив в ней любовь к Богу, вы не справитесь со страхом перед дьяволом. И когда, держа любовницу в объятиях, вы ощутите трепет ее сердца, это будет дрожь не любви, а страха. Может быть, вы и смогли бы сделать что-нибудь из этой женщины, если бы узнали ее раньше; но ей двадцать два года, и она замужем уже около двух лет. Поверьте мне, виконт, если женщина до такой степени засохла, ее надо предоставить самой себе: она навсегда

останется совершенной посредственностью.

А между тем ради столь привлекательного предмета вы не хотите повиноваться мне, хороните себя в склепе вашей тетушки и отказываетесь от очаровательнейшего приключения, в котором можете показать себя самым блестящим образом. Какой же рок судил, чтобы Жеркур всегда имел перед вами преимущество? Поверьте, я говорю с вами без малейшего раздражения, но в настоящую минуту мне и впрямь сдается, что вы не заслуживаете своей славы, а главное — что-то толкает меня отказать вам в доверии. Никогда не решусь я поверять свои тайны любовнику госпожи де Турвель.

Знайте, однако, что маленькая Воланж уже вскружила одну голову. Юный Дансени без ума от нее. Они пели дуэтом, и, по правде сказать, она поет лучше, чем обычно поют пансионерки. Они собираются разучить много дуэтов, и, кажется, она не отказалась бы от унисона; но этот Дансени еще мальчик, который только потеряет время на бесплодное ухаживание и останется ни с чем. С другой стороны — молодая особа довольно дика, и при всех обстоятельствах это будет гораздо менее забавным, чем было бы, вмешайся в это дело вы. Поэтому я крайне раздосадована и, наверно,

поссорюсь с кавалером, когда он ко мне придет. Пусть он проявит кротость, ибо в данный момент мне ничего не стоит порвать с ним. Я уверена, что, осени меня благое намерение решиться на разрыв, он пришел бы в отчаяние, а ничто так не тешит меня, как отчаяние влюбленного. Он назвал бы меня «изменницей», а это слово всегда доставляло мне удовольствие. После слова «жестокая» оно для женского слуха всего приятнее, а заслужить его стоит гораздо меньше труда. Право же, я займусь этим разрывом. Вот, однако, чему вы оказались причиной! Пускай все это и будет на вашей совести. Прощайте. Попросите вашу президентшу, чтобы она помолилась и за меня.

Париж, 7 августа 17…

Письмо 6

От виконта де Вальмона к маркизе де Мертей

Нет, значит, ни одной женщины, которая, добившись власти, не стала бы ею злоупотреблять! И даже вы, которую я так часто называл своим снисходительным другом, вы тоже перестали им быть и решаетесь нападать на меня, хуля предмет моей страсти! Какими чертами осмеливаетесь вы рисовать госпожу де Турвель!.. Нет мужчи-

ны, которому за подобный дерзостный вызов не пришлось бы заплатить жизнью! Кроме вас, нет ни одной женщины, которую за это же самое я не постарался бы хотя бы очернить! Молю вас, не подвергайте меня больше столь жестоким испытаниям: я не уверен, что выдержу их. Во имя нашей дружбы, перестаньте злословить об этой женщине хотя бы до тех пор, пока она не станет моей. Или вы не знаете, что одно лишь наслаждение властно снять повязку с очей любви?

Но что я говорю? Разве госпожа де Турвель нуждается в том, чтобы приукрашивать ее воображением? Нет, чтобы быть прелестной, ей достаточно оставаться самою собой. Вы упрекаете ее за то, что она плохо одета, — ну и что же, всякий наряд ей только вредит, всякий покров ее только портит. Подлинно обаятельна она в небрежной утренней одежде. Благодаря стоящей здесь изнурительной жаре легкое домашнее платье из полотна дает мне возможность видеть ее округлый и гибкий стан. Грудь ее прикрывает лишь кисея, и мой беглый, но проницательный взор уловил уже восхитительные формы. Вы говорите, что лицо ее лишено выражения? А что ему выражать, пока сердце ее ничем не затронуто? Да, конечно, у нее нет лживой ужимки наших

кокеток, порою соблазняющей нас и всегда обманчивой. Она не умеет прикрывать заученной улыбкой пустоту какой-нибудь фразы, и хотя у нее отличнейшие зубы, она смеется лишь тому, что ее действительно забавляет. Но надо видеть, образ какой простодушной, искренней веселости являет она нам в резвых играх! Сколько чистой радости сострадания и доброты в ее взгляде, когда она спешит оказать помощь страждущему! В особенности же надо видеть, как при малейшем намеке на ласковое слово или похвалу небесное лицо ее вспыхивает трогательным смущением непритворной скромности! Она недотрога, она набожна, и на этом основании вы считаете ее холодной и бездушной? Я держусь совершенно иного мнения. Сколько же надо иметь самой изумительной чувствительности, чтобы распространять ее даже на мужа и неизменно любить существо, постоянно находящееся в отсутствии? Можно ли требовать лучшего доказательства? А ведь я сумел его получить.

На нашей совместной прогулке я повел ее таким образом, что пришлось перебираться через ров. И хотя она очень проворна, робости в ней еще больше. Вы сами знаете, что недотроги боятся сде-

лать смелый шаг[7]. Пришлось ей довериться мне. Я держал в своих объятиях эту скромницу. Наши приготовления и переправа моей старой тетушки вызвали у резвой недотроги взрывы хохота, но когда я взял ее на руки и сделал рассчитанно неловкое движение, руки наши соединились. Я прижал ее грудь к своей и в этот краткий миг почувствовал, что сердце ее забилось сильнее. Прелестный румянец окрасил ее щеки, и это робкое смущение достаточно ясно показало мне, что сердце ее затрепетало от любви, а не от страха. Тетушка моя, однако, ошиблась, подобно вам, и стала говорить: «Девочка-то испугалась», но очаровательная непосредственность этой «девочки» не позволила ей солгать, и она простодушно ответила: «Да нет, но...» Одно это слово сказало мне все. С этой минуты жестокое волнение сменилось у меня сладостной надеждой. Эта женщина станет моей, я отниму ее у мужа, он только оскверняет ее; я дерзнул бы отнять ее у самого Бога, которого она так возлюбила. Какое наслаждение то вызывать в ней угрызения совести, то побеждать их. Я и не помышляю о том, чтобы сокрушить смущающие ее предрассудки! Они

[7] Примечания: 7

Здесь запечатлелось дурного вкуса пристрастие к каламбурам, в то время только зарождавшееся и столь распространенное в наши дни.

только увеличат мое счастье и мою славу. Пусть она верит в добродетель, но пусть пожертвует ею ради меня. Пусть грех ужасает ее, будучи не в силах сдержать, и пусть, все время находясь во власти страха, она забывает, преодолевает его только в моих объятиях. И пусть — я на это согласен — она мне скажет тогда: «Обожаю тебя!» Из всех женщин лишь она одна достойна будет произнести эти слова. Поистине, я стану тем божеством, которое она предпочтет.

Будем же откровенны: в наших связях, столь же холодных, сколь и мимолетных, то, что мы именуем счастьем, — всего лишь удовольствие. Сказать вам правду? Я думал, что сердце мое уже увяло, и, находя в себе одну лишь чувственность, сетовал на то, что преждевременно постарел. Госпожа де Турвель возвратила мне прелестные иллюзии молодости. Подле нее мне не нужно обладания, чтобы ощущать себя счастливым. Единственное, что пугает меня, — время, которое займет это приключение, ибо я не решаюсь хоть в чем-либо довериться случайности. Напрасно припоминаю я свою удачливую дерзновенность, — я не могу решиться на нее. Для того чтобы я был счастлив, надо, чтобы возлюбленная сама отдалась мне, а добиться этого не так-то легко.

Я убежден, что вы восхитились бы моей осторожностью. Я еще не произносил слова «любовь», но мы уже говорили о «доверии» и «участии». Чтобы как можно меньше обманывать ее и в особенности чтобы на нее не подействовали всевозможные слухи обо мне, я сам, как бы обвиняя себя, рассказал ей кое-что из наиболее известных моих похождений. Вы повеселились бы, видя, с каким простодушием она читает мне проповеди. Она уверяет, что хочет меня «обратить», но не подозревает даже, чего будет ей стоить эта попытка. Она далека от мысли, что, «вступаясь», как она выражается, «за несчастных, которых я погубил», она заранее оплакивает самое себя. Эта мысль пришла мне в голову вчера во время одной из ее проповедей, и я не смог отказать себе в удовольствии перебить ее, уверяя, что она говорит как настоящий пророк. Прощайте, прекраснейший друг мой. Как видите, я еще не безвозвратно погиб.

P. S. Кстати, а бедняга кавалер не покончил с собой от отчаяния? Поистине, вы в сто раз бессердечнее меня, и я чувствовал бы себя униженным, если бы обладал самолюбием.

Из замка***, 9 августа 17…

Письмо 7

От Сесили Воланж к Софи Карне[8]

Если я ничего не говорила о моем замужестве, то потому, что мне известно о нем не больше, чем в первый день. Я привыкаю не раздумывать о нем и довольно легко применяюсь к своему образу жизни. Много времени посвящаю пению и игре на арфе: мне кажется, я гораздо больше люблю эти занятия с тех пор, как обхожусь без учителя, вернее, с тех пор, как у меня появился лучший учитель. Кавалер Дансени, тот господин, о котором я тебе писала и с которым пела у госпожи де Мертей, настолько любезен, что приходит к нам ежедневно и целыми часами поет со мной. Он до крайности мил и сам сочиняет прелестные арии, к которым придумывает и слова. Как жаль, что он мальтийский рыцарь! Я думаю, что, если бы он женился, жена его была бы очень счастлива... Он так восхитительно

---

[8] Примечания: 8

Чтобы не злоупотреблять терпением читателя, мы исключаем из этой каждодневной переписки множество писем: публикуются лишь те, что казались нам необходимыми для понимания событий, происходивших в данном кружке. По той же причине исключаются все письма Софи Карне и многие другие письма действующих лиц этих приключений.

ласков. Казалось бы, комплиментов он никогда не говорит, а между тем в каждом слове его есть что-то лестное для тебя. Он беспрестанно делает мне замечания и по поводу музыки, и насчет всяких других вещей, но в его критике столько участия и веселости, что невозможно не быть ему благодарной. Даже когда он просто смотрит на тебя, это имеет такой вид, будто он делает тебе что-то приятное. Вдобавок он весьма обязателен. Вчера, например, его приглашали на большой концерт, а он предпочел провести весь вечер у мамы, — меня это очень обрадовало, так как в его отсутствие никто со мной не разговаривает и я скучаю. Зато с ним мы поем и беседуем. У него всегда находится что мне сказать. Он и госпожа де Мертей — единственные приятные мне люди. Но прощай теперь, милая моя подружка, я обещала, что к сегодняшнему дню разучу одну маленькую арию с очень трудным аккомпанементом, и не хочу изменить своему слову. Буду заниматься до самого его прихода.

Из***, 7 августа 17…

Письмо 8

От президентши де Турвель к госпоже де Воланж

Я бесконечно тронута, сударыня, доверием, которое вы мне оказали, и всей душой заинтересована в устройстве судьбы мадемуазель де Воланж. От всего сердца желаю ей счастья, которого она — я в этом уверена — вполне достойна и которое, несомненно, обеспечит ей ваша предусмотрительность. Я не знаю графа де Жеркура, но, поскольку вы оказали ему честь остановить на нем свой выбор, я могу иметь о нем лишь самое высокое мнение. Ограничиваюсь, сударыня, пожеланием, чтобы брак этот был столь же счастливым и удачным, как и мой, который тоже ведь был делом ваших рук, за что я с каждым днем вам все более благодарна. Пусть счастье вашей дочери будет наградой за то, которое вы дали мне, и пусть вы, лучший друг, окажетесь также счастливейшей матерью!

Я до крайности огорчена, что не имею возможности лично высказать вам это искреннейшее мое пожелание и познакомиться так скоро, как мне бы этого хотелось, с мадемуазель де Воланж. Вы отнеслись ко мне с добротою поистине материнской, и я имею право надеяться с ее стороны

на нежную дружбу сестры. Прошу вас, сударыня, передать ей это от моего имени, пока у меня не окажется возможность самой заслужить ее дружбу.

Я думаю пробыть в деревне, пока господин де Турвель будет отсутствовать, и в течение этого времени постараюсь как можно лучше воспользоваться и насладиться обществом почтенной госпожи де Розмонд. Эта женщина неизменно очаровательна: преклонный возраст не повредил ей ни в чем — она сохранила всю свою память и жизнерадостность. Пусть телу ее восемьдесят четыре года, душе — не более двадцати. Уединение наше оживляется присутствием ее племянника, виконта де Вальмона, который любезно согласился пожертвовать ради нас несколькими днями. Я знала о нем лишь по слухам, а они не слишком располагали меня стремиться к более близкому знакомству. Но сейчас мне кажется, что он лучше славы, которая о нем пошла. Здесь, где его не портит светская суета, он с удивительной искренностью ведет разумные речи и с редким чистосердечием признает свои заблуждения. Он говорит со мною очень откровенно, а я читаю ему строгую мораль. Вы знаете его, и потому согласитесь, что обратить его на путь истинный

было бы большим успехом, но я не сомневаюсь, что, несмотря ни на какие клятвы, стоит ему провести одну неделю в Париже, и он забудет все мои проповеди. Во всяком случае, он хоть во время пребывания здесь будет воздерживаться от обычного своего поведения, я же полагаю, что, судя по его образу жизни, лучшее, что он может сделать, это — не делать ничего. Он знает, что я вам пишу, и просит меня засвидетельствовать вам свое уважение. Примите также с обычной вашей добротой и мой сердечный привет и не сомневайтесь в искренних чувствах, с которыми я имею честь… и т. д.

Из замка***, 9 августа 17…

Письмо 9

От госпожи де Воланж к президентше де Турвель

Я никогда не сомневалась, мой юный и прелестный друг, ни в дружеских чувствах, которые вы ко мне питаете, ни в искреннем участии вашем ко всему, что меня касается. И не для того, чтобы внести ясность в эти наши отношения, которые, надеюсь, не вызывают сомнений, отвечаю я на ваш «ответ», но для меня просто невозможно не

поговорить с вами о виконте де Вальмоне.

Признаюсь, я не ожидала, что когда-либо встречу это имя в ваших письмах. Ну что, скажите, может быть общего между вами и им? Вы не знаете этого человека. Да и откуда может быть у вас представление о душе распутника? Вы говорите о его редком чистосердечии — о да, чистосердечие Вальмона должно быть действительно вещью очень редкой! Он еще более фальшив и опасен, чем любезен и обаятелен, и никогда с самой своей юности он не сделал ни одного шага, не произнес ни одного слова, не имея при этом какого-либо умысла, и никогда не было у него такого умысла, который не явился бы бесчестным или преступным. Друг мой, вы меня знаете. Вам известно, что из всех добродетелей, которыми мне хотелось бы обладать, снисходительность — самая в моих глазах ценная. Поэтому, если бы Вальмона увлекали бурные страсти, если бы он, как многие другие, подпал соблазну заблуждений, свойственных его возрасту, я, порицая его поведение, чувствовала бы к нему жалость и спокойно ждала бы дня, когда счастливое раскаяние вернуло бы ему уважение порядочных людей. Но Вальмон отнюдь не таков: поведение его вытекает из принятых им правил. Он умело рассчитывает, сколько

гнусностей может позволить себе человек, не скомпрометировав себя, и, чтобы иметь возможность быть жестоким и злым, не подвергаясь при этом опасности, жертвами своими делает женщин. Я не намерена перечислять всех тех, кого он соблазнил, но скольких он погубил?

Вы ведете жизнь уединенную и скромную, и молва обо всех этих скандальных похождениях до вас не доходит. Я могла бы рассказать вам вещи, от которых вы содрогнулись бы. Но взор ваш, такой же чистый, как и душа, был бы загрязнен подобными картинами. Однако я уверена, что Вальмон никогда не будет вам опасен и для защиты от него вы в таком оружии не нуждаетесь. Единственное, что я должна вам сказать: из всех женщин, за которыми он успешно или безуспешно ухаживал, не было ни одной, которой не пришлось бы об этом сожалеть. Исключением из этого правила является лишь маркиза де Мертей: только она сумела дать ему отпор и укротить его злонравие. Признаюсь, что, на мой взгляд, именно это делает ей больше всего чести. Вот почему этого и оказалось достаточно, чтобы полностью извинить в глазах всего общества известное легкомыслие, в котором ее стали обвинять сразу

после того, как она овдовела[9].

Как бы то ни было, прелестный друг мой, опытность и прежде всего дружеские чувства к вам дают мне право предупредить вас: в обществе уже заметили отсутствие Вальмона, и если станет известным, что некоторое время он пробыл втроем со своей тетушкой и с вами, ваше доброе имя будет в его руках, а это — величайшее несчастье, какое только может постигнуть женщину. Поэтому я советую вам убедить его тетушку не удерживать его долее, а если он будет упорствовать в стремлении остаться, думаю, что вы, не колеблясь, должны уступить ему место. Но для чего бы ему оставаться? Что ему делать в этой деревне? Я убеждена, что, понаблюдав и последив за ним, вы обнаружили бы, что он просто-напросто избрал самое удобное убежище для того, чтобы осуществить в тех местах какую-нибудь задуманную им низость. Но, не имея возможности предотвратить зло, удовольствуемся тем, что убережемся от него сами.

Прощайте, прелестный друг мой. Замужество моей дочери несколько запаздывает. Мы со дня на день ожидали графа де Жеркура, но он изве-

---

[9] Примечания: 9

Заблуждение госпожи де Воланж свидетельствует о том, что, подобно другим негодяям, Вальмон не выдавал своих сообщников.

стил меня, что его полк направлен на Корсику, а так как военные действия еще не вполне закончены, он не сможет отлучиться до зимы. Это досадно, но зато я могу надеяться, что мы будем иметь удовольствие видеть вас на свадьбе, а я была бы очень огорчена, если бы она состоялась без вас. Прощайте и примите уверения в моей нелицемерной совершенной преданности.

P. S. Передайте мой привет госпоже де Розмонд, которую я люблю, как она того вполне заслуживает.

Из***, 11 августа 17…

Письмо 10

От маркизы де Мертей к виконту де Вальмону

Уж не дуетесь ли вы на меня, виконт? Или вы умерли? Или — что весьма вероятно — вы живете только для вашей президентши? Эта женщина, вернувшая вам иллюзии юности, вернет вам скоро и ее смехотворные предрассудки. Вы уже стали несмелым рабом; почему бы не стать влюбленным воздыхателем? Вы отказываетесь от удачливой дерзости, и вот теперь уже действуете безо всяких правил, положившись на волю случая, или, вернее, прихоти. Или вы забыли,

что любовь, подобно медицине, есть всего-навсего искусство помогать природе? Как видите, я побиваю вас вашим же оружием, но отнюдь не собираюсь возгордиться, ибо это поистине значило бы бить лежачего. «Надо, чтобы она сама отдалась», — говорите вы мне. Ну, разумеется, надо. Она и отдастся, как все прочие, с тою лишь разницей, что сделает это неохотно. Но чтобы она под конец отдалась, самое верное средство — начать с того, чтобы взять ее. Нелепое это различие есть самый что ни на есть настоящий бред влюбленности. Я так говорю, потому что вы явно влюблены. И говорить с вами иначе — значило бы предать вас, скрывать от вас, чем вы больны. Скажите же мне, томный воздыхатель, а те женщины, которых вы добивались, вы их, значит, брали силой? Но ведь как бы нам ни хотелось отдаться, как бы мы ни спешили это сделать, нужен все же предлог, а есть ли предлог более для нас удобный, чем тот, что позволяет нам изображать дело так, будто мы уступаем силе? Что до меня, то, признаюсь, мне больше всего по сердцу быстрое и ловкое нападение, когда все происходит по порядку, хотя и достаточно быстро, так что мы не оказываемся в крайне неприятной необходимости самим исправлять неловкость, которою

нам, напротив, следовало бы воспользоваться. Такое нападение позволяет нам казаться жертвами насилия даже тогда, когда мы добровольно уступаем и искусно потворствуем двум самым дорогим для нас страстям: славе сопротивлениями радости поражения. Признаюсь также, что этот дар, гораздо более редкий, чем может казаться, всегда доставлял мне удовольствие, даже если не мог меня обольстить, и иногда мне случалось уступать исключительно в награду. Так в турнирах древних времен красота была наградой за доблесть и ловкость.

Но вы, переставший быть самим собой, вы ведете себя так, словно боитесь иметь успех. С каких это пор двигаетесь вы черепашьим шагом и окольными путями? Друг мой, чтобы добраться до цели, надо мчаться на почтовых и по большой дороге! Но оставим этот предмет — он тем более раздражает меня, что из-за него я лишена удовольствия видеться с вами. Вы хотя бы пишите мне почаще и ставьте меня в известность о своих успехах. Знаете ли вы, что нелепое это приключение занимает вас уже две недели и вы всем на свете пренебрегаете?

Кстати о пренебрежении — вы похожи на тех людей, которые регулярно посылают справляться

о состоянии своих больных друзей, но никогда не выслушивают ответа. В своем последнем письме вы спрашивали, не скончался ли господин кавалер. Я не отвечаю, а вы и не думаете выказывать беспокойство. Разве вы позабыли, что мой любовник — ваш давнишний друг? Впрочем, не тревожьтесь, он отнюдь не умер, а если бы и умер, так от избытка радости. Бедняга кавалер! Как он ласков, как он поистине создан для любви, как он умеет пламенно чувствовать! У меня кружится голова. Право же, совершенное счастье, доставляемое ему моей любовью, действительно привязывает меня к нему.

Каким счастливым сделала я его в тот самый день, когда писала вам, что намерена разорвать наши отношения! А ведь я и впрямь обдумывала наилучший способ довести его до отчаяния, когда мне о нем доложили. Игра ли моего воображения или действительно так было, — но он никогда еще не казался мне милее.

Тем не менее я приняла его весьма немилостиво. Он надеялся провести со мной два часа до момента, когда моя дверь откроется для всех. Я же сказала ему, что собираюсь выйти из дому. Он спросил — куда. Я отказалась сообщить ему это. Он принялся настаивать. «Иду туда, где вас

не будет», — сказала я с раздражением. К счастью для себя, он был ошеломлен этим ответом. Ибо, скажи он хоть слово, неизбежно последовала бы сцена, которая и привела бы к задуманному мною разрыву. Удивленная его молчанием, я бросила на него взгляд, без иной цели, клянусь вам, как увидеть его недовольную мину. Но на прелестном этом лице я обнаружила ту глубокую и вместе с тем нежную грусть, перед которой — вы сами это признали — так трудно бывает устоять. Одна и та же причина вызвала одно и то же следствие: я была вторично побеждена. С этого мгновения я стала думать лишь о том, как бы сделать так, чтобы он не нашел у меня ни одного недостатка. «Я иду по делу, — сказала я более ласково, — и даже по делу, касающемуся вас, но не расспрашивайте меня. Я буду ужинать дома. Возвращайтесь к ужину — и все узнаете!» Тут он вновь обрел дар речи, но я не дала ему говорить. «Я очень тороплюсь, — продолжала я, — оставьте меня; до вечера». Он поцеловал мне руку и удалился.

Тут же, чтобы вознаградить его, а может быть, и самое себя, я решила познакомить его с моим маленьким домиком, о существовании которого он и не подозревал. Я позвала мою верную Виктуар,

а всем домочадцам объявила, что у меня мигрень и что я легла в постель. Оставшись наедине с настоящей служанкой, я переоделась так, чтобы выдать себя за служанку, она же, надев мужской костюм, преобразилась в лакея. Затем она отправилась за наемным экипажем, который подъехал к калитке моего дома, и мы отправились. Очутившись в моем капище любви, я выбрала самый подходящий для любовного свидания туалет. Он восхитителен, и придумала его я сама: он ничего не подчеркивает, но на все намекает. Обещаю дать его вам на образец для вашей президентши, когда вы добьетесь того, что она станет достойной носить его.

После этих приготовлений, в то время как Виктуар занимается другими вещами, читаю главу из «Софы»*, одно письмо Элоизы* и две сказки Лафонтена, чтобы восстановить в памяти несколько оттенков тона, который намеревалась усвоить для данного случая. Между тем мой кавалер со своей обычной поспешностью подъезжает к дверям моего дома. Швейцар отказывает ему в приеме, ибо я больна, — происшествие первое. В то же время он передает ему записку от меня, но написанную не моей рукой, согласно принятым мною правилам предосторожности. Он распе-

чатывает ее и обнаруживает почерк Виктуар: «Ровно в девять часов, на бульваре, против кафе». Он отправляется туда, и там маленький лакей, которого он не знает — или так, во всяком случае, ему кажется, ибо это все та же Виктуар, — объясняет ему, что он должен отпустить коляску и следовать за ним. Вся эта романтическая обстановка еще более горячит его воображение, а такая горячность никогда не вредит. Наконец, он у цели, окончательно завороженный изумлением и любовью. Чтобы дать ему прийти в себя, мы совершаем небольшую прогулку по боскету, затем я веду его в дом. Он видит сперва стол, накрытый на два прибора, затем раскрытую постель. Мы направились в будуар, представший перед ним во всей своей роскоши. Там, наполовину по задуманному плану, наполовину в искреннем порыве, я обняла его обеими руками и упала к его ногам. «О друг мой! — молвила я. — Мне так хотелось, чтобы ты вкусил всю неожиданность этой минуты, но зато теперь я должна раскаиваться в том, что огорчила тебя, для виду напуская на себя холодность, и — пусть лишь на миг — скрыла сердце мое от твоего взора. Прости мне эту вину: я искуплю ее силой своей любви!» Вы сами можете судить о впечатлении, произведенном

этой чувствительной речью. Осчастливленный кавалер тотчас же поднял меня, и мое прощение было скреплено на той же оттоманке, где мы с вами так весело и на тот же самый лад скрепили свое решение о нашем вечном разрыве.

Поскольку нам предстояло провести наедине целых шесть часов, а я поставила себе целью все это время сделать для него одинаково сладостным, я постаралась умерить его пыл и сменила нежность милым кокетством. Кажется, никогда еще я до такой степени не старалась понравиться и никогда не была так довольна собой. После ужина, изображая поочередно то ребячливость, то рассудительность, становясь то игривой, то чувствительной, а то даже и распутной, я забавлялась тем, что превращала его в султана среди сераля, поочередно изображая самых различных одалисок. И в самом деле, неистощимые его ласки расточались всегда одной и той же женщине, но всякий раз иной любовнице.

Наконец, на рассвете надо было расстаться, и что бы он ни говорил, что бы он даже ни делал, стремясь доказать мне обратное, — отдых был ему столь же необходим, сколь и нежелателен. Когда мы уже выходили и в последний раз прощались, я взяла ключ от этого блаженного убежища

и передала его ему со словами: «Я завела его только для вас, вам и владеть им: храмом должен располагать тот, кто приносит жертву». Этим ловким ходом я предупредила размышления, на которые могло навести его то всегда подозрительное обстоятельство, что у меня есть маленький домик. Я достаточно знаю его, чтобы быть вполне уверенной, что он воспользуется ключом лишь для встреч со мной, а если бы мне взбрело в голову отправиться туда без него, так у меня есть про запас второй ключ. Он во что бы то ни стало хотел условиться насчет следующего свидания, но сейчас он мне еще очень нравится, и я не хочу, чтобы он мне слишком скоро надоел. Излишества можно позволять себе лишь с теми, кого собираешься вскоре бросить. Ему это еще незнакомо, но, на его счастье, я знаю это за двоих.

Только сейчас я заметила, что уже три часа утра и что, собираясь нацарапать несколько слов, я написала целый том. Такова прелесть доверительной дружбы. Благодаря ей я до сих пор люблю вас больше всех, но, по правде говоря, по вкусу мне больше всего — кавалер.

Из ***, 12 августа 17…

Письмо 11

От президентши де Турвель к госпоже де Воланж

Ваше строгое письмо напугало бы меня, сударыня, если бы, к счастью, здесь у меня не было больше оснований для спокойствия, чем для опасений, которые вы мне стараетесь внушить. Сей устрашающий господин де Вальмон, являющийся, по-видимому, грозой всех женщин, сложил, кажется, свое смертоносное оружие, прежде чем вступил в этот замок. Он не только не строит здесь никаких планов, но и притязаний на это не имеет, и, хотя даже враги его признают, что он человек любезный, это качество здесь почти не проявляется, уступая место добродушной ребячливости. Чудо это, надо полагать, совершил деревенский воздух. Во всяком случае, могу вас уверить, что, хотя он постоянно находится в моем обществе, которое, видимо, ему приятно, у него не вырвалось ни одного слова о любви, ни одной из тех фраз, которые позволяет себе любой мужчина, не обладая даже, в противоположность ему, ничем, что их оправдывало бы. Никогда не вынуждает он меня к нарочитой сдержанности, к

которой приходится прибегать каждой уважающей себя женщине, чтобы держать окружающих ее мужчин в границах. Он умеет не злоупотреблять веселостью, которую вызывает. Может быть, он слишком уж любит льстить, но льстит так деликатно, что и самое скромность мог бы приучить к похвалам. Словом, если бы я имела брата, то хотела бы, чтобы он был таким, каким выказывает себя здесь господин де Вальмон. Возможно, многие женщины предпочли бы, чтобы он проявлял больше галантности, и, должна сказать, я бесконечно благодарна ему за то, что он сумел достаточно хорошо судить обо мне, чтобы меня с такими женщинами не смешивать.

Разумеется, этот портрет весьма отличается от того, который нарисовали мне вы, но, несмотря на это, оба могут верно передавать сходство, если точно определить время, к какому каждый из них относится. Он сам признаёт за собою немало дурных поступков, кое-что ему зря приписано молвой. Но я видела мало мужчин, которые говорили бы о порядочных женщинах с большим уважением, я бы сказала — почти с восторгом. И вы сами написали мне, что на этот хотя бы счет он не ошибается. Доказательство — его поведение с госпожой де Мертей. Он много рассказывает

нам о ней и всегда с такою похвалою и, видимо, с такой искренней привязанностью, что до получения вашего письма я считала это его чувство не дружбой, как он нас уверял, а любовью. Теперь я укоряю себя за столь смелое суждение, тем более для меня непростительное, что сам он старается представить свое чувство в истинном виде. Я — должна признаться — считала хитростью то, что было с его стороны благородной искренностью. Не знаю, но мне кажется, что человек, способный испытывать такую прочную дружбу к столь уважаемой женщине, не может быть нераскаянным распутником. Должны ли мы приписывать добропорядочность его нынешнего поведения каким-либо планам, которые, как вы думаете, он замышляет в нашей округе, — я понятия не имею. По соседству имеется несколько привлекательных женщин, но он мало отлучается из дому — преимущественно по утрам, и тогда он говорит, что ходил на охоту. Правда, дичь он приносит редко, но, по его словам, он не слишком удачливый охотник. Впрочем, меня мало беспокоит, чем он занимается за стенами замка; если бы мне и хотелось это знать, то лишь для того, чтобы иметь лишний повод склониться к вашему мнению или же склонить вас к моему.

Вы советуете мне содействовать тому, чтобы господин де Вальмон сократил срок своего пребывания здесь, но мне представляется весьма затруднительным просить его тетушку не задерживать у себя племянника, тем более что она его очень любит. Однако я обещаю — но исключительно из уважения к вам, а не в силу необходимости — воспользоваться подходящим случаем и попросить об этом либо ее, либо же его самого. Что до меня, то господину де Турвелю известно, что я решила оставаться здесь до его возвращения, и он был бы справедливо удивлен, если бы я так легко переменила решение.

Все эти разъяснения, сударыня, возможно, покажутся вам слишком длинными, но я считала, что правды ради должна дать благоприятный отзыв о господине де Вальмоне, который, на мой взгляд, в нем перед вами весьма нуждается. Однако это нисколько не уменьшает моей признательности за те дружеские чувства, которыми внушены ваши советы. Им обязана я и тем милым словам, которые вы сказали мне в связи с отсрочкой замужества вашей дочки. Благодарю вас за них от всей души. Какое бы удовольствие ни сулила мне возможность провести это время с вами, я охотно пожертвовала бы им искреннему своему жела-

нию поскорее узнать, что мадемуазель де Воланж обрела свое счастье, если, впрочем, она может обрести счастье большее, чем то, какое могла ей дать жизнь подле матери, столь достойной всей ее нежности, всего ее уважения. Я разделяю с ней оба эти чувства, так привязывающие меня к вам, и прошу вас благосклонно принять уверения в них. Имею честь и пр.

Из ***, 13 августа 17…

Письмо 12

От Сесили Воланж к маркизе де Мертей

Мама нездорова, сударыня; она не выходит, и я не могу ее оставить. Таким образом, я не буду иметь чести сопровождать вас в Оперу. Уверяю вас, меня больше огорчает то, что мне не удастся провести вечер с вами, чем то, что не увижу представления. Прошу вас не сомневаться в этом. Я вас так люблю! Не согласитесь ли вы передать господину кавалеру Дансени, что у меня нет сборника, о котором он мне говорил, и что, если он сможет занести его завтра, я буду очень рада. Если он зайдет сегодня, ему скажут, что нас нет дома, но это потому, что мама не хочет никого принимать. Надеюсь, завтра ей станет лучше.

Имею честь и пр.
Из ***, 13 августа 17…

Письмо 13

От маркизы де Мертей к Сесили Воланж

Я очень огорчена, милочка моя, что лишена удовольствия увидеть вас, и причиной этого лишения. Надеюсь, что подобная же возможность представится снова. Я передам ваше поручение кавалеру Дансени, который, без сомнения, будет крайне огорчен болезнью вашей матушки. Если она захочет принять меня, я приеду завтра посидеть с нею. Мы с нею совместно поведем за пикетом нападение на кавалера де Бельроша[10]. Выигрывая у него деньги, мы в довершение удовольствия будем слушать, как вы поете со своим милым учителем, которого я об этом непременно попрошу. Если это будет удобно вашей матушке и вам, я пишу и за себя, и за обоих своих кавалеров. Прощайте, милочка. Привет дорогой госпоже де Воланж. Нежно целую вас.

Из ***, 13 августа 17…

---

[10] Примечания: 10
Тот самый, о котором говорится в письмах госпожи де Мертей.

Письмо 14

От Сесили Воланж к Софи Карне

Вчера я не писала тебе, дорогая Софи, но, уверяю тебя, не развлечения помешали мне. Мама была больна, и я весь день не отходила от нее. Вечером, когда я ушла к себе, у меня уже ни к чему не было охоты, и я пораньше легла, чтобы убедиться, что день наконец-то кончился: ни один еще не казался мне таким длинным. И не оттого, что я не люблю маму, а просто сама не знаю почему. Я должна была поехать в Оперу с госпожой де Мертей; там должен был быть кавалер Дансени. Ты знаешь, что эти двое нравятся мне больше всех других. С наступлением часа, когда я тоже должна была быть там, сердце мое как-то невольно сжалось. Все мне было в тягость, и я плакала, плакала, не в силах удержаться от слез. К счастью, мама лежала и видеть меня не могла. Я уверена, что кавалер Дансени тоже был расстроен, но его все же развлекало представление и общество. Это совсем другое дело!

К счастью, сегодня маме лучше, и к нам приедет госпожа де Мертей с одним господином и с кавалером Дансени. Но госпожа де Мертей всегда

очень поздно является, а сидеть так долго одной ужасно скучно. Сейчас всего одиннадцать часов. Правда, мне надо поиграть на арфе, да и туалет мой займет некоторое время — сегодня я хочу получше причесаться. Кажется, мать Перпетуя права, и в свете сразу становишься кокеткой. Никогда еще мне не хотелось быть красивой так, как в последние дни; я нахожу, что вовсе не столь привлекательна, как воображала, и, кроме того, очень много теряешь в присутствии женщин, которые румянятся. Вот, например, госпожа де Мертей: я вижу, что все мужчины находят ее более красивой, чем меня, но этим я не слишком огорчаюсь, так как она любит меня и к тому же уверяет, будто кавалер Дансени находит, что я красивее ее. Как благородно было с ее стороны сказать мне об этом! Казалось даже, что она этому радуется. Должна сказать, что я этого понять не могу. Значит, — она меня очень сильно любит! А он!.. О, как я рада. Но и мне кажется, что достаточно посмотреть на него, чтобы похорошеть. Я бы без конца смотрела на него, если бы не боялась встретиться с ним взглядом: каждый раз, как это случается, я совершенно теряюсь; мне словно больно, но это ничего.

Прощай, дорогая моя подружка, иду заняться

своим туалетом, Я люблю тебя по-прежнему.

Париж, 14 августа 17…

Письмо 15

От виконта де Вальмона к маркизе де Мертей

С вашей стороны очень благородно не оставлять меня на произвол моей печальной судьбы. Жизнь, которую я здесь веду, действительно может утомить избытком покоя и пресной однообразностью. Читая ваше письмо, это подробное описание вашего прелестного дня, я раз двадцать намеревался под предлогом какого-нибудь дела примчаться к вашим ногам и умолять вас изменить со мной вашему кавалеру, не заслуживающему, в сущности, своего счастья. Знаете ли вы, что заставили меня ревновать к нему? Зачем вы заговорили о вечном разрыве? Я отрекаюсь от этой клятвы, произнесенной в бреду: мы оказались бы недостойными ее, если бы вынуждены были ее сдержать. Ах, когда бы я мог когда-нибудь отомстить в ваших объятиях за невольную досаду, вызванную во мне счастьем, которое испытал кавалер! Признаюсь, негодование охватывает меня, когда я думаю о том, что этот человек, ни о чем не размышляя и ничем не утруждая себя,

а только глупейшим образом следуя бессознательному побуждению своего сердца, находит блаженство, для меня недосягаемое! О, я его нарушу! Обещайте мне, что я его нарушу. Да вы-то разве не испытываете унижения? Вы пытаетесь обмануть его, а между тем он счастливее вас. Вы думаете, что он ваш пленник, а ведь это вы у него в плену. Он мирно спит, а в это время вы бодрствуете, заботясь о его наслаждениях. И раба его не сделала бы больше!

Послушайте, прекрасный друг мой, пока вы делите себя между многими, я ни в малейшей степени не ревную: ваши любовники для меня — лишь наследники Александра Великого, неспособные сохранить сообща то царство, где властвовал я один. Но чтобы вы отдавали себя всецело одному из них, чтобы существовал другой столь же счастливый, как я, — этого я не потерплю! И не надейтесь, что я стану терпеть. Или примите меня снова, или хотя бы возьмите второго любовника и ради причуды иметь одного возлюбленного не изменяйте нерушимой дружбе, в которой мы поклялись друг другу.

У меня и без того достаточно причин жаловаться на любовь. Как видите, я соглашаюсь с вашим мнением и признаю свою вину. И правда, если не

иметь сил жить, не обладая тем, чего желаешь, если жертвовать ради любви своим временем, своими наслаждениями, своей жизнью — если это и есть быть влюбленным, — тогда я подлинно влюблен. Но это не приближает меня к моей цели. Мне бы совсем нечего было сообщить вам на этот счет, если бы не одно происшествие, заставившее меня весьма задуматься; и пока еще неясно, должно ли оно вызвать во мне опасение или зародить надежды.

Вы знаете моего егеря: это сокровище по части интриг, настоящий слуга из комедии. Вы понимаете, что ему назначено ухаживать за горничной и спаивать прочих слуг. Бездельник счастливее меня; он уже добился успеха. Он только что открыл, что госпожа де Турвель поручила одному из своих людей собирать сведения о моем поведении и даже следить за каждым моим шагом во время утренних прогулок, насколько это можно будет делать, оставаясь незамеченным. Чего нужно этой женщине? Итак, даже величайшая скромница решается на такие вещи, которые мы с вами едва ли бы решились позволить себе! Клянусь… Но прежде чем помышлять о мести за эту женскую хитрость, позаботимся о способах обратить ее нам на пользу. До сих пор эти вызвавшие

подозрения прогулки не имели никакой цели; теперь надо будет ее найти. Это требует всего моего внимания, и я покидаю вас, чтобы хорошенько поразмыслить. Прощайте, мой прелестный друг.

По-прежнему из замка***, 15 августа 17…

Письмо 16

От Сесили Воланж к Софи Карне

Ах, Софи, ну и новости же у меня! Может быть, мне и не следовало бы сообщать их тебе, но надо же с кем-нибудь поделиться: это сильнее меня. Кавалер Дансени… Я в таком смущении, что не могу писать; не знаю, с чего начать. После того как я рассказала тебе о прелестном вечере[11], который я провела у мамы с ним и госпожой де Мертей, я больше ничего тебе о нем не говорила: дело в том, что я ни с кем вообще не хотела о нем говорить, тем не менее он все время занимал мои мысли. С той поры он стал так грустен, так ужасно грустен, что мне делалось больно. А когда я спрашивала о причине его грусти, он говорил,

---

[11] Примечания: 11

Письма, где говорится об этом вечере, разыскать не удалось. Есть основания полагать, что речь идет о вечере, предложенном в письме госпожи де Мертей, — о нем упоминалось и в предыдущем послании к Сесили Воланж.

что причины никакой нет. Но я-то видела, что что-то есть. Так вот, вчера он был еще печальнее, чем обычно. Все же это не помешало ему оказать мне любезность и петь со мной, как всегда. Но всякий раз, как он глядел на меня, сердце мое сжималось. После того как мы кончили петь, он пошел спрятать мою арфу в футляр и, возвращая мне ключ, попросил меня поиграть еще вечером, когда я буду одна. Я ничего не подозревала.

Я даже вовсе не собиралась играть, но он так просил меня, что я сказала: «Хорошо». А у него были на то свои причины. И вот, когда я пошла к себе и моя горничная удалилась, я отправилась за арфой. Между струнами я обнаружила письмо, не запечатанное, а только сложенное; оно было от него. Ах, если бы ты знала, что он мне пишет! С тех пор как я прочитала его письмо, я так радуюсь, что ни о чем другом и думать не могу. Я тут же прочитала его четыре раза подряд, а когда легла, то повторяла столько раз, что заснуть было невозможно. Едва я закрывала глаза, как он вставал передо мною и сам произносил то, что я только что прочла. Заснула я очень поздно и, едва проснувшись (а было совсем еще рано), снова достала письмо, чтобы перечесть его на свободе. Я взяла его в постель и целовала так, словно…

Может быть, это очень плохо — целовать так письмо, но я не могла устоять.

Теперь же, моя дорогая, я и очень счастлива, и вместе с тем нахожусь в большом смятении, ибо мне, без сомнения, не следует отвечать на такое письмо. Я знаю, что это не полагается, а между тем он просит меня ответить, и если я не отвечу, то, уверена, он опять будет по-прежнему печален. А это для него ведь очень тяжело! Что ты мне посоветуешь? Впрочем, ты знаешь не больше моего. Мне очень хочется поговорить об этом с госпожой де Мертей, которая ко мне так хорошо относится. Я хотела бы его утешить, но мне не хотелось бы сделать ничего дурного. Нам ведь всегда говорят, что надо иметь доброе сердце, а потом запрещают следовать его велениям, когда это касается мужчины! Это также несправедливо. Разве мужчина для нас не тот же ближний, что и женщина, даже больше? Ведь если наряду с матерью есть отец, а наряду с сестрой — брат, то вдобавок есть еще и муж. Однако если я сделаю что-нибудь не вполне хорошее, то, может быть, и сам господин Дансени будет обо мне плохо думать! О, в таком случае я уж предпочту, чтобы он ходил грустный. И потом, ответить я еще успею. Если он написал вчера, это не значит, что я обязательно должна

написать сегодня. Сегодня вечером мне как раз предстоит увидеться с госпожой де Мертей, и, если у меня хватит храбрости, я ей все расскажу. Если я потом сделаю точно так, как она скажет, то мне не придется ни в чем себя упрекать. Да и, может быть, она скажет, что я могу ответить ему самую чуточку, чтобы он не был таким грустным! О, я очень страдаю.

Прощай, милый мой друг. Напиши мне все же свое мнение.

Из *** 19 августа 17…

Письмо 17

От кавалера Дансени к Сесили Воланж

Прежде чем предаться, мадемуазель, — не знаю уж как сказать: радости или необходимости писать вам, — я хочу умолять вас выслушать меня. Я сознаю, что нуждаюсь в снисхождении, раз осмеливаюсь открыть вам свои чувства. Если бы я стремился лишь оправдать их, снисхождение было бы мне не нужно. Что же я, в сущности, собираюсь сделать, как не показать вам деяние ваших же рук? И что еще могу я сказать вам, кроме того, что уже сказали мои взгляды, мое смущение, все мое поведение и даже молчание? И почему

бы стали вы на меня гневаться из-за чувства, вами же самою внушенного? Истоки его в вас, и, значит, оно достойно быть вам открытым. И если оно пламенно, как моя душа, то и чисто, как ваша. Разве совершает преступление тот, кто сумел оценить вашу прелестную наружность, ваши обольстительные дарования, ваше покоряющее изящество и, наконец, трогательную невинность, делающую ни с чем не сравнимыми качества, и без того столь драгоценные? Нет, конечно. Но, даже не зная за собой вины, можно быть несчастным, и такова участь, ожидающая меня, если вы отвергнете мое признание. Оно — первое, на которое решилось мое сердце. Не будь вас, я был бы если не счастлив, то спокоен. Но я вас увидел. Покой оставил меня, а в счастье я не уверен. Вас, однако, удивляет моя грусть; вы спрашиваете меня о причине ее, и порою даже мне казалось, что она вас огорчает. Ах, скажите одно только слово, и вы станете творцом моего счастья. Но прежде чем произнести что бы то ни было, подумайте, что и сделать меня окончательно несчастным тоже может одно лишь слово. Так будьте же судьей моей судьбы. От вас зависит, стану ли я навеки счастлив или несчастлив. Каким более дорогим для меня рукам мог бы я вручить дело,

столь важное?

Кончаю тем, с чего начал: умоляю о снисхождении. Я просил вас выслушать меня. Осмелюсь на большее: прошу об ответе. Отказать в этом значило бы внушить мне мысль, что вы оскорблены, а сердце мое порука в том, что уважение к вам так же сильно во мне, как и любовь.

P. S. Для ответа вы можете воспользоваться тем же способом, которым я направил вам это письмо: он представляется мне и верным и удобным.

Из ***, 18 августа 17…

Письмо 18

От Сесили Воланж к Софи Карне

Как, Софи, ты заранее осуждаешь то, что я собираюсь сделать? У меня и без того было довольно волнений — ты их еще умножаешь! Очевидно, говоришь ты, что я не должна отвечать. Легко тебе говорить, особенно когда ты не знаешь, что сейчас происходит: тебя здесь нет, и видеть ты ничего не можешь. Я уверена, что на моем месте ты поступила бы так же, как я. Конечно, вообще-то отвечать в таких случаях не следует, и по моему вчерашнему письму ты могла убедиться, что я и не хотела этого делать. Но вся суть в том,

что, по-видимому, никто еще никогда не находился в таком положении, как я.

И ко всему я еще вынуждена одна принимать решение! Госпожа де Мертей, которую я рассчитывала увидеть, вчера вечером не приехала. Все идет как-то наперекор мне; ведь это благодаря ей я с ним познакомилась. Почти всегда мы с ним виделись и разговаривали при ней. Не то чтобы я на это сетовала, но вот теперь, в трудный момент, она оставляет меня одну. О, меня и впрямь можно пожалеть!

Представь себе, что вчера он явился, как обычно. Я была в таком смятении, что не решалась на него взглянуть. Он не мог заговорить со мной об этом, так как мама находилась тут же. Я так и думала, что он будет огорчен, когда увидит, что я ему не написала. Я просто не знала, как мне себя вести. Через минуту он спросил, не пойти ли ему за арфой. Сердце у меня так колотилось, что единственное, на что я оказалась способной, это вымолвить: «Да!» Когда он вернулся, стало еще хуже. Я лишь мельком взглянула на него, он же на меня не смотрел, но вид у него был такой, что можно было подумать — он заболел. Я ужасно страдала. Он принялся настраивать арфу, а потом, передавая мне ее, сказал: «Ах, мадемуазель!..» Он

произнес лишь два эти слова, но таким тоном, что я была потрясена. Я стала перебирать струны, сама не зная, что делаю. Мама спросила, будем ли мы петь. Он отказался, объяснив, что неважно себя чувствует. У меня же никаких извинений не было, и мне пришлось петь. Как хотела бы я никогда не иметь голоса! Я нарочно выбрала арию, которой еще не разучивала, так как была уверена, что все равно ничего не спою как следует и сразу станет видно, что со мной творится неладное. К счастью, приехали гости, и, едва заслышав, как во двор въезжает карета, я прекратила петь и попросила унести арфу. Я очень боялась, чтобы он тотчас не ушел, но он возвратился.

Пока мама и ее гостья беседовали, мне захотелось взглянуть на него еще разок. Глаза наши встретились, и отвести мои у меня не хватило сил. Через минуту я увидела, как у него полились слезы и он вынужден был отвернуться, чтобы этого не обнаружить. Тут уж я не смогла выдержать, я почувствовала, что сама расплачусь. Я вышла и нацарапала карандашом на клочке бумаги: «Не грустите же так, прошу вас. Обещаю вам ответить». Уж, наверно, ты не сможешь сказать, что это дурно, и, кроме того, я уж не могла с собой совладать. Я засунула бумажку между струна-

ми арфы так же, как было засунуто его письмо, и вернулась в гостиную. Мне сделалось как-то спокойнее, но я дождаться не могла, пока уедет гостья. К счастью, она явилась к маме с коротким визитом и потому вскоре уехала. Как только она вышла, я сказала, что хочу поиграть на арфе, и попросила, чтоб он ее принес. По выражению его лица я поняла, что он ни о чем не догадывается. Но по возвращении — о, как он был доволен! Ставя напротив меня арфу, он сделал так, что мама не могла видеть его движений, взял мою руку и сжал ее… но как! Это длилось лишь одно мгновение, но я не могу тебе передать, как мне стало приятно. Однако я тотчас же отдернула руку, поэтому мне не в чем себя упрекнуть! Теперь, милый мой друг, ты сама видишь, что я не могу не написать ему, раз обещала. И потом, я не стану больше причинять ему огорчений; я страдаю от них даже сильнее, чем он сам. Если бы из этого могло произойти что-нибудь дурное, я бы уж ни за что не стала этого делать. Но что тут худого — написать письмо, особенно для того, чтобы кто-нибудь не страдал? Смущает меня, правда, что я не сумею хорошо написать, но он почувствует, что вины моей тут нет, и потом я уверена, что раз оно будет от меня, так он все равно обрадуется.

Прощай, дорогой друг. Если ты найдешь, что я не права, скажи мне прямо. Но я этого не думаю. Подходит время писать ему, и сердце у меня так бьется, что трудно представить. Но написать надо, раз я обещала. Прощай.

Из ***, 20 августа 17…

Письмо 19

От Сесили Воланж к кавалеру Дансени

Вчера, сударь, вы были так печальны, и это меня так огорчало, что я не выдержала и обещала вам ответить на письмо, которое вы мне написали. Я и сейчас чувствую, что этого не следует делать. Но я обещала и не хочу изменить своему слову. Пусть это докажет вам, что я питаю к вам самые добрые чувства. Теперь вы это знаете и, я надеюсь, не станете больше просить у меня писем! Надеюсь также, вы никому не расскажете, что я вам написала. Ведь меня, наверно, осудили бы, и это доставило бы мне много неприятностей. В особенности надеюсь, что вы сами не станете думать обо мне плохо, что было бы для меня тяжелее всего. Смею также уверить вас, что никому другому я бы такой любезности не оказала. Я бы очень хотела, чтобы и вы, в свою очередь, отве-

тили мне любезностью — перестали бы грустить, как в последнее время; это портит мне всякое удовольствие видеть вас. Вы видите, сударь, что я говорю с вами вполне искренне. Я буду очень рада, если наша дружба никогда не прервется, но прошу вас — не пишите мне больше.

Имею честь…

Сесиль Воланж.

Из ***, 20 августа 17…

Письмо 20

От маркизы де Мертей к виконту де Вальмону

Ах, негодник, вы льстите мне из страха, как бы я не стала над вами насмехаться! Ладно, сменю гнев на милость. Вы мне написали столько безрассудных вещей, что приходится простить вам скромность, в которой вас держит ваша президентша. Не думаю, чтобы мой кавалер проявил такую же снисходительность. Мне кажется, он не такой человек, чтобы одобрить возобновление нашего с вами договора и найти вашу безумную мысль забавной. Я, однако, вволю посмеялась над нею, и мне было очень жаль, что приходится смеяться в одиночестве. Если бы вы были здесь, право, не знаю, куда бы завела меня эта веселость.

Но у меня было время поразмыслить, и я вооружилась строгостью. Это не значит, что я отказываю навсегда, но я считаю нужным повременить, и совершенно права. Сейчас меня, пожалуй, одолело бы тщеславие, и в увлечении игрой я бы зашла слишком далеко. Я ведь такая женщина, что снова привязала бы вас к себе, и вы, чего доброго, забыли бы свою президентшу. А какой это был бы скандал, если бы я, недостойная, отвратила вас от добродетели! Во избежание этой опасности — вот мои условия. Как только вы овладеете вашей богомольной красавицей и сможете представить какое-нибудь тому доказательство, приезжайте — и я ваша. Но вам хорошо известно, что в серьезных делах принимаются лишь письменные доказательства. В таком случае, с одной стороны, я окажусь для вас наградой, вместо того чтобы служить утешением, а это мне куда приятнее. С другой стороны, успех ваш будет гораздо острее на вкус, ибо сам явится поводом для неверности. Так приезжайте же, привезите мне как можно скорее залог вашего торжества, подобно нашим храбрым рыцарям, которые клали к ногам своих дам блестящие плоды воинских побед. Говорю не шутя, мне было бы любопытно знать, что может написать недотрога после такой оказии и в какой

покров облекает она свои речи после того, как совлекла все покровы с самой себя. Ваше дело рассчитать, не слишком ли дорого я себя ценю; но предупреждаю — никакой скидки не будет. А пока, дорогой мой виконт, примиритесь с тем, что я остаюсь верной своему кавалеру и забавляюсь, даря ему счастье, несмотря на то, что вас это слегка огорчает.

Тем не менее мне кажется, что, не будь я столь нравственной, сейчас у него объявился бы опасный соперник: маленькая Воланж. Я без ума от этой девочки — тут самая настоящая страсть. Или я ошибаюсь, или она сделается одной из самых заметных в обществе женщин. Я вижу, как развивается ее сердечко, и зрелище это — просто восхитительно. Она уже исступленно влюблена в своего Дансени, но еще понятия об этом не имеет. Он сам, хоть и сильно влюблен, — еще робкий юнец и не осмеливается многому ее учить. Оба они меня обожают. Особенно малютка — ей ужасно хочется поверить мне свою тайну. В последние дни я замечаю, что она просто подавлена, и я оказала бы ей величайшую услугу, если бы немного помогла. Но я не забываю, что это еще ребенок, и не хочу себя компрометировать. Дансени говорил со мною несколько определеннее, но насчет него

я твердо решила: я не хочу его выслушивать. Что касается малютки, меня часто берет искушение сделать ее своей ученицей. Хотелось бы оказать Жеркуру эту услугу. Но время у меня есть: он будет на Корсике до октября. Я рассчитываю воспользоваться этим сроком, и мы вручим ему вполне сформировавшуюся женщину вместо невинной пансионерки. Какая поистине наглая самоуверенность у этого человека: он осмеливается спокойно спать, когда женщина, имеющая основание жаловаться на него, еще не отомщена! Скажу откровенно: если бы малютка находилась в настоящую минуту здесь, чего только я бы ей не порассказала!

Прощайте, виконт, желаю вам доброго вечера и славных успехов, но, ради бога, продвигайтесь вперед! Подумайте, что, если эта женщина не будет принадлежать вам, другие станут стыдиться того, что вы когда-то принадлежали им.

Из ***, 20 августа 17…

Письмо 21

От виконта де Вальмона к маркизе де Мертей

Наконец-то, прелестный друг мой, сделал я шаг вперед, и значительный шаг. Хоть он и не

привел меня к цели, но, по крайней мере, помог мне уяснить, что я на верном пути, и рассеял чуть было не охватившие меня опасения, что я заблудился. Я, наконец, объяснился в любви, и хотя ответом мне было упорное молчание, я все же добился и другого ответа, быть может, наименее двусмысленного и самого лестного. Но не будем упреждать события и вернемся назад. Вы помните, что за мной начали слежку. Так вот, я решил обратить этот позорный прием на общее благо и поступил следующим образом. Я поручил одному доверенному лицу найти в окрестностях какого-нибудь несчастного, нуждающегося в помощи. Выполнить это поручение было нетрудно. Вчера днем мой доверенный доложил мне, что сегодня утром должны описать всю движимость целой семьи, которая не в состоянии уплатить податей. Я постарался убедиться, что в этом доме нет ни одной девушки или женщины, чей возраст или внешность могли бы сделать мое поведение подозрительным, и, когда все сведения были собраны, объявил за ужином, что завтра иду на охоту. Тут приходится отдать должное моей президентше. Отданное ею распоряжение следить за мной, видимо, вызвало у нее угрызения совести, и, не будучи в силах сдержать свое любопытство, она

все же нашла силы воспротивиться моему желанию: завтра-де ожидается невыносимая жара, я рискую заболеть, ничего не убью и только зря утомлюсь. И во время нашего диалога глаза ее, говорившие яснее, быть может, чем она желала, дали мне понять, что она хочет, чтобы все эти полезные доводы я счел основательными. Как вы сами понимаете, я и не подумал с ней согласиться, устояв даже перед небольшим выпадом против охоты и охотников, а также перед легким облачком досады, омрачавшим весь вечер это небесное чело. Сперва я даже опасался, как бы она не отменила своего распоряжения и как бы ее деликатность не испортила мне дела. Но я просто недооценил силу женского любопытства и потому ошибся. В тот же вечер мой егерь успокоил меня на этот счет, и я улегся вполне удовлетворенный.

На рассвете я встаю и отправляюсь в путь. Отойдя на каких-нибудь пятьдесят шагов от замка, замечаю следующего за мною соглядатая. Начинаю охоту и иду прямо через поле к нужной мне деревне, развлекаясь в пути лишь тем, что вынуждаю шпионящего за мною бездельника пробегать зачастую рысью расстояние втрое больше моего: он не решался идти напрямик и

держался дороги. Заставляя его поупражняться, я сам изрядно разгорячился и присел под деревом, чтобы отдохнуть. Он же — какая наглость! — шмыгнул за кусты, находившиеся всего шагах в двадцати от меня, и тоже там примостился. На мгновение мне захотелось выстрелить в него из ружья; хоть оно и заряжено было всего лишь дробью, он получил бы достойный урок, который доказал бы ему, сколь небезопасная вещь — любопытство. На его счастье, я вспомнил, что он для моих планов весьма полезен и даже необходим; это размышление его спасло.

Вот я и в деревне. Вижу какую-то суетню, подхожу, расспрашиваю. Велю позвать сборщика податей и, уступая великодушному состраданию, благородно уплачиваю пятьдесят шесть ливров, из-за которых пяти человеческим существам предстояло быть ввергнутым в отчаяние и нищету. Вы не можете себе вообразить, как все присутствующие хором принялись благословлять меня, после того как я совершил это простое дело, как обильно полились слезы благодарности из глаз престарелого главы этого семейства, делая привлекательным лицо патриарха, которое еще за минуту перед тем мрачная печать отчаяния просто уродовала! Я еще наблюдал все это,

когда другой крестьянин, помоложе, который вел за руки женщину и двоих детей, быстрым шагом приблизился ко мне и сказал им: «Поклонимся в ноги этому ангелу божию!», — и в то же мгновение я оказался окруженным всей семьей, припавшей к моим коленам. Должен признаться в своей слабости — я прослезился и почувствовал, как всего меня охватывает невольный сладостный трепет. Я просто был удивлен тем, насколько приятно делать добро, и был недалек от мысли, что заслуги людей, которые у нас именуются добродетельными, не так уж велики, как нам обычно внушают. Как бы то ни было, но я считаю вполне справедливым заплатить этим беднякам за удовольствие, которое они мне доставили. У меня было с собой десять луидоров, и я отдал им эти деньги. Снова меня стали осыпать словами благодарности, но они звучали уже не так восторженно: настоящее, сильное впечатление произведено было удовлетворением неотложной нужды, а все дальнейшее было лишь выражением признательности и удивления перед щедростью, так сказать, уже чрезмерной.

Посреди неумеренных благословений этого семейства я сильно смахивал на героя драмы в сцене развязки. Заметьте, что главным лицом

в толпе был для меня мой верный соглядатай. Цель была достигнута; я освободился от них всех и вернулся в замок. Взвесив все, я остался доволен своей выдумкой. Женщина эта, безусловно, стоит всех моих хлопот. Наступит день, когда я смогу предъявить их ей, как ценные документы, и, заранее оплатив некоторым образом ее благосклонность, я буду иметь право располагать ею как мне вздумается, ни в чем себя не упрекая.

Забыл сказать вам, что, стремясь из всего извлечь пользу, я попросил этих добрых людей молить Бога об успехе всех моих замыслов. Вы вскоре увидите, не услышаны ли уже отчасти их молитвы… Но только что мне сказали, что подан ужин. Если я запечатаю это письмо лишь по возвращении, его уже нельзя будет сегодня отправить. Итак — «продолжение в следующем номере». Очень жаль, ибо осталось как раз самое лучшее. Прощайте, прелестный друг. Вы крадете у меня один миг удовольствия видеть ее.

Из ***, 20 августа 17…

Письмо 22

От президентши де Турвель к госпоже де Воланж

Вам, наверно, приятно будет, сударыня, узнать об одной черте характера господина де Вальмона, весьма, как мне кажется, отличающейся от всех тех, какими вам рисовали его облик. Как тягостно иметь нелестное мнение о ком бы то ни было, как обидно находить одни лишь пороки у тех, кто, в сущности, обладает всеми качествами, необходимейшими для того, чтобы любить добродетель! Наконец, вы сами так склонны к снисходительности, что дать вам возможность пересмотреть слишком суровое суждение о ком-то — значит оказать вам услугу. По-моему, господин де Вальмон имеет все основания надеяться на такую милость, я сказала бы даже — на подобное проявление справедливости, и вот почему я так думаю.

Сегодня утром он вышел на одну из своих прогулок, которые могут навести на мысль о каком-либо его замысле в наших окрестностях, — мысль эта действительно возникла у вас, и я, к сожалению своему, может быть, слишком живо за нее ухватилась. К счастью для него, — и прежде всего для нас, поскольку это спасает нас от

несправедливых суждений, — один из моих слуг должен был идти в том же направлении[12], что и он, и, таким образом, мое неблаговидное, но оказавшееся весьма уместным любопытство было удовлетворено. Он доложил нам, что господин де Вальмон, обнаружив в деревне*** несчастное семейство, чей домашний скарб распродавался за неуплату налогов, не только поспешил уплатить долг этих бедных людей, но даже дал им довольно крупную сумму денег. Слуга мой был свидетелем этого благородного поступка, и он добавил, что, по словам крестьян, говоривших об этом между собой и с ним, чей-то слуга, на которого они ему указали и которого мой человек считает слугой господина де Вальмона, вчера собирал сведения о жителях деревни, нуждающихся в помощи. Если это так, то мы имеем здесь не мимолетное сострадание, вызванное случайными обстоятельствами, а определенное намерение сделать доброе дело, стремление к благотворительности — благороднейшая добродетель благороднейших душ. Однако случайность ли это или обдуманный поступок, деяние это похвально, и от одного рассказа о нем я расчувствовалась

[12] Примечания: 12

Госпожа де Турвель, видимо, не решается признаться, что это было сделано по ее приказанию.

до слез. Добавлю, — и по-прежнему в интересах справедливости, — что, когда я заговорила с ним об этом поступке, о котором сам он не проронил ни слова, он сначала стал его отрицать, а когда ему пришлось в нем признаться, заговорил о нем как о таком ничтожном деле, что скромность лишь удваивает его заслугу.

Скажите же мне теперь, уважаемый друг мой, действительно ли господин де Вальмон столь уж нераскаянный распутник? Если он таков и в то же время способен поступать так, как сегодня, что же тогда остается на долю порядочных людей? Как злые могут разделять с добрыми священную радость благодеяний? Допустил ли бы Господь, чтобы честная семья получила из рук негодяя помощь, за которую стала бы потом возносить благодарность небесному Провидению? Угодно ли будет ему, чтобы чистые уста расточали благословения недостойному? Нет. Я предпочитаю думать, что, как бы продолжительны ни были эти заблуждения, они не вечны, и не могу считать человека, творящего добро, врагом добродетели. Господин де Вальмон является, может быть, лишь примером того, как опасны связи. Я кончаю на этой мысли, которая мне нравится. Если, с одной стороны, она может послужить ему оправда-

нием в ваших глазах, то, с другой стороны, она заставляет меня все больше и больше ценить нежную дружбу, соединившую меня с вами на всю жизнь.

Имею честь… и т. д.

P. S. Мы с госпожой де Розмонд отправляемся сейчас посетить эту честную и несчастную семью и прибавить нашу запоздалую помощь к той, которая оказана была господином де Вальмоном. Мы берем его с собой. Таким образом, мы хотя бы дадим этим добрым людям возможность еще раз повидать своего благодетеля. Кажется, это все, что он оставил на нашу долю.

Из***, 20 августа 17…

Письмо 23

От виконта де Вальмона к маркизе де Мертей

Мы остановились на моем возвращении в замок; продолжаю рассказ.

Я только успел привести себя немного в порядок и тотчас же отправился в гостиную, где моя прелестница сидела за вышиванием, в то время как местный священник читал моей тетушке газету. Я устроился возле пяльцев. Взоры, еще более нежные, чем обычно, почти ласкающие, вскоре

подсказали мне, что слуга уже доложил о выполнении порученного ему дела. И впрямь, милая моя разоблачительница не могла долго скрывать украденный у меня секрет и, не постеснявшись перебить достопочтенного пастыря, — хотя газету он читал так, словно произносил проповедь, — заявила: «А у меня тоже есть новость», — и тут же рассказала мое приключение с точностью, делающей честь ее осведомителю. Вы сами понимаете, какую я напустил на себя скромность. Но разве можно остановить женщину, когда она расхваливает человека, которого, сама того не сознавая, любит? Я уж решил не перебивать ее. Можно было подумать, что она произносит славословие какому-нибудь святому угоднику. Я же тем временем не без надежды наблюдал все то, что служило как бы залогом любви: полный оживления взгляд, движения, ставшие гораздо свободнее, и особенно голос — он уже заметно изменился, выдавая смятенность ее души. Не успела она кончить свой рассказ, как госпожа де Розмонд сказала мне: «Подойди ко мне, племянник, подойди, дай я тебя поцелую». Тут я сразу почувствовал, что прелестная проповедница тоже не сможет устоять против поцелуя. Правда, она попыталась бежать, но вскоре оказалась в

моих объятиях и не только не в силах была обороняться, но едва устояла на ногах. Чем больше я наблюдаю эту женщину, тем желаннее она мне становится. Она поспешила вернуться к пяльцам, для всех делая вид, будто снова принялась вышивать. Но я хорошо заметил, что руки у нее дрожали и она не в состоянии была продолжать работу.

После обеда дамы пожелали проведать бедняков, которым я столь благородно оказал помощь. Я сопровождал их. Избавлю вас от повторения сцены благодарности и восхвалений. Сердцу моему, трепещущему от сладостного воспоминания, не терпится возвратиться в замок. Всю дорогу моя прелестная президентша была задумчивей, чем обычно, и не вымолвила ни слова. Занятый мыслями о том, какие средства изобрести, чтобы получше использовать впечатление, произведенное событиями этого дня, я тоже хранил молчание. Говорила одна лишь госпожа де Розмонд, изредка получая от нас немногословные ответы. Мы ей, видимо, наскучили; я этого хотел и достиг своей цели. Как только мы вышли из экипажа, она удалилась к себе, оставив меня и мою прелестницу вдвоем в слабо освещенной гостиной: сладостный полусумрак, придающий

смелость робкому чувству любви.

Без труда направил я беседу по желанному для меня руслу. Рвение милой проповедницы послужило мне лучше, чем вся моя ловкость. «Когда человек достоин творить добрые дела, — сказала она, устремив на меня кроткий взгляд, — как может он всю свою жизнь поступать дурно?»

«Я не заслуживаю, — возразил я, — ни этой похвалы, ни этого упрека, и не могу представить себе, чтобы вы с вашим умом еще не разгадали меня. Пусть моя откровенность даже повредит мне в ваших глазах, — вы настолько достойны ее, что я не могу вам в ней отказать. Ключ к моему поведению вы найдете в моем характере — слишком, к сожалению, слабом. Окруженный людьми безнравственными, я подражал их порокам, я даже, может быть, из ложного самолюбия старался их перещеголять. Здесь же, покоренный примером добродетели, я попытался хотя бы следовать вам, не имея надежды с вами сравняться. И, может быть, поступок, за который вы меня сегодня хвалите, потеряет всякую цену в ваших глазах, если вы узнаете подлинные мои побуждения. (Видите, прелестный друг мой, как недалек я был от истины!) Не мне, — продолжал я, — обязаны были эти несчастные помощью, которую оказал им я. В том,

в чем вы усматриваете похвальное деяние, я искал лишь средства понравиться. Я оказался, — раз уж нужно говорить все до конца, — ничтожным служителем божества, которому поклоняюсь. (Тут она попыталась прервать меня, но я не дал ей этого сделать.) И сейчас, — добавил я, — лишь по слабости своей выдал я тайну. Я давал себе слово умолчать о ней, для меня счастьем было поклонение вашим добродетелям, равно как и вашим прелестям, — поклонение, о котором вы никогда не должны были узнать. Но, имея перед глазами пример чистосердечия, я не в силах быть обманщиком и не хочу упрекать себя в неблаговидном притворстве по отношению к вам. Не думайте, что я оскорблю вас преступной надеждой. Я буду несчастен, знаю это, но даже страдания мои будут мне дороги: они послужат доказательством беспредельности моей любви. К вашим ногам, к сердцу вашему повергну я свои муки, там почерпну я силы для новых страданий, там обрету сострадание и почту себя утешенным, так как вы меня пожалели. О обожаемая, выслушайте меня, пожалейте, помогите мне». Я бросился к ее ногам, сжимая ее руки в своих. Но она внезапным движением вырвала их у меня и, прижав к глазам с выражением отчаянья, вскри-

чала: «О, я несчастная!» — и тотчас же зарыдала. К счастью, я довел себя до того, что и сам плакал: вновь завладев ее руками, я омывал их слезами. Эта предосторожность оказалась необходимой, ибо она была так поглощена своим страданием, что не заметила бы моего, если бы я не прибег к этому способу обратить на него ее внимание. При этом я выиграл то, что получил возможность вдоволь налюбоваться ее прелестным лицом, еще похорошевшим благодаря покоряющему очарованию слез. Я настолько разгорячился и так мало владел собой, что едва не поддался искушению воспользоваться этой минутой.

Как же велика наша слабость, как сильна власть обстоятельств, если даже я, позабыв о своих замыслах, рисковал тем, что преждевременное торжество могло отнять у меня прелесть долгой борьбы с нею и все подробности ее тяжкого поражения, если в порыве юношеского желания я едва не обрек победителя госпожи де Турвель на то, что плодом его трудов оказалось бы только жалкое преимущество обладания лишней женщиной! Да, она должна сдаться, но пусть поборется, пусть у нее не хватит сил для победы, но окажется достаточно для сопротивления, пусть она испытает всю полноту ощущения

собственной слабости и вынуждена будет признать свое поражение. Предоставим жалкому браконьеру возможность убить из засады оленя, которого он подстерег: настоящий охотник должен загнать дичь. Возвышенный замысел, не правда ли? Но, может быть, сейчас я сожалел бы, что не осуществил его, если бы случай не помог моей предусмотрительности.

Мы услышали шум: кто-то шел в гостиную. Госпожа де Турвель испугалась, быстро вскочила, схватила один из подсвечников и вышла. Воспрепятствовать ей было невозможно. Оказалось, что это был слуга. Убедившись в этом, я последовал за нею. Не успел я сделать несколько шагов, как услышал, что, либо узнав их, либо поддавшись неясному ощущению страха, она побежала быстрее и не вошла, а скорее влетела в свою комнату, закрыв за собою дверь. Я подошел к двери, но она была заперта на ключ. Стучать я, разумеется, не стал: это дало бы ей возможность без труда оказать сопротивление. Мне пришла в голову простая и удачная мысль попытаться увидеть ее через замочную скважину, и я действительно увидел эту обворожительную женщину — она стояла на коленях, вся в слезах, и горячо молилась. К какому богу дерзала она взывать? Есть ли

бог столь могущественный, чтобы противиться любви? Тщетно прибегает она теперь к помощи извне: ныне я один властен над ее судьбой.

Полагая, что для одного дня мною вполне достаточно сделано, я тоже удалился в свою комнату и принялся вам писать. Я надеялся увидеть ее за ужином, но она велела передать, что плохо себя чувствует, и легла. Госпожа де Розмонд хотела подняться к ней в комнату, но коварная больная сослалась на головную боль, при которой ей просто невозможно кого бы то ни было видеть. Вы, конечно, понимаете, что после ужина мы сидели недолго и что у меня тоже разболелась голова. Удалившись к себе, я написал ей длинное письмо, жалуясь на ее суровость, и лег спать, решив передать его сегодня утром. Из даты этого письма вы легко можете заключить, что спал я плохо. Рано встав, я перечел свое письмо и сразу же заметил, что плохо владел собой, проявив в нем больше пыла, чем любви, и больше досады, чем грусти. Надо будет его переделать, но в более спокойном состоянии. Вижу, что уже светает, и надеюсь, что утренняя свежесть поможет мне уснуть. Сейчас я снова лягу и, как ни велика власть этой женщины надо мной, обещаю вам не заниматься ею настолько, чтобы у меня не оста-

валось времени подолгу думать о вас. Прощайте, прелестный мой друг.

Из ***, 21 августа 17…

Письмо 24

От виконта де Вальмона к президентше де Турвель

Ах, сударыня, хотя бы из жалости соблаговолите успокоить смятение моей души; соблаговолите сказать мне, на что я могу надеяться и чего мне страшиться. Я нахожусь все время в неизвестности между чрезмерностью счастья и чрезмерностью страдания, и это для меня жестокая пытка. Зачем я говорил с вами? Почему не устоял я перед властным очарованием, заставившим меня открыть вам свои мысли? Пока я довольствовался тем, что безмолвно поклонялся вам, любовь была для меня радостью, и чистое это чувство, еще не омраченное видом вашего страдания, казалось вполне достаточным для моего счастья. Но этот источник радости стал источником отчаянья с того мгновенья, когда я увидел ваши слезы, когда я услышал это жестокое: «О, я несчастная!» Сударыня, эти три слова долго будут звучать в моем сердце. По воле какого рока нежнейшее из чувств

внушает вам один лишь ужас? Чего вы страшитесь? Ах, не того, что разделите мое чувство: сердце ваше, которое я плохо знал, не создано для любви. Лишь мое, на которое вы беспрестанно клевещете, способно чувствовать. Ваше же не ощущает даже жалости. Если бы это было не так, вы не отказали бы хоть в одном слове утешенья несчастному, открывшему вам свои страдания, вы не скрылись бы от его взоров, тогда как видеть вас — его единственная отрада, вы не стали бы так жестоко играть его тревогой, сообщив, что вы больны, и не дав ему разрешения прийти к вам, чтобы узнать о вашем самочувствии, вы поняли бы, что та самая ночь, которая для вас была лишь двенадцатью часами отдыха, для него должна была стать целым веком страданий.

Чем, скажите мне, заслужил я эту убийственную суровость? Я не боюсь сделать вас своим судьей. Что же я совершил? Лишь поддался невольному чувству, внушенному вашей красотой и оправданному вашей добродетелью; оно всегда сдерживалось почтительностью, и невинное признание в нем явилось следствием доверчивости, а отнюдь не надежды. Обманете ли вы мое доверие, которое, казалось, сами вы поощряли и которому я беззаветно отдался? Нет,

я не могу так думать. Это значило бы предположить, что в вас есть хотя бы один недостаток, а сердце мое негодует при одной мысли об этом; я отрекаюсь от своих упреков; я мог написать эти слова, но я их не имел в виду. Ах, позвольте мне верить в ваше совершенство: это единственная оставшаяся мне радость. Докажите, что вы действительно таковы, великодушно проявив заботу обо мне. Вы оказывали помощь несчастным, а кто из них нуждался в ней больше, чем я? Вы повергли меня в безумие — не оставляйте же меня в нем. Вы похитили мой рассудок — одолжите же мне свой и, исправив меня, просветите, дабы завершить ваше дело.

Я не хочу обманывать вас: победить мою любовь вам не удастся, но вы научите меня сдерживать ее. Руководя моими поступками, внушая мне, что я должен говорить, вы хотя бы избавите меня от ужасного несчастья быть вам неугодным. А главное — рассейте мой убийственный страх. Скажите, что жалеете, что прощаете меня, дайте мне уверовать в вашу снисходительность. В той мере, в какой я этого желал бы, у вас ее никогда не будет; но я прошу лишь того, что мне крайне необходимо; откажете ли вы мне в этом?

Прощайте, сударыня. Примите благосклонно

выражение моих чувств: они не умаляют моей почтительности.

Из ***. 20 августа 17…

Письмо 25

От виконта де Вальмона к маркизе де Мертей

Вот вчерашний бюллетень.

В одиннадцать часов я зашел к госпоже де Розмонд и под ее охраной введен был к мнимой больной, которая еще лежала в постели. Под глазами у нее были круги: надеюсь, она спала не больше моего. Я улучил минутку, когда госпожа де Розмонд отошла, и протянул свое письмо. Его не взяли, но я оставил его на постели и принялся заботливо пододвигать к ней кресло моей тетушки, пожелавшей сесть поближе к своей милой девочке, которой пришлось зажать письмо в руке, чтобы предотвратить скандал. Больная, на свою беду, заявила, что у нее, кажется, небольшой жар. Госпожа де Розмонд попросила меня пощупать ей пульс, всячески расхваливая мои познания в медицине. Прелестница моя испытала двойную неприятность: ей пришлось протянуть мне свою руку, испытывая в то же время опасение, что ее маленькая ложь сейчас обнаружится. Я действи-

тельно взял ее руку и зажал в одной из своих, а другой принялся ощупывать эту свежую пухлую ручку от кисти до локтя. Лицемерка оставалась невозмутимой, и я, отойдя от кровати, сказал: «Пульс нисколько не учащен». Предполагая, что взор ее был суров, я, чтобы наказать ее, не старался поймать его. Вскоре она сказала, что хочет встать, и мы оставили ее одну. Она спустилась к обеду, который прошел весьма уныло, и заявила, что не пойдет на прогулку, давая этим понять, что случая поговорить с нею у меня не будет. Я понял, что тут надо прибегнуть к вздоху и страдальческому взгляду. Видимо, она этого ждала, ибо за весь день это был единственный раз, что мне удалось встретиться с ее взором. Хоть она и скромница, а у нее, как у всякой другой, есть свои хитрости. Я уловил минуту, чтобы спросить ее, соблаговолила ли она известить меня, какая мне уготована участь, и несколько удивился, услыхав в ответ: «Да, сударь, я вам написала». Мне не терпелось получить это письмо, но — хитрость ли снова, или неловкость, или робость — она передала мне его лишь вечером, перед отходом ко сну. Посылаю вам его вместе с черновиком моего письма к ней. Прочтите и судите сами, с каким поразительным лицемерием она уверяет, что не

испытывает любви, в то время как я убежден в противном. А ведь если я потом обману ее, она станет негодовать, хотя обманула меня первая! Прелестный друг мой, даже самый изворотливый мужчина может в лучшем случае лишь сравниться с самой правдивой женщиной. Придется мне, однако, сделать вид, будто я верю всем этим россказням, и выбиваться из сил, разыгрывая отчаяние, потому что сударыне угодно изображать суровость! Ну, как не мечтать о возмездии за все эти козни?.. Но — терпение… Пока же прощайте. Мне надо еще много писать.

Кстати, письмо бесчеловечной вы мне верните. Может случиться, что впоследствии она вздумает набивать цену всем этим пустякам, и нужно, чтоб у меня все было в порядке.

Я ничего не говорю о маленькой Воланж. Мы побеседуем о ней при первой же встрече.

Из замка***, 22 августа 17…

Письмо 26

От президентши де Турвель к виконту де Вальмону

Никогда, милостивый государь, вы не получили бы от меня ни одного письма, если бы глупое

мое поведение вчера вечером не вынудило меня объясниться с вами сегодня. Да, признаюсь, я плакала. Возможно, что вырвались у меня и слова, на которые вы так настойчиво ссылаетесь. Вы заметили и слезы мои, и слова. Приходится разъяснить вам все.

Я привыкла вызывать лишь благопристойные чувства, слышать лишь речи, которым могу внимать не краснея, и, следовательно, ощущать себя в безопасности, которой, смею это утверждать, я вполне заслуживаю. Поэтому я не умею ни притворяться, ни противостоять нахлынувшим на меня впечатлениям. Ваше поведение изумило меня и повергло в растерянность; положение, в которое я не должна была бы попасть, внушило мне какой-то непонятный страх; может быть, вызвала во мне негодование и мысль, что я могу оказаться смешанной с женщинами, которых вы презираете, и подвергнуться столь же легкомысленному обращению. Все это, вместе взятое, исторгло у меня слезы и, возможно, заставило — не без основания, полагаю, — сказать, что я несчастна. Выражение это, которое вы находите таким сильным, наверно, звучало бы весьма слабо, если бы причина моих слез и моих слов была другая, если бы, вместо того чтобы осуждать

чувства, которые должны быть для меня оскорбительными, я могла бы опасаться, что способна их разделить.

Нет, сударь, такого опасения я не испытываю. Будь оно у меня, я бежала бы за сотни лье от вас и удалилась бы куда-нибудь в пустыню оплакивать злосчастную встречу с вами. Может быть, даже несмотря на полнейшую уверенность мою, что я не люблю вас и не полюблю никогда, может быть, я поступила бы правильнее, если бы послушалась совета друзей — не подпускать вас близко к себе.

Я верила, — и это единственная моя ошибка, — я верила, что вы отнесетесь с уважением к честной женщине, которая больше всего стремилась видеть и в вас честного человека и отдать вам должное, которая защищала вас в то время, как вы оскорбляли ее своими преступными желаниями. Вы не знаете меня. Нет, сударь, вы меня не знаете. Иначе вы не возомнили бы, что заблуждения ваши дают вам какие-то права. На том основании, что вы вели со мной речи, которых мне не следовало слушать, вы вообразили, что вам позволено написать мне письмо, которого я не должна была читать. И при всем этом вы просите меня руководить вашими поступками, внушать вам, что вы должны говорить! Так вот,

сударь, молчание и забвение — единственный совет, который мне подобает вам дать и которому вам подобает следовать. Тогда действительно вы обретете некоторое право на мою снисходительность, и лишь от вас зависело бы приобрести право даже на мою благодарность… Но нет, я не стану обращаться с просьбой к человеку, не проявившему ко мне уважения. Я не окажу доверия тому, кто посягнул на мою безопасность.

Вы заставляете меня остерегаться вас, может быть, даже ненавидеть, чего я отнюдь не желала. Я хотела видеть в вас лишь племянника самого уважаемого моего друга, и голос дружбы возвышала я против обвинявшего вас голоса общественного мнения. Вы все разрушили и, как я предвижу, ничего не захотите восстановить.

Мне остается, сударь, заявить вам, что чувства ваши меня оскорбляют, что признание в них является дерзким вызовом и прежде всего что я не только не способна когда-либо разделить их, но что вы заставите меня никогда больше с вами не видеться, если не принудите себя в дальнейшем к молчанию на этот счет. Молчанию, которого я, по-моему, имею право от вас ожидать и даже требовать. К этому письму я присовокупляю то, которое вы написали мне, и надеюсь, что вы

соблаговолите в свою очередь возвратить мне настоящее мое письмо. Мне было бы крайне тягостно, если бы остался какой-либо след происшествия, которое вообще не должно было иметь места. Имею честь… и т. д.

Из***, 21 августа 17…

Письмо 27

От Сесили Воланж к маркизе де Мертей

Боже мой, сударыня, как вы добры! Как хорошо вы поняли, что мне гораздо легче написать вам, чем говорить с вами! Только вот очень уж трудно все это сказать; но ведь вы мне друг, не правда ли? О да, вы мой добрый, добрый друг! Я постараюсь не бояться.

И, кроме того, мне так нужны вы, ваши советы! Я ужасно от всего огорчаюсь; мне кажется, все догадываются, что я думаю, а главное — когда он присутствует, я краснею, как только кто-нибудь на меня взглянет. Вчера, когда вы заметили, что я плачу, дело было в том, что я хотела с вами поговорить, а потом не знаю уж, что меня остановило, и когда вы спросили, что это со мной, слезы хлынули сами собой. Я не смогла бы и слова вымолвить. Если бы не вы, мама все заметила бы, и

что бы тогда было со мной? А ведь так я все время и живу, особенно последние четыре дня!

Все началось с того дня, сударыня, — да, я уж вам скажу, — с того дня, когда кавалер Дансени написал мне. О, уверяю вас, когда я обнаружила его письмо, я и представления не имела, что это такое. Но я не хочу лгать и не могу сказать, что не получила очень большого удовольствия, когда читала его. Понимаете, я предпочла бы всю жизнь иметь одни огорчения, чем если бы он мне не написал. Но я хорошо знала, что не должна ему этого говорить, и могу вас уверить, я даже сказала ему, что очень на него за это сержусь, но он говорит, что это было сильнее его, и я ему охотно верю. Я ведь сама решила не отвечать ему и, однако, не смогла удержаться. О, я написала ему один лишь разок и даже отчасти, чтобы сказать ему, чтоб он мне больше не писал. Но, несмотря на это, он все время пишет, а так как я ему не отвечаю, я вижу, что он грустит, и меня это печалит еще больше. Я уже не знаю, что мне делать, что со мной станется, и, по правде сказать, меня можно пожалеть.

Скажите мне, пожалуйста, сударыня, очень ли было бы плохо, если бы я ему время от времени отвечала? Только до тех пор, пока он сам не ре-

шит прекратить мне писать и все не станет, как было прежде. Ибо, что касается меня, то, если это будет продолжаться, я не знаю, что со мной будет. Вы знаете, когда я читала его последнее письмо, я так плакала, что никак не могла успокоиться, и я уверена, что, если я ему и теперь не отвечу, мы совсем измучимся.

Я вам пришлю его письмо или сделаю копию, и вы сами сможете судить. Вы увидите, он ничего худого не просит. Однако, если вы найдете, что отвечать нельзя, я обещаю вам удержаться. Но я думаю, вы со мной согласитесь, что ничего дурного тут нет. Раз уж зашла об этом речь, сударыня, позвольте мне задать вам еще один вопрос: мне говорили, что любить кого-нибудь — дурно. Но почему? Я потому спрашиваю, что господин кавалер Дансени утверждает, будто ничего плохого в этом нет и что почти все люди любят. Если это так, то не вижу, почему бы я не должна была себе этого позволять. Или, может быть, это дурно только для девиц? Ведь я слышала, как мама говорила, что мадемуазель Д*** любит господина М***, и говорила она об этом совсем не как о чем-то особенно дурном. Однако я уверена, что она рассердилась бы на меня, если бы узнала о моих дружеских чувствах к господи-

ну Дансени. Она, мама, до сих пор обращается со мной, как с ребенком, и ничего мне не говорит. Когда она взяла меня из монастыря, я думала, она хочет выдать меня замуж, а теперь мне кажется, что нет. Не то чтобы меня это очень волновало, уверяю вас, но вы с ней в такой дружбе и, может быть, знаете, как обстоит дело, а если знаете, я надеюсь, вы мне скажете.

Длинное получилось письмо, сударыня, но вы ведь позволили мне писать вам. Я и воспользовалась этим, чтобы все вам поведать, и очень рассчитываю на вашу дружбу.

Имею честь и т. д.

Париж, 23 августа 17…

Письмо 28

От кавалера Дансени к Сесили Воланж

Итак, мадемуазель, вы по-прежнему отказываетесь отвечать мне? Ничто не может поколебать вас, и каждый новый день уносит с собой надежду, которую он мне сулил! Вы признаёте как будто, что между нами существует дружба, но что это за дружба, если она недостаточно сильна, чтобы растрогать вас моими страданиями, если вы все так же холодны и невозмутимы, в то время

как меня сжигает мучительный пламень, которого я не в силах погасить; если она не только не внушает вам доверия, но ее не хватает и на то, чтобы пробудить в вас жалость? Как, друг ваш страдает, а вы ничего не делаете, чтобы ему помочь! Он просит одного лишь слова, а вы ему отказываете! И вы хотите, чтобы он довольствовался таким слабым чувством, в котором вы ко всему еще боитесь лишний раз заверить его!

Вчера вы сказали, что не хотели бы быть неблагодарной. Ах, поверьте мне, мадемуазель, стремление заплатить за любовь дружбой означает не боязнь быть неблагодарной, а лишь страх показаться ею. Однако я больше не решаюсь говорить вам о чувстве, которое может быть лишь тягостным для вас, если оно вам чуждо. Я должен уметь хотя бы таить его, пока не научусь побеждать. Я хорошо понимаю, как это будет трудно; я не скрываю от себя, что мне понадобятся все мои силы; я испробую все средства; одно из них будет особенно мучительным для моего сердца: без конца повторять себе, что ваше сердце бесчувственно. Я постараюсь даже видеться с вами как можно реже и уже изыскиваю для этого подходящий предлог.

Как! Я вынужден буду отказаться от сладостной

привычки видеть вас каждый день! Ах, во всяком случае, я никогда не перестану сожалеть об этом. Вечное горе будет расплатой за нежнейшую любовь, и это случится по вашей вине, и это будет делом ваших рук. Я чувствую, что никогда не обрету вновь счастья, которое сейчас теряю. Лишь вы одна созданы были для моего сердца. С какой радостью дал бы я клятву жить только ради вас. Но вы не хотите принять ее. Ваше молчание ясно говорит мне, что в вашем сердце я не рождаю никакого отклика, оно лучше всего доказывает ваше равнодушие и одновременно самым жестоким способом дает мне это понять. Прощайте, мадемуазель.

Я не смею уже надеяться на ответ: любовь написала бы его, не медля ни минуты, дружба — с радостью, и даже жалость — с добрым чувством. Но и жалость, и дружба, и любовь равно чужды вашему сердцу.

Париж, 23 августа 17…

Письмо 29

От Сесили Воланж к Софи Карне

А ведь говорила тебе, Софи, бывают случаи, когда писать можно, и, уверяю тебя, раскаиваюсь,

что последовала твоему совету, причинившему нам — кавалеру Дансени и мне — столько горя. В доказательство, что я была права, скажу тебе, что госпожа де Мертей — женщина, во всех этих вещах уж наверно отлично разбирающаяся, — в конце концов стала думать как я. Я ей во всем призналась. Сперва она, правда, говорила то же, что и ты, но, когда я ей все объяснила, она согласилась, что это совсем другое дело. Она лишь требует, чтобы я показывала ей все мои письма и все письма кавалера Дансени, так как хочет быть вполне уверенной, что я пишу только так, как нужно. И теперь я совершенно спокойна. Боже мой, как я люблю госпожу де Мертей! Она так добра! И к тому же она женщина весьма уважаемая. Таким образом, против этого нечего и возразить.

С какой радостью напишу я господину Дансени, и как он будет доволен! Он обрадуется даже больше, чем думает, так как до сих пор я говорила ему только о дружбе, а он все время хотел, чтобы я сказала о своей любви. Я-то считаю, что это одно и то же, но все же не решалась, а он настаивал. Я сказала об этом госпоже де Мертей, и она ответила, что я права, что признаваться в любви нужно лишь тогда, когда молчать уже нет возможности.

А я как раз уверена, что больше у меня не хватит сил сдерживаться. В конце концов это ведь все равно, а ему будет приятнее.

Госпожа де Мертей сказала мне также, что даст мне книги, в которых обо всем этом говорится и которые научат меня правильно вести себя и писать лучше, чем я это делаю. Ибо, видишь ли, она указывает мне все мои недостатки, а это значит, что она меня крепко любит. Она только посоветовала мне ничего не говорить об этих книгах маме, потому что кто-нибудь, пожалуй, еще скажет, что она пренебрегала моим воспитанием, а это может ей быть неприятно. О, конечно, я ей ничего не скажу.

Как все же странно, что женщина, почти мне чужая, больше заботится обо мне, чем родная мать! Какое счастье для меня, что я с ней познакомилась!

Она попросила также у мамы позволения взять меня послезавтра в Оперу, в свою ложу. Мне она сообщила, что мы там будем одни и сможем все время беседовать, не опасаясь, что нас услышат. Это даже лучше, чем сама опера. Мы поговорим о моем замужестве, так как, по ее словам, я действительно вскоре должна выйти замуж, но нам не удалось пока поговорить об этом подробнее.

Кстати, не удивительно ли и то, что мама ни слова мне об этом не сказала?

Прощай, моя Софи. Иду писать кавалеру Дансени. О, я ужасно рада.

Из ***, 24 августа 17…

Письмо 30

От Сесили Воланж к кавалеру Дансени

Наконец, сударь, соглашаюсь я написать вам и заверить вас в моей дружбе, в моей любви, раз уж без этого вы будете несчастны. Вы говорите, что у меня нет сердечной доброты. Уверяю вас, что вы ошибаетесь, и надеюсь, что теперь у вас уж не осталось никаких сомнений. Если вы страдали оттого, что я вам не писала, то неужели вы думаете, что и я тоже не огорчалась? Но дело в том, что я ни за что на свете не хотела бы сделать чего-либо дурного, и я даже, наверно, не призналась бы в любви к вам, если бы могла удержаться, но ваша печаль была для меня слишком мучительной. Надеюсь, что теперь вы уж перестанете грустить и мы будем очень счастливы.

Я рассчитываю на удовольствие видеть вас сегодня вечером и на то, что вы придете пораньше; все равно это никогда не будет так рано, как мне

хотелось бы. Мама ужинает дома, и я думаю, что она пригласит вас остаться. Надеюсь, что вы не будете заняты, как позавчера. На том ужине, куда вы отправлялись, было, наверно, очень весело? Ведь вы поторопились уйти очень рано. Но не будем об этом говорить. Я надеюсь, что теперь, когда вы знаете, что я вас люблю, вы будете оставаться со мной так долго, как только сможете. Я ведь радуюсь только тогда, когда бываю с вами, и хотела бы, чтобы и для вас это было так же.

Я очень огорчена, что сейчас вы еще грустны, но это уж не по моей вине. Я попрошу вас принести мне арфу, как только вы придете, чтобы вы тотчас же получили мое письмо. Ничего лучшего придумать не могу.

Прощайте, сударь. Я очень люблю вас, всем сердцем. И чем чаще я об этом говорю, тем становлюсь счастливее. Надеюсь, что и вы будете счастливы.

Из ***, 24 августа 17…

Письмо 31

От кавалера Дансени к Сесили Воланж

Да, разумеется, мы будем счастливы. Счастье мое обеспечено, раз вы любите меня; вашему

никогда не будет конца, если оно продлится столько же, сколько любовь, которую вы мне внушили. Как! Вы любите меня, вы уже не боитесь уверить меня в своей любви! Чем чаще вы мне об этом говорите, тем вы счастливее! Прочтя это прелестное «я люблю вас», написанное вашей рукой, я тут же услышал это признание из ваших прекрасных уст. Я увидел, как на мне остановился пленительный этот взор, который нежное чувство сделал еще восхитительней. Я получил от вас клятву жить только для меня. Примите же и мою — посвятить всю мою жизнь вашему счастью, примите ее и будьте уверены, что я никогда ей не изменю.

Какой блаженный день провели мы вчера! Ах, почему у госпожи де Мертей не каждый день есть что сказать по секрету вашей маме? Почему мысль об ожидающих нас препятствиях должна примешиваться к сладостному воспоминанию, которое владеет мною? Почему не могу я беспрерывно держать в своих руках прелестную ручку, начертавшую мне слова «я люблю вас!», — покрывать ее поцелуями, хоть этим вознаграждая себя за ваш отказ в большей милости!

Скажите, моя Сесиль, когда ваша мама вернулась, когда ее присутствие вынудило нас

обмениваться лишь равнодушными взглядами, когда вы уже не могли уверениями в своей любви утешать меня в том, что не хотите мне ее доказать, — неужели не испытали вы ни малейшего сожаления, не сказали себе: «Поцелуй сделал бы его счастливее, но я сама лишила его этого счастья?» Обещайте мне, милый мой друг, что при первом же удобном случае вы окажетесь менее суровой. В этом обещании обрету я мужество перенести все превратности, уготованные нам судьбою, и жестокие лишения будут смягчены хотя бы уверенностью, что вы также сожалеете о них.

Прощайте, прелестная моя Сесиль, наступило время идти к вам. Я не в состоянии был бы сейчас покинуть вас, если бы не мысль, что я делаю это лишь для того, чтобы увидеться с вами. Прощайте, столь мною любимая! Вы, которую я буду любить все больше и больше!

Из ***, 25 августа 17…

Письмо 32

От госпожи де Воланж к президентше де Турвель

Итак, вы хотите, сударыня, чтобы я поверила в

добродетель господина де Вальмона? Признаюсь, что не могу на это решиться и что мне так же трудно считать его порядочным человеком на основании одного лишь факта, о котором вы рассказали, как и счесть порочным какого-нибудь благородного человека, узнав об одном лишь неблаговидном его поступке. Род человеческий не совершенен ни в чем — ни в дурном, ни в хорошем. Негодяй может иметь свои достоинства, как и честный человек — свои слабости. Мне представляется, что считать это истиной тем более важно, что именно отсюда вытекает необходимость снисхождения к злым так же, как и к добрым, и что истина эта одних предохраняет от гордыни, а других — от отчаяния. Вы, наверно, найдете, что в данном случае я не очень-то следую снисходительности, которую проповедую. Но я считаю ее лишь пагубной слабостью, если она ведет к тому, что мы начинаем одинаково относиться и к порочному и к благородному человеку.

Я не позволю себе доискиваться, по каким причинам господин де Вальмон совершил свой поступок. Готова верить тому, что они похвальны, как и сам этот поступок, но разве, несмотря на это, господин де Вальмон не занимался всю

свою жизнь тем, что вносил в честные семьи смятение, бесчестие и позор? Прислушивайтесь, если хотите, к голосу несчастного, которому господин де Вальмон оказал помощь, но пусть голос этот не заглушает вопли сотен жертв, которых он погубил. Если он, как вы говорите, лишь пример того, как опасны бывают связи, то разве от этого он сам перестает быть опасной связью? Вы считаете его способным возвратиться на путь истинный? Пусть так; предположим даже, что чудо это совершилось. Но ведь общественное мнение будет по-прежнему против него, и разве этого недостаточно для того, чтобы руководить вашим поведением? Одному Господу дано прощать в миг раскаянья: ведь он читает в сердцах. Но люди могут судить о намерениях лишь по поступкам, и никто из них, потеряв уважение других людей, не имеет права жаловаться на законное недоверие, вследствие которого утраченное уважение восстанавливается с таким трудом. Подумайте в особенности, юный друг мой, что иногда для того, чтобы потерять его, достаточно лишь напустить на себя вид, будто слишком мало его ценишь. И не считайте подобную строгость несправедливою, ибо, с одной стороны, есть все основания полагать, что человек не отказывается от столь

ценного блага, если имеет право на него притязать, а с другой стороны, действительно, тот, кого не сдерживает эта мощная узда, всегда находится ближе к злу. А ведь именно такой вид имели бы вы в глазах общества, если бы у вас завязалась близкая дружба с господином де Вальмоном, как бы она ни была невинна.

Меня испугала горячность, с какою вы его защищаете, и потому я спешу предвосхитить вероятные ваши возражения. Вы назовете мне госпожу де Мертей, которой простили эту связь. Вы спросите, почему я его принимаю. Вы скажете, что он не только не отвергнут порядочными людьми, но что он принят и даже пользуется успехом в так называемом избранном обществе. Я думаю, что смогу ответить вам на все.

Что до госпожи де Мертей, то она, будучи действительно достойной всяческого уважения, имеет, может быть, лишь тот недостаток, что чрезмерно уверена в собственных силах: она ловкий возница, которому забавно ехать, лавируя среди скал и над пропастями, и которого оправдывает лишь успех. Справедливо хвалить ее за это, но опасно было бы следовать ее примеру: она сама согласна с этим и порицает себя. По мере того как увеличивается ее жизненный опыт,

она становится строже, и я не побоюсь заверить вас, что в данном случае она была бы со мной согласна.

Что до меня лично, то я не стану оправдывать себя больше, чем других. Конечно, я принимаю господина де Вальмона, и он всеми принят: это еще одна непоследовательность наряду с тысячью других, которые управляют обществом. Вы не хуже меня знаете, что все замечают их, сетуют на них и продолжают им подчиняться. Господин де Вальмон — человек с хорошим именем, большим состоянием, множеством приятных качеств — рано осознал, что для того чтобы подчинить себе общество, достаточно уметь с одинаковой ловкостью пользоваться похвалой и насмешкой. Никто не владеет в такой степени этим двойным даром: при помощи одного он обольщает, другой внушает к нему страх. Его не уважают, но ему льстят. Таково положение, занимаемое им в нашем свете, который, будучи более осторожным, чем мужественным, предпочитает не бороться с ним, а жить в мире.

Но ни сама госпожа де Мертей и никакая другая женщина, наверно, не осмелилась бы запереться где-то в деревне почти наедине с подобным человеком. И самой скромной, самой благонравной из

всех суждено было подать пример такой беззаботности! Простите мне это слово: оно продиктовано дружбой. Милый мой друг, сама ваша честность, внушая вам чувство безопасности, предает вас. Подумайте, что судьями будут, с одной стороны, люди ветреные, не склонные верить в добродетель, которой им не обнаружить в своей среде, а с другой — злонамеренные, которые станут делать вид, что не верят в нее, чтобы отомстить вам за то, что вы ею обладаете. Подумайте: на то, что вы сейчас делаете, не решились бы и многие мужчины. Право же, среди молодых людей, чьим слишком уж бесспорным оракулом является господин де Вальмон, наиболее благоразумные опасаются казаться слишком близко связанными с ним. А вы, вы этого не боитесь! Ах, возвращайтесь, возвращайтесь скорей, заклинаю вас… Если доводов моих недостаточно, чтобы убедить вас, уступите хотя бы моему дружескому чувству. Это оно заставляет меня возобновлять настояния, и оно должно оправдать их. Вам оно покажется слишком строгим, а я хотела бы, чтобы призыв его оказался излишним. Но я предпочитаю, чтобы вы больше жаловались на чрезмерную заботливость моей дружбы, чем на ее нерадивость.

Из ***, 24 августа 17…

Письмо 33

От маркизы де Мертей к виконту де Вальмону

Раз вы страшитесь успеха, любезный виконт, раз вы сами намерены снабдить противника оружием и меньше стремитесь победить, чем сражаться, мне больше нечего сказать вам. Поведение ваше — верх осмотрительности. Не будь так, оно было бы верхом глупости. По правде сказать, я боюсь, что вы сами себя обманываете.

Упрекаю я вас не за то, что вы упустили момент. С одной стороны, я не очень уверена, что он наступил, а с другой стороны, несмотря на все, что по этому поводу говорится, я отлично знаю, что упущенный случай всегда может снова представиться, меж тем как опрометчивый шаг не всегда удается исправить.

Но настоящий ваш промах в том, что вы затеяли переписку. Сомневаюсь, чтобы вы в состоянии были предусмотреть сейчас, к чему это может привести. Уж не рассчитываете ли вы доказать этой женщине, что она должна сдаться? Мне представляется, что истиной этой проникаются под влиянием чувства, а не силою рассуждения, и, чтобы убедить в ней, надо не доказывать, а рас-

трогать. Но какой смысл растрогать письмами, раз вас самого не будет тут же, чтобы воспользоваться случаем? Пусть даже ваши красноречивые фразы вызовут любовное опьянение, — уж не обольщаете ли вы себя надеждой, что оно продлится достаточно долго, чтобы размышление не успело воспрепятствовать признанию? Подумайте, сколько времени потребуется для письма и сколько времени пройдет, пока письмо передадут по назначению, и прежде всего поразмыслите, может ли женщина с правилами, вроде этой вашей ханжи, долго хотеть того, чего она старается никогда не хотеть. Этот способ годится с девчонками, которые могут писать «я люблю вас», не сознавая, что тем самым говорят «я готова сдаться». Но, по-моему, рассудительная добродетель госпожи де Турвель отлично понимает значение слов. Вот почему, несмотря на преимущество, которое вы над ней получили в беседе, она нанесла вам поражение в письме. А знаете ли вы, что происходит в дальнейшем? Из-за одного того, что начал спорить, не хочешь уступать. Подыскивая все время убедительные доводы, находишь их, а потом держишься за них не столько потому, что они так уж хороши, сколько для того, чтобы не проявить непоследовательности.

К тому же — удивляюсь, как вы этого сами не заметили! — труднее всего в любовных делах — это писать то, чего не чувствуешь. Я имею в виду — правдоподобно писать: пользуешься ведь все одними и теми же словами, но располагаешь их не так, как следует, или, вернее сказать, располагаешь их по порядку — и всё тут. Перечитайте свое письмо: оно написано так последовательно, что каждая фраза выдает вас с головой. Охотно верю, что президентша ваша достаточно неопытна, чтобы этого не заметить, но разве это важно? Должного впечатления оно все равно не произведет. Это как в большинстве романов: автор из сил выбивается, стараясь изобразить пыл, а читатель остается холодным. Единственное исключение — «Элоиза». И, несмотря на весь талант ее автора, именно это наблюдение всегда внушало мне мысль, что в основе «Элоизы» лежит истинное происшествие. Не то, когда говоришь. Имея привычку владеть своим голосом, легко придаешь ему чувствительность, а к этому добавляется уменье легко проливать слезы. Взгляд горит желанием, но оно сочетается с нежностью. Наконец, при некоторой бессвязности живой речи легче изобразить смятение и растерянность, в которых и состоит подлинное красноречие любви.

В особенности же присутствие предмета нашей любви мешает нам рассуждать и заставляет желать поражения. Поверьте мне, виконт, раз вас просят больше не писать, воспользуйтесь этим, чтобы исправить свою ошибку, и ждите случая заговорить. Знаете ли, эта женщина сильнее, чем я думала. Она умело защищается, и если бы письмо не было таким длинным и фразой насчет благодарности она не давала вам повод начать все заново, то совсем не выдала бы себя.

Мне кажется, вы можете быть уверены в успехе уже потому, что она тратит слишком много сил сразу. Я предвижу, что она исчерпает их в словесной защите, а на защиту самой себя у нее уже ничего не останется.

Возвращаю вам оба ваши письма, и, если вы склонны соблюдать осторожность, они будут последними до мгновения, когда вы обретете счастье. Жаль, уже поздний час, а то я поговорила бы с вами о маленькой Воланж, — она делает большие успехи, и я ею очень довольна. Кажется, я добьюсь своего раньше, чем вы; радуйтесь этому, виконт. На сегодня — прощайте.

Из***, 24 августа 17…

Письмо 34

От виконта де Вальмона к маркизе де Мертей

Вы необыкновенно красноречивы, прелестный мой друг, но зачем так выбиваться из сил, доказывая всем известные вещи? Чтобы добиться успеха в любви, лучше говорить, чем писать: вот, кажется, все, к чему сводится содержание вашего письма. Но ведь это же самые азы искусства обольщения. Замечу только, что вы делаете лишь одно исключение из этого правила, а между тем их два. К девочкам, которые вступают на этот путь из робости и отдаются по неведению, надо прибавить умничающих, которые вступают на него из самолюбия и которых тщеславие заманивает в силки. Так, например, я уверен, что графиня де Б***, сразу ответившая на мое первое письмо, тогда любила меня не больше, чем я ее, и что она усматривала в переписке лишь возможность с некоторым блеском поговорить на тему любви.

Как бы то ни было, любой адвокат скажет вам, что общее правило отнюдь не всегда применимо к каждому данному случаю. Вы вот полагаете, что у меня имеется выбор между перепиской и живой

речью, а дело обстоит не так. После того, что произошло девятнадцатого, бесчеловечная заняла оборонительные позиции и принялась избегать встреч, проявляя гораздо больше ловкости, чем я. Если так будет продолжаться, она вынудит меня всерьез подумать о способах получить в этом деле перевес. Ибо я, безусловно, не допущу, чтобы она хоть в чем-либо одержала победу. Даже письма мои служат поводом для маленькой войны. Не довольствуясь тем, что она оставляет их без ответа, она отказывается даже принимать их. При каждом письме надо прибегать к какой-нибудь хитрости, и они далеко не всегда удаются.

Вы помните, каким простым способом я передал ей первое письмо. Со вторым тоже было не труднее. Она попросила меня вернуть ей ее письмо, а я вместо того передал мое, не возбудив ни малейшего подозрения. Но то ли от досады, что я провел ее, то ли по капризу, то ли, наконец, из-за своей добродетели — ибо в конце концов она заставит меня в эту добродетель поверить, — она упорно отказывается принять третье. Однако я надеюсь, что неудобное положение, в которое ее едва не поставил этот отказ, исправит ее на будущее время.

Я был не слишком удивлен, когда она отказа-

лась принять письмо, которое я ей просто подал: это уже означало бы пойти на известную уступку, а я ожидаю более длительной обороны. После этой попытки, предпринятой, так сказать, мимоходом, для пробы, я вложил свое письмо в другой конверт и, избрав час ее туалета, когда с нею находилась госпожа де Розмонд и служанка, послал его с моим егерем, велев ему сказать ей, что это бумага, которую она у меня просила. Я верно угадал, что она побоится неудобного объяснения, к которому принудил бы ее отказ. И действительно, она взяла письмо, и мой посланец, которому сказано было приглядеться к выражению ее лица, заметил лишь легкий румянец — скорее смущения, чем гнева.

Поэтому я радовался, вполне уверенный, что либо она оставит это письмо у себя, либо, если пожелает вернуть его, ей придется побыть со мной наедине, что дало бы мне возможность поговорить с ней. Но примерно через час один из ее слуг является в мою комнату и передает мне от своей госпожи пакет иного вида, чем был мой; на конверте же я узнаю столь желанный мне почерк. Поспешно распечатываю…

В пакете находилось мое же собственное письмо, не распечатанное и лишь сложенное вдвое.

Подозреваю, что на эту дьявольскую хитрость натолкнуло ее опасение, как бы я не оказался менее, чем она, щепетильным насчет огласки.

Вы знаете меня, и вам незачем описывать мое бешенство. Пришлось, однако, вновь обрести хладнокровие и изыскивать новые способы. Вот что я придумал.

Отсюда каждый день посылают за письмами на почту, находящуюся примерно в трех четвертях лье от замка. Для этой цели пользуются запертым ящиком, наподобие церковной кружки для сбора пожертвований, один ключ от которого хранится у начальника почты, а другой — у госпожи де Розмонд. Каждый из обитателей замка опускает в него свои письма в любое время в течение дня, и вечером их относят на почту, а утром приносят с почты письма, адресованные в замок. Все слуги, как хозяйские, так и посторонние, выполняют эту обязанность поочередно. Была очередь не моего слуги, но он вызвался пойти на почту под предлогом, что в ту сторону ему надо по делу.

Я же написал свое письмо. На конверте я изменил почерк и довольно удачно подделал дижонский почтовый штемпель, потому что мне казалось забавным, добиваясь тех же прав, что и муж, писать оттуда, где он находится, а также и

потому, что прелестница моя весь день говорила, что очень хотела бы получить письма из Дижона. Я счел за благо доставить ей это удовольствие.

Приняв все эти меры предосторожности, легко было присоединить это письмо к прочим. Благодаря такому способу я выиграл и возможность быть свидетелем того, как оно будет принято, ибо здесь в обычае, собравшись к завтраку, ждать доставки писем, прежде чем разойтись. Наконец принесли письма.

Госпожа де Розмонд открыла ящик. «Из Дижона», — сказала она, передавая письмо госпоже де Турвель. «Это не почерк мужа», — заметила та с беспокойством, поспешно ломая печать. С первого же взгляда она поняла, в чем дело, и лицо ее так изменилось, что госпожа де Розмонд обратила на это внимание и спросила: «Что с вами?» Я тоже подошел со словами: «В этом письме что-нибудь ужасное?» Робкая богомолка глаз не смела поднять, не произносила ни слова и, чтобы скрыть смущение, делала вид, что пробегает глазами послание, которого не в состоянии была прочесть. Я наслаждался ее смятением и, будучи не прочь слегка подразнить ее, добавил: «Вы как будто успокоились. Можно надеяться, что это письмо скорее удивило, чем огорчило вас».

Тогда гнев вдохновил ее лучше, чем могла бы сделать осторожность. «В этом письме, — ответила она, — содержатся вещи, которые меня оскорбляют, и я удивляюсь, как мне осмелились их написать». — «Кто же это?» — прервала госпожа де Розмонд. «Оно без подписи, — ответила разгневанная красавица, — но и письмо, и автор его вызывают во мне одинаковое презрение. Меня бы очень обязали, если бы больше не заговаривали со мной о нем». С этими словами она разорвала дерзновенное послание, сунула клочки в карман, встала и вышла из комнаты. Но сколько бы она ни гневалась, а письмо все же было у нее, и я надеюсь, что любопытство побудило ее прочитать его целиком.

Подробное описание этого дня завело бы меня слишком далеко. Приложу черновики обоих моих писем: вы будете осведомлены не хуже меня самого. Если вы хотите быть в курсе этой переписки, придется вам научиться разбирать мои каракули, ибо ни за что на свете не соглашусь я на скуку еще раз переписывать их набело. Прощайте, мой милый друг.

Из***, 25 августа 17…

Письмо 35

От виконта де Вальмона к президентше де Турвель

Я должен повиноваться вам, сударыня, я должен доказать вам, что, несмотря на все мои прегрешения, в которые вам угодно верить, у меня все же достаточно чуткости, чтобы не позволить себе ни единого упрека, и довольно мужества, чтобы заставить себя принести самые тяжкие жертвы. Вы предписываете мне молчание и забвение! Что ж, я заставлю свою любовь молчать и позабуду, если окажусь в силах, жестокость, с которой вы к ней отнеслись. Разумеется, желание быть вам угодным еще не давало мне на это права, и я готов признать: одно лишь то, что мне так нужна ваша снисходительность, не было еще достаточным основанием добиться ее от вас. Но, усматривая в любви моей оскорбление, вы забываете, что если это грех, то вы сами одновременно и причина его, и оправдание. Забываете вы также, что я уже привык открывать вам свою душу даже тогда, когда доверчивость могла принести мне вред, и уже не в состоянии был скрывать от вас обуревающие меня чувства. Вы же считаете следствием

моей дерзости то, что порождено чистосердечной откровенностью. В награду за любовь самую нежную, самую благоговейную, самую подлинную вы отбрасываете меня далеко от себя. Вы говорите мне даже о своей ненависти… Кто бы не стал жаловаться на подобное обращение? Один я покоряюсь и безропотно все переношу: вы наносите мне удары, а я продолжаю поклоняться вам. Немыслимая власть ваша надо мною делает вас самодержавной владычицей моих чувств, и если противостоит вам одна лишь любовь моя, если ее вы не в силах разрушить, то лишь потому, что она — ваше творение, а не мое.

Я не прошу взаимности, ибо никогда не обольщался надеждой на нее. Я не жду даже и жалости, хотя мог бы на нее надеяться, помня о внимании, которое вы ко мне порой проявляли. Но, признаюсь, мне кажется, я могу просить о справедливости.

Я узнал от вас, сударыня, что кто-то постарался повредить мне в ваших глазах. Если бы вы следовали советам друзей, то не позволили бы мне даже приблизиться к вам — таковы собственные ваши слова. Кто же эти столь ревностные друзья? Несомненно, люди столь строгие, столь неподкупно добродетельные не стали бы возра-

жать, если бы вы их назвали. Несомненно, они не пожелали бы остаться в тени, что смешало бы их с самыми низкими клеветниками, и мне не останутся неизвестными ни имена их, ни обвинения. Подумайте, сударыня, что, раз вы судите меня на этом основании, я имею право узнать и то, и другое. Подсудимому не выносят приговора, не сказав, в чем он обвиняется, и не назвав обвинителей. Я не прошу никакой иной милости и заранее ручаюсь, что сумею оправдаться, сумею заставить их отречься от своих обвинений.

Если я, быть может, слишком презирал пустую молву людей, чьим мнением мало дорожу, то ваше уважение — дело совсем иное, и если я готов всю жизнь посвятить тому, чтобы завоевать его, то не позволю никому безнаказанно отнять его у меня. Оно для меня тем драгоценнее, что ему я буду, без сомнения, обязан просьбой, с которой вы опасаетесь ко мне обратиться и которая, по вашим словам, дала бы мне право на вашу признательность. Ах, я не только не стал бы домогаться ее, я, напротив, вам был бы обязан ею, если бы вы дали мне возможность сделать вам приятное. Начните же с того, чтобы отнестись ко мне более справедливо, и не скрывайте, чего бы вы от меня желали. Если бы я мог догадаться, в

чем дело, то освободил бы вас от труда самой заговаривать об этом. К радости видеть вас добавьте счастье послужить вам, и я стану восхвалять вашу доброту. Что может останавливать вас? Не боязнь же отказа, надеюсь? Я чувствую, что этого не в силах был бы вам простить. То, что я не возвращаю вам вашего письма, — не отказ. Больше, чем вы, хотел бы я, чтобы оно не было мне необходимо. Но я, привыкнув верить, что у вас нежная душа, я лишь в этом письме обретаю вас такой, какой вы стремитесь казаться. Когда я молю небо о том, чтобы вы стали чувствительней, — из вашего письма заключаю я, что вы скрылись бы за сотню лье от меня скорее, чем согласились бы на это. Когда все в нас усиливает и оправдывает мою любовь, оно снова повторяет мне, что любовь моя для вас — оскорбление; и когда, видя вас, любовь эту я считаю высшим благом, мне надо прочитать написанное вами, чтобы убедиться, что она — лишь жестокая пытка. Теперь вам будет понятно, что самым большим счастьем для меня было бы иметь возможность вернуть вам это роковое письмо. Требовать его у меня и теперь — означало бы разрешить мне не верить больше тому, что в нем написано. Надеюсь, вы не сомневаетесь, с какой готовностью вернул бы

я вам его.

Из***, 25 августа 17…

Письмо 36

От виконта де Вальмона к президентше де Турвель (с дижонским штемпелем)

С каждым днем, сударыня, усиливается ваша суровость, и, смею сказать, вы, по-видимому, менее страшитесь быть несправедливой, чем проявить снисходительность. После того как вы осудили меня, даже не выслушав, вы, надо полагать, почувствовали, что вам проще будет не читать моих доводов, чем отвечать на них. Вы упорно отказываетесь принимать мои письма и с презрением возвращаете их. Вы, наконец, принуждаете меня хитрить именно тогда, когда единственная моя цель — убедить вас в моем чистосердечии. Вы довели меня до необходимости защищаться, и пусть это будет достаточным извинением для тех средств защиты, к которым я прибегаю. Кроме того, искренность моего чувства убеждает меня, что для его оправдания в ваших глазах достаточно будет, если вы лучше его узнаете, и лишь потому я позволил себе эту небольшую хитрость. Смею надеяться также, что

вы мне ее простите и вас не удивит, что любовь более изобретательна в способах проявить себя, чем равнодушие — в преградах, которые оно ставит любви.

Позвольте же, сударыня, сердцу моему до конца открыться перед вами. Оно принадлежит вам, и нужно, чтобы вы его знали.

Приехав к госпоже де Розмонд, я ни в малейшей степени не предвидел ожидающей меня участи. Я понятия не имел, что вы у нее гостите, и со свойственной мне правдивостью добавлю, что, знай я даже об этом, мой душевный покой отнюдь не был бы нарушен. Не то чтобы я не отдавал красоте вашей то должное, в чем ей невозможно отказать, но, привыкший к тому, чтобы испытывать одни только желания и предаваться лишь тем из них, которые поощряет надежда, я не знал мук настоящей любви.

Вы были свидетельницей настоятельных просьб и уговоров госпожи де Розмонд, желавшей удержать меня на некоторое время. Я уже провел один день в вашем обществе; тем не менее я уступил, или же мне казалось, что я уступил лишь естественному и законному стремлению оказать внимание уважаемой мною родственнице. Образ жизни, который мы здесь вели, разумеется, весь-

ма отличался от привычного для меня. Однако я безо всякого труда приспособился к нему, и, не пытаясь разобраться в причинах происшедшей во мне перемены, я опять же приписывал ее лишь легкости своего характера, о которой, кажется, вам уже говорил.

К несчастью (но почему это должно было быть несчастьем?), ближе познакомившись с вами, я вскоре понял, что чарующий облик, поразивший меня сперва, был наименьшим из ваших достоинств: ангельская душа ваша изумила, покорила мою душу. Я восхищался красотой, я стал поклоняться добродетели. Не притязая на обладание вами, я старался вас заслужить. Прося вашей снисходительности за прошлое, я мечтал о сочувствии на будущее. Я искал его в ваших речах, подстерегал у вас во взоре, в этом взоре, источавшем яд тем более губительный, что изливался он не намеренно, а принимался мною безо всякого подозрения.

Тогда и познал я любовь. Но как далек был я от того, чтобы на это жаловаться! Твердо решив наложить на нее печать молчания, я без опасений и без удержу отдался этому сладостному чувству. С каждым днем власть его надо мной увеличивалась. Вскоре радость видеть вас превратилась для

меня в необходимость. Стоило вам на мгновение удалиться, и сердце мое сжимала тоска; от звука шагов, возвещавших мне ваше возвращение, оно радостно трепетало. Я существовал лишь благодаря вам и для вас. И, однако, — призываю вас же в свидетели — посреди резвых игр или в пылу беседы о вещах значительных вырвалось ли у меня когда-нибудь хоть одно слово, которое выдавало бы тайну моего сердца?

Наконец наступил день, положивший начало моему злосчастью, и по воле некоего непостижимого рока сигналом для него явился великодушный поступок. Да, сударыня, именно среди бедняков, которым я оказал помощь, вы, поддавшись благороднейшей чувствительности, которая украшает самое красоту и делает еще драгоценнее добродетель, вы окончательно смутили сердце, и без того опьяненное неукротимой любовью. Может быть, вы припомните, какая озабоченность охватила меня по возвращении? Увы! Я пытался бороться с влечением, становившимся уже сильнее меня.

После того как силы мои уже иссякли в неравной борьбе, случай, которого нельзя было предвидеть, оставил меня наедине с вами. Тут — признаюсь в этом — я поддался искушению.

Переполненное сердце мое не смогло сдержать речей и слез. Но разве это преступление? А если и так, то разве я недостаточно наказан за него одолевающими меня жестокими муками?

Пожираемый безнадежной любовью, я молю вас о жалости, а в ответ получаю ненависть. У меня нет иного счастья, как видеть вас, глаза мои невольно обращаются к вам, но я трепещу при мысли, что могу встретиться с вами взглядом. Вы повергли меня в мучительное состояние: днем я стараюсь не обнаруживать своих терзаний, а ночами предаюсь им. Вы же в своем невозмутимом спокойствии узнаете об этих страданиях лишь постольку, поскольку являетесь их причиной, и радуетесь им. И при этом жалобы исходят от вас, а оправдываться вынужден я.

Однако же таков, сударыня, правдивый рассказ о том, что вы именуете моими прегрешениями и что, может быть, справедливее было бы назвать бедствием. Чистая, искренняя любовь, неизменная почтительность, полная покорность — вот чувства, мне вами внушенные! Я не побоялся бы повергнуть их даже перед божеством. О вы, лучшее его творение, подражайте ему в милосердии! Подумайте о моих жестоких мучениях, подумайте в особенности о том, что благодаря

вам разрываюсь я между отчаянием и блаженством и что первое же произнесенное вами слово навсегда решит мою участь.

Из***, 23 августа 17…

Письмо 37

От президентши де Турвель к госпоже де Воланж

Я подчиняюсь, сударыня, советам, которые дает мне ваша дружба. Я настолько привыкла руководствоваться во всем вашими мнениями, что охотно верю в их неизменную правоту. Готова да— же признать, что господин де Вальмон, по-видимому, действительно крайне опасный человек, раз он может одновременно и притворяться таким, каким он кажется здесь, и быть на самом деле таким, каким вы его рисуете. Как бы то ни было, но, раз вы настаиваете, я удалю его от себя, во всяком случае — сделаю для этого все возможное, ибо зачастую вещи, которые по существу должны были бы быть вполне простыми, оказываются весьма затруднительными.

По-прежнему я считаю невозможным просить об этом его тетушку. Такая просьба явилась бы обидной для них обоих. Не хотелось бы мне и

уезжать самой: если, помимо относящихся к господину де Турвелю причин, о которых я вам уже говорила, мой отъезд, что вполне возможно, раздосадует господина де Вальмона, ему ведь очень легко будет последовать за мною в Париж.

И разве его возвращение, причиной которого я буду или представлюсь в глазах общества, не покажется более странным, чем встреча в деревне у особы, являющейся, как всем известно, его родственницей и моим другом?

Мне, следовательно, остается лишь одно: добиться от него, чтобы он сам соблаговолил уехать. Я понимаю, что предложить ему это довольно трудно. Однако поскольку он, видимо, хочет доказать мне, что в нем больше порядочности, чем все полагают, я не отчаиваюсь в успехе. Я даже не против того, чтобы попытаться это сделать и таким образом получить возможность убедиться, действительно ли, как он часто говорит, подлинно честные женщины не имеют и никогда не будут иметь поводов жаловаться на его поведение. Если он уедет, как я того желаю, это и вправду будет из внимания ко мне, ибо я не сомневаюсь, что он хотел бы провести здесь большую часть осени. Если на просьбу мою он ответит отказом и, проявив упрямство, останется, я всегда успею

сама уехать и обещаю вам, что сделаю это.

Вот, сударыня, кажется, и все, чего требовала от меня ваша дружба. Спешу исполнить ваше желание и доказать вам, что, несмотря на горячность, с которой я защищала господина де Вальмона, я тем не менее готова не только прислушиваться к советам моих друзей, но и следовать им.

Имею честь и т. д.

Из***, 25 августа 17…

Письмо 38

От маркизы де Мертей к виконту де Вальмону

Только что я получила от вас огромный пакет, любезный виконт. Если дата на нем верна, его должны были бы доставить на сутки раньше. Во всяком случае, если я выберу время ознакомиться с ним, то уж не успею ответить. Поэтому я предпочитаю лишь уведомить вас о получении его, а поговорим сегодня мы о другом. Это отнюдь не значит, что мне есть чем с вами поделиться. Осенью в Париже почти не остается мужчин, имеющих человеческий облик. Из-за этого я уже с месяц, как веду себя убийственно благонравно, и всякий другой на месте моего кавалера устал бы от доказательств моего постоянства. Не заня-

тая настоящим делом, я развлекаюсь маленькой Воланж и о ней-то и хочу с вами поговорить.

Знаете ли, что вы потеряли больше, чем думаете, отказавшись заняться этой девочкой? Она поистине очаровательна! Ни характера, ни правил; судите же, как легко и приятно находиться в ее обществе. Не думаю, чтобы она когда-нибудь блеснула силой чувства, но все свидетельствует о натуре, жадной до ощущений.

О

Не имея ни ума, ни хитрости, она обладает известной, если можно так выразиться, природной лживостью, которой я сама иногда удивляюсь и которой уготован тем больший успех, что обликом своим эта девушка — само простодушие и невинность. От природы она очень ласкова, и порою это меня забавляет. Ее маленькую головку необыкновенно легко разгорячить, и тогда она становится тем более занятной, что не знает ничего, абсолютно ничего о том, что ей так хотелось бы знать. Ее охватывает пресмешное нетерпение: она смеется, сердится, плачет, а затем с совершенно пленительным простодушием начинает просить меня просветить ее. Право же, я почти ревную ее к тому, на чью долю выпадет это удовольствие.

Не знаю, сообщала ли я вам, что вот уже четыре или пять дней, как я имею честь быть ее наперсницей. Вы, конечно, догадываетесь, что сперва я напустила на себя строгость, но, как только заметила, что она вообразила, будто меня убедили ее шаткие доводы, я сделала вид, что считаю их превосходными. Она же всей душой убеждена, что достигла такого успеха своим красноречием: мне пришлось принять эту меру предосторожности, чтобы не скомпрометировать себя. Я позволила ей написать и даже употребить в письме слово «люблю», и в тот же день, хоть она об этом даже не подозревала, я устроила ей свидание наедине с ее Дансени. Но он, представьте себе, настолько еще простачок, что не добился от нее даже поцелуя! И, однако, мальчик этот пишет премилые стихи! Бог мой, до чего же все такие умники глупы! Этот глуп настолько, что я просто теряюсь: им-то я ведь руководить не могу.

Вот сейчас вы были бы мне очень полезны. Вы достаточно дружны с Дансени, чтобы он мог вам довериться, а если бы он это сделал, мы бы сразу сильно продвинулись вперед. Расшевелите же свою президентшу; я ни за что не хочу, чтобы для Жеркура все обошлось благополучно. Впрочем, вчера я поговорила о нем с этой юной особой и

так его расписала, что он стал ей ненавистен не меньше, чем если бы она уже десять лет была его женой. Однако я произнесла целую проповедь насчет супружеской верности: в этом вопросе я непримиримо строга. Таким образом, я, с одной стороны, восстанавливаю в ее глазах свою добродетельную репутацию, которой могла бы повредить чрезмерная снисходительность, с другой — усиливаю в ней ненависть к будущему мужу, которой хочу его наградить. И, наконец, я надеюсь, что, если удастся убедить ее в том, что ей дозволено предаваться любви лишь в течение ее уже недолгого девичества, она тем скорее решит не терять оставшегося времени.

Прощайте, виконт. Сейчас я приступаю к своему туалету и начну читать присланный вами том.

Из***, 27 августа 17…

Письмо 39

От Сесили Воланж к Софи Карне

Меня одолевают грусть и тревога, дорогая моя Софи. Почти всю ночь я проплакала. Не то чтобы в данный момент я не была счастлива, но только я предвижу, что это ненадолго.

Вчера я была в Опере с госпожой де Мертей; мы много говорили насчет моего замужества, и ничего хорошего я от нее не узнала. Выйти я должна за графа де Жеркура, и это будет в октябре. Он богат, знатен, командует полком. Пока все это отлично. Но, во-первых, он стар: представь себе, ему не менее тридцати шести лет! И, кроме того, госпожа де Мертей говорит, что он человек хмурый, строгий, и она опасается, что счастлива я с ним не буду. Я даже заметила, что она в этом вполне уверена, а прямо говорить не хочет, чтобы не огорчать меня. Почти весь вечер она говорила мне об обязанности жен по отношению к мужьям. Она признает, что господин де Жеркур человек совсем неприятный, и все же говорит, что я должна буду любить его. И еще она сказала, что, когда я выйду замуж, мне уже нельзя будет любить кавалера Дансени. Да разве же это возможно! О, уверяю тебя, я всегда буду его любить. Знаешь, я уж лучше предпочла бы совсем не выходить замуж. Пусть этот господин де Жеркур устраивается как знает, я ведь его не искала. Сейчас он на Корсике*, очень далеко отсюда; пусть бы он там оставался десять лет. Если бы я не боялась очутиться в монастыре, я бы уже сказала маме, что не пойду за него. Но это было бы только хуже. Не знаю, право, что и

делать. Я чувствую, что никогда не любила господина Дансени так, как сейчас, и когда подумаю, что мне остается лишь месяц жить по-старому, у меня на глаза тотчас же навертываются слезы. Единственное мое утешение — дружба с госпожой де Мертей. У нее такое доброе сердце! Она разделяет все мои горести и так мила, что когда я с нею, то почти перестаю о них думать. К тому же она мне очень полезна, ибо тому немногому, что я знаю, научила меня она, и она такая добрая, что мне нисколько не стыдно делиться с нею всеми моими мыслями. Если она найдет что-нибудь нехорошим, то иногда и пожурит меня, но ласково, а потом я целую ее от всего сердца, пока она не перестанет сердиться. Ее-то я уж могу любить, сколько захочу, и ничего дурного тут не будет, чему я ужасно рада. Однако мы условились, что я не стану показывать, как сильно люблю ее, на людях, особенно же при маме, чтобы она ничего не заподозрила по поводу кавалера Дансени. Уверяю тебя, что если бы я могла всегда жить, как сейчас, мне кажется, я была бы совсем счастлива. Только вот этот противный господин де Жеркур… Но не стану больше вспоминать о нем, а то опять загрущу. Вместо того сяду писать кавалеру Дансени: буду говорить ему только о своей любви, а не

о горестях, так как не хочу огорчать его.

Прощай, мой милый друг. Ты сама видишь, что жаловаться тебе не на что и, несмотря на мою занятость, как ты выражаешься, у меня остается время и любить тебя, и писать тебе[13].

Из ***, 27 августа 17…

Письмо 40

От виконта де Вальмона к маркизе де Мертей

Моей жестокосердой мало того, что она не отвечает на мои письма и отказывается их принимать. Она хочет лишить меня возможности видеть ее, она требует, чтобы я уехал. И еще больше удивит вас, что я подчинюсь этой жестокости. Вы меня осудите. Однако я счел, что не должен упускать случая получить от нее приказание, ибо убежден, что, с одной стороны, тот, кто повелевает, сам себя отчасти связывает, а с другой — что кажущаяся власть, которую мы будто бы предоставляем над собой женщинам, является одной из тех ловушек, в которые им особенно трудно не попасться. Вдобавок она с такой ловкостью

[13] Примечания: 13

Мы по-прежнему опускаем письма Сесили Воланж и кавалера Дансени, как малоинтересные и не содержащие никаких событий.

избегала всех случаев остаться со мной наедине, что это поставило меня в опасное положение, из которого мне, по-моему, следовало выбраться любой ценой, ибо я беспрестанно находился в ее обществе, не имея в то же время возможности занять ее своей любовью, и можно было опасаться, что под конец она привыкнет видеть меня без волнения. А вы сами знаете, как трудно изменить такое расположение духа.

Впрочем, вы догадываетесь, что, подчинившись, я поставил свои условия. Я даже позаботился о том, чтобы среди них оказалось одно невыполнимое. Это нужно мне для того, чтобы я волен был или сдержать свое слово, или нарушить его, а также для того, чтобы затеять устный или письменный спор в момент, когда прелестница моя особенно довольна мной или когда ей нужно, чтобы я был доволен ею. Не говорю уж о том, что я проявил бы слишком большую неловкость, если бы не сумел добиться какой-нибудь награды за отказ от данного притязания, как бы оно ни было невыполнимо.

Изложив вам в этом длинном вступлении свои доводы, сообщаю о событиях последних дней. В качестве документов прилагаю письмо моей прелестницы и мой ответ. Согласитесь, что мало

найдется летописцев столь точных, как я.

Вы помните, какое впечатление произвело позавчера утром мое письмо из Дижона. Остаток дня прошел довольно бурно. Прекрасная недотрога явилась лишь к самому обеду и сказала, что у нее сильнейшая мигрень, — под этим скрывался самый отчаянный приступ раздражения, какой только может быть у женщины. Лицо у нее и впрямь было совсем другое. Известное вам выражение кротости сменилось строптивостью, придавшей ему новую прелесть. Я твердо решил использовать впоследствии это открытие и заменять иногда нежную любовницу строптивой. Предвидя, что остаток дня пройдет уныло, я решил избежать скуки и под предлогом писания писем удалился к себе. Около шести часов снова спустился в гостиную. Госпожа де Розмонд предложила прогуляться, что и было принято. Но в момент, когда мы садились в экипаж, мнимая больная с адским коварством выставила в свою очередь в качестве предлога — может быть, чтобы отомстить мне за мое отсутствие — новый приступ головной боли и безжалостно вынудила меня остаться вдвоем с моей тетушкой. Не знаю, были ли услышаны мои проклятья этому демону в женском образе, но по возвращении мы узнали,

что она слегла.

На следующий день за завтраком это была совсем другая женщина. Природная кротость вернулась к ней, и я уже думал, что прощен. Едва дождавшись окончания завтрака, эта кроткая особа с безмятежным видом поднялась с места и направилась в парк. Вы сами понимаете, что я последовал за ней. «Почему это вам захотелось гулять?» — спросил я, подойдя к ней поближе. «Я много писала сегодня утром, — ответила она, — и голова у меня устала». — «Может быть, и я настолько счастлив, что могу поставить себе в вину эту усталость?» — продолжал я. «Да, я вам написала, — ответила она снова, — но не решаюсь отдать письмо. В нем содержится одна просьба, а вы не приучили меня рассчитывать на исполнение моих просьб». — «Ах, клянусь, что если только это окажется в пределах возможного…» — «Нет ничего легче, — прервала она меня, — и хотя, может быть, вы по справедливости обязаны были бы ее исполнить, я готова принять ваше согласие как милость». С этими словами она подала мне письмо. Я взял его, а одновременно и ее руку, которую она тотчас же отняла, но без гнева и скорее со смущением, чем с поспешностью. «Сегодня жарче, чем я думала, надо идти в дом».

И она направилась в замок. Тщетно старался я убедить ее погулять еще немного, и лишь мысль о том, что нас могут увидеть, заставила меня ограничиться одним лишь красноречием.

Она вошла в дом, не проронив ни слова, и я отлично понял, что мнимая прогулка имела одну лишь цель — передать мне письмо. В замке она сразу же поднялась к себе, а я ушел в свою комнату, чтобы познакомиться с ее посланием. Вам тоже следует прочесть его, равно как и мой ответ, прежде чем мы пойдем дальше…

Из ***, 27 августа 17…

Письмо 41

От президентши де Турвель к виконту де Вальмону

Судя по вашему поведению в отношении меня, сударь, вы только и делали, что каждодневно старались умножить причины моего недовольства вами. Упорство, с каким вы все время стремились говорить мне о чувстве, о котором я не хочу и не должна ничего слышать, злоупотребление моей доверчивостью или робостью, на которое вы решились, чтобы передавать мне письма, в особенности же тот, смею сказать, неблаговидный

прием, к которому вы прибегли, чтобы до меня дошло последнее из этих писем, причем не побоялись даже, что, пораженная вашей дерзостью, я не сумею ничего скрыть и буду скомпрометирована, — все это могло бы вызвать с моей стороны самые резкие и вполне заслуженные вами упреки. Однако вместо того, чтобы возвращаться к своим обидам, я ограничусь лишь тем, что обращусь к вам с просьбой столь же простой, сколь и вполне законной, и, если вы согласитесь ее исполнить, готова буду со своей стороны предать все забвению.

Вы сами сказали мне, сударь, что я могу не бояться отказа. И хотя вы, со свойственной вам непоследовательностью, сразу же после этой фразы отказали мне в единственном, что могли для меня сделать[14], я хочу верить, что вы тем не менее сдержите сейчас слово, торжественно данное вами лишь несколько дней назад.

Итак, я желаю, чтобы вы оказали мне любезность удалиться от меня, покинули этот замок, где дальнейшее ваше пребывание могло бы лишь еще больше повредить мне в глазах людей, которые всегда готовы плохо думать о своем ближнем

---

[14] Примечания: 14
См. письмо 35.

и которых вы к тому же слишком уж приучили наблюдать за женщинами, допускающими вас в свое общество.

Друзья мои давно предупреждали меня об этой опасности, но я пренебрегала их советами и даже спорила с ними, пока ваше поведение со мной позволяло мне думать, что вы соблаговолили не смешивать меня с толпой женщин, имевших основания для жалоб на вас. Теперь же, когда вы обращаетесь со мной, как с ними — и мне это стало ясно, — я обязана и перед общественным мнением, и перед самою собой принять это неизбежное решение. Я могла бы добавить, что вы ничего не выиграете, отказав мне в моей просьбе, ибо я твердо решила уехать сама, если вы проявите упорство и останетесь. Но я отнюдь не намереваюсь умалить свою признательность за вашу любезность, если вы мне ее окажете, и хочу, чтобы вы знали, что, вынудив меня уехать отсюда, вы нарушили бы мои планы. Докажите же мне, сударь, что, как вы меня часто уверяли, честным женщинам на вас жаловаться не приходится, докажите мне хотя бы, что, даже провинившись пред ними, вы умеете искупать свою вину.

Если бы я считала нужным как-то оправдать

перед вами свою просьбу, мне достаточно было бы сказать, что вы всю свою жизнь вели себя так, чтобы сделать это необходимым, и что тем не менее вовсе не от меня зависело не обращаться к вам с такой просьбой. Но не будем вспоминать события, о которых я хочу забыть и которые вынудили бы меня судить вас сурово как раз в то время, когда я даю вам возможность заслужить мою признательность. Прощайте, сударь, поведение ваше покажет мне, с какими чувствами должна я буду неизменно пребывать глубоко уважающей вас…

Из ***, 25 августа 17…

Письмо 42

От виконта де Вальмона к президентше де Турвель

Как ни жестоки, сударыня, поставленные вами условия, я не отказываюсь их выполнить. Я чувствую себя неспособным противоречить ни единому вашему желанию. Поскольку в этом вопросе все ясно, я смею льстить себя надеждой, что вы и мне разрешите обратиться к вам с кое-какими просьбами. Их исполнить гораздо легче, чем то, о чем вы меня просите, и, однако, я хочу

заслужить этой милости лишь своей совершенной покорностью вашей воле.

Первая — и я надеюсь, что вы сами найдете ее справедливой, — состоит в том, чтобы вы соблаговолили назвать мне моих обвинителей: они, как я полагаю, причиняют мне достаточно зла, чтобы я имел право знать их. Вторая — и ее исполнения я жду от вашего милосердия — заключается в том, чтобы вы дали мне позволение хоть изредка напоминать вам о своей любви, которая теперь более чем когда-либо заслуживает вашей жалости.

Подумайте, сударыня, о том, что я спешу повиноваться вам, хоть и вынужден поступиться ради этого своим счастьем, более того — хоть я убежден, что вы хотите моего отъезда лишь для того, чтобы избавиться от всегда неприятного присутствия человека, к которому вы несправедливы.

Признайте, сударыня, вы не столько опасаетесь общества человека, слишком привыкшего питать к вам уважение и потому не смеющего неблагоприятно судить о вас, сколько тяготитесь присутствием того, кого вам легче покарать, чем осудить. Вы удаляете меня с глаз своих, как отвращают взор от страждущего, которому не хотят оказать помощи.

Но теперь, когда разлука с вами удвоит мои мучения, к кому, как не к вам, смогу я обращать свои жалобы? От кого другого смогу я ждать утешений, которые будут мне так необходимы? Откажете ли вы мне, когда являетесь единственной причиной моих горестей?

Наверно, не будете вы удивлены и тем, что перед отъездом я горячо желаю оправдать перед вами чувство, которое вы мне внушили, а также и тем, что мужество для отъезда я могу обрести, лишь получив повеление о нем из ваших уст.

Эта двойная причина заставляет меня просить вас уделить минуту времени для беседы со мной. Заменять ее перепиской было бы бесполезно. Можно написать целые тома, а всё не изложишь как следует того, что так легко уразуметь в пятнадцатиминутном разговоре. Вам легко будет выбрать время для этого, ибо, как бы ни спешил я исполнить вашу волю, госпоже де Розмонд известно, что я предполагал провести у нее часть осени, а мне, во всяком случае, придется подождать хотя бы письма, чтобы выставить в качестве предлога некое дело, требующее моего отъезда.

Прощайте, сударыня. Никогда не было мне так тяжело писать это слово, как в миг, когда оно

вызывает во мне мысль о нашей разлуке. Если бы вы могли только представить себе, как я от этого страдаю, вы бы, смею верить, вменили мне в некоторую заслугу мою покорность.

Примите же с большей хотя бы снисходительностью уверения в нежнейшей и почтительнейшей любви.

Из***, 26 августа 17…

Продолжение письма 40

От виконта де Вальмона к маркизе де Мертей

А теперь, прелестный мой друг, давайте рассуждать. Вы, как и я, хорошо понимаете, что щепетильная и честная госпожа де Турвель не может согласиться на мою первую просьбу и обмануть доверие друзей, назвав мне моих обвинителей. Таким образом, обещая под этим условием все что угодно, я себя ничем не связываю. Но вы понимаете также, что этот отказ послужит основанием для того, чтобы получить все остальное, и тогда, уехав, я выигрываю возможность вступить с нею — и притом с полного ее согласия — в регулярную переписку, ибо я не придаю никакого значения свиданию, о котором я ее просил: почти единственная его цель — при-

учить ее заранее к тому, чтобы она не отказывала мне в других свиданиях, когда у меня в них будет уже настоящая надобность.

Единственное, что мне остается сделать до отъезда, — это узнать, кто же именно занимается тем, что вредит мне в ее глазах. Полагаю, что это ее скучный муж, и хотел бы, чтобы было так: помимо того, что исходящее от супруга запрещение лишь подстрекает желания, я мог бы быть уверен, что, коль скоро моя прелестница согласится мне писать, мужа ее опасаться больше не придется, ибо тем самым она уже оказалась бы вынужденной обманывать его.

Но если у нее есть приятельница настолько близкая, что она ей доверяется, и если приятельница эта против меня, значит, их необходимо поссорить, и я рассчитываю в этом преуспеть.

Вчера я уже думал, что вот-вот все узнаю, но эта женщина ничего не делает, как другие. Мы находились в ее комнате, как раз когда доложили, что подан обед. Она еще только заканчивала свой туалет, и я успел заметить, что, торопясь и извиняясь, она оставила в секретере ключ от него, а мне хорошо известно, что ключа от своей комнаты она никогда с собой не берет. Во время обеда я обдумывал это обстоятельство, а потом

услышал, как спускается сверху ее горничная. Тут же я принял решение: сделал вид, что у меня кровотечение из носа, и вышел из-за стола. Я полетел прямо к ее секретеру, но обнаружил все ящики незапертыми, а в них — ни единой исписанной бумажки. Между тем в такое время года не представляется случая сжигать их. Куда же она девает письма, которые получает? А получает она их часто. Я ничего не упустил, все было открыто, и я все обыскал, но убедился только в том, что сокровище это она хранит у себя в кармане.

Как же выудить его оттуда? Со вчерашнего дня я тщетно ищу какого-нибудь способа, но побороть в себе это желание никак не могу. Ужасно жалею, что не дано мне воровских талантов. И правда, разве обучение этому делу не должно входить в воспитание человека, занимающегося интригами? Разве не забавно было бы стащить письмо или портрет соперника или вытащить из кармана недотроги то, что может ее разоблачить? Но родители наши не думают ни о чем, а я хоть и думаю обо всем, но только убеждаюсь, как я неловок и как мало могу помочь делу.

Но что бы там ни было, я вернулся к столу крайне недовольный. Все же прелестница моя несколько успокоила мою досаду, с участли-

вым видом расспрашивая меня о моем мнимом нездоровье. Я же не преминул уверить ее, что с некоторых пор испытываю приступы волнения, расстраивающие мое здоровье. Она ведь убеждена, что является их причиной, — не следовало ли ей, по совести говоря, постараться их успокоить? Но она хоть и набожна, но не слишком милосердна: отказывает во всяком любовном подаянии, и, по-моему, отказа этого вполне достаточно для оправдания кражи того, чего не дают. Но прощайте, ибо, беседуя с вами, я думаю только об этих проклятых письмах.

Из***, 27 августа 17…

Письмо 43

От президентши де Турвель к виконту де Вальмону

Зачем, сударь, стремитесь вы уменьшить мою признательность? Зачем соглашаетесь вы повиноваться мне лишь наполовину и словно делаете достойное поведение предметом торга? Вам недостаточно, чтобы я чувствовала, чего оно вам стоит? Вы требуете не только многого — вы требуете невозможного. Если мои друзья и говорили со мной о вас, то они делали это лишь из участия

ко мне. Пусть они даже ошибались, намерения у них были самые благие, а вы предлагаете мне в благодарность за этот знак внимания выдать вам их секрет! Заговорив с вами об этом, я уже сделала оплошность, и сейчас вы отлично дали мне это понять. То, что с другим человеком было бы простой откровенностью, с вами превращается в легкомыслие и могло бы довести меня до гнусности, если бы я согласилась на вашу просьбу. Я взываю к вам же, к вашему благородству: могли ли вы считать меня на это способной, могли ли вы мне это предложить? Разумеется, нет, и я уверена, что по зрелом размышлении вы не возобновите этой просьбы!

Вторая просьба — о разрешении писать мне — столь же трудно исполнима и, говоря по всей справедливости, не на меня следует за это пенять. Не хочу оскорблять вас, но при той репутации, которую вы приобрели и которую, по вашим же словам, отчасти заслужили, какая женщина может признаться, что состоит с вами в переписке? И разве порядочная женщина может решиться на нечто такое, что — как она сама отлично понимает — ей пришлось бы скрывать?

Если бы еще я могла быть уверена в том, что у меня никогда не будет оснований жаловаться на

содержание ваших писем и я всегда смогу оправдаться перед самою собой в их получении! Тогда, может быть, стремление доказать вам, что руководит мною не ненависть, а разум, возобладало бы над всеми столь вескими соображениями и заставило бы меня сделать гораздо больше, чем мне следовало бы, разрешив вам изредка писать мне. Если вы действительно желаете этого так сильно, как говорите, то охотно подчинитесь единственному условию, которое могло бы побудить меня на это согласиться, и если вы испытываете хоть какую-нибудь признательность за то, что я сейчас для вас делаю, вы не замедлите уехать.

Позвольте мне заметить вам по этому поводу, что сегодня утром вы получили письмо, но не воспользовались им для того, чтобы объявить госпоже де Розмонд о своем отъезде, как вами было обещано. Надеюсь, что теперь ничто не помешает вам сдержать свое слово. Особенно же рассчитываю я на то, что для этого вы не станете дожидаться беседы со мной, о которой вы меня просите и на которую я решительно не могу согласиться, и что вместо устного повеления моего, якобы столь вам необходимого, вы удовольствуетесь моей вторичной просьбой. Прощайте, сударь.

Из***, 27 августа 17…

Письмо 44

От виконта де Вальмона к маркизе де Мертей

Порадуйтесь вместе со мной, прелестный мой друг: я любим, я победил это строптивое сердце. Тщетно пыталось оно притворяться — мне удалось проникнуть в его тайну. Я не пожалел усилий и теперь знаю все, что меня интересует: со вчерашней ночи, счастливой вчерашней ночи, я вновь обрел свою сущность, вновь зажил полной жизнью; я разоблачил двойную тайну — любви и подлости, я буду наслаждаться одной и отомщу за другую, я стану порхать от удовольствия к удовольствию. При одной мысли об этом меня охватывает такое ликование, что я не без труда вспоминаю об осторожности и о том, что мне, быть может, придется приложить некоторые старания для того, чтобы рассказ мой получился связным. Однако попытаемся.

Еще вчера, закончив свое письмо к вам, я в свою очередь получил письмо от божественной святоши. Посылаю вам его; вы увидите, что в нем она дает мне — наиболее для себя удобным способом — позволение писать ей, но зато торопит меня

с отъездом. И я понял, что не могу его особенно откладывать, не повредив себе.

Меня, однако, мучило желание узнать, кто же мог писать ей против меня, но я не был уверен в том, что именно мне следует предпринять. Я пытался подкупить горничную, чтобы она опорожнила для меня карманы своей госпожи: ей нетрудно было бы сделать это вечером, а утром она могла бы аккуратно положить все на прежнее место, не возбудив ни малейших подозрений. За эту ничтожную услугу я предложил ей десять луидоров, но наткнулся на слишком честную или слишком робкую тупицу: ее не поколебали ни мое красноречие, ни деньги. Я продолжал уговаривать ее, когда позвонили к ужину. Пришлось оставить ее в покое, и счастье еще, что она обещала мне сохранить наш разговор в тайне; я, как вы сами понимаете, даже на это не особенно рассчитывал.

Никогда еще не был я в таком дурном настроении. Я чувствовал, что сам себя скомпрометировал, и весь вечер упрекал себя за неосторожный шаг.

Удалившись к себе и не находя покоя, поговорил я со своим егерем: в качестве счастливого любовника он должен был иметь известное вли-

яние на свою милую. Я хотел, чтобы он уговорил эту девушку либо сделать то, что я просил, либо промолчать насчет моей просьбы. Но он, обычно ни в чем не сомневающийся, тут как будто усомнился в успехе и высказал по этому поводу суждение, удивившее меня своей глубиной.

«Господин виконт лучше меня знает, — сказал он, — что, когда спишь с девушкой, то заставляешь ее делать только то, чего ей самой хочется, а заставить ее делать то, чего вам хочется, — до этого частенько еще весьма далеко».

Ах, ум негодника порой меня пугает[15].

«За эту я еще и потому не ручаюсь, — добавил он, — что, по-моему, у нее есть другой любовник, а со мной она водится лишь от деревенской скуки. И если бы не то, что уж очень хочется мне услужить вам, сударь, я бы больше одного раза и не побывал у нее. (Этот парень — настоящее сокровище!) Что же до молчания, — добавил он еще, — какой смысл просить ее о нем, когда она может безо всякого риска нас обмануть? Заговорить с ней об этом еще раз значило бы навести ее на мысль, что это очень важно, и вызвать в ней еще большую охоту подладиться к своей

---

[15] Примечания: 15
Пирон. «Метромания»*.

госпоже».

Чем справедливее были эти доводы, в тем большее смущение они меня повергали. К счастью, бездельник разболтался, а так как он был мне нужен, я не стал ему мешать. Рассказывая мне свою интрижку с этой девушкой, он, между прочим, упомянул, что ее комната отделяется от комнаты ее госпожи лишь тонкой перегородкой, через которую можно услышать любой подозрительный шум, и что поэтому каждую ночь девушка приходит к нему. У меня тотчас же возник план, который я сообщил ему и который мы успешно осуществили.

Я дождался двух часов ночи и, как мы с ним договорились, направился со свечой в комнату, где происходило свидание, — под предлогом, будто я несколько раз тщетно вызывал его звонком. Наперсник мой, превосходно разыгравший свою роль, изобразил целую сценку: он застигнут врасплох, он в отчаянии, рассыпается в извинениях; все это я прервал, отправив его согреть воду, которая якобы мне была нужна. Щепетильной же служанке было тем более стыдно, что негодник, еще добавивший к моей выдумке от себя, убедил ее пребывать в туалете, который ко времени года вполне подходил, но отнюдь им не

оправдывался.

Понимая, что чем более униженной будет себя чувствовать эта девица, тем легче я добьюсь от нее своего, я помешал ей изменить и позу и наряд и, приказав слуге дожидаться меня в моей комнате, уселся рядом с нею на кровать и начал заранее приготовленную речь. Мне необходимо было удержать власть, которую обстоятельства дали мне над нею, и потому я сохранил хладнокровие, достойное стойкости Сципиона*: не позволив себе с нею ни малейшей вольности, на что она могла надеяться, учитывая ее миловидность и удобный случай, я завел с нею деловой разговор так же невозмутимо, как если бы беседовал с чиновником.

Условия мои сводились к тому, что я добросовестно сохраню все в тайне, если назавтра приблизительно в это же время она доставит мне содержимое карманов своей госпожи. «Кстати, — добавил я, — вчера я вам предлагал десять луидоров, — обещаю вам их и сегодня: не хочу злоупотреблять положением, в котором вы очутились». Как вы сами понимаете, мы отлично поладили, после чего я удалился, предоставив счастливой парочке наверстывать потерянное время.

Свое же время я посвятил сну, а наутро, желая иметь предлог, чтобы не отвечать на письмо прелестницы, пока не просмотрю ее бумаг, чего не мог бы сделать до следующей ночи, решил отправиться на охоту и отсутствовал почти весь день.

По возвращении меня приняли довольно холодно. Имею основание полагать, что тут сказалось уязвленное самолюбие: как это я не поторопился воспользоваться оставшимся мне временем, особенно после написанного мне более ласкового письма. Думаю так потому, что, когда госпожа де Розмонд слегка упрекнула меня за долгое отсутствие, моя прелестница возразила несколько едким тоном: «Ах, не станем упрекать господина де Вальмона за то, что он предается единственному удовольствию, которое может здесь найти». Я посетовал на подобную несправедливость и воспользовался случаем заверить дам, что их общество мне до крайности приятно и что я даже пожертвовал ради него важным письмом, которое должен был написать. К этому я добавил, что уже много ночей страдаю бессонницей и что мне пришло в голову — не вернет ли мне сон физическая усталость. При этом взгляды мои красноречиво говорили и о содержании письма, и о причинах бессонницы. В течение

всего вечера я старался сохранить нежно-меланхолический вид; по-моему, мне превосходно удалось скрыть за ним нетерпеливое ожидание того часа, когда я узнаю тайну, которую от меня так упорно скрывают. Наконец мы разошлись по своим комнатам, и немного времени спустя верная служанка принесла мне условленную награду за мое молчание.

Завладев этим сокровищем, я приступил к ознакомлению с ним с известной вам осторожностью, ибо крайне важно было, чтобы все оставалось в том виде, как оно было. Сперва я напал на два письма от мужа — неудобоваримую смесь из подробностей судебного процесса и супружеских излияний; у меня хватило терпения прочитать эти письма от начала до конца, но я не обнаружил ни одного упоминания обо мне. Я с досадой положил их на место, но раздражение мое смягчилось, когда в руках у меня оказались старательно собранные клочки пресловутого дижонского письма. К счастью, мне пришло на ум пробежать его глазами. Судите о моей радости, когда я заметил отчетливые следы слез моей пленительной святоши. Признаюсь, я поддался юношескому порыву и расцеловал это письмо с пылом, на который уже не считал себя способным. Продолжая

столь удачно начатое обследование, я нашел все свои письма, собранные вместе и разложенные по числам. Но приятнее всего удивило меня то, что там оказалось и самое первое, которое, как я полагал, неблагодарная мне вернула: оно было старательно переписано ее рукой, притом неровным, дрожащим почерком, явно свидетельствовавшим о сладостном волнении ее сердца во время этого занятия.

До сих пор я был весь охвачен любовью, но вскоре ее сменила ярость. Как вы думаете, кто хочет погубить меня в глазах обожаемой мною женщины? Какая фурия, по-вашему, настолько злобна, что могла замыслить такую подлость? Вы ее знаете: это ваша приятельница, ваша родственница, госпожа де Воланж. Вы не представляете себе, каких только дьявольских гнусностей не написала ей обо мне эта мегера. Она, она одна нарушила душевный мир этого ангела в образе женщины. Из-за ее советов, из-за ее зловредного подстрекательства я оказался вынужденным удалиться; словом, это ради нее жертвуют мною! Да, без сомнения, надо соблазнить ее дочь, но этого недостаточно, — ее самое надо погубить, и если уже по возрасту своему эта проклятая женщина вне опасности, надо поразить ее в той, к кому она

привязана.

Так она желает, чтобы я вернулся в Париж? Она принуждает меня к этому? Хорошо, я вернусь, но она поплачет из-за моего возвращения. Жаль, что героем этого приключения явится Дансени: в нем есть глубокая порядочность, которая будет нам помехой. Однако он влюблен, мы с ним часто видимся — может быть, мы извлечем из него пользу. Но в гневе своем я совсем забылся и не думаю о том, что должен изложить вам сегодняшние события. Вернемся к рассказу.

Утром я снова увиделся с чувствительной святошей. Никогда еще она не казалась мне столь прекрасной. Так оно и должно быть: лучшее мгновение для женщины, единственное, когда она может вызвать в нас опьянение души, о котором так много говорят и которое так редко испытывают, это мгновение, когда, уже убедившись в ее любви, мы еще не уверены в ее милостях, и именно в таком состоянии я теперь нахожусь. Может быть, украшала ее в моих глазах и мысль, что я вскоре лишусь удовольствия видеть ее. Наконец принесли почту, я получил ваше письмо от 27-го, и, читая его, я еще не был уверен, что сдержу свое слово. Но я встретился глазами с моей прелестницей и почувствовал, что ни в чем

не могу ей отказать.

Итак, я объявил о своем отъезде. Почти сразу же после этого госпожа де Розмонд оставила нас наедине, но я был еще не менее чем в четырех шагах от недотроги, а она, вдруг вскочив с испуганным видом, промолвила: «Не прикасайтесь ко мне, сударь, не прикасайтесь! Ради бога, не прикасайтесь ко мне!» Эта горячая мольба, выдававшая душевное смятение, могла лишь еще более возбудить меня. Я был уже подле нее и держал за руки, которые она так трогательно сложила, когда какой-то злой демон вновь привел госпожу де Розмонд. Робкая святоша, у которой сейчас и впрямь имеются основания для страха, воспользовалась этим и решила удалиться.

Все же я предложил ей руку, и она ее приняла. Я же, усмотрев в этом дружелюбном порыве, которого у нее уже давно не было, благие предзнаменования, вновь начал свои любовные жалобы и даже попытался пожать поданную мне руку. Сперва она хотела вырвать ее, но я проявил большую настойчивость, и она довольно охотно подчинилась, хотя не ответила ни на мое пожатие, ни на мои слова. У дверей ее комнаты я хотел, прощаясь, поцеловать эту ручку. Сперва защита была довольно решительной, но я так нежно

произнес: «Подумайте, ведь я уезжаю», — что это сделало ее вялой и слабой. Однако едва лишь поцелуй коснулся руки, та вновь обрела свою силу и вырвалась из моей, а прелестница ушла в свою комнату, где уже находилась ее горничная. Тут и конец рассказу.

Я предполагаю, что завтра вы будете у маршальши де***, где я, наверно, не стану с вами встречаться, так как думаю, что во время первой нашей встречи нам нужно будет поговорить о многих делах, и прежде всего о деле маленькой Воланж, которую я отнюдь не теряю из виду. Поэтому я решил до личного с вами свидания написать это письмо, и как бы оно ни было длинно, запечатаю его лишь перед самой отправкой почты, ибо при нынешнем положении моих дел все может зависеть от благоприятного случая, и я отправляюсь искать его, а потому расстаюсь с вами.

P. S. Восемь часов вечера. Ничего нового. У нее — ни одной свободной минутки, и она даже старается быть все время занятой. При этом, однако, столько грусти, сколько позволяют приличия, — не менее того. Другая новость, может быть, немаловажная: госпожа де Розмонд поручила мне передать госпоже де Воланж приглашение

провести некоторое время у нее в деревне.

Прощайте, мой прелестный друг. До завтра или, самое позднее, до послезавтра.

Из ***, 28 августа 17…

Письмо 45

От президентши де Турвель к госпоже де Воланж

Господин де Вальмон сегодня утром уехал, сударыня. Вы, казалось мне, так желали этого отъезда, что я сочла своим долгом уведомить вас о нем. Госпожа де Розмонд очень грустит о своем племяннике, и, надо сознаться, общество его действительно очень приятно. Все утро она говорила мне о нем с чувствительностью, которая, как вам известно, ей столь свойственна. Я считала своим долгом по отношению к ней слушать ее любезно, без возражений, тем более что во многих отношениях она была совершенно права. К тому же я чувствовала себя виновной в том, что являюсь причиной этой разлуки, и у меня нет надежды, что я сумею как-то вознаградить ее за радость, которой я же ее лишила. Вы знаете, что по натуре своей я не слишком весела, а тот образ жизни, который нам предстоит вести здесь, тоже будет

не из веселых.

Если бы я в данном случае не следовала вашему совету, то опасалась бы, что поступила несколько необдуманно, так огорчила меня печаль моего уважаемого друга. Я была до того растрогана, что охотно смешала бы с ее слезами свои.

Теперь мы живем надеждой, что вы примете приглашение госпожи де Розмонд приехать к ней погостить, которое вам должен передать господин де Вальмон. Надеюсь, вы не сомневаетесь, что я с радостью увижу вас здесь, и, по правде говоря, вы просто должны вознаградить нас таким способом. Я была бы очень рада также воспользоваться этим случаем, чтобы ближе познакомиться с мадемуазель де Воланж и иметь возможность еще больше уверить вас в моем глубоком уважении и пр.

Из***, 29 августа 17…

Письмо 46

От кавалера Дансени к Сесили Воланж

Что такое случилось с вами, обожаемая Сесиль? Кто мог вызвать в вас столь внезапную и столь жестокую перемену? Куда девались ваши клятвы, что вы никогда не изменитесь? Еще вчера вы с

такой радостью повторяли их! Что же заставило вас позабыть их сегодня?

Тщетно заглядываю я в себя — в самом себе причины этого я обнаружить не могу, и ужасно мне искать ее в вас. Ах, вы, разумеется, не ветреная обманщица, и даже сейчас, в миг отчаяния, души моей не запятнает оскорбительное подозрение. И, однако, что за злой рок сделал вас уже не той, какой вы были? Да, жестокая, вы уже не та! Нежная Сесиль, обожаемая мною Сесиль, от которой я слышал клятвы, не стала бы избегать моих взглядов, не препятствовала бы счастливому случаю, благодаря которому мы очутились рядом. Если же какая-нибудь непонятная мне причина и побудила ее обращаться со мной так сурово, она, во всяком случае, не преминула бы сообщить мне о ней.

Ах, вы не знаете, вы никогда не узнаете, моя Сесиль, как вы заставили меня страдать сегодня и как я страдаю до сих пор. Неужто вы думаете, что я могу жить, если больше не любим вами? А между тем, когда я молил у вас об одном слове, об одном только слове, которое могло бы рассеять мои страхи, вы вместо того, чтобы мне ответить, сделали вид, будто боитесь, как бы вас не услышали. И препятствие, которого еще не было, вы сами

же создали, выбрав то место, которое заняли в собравшемся обществе. Когда, вынужденный вас покинуть, я спросил, в какое время смогу завтра увидеться с вами, вы сделали вид, что не расслышали, и назначить мне время пришлось госпоже де Воланж. Итак, это столь желанное мгновение, сближающее меня с вами, завтра породит во мне одно лишь беспокойство. И столь дорогую моему сердцу радость видеть вас сменит опасение быть вам докучным.

Я чувствую, как этот страх уже останавливает меня, и я не смею говорить вам о своей любви. Слова «я люблю вас», которые мне было так сладостно повторять, когда я, в свою очередь, мог услышать их, эти столь нежные слова, которых мне было достаточно для счастья, теперь, раз вы изменились, рождают во мне лишь образ вечного отчаяния. Я не могу верить, однако, что этот талисман любви потерял силу, и еще пытаюсь воспользоваться им[16]. Да, моя Сесиль, я люблю вас. Повторите же вместе со мной эти слова, в которых — все мое счастье. Подумайте, что вы приучили меня внимать им и что лишать меня

[16] Примечания: 16

Те, кому не представлялся случай чувствовать порой значение какого-нибудь слова или выражения, освященного любовью, не найдут в этой фразе никакого смысла.

их — значит подвергнуть меня пытке, которая, как и любовь моя, кончится лишь вместе с моей жизнью.

Из***, 29 августа 17…

Письмо 47

От виконта де Вальмона к маркизе де Мертей

Сегодня мы с вами еще не увидимся, прелестный мой друг, и вот по каким причинам, к которым я прошу вас проявить снисхождение.

Вместо того чтобы возвратиться прямо в Париж, я задержался у графини де***: замок ее находится почти что по пути, и я напросился к ней отобедать. Я прибыл в Париж лишь около семи вечера и сошел у Оперы, в надежде, что, может быть, там находитесь и вы.

По окончании спектакля я отправился в фойе повидаться с друзьями. Там я нашел мою старую приятельницу Эмили, окруженную многочисленной свитой, состоявшей как из мужчин, так и из женщин, которых она в тот же вечер угощала ужином в П***. Не успел я попасть в эту компанию, как все хором стали просить меня участвовать в ужине. Пригласил меня также плотный, приземистый человек, пробормотав

несколько французских слов с голландским акцентом; я догадался, что он и есть истинный виновник торжества. Я принял приглашение.

По дороге я узнал, что дом, куда мы направлялись, являлся условленной наградой за благосклонность Эмили к этой чудаковатой личности и что ужин был самым настоящим свадебным пиром. Человек этот был вне себя от радости в предвкушении блаженства, которым ему предстояло наслаждаться и от которого он был до того счастлив, что мне захотелось это блаженство нарушить. Я так и сделал.

Единственная трудность заключалась в том, чтобы уговорить Эмили: богатство бургомистра делало ее несколько щепетильной. Однако, немного поломавшись, она согласилась с моим планом наполнить этот пивной бочонок вином и таким образом вывести его на всю ночь из строя. Из-за своего преувеличенного представления о том, сколько может выпить голландец, мы применили все известные средства и настолько успешно, что за десертом он уже не в состоянии был держать в руке стакан, но сострадательная Эмили и я напаивали его взапуски. Наконец он свалился под стол, так упившись, что, казалось, ему понадобится неделя, чтобы оправиться. Тогда

мы решили отослать его обратно в Париж, а так как свою карету он отпустил, я велел погрузить его в мою, а сам остался вместо него. Затем я принял поздравления от всей компании, которая вскоре разошлась, оставив меня победителем на поле сражения. Благодаря этому веселому приключению, а может быть, и длительному воздержанию я нашел Эмили настолько привлекательной, что обещал ей остаться до воскресения голландца из мертвых.

Эта моя любезность была наградой за любезность, оказанную мне ею: она согласилась послужить мне пюпитром, на котором я написал письмо моей прелестной святоше. Мне показалось забавным послать ей письмо, написанное в кровати и почти что в объятиях потаскушки: в письме этом, прерывавшемся мною для полного совершения измены, я давал ей самый обстоятельный отчет в своем положении и поведении. Эмили прочитала это послание и хохотала как безумная. Надеюсь, что вы тоже повеселитесь. Так как нужно, чтобы на письме был парижский штемпель, я посылаю его вам: оно не запечатано. Вы уж соблаговолите прочесть его, запечатать и отправить на почту. Только не ставьте своей печати или вообще печати с любовной эмбле-

мой, пусть будет просто какая-нибудь головка. Прощайте, прелестный мой друг.

P. S. Распечатываю письмо. Я уговорил Эмили поехать в Итальянский театр. Этим временем я воспользуюсь, чтобы пойти повидаться с вами. Я буду у вас самое позднее в шесть часов, и, если это вам удобно, около семи часов мы вместе отправимся к госпоже де Воланж. Неудобно откладывать передачу ей приглашения госпожи де Розмонд. К тому же я был бы не прочь поглядеть на маленькую Воланж.

Прощайте, распрекрасная дама. Хочу расцеловать вас с таким удовольствием, чтобы кавалер мог приревновать.

Из П***, 30 августа 17…

Письмо 48

От виконта де Вальмона к президентше де Турвель (с парижским штемпелем)

После бурной ночи, в течение которой я не сомкнул глаз; после того, как меня пожирали приступы неистового страстного пыла, сменявшиеся полным упадком всех душевных сил, я прибегаю к вам, сударыня, в поисках столь нужного мне покоя, которого, впрочем, я еще не надеюсь об-

рести. И правда, положение, в котором я сейчас пишу вам, более чем когда-либо убеждает меня во всемогуществе любви. Мне трудно владеть собою настолько, чтобы привести мои мысли хоть в некоторый порядок, и я уже сейчас предвижу, что еще до окончания этого письма вынужден буду его прервать. Как! Неужели я не могу надеяться, что вы когда-нибудь разделите смятение, обуревающее меня в настоящий миг! Смею, однако, думать, что, если бы оно было вам знакомо, вы не остались бы к нему нечувствительны. Поверьте, сударыня, холодное спокойствие, сон души, являющийся подобием смерти, — все это не есть путь к счастью; только живые страсти ведут к нему, и, несмотря на муки, которые я из-за вас испытываю, я могу без колебаний утверждать, что в настоящее мгновение я счастливее вас. Напрасно угнетаете вы меня своей беспощадной суровостью — она не мешает мне всецело отдаваться любви и забывать в любовном исступлении отчаяние, в которое вы меня ввергаете. Вот чем пытаюсь я отомстить вам за изгнание, на которое вы меня осудили. Ни разу еще за письмом к вам не испытывал я такой радости, ни разу это занятие не сопровождалось чувством столь сладостным и вместе с тем столь пылким:

я дышу воздухом, полным сладострастия; даже стол, на котором я вам пишу, впервые для этого употребленный, превращается для меня в священный алтарь любви. Насколько прекраснее становится он в моих глазах: ведь на нем начертал я клятву вечной любви к вам! Простите, молю вас, беспорядочность моих чувств. Может быть, мне следовало бы менее предаваться восторгам, не разделяемым вами; на мгновение я вынужден покинуть вас, чтобы рассеять опьянение, с которым я уже не могу совладать, — так усиливается оно с каждым мгновением.

Возвращаюсь к вам, сударыня, и, разумеется, возвращаюсь все с тем же пылом. Однако ощущение счастья покинуло меня — его сменило ощущение жестоких лишений. Для чего мне говорить вам о моих чувствах, если тщетно я ищу каких-либо средств убедить вас? После стольких многократных усилий я начинаю слабеть. Если в памяти моей продолжают возникать любовные образы, то тем живее ощущаю я горечь их утраты. Единственное прибежище мое — ваша снисходительность, и в данную минуту я слишком хорошо чувствую, насколько она мне нужна, чтобы дерзать на нее надеяться. И, однако, никогда моя любовь не была более почтительной, никогда

она не была менее оскорбительной для ваших чувств. Она — смею сказать — такова, что даже самая суровая добродетель не должна была бы ее опасаться. Но сам я боюсь занимать вас больше страданиями, которые испытываю. Когда знаешь с уверенностью, что существо, вызвавшее твои терзания, не разделяет их, не надо хотя бы злоупотреблять его добротой, а ведь так и было бы, если бы я потратил еще больше времени, рисуя вам эту скорбную картину. Сейчас я отниму его у вас лишь столько, сколько понадобится на то, чтобы умолять вас ответить мне и никогда не сомневаться в подлинности моих чувств.

Написано из П***, помечено Парижем, 30 августа 17…

Письмо 49

От Сесили Воланж к кавалеру Дансени

Я не ветреница и не обманщица, сударь, но достаточно было, чтобы мне разъяснили мои чувства, и я тотчас же поняла необходимость их изменить! Я дала в этом обет Богу, а затем я принесу в жертву ему и мои чувства к вам, которые из-за вашего духовного звания становятся еще преступнее. Я отлично чувствую, как мне это

будет больно, и не стану скрывать, что с позавчерашнего дня плачу всякий раз, как о вас думаю. Но я надеюсь, что милосердный Бог пошлет мне нужные силы, чтобы вас забыть, ибо я молю его об этом и утром и вечером. Я даже жду от вашей дружбы и порядочности, что вы не станете пытаться поколебать благое решение, которое мне внушили и в котором я стараюсь оставаться непреклонной. В соответствии с этим я прошу вас быть столь любезным и больше мне не писать, тем более что — предупреждаю заранее — отвечать я вам не буду, и вы только принудите меня сообщить обо всем маме, а это уж совсем лишит меня удовольствия видеть вас.

Это не помешает мне сохранить к вам всю привязанность, какую можно питать, не делая ничего дурного, и я всей душой желаю вам всяческого счастья. Я отлично чувствую, что вы уже не станете любить меня так, как раньше, и что, может быть, вы вскоре полюбите другую больше, чем меня. Но это будет только лишней карой за проступок, который я совершила, отдав вам мое сердце, которое я должна отдать лишь Богу и моему мужу, когда я выйду замуж. Надеюсь, что милосердие Божие сжалится над моей слабостью и на мою долю выпадут лишь такие страдания,

какие я в силах буду перенести.

Прощайте, сударь. Могу уверить вас, что, если бы мне позволено было любить кого-нибудь, я любила бы только вас. Вот и все, что я могу вам сказать, и, может быть, это даже больше, чем следовало бы.

Из***, 31 августа 17…

Письмо 50

От президентши де Турвель к виконту де Вальмону

Так-то, милостивый государь, выполняете вы условия, на которых я согласилась получать иногда от вас письма? И как могу я «не иметь причин на них жаловаться», когда вы говорите в них лишь о чувстве, которому я опасалась бы отдаться даже в том случае, если бы могла это сделать, не нарушая своего долга? Впрочем, если бы мне нужны были новые причины для сохранения этого спасительного страха, то, думается мне, я могла бы найти их в вашем последнем письме. И действительно, что делаете вы, воображая, будто произносите апологию любви? Показываете мне ее в самом бурном и грозном обличье. Кто может хотеть счастья, купленного ценою утраты

рассудка, счастья, недолгие радости которого сменяются в лучшем случае сожалением, если не раскаянием?

Вы сами, у кого привычка к этому пагубному исступлению должна ослаблять его последствия, разве не вынуждены признать, что оно зачастую оказывается сильнее вас, разве не вы первый жалуетесь на вызываемое им невольное смятение чувств? Какую же ужасающую бурю поднимет оно в сердце, непривычном к нему и чувствительном, тем более что власть его над ним станет еще сильнее из-за громадных жертв, которые сердце это вынуждено будет ему принести?

Вы думаете, сударь, — или делаете вид, будто думаете, — что любовь ведет к счастью, я же глубоко убеждена, что она сделает меня несчастной, и потому хотела бы никогда и не слышать этого слова. Мне кажется, что даже речь о ней лишает спокойствия, и не меньше, чем чувство долга, мои душевные склонности побуждают меня просить вас, чтобы вы соблаговолили больше не упоминать об этом.

В конце концов, теперь вам нетрудно согласиться на эту просьбу. По возвращении в Париж вам представится достаточно много поводов позабыть о чувстве, которое, быть может, порождено

лишь привычкой заниматься подобного рода вещами, а своей силой обязано лишь деревенской скуке. Разве сейчас вы не там, где взирали на меня вполне равнодушно? Можете вы сделать там хоть один шаг, не встретив примера такой же легкой готовности к переменам? И разве не окружены вы там женщинами, которые гораздо привлекательнее меня и потому имеют гораздо больше прав на внимание с вашей стороны? Мне чуждо тщеславие, в котором укоряют мой пол. Еще меньше у меня той ложной скромности, которая представляет собою лишь утонченную гордыню. И потому я совершенно искренне говорю вам, что нахожу в себе очень мало таких качеств, которыми могла бы нравиться. Да будь у меня избыток их, я и то не считала бы, что имею достаточно их для того, чтобы привязать вас к себе. Просить вас не заниматься мною больше — значит только просить вас сделать то, что вы уже не раз делали и что вы, наверно, сделали бы еще раз в самом скором времени, если бы даже я добивалась от вас обратного.

Одна эта правда, о которой я забыть не могу, сама по себе была бы достаточно веской причиной для того, чтобы отказываться вас слушать. Имеются у меня и тысячи других. Но, не желая

вступать в бесконечный спор, я ограничусь тем, что прошу вас, как мне уже случалось это делать, не говорить со мной о чувстве, о котором я и слушать не должна, а не то что отвечать на него.

Из***, 1 сентября 17…

Письмо 51

От маркизы де Мертей к виконту де Вальмону

Право же, виконт, вы просто невыносимы. Вы обращаетесь со мной так бесцеремонно, словно я ваша любовница. Да знаете ли вы, что я рассержусь и что в настоящий момент я ужасно зла? Как! Завтра утром вы должны повидать Дансени, — вы знаете, как важно, чтобы я поговорила с вами до этой встречи, — и при этом заставляете меня ждать вас целый день, а сами невесть где бегаете! Из-за вас я приехала к госпоже де Воланж до неприличия поздно, и все старухи нашли, что я «поразительна». Мне пришлось подлаживаться к ним весь вечер, чтобы их умиротворить, ибо старух сердить нельзя: от них зависит репутация молодых женщин.

Сейчас уже час ночи, а я, вместо того чтобы лечь спать, чего мне до смерти хочется, должна писать вам длинное письмо, от которого спать

захочется вдвойне, такая меня одолевает скука. Счастье ваше, что у меня нет времени бранить вас дольше. Но не подумайте, что вы прощены: мне просто некогда. Слушайте же, ибо я тороплюсь.

Проявив хоть немного ловкости, вы должны завтра добиться полного доверия Дансени. Время для откровенности самое подходящее: он несчастен. Девочка была на исповеди. Она все рассказала, как ребенок, и с тех пор ее до того мучит страх перед дьяволом, что она решила во что бы то ни стало пойти на разрыв. Все свои ничтожные сомнения она поведала мне так горячо, что я поняла, насколько ее сбили с толку. Она показала мне письмо, в котором объявляет о разрыве, — это сплошное ханжество. Целый час она прощебетала со мной, не сказав при этом ни одного разумного слова, но тем не менее весьма смутила меня, так как не могу же я откровенничать с таким недалеким созданием.

Из всей этой болтовни я, однако, поняла, что она по-прежнему любит своего Дансени. Усмотрела я тут и одну из тех уловок, которых у любви всегда достаточно и которой девочка эта самым забавным образом поддалась. Мучимая и желанием все время заниматься своим возлюбленным, и страхом, занимаясь им, погубить свою душу,

она придумала молиться Богу, чтобы он помог ей забыть любимого, а так как она поминутно молится об этом, то и находит способ беспрестанно думать о нем.

Для человека, более искушенного, чем Дансени, это маленькое обстоятельство явилось бы скорее подмогой, нежели помехой. Но этот юноша такой Селадон*, что, если ему не помочь, у него на преодоление самых пустяковых препятствий уйдет столько времени, что у нас на осуществление нашего замысла времени уже не останется. Вы правы: это очень жаль, и я не менее вас раздосадована тем, что именно он является героем этого приключения, но что поделаешь? Сделанного не поправить, а вина тут ваша. Я попросила показать мне его ответ[17] и даже разжалобилась. Он из сил выбивается, убеждая ее, что невольное чувство не может быть преступным: как будто оно не перестает быть невольным с того мгновения, как с ним прекращают борьбу. Мысль эта до того проста, что пришла в голову даже девочке. Он в довольно трогательных выражениях жалуется на свое несчастье, но скорбь его полна такой нежности и, по-видимому, так сильна и

[17] Примечания: 17
Письмо это не было нами найдено.

искренна, что мне кажется невероятным, чтобы женщина, которой представился случай довести мужчину до такого отчаяния и притом со столь малой опасностью для себя, не поддалась бы соблазну потешиться этим в дальнейшем. Словом, он объяснил ей, что он совсем не монах, как думала девочка, и, несомненно, это — лучшее из всего, что он сделал. Ибо если уж заниматься любовью с монахами, то господа мальтийские рыцари предпочтения тут не заслуживают.

Как бы то ни было, но, вместо того чтобы терять время на разговоры, которые меня бы только поставили в неудобное положение, не убедив, быть может, ее, я одобрила решение о разрыве, но сказала, что в подобных случаях гораздо честнее излагать свои доводы не письменно, а устно, что существует, кроме того, обычай возвращать письма и другие мелочи, которыми могли обмениваться влюбленные, и, сделав таким образом вид, будто я вполне согласна с этой юной особой, я убедила ее назначить Дансени свидание. Мы тотчас обсудили, как это осуществить, и я взяла на себя уговорить мамашу выехать из дому без дочки. Завтра после полудня и наступит сей решительный момент. Дансени уже предупрежден. Но, ради бога, если вам представится возмож-

ность, убедите этого прелестного пастушка быть менее томным и научите его, раз уж надо говорить прямо, что настоящий способ побеждать сомнения — это постараться сделать так, чтобы тем, у кого они имеются, больше нечего было терять.

Впрочем, для того чтобы нелепая эта сцена больше не повторялась, я не преминула заронить в сознание девочки подозрение, так ли уж строго соблюдают исповедники тайну исповеди, и уверяю вас, что за страх, который она мне внушила, она теперь платит своей собственной боязнью, как бы ее исповедник не рассказал все мамаше. Надеюсь, что после того как я с ней поговорю еще разок-другой, она перестанет рассказывать о своих глупостях первому встречному[18].

Прощайте, виконт. Займитесь Дансени и будьте его руководителем. Стыдно нам было бы не сделать с этими двумя детьми всего, что нам нужно. А если это окажется для нас труднее, чем мы первоначально рассчитывали, вспомним, чтобы подхлестнуть свое рвение, вы — о том, что речь

---

[18] Примечания: 18

По нравам госпожи де Мертей читатель, наверно, уже давно догадался, как мало она уважает религию. Весь этот отрывок можно было бы опустить, но мы считали, что, показывая результаты, не следует также пренебрегать раскрытием причин.

идет о дочери госпожи де Воланж, а я — о том, что она должна стать женою Жеркура. Прощайте.

Из***, 2 сентября 17…

Письмо 52

От виконта де Вальмона к президентше де Турвель

Вы запрещаете мне, сударыня, говорить вам о любви, но где я найду мужество, необходимое для того, чтобы вам повиноваться? Поглощенный чувством, которое должно было быть столь сладостным, но которое вы делаете столь мучительным; томясь в изгнании по вашему приказу; испытывая в жизни одни только лишения и сожаления; терзаясь муками тем более жестокими, что они все время напоминают мне о вашем равнодушии, — неужели должен я в довершение всего поступиться единственным оставшимся мне утешением, а что же мне остается, как не возможность изредка открывать вам душу, которую вы наполняете тревогой и горечью? Неужели вы отвратите свой взор, чтобы не видеть слез, вами же вызванных? Неужели откажетесь вы даже от поклонения со стороны того, кто приносит требуемые вами жертвы? Разве не было бы бо-

лее достойно вас, вашей благородной и кроткой души пожалеть страждущего из-за вас, вместо того чтобы отягчать его страдания запретом и несправедливым, и чрезмерно суровым?

Вы притворяетесь, что любовь страшит вас, а не хотите понять, что только вы и являетесь причиной зла, которое ей приписываете! Ах, разумеется, чувство это мучительно, когда оно не разделено существом, его внушившим. Но где найти счастье, если его не дает взаимная любовь? Где, как не в любви, обрести нежную дружбу, сладостное и подлинно беспредельное доверие, облегчение страданий, умножение радостей, восхитительные воспоминания? Вы клевещете на любовь, а ведь для того чтобы насладиться всеми благами, которые она сулит, вам надо лишь не отвергать их. Я же, защищая ее, забываю о претерпеваемых мною муках.

Вы заставляете меня защищать и себя самого, ибо, хотя я посвятил всю свою жизнь поклонению вам, вы заняты в жизни лишь тем, что ищете у меня прегрешений: вы уже считаете, что я ветреник и обманщик и, обращая против меня кое-какие заблуждения, в которых я же сам и признался, готовы видеть во мне, каким я стал теперь, того самого человека, каким я был преж-

де. Не довольствуясь тем, что я обречен вами на муку жить вдали от вас, вы добавляете к ней жестокое издевательство по поводу наслаждений, к которым — вы сами это отлично знаете — я из-за вас же стал нечувствительным. Вы не верите ни обещаниям моим, ни клятвам. Так вот, у меня есть перед вами свидетель, которого вы уж никак не сможете отвергнуть: это вы сами. Я только прошу вас спросить чистосердечно самое себя, — и если вы не верите в мою любовь, если вы хоть на миг усомнитесь, что единовластно царите в моей душе, если вы не уверены, что приковали к себе сердце, бывшее дотоле и впрямь слишком изменчивым, — тогда я согласен нести ответ за это ваше заблуждение. Я буду стенать от горя, но не пророню ни единой жалобы. Если же, напротив, вы, отдавая должное нам обоим, вынуждены будете в глубине души признать, что у вас нет и никогда не будет соперницы, тогда, молю вас, не заставляйте меня сражаться с призраками и оставьте мне хотя бы одно утешение, — что вы не сомневаетесь в чувстве, которому действительно наступит, действительно сможет наступить конец, но лишь с концом моей жизни. Разрешите мне, сударыня, просить вас дать положительный ответ на эту часть моего письма. Хотя я и готов

осудить ту пору моей жизни, которая, видимо, так вредит мне в ваших глазах, но вовсе не потому, чтобы у меня на худой конец не было доводов для ее защиты.

Не в том ли, в конце концов, была вся моя вина, что я не сопротивлялся водовороту, в который был ввергнут? В свет я вступил совсем еще юным и неопытным, меня, можно сказать, из рук в руки передавала целая толпа женщин, каждая из которых своей готовностью на все спешит предупредить размышление, для нее, как она прекрасно понимает, наверняка невыгодное. Мог ли я сам подать пример стойкости, которой мне отнюдь не противопоставляли, или должен был за миг заблуждения, в которое зачастую бывал вовлечен помимо воли, покарать себя постоянством, наверняка бесполезным и даже смехотворным в глазах людей? Вступив в постыдную связь, можно ли оправдать себя иначе, как быстрым разрывом?

Но я могу смело сказать, что это опьянение чувств — может быть, даже исступленное тщеславие — не проникло глубоко в мое сердце. Оно рождено было для любви, волокитство же могло его развлечь, но не занять. Я был окружен созданиями привлекательными, но заслуживаю-

щими презрения, и ни одно из них не затронуло моей души. Мне предлагали наслаждения, а я искал добродетелей, и потому лишь, что я был нежным и чувствительным, я стал считать себя непостоянным.

Но когда я увидел вас, все стало мне ясным: вскоре я понял, что подлинный источник любовных чар — душевные качества, что лишь они могут порождать и оправдывать безумие любви. Словом, я понял, что для меня равно невозможно не любить вас и полюбить кого-либо, кроме вас.

Вот, сударыня, каково то сердце, которому вы боитесь довериться и судьба которого зависит от вашего решения. Но какую бы участь вы ему ни уготовили, вы не измените чувств, привязывающих его к вам: они так же непоколебимы, как и добродетели, их породившие.

Из***, 3 сентября 17…

Письмо 53

От виконта де Вальмона к маркизе де Мертей

Я виделся с Дансени, но добился от него лишь полупризнания. Особенно упорно замалчивал он имя маленькой Воланж, о которой говорил мне как о женщине очень целомудренной и даже

немного святоше. В остальном же он рассказал мне свое приключение довольно правдиво, особенно же последнее событие. Я подогревал его, как только мог, и всячески вышучивал его скромность и щепетильность, но, по-видимому, он не намерен с ними расставаться, и я за него не отвечаю; впрочем, я надеюсь, что послезавтра я могу осведомить вас на этот счет подробнее. Завтра я везу его в Версаль и по дороге постараюсь выведать у него все, что можно.

Кое-какие надежды возлагаю я и на свидание влюбленных, которое состоится сегодня. Может быть, там все произойдет согласно вашим пожеланиям, и нам с вами останется лишь вырвать признание и собрать доказательства. Сделать это будет легче вам, чем мне, ибо юная особа более доверчива или — что, в сущности, одно и то же — более болтлива, чем ее скромный поклонник. Однако и я сделаю все, что смогу.

Прощайте, мой прелестный друг, я очень тороплюсь. Я не смогу повидать вас ни сегодня, ни завтра. Если со своей стороны вы что-нибудь узнаете, напишите мне два слова к моему возвращению. Я, наверно, к ночи вернусь в Париж.

Из***, 3 сентября 17… вечером.

Письмо 54

От маркизы де Мертей к виконту де Вальмону

Ну, уж как будто у Дансени нам есть что выведывать! Если он вам и намекнул на что-нибудь, то просто из хвастовства. Не знаю никого, кто был бы в любовных делах глупее, и все больше упрекаю себя за свою доброту к нему. Известно ли вам, что я едва не скомпрометировала себя из-за него! И что все это понапрасну. О, я ему отомщу, будьте уверены! Когда я вчера заехала за госпожой де Воланж, она не захотела выезжать, сославшись на нездоровье. Мне пришлось употребить все свое красноречие, чтобы убедить ее, и я уже стала бояться, как бы Дансени не явился до нашего с ней отъезда; это было бы особенно неудачно, так как госпожа де Воланж сказала ему накануне, что ее дома не будет. Ее дочь и я — мы обе сидели как на иголках. Наконец мы вышли, и малютка с таким чувством пожала мне руку, прощаясь со мной, что, несмотря на ее решение о разрыве и искреннюю ее уверенность, что она продолжает твердо держаться этого решения, я ожидала от этого вечера настоящих чудес.

Но тревоги мои на этом не кончились. Не про-

вели мы у госпожи де*** и получаса, как госпожа де Воланж на самом деле почувствовала себя плохо, даже очень плохо, и, вполне естественно, стала собираться домой. Меня же это отнюдь не устраивало, так как я боялась, что, если мы застанем молодых людей вдвоем, в чем вполне можно было поручиться, матери покажутся подозрительными мои настоятельные уговоры отправиться вместе с нею в гости. Я решила запугать ее ухудшением нездоровья, что, к счастью, было нетрудно, и в продолжение полутора часов не соглашалась везти ее домой, делая вид, что боюсь, как бы ей не повредила тряска в экипаже. В конце концов мы возвратились домой в условленное время. Когда мы приехали, я заметила, что у девочки очень уж смущенный вид, и, признаюсь, стала надеяться, что труды мои не пропали даром.

Мне так хотелось хорошенько все разузнать, что я задержалась подле госпожи де Воланж, которая тотчас же легла. Отужинав у ее постели, мы рано оставили ее под предлогом, что ей нужен покой, и отправились в комнату дочки. Та, оказывается, сделала все, чего я от нее ожидала: исчезли сомнения, были возобновлены клятвы в вечной любви и т. д. и т. п. В общем, она охотно

пошла на все, но дуралей Дансени ни на шаг не сдвинулся с места, на котором пребывал. О, с таким красавцем можно ссориться сколько угодно: примирения не таят никаких опасностей.

Малютка, впрочем, уверяет, что он хотел большего, но что она сумела защититься. Бьюсь об заклад, что она либо хвастается, либо старается найти ему оправдание. Я даже почти убедилась в этом. Должна сказать, что на меня нашла прихоть удостовериться, на какую такую защиту она способна, и я, всего-навсего женщина, от слова к слову, до того вскружила ей голову, что… Словом, можете мне поверить, нет существа, более способного поддаться внезапному порыву чувства. Эта крошка и впрямь исключительно мила! Она заслуживала бы другого поклонника! Во всяком случае, у нее будет хороший друг, ибо я к ней уже искренне привязалась. Я обещала ей, что завершу ее воспитание, и, кажется, сдержу слово. Я часто ощущала необходимость иметь наперсницей женщину, и эта подошла бы мне больше всякой другой. Но я не могу ничего из нее сделать, пока она не станет… тем, чем должна стать. Еще одна причина быть недовольной Дансени.

Прощайте, виконт. Завтра ко мне не являйтесь, разве что утром. Я уступаю настояниям кавалера

провести с ним вечер в моем домике.

Из***, 4 сентября 17…

Письмо 55

От Сесили Воланж к Софи Карне

Ты была права, дорогая моя Софи. Твои пророчества удачнее, чем советы. Как ты и предсказывала, Дансени оказался сильнее исповедника, тебя, даже меня самой — и вот мы снова там же, где были.

Ах, я не раскаиваюсь, а ты если и станешь меня бранить, то лишь потому, что не знаешь, какая это радость — любить Дансени. Легко тебе говорить, как себя следует вести, тебе ведь ничто не мешает. Но если бы ты почувствовала, какую боль причиняет нам горе того, кого мы любим, как его радость становится нашей радостью и до чего трудно говорить «нет», когда так хочется сказать «да», — ты бы перестала чему-либо удивляться. Я и сама почувствовала это, и почувствовала очень живо, хотя как следует еще не понимаю, почему это так. Думаешь ли ты, например, что я могу видеть слезы Дансени и сама при этом не плакать? Уверяю тебя, что это совершенно немыслимо. А когда он доволен, я так же счастлива, как он

сам. Можешь говорить все, что хочешь: никакие слова не изменят того, что есть, и я совершенно уверена, что это именно так.

Хотела бы я видеть тебя на моем месте… Нет, я не то хотела, сказать, так как уж, наверно, не согласилась бы уступить кому-либо свое место, но я хотела бы, чтобы ты кого-нибудь полюбила. И не только ради того, чтобы ты меня лучше понимала и меньше бранила, а дело в том, что ты тоже стала бы счастливее или, вернее сказать, ты бы только начала становиться счастливой.

Наши игры, наше веселье, все это, видишь ли, детские забавы: кончаются они, и после них ровно ничего не остается. Но любовь, ах, любовь!.. Одно слово, один взгляд, сознание, что он тут, рядом, — вот что такое счастье. Когда я вижу Дансени, мне больше ничего не хочется. А когда я его не вижу, так только его и хочу. Не знаю, как это получилось, но можно подумать, что все, что мне нравится, похоже на него. Когда его со мной нет, я о нем думаю, и когда я могу думать только о нем, не отвлекаясь, — например, когда я совсем одна, — я тоже счастлива. Я закрываю глаза, и мне сразу начинает казаться, что он передо мной, я вспоминаю его слова, я его как бы слышу. От этого я вздыхаю, а потом ощущаю какой-то жар,

волнение… Не нахожу себе места. Это — как бы мука, но мука, доставляющая невыразимое наслаждение.

Я даже думаю, что, когда любишь, это распространяется и на дружбу. Однако моя дружба к тебе нисколько не изменилась: все — как было в монастыре. Но то, о чем я тебе говорю, я испытываю по отношению к госпоже де Мертей. Мне сдается, что я люблю ее скорее, как люблю Дансени, чем, как тебя, и иногда мне хочется, чтобы она была им. Может быть, так получается оттого, что это не детская дружба, как у меня с тобой, а может быть, и оттого, что я часто вижу их вместе, и получается, что я как бы ошибаюсь. Словом, вся суть в том, что они оба делают меня счастливой, и в конце концов я не думаю, чтобы мое поведение было очень дурным. Вот почему лучше всего для меня было бы, чтобы все оставалось, как оно есть, и меня удручает только мысль о замужестве, ибо если господин де Жеркур действительно такой, как мне говорили, — а я в этом не сомневаюсь, — я просто не знаю, что со мной будет. Прощай, милая Софи, я по-прежнему нежно люблю тебя.

Из***, 4 сентября 17…

Письмо 56

От президентши де Турвель к виконту де Вальмону

Для чего вам, сударь, ответ, которого вы у меня просите? Верить в ваши чувства — не значит ли иметь лишнее основание опасаться их? Не отрицая их искренности и не признавая ее, разве не достаточно мне — и не должно ли быть достаточно и для вас — знать, что я не хочу и не имею права на них отвечать?

Если и предположить, что вы в самом деле меня любите (я соглашаюсь на это предположение лишь для того, чтобы уж больше к этому не возвращаться), разве препятствия, разделяющие нас, не останутся столь же непреодолимыми? И что иное должна была бы я делать, как не желать, чтобы вы сумели поскорее побороть в себе это чувство, а главное — как не помочь вам в этом всеми моими силами, решительно отняв у вас всякую надежду? Вы сами соглашаетесь с тем, что чувство это мучительно, когда оно не разделяется существом, его внушившим. Между тем вы отлично знаете, что разделить его — для меня невозможно. А если бы даже такое несчастье

со мной случилось, я стала бы лишь еще более достойной сожаления, вы же — отнюдь не сделались бы счастливее. Надеюсь, вы меня достаточно уважаете, чтобы ни на миг не усомниться в этом. Прекратите же, заклинаю вас, прекратите попытки смутить сердце, которому так нужен покой. Не заставляйте меня жалеть о том, что я вас узнала.

Муж, которого я люблю и уважаю, меня лелеет и чтит. В одном человеке сосредоточены и мои обязанности, и мои радости. Я счастлива, я должна быть счастлива с ним. Если и существуют более острые наслаждения, я к ним не стремлюсь, я не хочу их познать.

Есть ли что-нибудь более радостное, чем пребывать в мире с самою собой, знать лишь ясные дни, засыпать без угрызений совести? То же, что вы называете счастьем, есть лишь смятение чувств, буря страстей, которая страшит, даже если ее созерцаешь с берега. Как можно бросить вызов этим бурям? Как можно дерзнуть выйти в море, усеянное обломками бесчисленных кораблекрушений? И с кем? Нет, сударь, я остаюсь на суше, мне дороги узы, привязывающие меня к ней. Я не пожелала бы разорвать их, даже если бы имела возможность это сделать. А если бы их у меня не было, я постаралась бы как можно

скорее завязать подобные узы.

Зачем вы следуете за мной по пятам? Зачем упрямо ведете это преследование? Письма ваши, которые вы должны были бы посылать изредка, приходят одно за другим. Им следовало бы быть более скромными, а вы в них говорите лишь о своей безумной любви. Мысль о себе вы делаете более навязчивой, чем прежде были сами. Я отстранила вас от себя в одном облике — вы появляетесь в другом. Я прошу вас не говорить о некоторых вещах — вы вновь о них говорите, только на иной лад. Вы тешитесь, смущая меня коварными доводами, — мои же доводы проходят мимо вас. Я не хочу и не стану больше отвечать вам… Как отзываетесь вы о женщинах, которых соблазнили! С каким презрением вы о них говорите! Охотно верю, что некоторые из них этого заслуживают, но неужели же все они до такой степени презренны? Ах, без сомнения это так, ведь они пренебрегли своим долгом, отдаваясь преступной любви. И с этого мгновения они потеряли все, вплоть до уважения со стороны того, кому они всем пожертвовали. Казнь эта справедлива, но одна мысль о ней повергает меня в трепет. А впрочем, какое мне до этого дело? Почему бы стала я заниматься ими или же

вами самим? По какому праву нарушаете вы мой покой? Оставьте меня, не пытайтесь увидеть, не пишите, — прошу вас, требую. Письмо это — последнее, которое вы от меня получите.

Из***, 5 сентября 17…

Письмо 57

От виконта де Вальмона к маркизе де Мертей

Вчера по возвращении я нашел ваше письмо. Ваш гнев меня донельзя развеселил. Если бы Дансени провинился против вас лично, вы, пожалуй, были бы не сильнее возмущены. Видимо, из мести приучаете вы его возлюбленную изменять ему по мелочам. И злодейка же вы! Да, вы очаровательны, и я не удивляюсь, что вам сопротивляются меньше, чем кавалеру Дансени.

Ну, этот прекрасный герой романа изучен мною наизусть. У него больше нет от меня тайн. Я усиленно проповедовал ему, что честная любовь есть высшее благо, что сильное чувство стоит больше, чем десять приключений, да так усиленно, что сам становился в эту минуту робким влюбленным. Под конец он уверился, что мы с ним одинаково смотрим на вещи, и, придя в полный восторг от моего чистосердечия, рассказал

мне все и поклялся в безграничной дружбе. Это, однако, нисколько не продвигает вперед нашего плана.

Прежде всего он, по-моему, придерживается того взгляда, что к девице надо относиться бережнее, чем к женщине, ибо она больше теряет. А главное, он считает, что ничто не оправдывает мужчину, своим поведением вынудившего девушку либо выйти за него замуж, либо оставаться обесчещенной, когда девушка много богаче мужчины, как в данном случае. Доверие матери, невинность дочери — все его смущает и останавливает. Трудность для меня — не в том, чтобы опровергнуть его взгляды, несмотря на всю их справедливость. С некоторой ловкостью и с помощью его страсти их скоро можно разбить, тем более что они делают его смешным, а я в этом случае опирался бы на общее мнение. Трудно с ним справиться потому, что и в настоящем своем положении он чувствует себя счастливым. И действительно, если первая любовь кажется нам вообще более благородным и, как говорят, более чистым чувством, если она, во всяком случае, более медленно развивается, то причина этому вовсе не чувствительность или робость, как принято считать. Дело в том, что сердце,

пораженное чувством, дотоле не изведанным, как бы останавливается на каждом шагу, чтобы насладиться очарованием, которое оно испытывает, и очарование это обладает такой властью над неискушенным сердцем, что совершенно поглощает его и заставляет забывать обо всех других радостях. Это настолько верно, что даже влюбленный распутник, — если распутник может быть влюблен, — с этой минуты не так сильно рвется к наслаждению и что, наконец, между поведением Дансени с маленькой Воланж и моим с недотрогой госпожой де Турвель разница только в степени.

Чтобы распалить нашего юношу, надо было бы, чтобы на пути его встало куда более серьезное препятствие и, прежде всего, чтобы ему приходилось соблюдать большую таинственность, ибо таинственность ведет к дерзновению. Я не далек от мысли, что вы повредили нашим замыслам, оказав ему такую помощь. Ваше поведение было бы превосходным по отношению к человеку бывалому, испытывающему одни лишь вожделения, но вам следовало предвидеть, что для юноши порядочного и влюбленного главная ценность внешних проявлений любви в том, чтобы они являлись ее залогом, и что, следовательно,

чем более он уверен во взаимности, тем менее будет предприимчив. Что же теперь делать? Не знаю. Но я не надеюсь, что малютка потеряет невинность до брака; мы с вами останемся ни при чем. Очень жаль, но я не вижу, чем тут можно помочь. Пока я тут разглагольствую, вы со своим кавалером занимаетесь настоящим делом. Это напоминает мне о том, что я получил от вас обещание изменить ему со мной. У меня имеется письменное ваше обещание, и я вовсе не желаю, чтобы оно превратилось в долгосрочный вексель. Я согласен, что срок платежа еще не наступил, но с вашей стороны великодушно было бы не дожидаться этого. Я с вас не потребую лишних процентов. Неужели вам не надоело постоянство? Кавалер, видимо, и в самом деле творит чудеса? О, разрешите мне действовать, я хочу заставить вас признать, что если вы находили в нем какие-то достоинства, то лишь потому, что забыли меня.

Прощайте, прелестный друг, целую вас так же крепко, как желаю вас. И не сомневайтесь, что все поцелуи кавалера, вместе взятые, не так пламенны, как мои.

Из***, 5 сентября 17…

Письмо 58

От виконта де Вальмона к президентше де Турвель

Чем заслужил я, сударыня, ваши упреки и гнев, который вы на меня обрушили? Самая горячая и вместе с тем самая почтительная привязанность, самая безропотная покорность малейшей вашей воле — вот в двух словах вся история моих чувств и моего поведения. Меня терзали муки неразделенной любви, и единственным утешением моим было видеть вас. Ваш приказ лишал меня этого — и я подчинился, не позволив себе роптать. В награду за принесенную жертву вы разрешили мне писать вам, а теперь хотите отнять у меня и эту единственную радость. Неужели я должен примириться с этим лишением, не пытаясь даже защищаться. Разумеется, нет! Разве не дорога эта радость моему сердцу? Она — единственное, что у меня осталось, и даровали ее мне вы.

Вы говорите, что письма мои «слишком часты»? Но подумайте только, прошу вас, что изгнание мое длится уже десять дней — и не было мгновения, чтобы мысли мои не были заняты вами, а между тем вы получили от меня всего два пись-

ма. «Я говорю в них только о своей любви»? Но о чем же могу я говорить, как не о том, о чем все время помышляю? Единственное, что я мог сделать, — это ослабить выражения, и, можете поверить мне, я открыл вам лишь то, что скрыть было просто невозможно. Вы, наконец, угрожаете, что перестанете отвечать? Значит, вы не довольствуетесь тем, что так сурово обращаетесь с человеком, который дорожит вами превыше всего и чтит вас даже больше, чем любит, — вы его еще и презираете! Но почему эти угрозы, этот гнев? Разве в них есть нужда? Разве не уверены вы в моем повиновении даже самым несправедливым вашим требованиям? Могу ли я противиться любому вашему желанию, и разве не доказал я уже, что не могу? Неужели же вы злоупотребите своей властью надо мной? Сможете ли вы с легким сердцем вкушать столь необходимый для вас, по вашим словам, покой, после того как из-за вас я стану окончательно несчастным, после того как вы совершите несправедливость? Неужто вы никогда не скажете себе: «Он сделал меня владычицей своей судьбы, а я сделала его несчастным; он молил о помощи, а я не бросила на него сострадательного взгляда!» Знаете ли вы, до чего может довести меня отчаяние? Нет, вы не знаете.

Чтобы облегчить мои страдания, вы должны были бы знать, до какой степени я вас люблю; но сердца моего вы не знаете.

Чему вы приносите меня в жертву? Призрачным опасениям. И кто у вас их вызывает? Человек, обожающий вас, человек, над которым вы всегда сохраните безграничную власть. Чего же вы боитесь? Чего можете вы опасаться от чувства, которым всегда будете вольны управлять по своему желанию? Но воображение ваше создает себе каких-то чудовищ, и ужас, который вы перед ними ощущаете, вы приписываете любви. Немного доверия ко мне — и призраки эти исчезнут.

Один мудрец сказал, что, для того чтобы рассеялись страхи, достаточно осознать их причину[19]. Истина эта особенно применима к любви. Полюбите, и страхам вашим придет конец. На месте того, что вас ужасает, вы найдете сладостное чувство нежного и покорного вам возлюбленного, и во все дни ваши, отмеченные счастьем, у вас не возникнет иных сожалений, кроме того, что вы потеряли те дни, которые провели в равнодушии. И я сам, с тех пор как раскаялся в своих заблуждениях и существую лишь для любви, я сожалею

---

[19] Примечания: 19

Кажется, это Руссо в «Эмиле», но цитата неточна, и Вальмон ее неправильно применяет. Да и читала ли госпожа де Турвель «Эмиля»?*

о времени, которое проводил, как казалось мне, в наслаждениях, и чувствую, что лишь вам дано сделать меня счастливым. Но, молю вас, пусть радость, которую я испытываю, когда пишу вам, не замутнена будет страхом прогневить вас! Я не хочу ослушаться вас, но, припадая к ногам вашим, прошу сохранить мне счастье, которое вы желаете у меня отнять. Я взываю к вам: услышьте мои мольбы, поглядите на мои слезы. Ах, сударыня, неужели же вы откажете?

Из***, 7 сентября 17…

Письмо 59

От виконта де Вальмона к маркизе де Мертей

Растолкуйте мне, если можете, что означает этот вздор, который несет Дансени? Что такое случилось и что он потерял? Уж не рассердилась ли его красотка на его нескончаемую почтительность? Говоря по всей справедливости, давно уже можно было рассердиться. Что мне сказать ему сегодня вечером на свидании, о котором он меня просил и которое я ему на всякий случай назначил? Разумеется, я не стану терять времени на выслушивание его сетований, если это нас ни к чему не приведет. Любовные жалобы можно

слушать лишь в облигатном речитативе* или в ариях. Сообщите мне, в чем дело, скажите, как я должен поступать, или же я сбегу, чтобы избежать маячащей передо мною скуки. Смогу ли я поговорить с вами сегодня утром? Если вы заняты, то хотя бы черкните мне словечко и дайте мне указания насчет моей роли.

Где вы были вчера? Мне никак не удается с вами увидеться. Право же, незачем было оставаться в Париже в сентябре. Однако надо вам на что-то решиться, ибо я только что получил весьма настоятельное приглашение от графини де Б*** погостить у нее в деревне, и вот в какой забавной форме она меня приглашает: у ее мужа есть, мол, очаровательный лес, который он заботливо предназначает «для приятного времяпрепровождения своих друзей». Вы же хорошо знаете, что на этот лес я имею некоторые права, и я поеду взглянуть на него еще раз, если не могу быть вам ничем полезным.

Прощайте и не забудьте, что Дансени будет у меня часов около четырех.

Из***, 8 сентября 17…

Письмо 60

От кавалера Дансени к виконту де Вальмону (вложено в предыдущее)

Ах, сударь, я в отчаянии, я потерял все. Я не решаюсь доверить бумаге тайну моих страданий, но мне необходимо излить их перед надежным и верным другом. В котором часу мог бы я увидеться с вами и получить у вас утешение и совет? Я был так счастлив в тот день, когда открыл вам свою душу! А теперь — какая разница! Все для меня изменилось. То, что приходится претерпевать лично мне, есть лишь незначительная доля моих терзаний. Тревога за существо, бесконечно более дорогое, — вот чего я перенести не в силах. Вы счастливее меня и сможете ее увидеть, и я жду от вашей дружбы, что вы не откажетесь исполнить мое поручение к ней. Но для этого мне нужно повидать вас и объяснить вам, что надо сделать. Вы пожалеете меня, вы мне поможете. Вся моя надежда — на вас. Вы человек чувствительный, вы знаете любовь, и только вам одному я имею возможность довериться. Не отказывайтесь же помочь мне.

Прощайте, сударь. Единственное облегчение

в моем горе — это сознание, что я имею такого друга, как вы. Сообщите мне, прошу вас, в котором часу я могу вас застать. Если нельзя сегодня утром, то я хотел бы как можно раньше после полудня.

Из***, 8 сентября 17…

Письмо 61

От Сесили Воланж к Софи Карне

Дорогая моя Софи, пожалей свою Сесиль, свою бедную Сесиль: она очень несчастна! Мама все знает. Не понимаю, каким образом у нее могли возникнуть подозрения, однако она все обнаружила. Вчера вечером мне показалось, будто мама немного раздражена, но я не обратила на это особого внимания и, дожидаясь, пока она кончит игру в карты, даже вела очень веселый разговор с госпожой де Мертей, которая у нас ужинала, и мы много беседовали о Дансени. Не думаю, чтобы нас могли услышать. Она ушла, и я удалилась к себе.

Я раздевалась, когда мама вошла и велела моей горничной выйти. После этого она потребовала у меня ключ от моего секретера. Говорила она таким тоном, что я затрепетала и едва могла держаться на ногах. Я делала вид, что не могу найти

ключ, но в конце концов пришлось повиноваться. Первый же ящик, который она открыла, оказался как раз тот, где находились письма кавалера Дансени. Я была в таком смятении, что, когда она меня спросила, что это такое, в состоянии была ответить только: «Ничего». Но когда я увидела, что она начала читать первое письмо, какое ей попалось на глаза, мне стало так худо, что я потеряла сознание. Как только я пришла в себя, мама, позвавшая мою горничную, удалилась, велев мне ложиться спать. Она забрала все письма Дансени. Я дрожу всякий раз, как подумаю, что должна буду снова показаться ей на глаза. Всю ночь я проплакала. Пишу на рассвете, так как надеюсь, что появится Жозефина. Если я смогу поговорить с ней с глазу на глаз, то попрошу, чтобы она передала госпоже де Мертей записку, которую я ей напишу. Если нет, то я вложу записку в письмо к тебе, а ты уж, будь добра, отправь ее как будто бы от себя. Только она одна способна хоть немного меня утешить. Мы хоть поговорим о нем, так как я уже не надеюсь его увидеть. Я очень несчастна! Может быть, она будет так добра, что возьмется передать Дансени мое письмо. Я не решаюсь довериться в таком деле Жозефине, а еще меньше моей горничной: ведь это, может быть, она

сказала маме, что в секретере у меня спрятаны письма.

Я кончаю, так как мне еще нужно написать госпоже де Мертей, а также Дансени, чтобы письмо к нему было готово на случай, если она согласится его отослать. Затем я опять лягу, чтобы меня застали в постели, когда придут в мою комнату. Чтобы не пришлось идти к маме, я скажусь больной. Я не так уж солгу: мне ведь хуже, чем если бы у меня был жар. Глаза горят от слез, и так давит под ложечкой, что трудно дышать. Когда я думаю, что больше не увижу Дансени, мне хочется умереть. Прощай, дорогая моя Софи. Не могу больше писать, слезы душат меня.

Из***, 7 сентября 17…

Примечание. Письмо Сесили Воланж к маркизе выпущено, так как в нем излагаются те же обстоятельства, что в предыдущем письме, только менее подробно. Письмо к кавалеру Дансени найдено не было: причину читатель узнает из письма 63 госпожи де Мертей к виконту.

Письмо 62

От госпожи де Воланж к кавалеру Дансени

После того как вы, милостивый государь, зло-

употребили доверием матери и невинностью ребенка, вас, конечно, не удивит, что вас больше не будут принимать в доме, где на доказательства искреннейшей дружбы вы ответили лишь забвением всех правил пристойного поведения. Я предпочитаю просить вас впредь не являться ко мне, вместо того чтобы дать соответствующее распоряжение привратнику, что в равной мере скомпрометировало бы всех нас, ибо среди слуг наших тотчас же начнутся пересуды. Я имею право рассчитывать, что вы не вынудите меня прибегнуть к этому способу. Предупреждаю вас также, что, если в будущем вы сделаете хоть малейшую попытку удержать мою дочь в том заблуждении чувств, в которое вы ее завлекли, суровое и вечное заточение избавит ее от ваших преследований. От вас, сударь, зависит, так ли мало побоитесь вы стать причиной ее несчастья, как мало побоялись попытки ее обесчестить. Что до меня, то выбор мой сделан, и я ей его сообщила.

При сем вы найдете пачку ваших писем. Я рассчитываю, что в обмен вы пришлете мне все письма моей дочери и что вы не воспротивитесь тому, чтобы не оставалось ни малейших следов происшествия, о котором я не смогу вспомнить

без негодования, она — без стыда, а вы — без угрызений совести.

Имею честь быть и т. д.

Из ***, 7 сентября 17…

Письмо 63

От маркизы де Мертей к виконту де Вальмону

Да, конечно, я объясню вам записку Дансени. Происшествие, из-за которого он вам ее написал, дело моих рук и, полагаю, самое удачное из всех моих деяний. После вашего последнего письма я не теряла времени даром — я сказала себе, подобно одному афинскому архитектору*: «Я совершу то, о чем он говорил».

Ему, значит, нужны препятствия, этому герою романа, счастье усыпляет его! О, пусть положится на меня, я уж задам ему работу, и либо я очень ошибаюсь, либо спокойно почивать ему уж не придется. Надо было научить его ценить время, и я льщу себя надеждой, что он сейчас горько жалеет о тех часах, которые потерял. Вы также говорили, что ему не хватало таинственности. Так вот, теперь-то ее уж будет хватать с избытком. Во мне то хорошо, что достаточно указать мне на допущенную мною ошибку, — и я не успо-

коюсь, пока всего не поправлю. Узнайте же, что я сделала.

Вернувшись к себе позавчера утром, я прочитала ваше письмо, и мне все стало ясно как день. Убедившись, что вы превосходно определили причину зла, я занялась исключительно поисками средств для его искоренения. Начала я, однако, с того, что легла, ибо неутомимый кавалер не дал мне уснуть ни на мгновение, и я думала, что мне захочется спать. Ничего подобного, все мысли мои были заняты Дансени: желание вывести его из бездействия или его за это бездействие наказать не давало мне глаз сомкнуть, и лишь после того как я разработала свой план во всех подробностях, удалось мне отдохнуть часа два.

В тот же вечер я отправилась к госпоже де Воланж и, согласно своему замыслу, доверительно сообщила ей, что, как я почти убеждена, между ее дочерью и Дансени существует опасная связь. Эта женщина, столь проницательная в отношении вас, оказалась до того ослепленной, что сперва она ответила мне, что я, наверно, ошибаюсь: дочь ее, мол, совсем ребенок и т. д. и т. п. Я не могла рассказать ей всего, что мне известно, но я ссылалась на перехваченные мною взгляды, обрывки речей, которые внушали тревогу и моей

добродетели, и моему дружескому чувству. Словом, я говорила почти так же хорошо, как любая святоша, и, нанося окончательный удар, решилась даже сказать, что мне показалось, будто я видела, как они передавали из рук в руки письмо. «Тут мне припомнилось, — добавила я, — что она как-то открыла при мне ящик своего секретера, и я увидела там много каких-то бумаг, которые она, видимо, хранит. Не знаете ли вы, с кем она ведет оживленную переписку?» Тут госпожа де Воланж изменилась в лице, и я заметила, что на глазах у нее выступили слезы. «Благодарю вас, достойный мой друг, — произнесла она, пожимая мне руку. — Я все разузнаю».

После этого разговора, слишком короткого, чтобы он мог вызвать подозрения, я подошла к юной особе. Вскоре я, однако, покинула ее и попросила мать не выдавать меня дочери. Мать обещала тем охотнее, что я заметила ей, как было бы удачно, если бы девочка возымела ко мне доверие и открывала мне свое сердце, а у меня появилась бы таким образом возможность давать ей благоразумные советы. Обещание свое она сдержит — я не сомневаюсь в этом хотя бы потому, что ей захочется произвести на дочь впечатление своей проницательностью. Тем самым

я получала возможность поддерживать с малюткой обычный дружеский тон и не показаться двуличной в глазах госпожи де Воланж, чего я хотела избежать. Выиграла я вдобавок и то, что в дальнейшем смогу оставаться наедине и сколько угодно секретничать с юной особой, не вызывая у матери и тени подозрения.

Я воспользовалась этим в тот же вечер и, кончив свою партию, уединилась с малюткой в укромном уголке и завела разговор о Дансени: тут она совершенно неиссякаема. Я забавлялась, разжигая ее по поводу той радости, которую она испытает от завтрашней встречи с ним; какого только вздора я не заставила ее наговорить! Надо же было вернуть ей хотя бы в виде надежды то, что в действительности я у нее отнимала. Вдобавок от всего этого она еще сильнее ощутит удар, а я убеждена, что чем больше она будет страдать, тем скорее поспешит вознаградить себя при первом же благоприятном случае. К тому же полезно приучать к сильным переживаниям того, кого предназначаешь для жизни, полной приключений.

В конце концов, разве она не может заплатить двумя-тремя слезинками за счастье обладать своим Дансени? Она от него без ума. Что ж, могу ей

поручиться, что она его получит и даже раньше, чем получила бы без этой бури. Это лишь дурной сон, за которым последует сладостное пробуждение, и я полагаю, что в общем она должна быть мне даже благодарна. А если я и проявила немного коварства, надо же позабавиться:

Ведь на забаву нам и созданы глупцы[20].

Наконец, я удалилась, весьма собою довольная. Либо, говорила я себе, Дансени, разгоряченный препятствиями, воспылает еще сильнее и тогда я сделаю для него все, что будет в моей власти, либо, если это просто дурень, как мне порою кажется, он придет в отчаяние и признает себя побежденным. В этом случае я, по крайней мере, отомщу ему, как только смогу, и заодно приобрету еще большее уважение матери, еще более глубокую дружбу дочери и полное доверие их обеих. Что же касается Жеркура, главного предмета всех моих забот, то мне уж очень не повезет или же я окажусь уж очень неловкой, если, пользуясь огромным влиянием на его жену, которое в дальнейшем еще усилится, я не найду тысячи способов сделать из него то, во что я хочу его превратить. С этими приятными мыслями я

---

[20] Примечания: 20
Грессе, комедия «Злюка»*.

заснула и потому отлично спала и очень поздно проснулась.

Моего пробуждения уже дожидались две записки: одна от матери, другая от дочери, и я не могла удержаться от смеха, обнаружив в обеих буквально одну и ту же фразу: «От вас одной могу я ждать хоть некоторого утешения». Не забавно ли, в самом деле, утешать и за и против и оказаться единственным пособником двух совершенно противоположных устремлений? Вот я и уподобилась божеству; слепые смертные обращаются ко мне с совершенно противоположными пожеланиями, а мои непоколебимые решения остаются неизменными. Однако я оставила эту возвышенную роль, приняв на себя другую — ангела-утешителя, и, согласно заповеди, посетила ближнего в его горестях.

Я начала с матери, которую нашла столь удрученной, что этим вы уже отчасти отомщены за неприятности, постигшие вас по ее вине со стороны вашей прекрасной недотроги. Все удалось как нельзя лучше. Беспокоило меня только одно: как бы госпожа де Воланж не воспользовалась этой минутой, чтобы приобрести доверие дочери, что было бы очень легко, если бы она заговорила с ней ласково и дружелюбно и придала советам

разума вид и тон прощающей нежности. К счастью, она вооружилась строгостью и в конце концов повела себя так неудачно, что я могла только радоваться. Правда, она чуть не нарушила всех наших планов, решив сперва водворить свою дочь обратно в монастырь, но я отвела удар и посоветовала лишь пригрозить этим в том случае, если Дансени будет продолжать свои преследования; это заставит обоих влюбленных быть осторожными, что, по-моему, необходимо для успеха.

Затем я прошла к дочери. Вы бы не поверили, как она похорошела от горя! Как бы мало ни было ей свойственно кокетство, ручаюсь вам, — она будет частенько прибегать к слезам. Но на этот раз слезы были самые бесхитростные. Пораженная этим новым очарованием, которого я за нею не знала и которое теперь наблюдала с удовольствием, я сперва давала ей лишь неудачные советы, скорее усиливающие страдания, чем облегчающие их, и таким образом довела ее до полного изнеможения. Она уже не плакала, и я даже опасалась судорог. Я посоветовала ей лечь в постель, и она согласилась. Я принялась ухаживать за ней вместе с горничной. С утра она не одевалась и не причесывалась, и вскоре ее растрепанные во-

лосы рассыпались по совершенно обнаженным плечам и груди. Я поцеловала ее, она упала в мои объятия, и слезы полились вновь сами собой. Боже, как она была хороша! Ах, если Магдалина* походила на нее, она должна была быть опаснее в покаянии, чем во грехе.

Когда огорченная красотка оказалась в постели, я принялась утешать ее уже по-настоящему. Сперва я успокоила ее насчет водворения в монастырь. Я заронила в нее надежду на тайные свидания с Дансени. Усевшись на край постели, я сказала: «А что, если бы он был здесь!», затем, вышивая тот же узор, отвлекала ее то одним, то другим и в конце концов добилась того, что она позабыла о своем горе. Мы расстались бы вполне довольные друг другом, если бы она не попросила меня передать Дансени письмо, на что я упорно не соглашалась. И вот по каким соображениям — полагаю, вы их одобрите.

Прежде всего это скомпрометировало бы меня в глазах Дансени, и если это был единственный довод, который я могла привести малютке, то для вас у меня есть еще множество других. Разве я не рисковала бы плодами всех своих трудов, если бы с самого начала дала нашим молодым людям такой легкий способ смягчать их страдания? Кроме

того, я была бы не прочь заставить их замешать в это приключение кого-нибудь из слуг, ибо если оно, как я надеюсь, придет к вожделенному концу, нужно, чтобы о нем узнали тотчас же после замужества, а ведь нет более верного способа его разгласить. Если же каким-либо чудом слуги станут молчать, заговорим мы с вами, а для нас удобнее всего будет отнести огласку за их счет.

Поэтому вам следует сегодня же подать эту мысль Дансени, а так как я не уверена в горничной малютки Воланж — она и сама, кажется, ей не доверяет, — укажите ему на мою преданную Виктуар. Я уж постараюсь, чтобы она согласилась. Мысль эта мне тем более по душе, что посвящение ее в их тайну окажется выгодным только нам, а отнюдь не им, ибо я еще не окончила своего рассказа.

Упорно отказываясь взять от малютки письмо, я все время опасалась, что она попросит меня отправить его по городской почте, в чем я никак не могла бы ей отказать. К счастью, то ли по растерянности своей, то ли по неосведомленности, а может быть, и потому, что письмо ей было не так важно, как ответ, которого таким же путем она получить не смогла бы, но она об этом не заговорила. Но для того чтобы эта мысль вообще

не пришла ей в голову и, во всяком случае, для того, чтобы путь этот был для нее закрыт, я тотчас же приняла решение и, вернувшись к матери, убедила ее на некоторое время удалить дочь, увезя ее в деревню. Куда же? Сердце у вас не забилось от радости? К вашей тетушке, к старушке Розмонд. Она должна сегодня же предупредить ее об этом. Таким образом, вы получаете право возвратиться к своей святоше: теперь уже она не может ссылаться на скандальность пребывания с вами вдвоем, и, благодаря моим заботам, госпожа де Воланж сама исправит зло, которое она вам причинила.

Только слушайтесь меня и не будьте поглощены своими делами настолько, чтобы потерять из виду это дело: помните, что я в нем заинтересована.

Я хочу, чтобы вы стали посредником между молодыми людьми и их советчиком. Сообщите Дансени о предстоящем отъезде и предложите ему свои услуги. Единственное затруднение усмотрите в том, как передать в руки красотки доверительную грамоту, но тотчас же отведите это препятствие, указав на мою горничную. Нет сомнения, что он согласится, и в награду за свои хлопоты вы получите доверие неискушенного

сердца, что всегда занимательно. Бедняжечка! Как она покраснеет, передавая вам свое первое письмо! По правде говоря, роль наперсника, против которой имеется столько предрассудков, мне представляется прелестным развлечением, когда вообще занимаешься другими, как это и будет в данном случае. Развязка этой интриги будет зависеть от ваших стараний. Вы должны сообразить, какой момент окажется наиболее подходящим для того, чтобы соединить всех действующих лиц. Жизнь в деревне дает к тому тысячи возможностей, и уж наверно Дансени готов будет появиться там по первому же вашему сигналу. Ночь, переодевание, окно… да мало ли что еще? Но знайте, что, если девочка возвратится оттуда такой же, какой туда отправилась, виновником я буду считать вас. Если вы найдете, что она нуждается в каком-либо поощрении с моей стороны, сообщите мне. Правда, я дала ей достаточно хороший урок, как опасно хранить письма, и сейчас просто не осмелюсь писать ей, но я по-прежнему намерена сделать ее своей ученицей.

Кажется, я забыла рассказать вам, что свои подозрения насчет того, кто выдал переписку, она направила сперва на горничную, я же отвела их на исповедника. Таким образом, одним выстре-

лом убиты два зайца. Прощайте, виконт, я уже очень долго пишу вам, и даже обед мой из-за этого запоздал. Но письмо мне диктовали самолюбие и дружба, а оба эти чувства болтливы. Жалуйтесь теперь на меня, если посмеете, и отправляйтесь снова, если это вас соблазняет, прогуляться по лесу графа де Б***. Вы говорите, что он «предназначает его для приятного времяпрепровождения своих друзей»! Этот человек, видно, всему свету друг? Однако прощайте, я проголодалась.

Из ***, 9 сентября 17…

Письмо 64

От кавалера Дансени к госпоже де Воланж (копия, приложенная к письму 66 виконта к маркизе)

Не пытаясь, сударыня, оправдать свое поведение и не жалуясь на ваше, я могу лишь скорбеть о происшествии, сделавшем несчастными трех людей, хотя все трое достойны лучшей участи. Быть причиной этой беды для меня еще огорчительнее, чем являться ее жертвой, и потому я со вчерашнего дня часто порывался иметь честь ответить вам, но у меня не хватало на это сил. Между тем мне необходимо сказать вам так

много, что я должен в конце концов сделать над собой усилие, и если это письмо беспорядочно и бессвязно, то вы, наверно, поймете, в каком я сейчас горестном положении, и проявите некоторую снисходительность.

Разрешите прежде всего возразить против первой фразы вашего письма. Смею утверждать, что я не злоупотребил ни вашим доверием, ни невинностью мадемуазель де Воланж. В поступках своих я с уважением относился и к тому и к другому; но зависели от меня лишь мои поступки, и если вы даже возложите на меня ответственность за непроизвольно возникшее чувство, то я безо всякого опасения добавлю, что чувство это, внушенное мне вашей дочерью, может, конечно, быть вам неугодным, но отнюдь не оскорбит вас. В этом вопросе, затрагивающем меня больше, чем я могу вам сказать, я хотел бы иметь судьей лишь вас, а свидетелями лишь мои письма.

Вы запрещаете мне впредь появляться у вас, и, разумеется, я подчинюсь всему, что вам угодно будет на этот счет предписать, но разве столь внезапное и полное мое исчезновение не даст столько же пищи для пересудов, которых вы стремитесь избежать, как и приказ, который по этим именно соображениям вы не желаете давать сво-

ему привратнику? Я тем более могу настаивать на этом обстоятельстве, что для мадемуазель де Воланж оно гораздо существеннее, чем для меня лично. Поэтому я умоляю вас все внимательно учесть и не допускать, чтобы строгость ваша заглушила осторожность. Убежденный, что в решениях своих вы будете руководствоваться лишь интересами вашей дочери, я буду ждать от вас дальнейших приказаний.

Однако, если вы позволите мне изредка лично свидетельствовать вам свое почтение, я обязуюсь, сударыня (и вы можете полагаться на мое слово), не злоупотреблять этими случаями для того, чтобы заводить беседу наедине с мадемуазель де Воланж или же передавать ей какие-либо письма. Я готов на эту жертву из страха хоть чем-либо повредить ее доброму имени, а счастье изредка видеться с нею будет служить мне наградой.

Этот пункт моего письма является единственным возможным для меня ответом на то, что вы мне говорите об участи, которую готовите мадемуазель де Воланж и которую вам угодно ставить в зависимость от моего поведения. Обещать вам большее — значило бы обманывать вас. Какой-нибудь низкий обольститель может подчинять свои намерения обстоятельствам и

строить свои расчеты в зависимости от событий, но любовь, одушевляющая меня, внушает мне лишь два чувства: мужество и постоянство.

Как примириться с тем, что я буду забыт мадемуазель де Воланж и сам ее позабуду? Нет, нет, никогда. Я останусь ей верен.

Она получила от меня клятву в верности, и сейчас я подтверждаю ее. Простите, сударыня, я отклонился в сторону, вернемся к делу.

Мне остается обсудить с вами еще один вопрос: о письмах, которые вы просите меня вернуть. Я искренне огорчен тем, что к поступкам, в которых вы считаете меня виновным, вынужден присовокупить еще и отказ. Но, умоляю вас, выслушайте мои доводы и, для того чтобы принять их, соблаговолите вспомнить, что единственным утешением в несчастии утратить вашу дружбу для меня является надежда на сохранение вашего уважения.

Письма мадемуазель де Воланж, которые всегда были для меня столь драгоценными, стали в настоящую минуту еще драгоценнее. Они — единственное, что у меня осталось. Они — единственное вещественное свидетельство чувства, в котором заключается вся радость моей жизни. Можете, однако, не сомневаться, что я

ни на миг не поколебался бы принести вам эту жертву и что сожаление о том, что я их лишаюсь, уступило бы стремлению доказать вам, насколько я чту и уважаю вас, но меня удерживают от этого весьма веские доводы, и я уверен, что даже вы не сможете против них возразить.

Вы действительно раскрыли тайну мадемуазель де Воланж, но позвольте мне сказать, я имею все основания думать, что это произошло лишь по случайности, а не потому, чтобы она вам сама призналась. Я не позволю себе осудить ваш поступок, быть может вполне оправдываемый материнской заботливостью. Я уважаю ваши права, но они не простираются настолько далеко, чтобы освободить меня от моего долга. А самый священный долг состоит в том, чтобы никогда не обманывать оказанного нам доверия. Я изменил бы ему, если бы выставил напоказ кому бы то ни было другому тайны сердца, пожелавшего открыться лишь одному мне. Если ваша дочь согласится доверить их вам, пусть она сама расскажет все. В таком случае письма вам не нужны. Если же, напротив, она пожелает оставить тайну своего сердца нераскрытой, вы, конечно, не можете ожидать, что именно я вам ее открою.

Что же касается вашего желания, чтобы все

случившееся не предавалось огласке, то будьте, сударыня, совершенно спокойны: во всем, затрагивающем интересы мадемуазель де Воланж, моя заботливость может поспорить даже с материнским сердцем. Чтобы у вас не оставалось и тени беспокойства, я все предусмотрел. На драгоценном пакете раньше было надписано: «Эти бумаги сжечь»; теперь на нем стоит надпись: «Бумаги, принадлежащие мадемуазель де Воланж». Это мое решение должно послужить вам доказательством, что отказ мой вызван отнюдь не опасением, будто в этих письмах вы найдете хоть одно чувство, на которое вы лично могли бы пожаловаться.

Письмо мое, сударыня, оказалось весьма длинным, но ему следовало бы быть еще длиннее, если бы в данном своем виде оно оставило в вас хоть малейшее сомнение насчет благородства моих чувств, насчет искреннего моего сожаления о том, что я вызвал вашу немилость, и глубочайшего уважения, с коим имею честь и пр.

Из ***, 7 сентября 17…

Письмо 65

От кавалера Дансени к Сесили Воланж (послано незапечатанным маркизе де Мертей в письме виконта)

О моя Сесиль, что же с нами будет? Какое божество спасет нас от грозящих нам бед? Пусть же любовь даст нам, во всяком случае, мужество перенести их! Как изобразить вам мое изумление и отчаяние, когда я увидел мои письма и прочел записку госпожи де Воланж! Кто мог выдать нас? Кого подозревать? Уж не совершили ли вы какой-нибудь неосторожности? Что вы теперь делаете? Что было вам сказано? Я хотел бы все знать, а мне ничего не известно. Может быть, вы и сами знаете не больше моего.

Посылаю вам записку вашей матушки и копию моего ответа. Надеюсь, вы одобрите то, что я ей пишу. Мне просто необходимо, чтобы вы одобрили также и те шаги, которые я предпринял после этого рокового события; цель их — получать от вас известия, давать вам знать о себе и — кто знает? — может быть, даже видеться с вами, и притом более свободно, чем прежде.

Чувствуете ли вы, моя Сесиль, какая радость снова оказаться вместе, иметь возможность снова клясться друг другу в вечной любви и видеть в

глазах, ощущать в душах, что клятва эта никогда не будет нарушена? Какие муки не позабудутся в столь сладостный миг? Так вот, у меня есть надежда, что он наступит, и я буду обязан этим как раз тем шагам, которые я умоляю вас одобрить. Но что я говорю? Я обязан этим заботе самого нежного друга и утешителя, и единственная моя просьба к вам состоит в том, чтобы он стал и вашим другом.

Может быть, мне не следовало без вашего согласия вынуждать вас довериться ему? Но меня извиняют необходимость и наше бедственное положение. Ведет меня любовь, это она взывает к вашему снисхождению, это она просит вас простить необходимое признание, без которого мы, возможно, остались бы разлученными навеки[21]. Вы знаете друга, о котором я говорю. Он также друг женщины, которую вы любите больше всех, — это виконт де Вальмон.

Обращаясь к нему, я сперва хотел просить его убедить маркизу де Мертей, чтобы она передала вам мое письмо. Он высказал сомнение в том, чтобы это удалось. Но, не полагаясь на госпожу, он отвечает за горничную, которая ему чем-то

[21] Примечания: 21

Дансени говорит неправду. Он уже и до этого события все рассказал господину де Вальмону. См. письмо 57.

обязана. Она вручит вам это письмо, а вы можете передать с ней ответ.

Эта помощь будет для вас бесполезной, если, как полагает господин де Вальмон, вы в ближайшее время отправитесь в деревню. Но тогда вам станет помогать он сам. Дама, к которой вы поедете, его родственница. Он воспользуется этим предлогом, чтобы отправиться туда же в одно время с вами, и через него будет проходить наша переписка. Он даже утверждает, что, если вы ему вполне доверитесь, он доставит нам возможность увидеться там таким образом, что при этом вы не будете ни в малейшей степени скомпрометированы.

А теперь, моя Сесиль, если вы любите меня, если вы жалеете меня в моем горе, если, как я надеюсь, вы разделяете мою скорбь, неужели откажете вы в доверии человеку, который станет нашим ангелом-хранителем? Не будь его, я был бы доведен до полного отчаяния невозможностью хотя бы смягчить страдания, которые я же вам причинил. Они кончатся — обещаю вам это; но, нежный мой друг, обещайте мне не слишком предаваться им, не допустить, чтобы они вас сразили. Мысль, что вы страдаете, для меня невыносимо мучительна. Я отдал бы жизнь

за то, чтобы сделать вас счастливой! Вы хорошо это знаете. Пусть же уверенность в том, что вас обожают, вольет в вашу душу хоть некоторое утешение! Моей же душе необходимо, чтобы вы заверили меня в том, что не будете корить мою любовь за муки, которые она вам причинила.

Прощайте, моя Сесиль, прощайте, мой нежный друг.

Из ***, 9 сентября 17…

Письмо 66

От виконта де Вальмона к маркизе де Мертей

Ознакомившись с двумя прилагаемыми письмами, вы увидите, прелестный друг мой, хорошо ли выполнил я ваш план. Хотя оба помечены сегодняшним днем, написаны они были вчера у меня и на моих глазах; в письме к девочке содержится все, что нам было нужно. Если судить по успеху ваших замыслов, то можно лишь преклоняться перед глубиной вашего прозрения. Дансени просто пылает, и я уверен, что при первом же благоприятном случае он поведет себя так, что вам уже не в чем будет его упрекать. Если его прелестная простушка окажется послушной, все будет закончено в скором времени по прибытии

ее в деревню: у меня наготове множество способов. Благодаря вашим заботам я выступаю теперь в качестве «друга Дансени». Ему не хватает только быть «Принцем»[22].

Очень он еще зелен, этот Дансени! Поверите ли, я так и не мог добиться от него, чтобы он обещал матери отказаться от своей любви! Как будто так уж трудно обещать, когда заведомо решаешь не сдержать обещания! «Это значило бы обмануть», — повторял он все время; что за назидательная щепетильность, особенно когда стремишься соблазнить дочь! Вот каковы люди! Равно бессовестные по своим намерениям, они называют честностью слабость, которую проявляют в их осуществлении.

Ваше дело не допустить, чтобы госпожу де Воланж встревожили неосторожные выпады, которые наш юноша позволил себе в своем письме. Избавьте нас от монастыря. Постарайтесь также, чтобы она перестала требовать возвращения писем малютки. Прежде всего, он их не отдаст, он их не хочет отдать, и я с ним согласен: здесь и любовь и разум единодушны. Я прочел эти письма, преодолевая скуку. Они могут быть полезны.

---

[22] Примечания: 22
Выражение из одной поэмы господина де Вольтера.

Сейчас объяснюсь.

Несмотря на всю осторожность, с которой мы будем действовать, все может внезапно обнаружиться. Замужество не состоится — не так ли? — и провалится весь наш замысел относительно Жеркура. Но так как я, со своей стороны, намерен отомстить матери, мне на этот случай остается обесчестить дочь. Если искусно подобрать эти письма и пустить в оборот только часть их, можно представить дело так, будто маленькая Воланж сделала все первые шаги и сама лезла на рожон. Некоторые письма могли бы скомпрометировать даже мать и, во всяком случае, запятнать ее, как виновную в вопиющем попустительстве. Я предвижу, что совестливый Дансени сперва вознегодует. Но так как он оказался бы лично задетым, думаю, что его можно будет уломать. Тысяча вероятностей против одной, что дело не примет такого оборота. Однако следует все предусмотреть.

Прощайте, прелестный друг. С вашей стороны было бы очень мило приехать завтра ужинать к маршальше де***. Я не смог отказаться.

Полагаю, что незачем просить вас не сообщать госпоже де Воланж мой план приехать в деревню. Она тотчас же решит остаться в городе. А раз уж

прибыв в деревню, на следующий же день она оттуда не уедет. Если же она даст нам хотя бы неделю срока, я за все ручаюсь.

Из ***, 9 сентября 17…

Письмо 67

От президентши де Турвель к виконту де Вальмону

Я не хотела больше отвечать вам, милостивый государь, и, быть может, смущение, которое я сейчас испытываю, само по себе является доказательством того, что мне и впрямь не следует этого делать. Однако я не хочу, чтобы у вас оставался хоть какой-нибудь повод на меня жаловаться. Я хочу убедить вас, что сделала для вас все, что могла. Я разрешила вам писать мне, говорите вы? Согласна. Но, напоминая мне об этом позволении, уж не думаете ли вы, что я забыла, на каких условиях оно было вам дано? Если бы я так же твердо придерживалась этих условий, как вы их нарушаете, неужели вы получили бы от меня хоть один ответ? И, однако, сейчас я отвечаю вам уже в третий раз. И когда вы все делаете, чтобы заставить меня прервать эту переписку, это я изыскиваю способ продолжать ее. Такой способ

есть, но он единственный. И если вы откажетесь от него, это будет, что бы вы ни говорили, доказательством того, как мало вы ею дорожите.

Прекратите же говорить со мною языком, которого я не могу и не хочу слышать. Отрекитесь от чувства, которое оскорбляет и пугает меня и за которое вы должны были бы держаться не столь упорно, зная, что оно-то и является разделяющим нас препятствием. Неужели же это единственное чувство, на которое вы способны, и неужели любовь приобретет в моих глазах еще и тот недостаток, что она исключает дружбу? И неужели вы сами окажетесь виновным в том, что не захотите обрести друга в той, у кого вам желательно было бы вызвать более нежное чувство? Я не хочу так думать. Эта унизительная для вас мысль возмутила бы меня и безвозвратно отдалила бы от вас.

Я предлагаю вам свою дружбу, сударь. И это — все, что мне принадлежит, все, чем я имею право располагать. Чего же вам желать больше? Чтобы отдаться этому чувству, столь сладостному и столь соответствующему моему сердцу, я жду лишь вашего согласия и вашего слова — этого я требую! — что дружбы будет достаточно для вашего счастья. Я позабуду все, что мне могли о вас говорить, и буду рассчитывать на то, что вы

сами постараетесь оправдать мой выбор.

Видите, насколько я с вами откровенна. Пусть это послужит доказательством моего к вам доверия. Только от вас будет зависеть увеличить его. Но предупреждаю вас, что первое же слово любви навеки разрушит его и вернет мне все мои опасения и что прежде всего оно послужит мне сигналом, чтобы не произносить с вами ни одного слова.

Если вы, как утверждаете, отказались от своих заблуждений, неужели не предпочтете вы быть предметом дружеских чувств честной женщины, чем стать причиной угрызений совести грешницы? Прощайте, сударь. Вы, конечно, поймете, что после этих моих слов я не могу сказать ничего, пока не получу ответа.

Из ***, 9 сентября 17…

Письмо 68

От виконта де Вальмона к президентше де Турвель

Как ответить, сударыня, на ваше последнее письмо? Как осмелиться быть правдивым, если искренность может погубить меня в вашем мнении? Что поделаешь, так нужно. Мужества у меня

хватит. Я говорю, я беспрестанно повторяю себе, что лучше заслужить вас, чем просто обладать вами. И даже если вы всегда будете отказывать мне в счастье, к которому я неизменно буду стремиться, надо вам доказать хотя бы, что сердце мое его достойно. Как жаль, что, как вы выразились, я отказался от своих заблуждений! С каким восторженным упоением читал бы я это ваше письмо, на которое с трепетом отвечаю. В нем вы говорите со мной искренне, вы проявляете ко мне доверие, вы, словом, предлагаете мне свою дружбу. Сколько благ, сударыня, и как жаль, что я не могу ими воспользоваться! Почему я не тот, каким был!

Если бы я им был, если бы у меня было к вам обычное легкое влечение, порождаемое обольщением и жаждой удовольствий, но именуемое в наши дни любовью, я поспешил бы извлечь выгоду из всего, чего сумел бы добиться. Не слишком разбираясь в средствах, лишь бы они обеспечивали успех, я поощрял бы вас откровенничать со мной, чтобы разгадать, я добивался бы полного вашего доверия, чтобы его обмануть, я принял бы вашу дружбу в надежде ввести вас в заблуждение… Как, сударыня, эта картина пугает вас? Знайте же, что она была бы списана с меня, если

бы я сказал, что соглашаюсь быть только вашим другом…

Кто? Я? Я согласился бы разделить с кем-либо чувство, возникшее в вашей душе? Если я и скажу вам это, тотчас же перестаньте мне доверять. С этого мгновения я пытался бы вас обмануть. Я мог бы еще желать вас, но уж наверно не любил бы.

Не то чтобы милая искренность, сладостное доверие, трогательная дружба не имели в моих глазах цены… Но любовь! Любовь истинная, та любовь, которую внушаете вы, сочетая в себе все эти чувства, придавая им еще большую силу, не могла бы, подобно им, обрести спокойствие и душевный холод, позволяющий сравнивать и даже оказывать те или иные предпочтения. Нет, сударыня, не стану я вашим другом! Я буду любить вас любовью самой нежной, самой пламенной, хотя и полной глубочайшего почтения. Вы можете ввергнуть ее в отчаяние, но не уничтожить.

По какому праву притязаете вы на то, чтобы распоряжаться сердцем, чье поклонение отвергаете? Какая утонченнейшая жестокость заставляет вас завидовать даже счастью любить вас? Оно принадлежит мне, и вы над ним не властны. Я сумею его защитить. И если оно — источник моих страданий, то в нем же найду я и исцеление.

Нет, еще раз нет! Упорствуйте в своих жестоких отказах, но оставьте мне мою любовь. Вам доставляет радость делать меня несчастным. Пусть так. Попробуйте поколебать мое мужество, я сумею принудить вас хотя бы к тому, чтобы вы решили мою участь. И, может быть, наступит день, когда вы станете ко мне более справедливы. Не то чтобы я надеялся пробудить в вас чувствительность. Но даже не покорившись убеждению, вы проникнетесь им, вы скажете: «Я о нем неверно судила».

Скажем точнее, — вы несправедливы к себе самой. Узнать вас и не полюбить, полюбить и не быть постоянным, и то и другое — равно невозможно. И несмотря на украшающую вас скромность, вам, должно быть, легче жаловаться, чем удивляться чувствам, вами порожденным. Что до меня, чья единственная заслуга состоит в том, что я оценил вас, я не хочу утратить этой заслуги. И, отказываясь принять лукавые ваши дары, я возобновляю у ног ваших клятву любить вас вечно.

Из ***, 10 сентября 17…

Письмо 69

От Сесили Воланж к кавалеру Дансени (записка карандашом, переписанная Дансени)

Вы спрашиваете, что я делаю: я люблю вас и плачу. Моя мать со мной не разговаривает. Она отняла у меня бумагу, перья и чернила. Я пользуюсь карандашом, который, на счастье, у меня сохранился, и пишу на обрывке вашего письма. Мне только и остается, что одобрить все, предпринятое вами. Я слишком люблю вас, чтобы не ухватиться за любой способ получать известия о вас и сообщать вам что-нибудь о себе. Мне не нравился господин де Вальмон, и я не думала, что он такой уж вам друг. Постараюсь привыкнуть к нему и полюбить его ради вас. Я представления не имею, кто нас выдал. Это могут быть только моя горничная или священник, которому я исповедовалась. Я очень несчастна. Завтра мы уезжаем в деревню, на сколько времени — не знаю. Боже мой! Не видеть вас! Мне больше не на чем писать. Прощайте. Постарайтесь разобрать, что я написала. Эти слова, написанные карандашом, может быть, сотрутся, но чувства, запечатленные в моем сердце, — никогда.

Из ***, 10 сентября 17…

Письмо 70

От виконта де Вальмона к маркизе де Мертей

Дорогой мой друг, я должен дать вам один очень важный совет. Как вы знаете, я вчера ужинал у маршальши де***. Зашел разговор о вас, и я сказал не все то хорошее, что думаю, а все то, чего отнюдь не думаю. Все, по-видимому, были со мной согласны, и беседа продолжалась уже довольно вяло, как бывает всегда, когда о ближнем говорят только хорошее, но вдруг нашелся один возражающий. Это был Преван.

«Боже меня сохрани, — произнес он, вставая, — чтобы я усомнился в добродетели госпожи де Мертей! Но, смею думать, она обязана ею скорее своему легкомыслию, чем правилам. Может быть, ухаживать за ней труднее, чем ей понравиться. И так как, волочась за одной женщиной, по пути встречаешь множество других, и так как в конце концов эти другие могут оказаться не хуже, а быть может, и лучше ее, то одни поклонники отвлекаются какой-либо иной прихотью, а другие просто устают добиваться ее, и возможно, что из всех женщин Парижа ей меньше всего

приходилось защищаться. Что касается меня, — добавил он, ободряемый улыбками кое-кого из дам, — я уверую в добродетель госпожи де Мертей лишь после того, как загоню, ухаживая за нею, шестерку лошадей».

Эта пошлая шутка имела успех, выпадающий обычно на долю всего, что отдает клеветой. Все рассмеялись, Преван сел на свое место, и беседа приняла другое направление. Но обе графини де П***, подле которых сидел наш маловер, завели с ним на эту тему приватный разговор, который я, к счастью, имел возможность слышать.

Вызов пробудить в вас чувство был принят. Слово «ничего не скрывать» было дано, и из всех обещаний, которые будут даны по этому поводу, его-то, наверно, особенно свято сдержат. Но вы предупреждены, а пословицу вы знаете*. Должен лишь добавить, что этот Преван, с которым вы незнакомы, необыкновенно любезен, а еще более ловок. Если иногда вы и слышали от меня обратное, то лишь потому, что я его недолюбливаю и мне приятно препятствовать его успехам, а кроме того, потому, что я хорошо знаю, какой вес имеет мое мнение для нескольких десятков самых модных наших дам.

Мне действительно удавалось таким образом

довольно долгое время мешать ему появляться на так называемой большой сцене.

И он совершал чудеса, а знать об этом никто не знал. Но шум, поднятый по поводу его тройного приключения, обратил на него всеобщее внимание, породил в нем самоуверенность, которой ему не хватало, и сделал его по-настоящему опасным. Словом, сейчас это, может быть, единственный человек, которого я побоялся бы встретить на своем пути. И, не говоря уже о вашей личной заинтересованности, вы окажете мне большую услугу, если попутно выставите его в смешном виде. Оставляю его в хороших руках и надеюсь, что к моему возвращению он будет конченым человеком.

Взамен обещаю вам довести до вожделенного конца приключение вашей подопечной и заняться ею так же прилежно, как и моей прекрасной недотрогой.

Последняя только что прислала мне план своей капитуляции. Во всем ее письме сквозит желание быть обманутой. Невозможно предложить более удобный и вместе с тем избитый способ: она хочет, чтобы я был ее другом. Но я, поклонник новых и более трудных приемов, не согласен, чтобы она так дешево отделалась, и уж наверно я не для

того так с нею вожусь, чтобы все завершилось обычным обольщением.

Согласно моему плану, она должна почувствовать, хорошо почувствовать и цену и размер каждой жертвы, которую мне принесет. Я не намерен привести ее к цели настолько быстро, чтобы раскаяние за нею не угналось. Я хочу, чтобы добродетель ее умирала медленной смертью, а сама она не спускала глаз с этого жалостного зрелища, и чтобы счастье держать меня в своих объятиях она испытала лишь после того, как уже будет вынуждена не скрывать своего желания. И, правда, не многого я стоил бы, если бы не стоил того, чтобы меня упрашивали. И такая ли это жестокая месть высокомерной женщине, краснеющей от признания, что она кого-то боготворит?

Посему я отверг драгоценную дружбу и упорно держусь за звание возлюбленного. Так как я не скрываю, что речь тут идет не о словесном различии и приобретение звания существенно важно, я проявил в своем письме много стараний и позаботился, чтобы в нем наличествовала та беспорядочность, которая одна лишь умеет выразить чувство. Наконец, я нагородил в нем столько вздора, сколько мог, ибо без вздора не бывает нежности. Я полагаю, что по этой именно

причине женщины так превосходят нас в искусстве писания любовных писем.

Свое письмо я закончил лестью, и тоже вследствие сделанных мною глубоких наблюдений. После того как женское сердце некоторое время было возбуждено чувством, ему необходим отдых, а я заметил, что для всякой женщины самая мягкая подушка — лесть.

Прощайте, прелестный мой друг. Завтра я уезжаю. Если вам угодно передать через меня что-нибудь графине де***, я у нее остановлюсь хотя бы для того, чтобы пообедать. Я огорчен, что уезжаю, не повидав вас. Посылайте мне ваши возвышенные наставления и помогите своими мудрыми советами в сей решающий момент.

В особенности же защищайтесь от Превана, и дай мне бог когда-нибудь отблагодарить вас за эту жертву! Прощайте.

Из ***, 11 сентября 17…

Письмо 71

От виконта де Вальмона к маркизе де Мертей

Этот разиня егерь, разумеется, забыл в Париже мой портфель! Письма моей прелестницы, письмо Дансени малютке Воланж — все осталось там,

все, что мне сейчас так нужно! Он возвращается, чтобы исправить свою глупость, а пока он седлает лошадь, я расскажу вам свое сегодняшнее ночное приключение, ибо прошу вас не сомневаться в том, что я не теряю времени даром.

Само по себе оно — пустяковое: подогретое вчерашнее блюдо виконтессы де М***; но кое-какие подробности в нем занимательны. К тому же я рад случаю показать вам, что если у меня и есть дар губить женщин, то обладаю я и не меньшим даром спасать их, если мне заблагорассудится. Я всегда выбираю либо самый трудный, либо самый веселый путь, и я отнюдь не раскаиваюсь в хорошем поступке, если он для меня — полезное упражнение или забава.

Итак, я застал здесь виконтессу, а когда все находившиеся в замке начали приставать ко мне, чтобы я остался ночевать, и она присоединилась к этим настояниям, я ей сказал: «Что ж, я согласен, но при условии, что проведу ночь с вами». — «Для меня это невозможно, — ответила она, — здесь Врессак». До этого момента я считал, что просто говорю ей любезность, но слово «невозможно», как всегда, вывело меня из себя. Мне показалось унизительным быть принесенным в жертву Врессаку, и я решил, что не

потерплю этого. Поэтому я принялся настаивать. Обстоятельства складывались неблагоприятно для меня. Этот Врессак оказался так неловок, что вызвал ревность виконта, так что виконтесса не могла принимать его у себя, и оба они сговорились насчет этой совместной поездки к доброй графине, чтобы попытаться урвать несколько ночей. Виконт сперва даже проявил некоторое раздражение, встретив Врессака, но, будучи еще более страстным охотником, чем ревнивцем, он тем не менее остался. Графиня же, верная своему обычаю, устроила жену в комнате, выходящей в главный коридор, а мужа и любовника поместила в комнатах, смежных с этой, и предоставила им устраиваться между собой, как они знают. Злой рок судил и тому и другому, чтобы я оказался помещенным как раз напротив.

В тот же самый день, то есть вчера, Врессак, который, как вы сами понимаете, старается всячески угождать виконту, отправился с ним на охоту, хотя не имеет к ней ни малейшей склонности, рассчитывая ночью в объятиях жены вознаградить себя за скуку, которую весь день должен был испытывать в обществе мужа. Но я рассудил, что он нуждается в отдыхе, и позаботился о том, чтобы убедить его любовницу дать

ему время отдохнуть.

Мне это удалось, и я добился, что она затеяла с ним ссору как раз из-за этой охоты, на которую он, несомненно, согласился лишь ради нее. Нельзя было и придумать более неудачного предлога, но ни одна женщина не обладает в большей степени, чем виконтесса, общим для всех женщин талантом заменять логику раздражением и возвращаться к благодушию с тем большим трудом, чем более она не права. Впрочем, момент для объяснений был крайне неблагоприятный, а я добивался лишь одной ночи и потому не возражал против того, чтобы они на следующий день помирились.

Итак, по возвращении Врессака с охоты на него стали дуться. Он пожелал узнать причину, и тут его осыпали упреками. Он попытался оправдаться, но присутствие мужа послужило поводом к тому, чтобы прервать разговор. Под конец он попытался воспользоваться моментом, когда муж удалился, и попросить, чтобы вечером его выслушали. Тут-то виконтесса и достигла подлинных высот. Она принялась возмущаться дерзостью мужчин, которые, воспользовавшись разок милостями женщины, воображают, будто им дано право злоупотреблять этим даже тогда,

когда женщина ими недовольна. Весьма ловко переведя таким образом весь разговор на другую тему, она так хорошо стала распространяться насчет чуткости и чувствительности, что Врессак не нашелся, что ответить, смутился, и даже я сам готов был признать ее правоту, ибо — знайте это — как приятель их обоих я присутствовал при разговоре в качестве третьего лица.

Наконец она решительно заявила, что не может допустить, чтобы он, утомленный охотой, утомлялся еще от любовных утех, и не простит себе, если окажется помехой столь приятному развлечению. В это время возвратился муж. Разгоряченный Врессак, потерявший всякую возможность отвечать, обратился ко мне и долго излагал свои доводы, которые я знал не хуже его самого, а в заключение попросил меня поговорить с виконтессой, что я ему и обещал. Я действительно поговорил, но лишь для того, чтобы поблагодарить ее и условиться о часе нашего свидания и о способах осуществить его.

Она сказала мне, что так как ее комната расположена между комнатами ее мужа и любовника, она сочла более осторожным пойти самой к Врессаку, чем принять его у себя. Поскольку я помещаюсь как раз напротив нее, она полагает,

что и в данном случае более безопасно свидеться у меня и что она явится, как только горничная уйдет из ее комнаты, — мне же надо только приоткрыть свою дверь и ждать.

Все произошло так, как мы условились, и она пришла ко мне около часу ночи —

> *…в простой наряд облачена*
>
> *Красавицы, едва разбуженной от сна*[23].

Не будучи тщеславным, я не задерживаюсь на подробностях этой ночи. Но вы меня знаете, а я остался доволен собой.

На рассвете надо было расстаться. Здесь-то и начинается самое занятное. Этой ветренице казалось, будто она оставила свою дверь полуоткрытой, но мы нашли ее запертой, и ключ был изнутри. Вы не представляете себе отчаяния, с которым виконтесса сказала мне: «Я погибла!» Нельзя отрицать, что было бы забавно оставить ее в таком положении. Но мог ли я потерпеть, чтобы женщина погибла из-за меня, не будучи погублена мною? И мог ли я, подобно обыкновенным людям, покориться обстоятельствам?

---

[23] Примечания: 23
Расин, трагедия «Британии»*.

Значит, надо было что-то придумать. Что бы вы сделали, прелестный друг мой? А вот как поступил я — и с полным успехом.

Я вскоре убедился, что означенную дверь можно выставить, но лишь наделав при этом много шума. Поэтому я — правда, не без труда — уговорил виконтессу поднять пронзительный крик, словно она в ужасе, словно на нее напали «грабители», «убийцы» и т. д. и т. п. Мы условились, что при первом же ее крике я взломаю дверь, и она тотчас же бросится на свою кровать. Вы и вообразить себе не можете, сколько времени понадобилось на то, чтобы окончательно убедить ее даже после того, как она уже согласилась. Пришлось, однако, пойти на это, и при первом же ударе дверь подалась.

Виконтесса хорошо сделала, что не стала терять времени, ибо в то же мгновение виконт и Врессак очутились в коридоре, да и горничная тоже устремилась в комнату госпожи.

Я один сохранил хладнокровие и сообразил, что надо потушить ночник и сбросить его на пол: ведь вы понимаете, как нелепо было бы изображать панический ужас, когда в комнате горит свет. Затем я принялся бранить мужа и любовника за их летаргический сон, уверяя, что крики,

на которые я поспешил, и усилия, которых мне стоило взломать дверь, продолжались никак не менее пяти минут.

Виконтесса, обретшая в постели все свое мужество, довольно хорошо подпевала мне и клялась всеми святыми, что у нее в комнате был вор. Более правдивы были ее уверения, что никогда в жизни не испытывала она такого страха. Мы принялись повсюду искать, ничего не находя, но тут я обратил общее внимание на опрокинутый ночник и высказал предположение, что, без сомнения, виновником всего переполоха и страха была крыса. Мое мнение было поддержано всеми, и после нескольких обычных шуток по поводу крыс виконт первый вернулся к себе в комнату и улегся, попросив жену иметь в будущем дело с более спокойными крысами.

Врессак, оставшись с нами наедине, подошел к виконтессе и с нежностью сказал ей, что это — мщение любви, на что она, глядя на меня, ответила: «Ну, так любовь была, видимо, очень разгневана, ибо она отомстила жестоко. Однако, — добавила она, — я изнемогаю от усталости и хочу спать».

Я находился в самом благодушном расположении духа и потому, перед тем как мы разошлись

по своим комнатам, вступился за Врессака и добился примирения между любовниками. Они поцеловались, а затем оба облобызали меня. Поцелуи виконтессы были мне уже безразличны, но должен признаться, что поцелуй Врессака доставил мне удовольствие. Мы вместе вышли из ее комнаты; он еще долго рассыпался в благодарностях, а затем мы направились каждый в свою постель.

Если вы найдете эту историю забавной, можете не держать ее в секрете. После того как потешился я, надо же, чтобы и другие свое получили. Сейчас я имею в виду приключение, но, может быть, вскоре то же самое мы скажем и о его героине?

Прощайте, мой егерь уже целый час ожидает. Еще мгновение, чтобы послать вам поцелуй и совет прежде всего остерегаться Превана.

Из замка ***, 15 сентября 17…

Письмо 72

От кавалера Дансени к Сесили Воланж (передано только 14-го)

О моя Сесиль! Как я завидую Вальмону! Завтра он вас увидит. Он и передаст вам это письмо. Я же, томясь в разлуке с вами, буду по-прежнему

влачить это мучительное существование в горе и сожалениях. Подруга моя нежная, подруга моя, пожалейте меня за мои страдания и особенно за те, что я причинил вам. Ибо из-за них-то я теряю мужество.

Какой ужас для меня быть виновником вашего несчастья! Не будь меня, вы жили бы безмятежно и счастливо. Прощаете ли вы мне? Скажите, ах, скажите, что прощаете. Скажите мне также, что любите меня, что любите меня по-прежнему. Мне нужно, чтобы вы это повторяли снова и снова. Не то чтобы я сомневался, но мне кажется, что чем ты уверенней, тем сладостнее слышать, когда тебе это повторяют. Вы любите меня, ведь правда? Да, вы любите меня всей душой. Я не забыл, что это были последние слова, которые я от вас слышал. Как глубоко запали они в мое сердце, как глубоко они запечатлелись в нем! И с каким восторженным трепетом отозвалось оно на них!

Увы! В этот миг счастья я был бесконечно далек от того, чтобы предвидеть ожидавшую нас жестокую участь. Поищем же, моя Сесиль, какими бы средствами нам ее облегчить. Если верить моему другу, для этого достаточно, чтобы вы возымели к нему заслуженное им доверие. Признаться, я был огорчен тем, что у вас как будто создалось о

нем неблагоприятное мнение. Узнаю в данном случае предубеждение вашей матушки. Лишь подчиняясь ей, я в течение некоторого времени избегал этого любезнейшего человека, который в настоящий момент делает для меня все и в конце концов старается соединить нас теперь, когда мы разлучены вашей матушкой. Заклинаю вас, милая подруга моя, взирайте на него более благосклонно. Подумайте, что он мой друг, что он хочет быть и вашим, что он, возможно, вернет мне счастье увидеть вас вновь. Если доводы эти не убедят вас, моя Сесиль, значит, вы любите меня не так, как я вас, значит, вы любите меня не так, как любили прежде! Ах, если когда-нибудь вы станете меньше любить меня… Но нет, сердце моей Сесили принадлежит мне, оно мое на всю жизнь, а если мне суждены муки любви несчастной, то постоянство его, во всяком случае, избавит меня от пыток любви неверной.

Прощайте, прелестная моя подруга. Не забывайте, что я страдаю и что лишь от вас зависит сделать меня счастливым, совершенно счастливым. Внемлите призывам моего сердца и примите самые нежные поцелуи любви.

Париж, 11 сентября 17…

Письмо 73

От виконта де Вальмона к Сесили Воланж (приложено к предыдущему)

Друг, готовый служить вам, узнал, что у вас нет никаких письменных принадлежностей, и уже обо всем позаботился. В прихожей перед своей комнатой, под большим шкафом, слева, вы найдете пачку бумаги, перья и чернила. Он возобновит запас их по первому же вашему требованию и полагает, что вы можете хранить их в этом же месте, если не найдете другого, еще более надежного.

Он просит вас не обижаться, если будет делать вид, что не обращает на вас внимания в обществе и считает просто ребенком. Такое поведение представляется ему необходимым для того, чтобы не вызвать никаких подозрений и получить возможность наилучшим образом действовать ради счастья своего друга и вашего счастья. Когда у него будет что сообщить или передать вам, он постарается устроить так, чтобы представилась возможность поговорить с вами, и надеется на успех, если вы со своей стороны будете ревностно содействовать ему в этом.

Он советует вам также возвращать ему одно за другим письма, которые вы будете получать, дабы уменьшить риск подвести себя.

Он, наконец, уверяет вас, что, если вы окажете ему доверие, он приложит все усилия к тому, чтобы смягчить преследования слишком жестокой матери, от которых страдают двое: его друг и еще одно существо, заслуживающее, по его мнению, самого ласкового внимания.

В замке***, 14 сентября 17…

Письмо 74

От маркизы де Мертей к виконту де Вальмону

Э, друг мой, с каких это пор вы стали так пугливы? Значит, Преван этот так уж страшен? Но поглядите-ка, до чего я скромна и простовата! Я его часто встречала, этого несравненного победителя, и едва удостаивала окинуть его взглядом! Чтобы заставить меня обратить на него внимание, потребовалось ваше письмо — ни больше, ни меньше. Вчера я исправила допущенную мною несправедливость. Он сидел в Опере почти напротив меня, и я им занялась. Он, во всяком случае, красив, и даже очень красив: тонкие, изящные черты лица! Вблизи он, должно быть,

выглядит еще лучше. И вы говорите, что он хочет мною обладать? Несомненно, это будет для меня и честью и радостью. Кроме шуток, мною завладела эта прихоть, и — сообщаю вам доверительно — я уже сделала первые шаги. Не знаю, окажутся ли они успешными. Но вот что произошло.

Когда мы выходили из Оперы, он оказался в двух шагах от меня, и я очень громким голосом условилась с маркизой*** встретиться с ней в пятницу за ужином у маршальши. Кажется, это единственный дом, где мы с ним можем друг друга повстречать. Я не сомневаюсь, что он меня слышал… Неужели неблагодарный не явится? Скажите мне, как вы думаете, он придет? Знаете, если его не окажется, я целый вечер буду в дурном настроении! Как видите, ему не так уж трудно будет за мной ухаживать. А еще больше удивит вас, что не так уж трудно будет ему и понравиться мне. Он говорит, что готов загнать шестерку лошадей, ухаживая за мной? О, я спасу этим лошадям жизнь! Да у меня и терпения не хватит так долго ждать. Вы знаете, что не в моих правилах тянуть, раз уж я на что-то решилась, а в данном случае решение у меня принято.

Ну что же, согласитесь, что говорить мне дело — вещь приятная. Разве ваш «важный совет» не

возымел огромного успеха? Да и как могло быть иначе? Я уж так давно прозябаю! Вот уже больше полутора месяцев, как я не позволяю себе повеселиться. И вдруг подвертывается случай — могу ли я отказать себе? И разве предмет того не стоит? И есть ли другой, более приятный, какой бы смысл вы ни придавали этому слову?

Даже вы сами принуждены отдать ему должное: вы не просто хвалите его, вы ему завидуете. Ну, так вот, я буду судьей между вами, и этим-то я и намереваюсь заняться. Я буду судьей справедливым и взвешу обоих на одних весах. Что до вас лично, то материал на вас уже собран, и следствие может считаться законченным. Не будет ли справедливо заняться сейчас вашим противником? Ну же, подчинитесь добровольно и для начала сообщите мне, пожалуйста, героем какого такого тройного приключения он является? Вы говорите о нем так, будто я ничем другим не занималась, а я ровно ничего об этом не знаю. По всей видимости, оно произошло во время моей поездки в Женеву, а зависть ваша помешала вам сообщить мне о нем. Как можно скорее исправьте свою вину. Не упускайте из виду, что ничто, касающееся его, мне не безразлично. Насколько я помню, по моем возвращении об этом еще

толковали, но я была занята другим и вообще редко прислушиваюсь к таким историям, если они старше сегодняшнего или вчерашнего дня.

Даже если то, о чем я вас прошу, вам и не очень приятно, разве это не самое ничтожное вознаграждение за все мои заботы о вас? Не они ли приблизили вас к вашей президентше, когда допущенные вами глупости вас от нее отдалили? И не я ли дала вам средство отомстить за неблаговидное рвение госпоже де Воланж? Как часто вы жаловались на то, сколько времени приходится вам терять на поиски приключений! Теперь они у вас под рукой. Любовь, ненависть — выбирайте что угодно: все спит под одной крышей. И вы можете жить в двойном обличье — одной рукой ласкать, а другой наносить раны. Даже приключением с виконтессой вы обязаны мне. Оно мне по вкусу, но, как вы сами сказали, надо, чтобы о нем заговорили. Ибо, если в данном случае — с этим я согласна — вы пока должны были предпочесть тайну огласке, надо признать, что эта женщина не заслуживала столь великодушного отношения.

К тому же я лично тоже ею недовольна. Кавалер де Бельрош находит ее более привлекательной, чем я бы того хотела, и по многим причинам мне

желательно было бы иметь предлог, чтобы прекратить с ней отношения. А есть ли предлог более благовидный, чем возможность заявить: «С этой женщиной невозможно больше встречаться».

Прощайте, виконт. Имейте в виду, что в вашем положении времени даром терять нельзя. Я же свое время употреблю на заботы о счастье Превана.

Париж, 15 сентября 17…

Письмо 75

От Сесили Воланж к Софи Карне

Примечание. В этом письме Сесиль Воланж сообщает подробнейшим образом все, что связано с нею в событиях, известных читателю из письма 61 и последующих. Мы полагали, что повторяться нет смысла. Приведем лишь то, что она говорит о виконте де Вальмоне.

Уверяю тебя, что это человек совершенно исключительный. Мама говорит о нем много дурного, но кавалер Дансени — много хорошего, и мне кажется, что прав он. Никогда не видела я такого ловкого человека. Он передал мне письмо Дансени при всех, и никто ничего не заметил. Правда, я очень испугалась, так как ни о чем не

была предупреждена, но теперь я буду настороже. Я уже отлично поняла, каким образом он хочет, чтобы я передала ему ответ. С ним очень легко столковаться, по одному взгляду его понимаешь, что он хочет сказать. Не знаю, как это у него получается. В записке, о которой я тебе уже говорила, он писал, что при маме будет делать вид, будто совсем меня не замечает. И действительно, всегда кажется, что он меньше всего думает обо мне; а между тем всякий раз, что я стараюсь поймать его взгляд, я могу быть вполне уверена, что тотчас же встречусь с ним глазами. Здесь живет одна мамина приятельница, которой я прежде не знала; она, видимо, тоже не любит господина де Вальмона, хотя он к ней очень внимателен. Боюсь, как бы ему не наскучила жизнь, которую тут ведут, и он не вернулся в Париж; это было бы до крайности огорчительно. Доброе же у него должно быть сердце, если он приехал сюда исключительно для того, чтобы оказать услугу своему приятелю и мне! Я хотела бы как-нибудь выразить ему свою благодарность, но просто не знаю, как с ним заговорить, а если бы даже мне и представилась такая возможность, я бы до того смутилась, что, наверное, не сумела бы слова вымолвить.

Только с госпожой де Мертей мне легко гово-

рить о моей любви. Может быть, даже с тобой — хотя я тебе все говорю — в живой беседе меня бы это смущало. И с самим Дансени я часто, словно помимо своей воли, ощущала какую-то робость. Я себя за это жестоко корю и все на свете отдала бы за то, чтобы найти минутку, когда я могла бы хоть один раз, один-единственный раз сказать ему, как я его люблю. Господин де Вальмон обещал устроить нам возможность свидеться, если я соглашусь во всем следовать его указаниям. Я готова сделать все, чего он потребует, но не могу понять, как это можно было бы осуществить.

Прощай, милый друг, мне больше не на чем писать[24].

Из замка ***, 14 сентября 17…

Письмо 76

От виконта де Вальмона к маркизе де Мертей

Либо письмо ваше насмешка, которого я не понял, либо вы писали его, находясь в состоянии

---

[24] Примечания: 24

Так как мадемуазель де Воланж вскоре после этого нашла себе другую наперсницу, как читателю станет известно из дальнейшей переписки, в этом сборнике он не найдет уже ни одного из тех писем, которые она продолжала писать своей монастырской подруге: эти письма не сообщили бы ему ничего нового.

пагубного безумия. Если бы я знал вас не так хорошо, прелестный мой друг, то и впрямь очень испугался бы, хотя, что бы вы там ни говорили, я не из пугливых.

Читаю ваше письмо, перечитываю, но это не продвигает меня ни на шаг, ибо понять его в буквальном смысле просто невозможно.

Что же вы все-таки хотели сказать? Только ли, что не стоит тратить таких усилий против столь неопасного врага? Но в данном случае вы, может быть, ошибаетесь. Преван действительно обаятелен — более, чем вы думаете. Он прежде всего обладает весьма выгодным для себя даром привлекать к своей любви внимание ее предмета, так как очень ловко умеет воспользоваться любой беседой — и в узком кругу, и в большом обществе, — чтобы о ней заговорить. Мало таких женщин, которые не попали бы в эту западню и удержались от ответа, ибо все притязают на тонкость ума, и ни одна не захочет упустить случая проявить ее. А вы достаточно хорошо знаете, что женщина, согласившаяся говорить о любви, вскоре кончает тем, что заражается любовью или, по крайней мере, ведет себя так, как если бы была увлечена. Этим способом, который доведен им до подлинного совершенства, он и достига-

ет того, что ему часто удается заставить самих женщин свидетельствовать об их собственном поражении. Говорю так, ибо сам это наблюдал.

Я был осведомлен о его секрете лишь из вторых рук, так как никогда не был близок с Преваном. Но вот однажды мы сидели вшестером, и графиня де П***, считая, что говорит очень тонко, и действительно производя на непосвященных такое впечатление, будто она ведет общий разговор, рассказала нам со всеми подробностями, как она отдалась Превану и все, что между ними произошло. Она говорила с такой уверенностью, что ее не смутила даже улыбка, появившаяся на губах у всех нас одновременно. И я никогда не забуду, как один из нас в виде оправдания прикинулся, будто то, что она говорит, или, вернее, то, что она якобы говорит, вызвало у нас сомнение, а она самым серьезным образом возразила, что уж наверно никто из нас не осведомлен лучше ее, и даже не постеснялась обратиться к Превану и спросить его, ошиблась ли она хоть в чем-либо.

Поэтому я мог считать этого человека опасным для всех. Но разве вам, маркиза, недостаточно того, чтобы он был красив, очень красив, как вы сами говорите, или, чтобы он повел одну из тех атак, которые вам угодно вознаграждать лишь

по той единственной причине, что уж очень они были искусны, или чтобы вы нашли забавным отдаться по какому-либо иному случайному поводу, или… да откуда мне знать? Могу ли я угадать тысячи всевозможных причуд, которые царят в голове у женщин и лишь благодаря которым вы все же являетесь представительницей своего пола? Теперь, когда вы предупреждены об опасности, я не сомневаюсь в том, что вы легко убережетесь, но ведь надо же было вас предостеречь. Однако возвращаюсь к своей главной теме: что, собственно, хотели вы сказать?

Если это насмешка над Преваном, то она не только слишком громоздка, но и высмеивать его передо мной не стоит: надо, чтобы он оказался смешным в глазах света, и я вновь обращаюсь к вам с просьбой об этом позаботиться.

Ах, я, кажется, нашел разгадку! Ваше письмо — предсказание не того, как вы поступите на самом деле, а того, на что он будет считать вас готовой в минуту, когда именно его постигнет крах, который вы ему подготовляете. Я, пожалуй, одобрил бы этот план. Он, однако, требует величайшей осмотрительности. Вы не хуже меня знаете, что для общественного мнения иметь любовника или только принимать чьи-то ухаживания — это

совершенно одно и то же, если, конечно, мужчина не дурак, а уж Преван-то далеко не таков! Если он добьется хотя бы видимости, то начнет хвастать, а этого будет достаточно. Глупцы поверят, недоброжелатели сделают вид, что поверили. А вы что станете делать? Знаете, я боюсь. Не то чтобы я усомнился в вашей ловкости. Но ведь именно хорошие пловцы и тонут.

Я не считаю себя глупее других. Я находил сотни, тысячи способов обесчестить женщину, но когда задумался над тем, как бы она могла избежать беды, то не мог усмотреть никакой возможности. Даже относительно вас, моя прелестница, ведущей себя с таким безупречным искусством, я очень часто считал, что вы не столько умело играли, сколько вам везло.

Но в конце концов я, быть может, ищу какого-то особого смысла там, где его вовсе и нет. Даже забавно, как это я уже битый час всерьез обсуждаю то, что, наверно, только шутка с вашей стороны. Вы станете надо мной смеяться! Что ж, пусть так. Но торопитесь, и поговорим о другом. О другом! Нет, я ошибаюсь. Всегда об одном и том же: как овладеть женщиной или как ее погубить, а нередко и о том и о другом вместе.

Здесь, как вы вполне правильно заметили, у

меня есть возможность проявить себя на обоих поприщах, однако же не с равной легкостью. Предвижу, что с мщением дело пойдет скорее, чем с любовью. Маленькая Воланж сдалась, я за это ручаюсь. Понадобится теперь только подходящий случай, и я берусь ей его предоставить. Но с госпожой де Турвель обстоит иначе. Эта женщина может привести в отчаяние, ее просто не поймешь. У меня сотни доказательств ее любви и вместе с тем тысячи — ее упорства. Я и впрямь опасаюсь, что она от меня ускользнет.

Первое впечатление, произведенное на нее моим возвращением, позволяло надеяться на лучшее. Вы догадываетесь, что я хотел сам обо всем судить и, чтобы наверняка уловить первые же порывы ее души, никого не посылал предупредить о себе и так рассчитал время в пути, чтобы явиться как раз тогда, когда все будут за столом. Я действительно упал с неба, как оперное божество в финале спектакля.

Наделав достаточно шуму, чтобы привлечь все взоры, я с одного взгляда уловил радость моей старой тетушки, досаду госпожи де Воланж и радостное смущение ее дочери. Моя прелестница сидела спиной к двери. В этот момент она разрезала что-то на тарелке и даже не повернула

головы, но я заговорил с госпожой де Розмонд, и при первом же слове чувствительная святоша узнала мой голос, и у нее вырвался крик, в котором, как мне почудилось, было больше любви, чем удивления и страха. Тогда я приблизился настолько, что мог увидеть ее лицо: смятение души, борьба чувств и помыслов отражались на нем на самый различный лад! Я сел за стол рядом с нею: она в полном смысле слова не отдавала себе отчета в том, что делала и что говорила. Попыталась продолжать есть и не в состоянии была это сделать. Наконец, не прошло и четверти часа, как, не в силах будучи совладать с радостью и смятением, она не придумала ничего удачнее, чем попросить позволения выйти из-за стола, и убежала в парк под предлогом, что ей надо подышать воздухом. Госпожа де Воланж хотела сопровождать ее. Нежная недотрога воспротивилась этому: наверно, она была счастлива найти предлог, чтобы остаться одной и беспрепятственно отдаться сладостному волнению сердца.

Я старался, как только мог, чтобы обед поскорее кончился. Не успели подать десерт, как эта дьявольская Воланж, явно торопясь навредить мне, встала с места, чтобы идти к прелестной больной. Но я предвидел этот замысел и расстроил его. Я

притворился, будто понял сделанное ею одной движение как общее, и поднялся одновременно с нею, а нашему двойному примеру последовали малютка Воланж и местный кюре, так что госпожа де Розмонд осталась за столом одна со старым командором де Т***; тогда и они решили встать. Итак, мы все отправились вслед за моей прелестницей, которую нашли в боскете неподалеку от замка. А так как она нуждалась в одиночестве, а не в прогулке, то ей уже было безразлично, вернуться с нами в дом или сидеть с нами в саду.

Убедившись, что госпоже де Воланж не удастся поговорить с нею наедине, я решил, что надо приняться за выполнение ваших поручений, и занялся делами вашей подопечной. Как только выпили кофе, я поднялся к себе, но зашел и к другим, дабы произвести разведку. Я принял меры, чтобы обеспечить малютке возможность вести переписку, и, совершив это первое благодеяние, написал ей пару слов, чтобы уведомить об этом и попросить доверия ко мне: записку свою я приложил к письму Дансени. Затем я вернулся в гостиную. Прелестницу свою я застал полулежащей в шезлонге в пленительно-непринужденной позе.

Зрелище это пробудило во мне желание и ожи-

вило мой взор. Я почувствовал, что он становится нежным и настойчивым, и сел так, чтобы ему не пришлось пропасть даром. Первое его действие выразилось в том, что он заставил опуститься непорочные очи божественной недотроги. Некоторое время я созерцал ее ангельское лицо, а затем, окинув взглядом всю ее фигуру, стал забавляться угадыванием очертаний и форм сквозь легкое, но, как всегда, докучное одеяние. Спустившись от головы к ногам, я стал подыматься от ног до головы… Прелестный друг мой, на меня устремлен был нежный взор. Он тотчас же опустился, но, желая способствовать его возвращению, я поглядел в сторону. И тут между нами установилось то молчаливое соглашение, тот первый договор еще робкой любви, который, удовлетворяя обоюдную потребность видеть друг друга, дает взглядам чередоваться в ожидании, пока им дано будет слиться.

Убедившись, что моя прелестница целиком поглощена этой новой утехой, я взял на себя заботу о нашей с нею безопасности. Но, удостоверившись в том, что общая довольно оживленная беседа отвлекает от нас внимание собравшихся, я стал добиваться, чтобы глаза ее заговорили откровенным языком. Для этого я сперва поймал

несколько взглядов, но был при этом так сдержан, что никакая скромность не могла бы этим оскорбиться, а чтобы эта робкая особа почувствовала себя непринужденнее, я прикинулся таким же смущенным, как и она. Мало-помалу наши глаза, привыкнув встречаться, стали реже отрываться друг от друга, а под конец уже не расставались, и я заметил в ее глазах сладостную томность, счастливый знак любви и желания, но это длилось лишь мгновение, — вскоре она пришла в себя и, слегка застыдившись, изменила свою позу и взгляд. Не желая, чтобы она усомнилась в том, что я заметил смену ее настроений, я сразу вскочил и с испуганным видом спросил, не почувствовала ли она себя плохо. Тотчас же все ее окружили. Я пропустил их всех мимо себя, а так как малютке Воланж, занятой у окна вышиванием, потребовалось время, чтобы оставить свои пяльцы, я воспользовался этим моментом и передал ей письмо Дансени.

Я находился не слишком близко от нее и потому бросил послание ей на колени. Она, правду сказать, не знала, что ей с ним делать. Вы бы со смеху покатились, увидев ее удивление и растерянность. Мне, однако, было не до смеха — очень уж я опасался, чтобы такая несообразительность

нас не выдала. Но один мой взгляд и выразительный жест заставили ее наконец понять, что пакет надо сунуть в карман.

Остаток дня не представлял никакого интереса. То, что произошло затем, повлечет за собою, может быть, события, которые вас порадуют, — во всяком случае, в отношении вашей подопечной. Но лучше употреблять время на выполнение замыслов, чем на разговор о них. К тому же я кончаю уже восьмую страницу и устал от писания. Поэтому — прощайте.

Вы и без моих слов догадаетесь, что малютка ответила Дансени[25]. От своей прелестницы, которой написал на другой же день по приезде, я тоже получил ответ. Посылаю вам оба письма. Прочтите их или не читайте, ибо это беспрерывное переливание из пустого в порожнее, которое и меня-то не слишком забавляет, должно казаться несносным всякому постороннему.

Еще раз — прощайте. Я по-прежнему очень вас люблю. Но прошу, если вы и в дальнейшем будете говорить со мной о Преване, постарайтесь сделать так, чтобы я вас понял.

Из замка***, 17 сентября 17…

---

[25] Примечания: 25
Письмо это не найдено.

Письмо 77

От виконта де Вальмона к президентше де Турвель

Почему, сударыня, вы столь безжалостно упорствуете, избегая меня? Как возможно, чтобы самое нежное внимание к вам вызывало с вашей стороны лишь действия, едва допустимые и в отношении человека, на которого есть все основания жаловаться? Как! Любовь возвращает меня к вашим ногам, и, когда счастливый случай дает мне возможность занять место подле вас, вы предпочитаете притвориться больной, взволновать своих друзей, только бы не оказаться со мной рядом. Сколько раз вчера отводили вы глаза в сторону, чтобы не удостоить меня хотя бы одним взглядом! А если я на миг уловил взор менее строгий, то миг этот был так краток, что, кажется, вы хотели не столько дать мне насладиться им, сколько заставить меня ощутить, что я теряю, лишаясь его.

Не такого обращения, осмелюсь сказать вам, заслуживает любовь, и не на такое может согласиться дружба. А если говорить об этих двух чувствах, то вы знаете, как одушевляет меня одно

из них; я же, казалось мне, имел право думать, что вы не отказываете мне и в другом. Вы сами предложили мне эту драгоценную дружбу, сочтя меня, видимо, достойным ее. Что же совершил я такого, чтобы теперь ее потерять? Не повредил ли я себе своей доверчивостью, и покараете ли вы меня за чистосердечие? Не страшитесь вы разве обмануть и то и другое? Разве тайну своего сердца излил я не на груди друга? Не перед ним ли одним мог я считать себя обязанным отвергнуть условия, приняв которые я бы с легкостью мог потом их нарушить и, быть может, с выгодой ими злоупотреблять? Неужели же вы хотели бы столь незаслуженной суровостью заставить меня думать, будто мне было бы достаточно обмануть вас, чтобы добиться большей снисходительности?

Я не раскаиваюсь в своем поведении, ибо вести себя так считаю своим долгом перед вами и перед самим собою. Но какой рок судил, чтобы каждый мой похвальный поступок становился для меня знамением новой беды?

Ведь именно после того, как я заслужил единственную похвалу, которой вы соблаговолили удостоить мое поведение, пришлось мне впервые стенать, ибо я навлек на себя ваш гнев. Ведь

именно после того, как я доказал вам совершенную свою покорность, лишив себя счастья видеть вас единственно из стремления успокоить вашу совестливость, вы пожелали прекратить со мною всякую переписку, отнять у меня слабое утешение за жертву, которой вы у меня потребовали, и лишить меня всего, вплоть до любви, которая одна лишь могла дать вам такие права. И, наконец, именно после того, как я говорил с вами с откровенностью, не ослабленной даже расчетами этой любви, вы избегаете меня сейчас, как опасного обольстителя, чье вероломство испытали на себе.

Неужели никогда не устанете вы быть несправедливой? Сообщите мне хотя бы, какие новые проступки мои заставили вас проявлять подобную суровость, и не откажите продиктовать повеления, которым вы желали бы, чтобы я подчинился. Раз я готов все исполнить, неужели просьба сообщить мне их — чрезмерное притязание?

Из ***, 15 сентября 17…

Письмо 78

От президентши де Турвель к виконту де Вальмону

Вы, сударь, кажется, удивлены моим поведением, и вы готовы даже потребовать от меня в нем отчета, словно у вас есть право порицать его. Признаюсь, что считала бы себя в большем праве удивляться и жаловаться. Но после отказа, содержавшегося в вашем последнем ответе, я приняла решение замкнуться в равнодушии, не оставляющем места ни для замечаний, ни для упреков. Однако, поскольку вы просите у меня объяснений и поскольку я, хвала небу, не ощущаю в себе ничего, что помешало бы мне дать их вам, я готова еще раз объясниться с вами.

Всякий, кто прочитал бы ваши письма, счел бы меня несправедливой или странной. Я же полагаю, что имею право на то, чтобы обо мне так не думали. В особенности, кажется мне, что у вас было меньше оснований, чем у кого бы то ни было, думать обо мне таким образом. Вы, разумеется, поняли, что, ставя меня в необходимость оправдываться, принуждали тем самым припомнить все, что между нами произошло. По-видимому, вы решили, что от моих размышлений на этот счет только выиграете. Так как я со своей стороны

тоже считаю, что ничего потерять не могу, по крайней мере, в ваших глазах, то нисколько не боюсь предаться этому занятию. Может быть, это действительно лучший способ выяснить, кто из нас имеет право жаловаться на другого.

Если мы начнем со дня вашего приезда в этот замок, то, я думаю, вы признаете, что даже одна ваша репутация давала мне основания к сдержанности в отношении вас и что я могла, не боясь прослыть чрезмерной святошей, держаться в границах самой холодной вежливости. Вы сами отнеслись бы ко мне снисходительно и нашли бы вполне понятным, что женщина, так мало развитая, не имеет качеств, необходимых для того, чтобы оценить ваши. Человек осторожный поступил бы именно так, и мне это было бы тем легче, что — не стану этого от вас скрывать — когда госпожа де Розмонд пришла сообщить мне о вашем приезде, я принуждена была вспомнить всю мою любовь к ней и всю ее любовь к вам, чтобы не дать ей заметить, как неприятно было мне это известие.

Охотно признаю, что сперва вы показали себя так, что произвели на меня, впечатление более благоприятное, чем я ожидала. Но и вы должны согласиться с тем, что длилось это весьма недолго

и что вам вскоре надоело совершать над самим собою насилие: по всей видимости, вы не сочли себя достаточно вознагражденным за него тем хорошим мнением, которое я благодаря ему о вас составила.

И вот тогда, злоупотребляя моей доверчивостью, вы не постеснялись заговорить со мной о чувстве, которое — вы не могли в этом сомневаться — должно было меня оскорбить. И в то время как вы, умножая свои провинности, отягчали их, я искала лишь предлога, чтобы о них позабыть, предоставляя вам возможность искупить их хотя бы отчасти. Просьба моя была настолько справедлива, что вы сами не сочли возможным не исполнить ее; однако, сочтя мою доброту своим правом, вы воспользовались ею, чтобы попросить у меня некоего позволения, которого мне не следовало давать, но которое вы тем не менее получили. Из тех условий, которые я вам при этом поставила, вы не выполнили ни одного и переписку свою вели таким образом, что каждое ваше письмо вменяло мне в обязанность не отвечать вам более. И даже в тот момент, когда упорство ваше принудило меня удалить вас от себя, я, проявив достойную, может быть, осуждения снисходительность, испробовала единственное

средство, которое могло бы позволить мне вновь приблизить вас к себе; но разве благопристойное чувство имеет цену в ваших глазах? Вы пренебрегаете дружбой и в своем безумном опьянении, считая ни во что несчастье и позор, гонитесь лишь за наслаждениями и жертвами.

Столь же легкомысленный в поступках, как и непоследовательный в упреках, вы забываете свои обещания или, вернее, забавляетесь тем, что нарушаете их, и, согласившись сперва удалиться от меня, возвращаетесь сюда незваным. Без всякого внимания к моим просьбам, к моим доводам и даже не потрудившись предупредить меня, вы не побоялись поразить меня неожиданностью своего появления, а ведь впечатление, которое оно произвело, хотя и вполне естественное, могло быть истолковано окружающими весьма для меня неблагоприятно. И, не подумав о том, чтобы как-нибудь вывести меня из смущения или хотя бы рассеять его, вы, кажется, все сделали для того, чтобы оно усилилось. За столом вы заняли место рядом со мной. Когда легкое недомогание заставило меня выйти из-за стола раньше всех прочих, вы, вместо того чтобы проявить уважение к моему одиночеству, побудили всех нарушить его. Я вернулась в гостиную, и,

стоит мне сделать шаг, — вы оказываетесь рядом со мной. Скажу я хоть одну фразу — отвечаете всегда вы. Самое безразличное слово служит для вас предлогом возобновить разговор, которого я не желаю слушать, который даже мог бы меня скомпрометировать. Ибо в конце-то концов, сударь, какую бы ловкость вы ни проявляли, то, что понимаю я, думаю — могут понять и другие.

Принудив меня таким образом к неподвижности и молчанию, вы тем не менее продолжаете свои преследования. Я не могу поднять глаз, не встретив вашего взгляда. Мне все время приходится глядеть в сторону, и по какой-то совершенно необъяснимой непоследовательности вы привлекаете ко мне взоры всех окружающих как раз в тот миг, когда мне хотелось бы скрыться от своих собственных.

И вы еще жалуетесь на мое поведение! И не удивляйтесь, что я так усердно стараюсь избегать вас! Нет, скорее осуждайте меня за мою снисходительность, изумляйтесь тому, что я не уехала тотчас же после вашего приезда. Может быть, мне и следовало это сделать, и вы принудите меня к этой крайней, но необходимой мере, если не прекратите, наконец, своих оскорбительных преследований! Нет, я не забываю, я никогда не

забуду своего долга перед самой собою, перед теми узами, которыми я связала себя, которые я уважаю, которые мне дороги, и прошу вас не сомневаться, что, если когда-нибудь я окажусь перед злосчастным выбором — принести в жертву их или себя, я не поколеблюсь ни мгновения. Прощайте, сударь.

Из ***, 16 сентября 17…

Письмо 79

От виконта де Вальмона к маркизе де Мертей

Я рассчитывал отправиться нынче утром на охоту. Но погода отвратительная. Для чтения у меня имеется лишь один новый роман, который показался бы скучным даже пансионерке. Завтрак будет, самое раннее, часа через два. Поэтому, несмотря на мое вчерашнее длинное письмо, я намереваюсь еще поболтать с вами. Уверен, что не наскучу вам, ибо говорить буду об очень красивом Преване. Как это вы не знали о его знаменитом приключении, о том, которое разлучило неразлучных? Бьюсь об заклад, что припомните его с первого же слова. Но раз вам так угодно — вот оно.

Вы, наверно, не забыли, как весь Париж изум-

лялся тому, что три женщины, все очень хорошенькие, равно одаренные и имеющие права на равные притязания, оставались в самой тесной дружбе с момента вступления своего в свет. Сперва причину этого усматривали в их крайней застенчивости. Но вскоре их стала окружать толпа поклонников, чьи ухаживания они как бы делили между собой, и они хорошо узнали себе цену благодаря знакам внимания, которые им расточались. Их дружба, однако, стала еще теснее, и можно было сказать, что торжество одной из них становилось всегда торжеством двух других. Все надеялись хотя бы на то, что, когда придет любовь, она вызовет между ними соперничество. Наши прелестники оспаривали друг у друга честь стать яблоком раздора, и я сам вступил бы в ряды соревнующихся, если бы высшая благосклонность, которой как раз в это же время одарила меня графиня де ***, позволила мне стать неверным еще до того, как я получил согласие на то, чего домогался.

Между тем наши три красавицы, словно сговорившись, сделали на одном и том же карнавале свой выбор, но вместо того чтобы вызвать бурю, как того ожидали, он сделал их дружбу лишь более увлекательной благодаря прелести взаимных

признаний.

Толпа неудачливых претендентов объединилась тогда с завистницами, и раздражающее всех постоянство подверглось всеобщему осуждению. Одни утверждали, что в этой компании неразлучных (так их тогда прозвали) основным законом была общность имущества и распространялся он даже на любовь. Другие уверяли, что хотя три любовника и не имеют соперников, зато у них есть соперницы. Доходило даже до того, что говорили, будто они взяты лишь для отвода глаз и получили одно только звание без обязанностей.

Слухи эти, правдивые или ложные, не привели к желанным последствиям. Напротив, три пары поняли, что им несдобровать, если они теперь разделятся, — они приняли решение смело встретить бурю. Обществу, которому все надоедает, надоело и бесплодное злословие. Уступая своему природному легкомыслию, оно занялось чем-то другим. Затем, вернувшись к прежнему, с обычной своей непоследовательностью от осуждения перешло к похвалам. Так как здесь на всё мода, энтузиазм охватил всех. Он превращался уже в настоящее безумие, когда Преван решил проверить эти чудеса и твердо установить и общественное, и свое личное мнение на их счет.

Итак, он постарался свести близкое знакомство с этими образцами совершенства. Его приняли без труда, и он усмотрел в этом благоприятное предзнаменование, так как хорошо знал, что к людям счастливым подступиться не так-то легко. И вскоре он действительно убедился, что это столь хваленое счастье подобно счастью царей: ему больше завидуют, чем желают им обладать. Он заметил, что в среде этих якобы неразлучных начинается тяга к удовольствиям на стороне, начинают даже искать других развлечений. Из этого он сделал вывод, что узы любви и дружбы ослабели или даже распались и что некоторую силу имели еще только узы самолюбия и привычки.

Женщины, однако, по необходимости сохраняя между собою связь, сохраняли и видимость прежней тесной дружбы. Но мужчины, более свободные в своих действиях, уже находили какие-то обязанности, которые надо было выполнять, или дела, которыми нельзя было пренебречь. Пока они только жаловались на это, но уже не освобождались от них и редко проводили вечера в полном составе.

Такое их поведение оказалось выгодным настойчивому Превану, который, естественным

образом находясь каждый раз подле той, которая в тот день оставалась покинутой, получал возможность оказывать попеременно и в зависимости об обстоятельств равное внимание всем трем подругам. Он быстро сообразил, что сделать какой-то выбор между ними — значит погубить себя; что ту, кого он предпочтет, испугает ложный стыд первой совершить измену, что уязвленное тщеславие двух других вызовет у них вражду к новому любовнику и что они не преминут обратить против него всю строгость возвышенных правил; и, наконец, что ревность наверняка заставит соперника, возможно, еще опасного, снова приняться за ухаживания. Все превращалось в препятствие, но при его тройном замысле все становилось легким: каждая из женщин проявляла снисходительность потому, что была заинтересована, каждый из мужчин — потому, что полагал, что ему-то все равно.

Превану, которому тогда надо было пожертвовать лишь одной женщиной, повезло в том отношении, что она стала знаменитостью. Будучи иностранкой и довольно ловко отвергнув ухаживания одного высокородного принца, она привлекла к себе внимание двора и города. Любовник ее разделил с нею почет и воспользовался

этим у своих новых возлюбленных. Единственная трудность состояла в том, что надо было одновременно провести все три интриги, причем равняться по необходимости приходилось на ту, которая запаздывала. И действительно, от одного из его наперсников я знаю, что труднее всего ему было повременить с одной, которая готова была расцвести почти на две недели раньше других.

Наконец настал великий день. Преван, добившийся трех признаний, мог теперь действовать, как ему заблагорассудится, и вы сейчас увидите, как он поступил. Из трех мужей один отсутствовал, другой должен был уехать на рассвете следующего дня, третий находился в городе. Неразлучные подруги должны были ужинать у будущей вдовы, но новый господин не допустил, чтобы приглашенными оказались прежние поклонники. Утром того же дня он делит на три пачки письма своей прелестницы, к одной прикладывает полученный от нее портрет, к другой — любовный вензель, нарисованный ее рукой, к третьей — локон ее волос. Каждая приняла эту треть жертвы за целое и в обмен согласилась послать отвергнутому любовнику резкое письмо о разрыве. Это было много, но еще недостаточно. Та, чей муж находился в городе, имела в своем

распоряжении только день. С ней Преван условился, что мнимое нездоровье избавит ее от необходимости ужинать у подруги и что ему будет принадлежать вечер. Ночь подарила та, чей муж был в отсутствии, а последняя назначала часом любви рассвет, когда должен был уехать третий супруг.

Преван, который ничего не упускает из виду, спешит к прекрасной иностранке; он является в дурном расположении духа, вызывает в ней ответное раздражение, которого ему и требовалось, и удаляется лишь после того, как затеял ссору, обеспечивающую ему свободу на целые сутки. Он устроил все, как было нужно, и возвратился домой, рассчитывая немного отдохнуть. Но здесь его ждали другие дела.

Письма о разрыве внезапно раскрыли опальным любовникам глаза на все. Ни один из них не мог сомневаться, что принесен в жертву Превану. Досада, что их провели, соединилась с раздражением, почти всегда порождаемым в нас несколько унизительным ощущением, что нас бросили. И вот все трое, не сговариваясь, но действуя как бы заодно, захотели получить удовлетворение и решили потребовать его от счастливого соперника.

Последний нашел у себя три вызова и принял их как подобало. Но, не желая поступиться ни удовольствием, ни славой этого приключения, он назначил поединки на завтрашнее утро и указал всем троим одно и то же время и место у одних из ворот Булонского леса.

С наступлением вечера он принялся за свое тройное дело и выполнил его с равным успехом. Во всяком случае, он впоследствии хвастал, что каждая из его новых любовниц трижды получила залог и доказательство его любви. Здесь, как вы хорошо понимаете, истории не хватает доказательств. Единственное, что может сделать беспристрастный историк, это обратить внимание маловерного читателя на то, что возбужденное тщеславие и воображение могут творить чудеса, и к тому же что наутро после этой блестящей ночи могло создаться положение, при котором никакой осторожности на будущее время уже не было бы нужно. Как бы то ни было, нижеследующие факты более достоверны.

Преван точно явился в назначенное им самим время. Он застал своих трех соперников, несколько удивленных общей встречей, причем каждый из них уже, быть может, несколько утешился, увидев, что у него есть товарищи по несчастью.

Он подошел с любезным и непринужденным видом и обратился к ним с нижеследующей речью, которую мне передали вполне точно.

«Господа, — сказал он, — встретившись здесь, вы, конечно, догадались, что у всех вас одна и та же причина быть мною недовольными. Я готов дать вам удовлетворение. Решите между собою жребием, кто из вас первый попытается совершить мщение, на которое все трое имеют равное право. Я не привел сюда ни секунданта, ни свидетеля. У меня не было их, когда я нанес вам обиду, не нужны мне они и для искупления». И тут, уступая своим привычкам игрока, он добавил: «Я знаю, что редко удается сорвать два банка подряд. Но какова бы ни была уготованная мне участь, человек вообще достаточно пожил, если успел завоевать любовь женщин и уважение мужчин».

Пока его удивленные противники молча переглядывались и совестливость их, может быть, соображала, что при тройном поединке шансы очень уж неравны, Преван снова заговорил: «Не стану от вас скрывать, — продолжал он, — что проведенная мною ночь сильно меня утомила. С вашей стороны было бы великодушно позволить мне восстановить мои силы. Я велел, чтобы здесь

приготовили завтрак. Окажите мне честь разделить его со мной. Позавтракаем же, а главное — позавтракаем весело. Из-за подобных пустяков можно драться, но мне кажется, что они не должны портить нам настроение».

Приглашение было принято. Говорят, что никогда еще Преван не был более любезен. Он ухитрился не унизить ни одного из своих соперников, убедить их, что все они легко добились бы такого же успеха, а главное, заставить их признать, что они, так же как и он, не упустили бы случая. Как только все это было признано, остальное уладилось само собой. Таким-то образом еще до окончания завтрака было раз десять повторено, что подобные женщины не заслуживают, чтобы порядочные люди из-за них дрались. Мысль эта пробудила сердечность, вино ее укрепило, и через несколько минут не только не оставалось уже вражды, но даны были даже клятвы безграничной дружбы.

Преван, которому уж наверно такая развязка была не менее по душе, чем иная, не хотел, однако, поступиться своей славой. И поэтому, применяя свои замыслы к обстоятельствам, он сказал оскорбленным любовникам: «И право, мстить вы должны бы не мне, а своим неверным любовни-

цам. Я предоставлю вам эту возможность. Я уже не меньше вас самих чувствую оскорбление, которое вскоре разделю. Ведь если каждый из вас не умел удержать одну, могу ли я рассчитывать на то, что удержу всех трех? Ваша обида стала моей. Согласитесь отужинать сегодня вечером в моем домике, и я надеюсь, что мщению вашему дольше ждать не придется». Его хотели заставить объясниться, но он ответил с оттенком превосходства, на которое давало ему право все, что произошло: «Господа, я, кажется, доказал вам, что соображаю, как следует действовать. Положитесь на меня». Все трое согласились и, расцеловавшись со своим новым другом, расстались до вечера в ожидании исполнения его обещаний.

Он же, не теряя времени, возвращается в Париж и, согласно обычаю, навещает своих новых любовниц. От всех трех он добился обещания, что они в тот же вечер придут отужинать наедине с ним в его домике. Две из них, правда, немного поломались, но в чем откажешь на другой день после того, как все уже отдано? Он назначил свидания через час одно после другого, как и требовали его замыслы. После этих приготовлений он удалился, предупредил трех других заговорщиков, и все четверо весело отправились

поджидать свои жертвы.

Вот услышали, как прибывает первая. Преван встречает ее один, принимает с самым пылким видом, ведет в святилище, божеством которого она себя считает, а затем, исчезнув под каким-то ничтожным предлогом, подменяет себя оскорбленным любовником.

Вы понимаете, что смущение женщины, еще не привыкшей к любовным похождениям, давало возможность без труда восторжествовать над ней. Каждый непроизнесенный упрек был принят за милость, и беглая раба, возвращенная прежнему господину, была счастлива, что, надев на себя те же цепи, получает прощение. Мирный договор был утвержден в более укромном месте, а опустевшую сцену заняли в свою очередь другие актеры приблизительно таким же образом, а главное — с той же самой развязкой.

Однако каждая из женщин считала, что она одна участвует в игре. Их изумление и растерянность усилились, когда за ужином все три пары соединились. Но смущение достигло предела, когда вновь появившийся среди них Преван имел жестокость принести трем неверным любовницам извинения, которые, разоблачая их секрет, полностью открывали им, до какой степени их

разыграли.

Всё же уселись за стол, и вскоре ко всем вернулось самообладание. Мужчины были откровенно веселы, женщины смирились. У всех затаилась в сердце ненависть, но речи тем не менее велись ими самые нежные. Весёлость пробудила желание, которое в свою очередь придало ей дополнительную прелесть. Эта удивительная оргия длилась до самого утра, а когда все разошлись, женщины могли думать, что прощены. Мужчины, однако, затаив злобу, на следующий же день объявили о разрыве, оказавшемся безвозвратным. Не удовлетворившись тем, что бросили своих легкомысленных любовниц, они завершили мщение, предав это приключение огласке. С тех пор одна из женщин ушла в монастырь, а две другие изнывают от скуки в своих имениях.

Вот история Превана. Решайте сами — угодно ли вам увеличить его славу и впрячься в его триумфальную колесницу. Письмо ваше меня и вправду обеспокоило, и я с нетерпением жду ответа более разумного и ясного на то, что я писал вам в своем последнем письме.

Прощайте, прелестный друг, остерегайтесь забавных или причудливых мыслей, которые вас слишком легко соблазняют.

Подумайте о том, что на избранном вами поприще недостаточно одного лишь ума и что один неосторожный шаг становится непоправимой бедой. Разрешите, наконец, дружескому предостережению руководить иногда вашими забавами.

Прощайте. Все же я люблю вас так, словно вы стали благоразумной..

Из ***, 18 сентября 17…

Письмо 80

От кавалера Дансени к Сесили Воланж

Сесиль, дорогая Сесиль, когда же наступит время нам снова свидеться? Кто научит меня существовать вдали от вас? Кто даст мне на это сил и мужества? Никогда, нет, никогда не перенести мне этой роковой разлуки! С каждым днем становлюсь я все несчастнее, и конца этому не видно! Вальмон, посуливший мне помощь и утешение, Вальмон пренебрегает мною и, может быть, даже забыл обо мне. Он находится подле той, кого любит. Он уже не помнит, как страдаешь вдали от любимого существа. Переслав мне ваше последнее письмо, сам он не написал ни строчки. А ведь именно он должен сообщить мне, когда я смогу вас увидеть и каким способом. Что

ж, ему нечего на этот счет сказать? Сами вы тоже ничего об этом не говорите. Не потому ли, что не разделяете моего желания увидеться? Ах, Сесиль, Сесиль, как я несчастен! Я люблю вас больше, чем когда-либо, но любовь эта, в которой заключена вся радость моей жизни, превращается в муку.

Нет, я не могу больше так жить, я должен вас увидеть, это необходимо, хоть на один миг. Вставая ото сна, я говорю: «Я ее не увижу». Ложусь и думаю: «Я ее не видел». Дни мои такие долгие, и нет в них ни одного отрадного мгновения. Все — только лишения, сожаления, отчаяние. И все эти горестные слова оттуда, откуда я ожидал радостей. Добавьте к этим смертельным мукам тревогу о том, как мучитесь вы, и вы получите представление о моем душевном состоянии. Я думаю о вас беспрерывно и никогда не думаю без смятения. Если я представляю себе вас удрученной, несчастной, — я страдаю от ваших горестей, а если вижу вас спокойной и утешившейся — мое страдание усиливается. Всегда и всюду я несчастен. Ах, не так было, когда вы находились там, где живу я. Все тогда было утехой. Уверенность, что я увижу вас, украшала даже часы разлуки. Время этой разлуки самим своим движением приближало меня к вам. То, как я его проводил,

всегда было связано с вами. Если я выполнял какие-то обязанности, это делало меня более достойным вас; если я упражнял какие-либо свои дарования, то в надежде больше выиграть в ваших глазах. Даже когда светские развлечения уносили меня от вас, я не был разлучен с вами. В театре я старался угадать, что могло бы вам понравиться, концерт напоминал мне о вашем таланте и о наших столь сладостных занятиях музыкой. В светском кругу и на прогулках я старался уловить в женщинах малейшее сходство с вами. Я сравнивал вас со всеми, и всегда вы имели преимущество. Каждое мгновение дня отмечалось новой данью восхищения перед вами, и каждый вечер приносил я эту дань к вашим ногам.

А теперь что мне остается? Мучительные сожаления, вечные лишения и слабая надежда, которую уменьшает молчание Вальмона и превращает в тревогу ваше. Всего десять лье разделяют нас, и это расстояние, которое так легко пройти, для меня одного становится непреодолимым препятствием! А когда я молю моего друга и мою возлюбленную помочь мне осилить его, оба они холодны и спокойны. Они не только не помогают мне, они даже не отвечают.

Что же сталось с деятельной дружбой Валь-

мона? А главное, что сталось с вашими столь нежными чувствами, которые помогали вам так искусно находить способы ежедневно видеться друг с другом? Иногда, помнится мне, продолжая стремиться к этому, я принужден бывал жертвовать своим желанием ради каких-либо иных соображений или обязанностей. Что вы тогда мне говорили? Какие только предлоги не выставляли вы против моих доводов! И припомните, моя Сесиль, всегда мои доводы уступали вашим желаниям. Я не ставлю себе этого в заслугу: у меня даже нет той заслуги, что я чем-то жертвовал. Ведь я горел желанием дать вам то, чего вы добивались. Но теперь моя очередь просить. И в чем моя просьба? Увидеть вас хоть на миг, повторить вам и услышать от вас клятву вечной любви. Разве ваше счастье, как и мое, теперь уже не в этом? Я отталкиваю эту приводящую в отчаяние мысль — она была бы последней каплей моих страданий. Вы любите меня, вы будете любить меня всегда — я верю в это, я убежден в этом, я не хочу когда-либо усомниться. Но положение мое ужасно, и я не смогу его дольше переносить. Прощайте, Сесиль.

Париж, 18 сентября 17…

Письмо 81

От маркизы де Мертей к виконту де Вальмону

Как мне жалки все ваши опасения! Как доказывают они мое превосходство над вами! А вы еще хотите учить меня, руководить мною! Ах, бедненький Вальмон, как вам еще далеко до меня! Нет, даже всей гордыни, свойственной вашему полу, недостаточно, чтобы заполнить разделяющую нас пропасть. Вы не сумели осуществить моих замыслов — и потому считаете их невыполнимыми! Существо слабое и полное гордыни, тебе ли подобает рассчитывать, какие у меня средства, и судить о моих возможностях! Говоря по правде, виконт, советы ваши меня раздражили, и я не могу этого от вас скрыть. Пусть для того, чтобы замаскировать свою невероятную неловкость в отношениях с вашей президентшей, вы изображаете как победу то, что вам удалось на минуту смутить застенчивую и любящую вас женщину — ничего не могу против этого возразить; что вы добились от нее взгляда, одного только взгляда, — я усмехаюсь и спускаю вам это. Пусть, невольно сознавая, как ничтожно ваше поведение, вы рассчитываете отвлечь от него мое внимание,

похваляясь передо мною своими необычайными усилиями сблизить двух детей, которые просто горят жаждой свидеться и, к слову сказать, одной мне обязаны пылом своего желания, — готова и на это согласиться. Пусть, наконец, опираясь на эти блистательные деяния, вы наставительным тоном заявляете мне: «Лучше употреблять время на осуществление своих планов, чем на разговоры о них», — это тщеславие мне не вредит, и я вам его прощаю. Но чтобы вы могли думать, будто я нуждаюсь в вашем благоразумии, будто я собьюсь с верного пути, если не стану внимать вашим советам, что я должна жертвовать им удовольствием, причудой, — ну, знаете, виконт, вы уж чересчур возгордились доверием, которое мне благоугодно к вам питать.

Что совершили вы такого, чего бы я тысячу раз не превзошла? Вы соблазнили и даже погубили множество женщин. Но трудно ли давалась вам победа? Какие препятствия вы преодолевали? В чем заслуга, которая действительно была бы вашей? Красивая внешность — дар случая; изящные манеры, которые почти всегда приобретаешь опытом; несомненный ум, но такой, который в случае нужды можно подменить краснобайством; довольно похвальная дерзость, но ей вы,

может быть, обязаны легкости, с которой одержали свои первые успехи. Если не ошибаюсь, то вот и все, чем вы можете похвалиться. Ибо что до славы, которую вам удалось стяжать, то, полагаю, вы не станете требовать, чтобы я высоко оценила умение поднимать шум или им пользоваться.

Что же касается осторожности, проницательности, то о себе я уже не говорю, но у какой другой женщины их не окажется больше, чем у вас? Да что говорить: ваша президентша делает с вами что хочет — как с ребенком.

Поверьте мне, виконт, редко приобретаешь те качества, без которых можешь обойтись. Сражаясь без риска, вы и действовать будете без предосторожностей. Для вас, мужчин, поражение — всего-навсего отсутствие успеха. В этой, столь неравной, игре мы выигрываем, если ничего не теряем, а вы теряете, если ничего не выиграли. Даже признай я за вами те же таланты, которыми обладаем мы, насколько мы все же будем превосходить вас хотя бы потому, что вынуждены беспрерывно прибегать к их помощи?

Предположим — соглашаюсь на это, — что вы должны применять для победы над нами такую же ловкость, какую мы проявляем, обороняясь или даже уступая, — признайте, по крайней мере,

что, достигнув успеха, вы уже в ней не нуждаетесь. Поглощенные исключительно своим новым увлечением, вы отдаетесь ему без удержу, без опасений; но для вас не имеет значения, долго ли оно продлится.

И правда ведь, только вам дано вязать и разрешать по своему усмотрению эти — выражаясь языком любви — взаимные узы. И мы еще счастливы, если вы, в непостоянстве своем предпочитая тайну огласке, удовлетворяетесь унизительным забвением и из вчерашнего кумира не делаете на следующий день жертву! Но если несчастная женщина первой ощутит тяжесть цепей, каким только опасностям не подвергается она, когда пробует сбросить их или хотя бы немного облегчить? Лишь с трепетом пытается она отдалить от себя человека, которого ее сердце уже резко отталкивает. А если он упорно не желает уходить, ей приходится из страха давать ему то, что она отдавала по любви:

> *Объятья открывать, когда закрыто сердце.*

Ее благоразумию приходится со всевозможными ухищрениями распутывать узы, которые вы попросту порвали бы. Она во власти своего

врага и ничего поделать не может, если у него нет великодушия. А как рассчитывать на великодушие? Ведь если порою считается похвальным, когда оно есть, то никого не осуждают за его отсутствие.

Вы, разумеется, не станете оспаривать эти истины, настолько очевидные, что они стали уже общим местом. И если тем не менее вы были свидетелем того, как я, пользуясь обстоятельствами и мнениями людей, делала этих столь грозных мужчин игрушкой своих причуд или прихотей, лишая одних воли, а других возможности вредить мне, если я, повинуясь изменчивости своих вкусов, умела то включать в число своих поклонников, то далеко отталкивать от себя Тиранов свергнутых, что сделались рабами[26]*, — если среди этих частых перемен добрая слава моя оставалась не-поколебленной, не пришли ли вы к выводу, что, созданная для того, чтобы мстить за свой пол и порабощать ваш, я сумела

[26] Примечания: 26

Неизвестно, является ли этот стих так же, как и приведенный выше «Объятья открывать, когда закрыто сердце», цитатой из каких-то малоизвестных произведений или же они — только проза госпожи де Мертей. Легче предположить последнее, ибо во всех письмах настоящей переписки попадается множество таких же плохих стихов. Нет их лишь в письмах кавалера Дансени — может быть, потому, что ему случалось заниматься поэзией и его более изощренный слух облегчил ему возможность избежать этого недостатка.

изобрести и средства, до меня неизвестные?

Ах, приберегите же ваши советы и опасения для тех женщин, которые свое сумасбродство выдают за чувство, у которых воображение столь необузданно, что начинаешь думать, будто природа поместила им чувства в голову. Никогда ни о чем не размышляя, они смешивают любовника и любовь, в безумном своем заблуждении воображают, будто лишь тот, с кем они искали наслаждения, и есть единственный, от кого оно может исходить, и как суеверные дикарки питают к жрецу благоговение и веру, которых достойно лишь само божество.

Опасайтесь также и за тех, более тщеславных, чем благоразумных, которые не умеют в случае необходимости мириться с тем, что их бросают.

Но особенно бойтесь за тех женщин, деятельных в своей праздности, которых вы именуете чувствительными и которыми любовь овладевает столь легко и с такой огромной силой. Они ощущают потребность заниматься любовью даже тогда, когда не наслаждаются ею, и, безудержно отдаваясь брожению своих мыслей, сочиняют под их воздействием нежные, но крайне пагубные письма, не страшась доверять эти доказательства своей слабости ее предмету. Со свойственной им

неосторожностью они не способны предугадать в нынешнем любовнике завтрашнего врага.

Но у меня-то что общего с этими безрассудными женщинами? Видели ли вы когда-нибудь, чтобы я отступила от правил, которые себе предписала, чтобы я изменила своим принципам? Я говорю о принципах и говорю так вполне сознательно, ибо они не отдаются, как у других женщин, на волю случая, не приняты необдуманно, и я не следую им только по привычке. Они — плод глубоких размышлений: я создала их и могу сказать, что я — собственное свое творение.

Вступив в свет еще юной девушкой, по положению своему обреченной на молчаливое бездействие, я воспользовалась этим, чтобы наблюдать и думать. Меня считали ветреной и рассеянной, ибо, по правде сказать, я почти не слушала речей, с которыми ко мне наперебой обращались, зато старательно прислушивалась ко всему, что от меня желали утаить.

Это весьма плодотворное любопытство не только помогло мне узнать жизнь, но вдобавок научило и притворяться. Вынужденная часто скрывать от глаз окружающих, что именно привлекло мое внимание, я упражнялась в способности управлять собственными своими взорами и с тех пор

научилась придавать своим глазам по желанию то рассеянное выражение, за которое вы меня так часто хвалили. Ободренная первым успехом, я постаралась подобным же образом подчинить своей воле все разнообразные выражения своего лица. Если мне было почему-нибудь грустно, я старалась принять безмятежный, даже веселый вид. Рвение мое зашло так далеко, что я даже причиняла себе нарочно боль, чтобы научиться изображать в этот миг удовольствие. Столь же тщательно, но с большим трудом училась я подавлять проявления неожиданной радости. Таким-то образом и приобрела я над своим лицом ту власть, которая вас, видимо, порою так сильно изумляла.

Я была еще очень молода и почти не привлекала к себе внимания, мне принадлежали только мои мысли, и меня возмущало, что можно уловить их, овладеть ими вопреки моей воле. Получив в руки это первое оружие, я стала его испытывать. Не довольствуясь тем, что теперь меня было уже не разгадать, я забавлялась, надевая самые разные личины. Уверенная в своих движениях, я следила за своими речами. Я управляла и тем и другим, смотря по обстоятельствам и даже лишь по случайной прихоти. С того времени мой

истинный образ мыслей стал лишь моим личным достоянием, людям же я показывала лишь то, что мне было выгодно.

Эта работа над собой заставила меня внимательно следить за выражением лиц и характером физиономий, и таким образом приобрела я тот проницательный взгляд, которому, впрочем, жизненный опыт научил меня доверять не всецело, но который в общем редко меня обманывал.

Мне не исполнилось еще пятнадцати лет, а я уже обладала способностями, которым большинство наших политиков обязаны своей славой, а между тем постигла лишь основные начала науки, которою стремилась овладеть.

Вы понимаете, что, подобно другим девушкам, я старалась узнать все о любви и ее радостях, но, не бывши никогда в монастыре, не имея близкой подруги и живя под наблюдением бдительной мамаши, имела лишь самые общие на этот счет представления, лишенные какой-либо определенности. Даже природа, на которую с тех пор мне, конечно, жаловаться не приходилось, не давала мне еще ни малейших указаний. Можно было подумать, что она безмолвно трудится над совершенствованием своего творения. Брожение шло лишь у меня в голове: я хотела не

наслаждаться, а знать. Стремление просветиться подсказало мне средства.

Я почувствовала, что единственный мужчина, с которым я могла об этом заговорить, не скомпрометировав себя, был мой духовник. Тотчас же я приняла решение: преодолев легкий стыд и похвастав шись проступком, которого даже и не совершала, я обвинила себя в том, что сделала все, что делают женщины. Так я выразилась, но, говоря это, я, по правде сказать, сама не знала, что означали мои слова. Надежды мои не были ни целиком обмануты, ни вполне удовлетворены: страх выдать себя помешал мне высказаться яснее. Но добрый священник объявил мой грех столь великим, что я сообразила, как же велико должно быть наслаждение, и желание знать, что оно такое, сменилось жаждой вкусить его.

Трудно сказать, как далеко завело бы меня это желание. Тогда я была совершенно неопытна, и, может быть, какая-нибудь случайность могла меня погубить. На мое счастье, через несколько дней мамаша объявила мне, что я выхожу замуж. Уверенность, что вскоре я все узнаю, сразу же охладила мое любопытство, и в объятия господина де Мертей я попала девственницей.

Я уверенно ждала мгновения, которое должно

было меня просветить, и мне пришлось поразмыслить, прежде чем я изобразила смущение и страх. Пресловутая первая ночь, о которой обычно создается представление столь ужасное или столь сладостное, для меня была только случаем приобрести некоторый опыт: боль, наслаждение — я за всем тщательно наблюдала и в этих разнообразных ощущениях видела лишь факты, которые надо было воспринять и обдумать.

Вскоре этот род занятий стал мне нравиться; однако, верная своим принципам и, может быть, инстинктивно чувствуя, что никому не следует так мало доверять, как мужу, я — именно потому, что была чувственной, — решила в его глазах казаться бесстрастной. Кажущаяся моя холодность стала впоследствии непоколебимым основанием его слепого доверия. Поразмыслив еще, я добавила к ней шаловливость, естественную в моем возрасте, и никогда не считал он меня ребенком больше, чем в те минуты, когда я его беззастенчивее всего разыгрывала.

Должна, впрочем, сознаться, что на первых порах меня увлекла светская суета, и я всецело отдалась ее ничтожным развлечениям. Но когда через несколько месяцев господин де Мертей увез меня в свою унылую деревню, страх соскучиться

пробудил во мне вновь вкус к занятиям. Там я была окружена людьми, стоявшими настолько ниже меня по положению, что подозрение не могло меня коснуться, и, воспользовавшись этим, я расширила поле своих опытов. Именно там я убедилась, что любовь, которую расхваливают как источник наслаждений, самое большее — лишь повод для них.

Болезнь господина де Мертея прервала эти приятные занятия. Пришлось сопровождать его в столицу, где он искал врачебной помощи. Немного времени спустя он, как вам известно, умер, и хотя, в сущности, мне не приходилось на него жаловаться, я тем не менее весьма живо ощутила цену свободы, которую обеспечивало мне вдовство, и твердо решила воспользоваться ею.

Мать моя полагала, что я удалюсь в монастырь или вернусь жить с нею. Отказавшись и от того и от другого, я принесла лишь одну дань приличиям: возвратилась в ту самую деревню, где мне оставалось сделать еще несколько наблюдений.

Я подкрепила их чтением, но не думайте, что оно было исключительно такого рода, какой вы предполагаете. Я изучала наши нравы по романам, а наши взгляды — по работам философов. Я искала даже у самых суровых моралистов, чего

они от нас требуют, и, таким образом, достоверно узнала, что можно делать, что следует думать, какой надо казаться. Получив вполне ясное представление об этих трех предметах, я поняла, что лишь третий представляет некоторые трудности, но надеялась преодолеть их и стала обдумывать, какие необходимы для этого средства.

Мне начинали уже надоедать сельские удовольствия, слишком однообразные для моего живого ума. У меня возникла потребность кокетничать, и она примирила меня с любовью, но, по правде сказать, мне хотелось не испытывать чувство любви, а внушать его и изображать. Напрасно твердили мне, — и я читала об этом, — что чувство это нельзя подделать. Я отлично видела, что для этого нужно сочетать ум писателя с талантом комедианта. Я стала упражняться на обоих поприщах и, пожалуй, не без успеха, но вместо того, чтобы добиваться пустых рукоплесканий зрительного зала, решила использовать на благо себе то, чем другие жертвуют тщеславию.

В этих разнообразных занятиях прошел год. Так как траур мой пришел к концу и мне опять можно было появиться в свете, я возвратилась в столицу, полная своих великих замыслов, но первое же препятствие, с которым я столкнулась,

явилось для меня* неожиданностью.

Длительное одиночество и строгая затворническая жизнь как бы покрыли меня налетом неприступности, смущающим наших самых любезных волокит. Они держались поодаль и предоставили меня скучной толпе всевозможных претендентов на мою руку. Отказывать им было делом несложным, но нередко эти отказы раздражали мою семью, и в семейных разногласиях я теряла время, которое надеялась проводить столь приятно. И вот для того чтобы привлечь одних и отвадить других, мне пришлось несколько раз открыто проявлять легкомыслие и употреблять во вред своей доброй славе старания, с помощью которых я рассчитывала ее сохранить. Можете не сомневаться, что в этом я легко преуспела. Но так как меня не увлекала никакая страсть, я сделала лишь то, что считала необходимым, и осмотрительно дозировала свою ветреность.

Достигнув желаемой цели, я принялась за прежнее и при этом дала возможность некоторым женщинам, уже не имеющим данных притязать на наслаждения и потому ударившимся в добродетель, приписывать себе честь моего обращения на путь истинный. Этот искусный ход дал мне больше, чем я надеялась. Благородные

дуэньи стали моими ярыми защитницами, и их слепая забота о том, что они именовали делом своих рук, доходила до того, что при малейшем замечании по моему адресу вся орава ханжей поднимала крик о злословии и клевете. Тот же самый прием обеспечил мне благосклонность женщин, добивающихся успеха у мужчин: уверившись, что я не собираюсь подвизаться на том же поприще, они принимались расточать мне похвалы всякий раз, когда хотели доказать, что они злословят далеко не о всех.

Между тем прежнее мое поведение вернуло мне поклонников. Чтобы не терять ни их, ни моих довольно неверных покровительниц, я стала выказывать себя женщиной чувствительной, но очень требовательной, которой крайняя душевная утонченность дает в руки оружие против любви.

Тогда-то я и начала демонстрировать на большой сцене дарования, которые сама в себе развила. Прежде всего позаботилась я о том, чтобы прослыть непобедимой, Для достижения этой цели я делала вид, что принимаю ухаживания только тех мужчин, которые на самом деле мне вовсе не нравились. Они были очень полезны мне для того, чтобы я могла снискать честь успешного

сопротивления, тем временем вполне безопасно отдаваясь любовнику, которого предпочитала. Но ему-то я, притворяясь скромницей, никогда не разрешала проявлять ко мне внимание в свете, и на глазах у общества оказывался всегда несчастливый поклонник.

Вы знаете, как быстро я выбираю любовника; но дело в том, что, по моим наблюдениям, тайну женщины почти всегда выдают предварительные ухаживания. Как себя ни веди, но тон до и тон после успеха — всегда разный. Различие это никогда не ускользнет от внимательного наблюдателя, и я нашла, что ошибиться в выборе не так опасно, как дать себя разгадать постороннему. Этим я выигрывала и то, что выбор мой представлялся неправдоподобным, а судить о нас можно только на основании правдоподобия. Все эти предосторожности, а также и то, что я никогда не писала любовных писем и никогда не давала никаких вещественных доказательств своего поражения, могут показаться чрезмерными. Я же никогда не считала их достаточными. Заглянув в свое сердце, я по нему изучала сердца других. Я увидела, что нет человека, не хранящего в нем тайны, которой ему важно было бы не раскрывать. Истину эту в древности знали, кажется,

лучше, чем теперь, и искусным символом ее является, по-видимому, история Самсона*. Новая Далила, я, подобно ей, всегда употребляла свою власть на то, чтобы выведать важную тайну. О, немало у нас современных Самсонов, над чьими волосами занесены мои ножницы! Этих-то я перестала бояться, и лишь их одних позволяла я себе изредка унижать. С другими приходилось быть изворотливей: умение делать их неверными, чтобы самой не показаться непостоянной, притворная дружба, кажущееся доверие, кое-когда великодушные поступки, лестное представление, сохранявшееся у каждого, что он был единственным моим любовником, — вот чем добивалась я их молчания. Наконец, если средств этих у меня почему-либо не было, я умела, заранее предвидя разрыв, заглушить насмешкой или клеветой то доверие, какое эти опасные для меня мужчины могли приобрести.

Вы хорошо знаете, что я непрестанно осуществляю то, о чем сейчас говорю, и вы еще сомневаетесь в моем благоразумии! Ну, так вспомните то время, когда вы только начали за мной ухаживать. Ничье внимание не льстило мне так, как ваше. Я жаждала вас еще до того, как увидела. Ваша слава обольстила меня, и мне казалось,

что только вас не хватает славе моей. Я горела нетерпением вступить с вами в единоборство. Вы — единственное из моих увлечений, которое на миг приобрело надо мною власть. И все же, пожелай вы меня погубить, какие средства удалось бы вам пустить в ход? Пустые, не оставляющие никаких следов разговоры, которые именно благодаря вашей репутации вызвали бы подозрения, да ряд не слишком правдоподобных фактов, даже правдивый рассказ о которых показался бы плохо сотканным романом.

Правда, с тех пор я стала поверять вам все свои тайны, но вы знаете, какие интересы нас связывают, и меня ли из нас двоих можно обвинять в неосторожности?[27]

Раз уж я даю вам отчет, то хочу, чтобы он был точным. Я так и слышу, как вы говорите мне, что уж, во всяком случае, я завишу от своей горничной. И правда, если она не посвящена в тайну моих чувств, то поступки мои ей хорошо известны. Когда в свое время вы мне это говорили, я вам только ответила, что уверена в ней. Доказательством, что этот мой ответ вас тогда вполне

---

[27] Примечания: 27

Ниже, из письма 152, читатель узнает если не самую тайну господина де Вальмона, то какого рода она приблизительно была, и согласится с нами, что не было никакой возможности внести в это больше ясности.

успокоил, служит то, что с тех пор вы не раз доверяли ей свои собственные и довольно опасные тайны. Теперь же, когда Преван внушает вам подозрения и у вас от этого голова идет кругом, я думаю, что вы не поверите мне на слово. Итак, надо вам все объяснить.

Прежде всего девушка эта — моя молочная сестра, а эта связь, которой мы не признаём, имеет известное значение для людей ее звания. Вдобавок я владею ее тайной, и даже больше того: став жертвой любовного увлечения, она погибла бы, если бы я ее не спасла. Ее родители со своим высоким понятием о чести кипели гневом и хотели ни более ни менее, как заточить ее. Они обратились ко мне. Я в один миг сообразила, какую выгоду могу извлечь из их ярости. Я поддержала их, исходатайствовала приказ об аресте и получила его. Затем я внезапно перешла на сторону милосердия, склонила к нему родителей и, пользуясь своим влиянием на старого министра, убедила их всех вручить этот приказ мне на хранение, дав мне право оставить его без последствий или же потребовать его исполнения, в зависимости от того, как я стану в будущем судить о поведении девушки. Она, следовательно, знает, что участь ее в моих руках, и если бы — что

совершенно невероятно — даже столь мощное средство не удержало бы девушку, не очевидно ли, что огласка ее поведения и наказание, которое она непременно понесла бы, вскоре лишило бы ее разговоры обо мне всякого доверия?

К этим предосторожностям, которые я считаю основными, можно присовокупить великое множество других, местного или случайного характера, которые мне по мере надобности подсказывают сообразительность и привычка. Подробно излагать их вам было бы слишком кропотливо, но уметь пользоваться ими очень важно, и если вам так хочется знать, в чем они заключаются, вы уже не поленитесь извлечь их из моего поведения в целом.

Но как вы могли решить, что я, приложив столько стараний, допущу, чтобы они остались бесплодными; что, тяжкими усилиями высоко поднявшись над другими женщинами, я соглашусь, подобно им, пресмыкаться, то делая глупости, то излишне робея; что — это самое главное — я способна буду настолько испугаться какого-нибудь мужчины, чтобы видеть единственное свое спасение в бегстве? Нет, виконт, никогда! Или победить, или погибнуть! Что же касается Превана, то я хочу, чтобы он оказался в

моих руках, и он в них попадет. Он хочет сказать то же самое обо мне, но не скажет: вот, в двух словах, наш роман. Прощайте.

Из ***, 20 сентября 17…

Письмо 82

От Сесили Воланж к кавалеру Дансени

Боже мой, до чего огорчило меня ваше письмо! Стоило с таким нетерпением его ждать! Я надеялась найти в нем хоть какое-нибудь утешение, а теперь мне еще тяжелее, чем до него. Читая его, я горько заплакала. Но не за это я вас упрекаю: я уж и раньше, бывало, плакала из-за вас, но это не было для меня мукой. Сейчас, однако, дело совсем другое.

Что вы хотите сказать, когда пишете, что любовь становится для вас пыткой, что вы больше не можете так жить и переносить такое положение? Неужели вы перестанете любить меня потому, что это стало не так приятно, как прежде? Кажется, я не счастливее вас, даже напротив того, и, однако, я люблю вас еще больше. Если господин де Вальмон вам не написал, так это не моя вина. Я не могла его попросить, потому что мне не довелось быть с ним наедине, а мы

условились, что никогда не будем говорить друг с другом при посторонних. И это ведь тоже ради нас с вами, чтобы он поскорее смог устроить то, чего вы хотите. Я не говорю, что сама не хотела бы того же, и вы должны этому поверить; но что я могу поделать? Если вы думаете, что это так легко, придумайте способ, я только этого и хочу.

Как, по-вашему, приятно мне, что мама каждый день бранит меня, — мама, которая мне прежде ни одного худого слова не говорила — совсем напротив. А сейчас мне хуже, чем в монастыре. Я все-таки утешалась тем, что все это — ради вас. Бывали даже минуты, когда мне от этого было радостно. Но когда я вижу, что вы тоже сердитесь, и уж совсем ни за что ни про что, я огорчаюсь из-за этого больше, чем из-за всего, что перенесла до сих пор.

Затруднительно даже получать ваши письма. Если бы господин Вальмон не был такой любезный и изобретательный, я бы просто не знала, что делать. А писать вам — еще того труднее. По утрам я не осмеливаюсь этого делать, так как мама всегда поблизости и то и дело заходит ко мне в комнату. Иногда удается в середине дня, когда я ухожу под предлогом, что хочу попеть или поиграть на арфе. И то приходится все время

прерывать писание, чтобы слышно было, что я упражняюсь. К счастью, моя горничная иногда по вечерам рано ложится спать, и я ей говорю, что отлично улягусь без ее помощи, чтобы она ушла и оставила мне свет. А тогда надо забираться за занавеску, чтобы не видели огня, и прислушиваться к малейшему шуму, чтобы все спрятать в постель, если придут. Хотела бы я, чтобы вы все это видели! Вы бы поняли, что нужно уж очень крепко любить, чтобы все это делать. Словом, святая правда, что я делаю все возможное и хотела бы иметь возможность делать еще больше.

Конечно же, я не отказываюсь говорить вам, что люблю вас и всегда буду любить. Никогда я не говорила этого чистосердечнее, а вы сердитесь! А ведь вы уверяли меня до того, как я это сказала, что этих слов вам было бы достаточно для счастья. Вы не можете отрицать: так написано в ваших письмах. Хоть их у меня сейчас и нет, но я помню их так, словно перечитываю каждый день. А вы из-за того, что мы в разлуке, стали думать иначе! Но, может быть, разлука наша — не навсегда? Боже, как я несчастна, и причина тому — вы!..

Кстати, о ваших письмах: надеюсь, вы сохранили те, которые мама забрала у меня и переслала вам; наступит же день, когда я не буду так стес-

нена, как сейчас, и вы мне все их вернете. Как я буду счастлива, когда смогу хранить их всегда и никто не сможет найти в этом ничего дурного! Новые ваши письма я возвращаю господину де Вальмону, иначе можно попасть в беду; несмотря на это, всякий раз, как я их ему отдаю, мне ужасно больно.

Прощайте, мой дорогой друг. Я люблю вас всем сердцем. Надеюсь, что теперь вы уже не сердитесь, и будь я в этом уверена, то и сама бы не грустила. Напишите мне как можно скорее, ибо я чувствую, что до тех пор не перестану грустить.

Из замка ***, 21 сентября 17….

Письмо 83

От виконта де Вальмона к президентше де Турвель

Молю вас, сударыня, возобновим наш так давно прерванный разговор! Пусть же дано мне будет окончательно доказать вам, насколько отличаюсь я от того гнусного портрета, который вам с меня написали, а главное, пусть дано мне будет и дальше пользоваться милым доверием, которое вы начали мне оказывать! Какое очарование умеете вы придавать добродетели! Какими пре-

красными представляете вы все благородные чувства и как заставляете их любить! Ах, в этом ваше главное очарование. Оно сильнее всех других. Только оно и властно покоряет, и в то же время внушает почтение.

Разумеется, достаточно увидеть вас, чтобы захотеть вам понравиться, достаточно услышать вас в обществе, чтобы желание это усилилось. Но тот, кому выпало счастье узнать вас ближе, кто хоть изредка может заглянуть вам в душу, отдается вскоре более благородному пылу и, проникнувшись не только любовью, но и благоговением, поклоняется в вашем лице образу всех добродетелей. Может быть, более, чем кто другой, был я создан, чтобы любить их и следовать за ними, хотя некоторые заблуждения и отдалили меня от них. Вы снова приблизили меня к ним, вы снова заставили меня ощутить их прелесть. Неужто сочтете вы преступной эту вновь обретенную любовь? Осудите ли дело своих же рук? Упрекнете ли себя за участие, которое могли к нему проявить? Какого зла можно опасаться от столь чистого чувства и неужто не сладостно его вкусить?

Любовь моя вас пугает? Вы считаете ее бурной, неистовой? Укротите ее более нежной любо-

вью. Не отказывайтесь от власти, которую я вам предлагаю, которой обязуюсь вечно покорять-ся и которая — смею в это верить — отнюдь не несовместима с добродетелью. Какая жертва покажется мне слишком тягостной, если я буду уверен, что сердце ваше знает ей цену? Есть ли человек настолько несчастный, чтобы не суметь наслаждаться лишениями, которым он сам себя подверг, и чтобы не предпочесть одного слова, одного добровольно данного ему взгляда всем на-слаждениям, которые он мог бы взять силой или обманом? И вы подумали, что я такой человек! И вы меня опасались! Ах, почему не зависит от меня ваше счастье? Как отомстил бы я вам, сделав вас счастливой! Но бесплодная дружба не дарит этой власти: ею мы обязаны одной только любви.

Это слово пугает вас? Но почему? Более нежная привязанность, более тесный союз, единство мысли, общее счастье, как и общие страдания, — разве есть во всем этом что-либо чуждое вашей душе? А ведь именно такова любовь, во всяком случае, та, которую вы внушаете и которую я ощущаю. Но прежде всего она, бескорыстно взвешивая наши деяния, умеет судить о них по их истинному достоинству, а не по рыночной ценности. Она — неисчерпаемое сокровище чув-

ствительных душ, и все, содеянное ею или ради нее, становится драгоценным.

Что же страшного в этих истинах, которые так легко уразуметь и так сладостно осуществлять в жизни? И какие же опасения может вызвать у вас чувствительный человек, которому любовь не позволяет и представить себе иного счастья, кроме вашего? Ныне это единственное мое желание: чтобы оно исполнилось, я готов пожертвовать всем, исключая чувство, которым оно вызвано, а раздели вы это чувство — и вы станете руководить им по своему усмотрению. Но не допустим же, чтобы оно отдаляло нас друг от друга, когда ему надлежало бы нас соединять. Если предложенная вами дружба не пустое слово, если, как вы мне вчера говорили, это самое нежное из чувств, доступных вашей душе, пусть оно и будет основой нашего соглашения; я не отвергну его власти, но, будучи судьей любви, пусть оно согласится выслушать любовь: отказ здесь был бы несправедливостью, а дружбе несправедливость чужда.

Для второго нашего разговора встретится не больше препятствий, чем для первого; эту возможность нам мог бы предоставить случай, и вы сами могли бы назначить подходящее время. Я готов поверить, что не прав. Но неужто вы не

предпочтете вразумить меня вместо того, чтобы изгонять, и неужто вы сомневаетесь в моей покорности? Если бы не докучное появление третьего лица, я, возможно, уже вполне согласился бы с вами. Кто знает, как далеко может простираться ваша власть?

Признаюсь ли вам? Эта неодолимая власть, которой я предаюсь, не осмеливаясь ее измерить, это непобедимое очарование, которое сделало вас владычицей моих мыслей и поступков, — иногда я начинаю их бояться. Увы! Но мне ли опасаться беседы, о которой я вас прошу? Может быть, потом, связанный обещаниями, я обречен буду сгорать от любви, которая — я это чувствую — не сможет угаснуть, не дерзнув воззвать к вам о помощи! Ах, сударыня, будьте милосердны, не злоупотребляйте своей властью. Но что я говорю! Любые страдания мои, если вы от них станете счастливее и будете считать меня более достойным вас, облегчит эта утешительная мысль! Да, я чувствую, что поговорить с вами еще раз означает дать вам против меня еще более сильное оружие и еще полнее отдаться на вашу волю. Легче сопротивляться вашим письмам. Они, конечно, то же, что ваши речи, но тут нет вас самой, ибо ведь ваше присутствие и придает им настоящую силу.

Однако радость слышать ваш голос заставляет меня презирать эту опасность. У меня по крайней мере останется счастливое сознание, что я все для вас сделал, даже во вред себе, и жертвы, мною принесенные, будут выражением моего благоговения. Я был бы беспредельно счастлив доказать вам тысячью способов, — как я на тысячу ладов чувствую, — что вы являетесь и навеки останетесь, даже больше, чем я сам, существом, наиболее дорогим моему сердцу.

Из замка ***, 23 сентября 17…

Письмо 84

От виконта де Вальмона к Сесили Воланж

Вы видели, как нам вчера мешали. В течение всего дня я не мог передать вам письмо, которое для вас получил. Не знаю, будет ли это легче сделать сегодня. Боюсь подвести вас, проявив больше стараний, чем ловкости, и не прощу себе какой-либо неосторожности, которая станет для вас роковой и, сделав вас навеки несчастной, приведет в отчаяние моего друга. Мне, однако, хорошо известно, как нетерпелива любовь. Я понимаю, как должна быть тягостна в вашем положении малейшая отсрочка в получении

единственного доступного для вас теперь утешения. Непрестанно размышляя, какими способами можно было бы одолеть препятствия, я придумал один, который легко осуществим, если и вы приложите некоторые старания.

Насколько мне удалось заметить, ключ от вашей двери, выходящей в коридор, всегда находится на камине в комнате вашей матушки. Вы сами понимаете, что завладей мы этим ключом — и все сразу станет легко. Но за неимением этого я раздобуду для вас второй, точно такой же. Для этого мне достаточно будет получить в свое распоряжение на час-другой тот, первый, ключ. Вам, конечно, легко представится случай взять его, а чтобы не заметили его отсутствия, прилагаю другой, принадлежащий мне ключ, довольно похожий на тот; тогда разницы не заметят, если, конечно, не станут его пробовать, чего, однако, не случится. Нужно только, чтобы вы привязали к нему голубую ленточку, продернув ее таким же образом, как она продернута на вашем.

Надо постараться добыть этот ключ завтра или послезавтра к моменту, когда сядут за утренний завтрак. Тогда вам будет легче передать мне его, и он сможет быть положен на место уже к вечеру, то есть ко времени, когда ваша матушка,

возможно, могла бы обратить на него больше внимания, чем обычно. Я мог бы вернуть его вам перед самым обедом, если мы хорошо обо всем договоримся.

Вы знаете, что, когда мы направляемся из гостиной в столовую, позади всех идет госпожа де Розмонд. Она будет идти под руку со мной.

Вам надо будет только помешкать за своими пяльцами или же обронить что-нибудь, чтобы задержаться: тогда вы сможете взять ключ, который я буду держать в руке, заложенной за спину. Только не забудьте тотчас же после того, как возьмете ключ, подойти к моей тетушке и как-нибудь приласкаться к ней. Если вы случайно оброните ключ, не теряйтесь: я сделаю вид, что обронил его я, и отвечаю за все.

Вообще же эту маленькую хитрость вполне оправдывает недоверие вашей матушки к вам и ее суровое обращение с вами. К тому же это единственный способ получать и впредь письма Дансени и передавать ему ваши. Всякие другие способы были бы действительно крайне опасны и могли бы безвозвратно погубить вас обоих. Осторожность и дружеские чувства к вам не дозволяют мне пользоваться ими в дальнейшем.

Раз уж мы будем иметь ключ, нам останется

лишь принять кое-какие меры против скрипа двери и ключа в замке, но это дело простое. Под тем же шкафом, куда я прятал для вас бумагу, вы найдете склянку с маслом и перо. Иногда вы заходите к себе в комнату в такие часы, когда бываете там совсем одна; надо воспользоваться этим и смазать замок и дверные петли. Только позаботьтесь о том, чтобы не наделать пятен, которые могут вас выдать. Следует также подождать наступления ночи, ибо если все будет сделано с должной осмотрительностью, на которую вы вполне способны, утром уже никто ничего не заметит.

Если же все это будет замечено, говорите не колеблясь, что сделал это полотер замка. В этом случае надо будет точно указать время и даже передать ваш с ним разговор — например, сказать, что он хотел предохранить от ржавчины замки, которыми не пользуются. Вы сами понимаете, что было бы неправдоподобно, если бы все это делалось в вашем присутствии, а вы бы не спросили, в чем дело. Ведь как раз мелкие подробности способствуют правдоподобию, а правдоподобие охраняет ложь от неприятных последствий, так как не вызывает никакой потребности что-либо проверять.

После того как вы прочтете это письмо, прошу вас перечитать его и даже обдумать. Прежде всего надо основательно знать то, что собираешься основательно сделать, а затем для того, чтобы убедиться, что я ничего не упустил. Непривычный хитрить в своих личных интересах, я не имею в таких делах большого опыта. И нужны были по меньшей мере моя горячая дружба к Дансени и сочувствие, которое вы мне внушаете, чтобы я решился пользоваться подобными средствами, сколь бы невинными они ни были. Мне ненавистно все, что напоминает обман, такой уж у меня характер… Но несчастья ваши до того растрогали меня, что я все сделаю для того, чтобы их облегчить.

Вы хорошо понимаете, что раз уж между нами установится возможность постоянного общения, мне гораздо легче будет устроить вам с Дансени свидание, которого он так добивается. Однако пока вы ему обо всем этом не сообщайте. Он только станет нетерпеливее, а между тем возможность удовлетворить его нетерпение все же еще не наступила. По-моему, вы должны не раздражать его, а успокаивать. Полагаюсь в этом отношении на вашу душевную тонкость. Прощайте, моя прелестная подопечная, ибо я теперь как бы ваш

опекун. Полюбите хоть немного своего опекуна, а главное, будьте ему послушны — и вы от этого лишь выиграете. Я забочусь о вашем счастье и, верьте мне, найду в этих заботах и свое.

Из ***, 24 сентября 17…

Письмо 85

От маркизы де Мертей к виконту де Вальмону

Наконец-то вы успокоитесь, а главное — отдадите мне должное. Слушайте же и не смешивайте меня с другими женщинами. Я довела до конца свое приключение с Преваном. До конца! — понимаете ли вы, что это значит? Теперь вы сможете рассудить, кто же из нас — он или я — имеет право хвалиться. Рассказ об этом будет не так забавен, как сама история. Но было бы даже несправедливо, если бы вы, только рассуждавший — удачно или неудачно — обо всем этом, получили такое же удовольствие, как я, отдавшая этому делу столько времени и стараний.

Впрочем, если вы задумали какое-нибудь большое предприятие, если вы намереваетесь осуществить какой-нибудь замысел, при котором вы имели бы основание опасаться этого соперника, приезжайте. Он оставил вам открытым поле

битвы, во всяком случае, на некоторое время. А может быть, он и никогда не оправится от удара, который я ему нанесла.

Как повезло вам, что вы имеете такого друга, как я! Я для вас добрая фея. Вы томитесь вдали от прельстившей вас красавицы — я произношу одно слово, и вот вы уже подле нее. Вы хотите отомстить женщине, которая вам вредит, — я указываю, куда нанести удар, и отдаю ее в полную вашу власть. Наконец, когда вам нужно удалить с ристалища опасного соперника, вы взываете ко мне же, и я снисхожу. Право же, если вы не благодарите меня всю свою жизнь, значит, вам чужда признательность. Но возвращаюсь к своему приключению и расскажу о нем с самого начала.

Свидание, назначенное так громко при выходе из Оперы[28], было принято. Преван явился, и когда маршальша любезно сказала ему, что она очень рада видеть его два раза подряд в свои приемные дни, он не преминул ответить, что со вторника он только и делал, что перетасовывал часы своих визитов, чтобы освободить себе сегодняшний вечер. Имеющий уши да слышит! Так как мне хотелось с полной точностью знать, явля-

---

[28] Примечания: 28
См. письмо 74.

юсь ли именно я объектом этого лестного усердия, я решила заставить нового воздыхателя сделать выбор между мною и его главной страстью и заявила, что не стану играть. И действительно, он, со своей стороны, нашел тысячи предлогов, чтобы тоже не играть, и, таким образом, первая победа одержана была мною над ландскнехтом*.

Для разговора я завладела епископом ***ским. Выбор мой остановился на нем из-за близости его с героем дня, которому я всячески старалась облегчить возможность подойти ко мне. Мне также очень удобно было иметь уважаемого всеми свидетеля, который в случае необходимости мог бы дать показания о моем поведении и речах. Все устроилось отлично.

После первых неопределенных и обычных фраз Преван вскоре завладел разговором и стал придавать ему то один, то другой тон, ища того, который бы мне понравился. Я отказалась от чувствительного тона, заявив, что не верю в чувства, и серьезностью своей сдержала его веселость, показавшуюся мне для начала слишком легкомысленной. Тогда он ударился в заботливо-дружеский тон, и под этим затрепанным знаменем начали мы вести атаку друг против друга.

Ужинать епископ не пошел. Руку мне, следовательно, предложил Преван, который, естественно, очутился и за столом рядом со мной. Надо отдать ему справедливость, он с большим искусством поддерживал наш с ним частный разговор, делая в то же время вид, будто занят лишь общей беседой и вдобавок принимает в ней главное участие. За десертом зашла речь о новой пьесе, которую должны были давать в ближайший понедельник во Французском театре. Я высказала некоторое сожаление, что у меня там нет ложи. Он предложил мне свою, от чего я, как принято, сперва отказалась. На это он довольно забавно ответил, что я его не поняла, что он не пожертвовал бы своей ложей лицу малознакомому, а только хотел предупредить меня, что ею будет располагать маршальша. Она благосклонно приняла эту шутку, и я согласилась.

Когда все снова поднялись в гостиную, он, как вы сами понимаете, попросил и для себя место в ложе. Маршальша, которая всегда очень добра к нему, обещала допустить его, если он будет умником. Он ухватился за эти слова и завел одну из тех двусмысленных бесед, за блестящую способность к которым вы его так хвалили. Действительно, примостившись у ее колен, как послушный маль-

чик, по его собственному выражению — для того, чтобы спрашивать у нее советов и умолять о наставлениях, — он наговорил кучу лестных вещей, не лишенных и нежности; мне нетрудно было принять их на свой счет. Так как после ужина кое-кто перестал участвовать в игре, разговор стал более общим и менее для нас интересным. Зато глаза наши говорили весьма красноречиво. Я говорю — наши глаза, но должна была бы сказать — его, ибо мои выражали только одно — удивление. По-видимому, он думал, что я удивлялась ему и поглощена была исключительно произведенным им на меня необычайным впечатлением. Кажется, он остался вполне удовлетворен. Я была не менее довольна.

В следующий понедельник я, как и было условлено, отправилась во Французский театр. Хотя вы и увлекаетесь литературой, я ничего не могу сказать вам о представлении, кроме того, что у Превана необычайное искусство улещивать и что пьеса провалилась. Вот все, что я узнала в театре. Мне жаль было, что этот вечер, который мне так понравился, идет к концу, и, чтобы продолжить его, предложила маршальше поужинать у меня, что дало мне возможность предложить то же самое любезному льстецу, который попросил

только дать ему время съездить к графине де П***[29] и освободиться от обещания быть у них. Когда он произнес это имя, меня вновь охватил гнев. Я сразу сообразила, что он начнет свои признания, но припомнила ваши мудрые советы и дала себе слово… продолжать приключение в полной уверенности, что излечу его от этой опасной нескромности.

В собравшемся у меня обществе, в этот вечер немногочисленном, он был чужим и должен был оказывать мне обычные знаки внимания. Поэтому, когда пошли ужинать, он предложил мне руку. Принимая ее, я имела коварство постараться, чтобы моя рука слегка дрогнула, и идти рядом с ним, опустив глаза и глубоко вздыхая. Я напустила на себя такой вид, будто предчувствую свое поражение и опасаюсь победителя. Он это отлично заметил, предатель, и тотчас же изменил тон и манеру себя держать. Он был любезным, а теперь стал нежным. Не в том дело, что речи наши сколько-нибудь заметно изменились — в данных обстоятельствах это было бы невозможно, — но взгляд его, сделавшись менее живым, стал более ласкающим, голос приобрел

---

[29] Примечания: 29
См. письмо 70.

мягкость, улыбка из проницательной превратилась в удовлетворенную. Наконец, и в речах его огонь насмешки, остроумие уступили место чувствительности. Скажите мне, можно ли было действовать лучше?

Я со своей стороны впала в задумчивость, и притом настолько, что окружающие это заметили. Когда же меня в этом упрекнули, я имела ловкость защищаться довольно неловко и бросить на Превана взгляд быстрый, но робкий и растерянный — так, чтобы он подумал, что боюсь я только одного: как бы он не разгадал причину моего смущения.

После ужина, воспользовавшись тем, что добрая маршальша начала рассказывать одну из своих вечных историй, я раскинулась на оттоманке в небрежной позе, свойственной нежной мечтательности. Я ничего не имела против того, чтобы Преван увидел меня в таком положении, и он действительно удостоил меня особым вниманием. Вы сами понимаете, что робкие мои взоры не осмеливались встречаться с глазами моего победителя. Но когда я обратила их к нему более смиренным образом, они вскоре открыли мне, что я добилась впечатления, которое хотела произвести. Оставалось еще убедить его, что и я

разделяю это впечатление.

Поэтому, когда маршальша объявила, что собирается уезжать, я воскликнула мягким и нежным голоском: «Ах, боже мой, мне было здесь так хорошо!» Все же я встала, но, прежде чем расстаться с ней, спросила о ее планах на ближайшие дни, чтобы иметь предлог поговорить о моих и оповестить кого следует, что послезавтра буду находиться дома. На этом все разошлись.

Тут я принялась размышлять. Я не сомневалась в том, что Преван обязательно воспользуется свиданием, которое я ему вроде как бы назначила, что он явится достаточно рано, чтобы застать меня одну, и что нападение будет энергичным. Но я была также уверена, что благодаря моей репутации он не будет вести себя с тем легкомыслием, которое человек мало-мальски воспитанный позволяет себе лишь с искательницами приключений и женщинами совершенно неопытными, и успех казался мне обеспеченным, если он произнесет слово «любовь» и в особенности если он станет добиваться, чтобы его произнесла я.

Как удобно иметь дело с вами, людьми, у которых есть твердо выработанные правила поведения! Порой какой-нибудь сумасбродный поклонник то смутит своей робостью, то приве-

дет в замешательство своим бурным пылом — это ведь своего рода лихорадка с ознобом, жаром, имеющая иногда и другие симптомы. Но ваши размеренные шаги так легко угадать! Появление, манеру держаться, тон, разговоры — я все знала еще накануне. Поэтому не стану передавать вам нашей беседы — вы ее легко воссоздадите. Отметьте только, что, изображая сопротивление, я помогала ему изо всех сил: терялась, чтобы он мог разговориться, приводила жалкие доводы, чтобы их было легко опровергнуть, проявляла страх и подозрительность, чтобы слышать беспрестанные заверения. А неизменный его припев: «Я прошу у вас только одного слова», и мое молчание, которое как будто заставляло его выжидать лишь для того, чтобы он сильнее ощутил желание, и в продолжение всего этого — рука моя, которую он сто раз хватает и которую я столько же раз вырываю, не отказывая в ней по-настоящему… Так можно провести целый день. Мы провели один смертельно скучный час и, может быть, еще и теперь занимались бы тем же самым, если бы не услышали, как ко мне во двор въезжает карета. Эта своевременная помеха, естественно, сделала его настойчивее, я же, видя, что наступает момент, когда меня уже нельзя

будет поймать врасплох, глубоко вздохнула в качестве подготовки, а затем обронила драгоценное слово. Пришли доложить о гостях, и вскоре у меня собрался довольно многочисленный круг знакомых.

Преван попросил разрешения прийти завтра утром, и я дала согласие, но, позаботившись о защите, велела горничной в продолжение всего его визита оставаться в моей спальне, откуда, как вы знаете, видно все, что происходит в туалетной, а приняла я его именно там. Имея возможность вполне свободно говорить и охваченные оба одним и тем же желанием, мы скоро пришли к полному согласию, но надо было избавиться от докучливой свидетельницы, и тут-то я его и подстерегла.

Нарисовав ему на свой лад картину моей домашней жизни, я без труда убедила его, что мы никогда не найдем свободной минутки и что та, которой мы воспользовались вчера, была настоящим чудом, да и тогда мне, в сущности, нельзя было подвергаться такой опасности — ведь ко мне в гостиную в любой миг кто-нибудь мог войти. Не преминула я и добавить, что все эти порядки установились оттого, что до последнего времени они мне нисколько не мешали, и наста-

ивала на полной невозможности изменить их, не скомпрометировав себя в глазах моих слуг. Он попробовал напустить на себя скорбный вид, сердиться, говорить мне, что я мало его люблю, и вы сами понимаете, как меня это все ужасно трогало. Но тут, желая нанести решительный удар, я призвала на помощь слезы. Ну, в точности — «Вы плачете, Заира?»* Власть надо мной, которой он в своем воображении обладал, и надежда, пользуясь этой властью, погубить меня в любой миг, заменили ему всю любовь Оросмана*.

Разыграв эту сцену, мы вернулись к вопросу, как же нам быть. Так как днем мы располагать не могли, то обратились к ночи. Но тут непреодолимым препятствием оказался мой швейцар, а попытаться подкупить его я не разрешала. Он предложил воспользоваться калиткой моего сада, но, предвидя это, я придумала собаку, которая днем вела себя спокойно и не лаяла, зато ночью превращалась в настоящего демона. Я входила во все эти подробности так охотно, что он совсем осмелел и предложил мне самый нелепый из способов. На него-то я и согласилась.

Прежде всего он заявил, что на слугу его можно положиться, как на него самого. Тут он говорил правду — один другого стоит. Я собираю гостей на

званый ужин, он на нем присутствует и устраивается так, чтобы уйти в одиночестве. Находчивый и верный слуга позовет карету, откроет дверцу, а он, Преван, вместо того чтобы войти в карету, ловко улизнет. Кучер не имел бы никакой возможности заметить это. Таким образом, для всех он удалился бы от меня, на самом же деле остался бы, и теперь надо было только решить, как ему пробраться в мою спальню. Признаюсь, что сперва я затруднялась, как мне выдвинуть против этого плана доводы достаточно нелепые, чтобы он не сомневался, что успешно опроверг их. Он возражал, приводя примеры. Послушать его, так это было самое обычное средство: и сам он им часто пользовался, даже чаще всего как наименее опасным!

Покоренная его неопровержимыми доводами, я чистосердечно призналась, что у меня в доме очень близко от моего будуара есть потайная лестница; я могу оставить в дверях будуара ключ, а ему легко будет запереться там и ждать, не подвергая себя особому риску, пока мои горничные уйдут спать. Затем, чтобы мое согласие показалось более правдоподобным, я через минуту пошла на попятный и вновь согласилась лишь под условием полнейшей покорности с его сто-

роны, благоразумия… Ах, такого благоразумия! Словом, доказать ему свою любовь я соглашалась, но так, чтобы не удовлетворить его любви.

Забыла сказать вам, что уйти от меня он должен был через садовую калитку. Надо было лишь дождаться рассвета: тогда цербер и не пикнет. В этот час никто не входит и не выходит, люди мои спят мертвым сном. Если вас удивит эта куча бессмыслиц, то вспомните о наших с ним настоящих взаимоотношениях. Зачем нам было рассуждать умнее? Он только и хотел, чтобы все об этом узнали, я же была уверена, что никто ничего не узнает. Свидание назначено было через день.

Заметьте, что дело наше уже совсем налажено, а между тем никто не видел Превана в моем обществе. Я встречаюсь с ним за ужином у одной из своих приятельниц, он предлагает ей воспользоваться его ложей на представлении новой пьесы, а я принимаю ее приглашение в эту ложу. Затем я со своей стороны приглашаю ее отужинать у меня, приглашаю во время спектакля и в присутствии Превана, так что даже как будто нельзя не пригласить и его. Он принимает мое приглашение, а затем через два дня наносит мне, как принято в обществе, визит. Правда, он приехал ко мне и на следующее утро. Но, во-первых, утрен-

ние визиты не считаются, а во-вторых, лишь от меня зависит счесть это излишней вольностью, и действительно я причисляю Превана к кругу лиц, не слишком со мной близких, ибо посылаю ему письменное приглашение на званый ужин. Я могу сказать, как Аннетта: «Вот, однако, и всё!»*

Наступил роковой день, день, когда мне предстояло потерять свою добродетель и репутацию. Я дала все указания своей верной Виктуар, и, как вы сейчас увидите, она их выполнила.

Настал вечер. У меня собралось уже много народа, когда доложили о Преване. Я приняла его с подчеркнутой учтивостью, явно свидетельствующей, как мало мы с ним связаны, и усадила за игру вместе с маршальшей, как той, через кого я с ним познакомилась. В течение вечера не произошло ничего особенного, кроме разве того, что осторожный поклонник изловчился передать мне записку, которую я по своей привычке сожгла. В ней говорилось, что я могу на него рассчитывать, и это существенное сообщение было окружено ничего не значащими словами насчет любви, счастья и т. п.; слова эти в подобных торжественных случаях никогда не заставляют себя ждать.

В полночь, когда игра за всеми столами кон-

чилась, я предложила коротенький маседуан[30]. При этом у меня была двойная цель: дать возможность Превану ускользнуть и сделать так, чтобы это было замечено, что обязательно должно было случиться, принимая во внимание его репутацию игрока. Меня также очень устраивало, чтобы все могли в случае необходимости припомнить, что я отнюдь не торопилась остаться одна.

Игра затянулась дольше, чем я рассчитывала. Бес искушал меня, и я едва не поддалась желанию поскорее утешить нетерпеливого пленника. И я уже шла навстречу гибели, как вдруг меня осенило, что, раз отдавшись ему, я уже настолько потеряю над ним власть, что не смогу принудить его оставаться все время одетым по всем правилам приличия, а для моих планов это было совершенно необходимо. Я уже было поднялась, но тут не без раздражения снова заняла свое место за этой нескончаемой игрой. Однако вот она и кончилась, и все разошлись. Я позвонила своим служанкам, поскорее разделась и быстро отослала их.

---

[30] Примечания: 30

Возможно, кое-кто и не знает, что маседуаном называется соединение нескольких азартных игр, в которых каждый, кому приходит черед сдавать карты, выбирает ту игру, какая ему по вкусу. Это одно из изобретений нашего века.

Представляете вы себе, виконт, меня в легком ночном туалете, идущей робкими, осторожными шагами открыть дрожащей рукой дверь своему победителю? Он увидел меня — удар молнии не бывает стремительнее! Что вам сказать? Я была побеждена, совсем побеждена, не успела и слова сказать, чтобы остановить его и защититься. Затем он пожелал устроиться более удобным и подходящим к случаю образом. Он проклинал свое одеяние, которое, как он уверял, отдаляло его от меня. Он хотел сразиться со мною равным оружием, но моя крайняя робость воспротивилась этому, а нежные мои ласки не дали ему времени. Он занялся другим.

Теперь права его удвоились и притязания тоже возобновились. Но тут я произнесла: «Послушайте-ка, что я вам скажу: до сих пор вы могли бы рассказать обеим графиням де П*** и еще многим другим очень занятную историю. Но мне любопытно знать, как вы станете рассказывать конец приключения?» И с этими словами я принялась изо всех сил звонить. Теперь настала моя очередь, и действия мои были быстрее его слов. Он еще только бормотал что-то, когда я услышала, как ко мне бежит Виктуар, громко скликая слуг, которых она собрала у себя, как я ей велела. Тогда,

возвысив голос, я продолжала тоном королевы: «Выйдите вон, сударь, и никогда больше не показывайтесь мне на глаза!» Как раз в этот момент и вошла толпа моих слуг.

Бедняга Преван потерял голову и, сочтя западней то, что, в сущности, было не более чем шуткой, схватился за шпагу. Но сделал это на свою беду, ибо мой лакей, храбрый и сильный парень, охватил его поперек туловища и повалил. Тут я, признаюсь, смертельно перепугалась. Я закричала, чтобы ему не причиняли вреда, дали свободно уйти, но только убедились бы, что он ушел из дома. Слуги повиновались, но между ними поднялся ропот: они возмущены были, что кто-то осмелился покуситься на их добродетельную госпожу. Все, как я и хотела, пошли с шумом и угрозами выпроваживать злосчастного кавалера. Со мной осталась одна Виктуар, и мы поспешили привести в порядок мою постель. Слуги снова поднялись ко мне, продолжая шумно возмущаться, а я, все еще взволнованная, стала расспрашивать их, каким чудом оказалось, что они еще не спали, и Виктуар сообщила мне, что она пригласила к ужину двух приятельниц, они у нее засиделись, словом, все то, о чем мы с ней заранее условились. Я поблагодарила их всех и

велела им идти спать, послав, однако, одного из них привести немедленно врача. Я решила, что имею основание опасаться последствий своего смертельного испуга, и к тому же это был верный способ дать новости шумную и широкую огласку.

Врач явился, весьма посочувствовал мне и прописал отдых. Я же вдобавок велела Виктуар с самого раннего утра судачить о случившемся по соседству.

Все так превосходно удалось, что еще до полудня и как только у меня в доме начался день, моя набожная соседка уже сидела у моего изголовья, чтобы узнать всю правду об этом приключении и все его подробности. Битый час была я вынуждена сокрушаться вместе с нею об испорченности нашего века. Через минуту мне принесли записку от маршальши, которую я прилагаю к этому письму. Наконец, около пяти часов, к моему великому изумлению, появился М***[31]. По его словам, он приехал извиниться за то, что офицер, служащий под его начальством, осмелился так оскорбить меня. Он узнал об этом только на обеде у маршальши и тотчас же послал Превану при-

---

[31] Примечания: 31
Командир части, в которой служил господин де Преван.

казание находиться под арестом. Я стала просить о его помиловании, но мне было в этом отказано. Тогда я решила, что в качестве сообщницы сама должна наложить на себя наказание и хотя бы пребывать в строгом заключении. Я велела никого не принимать и всем говорить, что больна.

Этим длинным письмом вы как раз и обязаны моему одиночеству. Я напишу также госпоже де Воланж. Она, конечно, прочтет письмо мое вслух, и вы познакомитесь с этой историей в том виде, в каком ее следует рассказывать.

Забыла сказать вам, что Бельрош считает себя тоже оскорбленным и во что бы то ни стало хочет драться с Преваном. Бедняга! К счастью, у меня будет время успокоить его горячую голову. Пока же я дам отдых своей голове, уставшей от писания. Прощайте, виконт.

Из замка***, 25 сентября 17… вечером.

Письмо 86

От маршальши де*** к маркизе де Мертей (записка, вложенная в предыдущее письмо)

Боже мой, что я слышу, дорогая маркиза? Возможно ли, чтобы этот маленький Преван совершил подобные гнусности, да еще в отношении

вас? Чему только не приходится подвергаться! Даже у себя в доме нельзя чувствовать себя в безопасности. Поистине, такие происшествия могут примирить со старостью! Но с чем я никогда не примирюсь, так это с одним: я сама до некоторой степени явилась виновницей того, что вы стали принимать это чудовище. Обещаю вам, если все то, что о нем говорят, — правда, он не переступит больше порога моего дома. И так должны будут поступить с ним все порядочные люди, если они захотят поступать как должно.

Мне передавали, что вы очень плохо себя чувствуете, и я крайне обеспокоена состоянием вашего здоровья. Прошу вас, дайте о себе дорогую для меня весточку или пришлите кого-нибудь из ваших служанок, если сами вы не в состоянии будете написать…

Я прошу у вас только одного слова, чтобы мне быть спокойной.

Я бы сама приехала к вам нынче утром, если бы не мои ванны, которых врач не разрешает мне прерывать, и, кроме того, сегодня днем придется поехать в Версаль все по тому же делу моего племянника.

Прощайте, дорогая маркиза, верьте в мою вечную и искреннюю дружбу.

Париж, 25 сентября 17…

Письмо 87

От маркизы де Мертей к госпоже де Воланж

Пишу вам, лежа в постели, мой дорогой, добрый друг. Случилось крайне неприятное и совершенно непредвиденное происшествие, которое потрясло и опечалило меня так, что я заболела. Разумеется, себя мне упрекнуть не в чем, но женщине, привыкшей блюсти приличную своему полу скромность, всегда так неприятно привлекать к себе внимание общества, что я отдала бы все на свете за то, чтобы избежать этого злосчастного происшествия. Не знаю, может быть, в конце концов приму решение уехать в деревню и жить там, пока о нем позабудут. Вот что произошло.

Я познакомилась у маршальши де *** с неким господином де Преваном, о котором вы, наверно, слыхали, да и я знала его понаслышке. Но, встретив его в таком доме, я, кажется мне, имела основания считать его принадлежащим к хорошему обществу. Внешность у него довольно приятная, и он мне показался неглупым. Случайно, не желая участвовать в игре, я оказалась единственной женщиной между ним и епископом

***ским, в то время как все другие заняты были ландскнехтом. Мы беседовали втроем до ужина. За столом речь зашла об одной новой пьесе; он воспользовался этим и предложил маршальше свою ложу — она согласилась, и мы условились, что я тоже там буду. Представление назначено было на прошлый понедельник во Французском театре. Так как маршальша ужинала у меня после театра, я пригласила этого господина составить нам компанию, и он приехал. Через день он явился ко мне с визитом, во время которого велся обычный разговор и ничего примечательного не произошло. На следующий день он опять явился, притом утром, что показалось мне несколько вольным, но я сочла, что лучше будет, если я дам ему это понять не холодным приемом, а проявлю какую-нибудь официальную любезность и тем самым покажу, что мы еще не так близко знакомы, как ему кажется. С этой целью я в тот же день послала ему сухое и очень церемонное приглашение на ужин, который назначен был у меня на позавчера. За весь вечер я и четырех раз к нему не обратилась, он же, со своей стороны, удалился, как только закончилась игра, в которой он участвовал. Согласитесь, что все это ни в малейшей степени не похоже на завязку любов-

ного приключения. После окончания партий мы поиграли еще немного в маседуан, затянувшийся почти до двух часов, и, наконец, я легла.

После ухода моих служанок я еще с полчаса томилась без сна, как вдруг услышала в своей спальне шум. Перепуганная, я откинула занавеску кровати и увидела, как из дверей моего будуара появляется какой-то мужчина. Я пронзительно закричала и тут же, при свете ночника, увидела этого господина де Превана, который с невероятной наглостью сказал, чтобы я не тревожилась, что он сейчас объяснит мне свое загадочное появление и умоляет меня не поднимать шума. С этими словами он зажег свечу. Я была так поражена, что и слова не могла вымолвить. Но не успел он сказать и двух фраз, как я поняла, что представляет собой эта пресловутая загадка, и, как вы можете поверить, единственным моим ответом было схватиться за звонок.

На мое совершенно исключительное счастье, вся прислуга находилась в гостях у одной из моих горничных — никто еще не ложился. Моя горничная, подходя к двери, услышала, что я с кем-то очень запальчиво говорю, испугалась и позвала всех на помощь. Можете себе представить, какой получился скандал! Люди мои пришли в ярость.

Один лакей едва не убил Превана. Признаюсь, я тогда обрадовалась, что у меня оказалось много защитников. Но теперь, поразмыслив, я предпочла бы, чтобы пришла только одна горничная. Ее было бы вполне достаточно, и я, может быть, избежала бы огласки этого происшествия, мне до крайности неприятной.

Вместо этого шум разбудил соседей; люди мои стали повсюду болтать, и со вчерашнего дня весь Париж только об этом и судачит. Господин де Преван сидит под арестом по приказу командира своей части, который проявил такое внимание, что приехал ко мне принести, как он выразился, свои извинения. Арест этот вызовет еще больше толков, но я не могла добиться его отмены. Город и двор — все явились ко мне, но я никого не могла принять. Те немногие, кого я видела, говорили, что все мне отдают должное, а негодованию против Превана нет предела. Конечно, он его вполне заслужил, но история эта тем не менее весьма неприятна.

К тому же у этого человека, наверно, имеются друзья, а они, должно быть, злые люди; кто знает, кто может знать, чего только они не выдумают, чтобы мне повредить! Боже мой, какое несчастье быть молодой женщиной! Она еще ничего не

достигла, если сумела стать недосягаемой для злословия. Ей надо заставить молчать клеветников.

Пожалуйста, сообщите мне, как бы вы поступили на моем месте, что бы вы сделали, — словом, все, что вы об этом думаете. Ведь это от вас получала я всегда самые ласковые утешения, самые благоразумные советы, и именно от вас они мне особенно дороги.

Прощайте, дорогой, добрый друг. Вы знаете чувства, которые привязывают меня к вам навсегда. Целую вашу милую дочку.

Париж, 26 сентября 17…

Письмо 88

От Сесили Воланж к виконту де Вальмону

Несмотря на всю радость, которую доставляют мне, сударь, письма кавалера Дансени, и хотя я не менее, чем он, желала бы, чтобы мы с ним могли беспрепятственно увидеться, я не осмелилась сделать то, что вы мне предлагаете. Во-первых, это слишком опасно. Ключ, который вы хотите, чтобы я положила на место того, другого, правда, довольно похож на него, однако различие все же есть, а мама за всем следит, все замечает. К тому же, хотя с тех пор, как мы здесь находимся, им

еще не пользовались, может произойти какая-нибудь беда, а если заметят, что ключ подменен, я погибла навеки. А затем, мне все-таки кажется, что это было бы очень дурно — подделать таким образом ключ. Это уж слишком! Правда, вы так добры, что взяли бы это на себя, но тем не менее, если бы все раскрылось, виноватой оказалась бы я: ведь сделали бы вы это ради меня. Наконец, я уже два раза пыталась взять ключ; конечно, это было бы очень легко, если бы речь шла о чем-либо другом, но, не знаю почему, я всякий раз начинала дрожать, и у меня так и не хватило на это мужества. Мне поэтому думается, что лучше уж пусть все остается по-прежнему.

Если вы и впредь будете так же добры и любезны, как были до сих пор, у вас всегда найдется возможность передать мне письмо. Даже в том, что касается последнего письма, все обошлось бы очень удачно, если бы вы, на несчастье, не отвернулись в самый подходящий момент. Я отлично понимаю, что вы не можете, как я, думать только об этом, но я предпочитаю вооружиться терпением, чем так рисковать. Я убеждена, что господин Дансени сказал бы то же самое: ведь всякий раз, когда он хотел чего-нибудь, что мне было очень трудно, он всегда соглашался, чтобы

мы этого не делали.

Вместе с этим письмом, сударь, я передам вам ваше письмо, письмо от господина Дансени и ваш ключ. Это нисколько не уменьшает моей благодарности за вашу доброту, и я прошу вас не лишать меня ее и впредь. Ведь, право же, я очень несчастна, а без вас была бы еще несчастнее. Но в конце концов это ведь моя мать, и надо набраться терпения. Лишь бы только господин Дансени любил меня по-прежнему и вы не оставляли бы меня на произвол судьбы, и, может быть, еще наступят лучшие времена.

Остаюсь, сударь, покорнейше преданной вам…

Из ***, 26 сентября 17…

Письмо 89

От виконта де Вальмона к кавалеру Дансени

Если дела ваши подвигаются не всегда так быстро, как вам хотелось бы, друг мой, то не на меня одного следует вам пенять. Здесь мне приходится преодолевать немало препятствий. И дело не в одной бдительности и строгости госпожи де Воланж. Ваша юная подруга тоже чинит мне препятствия. То ли по холодности, то ли из робости, но она не всегда делает то, что я ей советую,

а между тем я, по-моему, уж наверно лучше ее знаю, что надо делать. Я нашел простой, удобный и верный способ передавать ей ваши письма и даже облегчить впоследствии желанные вам свидания. Однако я не смог убедить ее воспользоваться им. Мне это тем прискорбнее, что я не вижу иного способа сблизить вас с нею и даже постоянно опасаюсь, как бы и в деле с вашей перепиской мы не попались все трое. Вы, конечно, понимаете, что я не хочу и сам подвергнуться этой опасности, и вас обоих подвергнуть ей.

Я был бы, однако, крайне огорчен, если бы недостаток доверия со стороны вашей маленькой подруги помешал мне быть вам полезным. Может быть, вы хорошо сделали бы, если бы написали ей об этом. Подумайте, как вам поступить. Только вам одному и решать: ведь недостаточно служить друзьям, надо служить им на их лад. Это могло бы также дать вам возможность убедиться в ее чувствах к вам, ибо женщина, которая желает сохранить свою волю, любит не так сильно, как уверяет.

Не то чтобы я сомневался в постоянстве вашей возлюбленной. Но она еще очень юна и смертельно боится своей матушки, которая, как вы знаете, только и делает, что старается вам повредить. И,

может быть, было бы даже небезопасно слишком долго не занимать ее вашей особой. Пусть, однако, то, что я вам говорю, не внушает вам каких-то чрезмерных опасений. В сущности, у меня нет поводов к недоверию. Это лишь проявление моей дружеской заботливости.

Я кончаю свое письмо, так как у меня есть и кое-какие личные дела. Я не настолько продвинулся, как вы, но люблю так же сильно, и это меня утешает. А если бы я и не добился успеха для себя, но оказался бы полезен вам, то считал бы, что не потерял времени даром. Прощайте, друг мой.

Замок***, 26 сентября 17…

Письмо 90

От президентши де Турвель к виконту де Вальмону

Я очень хочу, сударь, чтобы это письмо вас не огорчило. Если же вы все же будете огорчены, то пусть вашу боль смягчит та, которую испытываю я, когда пишу. Теперь вы, наверно, знаете меня достаточно и можете быть вполне уверены, что у меня нет никакого желания причинить вам страдание. Но и вы, конечно, вы тоже не захотели бы погрузить меня в безысходное отчаяние. Во

имя нежной дружбы, которую я вам обещала, во имя даже тех, может быть, более горячих, но уж наверно не более искренних чувств, которые вы питаете ко мне, заклинаю вас: перестанем видеться. Уезжайте, а пока вы находитесь здесь, будем избегать этих опасных бесед наедине, когда на меня находит непонятное наваждение и, будучи не в состоянии высказать вам все, что хотела бы, я все время слушаю то, чего не должна была бы слушать. И вчера еще, когда вы подошли ко мне в парке, я хотела лишь одного — сказать вам то, что сейчас пишу. А что я делала? Слушала о вашей любви… вашей любви, на которую не должна отвечать! Ах, молю вас, оставьте меня.

Не бойтесь, что мое отсутствие изменит когда-либо мои чувства к вам: как могла бы я возобладать над ними, если у меня не хватает даже мужества бороться? Вы видите, я вам все говорю. Я меньше опасаюсь признаться в своей слабости, чем уступить ей; но, потеряв власть над своими чувствами, я сохраню ее над поступками. Да, я сохраню ее, таково мое твердое решение, сохраню, даже если бы для этого нужно было пожертвовать жизнью.

Увы! Недавно еще я была уверена, что мне не придется вести такую борьбу. Я радовалась

этому, я, может быть, даже слишком тешилась этой мыслью. Небо покарало, жестоко покарало эту гордыню. Но, полное милосердия, оно, даже поражая нас, предупреждает о бездне, в которую мы можем упасть. И я была бы вдвойне виновна, если бы продолжала упорствовать в неблагоразумии, хорошо зная, что сил у меня остается мало.

Сотни раз вы твердили мне, что не хотели бы счастья, купленного ценою моих слез. Ах, не будем уж говорить о счастье, дайте мне вновь обрести хоть немного покоя.

Разве, удовлетворив мою просьбу, вы не приобрели бы новых властных прав на мое сердце? И в этих правах, зиждущихся на добродетели, я не стала бы вам отказывать. Как бы радовалась я своей благодарности! Я обязана была бы вам наслаждением вкушать без угрызений совести сладостные чувства. Теперь же, напротив, я, напуганная своими чувствами, своими мыслями, в равной степени боюсь думать и о вас, и о самой себе. Одна только мысль о вас приводит меня в ужас. Когда я не могу бежать от нее, то вступаю с нею в борьбу. Я не отдаляю ее, а отталкиваю.

Не лучше ли для нас обоих покончить с этим смятением и тревогой? О, вы, чья душа, неизменно чувствительная, даже посреди заблуждений

осталась другом добродетели, — вы сжалитесь над моим горестным положением, вы не отвергнете моей мольбы. Чувство более мягкое, но не менее нежное сменит бурные волнения страсти. Тогда, свободно вздохнув благодаря вашей доброте, я буду радоваться существованию и с умиротворенным сердцем скажу: этим я обязана другу.

Неужто считали бы вы, что слишком дорого купили для меня освобождение от мук, если бы ради этого пошли на кое-какие лишения, которых я от вас не требую, но о которых прошу. Ах, если бы для того, чтобы дать вам счастье, я должна была бы согласиться лишь на то, чтобы стать несчастной, я не колебалась бы ни одного мгновения… Но стать преступной!.. Нет, друг мой, нет, тысячу раз лучше смерть.

Уже снедаемая стыдом, уже готовясь к раскаянию, я опасаюсь и других, и себя самой. Я краснею, находясь в обществе, и трепещу в одиночестве. Жизнь моя — сплошное мучение. И покой мне может вернуть только ваше согласие. Собственных моих решений, даже самых похвальных, уже недостаточно для того, чтобы меня успокоить. Уже вчера приняла я эти решения и тем не менее всю ночь провела в слезах.

Вы видите: ваш друг, та, кого вы любите, смущенная, молящая, просит вас дать ей покой и невинность. О боже! Если бы не вы, разве пришлось бы ей обращаться к кому-нибудь с этой унизительной просьбой! Я ни в чем вас не упрекаю. Мне самой слишком хорошо известно, как трудно противиться властному чувству. Жалоба ведь не ропот. Сделайте из великодушия то, что я делаю из чувства долга, — и ко всем чувствам, которые вы мне внушили, я добавлю еще вечную признательность. Прощайте, сударь, прощайте.

Письмо 91

От виконта де Вальмона к президентше де Турвель

Расстроенный вашим письмом, сударыня, я не знаю даже, как мне на него ответить. Конечно, если надо выбирать между вашим несчастьем и моим, я должен принести себя в жертву, и я готов сделать это без колебаний. Но дело это столь важное, что, мне кажется, оно заслуживает предварительного обсуждения и выяснения. А как это сделать, если нам нельзя будет ни говорить друг с другом, ни видеться?

Подумайте только. Нас связуют самые нежные

чувства, а между тем достаточно будет какого-то пустого страха, чтобы разлучить нас, и, может быть, навсегда! Тщетно нежная дружба, пламенная любовь станут заявлять свои права — голос их не будет услышан. А почему? Какая близкая опасность грозит вам? Ах, поверьте мне, подобные опасения, притом возникающие даже без всякого повода, сами по себе дают, на мой взгляд, достаточное основание для безопасности.

Позвольте мне сказать, что здесь я усматриваю признаки того неблагоприятного представления обо мне, которое вам внушили. Если уважают человека, то в его присутствии не дрожат, а главное — не гонят от себя того, кого сочли достойным дружеских чувств. Страшатся и избегают человека опасного.

А между тем был ли когда-нибудь человек более почтительный и покорный, чем я? Вы видите, я уже слежу за собой, я не разрешаю себе употреблять этих имен, столь нежных, столь дорогих моему сердцу, которыми оно не перестает называть вас про себя! Я уже не тот верный и несчастный обожатель, получающий советы и утешения от нежной и чувствительной подруги, я — обвиняемый, представший перед судьей, раб перед лицом господина. В этом новом положении

у меня появились, конечно, и новые обязанности, и я даю слово все их выполнять. Выслушайте, и, если вы осудите меня, я подчинюсь и уеду. Я обещаю и больше. Предпочитаете вы деспотизм, который обвиняет, не выслушивая? Чувствуете ли вы в себе мужество быть несправедливой? Прикажите, и я снова подчинюсь.

Но это решение или этот приказ я должен услышать из ваших уст. А почему? — спросите вы в свой черед. Ах, если вы зададите этот вопрос, значит, вы плохо знаете любовь и мое сердце! Разве увидеть вас еще хоть раз — это пустяк? Ах, когда вы внесете отчаяние в мою душу, может быть, ваш взгляд-утешитель не даст ей окончательно погибнуть. Наконец; если я должен отказаться от любви, от дружбы, для которых только и существую, вы по крайней мере увидите дело рук своих, и мне останется ваша жалость. Даже если я не заслужил этой незначительной милости, я все же могу на нее надеяться: ведь я готов заплатить за нее дорогой ценой.

Возможно ли? Вы удаляете меня от себя! Вы, стало быть, согласны на то, чтобы мы стали чужими друг другу? Да что я говорю? Конечно, вы этого хотите, и, уверяя меня, что мое отсутствие не изменит ваших чувств, вы торопите меня с

отъездом лишь для того, чтобы вам легче было их совсем уничтожить.

Вы уже говорите о замене их благодарностью. Значит, вы предлагаете мне то, что получил бы от вас любой посторонний человек за самую мелкую услугу, даже ваш враг за то, что он перестал бы вам вредить! И вы хотите, чтобы мое сердце удовлетворилось этим? Но загляните в свое собственное сердце. Если бы ваш возлюбленный или ваш друг пришли к вам когда-нибудь говорить о своей признательности, разве не сказали бы вы с возмущением: уйдите, неблагодарные!

Я умолкаю и молю вас о снисходительности. Простите за порыв скорби, вами же порожденной: она не умалит полной моей покорности вашей воле. Но я заклинаю вас, в свою очередь, во имя тех же сладостных чувств, к которым и вы взываете, не отказывайтесь выслушать меня и хотя бы из жалости к той смертельной тоске, в которую вы меня погрузили, не отдаляйте этого мгновения. Прощайте, сударыня.

Из***, 27 сентября 17… вечером.

Письмо 92

От кавалера Дансени к виконту де Вальмону

О друг мой, ужас оледенил меня, когда я прочел ваше письмо! Сесиль... Боже, возможно ли это? Сесиль больше не любит меня. Да, я вижу эту страшную правду сквозь покров, в который облекло ее ваше дружеское чувство. Вы хотели подготовить меня к этому смертельному удару; благодарю вас за заботу обо мне, но можно ли ввести в заблуждение любовь? Она спешит навстречу тому, что ее волнует, она не узнаёт о своей участи, она угадывает ее заранее. Теперь я уже не сомневаюсь в моей судьбе — говорите со мной без обиняков, вы можете это сделать, я вас об этом прошу. Сообщите мне все: и отчего у вас возникли подозрения, и что их укрепило. Для меня драгоценны и самые ничтожные подробности. Но в особенности постарайтесь запомнить ее слова. Заменив одно слово другим, можно изменить смысл целой фразы, а порой одно и то же слово имеет два смысла... Может быть, вы ошиблись: увы, я и теперь пытаюсь надеяться. Что именно она вам сказала? Упрекает она меня в чем-либо? Не отрицает она хотя бы и своей вины? Я должен был предвидеть эту перемену — ведь недаром она с некоторых пор во всем находит

затруднения. А для любви стольких препятствий не существует. На что же должен я решиться? Что вы мне посоветуете? Не попытаться ли увидеться с ней? Неужели это так невозможно? Разлука столь жестока, столь пагубна… А она отвергла возможность увидеть меня! Вы не сообщаете мне, что это была за возможность. Если действительно опасность была слишком велика, Сесиль знает, что я не хотел бы, чтобы она чрезмерно рисковала. Но я также знаю вашу осторожность и, к несчастью своему, не могу в ней сомневаться.

Что же мне теперь делать? Как ей написать? Если я дам ей понять, что у меня возникли подозрения, они, может быть, огорчат ее. А если они несправедливы, простит ли она мне обиду? Если же я скрою их от нее, это означает обман, а с ней я притворяться не умею.

Ах, если бы она могла знать, как я страдаю, мои муки тронули бы ее. Я знаю, как она чувствительна. У нее золотое сердце, и у меня тысячи доказательств ее любви. Она чрезмерно робка, легко теряется, но это оттого, что она так молода! А мать обращается с ней так сурово! Я напишу ей. Буду держать себя в руках и только попрошу ее во всем довериться вам. Даже если она снова откажет, то уж, во всяком случае, не сможет рас-

сердиться на мою просьбу, а может быть, она и согласится.

Что до вас, друг мой, то приношу вам тысячи извинений и за нее, и за себя самого. Уверяю вас, что она знает цену вашей заботливости и благодарна вам за нее. С ее стороны нет недоверия, только робость. Имейте к ней снисхождение — это ведь самое прекрасное свойство дружбы. Ваша дружба для меня бесценна, и я не знаю, как отблагодарить вас за все, что вы для меня делаете. Прощайте, сейчас я буду писать ей.

Ко мне возвращаются все мои опасения; кто бы мог сказать, что письмо к ней будет мне когда-нибудь стоить такого труда! Увы! Еще вчера это было для меня сладостью и счастьем.

Прощайте, друг мой. Не оставляйте меня и впредь своими заботами и имейте жалость к моей участи.

Париж, 27 сентября 17…

Письмо 93 От кавалера Дансени к Сесили Воланж (приложено к предыдущему)

Не могу скрыть от вас, как был я огорчен, узнав от Вальмона, что вы ему по-прежнему так мало доверяете. Вы же знаете, что он мой друг, что он единственный человек, который может сблизить нас друг с другом. Я полагал, что этого для вас

будет достаточно, но с грустью убеждаюсь, что ошибался. Могу я надеяться, что вы хотя бы известите меня о причине? Или, может быть, и тут вы найдете какие-нибудь препятствия, которые помешают вам это сделать? Однако без вашего содействия я не могу разрешить загадку вашего поведения. Я не осмеливаюсь заподозрить вашу любовь, и вы тоже, конечно, не решились бы обмануть мою. Ах, Сесиль…

Неужели вы и впрямь отказались от какой-то возможности увидеть меня. От какого-то способа, простого, удобного и верного[32]. Так-то вы меня любите. Наша столь еще краткая разлука весьма изменила ваши чувства. Но зачем обманывать меня? Зачем говорить, что вы любите меня по-прежнему, больше прежнего? Неужели ваша матушка, убив в вас любовь ко мне, уничтожила и ваше чистосердечие? Если она все же оставила в вас хоть немного жалости, вы не сможете без боли узнать об ужасных муках, которые мне причинили. Ах, даже смерть была бы для меня легче.

Скажите мне все же, безвозвратно ли закрыто для меня ваше сердце? Безнадежно ли я забыт?

---

[32] Примечания: 32

Дансени не знает, что это за способ, — он просто повторяет выражение Вальмона.

Из-за вашего отказа я даже не знаю, когда дойдут до вас мои жалобы и когда вы на них ответите. Дружеская помощь Вальмона обеспечивала нам переписку, но вы ее не захотели, вы нашли ее тягостной, вы предпочли, чтобы мы реже обменивались письмами. Нет, не могу я больше верить любви, искренности. Да и кому можно верить, если Сесиль меня обманула?

Ответьте же мне: правда ли, что вы меня больше не любите? Нет, это невозможно. Вы сами себя вводите в заблуждение, вы клевещете на собственное сердце. Был мимолетный страх, минута отчаяния, но любовь вскоре рассеяла их — ведь правда, моя Сесиль? Ах, это, без сомнения, так, и я не имею права обвинять вас. Как счастлив был бы я, если бы оказался не прав. Как сладостно было бы мне принести вам самые нежные извинения и искупить эту минутную несправедливость целой вечностью любви!

Сесиль, Сесиль, сжальтесь надо мной! Согласитесь повидаться со мной, согласитесь на любые для этого средства! Видите, до чего доводит разлука? Страхи, подозрения, может быть, охлаждение! Но один только взгляд, одно лишь слово, и мы будем счастливы. Но что я говорю? Может ли еще быть речь о счастье? Уж не потеряно ли оно для

меня, потеряно навсегда? Истерзанный страхом, мучительно разрываясь между напрасными подозрениями и еще более мучительной правдой, я не могу остановиться ни на одной мысли — живу лишь своим страданием и любовью к вам. Ах, Сесиль, от вас одной зависит сделать мне жизнь милой, и первое же слово, которое вы произнесете и которого я так жду, вернет мне счастье или же повергнет в вечное отчаяние.

Париж, 27 сентября 17…

Письмо 94

От Сесили Воланж к кавалеру Дансени

Кроме горя, которое причинило мне ваше письмо, я ничего в нем не поняла. Что такое сообщил вам господин де Вальмон и почему вы вообразили, будто я вас больше не люблю? Может быть, это было бы и лучше для меня, так как тогда бы я, наверно, меньше страдала. Очень ведь тяжело, когда я вас так крепко люблю, видеть, что вы всегда считаете меня неправой, и вместо утешения получать от вас только самые для меня мучительные страдания. Вы думаете, что я вас обманываю и говорю вам не то, что есть на самом деле! Хорошего же вы мнения обо мне! Но даже

если бы я и была лжива, в чем вы меня упрекаете, то с какой целью стала бы лгать? Уж наверно, если бы я вас больше не любила, мне стоило бы только сказать об этом, и все стали бы меня хвалить. Но, к несчастью, любовь сильнее меня, да вдобавок еще любовь к человеку, который мне за это нисколько не признателен!

Что же я сделала, чтобы так вас рассердить? Я не посмела взять ключ — я боялась, что мама это заметит и получится только новая беда и для меня и для вас из-за меня, и еще потому, что мне это казалось очень уж дурным. Но ведь об этом говорил со мной только господин де Вальмон. Я не могла знать, хотите вы этого или нет, раз вам ничего об этом не было известно. Теперь, когда я знаю, что вы так хотите, разве я отказываюсь взять его, этот самый ключ? Завтра же возьму его, и тогда посмотрим, что еще вздумается вам говорить.

Пусть господин де Вальмон вам друг. Мне кажется, я люблю вас уж, во всяком случае, не меньше, чем он. А по-вашему, выходит, что он всегда прав, а я всегда виновата. Уверяю вас, что очень на вас сердита. Вам-то это безразлично, вы ведь знаете, что я очень отходчива. Но теперь, когда у меня будет ключ, я смогу видеться с вами,

когда захочу; так вот, знайте, что я не захочу, если вы будете так поступать. Я предпочитаю самой быть причиной своих горестей, чем переносить их от вас. Подумайте только, до чего вы доводите.

Если бы вы только хотели, как бы мы любили друг друга! И, во всяком случае, горе причиняли бы нам только другие! Уверяю вас, если бы я была сама себе хозяйка, вам бы не пришлось на меня жаловаться. Но если вы не станете мне верить, мы всегда будем несчастны, и не по моей вине. Надеюсь, что вскоре мы сможем увидеться, и тогда у нас не будет таких поводов для огорчений, как сейчас.

Если бы я могла это предвидеть, я сразу же взяла бы тот ключ. Но, право же, я думала, что поступаю как надо. Так прошу вас, не сердитесь на меня. Не грустите больше и любите меня всегда так же, как я вас люблю. Тогда я буду счастлива. Прощайте, милый мой друг.

Из замка***, 28 сентября 17…

Письмо 95

От Сесили Воланж к виконту де Вальмону

Прошу вас, сударь, будьте добры, передайте

мне тот ключик, который вы мне уже давали, чтобы положить на место ключа от моей комнаты. Раз уж все этого хотят, приходится и мне согласиться.

Не знаю, почему вы сообщили господину Дансени, будто я его больше не люблю: кажется, я никогда не давала вам повода так думать. А его это ужасно огорчило и меня тоже. Я знаю, что вы его друг, но это ведь не причина, чтобы огорчать его, да заодно и меня. Пожалуйста, в первом же своем письме к нему сообщите, что это совсем неверно, и добавьте, что вы в этом убеждены, ибо он доверяет вам больше, чем кому-либо другому. Я же сама не знаю уж, что и делать, если говорю что-нибудь, а мне не верят. Что касается ключа, то будьте совершенно спокойны: я отлично запомнила все, что вы мне советовали делать в своем письме. Однако, если это письмо вы сохранили и пожелали бы передать мне его вместе с ключом, обещаю вам отнестись к нему с величайшим вниманием. Если бы вы смогли это сделать, когда мы все будем идти к обеду, я бы передала вам другой ключ послезавтра за утренним завтраком, а вы вернули бы мне его тем же способом, что и первый ключ. Я хотела бы, чтобы проволочек было как можно меньше, — тогда меньше будет

и опасность, что мама все это заметит.

Затем, раз уж этот ключ останется у вас, будьте так добры, воспользуйтесь им, чтобы брать мои письма, и тогда господин Дансени чаще станет получать от меня известия. Верно, что так будет гораздо удобнее, но сперва я очень уж боялась. Прошу вас простить меня и надеюсь, что вы, несмотря ни на что, по-прежнему будете так же любезны, как и раньше. Я же, со своей стороны, тоже буду всегда вам признательна.

Остаюсь, сударь, покорнейше преданной вам…

Из***, 28 сентября 17…

Письмо 96

От виконта де Вальмона к маркизе де Мертей

Держу пари, что после своего приключения вы каждый день ждете от меня похвал и славословий. Не сомневаюсь даже, что мое долгое молчание вас несколько рассердило. Но что делать? Я всегда считал, что, когда женщина заслуживает только похвал, она уж сама о себе позаботится, и можно заняться другими делами. Однако поздравляю вас с тем, что вы сделали для себя, и благодарю за услугу, оказанную мне. Чтобы вас совсем осчастливить, готов даже признать,

что на этот раз вы превзошли мои ожидания. А затем посмотрим, не оправдал ли я хотя отчасти ваших.

Я намереваюсь говорить с вами не о госпоже де Турвель. Слишком медленный ход этого дела вам не нравится. Вы любите только законченные дела. Тягучие сцены внушают вам скуку. Я же никогда не испытывал такого удовольствия, как в этих мнимых проволочках.

Да, мне нравится видеть, наблюдать, как эта благоразумная женщина, сама того не замечая, вступила на тропу, с которой возврата нет, как крутой и опасный склон невольно увлекает ее, заставляя следовать за мной. Вот, испугавшись грозящей гибели, она хотела бы остановиться, но уже не в состоянии удержаться на месте. Благодаря своим стараниям и ловкости она может двигаться медленней, но ей все же неизбежно приходится идти вперед. Иногда, не смея взглянуть в лицо опасности, она закрывает глаза и перестает бороться, всецело полагаясь на меня. Но чаще какое-нибудь новое опасение заставляет ее возобновить усилия: в смертельном ужасе она еще хочет сделать попытку возвратиться вспять, изнемогает в мучительных стараниях проползти хоть немного вверх, но вскоре какая-то таин-

ственная сила опять приближает ее к опасности, которой она тщетно пыталась избежать. Тогда, не имея никого, кроме меня, в качестве поводыря и опоры и уже не помышляя о каких-либо упреках за свое неизбежное падение, она умоляет меня хотя бы отсрочить его. Горячие мольбы, смиренные просьбы — все, с чем устрашенные смертные обращаются к божеству, получаю от нее я. А вы хотите, чтобы, оставаясь глухим к ее мольбам, я собственноручно разрушил культ, который она создала вокруг меня, и для ускорения ее гибели использовал ту власть, от которой она ждет поддержки. Ах, дайте же мне по крайней мере время понаблюдать эту трогательную борьбу между любовью и добродетелью.

Неужели же зрелище, ради которого вы жадно спешите в театр, которому вы так пылко рукоплещете, представляется вам менее увлекательным в жизни? Вы ведь с восторгом внимаете чувствам чистой и нежной души, страшащейся желанного ей счастья и не перестающей обороняться даже после того, как она прекратила сопротивление. Так не драгоценны ли эти чувства для того, кто виновник их появления? Но именно подобные восхитительные услады, именно их дарит мне каждодневно это божественное создание. А вы

упрекаете меня за то, что я ими наслаждаюсь! Ах, слишком скоро наступит время, когда, униженная своим падением, она станет для меня лишь самой обыкновенной женщиной.

Но, говоря о ней, я забываю, что совсем не собирался вам о ней говорить. Какая-то непонятная сила приковывает меня, беспрестанно возвращает к ней даже тогда, когда я ее оскорбляю. Отгоним же опасные думы об этой женщине. Надо мне стать самим собой, чтобы заговорить на более веселую тему. Речь идет о вашей подопечной, ныне попавшей под мою опеку, и надеюсь, что тут вы отдадите мне должное.

Так как за последние несколько дней моя нежная святоша стала обращаться со мной несколько лучше и, следовательно, мне не пришлось так много заниматься ею, я заметил, что маленькая Воланж и впрямь очень хорошенькая. Тут я сообразил, что если влюбиться в нее, подобно Дансени, было бы глупостью, то, может быть, с моей стороны не менее глупо не поразвлечься с нею, ибо я в своем одиночестве весьма нуждаюсь в развлечении. Справедливым казалось мне также вознаградить себя за хлопоты, которых она мне стоит, к тому же я вспомнил, что вы мне предлагали ее еще до того, как у Дансени появились

какие-то притязания. И я счел, что имею некоторые основания предъявлять кое-какие права на добро, которым он завладел лишь вследствие моего отказа и пренебрежения. Хорошенькое личико юной особы, ее ротик, такой свежий, ее ребяческий вид и даже сама неловкость — все это укрепило меня в моих мудрых размышлениях. Я решил действовать в соответствии с ними, и предпринятое мною увенчалось успехом.

Вы уже, наверное, стараетесь угадать, какие средства избрал я, чтобы так скоро подменить собою столь нежно любимого избранника, какие способы обольщения более всего подходят для такого возраста и неопытности. Не утруждайте себя, никакого обольщения не было. В то время как вы, ловко пользуясь оружием своего пола, восторжествовали благодаря хитрости, я, вернув мужчине его непререкаемые права, покорил силой. Уверенный, что завладею добычей, если смогу ее настичь, я применил хитрость лишь для того, чтобы к ней приблизиться, и, в сущности, даже хитрость, к которой я прибег, почти не заслуживает этого названия.

Я воспользовался первым же письмом, которое получил от Дансени для его красотки. Предупредив ее о получении письма условленным между

нами знаком, я принялся стараться не о том, как поскорее вручить его, а напротив — как бы не находить для этого удобных способов. Порождая в ней нетерпение, я делал вид, что разделяю его, и, причинив зло, сам указал на лекарство.

Молоденькая особа помещается в комнате, у которой одна дверь выходит в коридор. Вполне естественно, что ключ от этой двери забрала себе мать. Все дело сводилось к тому, чтобы завладеть этим ключом. А завладеть им было пустяком: мне он нужен был лишь часа на два, и я ручался, что буду иметь другой точно такой же. Тогда все — и переписка, и свидания, и ночные посещения, — все становилось удобным и вполне осуществимым. Однако — поверите ли? Робкая девица испугалась и отказала. Любой другой расстроился бы. Я же усмотрел в этом лишь возможность получить еще более тонкое удовольствие. Я написал Дансени, пожаловался на ее отказ, да так успешно, что неосмотрительный поклонник не угомонился, пока не убедил свою робкую возлюбленную согласиться на мое требование и полностью мне во всем довериться.

Признаюсь, мне очень понравилось, что мы с молодым человеком поменялись таким образом ролями и что он сделает для меня то, что, по его

расчетам, я должен был сделать для него. Эта мысль, на мой взгляд, делала приключение вдвое более приятным. И вот, едва заполучив драгоценный ключ, я поспешил воспользоваться им — случилось это прошлой ночью.

Убедившись, что в замке все тихо, я вооружился потайным фонарем и в туалете, соответствовавшем позднему часу и подходящем к данным обстоятельствам, отправился с первым визитом к вашей подопечной. Я все подготовил (ее же руками) так, чтобы войти бесшумно. Она спала первым самым крепким сном и к тому же так, как спят в ее возрасте, и потому не проснулась даже тогда, когда я подошел к самой ее постели. Сперва меня соблазняла мысль сразу же приступить к действиям и постараться сойти за сновидение. Но, боясь последствий неожиданности и шума, который она вызвала бы, я предпочел осторожно разбудить спящую красотку, и действительно мне удалось предотвратить крик, которого я опасался.

Я успокоил ее первые проявления испуга, но, придя сюда не для разговоров, решился на некоторые вольности. В монастыре ей, несомненно, не разъяснили, каким разнообразным опасностям может подвергнуться робкая невинность

и что именно она должна охранять, чтобы ее не застигли врасплох. Ибо, собрав все свое внимание и все силы на защиту от поцелуя, который был лишь отвлекающим маневром, все прочее она оставила незащищенным. Как можно было не воспользоваться этим! Поэтому я переменил направление удара и тотчас же занял позиции. Тут мы оба едва не погибли: девочка, перепугавшись по-настоящему, подняла было крик. К счастью, голос ее заглушили слезы. Она схватилась также и за шнурок звонка, но мне удалось вовремя задержать ее руку.

«Что вы хотите сделать? — сказал я ей тогда. — Погубить себя навсегда? Пусть приходят, мне-то что? Кого убедите вы, что я здесь не с вашего согласия? Кто, кроме вас, дал бы мне возможность проникнуть сюда? А ключ, который я получил от вас и ни от кого другого не мог получить, — вы станете объяснять, для какой цели он предназначался?» Эта краткая речь не успокоила ни ее огорчения, ни ее негодования, но привела к покорности. Не знаю, был ли красноречив мой тон, но жесты мои, во всяком случае, красноречием не отличались. Какой оратор может притязать на изящество в положении, когда одна его рука — рука насильника, а другая — рука любви? Если

вы ясно представляете себе это положение, то согласитесь, что оно по крайней мере благоприятствует нападению. Но ведь я совершенный несмышленыш, и, как вы сами говорите, последняя простушка, пансионерка может обращаться со мной как с младенцем.

Данная же простушка, в каком отчаянье она ни была, все же уразумела, что надо на что-то решиться и идти на соглашение. Так как мольбы оставляли меня непреклонным, ей пришлось перейти к предложениям. Вы, может быть, думаете, что я за дорогую цену уступил эту важную позицию? Нет, я все обещал за один поцелуй. Правда, когда поцелуй был получен, я не сдержал обещания; но на то у меня имелись основательные причины. Как мы условились — будет ли он принят или дан? Торговались мы, торговались и пришли к соглашению насчет второго поцелуя, с тем что он будет ею принят. Тогда я обвил ее несмелые руки вокруг своего тела, а своей рукой любовно прижал ее к себе, и поцелуй мой был действительно принят, принят самым настоящим, самым исправным образом, так что даже с любовью нельзя было бы сделать это лучше.

Такая добросовестность заслуживала награды, поэтому я тотчас же исполнил ее просьбу. Рука

моя отдернулась, но, не знаю уж, как это получилось, — сам я очутился на ее месте. Вы полагаете, что тут я стал стремителен, пылок — не правда ли? Ничего подобного. Уверяю вас, у меня появился вкус к медлительности. Раз ты уверен, что придешь к цели, для чего торопиться в пути?

Нет, кроме шуток, я не прочь был понаблюдать, какова может быть сила случайности, и здесь она предстала мне в чистом виде, без всякой посторонней примеси. А ведь ей пришлось преодолеть любовь, и к тому же любовь, поддержанную целомудрием или стыдливостью, а главное — подкрепленную мною же вызванным и весьма сильным раздражением. У случайности не было союзников. Но она все время представлялась, все время присутствовала, а любовь была далеко.

Чтобы обеспечить себе свободу наблюдения, я схитрил и пользовался силой только в той мере, в какой лишь ею можно было чего-то достичь. Но если мой прелестный противник, злоупотребляя моим попустительством, готов был от меня ускользнуть, я удерживал его тем же самым страхом, который, как я мог уже убедиться, имел столь благоприятное воздействие. Так вот, безо всякого иного принуждения, нежно влюбленная, позабыв свои клятвы, сперва уступила, а затем

согласилась. Правда, после этого первого мгновения снова дружно хлынули упреки и слезы. Не знаю, искренни они были или притворны, но, как всегда бывает, они прекратились, как только я занялся тем, что действительно стал давать к ним повод. Так слабость сменялась упреками, упреки — слабостью, но в конце концов расстались мы вполне довольные друг другом и в столь же полном согласии насчет свидания на сегодняшний вечер.

Я удалился к себе лишь на рассвете, изнемогая от усталости и желания спать. Однако и тем и другим я пожертвовал стремлению встать к утреннему завтраку. Я до страсти люблю наблюдать, какой вид имеет женщина на другой день после события. Вы и не представляете, какой он был у Сесили! Она с трудом передвигала ноги, все жесты были неловкие, растерянные, глаза все время опущенные, опухшие, с темными кругами! Круглое личико так вытянулось! Ничто не могло быть забавнее. И мать ее, встревоженная этой сильной переменой, впервые проявила к ней довольно ласковое внимание! И президентша тоже хлопотала вокруг нее. О, что касается ее забот, то она отпускает их лишь в долг. Наступит день, когда ей можно будет вернуть их, и день

этот недалек. Прощайте, прелестный друг.

Из замка***, 1 октября 17…

Письмо 97

От Сесили Воланж к маркизе де Мертей

Ах, боже мой, сударыня, как я огорчена, как я несчастна! Кто утешит меня в моих страданиях? Кто поможет мне советом в моей растерянности и смятении? Этот господин де Вальмон… а Дансени! Нет, мысль о Дансени приводит меня в отчаяние… Как рассказать вам? Как вымолвить?.. Не знаю, что и делать. А между тем сердце мое переполнено… Мне надо с кем-нибудь поговорить, а вы — единственная, кому я могла бы, кому я осмелилась бы довериться. Вы ко мне так добры! Но сейчас вам не следует быть доброй: я этого недостойна. Больше того: я даже не хотела бы этого. Сегодня здесь все оказали мне столько внимания… но из-за него мне стало только хуже, настолько ощущала я, что не заслужила его! Напротив, браните меня, браните меня хорошенько, ибо я очень виновна.

Но потом спасите меня. Если вы не будете так добры, чтобы дать мне совет, я умру от горя.

Узнайте же… рука моя дрожит, как вы сами

видите, я почти не в силах писать, лицо у меня все в огне… Ах, это и впрямь краска стыда. Что ж, я пересилю стыд: пусть это будет первым наказанием за мой грех. Да, я вам расскажу все. Итак, знайте, что господин де Вальмон, который до сих пор передавал мне письма господина Дансени, вдруг нашел, что это слишком трудное дело, и захотел иметь ключ от моей комнаты. Могу уверить вас, что я не соглашалась; но он об этом написал Дансени, и Дансени потребовал того же. А я — ведь мне так больно отказывать ему в чем-либо, особенно с тех пор, как мы в разлуке, от которой он так несчастен, — я в конце концов согласилась. Я не предвидела несчастья, которое из-за этого произошло.

Вчера господин де Вальмон, воспользовавшись этим ключом, пришел ко мне в комнату, когда я спала. Для меня это было такой неожиданностью, что я страшно испугалась, когда он меня разбудил. Но он сразу заговорил, я узнала его и не стала кричать. И, кроме того, сперва мне пришло в голову, что он принес мне письмо от Дансени. Однако это было далеко не так. Вскоре он захотел поцеловать меня, и в то время как я, вполне естественно, стала защищаться, он изловчился и сделал то, на что я не согласилась бы ни за что

на свете… Он стал требовать вместо этого поцелуя. Пришлось уступить. Что я могла сделать? Я попыталась звать на помощь. Но, во-первых, у меня не хватило сил, а во-вторых, он убедил меня, что, если кто-нибудь придет, он сумеет свалить всю вину на меня. И, правда, легко было бы это сделать из-за ключа. После этого он все-таки не ушел. Он захотел второго поцелуя, который — уж не знаю как и почему — всю меня взволновал. А потом стало еще хуже, чем вначале. О, это, разумеется, очень дурно. Ну, а под конец… избавьте меня от необходимости досказывать, но я несчастна так, что несчастнее быть нельзя.

В одном я себя больше всего упрекаю и все же обязана вам об этом сказать — боюсь, я защищалась не так решительно, как могла бы. Не знаю, как это получилось. Разумеется, я не люблю господина де Вальмона, совсем наоборот. И все же были мгновения, когда я вроде как бы любила его. Вы сами понимаете, что это не мешало мне все время говорить: «Нет», но я чувствовала, что поступаю не так, как говорю. И это было как бы вопреки моей воле. И ко всему еще я была в таком смятении! Если в подобных случаях всегда так трудно защищаться, надо выработать привычку к этому! Правда и то, что господин де Вальмон

умеет говорить таким образом, что просто не знаешь, как ему ответить. Словом — поверите ли, когда он ушел, я даже как будто жалела об этом и имела слабость согласиться, чтобы он пришел и сегодня вечером; и это расстраивает меня больше всего прочего.

О, несмотря на это, будьте уверены, что я не позволю ему прийти. Он еще не успел выйти из комнаты, как я поняла, что мне ни в коем случае не следовало этого обещать. А потому я до самого утра проплакала. Больше же всего я страдаю из-за Дансени. Каждый раз, как я вспоминала о нем, рыдания мои усиливались до того, что я просто задыхалась, а не думать о нем я не могла… Вот и сейчас, вы сами видите, к чему это приводит: бумага вся мокрая от слез. Нет, я никогда не утешусь, хотя бы из-за него одного. Словом, я совсем изнемогла и все же ни на одну минуту не уснула. А утром, встав с постели, я посмотрелась в зеркало: можно было в ужас прийти, так я изменилась.

Мама заметила это, как только увидела меня, и тотчас же спросила, что со мной. Я же сразу начала плакать. Я думала, она станет бранить меня, и, может быть, мне от этого было бы легче. А она, напротив, стала говорить со мной ласково!

Я этого совсем не заслужила. Она сказала, чтобы я не огорчалась до такой степени! Она ведь не знала причину моего горя. Не знала, что я от этого больна! Бывают минуты, когда мне хотелось бы не жить. Я не смогла удержаться. Я бросилась в ее объятья, рыдая и повторяя: «Ах, мама, мама, ваша дочка очень несчастна!» Мама тоже не смогла удержаться от слез, от всего этого горе мое только усилилось. К счастью, она не спросила меня, почему я до такой степени несчастна, я ведь не смогла бы ей ничего сказать.

Умоляю вас, сударыня, напишите мне как можно скорее и скажите, что я должна делать. Ибо у меня нет мужества собраться с мыслями, и я только страдаю и страдаю. Письмо свое пошлите через господина де Вальмона, но прошу вас, если вы будете писать и ему, не говорите, что я вам хоть что-нибудь рассказала.

Остаюсь, сударыня, покорнейше и с самыми дружескими чувствами глубоко преданной вам…

Я не осмеливаюсь подписать это письмо.

Из замка***, 1 октября 17…

Письмо 98

От госпожи де Воланж к маркизе де Мертей

Еще немного дней назад вы, прелестный друг мой, просили у меня утешений и советов — пришла моя очередь, и я обращаюсь к вам с той же просьбой, с какой вы обращались ко мне. Я по-настоящему удручена и боюсь, что приняла далеко не самые лучшие меры для того, чтобы избежать своих нынешних горестей.

Причина моего беспокойства — моя дочь. После нашего отъезда в деревню я, конечно, заметила, что она все время грустит и хандрит, но ожидала этого и вооружила свое сердце строгостью, которую считала необходимой. Я надеялась, что разлука, развлечения вскоре уничтожат любовь, которая, на мой взгляд, являлась скорее детским заблуждением, чем настоящей страстью. Однако за время моего пребывания здесь я не только ничего подобного не добилась, но замечаю даже, что девочка все глубже и глубже погружается в пагубную меланхолию, и начинаю всерьез опасаться, как бы ее здоровье не пострадало. Особенно за последние дни она меняется просто на глазах. Но сильнее всего она поразила меня вчера, и все

кругом были тоже весьма встревожены. Сейчас ей до крайности тяжело. И доказательство этого я вижу в том, что она готова даже преодолеть свою обычную робость по отношению ко мне. Вчера утром я только спросила ее, не больна ли она, и в ответ на это она бросилась в мои объятия, говоря, что она очень несчастна, и при этом навзрыд плакала. Не могу передать вам, как это меня расстроило. На глазах у меня тотчас же выступили слезы, и я успела только отвернуться, чтобы она не заметила их. К счастью, я благоразумно не стала ее расспрашивать, а она не решилась сказать мне больше, тем не менее совершенно очевидно, что ее мучит эта злосчастная страсть.

Что же предпринять, если так будет продолжаться? Сделаюсь ли я виновницей несчастья моей дочери? Обращу ли я против нее драгоценнейшие качества души — чувствительность и постоянство? Для того ли я — ее мать? А если я заглушу в себе естественное чувство, внушающее нам желать счастья своих детей, если я стану расценивать как слабость то, что, напротив, считаю самым первым, самым священным долгом, если я насильно заставлю ее сделать выбор, не придется ли мне отвечать за пагубные последствия, которые он может иметь? Разве поставить дочь

свою между преступлением и несчастьем — это правильно применить материнскую власть?

Друг мой, я не стану подражать тому, что так часто порицала. Конечно, я могла попытаться сделать выбор и за свою дочь: в этом я лишь помогала ей своей опытностью, не пользовалась правом, а выполняла долг. Но я изменила бы долгу, если бы принуждала ее вопреки склонности, зарождения которой я не сумела предотвратить, а глубину и длительность ни она сама, ни я еще не можем предвидеть. Нет, я не потерплю, чтобы она вышла замуж за одного для того, чтобы любить другого, и предпочитаю поступиться своей властью, чем пожертвовать ее добродетелью.

Итак, думаю, что надо будет принять наиболее мудрое решение и взять назад слово, данное господину де Жеркуру. Я только что изложила вам свои доводы: по-моему, они должны взять верх над данным мною обещанием. Скажу даже больше: при настоящем положении вещей выполнить это обязательство означало бы, по существу, нарушить его. Ибо в конце концов если я не имею права открывать господину де Жеркуру тайну своей дочери, то по отношению к нему я не имею также права злоупотребить неведением, в котором оставляю его, и должна сделать за него

все, что, как я полагаю, он сам сделал бы, если бы был осведомлен. Могу ли я, наоборот, недостойным образом предать его, когда он доверился мне и в то время как он оказал мне честь, избрав меня своей второй матерью, — обмануть его при выборе им матери для своих будущих детей? Все эти столь правдивые размышления, от которых я не могу отмахнуться, расстраивают меня до такой степени, что я не в силах вам даже передать.

Бедам, которые они мне рисуют, я противопоставляю счастье моей дочери с мужем, избранником ее сердца, в супружеских обязанностях обретающей одну лишь сладость, счастье моего зятя, ежечасно радующегося своему выбору. Вижу, наконец, как каждый из них обретает свое счастье в счастье другого и как общее их счастье лишь увеличивает мое. Можно ли надежду на столь сладостное будущее приносить в жертву всяким пустым соображениям? А что же удерживает меня? Исключительно соображения расчета. Но какое же преимущество даст моей дочери то, что она родилась богатой, если она, несмотря на это, должна стать рабой денег?

Согласна, что господин де Жеркур, может быть, даже лучшая партия, чем я смела надеяться, для моей дочери. Признаюсь даже, что я была крайне

польщена тем, что он остановил на ней свой выбор. Но в конце концов Дансени такого же хорошего рода, как и он, ничем не уступает ему по личным своим качествам и даже имеет перед ним преимущество любить и быть любимым. Правда, он не богат. Но разве дочь моя не достаточно богата для обоих? Ах, зачем отнимать у нее сладостное удовлетворение принести богатство любимому существу?

И разве эти браки, заключающиеся по расчету, а не по взаимной склонности, браки, которые называются подходящими и в которых действительно подходит друг к другу все, кроме вкусов и характеров, разве не становятся они главным источником скандальных происшествий, случающихся все чаще и чаще? Я предпочитаю обождать. По крайней мере у меня будет время изучить мою дочь, которой я по-настоящему не знаю. У меня вполне хватит мужества причинить ей мимолетное огорчение, если благодаря этому она достигнет более прочного счастья. Но пойти на риск обречь ее на вечное отчаяние — на это сердце мое не способно.

Вот, дорогой друг мой, мысли, которые меня волнуют и по поводу которых я прошу у вас совета. Эти невеселые темы резко противостоят вашей

милой жизнерадостности и не очень-то соответствуют вашему возрасту; но рассудительность ваша так его обогнала! К тому же благоразумию помогут в данном случае и дружеские чувства ко мне. И я не боюсь, что и то и другое откажутся помочь материнской заботливости, которая к ним взывает.

Прощайте, мой милый друг. Никогда не сомневайтесь в искренности моих чувств.

Из замка***, 2 октября 17…

Письмо 99

От виконта де Вальмона к маркизе де Мертей

Еще маленькое происшествие, мой прелестный друг, но только сцены, без всякого действия. Так что вооружитесь терпением, его понадобится много, ибо в то время как моя президентша подвигается вперед мелкими шажками, ваша подопечная отступает, а это еще хуже. Так вот, я настолько благодушен, что эти пустяки меня просто забавляют. Право же, я отлично привыкаю к своей здешней жизни и могу сказать, что в унылом замке своей старой тетушки не скучал ни минуты. И верно ведь — разве нет у меня здесь услад, лишений, надежды, неуверенности? Что

еще можно иметь и на более обширной сцене? Зрителей? Э, дайте мне только время, и их будет достаточно. Если они не видят меня за работой — я покажу им все, когда мой труд будет завершен. Им останется лишь восхищаться и рукоплескать. Да, они станут рукоплескать. Ибо я могу наконец с полной уверенностью предсказать, когда именно совершится падение моей суровой святоши. Сегодня вечером я присутствовал при агонии добродетели. На ее месте воцарится нежная слабость. Я назначаю для этого срок не позднее нашего ближайшего свидания, но уже слышу, как вы кричите о моей гордыне. Объявлять о своей победе, хвастать наперед! Ну, ну, успокойтесь! Чтобы доказать, насколько я скромен, начну с рассказа о своем поражении.

Правду говоря, подопечная ваша — презабавная молодая особа. Это действительно ребенок, с которым и надо обращаться, как с ребенком: поставить ее в угол — самое милостивое обхождение, какого она заслуживает. Вообразите себе только, что после всего имевшего место позавчера между нею и мною, после того, как вчера утром мы так по-дружески расстались, сегодня вечером, когда я хотел, как было условлено, прийти к ней в комнату, я нашел дверь запертой изнутри! Что

вы на это скажете? Подобное ребячество позволяют себе иногда накануне, но на другой день! Не забавно ли?

Однако сперва мне было не до смеха. Никогда еще характер мой не управлял мною так властно. Разумеется, я шел на это свидание без особого удовольствия: я лишь отдавал дань обычаю. Мое ложе, в котором я очень нуждался, казалось мне в тот момент желаннее всякого другого, и я покинул его с сожалением. И тем не менее, едва встретилось мне препятствие, как я уже горел желанием преодолеть его. Унизительнее всего было то, что меня провела девчонка. Поэтому удалился я в сильном раздражении. И, решив не возиться больше с этой глупой девчонкой и со всеми ее делами, тотчас же написал ей записку, которую намеревался передать нынче же утром и в которой давал ей подобающую оценку. Но, как говорится, утро вечера мудренее. Утром я рассудил, что здесь выбирать развлечения не приходится и надо не упускать хоть этого, а потому уничтожил суровую записку. Теперь, хорошенько поразмыслив, я диву даюсь, как это могло прийти мне в голову закончить приключение, не имея в руках ничего, что давало бы мне возможность погубить его героиню. Куда, однако,

может завести нас первый порыв! Счастлив тот, кто, подобно вам, прелестный мой друг, приучил себя никогда ему не поддаваться! Словом, я отсрочил свое мщение, принес эту жертву вашим намерениям относительно Жеркура.

Теперь, когда гнев мой остыл, поведение вашей подопечной кажется мне всего-навсего смешным. Право же, хотел бы я знать, что она рассчитывает таким образом выиграть? Никак не уразумею: если это лишь самозащита, то надо признать — несколько запоздалая. Необходимо, чтобы она когда-нибудь разъяснила мне эту загадку. Очень уж хочется знать, в чем тут дело. А может быть, все дело лишь в том, что она ощущала переутомление. Право, это вполне возможно. Ибо ей, несомненно, еще невдомек, что стрелы любви, подобно копью Ахилла*, несут с собою и лекарство для тех ран, которые наносят. Но нет, весь день у нее была кислая мина, и на этом основании я, пожалуй, готов поручиться, что тут не без раскаянья… да… чего-то вроде добродетели… Добродетели!.. Вот уж кому пристало ее иметь! Ах, пусть она предоставит добродетель единственной рожденной для этого женщине, единственной, которая способна украсить добродетель и даже, пожалуй, заставить ее полюбить!..

Простите, прелестный мой друг, но как раз в тот же вечер между госпожой де Турвель и мною произошла сцена, о которой я должен дать вам отчет, и я все еще чувствую некоторое волнение. Мне необходимо сделать над собой усилие, чтобы рассеялось впечатление, которое она на меня произвела. Я и писать-то вам начал для того, чтобы себе в этом помочь. Это первое мгновение все же простительно.

Вот уже несколько дней, как мы с госпожой де Турвель пришли к полному согласию насчет наших чувств и спорим теперь только о словах. Правда, на мою любовь по-прежнему отвечала ее дружба, но этот условный язык не менял сути вещей. И если бы мы на том и оставались, я все же шел бы к цели, может быть, более медленным, но не менее верным путем. Уже больше не поднимался вопрос о моем удалении, как она того сперва хотела. А что касается наших ежедневных бесед, то, если я стараюсь предоставить ей возможность вести их, она, со своей стороны, старается этой возможности не упустить.

Так как наши свиданьица обычно происходят во время прогулки, а сегодня стояла отвратительная погода, я уже ни на что не надеялся. Я был даже по-настоящему расстроен и отнюдь не

предвидел, какой удачей обернется для меня это препятствие.

Так как гулять было нельзя, все, встав из-за стола, сели за игру. Поскольку я не бог весть какой игрок и теперь уже без меня можно обойтись, я на это время ушел к себе в комнату, без определенной цели — только подождать окончания партии.

Я уже возвращался в гостиную, как вдруг увидел эту очаровательную женщину в тот миг, когда она входила в свою комнату. То ли по неосторожности, то ли по слабости, она сказала мне своим мягким голосом: «Куда это вы идете? В гостиной никого нет». Как вы сами понимаете, этого мне было вначале достаточно, чтобы попытаться войти к ней, причем я встретил гораздо меньше сопротивления, чем ожидал. Правда, я предусмотрительно начал разговор еще у двери, и притом разговор самый безразличный. Но едва только мы уселись, как я перешел к настоящей теме и начал говорить своему другу о любви к нему. Первый же ответ ее, хотя ничего особенного в нем как будто не было, показался мне весьма выразительным. «О, послушайте, — сказала она, — не будем говорить об этом здесь». При этом она дрожала. Бедная женщина! Она предчувству-

ет свою гибель.

Однако опасения ее были напрасны. Уверенный с некоторых пор, что не сегодня, так завтра меня ожидает полный успех, и видя, что она тратит в тщетной борьбе столько сил, я решил беречь свои и спокойно ждать, чтобы она сдалась, устав бороться. Вы понимаете, что в данном случае мне нужна полная победа, и я ничем не хочу быть обязанным случаю. Следуя именно этому плану и для того, чтобы проявлять настойчивость, не слишком себя утруждая, я вернулся к этому слову «любовь», в котором мне так упорно отказывали. Не сомневаясь, что в мой пыл вполне верят, я испробовал более нежный тон: отказ-де не сердит меня, а огорчает, неужто мой чувствительный друг не считает, что я заслужил хоть некоторое утешение?

И вот, чтобы утешить меня, ручка ее задержалась в моей ладони, прелестный стан опирался на мою руку, и мы оказались в самой тесной близости друг к другу. Вы, несомненно, замечали, как в таком положении, когда защита слабеет, промежутки между просьбами и отказами становятся все короче, как отворачивают голову, как опускают очи долу и как слова, произносимые тем же слабым голосом, делаются все реже и

прерывистей. Драгоценные эти признаки недвусмысленным образом свидетельствуют, что душа уже уступила, но согласия чувств большей частью еще нет. Я даже считаю, что в таких случаях всегда опасно проявлять чрезмерную решительность. Ибо подобная расслабленность всегда сопровождается неким сладостным ощущением и вывести из него невозможно, не вызвав раздражения, которое неизменно идет на пользу защите.

В данном же случае осторожность была тем необходимее, что мне следовало опасаться главным образом страха, который должно было вызвать это самозабвение у моей нежной мечтательницы. Поэтому, моля ее о признании, я не требовал даже, чтобы оно высказано было в словах: меня удовлетворил бы даже взгляд. Один только взгляд — и я счастлив.

Милый друг мой, прекрасные очи и впрямь обратились на меня, небесные уста даже произнесли: «Ну да, да я…» Но внезапно взгляд померк, голос прервался, и эта восхитительная женщина упала в мои объятия. Но не успел я обхватить ее, как она, вырвавшись судорожным порывом, вскричала с блуждающим взором и подняв руки к небу: «Боже… о боже, спаси», — и тотчас же

быстрее молнии упала на колени шагах в десяти от меня. Я слышал, как рыдания душили ее. Я приблизился, чтобы помочь ей, но она схватила меня за руки, омывая их слезами, порою даже обнимая мои колени, и при этом твердила: «Да, это вы, это вы меня спасете! Вы не хотите моей смерти, оставьте меня, спасите меня, оставьте меня во имя Божие, оставьте меня!» И эти бессвязные речи с трудом вырывались из ее уст, так часто прерывали их все усиливающиеся рыдания. Между тем она удерживала меня с такой силой, что я просто не мог бы удалиться. Тогда, собрав все силы, я поднял ее на руки. Тотчас же рыдания прекратились, она умолкла, но все члены ее словно одеревенели, и буря эта сменилась жестокими судорогами.

Признаться, я был очень взволнован и, кажется, исполнил бы ее просьбу, даже если бы не был вынужден к тому обстоятельствами. Во всяком случае, оказав ей кое-какую помощь, я оставил ее, как она просила, и очень этому рад. Я уже почти вознагражден за это.

Я ожидал, что, как и в день первого моего признания, она не появится в течение всего вечера. Однако часам к восьми она спустилась в гостиную и только сообщила собравшимся, что

чувствовала себя очень плохо. Вид у нее был подавленный, голос слабый, все движения — какие-то принужденные. Но взгляд был мягкий и часто останавливался на мне. Так как она отказалась играть, я должен был занять ее место, и она подсела ко мне. Во время ужина она одна оставалась в гостиной. Когда все туда возвратились, мне показалось, что она плакала. Чтобы выяснить это, я сказал ей, что, по-моему, у нее опять приступ нездоровья, на что она не преминула ответить: «Эта болезнь проходит не так скоро, как появляется». Наконец, когда все стали расходиться, я подал ей руку, и у своей двери она с силой пожала ее. Правда, в этом движении мне почудилось что-то непроизвольное; но тем лучше: лишнее доказательство моей власти.

Бьюсь об заклад, сейчас она очень рада, что все так обстоит: все положенное сделано, остается лишь пользоваться достигнутым. Может быть, пока я вам пишу, она уже тешится этой сладостной мыслью! А даже если бы ее, напротив, занимал какой-нибудь новый план самозащиты, разве мы не знаем, чего стоят все подобные планы? Я вас спрашиваю, продержатся ли они дольше нашего ближайшего свидания? Конечно, я готов к тому, что со мной поломаются, прежде

чем уступить. Но — ладно! Труден лишь первый шаг, а потом этих святош и не остановить! Их любовь — настоящий взрыв: от сопротивления он только сильнее. Моя святоша и недотрога побежала бы за мной, если бы я перестал бегать за нею.

И наконец, прелестный мой друг, я немедленно являюсь к вам потребовать исполнения данного вами слова. Вы, наверно, не забыли того, что обещали мне после моего успеха — измены вашему кавалеру? Готовы ли вы? Я-то жду этого так, словно мы никогда друг друга не знали. К тому же знать вас, может быть, — лишняя причина желать.

Я справедлив, а не любезник льстивый[33]*.

Это у меня будет первая неверность моей суровой добыче. И обещаю вам воспользоваться первым же попавшимся предлогом, чтобы на сутки от нее отлучиться. Это будет ей кара за то, что она так долго держала меня в отдалении от вас. Знаете ли вы, что я занят этим приключением уже больше двух месяцев? Да, два месяца и три дня. Правда, я считаю и завтрашний день, так как по-настоящему завершится оно только тогда. Это

---

[33] Примечания: 33
Вольтер, комедия «Нанина».

напоминает мне, что госпожа де Б*** сопротивлялась полных три месяца. Я очень рад убедиться, что откровенное кокетство защищается лучше, чем суровая добродетель.

Прощайте, прелестный мой друг. Пора с вами расставаться, ибо уже поздно. Письмо это завело меня дальше, чем я рассчитывал. Но так как завтра утром я посылаю в Париж курьера, то хотел воспользоваться этим и дать вам возможность на один день раньше разделить радость вашего друга.

Из замка***, 2 октября 17… вечером.

Письмо 100

От виконта де Вальмона к маркизе де Мертей

Друг мой, меня одурачили, предали, погубили. Я в отчаянии: госпожа де Турвель уехала. Она уехала, а я об этом не знал. Я не был при этом и не смог воспротивиться ее отъезду, укорить ее за гнусное предательство! Нет, не думайте, что я отпустил бы ее. Она бы не уехала, да, она осталась бы, даже если бы мне пришлось применить силу. Но что получилось? Доверчиво, ни о чем не тревожась, я спокойно спал, я спал, а в это время меня поразила молния. Нет, ничего не пойму я в этом

отъезде. Женщин так никогда и не узнаешь.

Вспомнить только вчерашний день! Да что я говорю: хотя бы вчерашний вечер! Взгляд ее — такой ласковый, голос — такой нежный. А пожатие руки! И в это самое время она замышляла побег от меня! О женщины, женщины! Вы еще жалуетесь, что вас обманывают! А на деле каждый наш вероломный поступок — это кража из ваших же запасов.

С каким наслаждением стану я мстить! Я разыщу эту коварную женщину, я восстановлю свою власть над нею. Если одной любви достаточно было, чтобы достичь этого, чего же любовь не сможет добиться с помощью мести! Я снова увижу ее у своих ног, дрожащую, заплаканную, молящую о пощаде своим лживым голосом. Но я буду безжалостен. Что она сейчас делает? О чем думает? Может быть, радуется, что обманула меня, и, верная вкусам своего пола, находит это удовольствие самым сладостным.

Хитрость без всякого труда совершила то, что не удавалось пресловутой добродетели. Безумец! Я опасался ее целомудрия, а надо было бояться коварства.

И вдобавок я вынужден подавлять свой гнев! Не осмеливаться выказывать ничего, кроме

нежной грусти, когда сердце полно ярости! Я вынужден снова умолять непокорную женщину, ускользнувшую из-под моей власти! Неужто должен был я испытать такое унижение? И от кого? От робкой женщины, совершенно неопытной в борьбе. Какая польза мне в том, что я воцарился в ее сердце, распалил ее пламенем любви, довел до исступления ее смятенные чувства, если сейчас она, спокойная в своем уединении, может гордиться бегством больше, чем я победами? И я это стерплю? Друг мой, вы не можете так думать, вы не столь низкого мнения обо мне!

Но какой же рок привязывает меня к этой женщине? Разве сотня других не жаждет моего внимания? Разве они не поспешат отозваться на него? Даже если бы каждая из них не стоила этой, разве прелесть разнообразия, очарование новых побед, слава их множества не обеспечивают достаточно сладостных утех? Зачем же преследовать ту, что убегает, и пренебрегать теми, что идут к тебе сами. Да, зачем? Не знаю, но этот разлад мучит меня.

Нет мне ни счастья, ни покоя, пока я не буду обладать этой женщиной, которую ненавижу так же пылко, как и люблю. С судьбой своей я примирюсь лишь в ту минуту, когда стану

распорядителем ее судьбы. Тогда, спокойный, удовлетворенный, я увижу, как она, в свою очередь, отдана во власть тех же бурь, которые играют мною в этот миг. И я нашлю на нее еще тысячи других. Я хочу, чтобы надежда и страх, подозрение и уверенность, все беды, изобретенные ненавистью, все блага, даруемые любовью, наполняли ее сердце, сменяясь в нем по моей воле. Такое время настанет… Но сколько еще предстоит труда! А вчера я уже был так близок к цели! Сегодня же так далек от нее! Как теперь приблизиться к ней? Я не знаю, на что решиться. Я чувствую, что, для того чтобы принять какое-то решение, нужно быть спокойнее, а у меня в жилах кровь прямо кипит.

Мои муки еще усиливаются от хладнокровия, с которым все отвечают на мои вопросы об этом происшествии, о его причинах, обо всем, что в нем есть необычайного… Никто ничего не знает, да и не хочет знать: об этом едва упоминали бы, если бы я соглашался говорить о чем-либо другом. С утра, узнав эту новость, я побежал к госпоже де Розмонд, но она с холодным спокойствием своего возраста ответила, что это — естественное следствие вчерашнего нездоровья госпожи де Турвель, что она испугалась серьезной болезни

и предпочла находиться дома. При этом тетушка добавила, что вполне ее понимает и сама поступила бы точно так же. Как будто есть что-то общее между ними: одной только и остается, что умереть, а в той, другой, вся радость и вся мука моей жизни. Госпожа де Воланж, которую я сперва подозревал в сообщничестве, по-видимому, несколько задета тем, что об этом шаге с ней не посоветовались. Признаюсь, я очень рад, что она не доставила себе удовольствия навредить мне. Это мне доказывает к тому же, что она пользуется доверием этой женщины не в той мере, как я опасался: всегда лучше иметь одним врагом меньше. Как бы она радовалась, если бы знала, что побег совершен из-за меня! Как бы она пыжилась от гордости, если бы это сделано было по ее совету! Как бы она заважничала! Боже мой, до чего я ее ненавижу! О, я возобновлю связь с ее дочерью, обработаю эту девицу на свой лад! Поэтому я, по-видимому, на некоторое время задержусь здесь. Во всяком случае, те немногие раздумья, на которые я оказался способен, приводят меня к такому именно решению.

Не кажется ли вам, что после столь решительного шага неблагодарная должна опасаться моего приезда? Поэтому, если ей и приходила в голову

мысль, что я могу за нею последовать, она уже, наверно, распорядилась не принимать меня. Я же не хочу ни приучать ее к таким приемам, ни терпеть столь унизительное обращение. Я, наоборот, предпочитаю сообщить ей, что остаюсь здесь, и даже не буду настаивать, чтобы она вернулась. Когда же она будет твердо убеждена, что меня нет и не будет, я внезапно появлюсь, — посмотрим, как перенесет она эту встречу. Но чтобы усилить впечатление, надо обождать, а я не знаю, хватит ли у меня выдержки: сегодня я раз двадцать собирался потребовать лошадей. Однако я сумею с собой совладать и обязуюсь ждать вашего ответа здесь. Я только прошу вас, мой прелестный друг, не заставлять меня ждать слишком долго.

Больше всего меня удручало бы не знать, что у нее происходит; но мой егерь, находящийся сейчас в Париже, имеет некоторые права на доступ к ее горничной и может мне помочь. Я посылаю ему указания и деньги. Прошу вас благосклонно отнестись к тому, что и то и другое я присовокуплю к этому письму, а также взять на себя заботу отослать их ему с кем-либо из ваших слуг, приказав передать все ему лично. Я принимаю эту предосторожность, потому что бездельник всегда делает вид, будто не получает писем, которые я

ему пишу, если в них содержатся распоряжения, которые его затрудняют, и еще потому, что, сдается мне, он не так сильно увлечен своей победой, как мне того хотелось бы.

Прощайте, прелестный друг. Если вам придет в голову какая-нибудь удачная мысль, какой-нибудь способ ускорить мое продвижение к цели, сообщите мне их. Я уже не раз убеждался, как может быть полезна ваша дружба, убеждаюсь и в настоящую минуту, ибо несколько успокоился с тех пор, как начал вам писать: по крайней мере, я говорю с человеком, который меня понимает, а не с автоматами, рядом с которыми прозябаю с сегодняшнего утра. Право же, чем дальше, тем более расположен я считать, что в мире только вы да я чего-нибудь стоим.

Из замка***, 3 октября 17…

Письмо 101

От виконта де Вальмона к Азолану, егерю (приложено к предыдущему)

Надо быть таким дурнем, как вы, чтобы, уезжая отсюда сегодня утром, не заметить, что госпожа де Турвель тоже уезжает, или, если вы это знали, не предупредить меня. Какой же смысл в том,

чтобы вы тратили мои деньги, пьянствуя с лакеями, а то время, которое должны были служить мне, проводили, любезничая с горничными, если я от этого нисколько не лучше осведомлен о происходящем? А все — ваше нерадение! Но предупреждаю вас, что, если в этом деле вы допустите еще какую-нибудь небрежность, она будет последней, которую вы совершите у меня на службе.

Вы должны осведомлять меня обо всем, что происходит у госпожи де Турвель: здорова ли она, спит ли, грустна или весела, часто ли выезжает и к кому, принимает ли у себя гостей и кто у нее бывает; как она проводит время; раздражительна ли со служанками, особенно с той, которую привозила сюда; что она делает, когда у нее никого нет; если она занимается чтением, то читает ли все время или прерывает чтение, чтобы помечтать; то же самое — если она пишет. Позаботьтесь также о том, чтобы подружиться с тем из слуг, кто относит ее письма на почту. Почаще предлагайте ему выполнять это поручение вместо него, и в тех случаях, когда он будет соглашаться, отправляйте только те письма, которые покажутся вам незначительными, другие же пересылайте мне, в особенности письма к госпоже де Воланж, если

такие попадутся.

Устройтесь таким образом, чтобы еще некоторое время оставаться счастливым любовником вашей Жюли. Если у нее есть кто-нибудь другой, как вы полагали, уговорите ее делить свою благосклонность и не вздумайте проявлять нелепую щепетильность: в таком положении бывают многие другие и получше вас. Если, однако, ваш сотоварищ оказался бы слишком докучливым, если вы, например, заметите, что он отнимает у Жюли слишком много времени днем и она из-за этого менее часто бывает со своей хозяйкой, устраните его каким-либо способом или заведите с ним хорошую ссору; последствий не бойтесь, я вас поддержу. Главное же — не покидайте этого дома, ибо только постоянные посещения дают возможность все видеть, и притом хорошо видеть. Если случайно кто-нибудь из слуг будет уволен, предложите заменить его, как если бы вы больше у меня не служили. В том случае скажите, что вы меня оставили, чтобы найти место в более спокойном и порядочном доме. Словом, постарайтесь сделать так, чтобы вас приняли. Одновременно вы будете состоять на службе и у меня, как было у герцогини де***, а впоследствии госпожа де Турвель тоже вознаградит вас.

При достаточной ловкости и рвении с вашей стороны этих указаний вам было бы вполне достаточно. Но чтобы возместить недостаток того и другого, посылаю вам деньги. Прилагаемая записка даст вам право, как вы увидите, получить у моего поверенного двадцать пять луидоров, ибо я не сомневаюсь, что у вас нет ни гроша. Из этой суммы вы употребите, сколько будет нужно, на то, чтобы склонить Жюли вступить со мной в переписку. Остальное — на попойки со слугами. Постарайтесь, елико возможно, чтобы они происходили у швейцара — тогда ему приятно будет видеть вас в этом доме. Но не забывайте, что стремлюсь я оплачивать не удовольствия ваши, а услуги.

Приучите Жюли все подмечать и обо всем сообщать, даже о том, что покажется ей пустяками. Лучше пусть она напишет десять бесполезных фраз, чем опустит одну существенную: зачастую то, что кажется безразличным, на самом деле совсем не таково. Если бы случилось что-либо, на ваш взгляд стоящее внимания, необходимо, чтобы я был немедленно предупрежден; поэтому, как только вы получите это письмо, пошлите

Филиппа на наемной лошади в[34]***. Пусть он поселится там до новых распоряжений: это будет у нас подстава на случай нужды. Для текущей переписки достаточно будет почты.

Смотрите не потеряйте этого письма. Перечитывайте его ежедневно как для того, чтобы убедиться, что вы ничего не забыли, так и для того, чтобы удостовериться, что оно при вас. Словом, делайте все, что должен делать человек, которому оказана честь моего доверия. Вы знаете, что, если я буду доволен вами, вы будете довольны мною.

Из замка***, 3 октября 17…

Письмо 102

От президентши де Турвель к госпоже де Розмонд

Вы будете очень удивлены, сударыня, узнав, что я покинула вас столь внезапно. Поступок этот покажется вам крайне странным, но как возрастет ваше изумление, когда вы узнаете его причину.

Может быть, вы найдете, что, поверяя ее вам,

---

[34] Примечания: 34
Деревня на полпути между Парижем и замком госпожи де Розмонд.

я недостаточно уважаю необходимый в вашем возрасте покой и даже пренебрегаю благоговейной почтительностью, на которую у вас столько неоспоримых прав? Ах, сударыня, простите, но сердцу моему очень тяжело, оно должно излить свою муку на груди друга, и нежного, и в то же время благоразумного. Кого же было избрать ему, как не вас? Смотрите на меня как на свою дочь. Отнеситесь ко мне с материнской добротой, молю вас о ней. Быть может, у меня есть и некоторое право на нее из-за моей любви к вам.

Где то время, когда, всецело отдавшись этому похвальному чувству, я не ведала тех, которые, внося в душу пагубное смятение, овладевшее мною сейчас, лишают меня сил бороться и в то же время предписывают борьбу как долг? Ах, эта роковая поездка погубила меня!

Словом, что мне сказать вам? Я люблю, да, люблю безумно.

Увы! За это слово, которое я пишу впервые, слово, которого у меня так часто и тщетно добивались, за сладость хоть один раз сказать его тому, кто его внушил, я готова была бы заплатить жизнью, а между тем беспрестанно должна в нем ему отказывать. Он опять усомнится в моих чувствах, сочтет, что у него есть основания пенять на меня.

Как я несчастна! Почему он, царящий в моем сердце, не может читать в нем? Да, я меньше страдала бы, если бы он знал, как я страдаю. Но даже вы, которой я говорю об этом, можете составить себе лишь слабое представление о моих муках.

Через несколько минут я покину его и этим причиню ему горе. Он будет еще думать, что находится подле меня, а я буду уже далеко: в час, когда я обычно виделась с ним каждый день, я буду в тех местах, где он никогда не был и куда я не должна его допускать. Все приготовления уже закончены: всё здесь, у меня на глазах; я не могу остановить взгляда ни на чем, что не предвещало бы этого жестокого отъезда. Все готово, кроме самой меня!.. И чем больше сердце мое противится ему, тем очевиднее доказывает оно мне необходимость подчиниться.

Я, разумеется, подчинюсь. Лучше умереть, чем жить во грехе. Я чувствую, что и без того достаточно грешна. Я сохранила лишь свое целомудрие, добродетели больше нет. Признаться ли вам: тем, что у меня еще осталось, я обязана ему. Опьяненная радостью видеть его, слышать, сладостным ощущением близости, еще большим счастьем сделать его счастливым, я уже не имела ни власти, ни силы над собой. Едва хватило сил

для борьбы, но их было недостаточно, чтобы устоять. Я трепетала перед опасностью и не могла от нее бежать. Так вот, он увидел, как я страдаю, и сжалился надо мной. Как же мне не любить его? Я обязана ему больше, чем жизнью.

Ах, неужто думаете вы, что я когда-нибудь согласилась бы удалиться от него, если бы, оставаясь с ним, опасалась только за жизнь? Что мне она без него, я была бы безмерно счастлива пожертвовать ею. Я обречена быть вечным источником мук его, беспрерывно защищаться от него, от себя самой, отдавать все свои силы на то, чтобы доставлять ему страдания, когда я хотела бы посвятить их только его счастью, — разве жить так, это не значит без конца умирать? И, однако, такой будет отныне моя участь. Тем не менее я перенесу ее, у меня хватит на это мужества. О вы, которую я избрала своей матерью, примите от меня эту клятву. Примите также клятву в том, что я никогда не скрою от вас ни единого своего поступка. Примите ее, заклинаю вас об этом, как о помощи, в которой нуждаюсь; дав обещание все вам говорить, я привыкну считать, что вы всегда со мной. Ваша добродетель заменит мою. Никогда, разумеется, не соглашусь я на то, чтобы краснеть перед вами. И, сдерживаемая этой мощ-

ной уздой, я буду любить в вас снисходительного друга, наперсницу моей слабости и в то же время чтить ангела-хранителя, спасающего меня от позора.

Достаточно стыда и в том, что мне приходится обращаться к вам с этой просьбой. Роковое следствие самонадеянности! Почему не остереглась я этой склонности раньше, едва почувствовала, что она возникает? Почему льстила себя мыслью, что могу по воле своей обуздать ее или одолеть? Безумная! Как мало я знала любовь! Ах, если бы я боролась с нею более рьяно, может быть, она не завладела бы мною с такой силой. Может быть, тогда и отъезд мой не оказался бы необходимым. Или даже, если бы я все-таки приняла это горестное решение, мне можно было бы не порывать окончательно этой связи — достаточно было бы реже встречаться. Но все сразу потерять! И навсегда! О друг мой!.. Но что это я? Даже в письме к вам я еще блуждаю во власти этих преступных желаний! Ах, уехать, уехать, и пусть, по крайней мере, этот невольный грех искуплен будет принесенными мною жертвами.

Прощайте, уважаемый друг мой. Любите меня, как свою дочь, возьмите меня в дочери и будьте уверены, что, несмотря на мою слабость, я пред-

почла бы умереть, чем оказаться недостойной вашего выбора.

Из замка***, 3 октября 17… час пополуночи.

Письмо 103

От госпожи де Розмонд к президентше де Турвель

Меня больше огорчил ваш отъезд, красавица вы моя милая, чем удивила его причина. Долгого жизненного опыта и участия к вам, которое вы мне внушили, достаточно было, чтобы я поняла, что творится в вашем сердце. И если все досказывать до конца, то письмо ваше не сообщило мне ничего или почти ничего нового. Если бы я узнала обо всем только из него, мне бы не было известно, кто вами любим. Ибо, говоря мне все время о нем, вы ни одного раза не написали его имени. Но я в этом не нуждалась. Я хорошо знаю, кто он. Отметила я это лишь потому, что язык любви всегда таков. Я вижу, что и теперь влюбленные говорят так же.

Я отнюдь не думала, что мне когда-либо придется возвращаться к воспоминаниям, столь далеким от меня и столь не свойственным моим летам. Однако со вчерашнего дня я часто погру-

жалась в эти воспоминания, так как очень хотела найти в них что-либо для вас поучительное. Но что я могу сделать? Лишь восхищаться вами и жалеть вас. Я одобряю принятое вами мудрое решение. Но оно же и пугает меня, ибо из него я делаю вывод, что вы сочли его необходимым. А если уж дело зашло так далеко, очень трудно находиться все время вдали от того, к кому нас беспрерывно влечет сердце.

И все-таки не отчаивайтесь. Для вашей благородной души не может быть ничего невозможного. И если когда-либо вас постигнет несчастье пасть в борьбе (от чего упаси вас бог!), поверьте мне, красавица моя, пусть у вас остается все же утешение, что боролись вы изо всех сил. И к тому же, разве милость Господа нашего по святой его воле не совершает того, что недоступно человеческой мудрости? Может быть, уже завтра он окажет вам свою помощь! И ваша добродетель, испытанная в этих тяжких битвах, выйдет из них еще более чистой и сияющей. Надейтесь на то, что силы, которых вам сейчас не хватает, вы обретете завтра. И рассчитывайте на это не для того, чтобы только на них положиться, а для того, чтобы мужественно их использовать.

Пусть Провидение позаботится о вас и окажет

вам помощь, перед лицом опасности, от которой я не могу вас уберечь! Я же берусь поддерживать вас и утешать в меру своих возможностей. Я не облегчу ваших горестей, но разделю их. Ради этого я охотно буду выслушивать ваши признания. Я понимаю, что ваше сердце испытывает потребность излиться. Мое же вам открыто: годы не настолько оледенили его, чтобы оно оказалось недоступно дружбе. Оно всегда готово будет принять ваши признания. Это небольшое утешение в ваших страданиях, но, по крайней мере, плакать вы будете не одна. И когда злосчастная эта любовь, забрав над вами слишком большую власть, заставит вас говорить о ней, лучше, чтобы разговор был со мною, а не с ним. Вот я и заговорила как вы. Кажется даже — мы с вами вместе не решимся назвать его по имени. Впрочем, мы же отлично понимаем друг друга.

Не знаю, правильно ли я поступаю, рассказывая вам, что он, по-видимому, был глубоко взволнован вашим отъездом. Может быть, благоразумнее было бы умолчать об этом, но я не люблю благоразумия, причиняющего боль друзьям. Однако я вынуждена больше об этом не говорить. Зрение у меня слабое, рука дрожит, и я не в состоянии писать длинных писем, когда я должна делать

это без посторонней помощи.

Прощайте же, красавица моя, прощайте, любимое мое дитя. Да, я охотно удочерю вас: вы обладаете всем, что нужно материнской гордости и радости.

Из замка***, 3 октября 17…

Письмо 104

От маркизы де Мертей к госпоже де Воланж

Поистине, дорогой и добрый друг мой, с большим трудом поборола я чувство гордости, читая ваше письмо. Как! Вы удостаиваете меня полного своего доверия настолько, что даже спрашиваете у меня совета? Ах, я бесконечно счастлива, если заслужила с вашей стороны столь благосклонное мнение, если не обязана им только дружескому предубеждению в мою пользу. Впрочем, какова бы ни была причина, оно в равной степени драгоценно моему сердцу. И если я удостоилась его, это в глазах моих будет лишним побуждением еще больше стараться быть его достойной. Поэтому я (без всяких притязаний давать вам совет) свободно выскажу все, что думаю. Я не очень доверяю себе, так как мое мнение расходится с вашим. Но когда я изложу вам свои доводы, вы

их рассмотрите, и, если не одобрите, я заранее подписываюсь под вашим решением. Во всяком случае, у меня хватит разумения не считать себя разумнее вас.

Если же, однако, — и притом лишь в данном случае — мое мнение вы предпочтете своему, причину мы, по-видимому, найдем в иллюзиях материнской любви. Чувство это — похвальное, и поэтому его не может не быть у вас. Как действительно сказывается оно в решении, которое вы намереваетесь принять? Таким образом, если вам порою и случается заблуждаться, то лишь в выборе добродетелей.

Предусмотрительность — на мой взгляд, та из них, которую следует предпочитать, когда решаешь судьбу ближнего, и в особенности — когда скрепляешь ее такими неразрывными и священными узами, как узы брака. Именно тогда мать, в равной мере мудрая и любящая, должна, как вы прекрасно выразились, «помочь дочери своим жизненным опытом». Но, спрошу я вас, что она должна сделать для достижения этой цели, если не установить ради нее различие между тем, что больше по сердцу, и тем, что должно?

Разве мы не роняем материнский авторитет, разве мы не уничтожаем его, если подчиняем

легкомысленной склонности, кажущуюся мощь которой испытывают лишь те, кто ее опасается, но которая исчезает, как только решаешь не придавать ей значения? Что до меня, то, признаюсь, я никогда не верила в эти непреодолимые, страстные увлечения, в которых мы, словно сговорившись, готовы, по-видимому, находить оправдание своему неблаговидному поведению. Не понимаю, каким образом склонность, внезапно возникающая и столь же внезапно исчезающая, может значить больше, чем непоколебимые правила целомудрия, честности и скромности. И так же точно непонятно мне, почему женщина, поправшая их, может быть оправдана своей так называемой страстью с большим правом, чем вор — страстью к деньгам, а убийца — жаждой мести.

Кто может сказать, что ему никогда не приходилось бороться? Но я всегда старалась убедить себя, что для того, чтобы устоять, достаточно захотеть этого, и до сих пор, по крайней мере, опыт мой всегда подтверждал это убеждение. Чего стоила бы добродетель без налагаемых ею обязанностей? Служение ей — в приносимых нами жертвах, а награду мы обретаем в своем сердце. Истины эти могут отрицаться лишь те-

ми, кому выгодно их обесценить и кто, будучи уже развращен, рассчитывает хоть ненадолго обмануть других, пытаясь дурными доводами оправдать свое дурное поведение.

Но можно ли опасаться этого со стороны простого и робкого ребенка, со стороны ребенка, рожденного вами и воспитанного в чистоте и скромности, что должно было лишь укрепить его благие природные качества? А ведь именно из-за таких опасений, которые я осмелилась бы назвать унизительными для вашей дочери, хотите вы отказаться от выгодного замужества, которое уготовано ей вашим благоразумием. Мне очень нравится Дансени, а с господином де Жеркуром я, как вы знаете, с довольно давних пор редко встречаюсь. Но дружеское чувство к одному и безразличие к другому не мешают мне понимать, как велика разница между двумя этими партиями.

Согласна, что по рождению они равны. Но один без состояния, а другой настолько богат, что даже и без родовитости достиг бы чего угодно. Готова признать, что счастье — не в деньгах, но следует согласиться и с тем, что они весьма ему способствуют. Мадемуазель де Воланж, как вы говорите, достаточно богата для двоих. Однако шестиде-

сяти тысяч ливров дохода, которые у нее будут, не так уж много, когда носишь имя Дансени и надо в соответствии с этим поставить и содержать дом. Мы живем не во времена госпожи де Севинье*. Роскошь поглощает все: ее порицают, но приходится за нею тянуться, и в конце концов излишества лишают необходимого.

Что касается личных качеств, которым вы с полным основанием придаете большое значенье, то с этой стороны господин де Жеркур несомненно безупречен, и он уже это доказал. Я хочу верить и верю, что Дансени ему ни в чем не уступает, но имеем ли мы тому доказательства? Правда, до сих пор он как будто бы свободен был от свойственных его возрасту недостатков и вопреки духу нашего времени стремился вращаться в хорошем обществе, что является благоприятным для него предзнаменованием. Но кто знает — не обязан ли он этим скромным поведением лишь ограниченности своих средств? Даже если не боишься прослыть игроком или распутником, для игры и для распутства нужны деньги, и можно любить пороки, даже остерегаясь их крайностей. Словом, он не первый и не последний из тех, кто вращается в приличном обществе лишь потому, что не имеет возможности жить по-другому.

Я не говорю (упаси боже!), что так о нем думаю. Но здесь есть известный риск, и как вы стали бы упрекать себя, если бы все сложилось неудачно! Что ответили бы вы дочери, если бы она сказала вам: «Матушка, я была молода, неопытна, поддалась даже простительному в моем возрасте заблуждению. Но небо, предвидя мою слабость, даровало мне в помощницы и хранительницы мудрую мать. Почему же, позабыв свою предусмотрительность, согласились вы на то, что сделало меня несчастной? Разве мне подобало самой выбирать себе супруга, когда я понятия не имела о том, что такое брачная жизнь? Даже если я и хотела этого, разве вы не должны были воспрепятствовать? Но у меня и не было никогда этого безумного желания. Твердо решив повиноваться вам, я почтительно и безропотно ждала вашего выбора. Я никогда не отступала от должной покорности вам и, однако, переношу теперь страдания, выпадающие на долю непокорных детей. Ах, меня погубила ваша слабость…» Может быть, уважение к вам заглушило бы ее жалобы, но материнская любовь догадается о них, как бы дочь ни скрывала своих слез. Они все равно попадут в ваше сердце. Где тогда станете вы искать утешение? Не в безрассудной ли любви, против

которой должны были вооружить ее и которой, напротив, допустили ее соблазниться?

Не знаю, друг мой, не слишком ли во мне сильно предубеждение против этой самой страсти, но я считаю ее опасной даже в браке. Не то чтобы я не одобряла достойного и нежного чувства, которое украшает брачные узы и облегчает налагаемые ими обязанности, но не ему подобает скреплять их: не этому преходящему наваждению решать при выборе, определяющем всю нашу жизнь. И действительно, для того чтобы выбирать, надо сравнивать, а как это возможно, если мы увлечены одним лишь предметом, если и его-то нельзя по-настоящему узнать, находясь в состоянии опьянения и ослепления?

Поверьте мне, я не раз встречала женщин, зараженных этим пагубным недугом, и некоторые из них делали мне немало признаний. Послушать их, так нет ни одного возлюбленного, который не являлся бы образцом совершенства. Но совершенства эти существуют только в их воображении. Их взбудораженные головы только и грезят, что о прелестях и добродетелях: они наслаждаются, украшая ими своих избранников. Это — облачение божества, надетое часто на отвратительных идолов. Но каким бы он ни

был, раз уж они облачили его таким образом, то, одураченные творением своих же рук, падают пред ним ниц и поклоняются. Или дочь ваша не любит Дансени, или испытывает тот же обман чувств; они оба подпали ему, если их чувство взаимно. Итак, ваше основание для того, чтобы соединить их навеки, сводится к уверенности, что они друг друга не знают и знать не могут. Но, скажете мне вы, разве ваша дочь и господин де Жеркур лучше знают друг друга? Нет, конечно, но тут нет хотя бы самообмана, они просто совсем друг друга не знают. Что в таком случае происходит между супругами, которые, как я полагаю, люди порядочные? То, что каждый из них изучает другого, наблюдает за самим собой и сравнивает, старается выяснить и вскоре соображает, какими из своих вкусов и желаний ему надо пожертвовать, чтобы совместная жизнь была спокойна. Эти небольшие жертвы отнюдь не тягостны, ибо приносятся взаимно и были заранее предусмотрены. Вскоре они порождают взаимную доброжелательность, а привычка, укрепляющая те склонности, которых она не разрушает, постепенно приводит мужа и жену к той сладостной дружбе, к тому нежному доверию, которые в сочетании с уважением и составляют,

по-моему, подлинное и прочное супружеское счастье.

Увлечения любви, может быть, и более сладостны. Но кому не известно, что они зато менее устойчивы, и каких только опасностей не таит мгновение, которое их разрушает. Именно тогда малейшие недостатки представляются убийственными, непереносимыми из-за полной своей противоположности покорившему нас образу совершенства. Каждый из супругов, однако, думает, что изменился лишь другой, сам же он, как и раньше, стоит того, во что был оценен минутным заблуждением. Он уже не ощущает былого очарования, но удивляется тому, что сам его не порождает. Это унижает его, оскорбленное тщеславие ожесточает души, усиливает взаимные обиды, вызывает раздражение, а затем и ненависть, и в конце концов за мимолетные наслаждения приходится платить годами несчастья.

Вот, дорогой друг, мой образ мыслей по поводу того, что нас занимает. Я не защищаю его, а лишь излагаю. Решать должно вам. Но если вы останетесь при своем мнении, прошу вас сообщить мне доводы, оказавшиеся сильнее моих. Я была бы рада поучиться у вас, а главное — успокоиться

относительно судьбы вашей милой дочери, ибо горячо желаю ей счастья и из дружеских чувств к ней, и из тех, которые навеки соединили меня с вами.

Париж, 4 октября 17…

Письмо 105

От маркизы де Мертей к Сесили Воланж

Итак, малютка, вы очень огорчены, вам ужасно стыдно! А этот господин де Вальмон очень злой человек, не так ли? Как! Он смеет обращаться с вами, как с женщиной, как с самой любимой женщиной! Он учит вас тому, что вам до смерти хотелось узнать! Вот это уж поистине непростительно. А вы со своей стороны, вы хотите сохранить целомудрие для своего возлюбленного (который на него не посягает); в любви вам дороги одни лишь страдания, а не радости. Лучшего не придумаешь, вы годитесь прямо в героини романа. Страсть, несчастье, а ко всему еще и Добродетель — сколько превосходных вещей! Среди этого блеска, правда, порой становится скучно, но он так благородно выглядит в романе.

Посмотрите-ка на эту бедную девочку, как ее жалко! На следующий день у нее были темные

круги под глазами! А что вы скажете, когда это будут глаза вашего любимого? Полноте, ангел мой, не всегда у вас будут такие глаза, не все мужчины — Вальмоны. А потом — не осмеливаться поднимать таких глаз! О, на этот раз вы были правы: все прочитали бы в них, что именно с вами приключилось. Однако, поверьте мне, что, если бы это было так, у наших женщин и даже у наших девиц взоры были бы поскромнее.

Несмотря на похвалы, которые, как видите, я все-таки вынуждена вам расточать, надо признать, что самого лучшего вы не сделали: не сказали всего своей мамаше. Вы же так хорошо начали: бросились в ее объятия, рыдали, она тоже плакала. До чего трогательная сцена! И как жаль, что она осталась недоконченной. Ваша нежная мать вне себя от радости: она на всю жизнь заточила бы вас в монастырь, чтобы помочь вам сохранить добродетель. А уж там вы любили бы Дансени, сколько вам было бы угодно, без соперников и без греха. Вы бы предавались скорби, сколько могли, и уж наверно Вальмон не явился бы, чтобы нарушать вашу печаль докучными наслаждениями.

Но, кроме шуток, можно ли на шестнадцатом году жизни быть таким ребенком, как вы? Вы

совершенно правы, когда говорите, что не заслуживаете моего доброго отношения. А ведь я хотела быть вам другом: с такой матерью, как ваша, и с таким мужем, как тот, которого она собирается вам дать, вы, пожалуй, нуждаетесь в друге. Но если вы не станете взрослее, что прикажете с вами делать? На что можно надеяться, когда то, что обычно приводит девушек в разум, у вас его, по-видимому, отнимает?

Если бы вы способны были поразмыслить хоть минутку, вы бы сразу поняли, что вам надо радоваться вместо того, чтобы хныкать. Но вы ведь стыдитесь, и вам это неприятно! Ну так успокойтесь: стыд, порождаемый любовью, все равно что ее боль; его испытываешь только один раз. Потом можно изображать его, но уже его не ощущаешь. Между тем наслаждение остается, а это чего-нибудь да стоит! Сквозь вашу болтовню я, кажется, разобрала, что вы, может быть, очень способны оценить его. Ну же, проявите немного искренности. Скажите, волнение, которое мешало вам поступать так, как вы говорили, заставляло защищаться не так решительно, как вы могли бы, и даже как будто жалеть, что Вальмон удалился, — волнение это было вызвано стыдом или наслаждением? А уменье Вальмона говорить

таким образом, что просто не знаешь, как ему ответить, не следствие ли его уменья действовать? Ах, малютка, вы лжете и притом лжете своему другу! Это нехорошо. Но хватит об этом.

То, что для всех было бы удовольствием и могло бы только им и остаться, в вашем положении — настоящее счастье. В самом деле, находясь между матерью, чья любовь вам необходима, и возлюбленным, чью любовь вы хотели бы сохранить навсегда, вы сами должны понять, что единственная возможность достичь этих двух противоположных целей — это заняться кем-то третьим. Новое приключение отвлечет вас, в глазах вашей мамы все будет иметь такой вид, будто из покорности ее воле вы пожертвовали неугодной ей склонностью, а возлюбленный станет высоко чтить вас за способность доблестно от него защищаться. Беспрестанно уверяя его в своей любви, вы не дадите ему последних ее доказательств. Отказ ваш, столь нетрудный в вашем положении, он не преминет отнести за счет вашей добродетели. Может быть, он станет сетовать на него, но полюбит вас еще сильнее. А за то, что вы обретете двойную заслугу — в глазах одной, пожертвовав любовью, а в глазах другого, сопротивляясь любви, — вам придется заплатить

недорогой ценой: вкушать наслаждения любви. О, скольким женщинам пришлось потерять свою добрую славу, которую они отлично сохранили бы, если бы могли поддержать ее подобным способом!

Разве выход, который я вам предлагаю, не кажется вам самым разумным, равно как и самым приятным? А знаете, чего вы добились нынешним своим поведением? Мама ваша, приписавшая усиление вашей тоски усилению любовного чувства, крайне разгневана этим и, чтобы наказать вас, ждет только случая окончательно в этом убедиться. Мне она сообщила, что, может быть, пойдет даже на то, чтобы предложить вам выйти за него, — с единственной целью вырвать у вас признание. И если, поддавшись на эту коварную нежность, вы ответите согласно велению сердца, то вас вскоре надолго, может быть даже навсегда, заточат, и уже тогда вы наплачетесь из-за своей слепой доверчивости.

На хитрость, которую она намерена против вас применить, надо ответить хитростью. Начните же с того, что, выказывая меньше грусти, заставьте ее поверить, будто вы меньше думаете о Дансени. Она тем легче убедится в этом, что таково обычно действие разлуки. И она будет

тем более довольна вами, что усмотрит в этом лишний повод порадоваться своему благоразумию, подсказавшему ей такое средство. Но если, сохраняя еще кое-какие сомнения, она все же решит испытать вас, сделайте вид, что вы, как девушка из благородной семьи, готовы ей во всем повиноваться. Да и чем вы в таком случае рискуете? В отношении того, что вообще представляет собою муж, один другого стоит. Самый нудный и назойливый не так докучен, как мать.

Успокоившись насчет вас, ваша мама наконец-то выдаст вас замуж. И тогда, обладая уже большей свободой действий, вы сможете — по желанию — оставить Вальмона и взять Дансени или даже сохранить их обоих. Ибо советую вам быть осмотрительной: ваш Дансени очень мил, но он из тех мужчин, которых можно иметь, когда вздумается, и на столько времени, на сколько вздумается, — с ним поэтому можно не стесняться. С Вальмоном дело обстоит иначе: сохранить его нелегко, а бросить опасно. С ним надо вести себя очень ловко, а если ловкости нет, нужна большая податливость. Но зато, если бы вы сумели привязать его к себе, как друга, это было бы большим счастьем! Он тотчас бы выдвинул вас в первые ряды наших самых модных женщин. Вот

каким образом достигают положения в обществе, а не краснея и плача, как тогда, когда ваши монахини заставляли вас обедать, стоя на коленях.

Итак, если вы будете умницей, то постараетесь помириться с Вальмоном, который, наверно, очень на вас рассержен. А так как надо уметь исправлять свои оплошности, то не бойтесь первой пойти ему навстречу. Вскоре вы сами узнаете, что если первые авансы делают мужчины, то затем почти всегда наступает наша очередь. У вас для этого есть отличный предлог: вы не должны оставлять у себя мое письмо, и я требую, чтобы вы передали его Вальмону, как только прочтете. Однако не забудьте сперва запечатать его снова. Во-первых, вам надо оставить за собою заслугу первого шага к примирению с ним, чтобы не получилось, будто вы действуете по моему совету. А во-вторых, на всем свете нет, кроме вас, никого, с кем бы я была настолько дружна, чтобы говорить так, как с вами.

Прощайте, ангел мой. Следуйте моим советам и сообщите мне, пошли ли они вам на благо.

P. S. Кстати, забыла… еще одно слово. Вам надо обратить сугубое внимание на свой стиль. Вы продолжаете писать по-детски. Я понимаю, отчего это происходит: вы говорите все, что думаете,

и ничего такого, чего бы не думали. Между нами двумя это вполне допустимо: ведь мы не должны ничего скрывать друг от друга.

Но со всеми прочими! Особенно с вашим возлюбленным! Вы всегда будете казаться дурочкой. Поймите, что когда вы кому-нибудь пишете, то делаете это для него, а не для себя. Поэтому вам надо стараться говорить ему не столько то, что вы думаете, сколько то, что ему больше понравится.

Прощайте, мой ангелочек, целую вас, вместо того чтобы бранить, в надежде, что вы станете благоразумнее.

Париж, 4 октября 17…

Письмо 106

От маркизы де Мертей к виконту де Вальмону

Замечательно, виконт, и на этот раз я от вас просто без ума! Впрочем, после первого из ваших двух писем можно было ожидать второго, поэтому оно меня не удивило. Уже гордясь своим будущим успехом, вы требовали награды и спрашивали, готова ли я расплачиваться, но я-то отлично видела, что мне вовсе незачем торопиться. Да, честное слово, читая ваш изумительный рассказ об этой нежной сцене, которая вас так

взволновала, при виде вашей сдержанности, достойной самых лучших времен нашего рыцарства, я раз двадцать подумала: дело проиграно!

Но ведь иначе и быть не могло. Как же, по-вашему, должна поступить несчастная женщина, которая отдается, а ее не берут? Право же, в подобных случаях надо спасать хотя бы честь, что и сделала ваша президентша. Относительно себя могу сказать, что, на мой взгляд, ее образ действий производит известное впечатление, и, что касается меня, я намерена применить его при первом же достойном того случае. Но даю себе слово, что если тот, ради кого я потрачу усилия, не воспользуется обстоятельствами лучше, чем вы, он уж наверно должен будет навсегда от меня отказаться.

Так, значит, вы остались решительно ни при чем? И это с двумя женщинами, из которых одна уже пережила великое событие, а другая только о нем и мечтала! Знайте же — хотя вы будете считать, что я хвастаю, и скажете, что легко пророчествовать задним числом, — могу поклясться, что я этого ожидала. Дело в том, что вы лишены настоящей одаренности в своем искусстве: вы умеете лишь то, чему научились, а сами ничего изобрести не способны.

Поэтому, как только обстоятельства не укладываются в рамки того, что вы считаете обычным правилом, и вам надо сойти с привычной дороги, вы становитесь беспомощным, как школьник. Словом, для того чтобы вы растерялись, оказалось достаточно, с одной стороны, ребяческой выходки, а с другой — нового приступа целомудрия, и все только потому, что это случается не каждый день. И вы не сумели ни предвидеть их, ни устранить. Ах, виконт, виконт! Вы учите меня не судить о мужчинах по их успехам. Вскоре придется о вас говорить: вот тогда-то он был молодец. И теперь, нагромоздив глупость на глупость, вы обращаетесь за советом ко мне! Словно у меня только и дел, что исправлять ваши глупости. Право, это может потребовать очень много времени.

Как бы то ни было, но одно из этих приключений начато вопреки моему желанию, и в него я вмешиваться не стану. Что касается другого, то в нем вы и мне хотели сделать приятное, и потому я считаю его своим делом. Прилагаемого к сему письма, которое вы сперва прочтете, а потом передадите малютке Воланж, будет более чем достаточно, чтобы она вернулась в ваши объятия. Но, прошу вас, уделите этой девочке настоящее внимание, и сделаем сообща так, чтобы она дове-

ла до отчаяния свою мать и Жеркура. Можете, не опасаясь, увеличивать дозы. Я вполне ясно вижу, что ими юную особу не испугаешь. А когда мы добьемся того, что нам нужно, пусть уж из нее выходит то, что выйдет.

Меня она уже совершенно не интересует. Сперва мне хотелось сделать из нее интриганку хотя бы второго разряда и взять ее на вторые роли при себе. Но теперь я вижу, что материал неподходящий. В ней есть какое-то глупое простодушие, которое не поддалось даже лекарству, примененному вами, а уж оно-то обычно производит должное действие. На мой взгляд, это самая опасная для женщин болезнь. Она прежде всего свидетельствует о почти неизлечимой и все портящей слабохарактерности. Поэтому, пытаясь выработать из этой девочки интриганку, мы сделаем из нее всего-навсего доступную женщину. А я считаю, что нет ничего более пошлого, чем легкомыслие по глупости, когда отдаешься, не зная как и почему, лишь потому, что тебя атакуют, а ты не умеешь обороняться. Такого рода женщины — только инструменты для удовольствия.

Вы скажете, что из нее только это и требуется сделать и что для наших целей этого вполне достаточно. Пусть так. Но не надо забывать, что все

очень скоро узнают, какие пружины и двигатели приводят в действие такого рода инструменты. Поэтому, чтобы использовать этот без опасности для самих себя, мы должны поспешить, остановиться вовремя, а затем сломать его. По правде сказать, у нас не будет недостатка в средствах избавиться от нее: Жеркур без труда добьется ее заточения, когда мы того пожелаем. И действительно, раз уж он убедится, что надежды его обмануты, раз это станет всем известно, не все ли нам будет равно, если он захочет ей мстить, лишь бы он оставался безутешен? То, что я говорю о муже, вы, наверно, думаете о матери, — значит, игра стоит свеч!

Это решение, которое я в конце концов приняла, так как считаю его наилучшим, побудило меня повести молодую особу быстрым темпом, как вы увидите из моего письма к ней. Поэтому очень важно не оставлять у нее в руках ничего такого, что могло бы нас выдать, и я прошу вас быть в этом отношении внимательным. При соблюдении этой предосторожности я беру на себя заботу о нравственном воздействии, а остальное — ваше дело. Если, однако, впоследствии мы обнаружим, что простодушие поддается лечению, то всегда успеем переменить план. Все равно

рано или поздно нам пришлось бы заняться тем, что мы собираемся сделать, так что ни при каких обстоятельствах труды наши даром не пропадут.

Знаете ли вы, что с моими трудами это едва не случилось и что звезда Жеркура едва не оказалась сильнее моей предусмотрительности. Ведь у госпожи де Воланж в некий момент проявилась вдруг материнская слабость! Она возымела желание выдать свою дочь за Дансени! Вот что означало это более нежное внимание к ней, которое вы заметили на другой день. И это опять вы оказались бы причиной такого венчающего дело конца! К счастью, нежная мать мне об этом написала, и я надеюсь, что мой ответ отрезвит ее. В нем я так распространяюсь о добродетели, а главное, так льщу ей самой, что она должна уверовать в мою правоту.

Мне очень жаль, что у меня не было времени снять копию со своего письма, чтобы вы убедились в строгости моих нравственных правил. Вы увидели бы, до чего я презираю женщин, достаточно испорченных, чтобы завести себе любовника! Как легко быть строгой на словах! Это вполне безвредно для других и нисколько не стесняет нас. К тому же мне небезызвестно, что милейшая дама, как и всякая другая, обладала в

молодые годы кое-какими маленькими слабостями, и я ничего не имела против того, чтобы она почувствовала себя униженной хотя бы перед своей собственной совестью: меня это несколько вознаграждало за похвалы, которые я расточала ей против совести моей. Точно так же и в том же самом письме мысль, что я причиняю зло Жеркуру, дала мне мужество хорошо о нем отозваться.

Прощайте, виконт. Я весьма одобряю ваше решение задержаться на некоторое время там, где вы находитесь. Я не имею никакой возможности ускорить ваше продвижение, но советую вам развлечься с общей нашей подопечной. Что же касается меня, то, несмотря на вашу любезную цитату, вы сами видите, — придется обождать и, без сомнения, согласитесь — не по моей вине.

Париж, 4 октября 17…

Письмо 107

От Азолана к виконту де Вальмону

Сударь! Согласно вашему приказанию, я, как только получил ваше письмо, отправился к господину Бертрану, который и передал мне двадцать пять луидоров, как вы распорядились. Я попросил его дать мне еще два для Филиппа,

которому я велел тотчас же выезжать, как вы изволили мне написать, и у которого денег не было. Но господин ваш поверенный отказал мне в этом, сказав, что на этот счет от вас распоряжения нет. Поэтому я вынужден был дать Филиппу из своих денег, и если на то будет ваша милость, вы мне их зачтете.

Филипп уехал вчера вечером. Я строго-настрого наказал ему не отлучаться из придорожного кабачка, чтобы его всегда можно было найти, ежели бы он понадобился.

После того я немедленно отправился к госпоже президентше, чтобы повидать мадемуазель Жюли, но ее не было дома, и я поговорил только с Лалером, от которого ничего узнать не смог, так как после своего приезда он бывал в доме лишь в часы трапез. Всю службу нес второй лакей, а вам, сударь, известно, что его я не знаю. Но сегодня я снова занялся этим делом.

Утром я опять зашел к мадемуазель Жюли, и она, по-видимому, была мне очень рада. Я спросил ее о причине возвращения ее хозяйки, но она сказала, что ничего об этом не знает, и я думаю, что она говорит правду. Я упрекнул ее за то, что она не предупредила меня о своем отъезде, но она стала уверять, что сама узнала о нем лишь

накануне вечером, когда пришла помочь своей госпоже раздеться на ночь. Таким образом, бедняжка всю ночь укладывала вещи и спала не более двух часов. Из комнаты госпожи она вышла лишь во втором часу ночи, и в это время та еще только принималась что-то писать.

Утром перед самым отъездом госпожа де Турвель вручила привратнику замка какое-то письмо. Мадемуазель Жюли не знает, кому оно было адресовано. Она говорит, что, может быть, вашей милости, но вы ничего не изволили мне сказать.

В дороге лицо у госпожи де Турвель все время скрыто было капюшоном; и поэтому его не было видно. Но мадемуазель Жюли почти уверена, что она часто плакала. Пока они ехали, она не произнесла ни слова и не пожелала остановиться в [35]***, как сделала на пути в замок, что не очень-то понравилось мадемуазель Жюли, которая уехала не позавтракав. Но, как я ей сказал, на то уж господская воля.

По приезде госпожа де Турвель тотчас же легла, но оставалась в постели всего часа два. Встав, она вызвала к себе швейцара и велела никого не

---

[35] Примечания: 35
Все та же деревня на полдороге.

принимать. Одеваться она не стала. Она вышла к обеду, но съела только немного супа и тотчас же встала из-за стола. Кофе ей подали в спальню, и тогда же к ней зашла мадемуазель Жюли. Она застала свою хозяйку за разборкой бумаг в секретере и увидела, что это все были письма. Готов поручиться — письма вашей милости. А из трех, которые пришли днем, одно она не выпускала из рук до самого вечера! Я уверен, что и оно от вашей милости. Но почему же она тогда взяла да уехала? Меня это удивляет. Впрочем, ваша милость, наверно, изволите это знать, и к тому же это не мое дело.

После обеда госпожа президентша прошла в библиотеку, взяла две книги и отнесла их в свой будуар. Но мадемуазель Жюли уверяет, что за весь день она и пятнадцати минут не смотрела в книгу, а все перечитывала то письмо да мечтала, подперев щеку рукой. Так как мне пришло в голову, что вашей милости приятно было бы знать, что это за книги, а мадемуазель Жюли сказать мне не сумела, я попросил сегодня провести меня в библиотеку под тем предлогом, будто я хочу ее осмотреть. На полках не хватает лишь двух книг: одна — это второй том «Христианских мыслей»*, а другая — первый том произведения под назва-

нием «Кларисса»*. Пишу так, как там значится. Вы, может быть, сами изволите догадаться, что это такое.

Вчера вечером госпожа де Турвель не ужинала, она пила только чай.

Сегодня утром она очень рано позвонила, велела тотчас же подать лошадей, и не было еще девяти часов, как она слушала у Фельянов обедню*. Хотела также исповедоваться, но духовник ее отсутствовал; он вернется только через неделю или через десять дней. Мне кажется, что и об этом следует доложить вашей милости.

Потом она вернулась домой, позавтракала, а затем села что-то писать и занималась этим около часа. Вскоре мне представился случай сделать то, что так желательно было вашей милости: письма на почту отнес я. Писем госпоже де Воланж не обнаружилось, но одно я все же посылаю вам, сударь, — письмо господину президенту; мне казалось, что оно должно быть наиболее интересным. Имелось и письмо на имя госпожи де Розмонд, но я подумал, что ваша милость всегда сможете прочесть его, если пожелаете, и потому отправил. Впрочем, вашей милости и без того все станет известно, так как госпожа президентша написала и вам. В дальнейшем я смогу получать

все письма, с которыми пожелает ознакомиться ваша милость. Ибо слугам почти всегда их передает мадемуазель Жюли, а она уверяет меня, что из симпатии ко мне, а также к вашей милости охотно сделает все, что я захочу.

Она даже не захотела брать денег, которые я ей предложил. Но я думаю, ваша милость не откажетесь сделать ей какой-нибудь подарочек, и, если вам будет угодно, я без труда узнаю, что доставило бы ей удовольствие.

Надеюсь, ваша милость не скажете, что я нерадиво служу вам, и мне очень хотелось бы оправдаться от упреков, которые вы изволили мне сделать. Если я не знал об отъезде госпожи президентши, то как раз по причине моего пылкого желания послужить вашей милости, — оно-то и заставило меня выехать в три часа пополуночи, и я не смог повидать мадемуазель Жюли накануне вечером, как обычно, так как отправился ночевать во флигель для приезжей прислуги, чтобы не разбудить никого в замке.

Что до упрека вашей милости насчет моего частого безденежья, так оно происходит оттого, что, во-первых, я люблю, как вы сами изволите видеть, содержать себя в чистоте, а во-вторых, надо же поддерживать честь ливреи, которую

носишь. Я, конечно, знаю, что мне следовало бы хоть немножко откладывать на черный день, но я целиком полагаюсь на щедрость вашей милости, как очень доброго господина.

Что же до того, чтобы поступить на службу к госпоже де Турвель, оставаясь в то же время и на службе у вашей милости, то я уповаю, что ваша милость не станете этого от меня требовать. У госпожи герцогини было совсем иное дело, но уж совсем не годится мне носить ливрею судейского дворянина, после того как я имел честь быть егерем вашей милости. Во всем же прочем вы, сударь, можете располагать тем, кто имеет честь пребывать со всем почтением и любовью нижайшим вашим слугой

Ру Азолан, *егерь.*

Париж, 5 октября 17… одиннадцать часов вечера.

Письмо 108

От президентши де Турвель к госпоже де Розмонд

О моя снисходительная матушка, как я вам благодарна и как нужно мне было ваше письмо! Я читала и перечитывала его без конца, будучи

не в силах от него оторваться. Ему обязана я единственными не столь уж тягостными минутами, которые провела со времени отъезда. Как вы добры! Значит, мудрость и добродетель могут сочувствовать слабости! Вы сжалились над моими страданиями! О, если бы вы их знали!.. Они невыносимы. Я думала, что уже изведала все муки любви, но самая неизъяснимая мука, которую нужно ощутить, чтобы иметь о ней представление, — это разлучиться с любимым человеком, и разлучиться навсегда!.. Да, страдание, гнетущее меня сейчас, возобновится завтра, будет длиться всю мою жизнь! Боже мой, как я еще молода, сколько мне еще предстоит страдать!

Самой стать виновницей своего несчастья, собственными руками разрывать себе сердце и, испытывая эту невыносимую боль, ежесекундно ощущать, что ее можно прекратить одним только словом, но слово это — преступно. Ах, друг мой!

Приняв столь тягостное для меня решение удалиться от него, я надеялась, что разлука укрепит мое мужество и силы. Но как я ошиблась! Кажется, она вместо этого окончательно их уничтожит. Правда, мне приходилось сильнее бороться, но даже когда я сопротивлялась, то не была лишена всего: я с ним иногда виделась. Часто даже не

решаясь поднять на него глаза, я чувствовала, как его взгляд пристально устремлен на меня. Да, друг мой, я его ощущала; казалось, он согревал мне душу и, минуя даже мои глаза, доходил все же до моего сердца. Теперь же в тяжком моем одиночестве, когда я разлучена с тем, кто мне всего дороже, когда я наедине со своим горем, все мгновения моего безрадостного существования насыщены слезами, и ничто не смягчает их горечь. Никакое утешение не облегчает моих жертв, а жертвы, которые я до сих пор принесла, делают только более мучительными те, которые мне осталось еще принести.

Не далее как вчера я это очень живо почувствовала. Среди полученных мною писем одно было от него. Слуга, который принес их, находился еще в двух шагах от меня, а я уже узнала это письмо среди всех других. Я невольно встала с места; я дрожала, с трудом подавляя волнение. Однако в этом состоянии было нечто приятное. Но когда через мгновение я оказалась одна, обманчивая эта сладость тотчас же улетучилась, и мне только пришлось принести лишнюю жертву. И действительно, могла ли я распечатать это письмо, которое в то же время жаждала прочесть. Меня преследует какой-то злой рок, по воле которо-

го все, что, казалось бы, могло утешить меня, превращается, напротив, в необходимость переносить новые лишения, а они становятся еще более жестокими из-за мысли о том, что их разделяет господин де Вальмон.

Вот наконец это имя, которое владеет моими мыслями и которое мне так трудно было написать. Вы меня как будто упрекнули за это, и я ужасно огорчилась. Умоляю вас не сомневаться, что ложный стыд не поколебал моего к вам доверия. А почему бы мне стыдиться назвать его? Ах, я краснею за свои чувства, а не за вызвавший их предмет. Кто более достоин внушать их, чем он? И все же, не знаю, почему имя это с таким трудом выходит из-под моего пера. И даже сейчас мне пришлось поразмыслить, прежде чем написать его. Но возвращаюсь к нему.

Вы сообщили мне, что он, по-видимому, был глубоко взволнован моим отъездом. Что же он сделал? Что сказал? Заговорил ли о возвращении в Париж? Прошу вас, убеждайте его, как только сможете, не делать этого. Если он правильно судит обо мне, то не должен пенять на меня за этот шаг. Но он должен зато понять, что решение мое бесповоротно. Одно из самых глубоких моих терзаний — то, что я не знаю, что он думает. Правда, у

меня есть его письмо… Но вы, наверно, согласны со мной, что мне не следует его распечатывать.

Лишь благодаря вам, снисходительный друг мой, я не полностью разлучена с ним. Я не хочу злоупотреблять вашей добротой. Я отлично понимаю, что ваши письма не могут быть длинными, но не откажете же вы написать два слова своей дочери: одно — чтобы поддержать в ней мужество, другое — чтобы ее утешить. Прощайте, мой высокочтимый друг.

Париж, 5 октября 17…

Письмо 109

От Сесили Воланж к маркизе де Мертей

Лишь сегодня, сударыня, передала я господину де Вальмону письмо, которое имела честь от вас получить. Я хранила его четыре дня, хотя часто меня и брал страх, как бы его не обнаружили. Однако я очень старательно прятала его, а когда мне становилось уж очень горько на душе, я запиралась и перечитывала его.

Теперь я вижу, что то, что я считала такой ужасной бедой, почти даже и не беда. И надо признаться, что это доставляет большое удовольствие, так что я даже почти уже не огорчаюсь.

Вот только мысль о Дансени иногда меня все же мучит. Но теперь очень часто бывают минуты, когда я о нем вовсе не думаю! К тому же господин де Вальмон очень, очень мил!

Я помирилась с ним уже два дня тому назад. Это было совсем нетрудно: не успела я произнести и двух слов, как он мне сказал, что, если я хочу с ним о чем-нибудь поговорить, он зайдет вечером в мою комнату, и мне оставалось только ответить, что я согласна. А когда он пришел, то можно было подумать, что он вовсе и не сердится, словно я ему ничего не сделала. Он побранил меня только потом, да и то ласково и как-то так... Ну, совсем, как вы, из чего я заключила, что он тоже ко мне очень хорошо относится.

Не могу даже передать вам, сколько забавных вещей он мне рассказал, таких, что я даже не поверила бы, особенно про маму. Я буду очень рада, если вы напишете мне, правда ли все это. А что я не могла удержаться от смеха, так это истинная правда. Дошло до того, что я один раз громко расхохоталась, и мы очень испугались: мама ведь могла услышать, и что бы со мной сталось, если бы она пришла посмотреть, в чем дело! Тут уж она, наверно, водворила бы меня обратно в монастырь.

Приходится соблюдать величайшую осторожность, и, так как господин де Вальмон сам сказал мне, что он ни за что не хотел бы меня скомпрометировать, мы условились, что впредь он будет приходить только для того, чтобы открыть дверь, а потом мы будем уходить в его комнату. Там-то уж совсем нечего бояться. Я уже была там вчера, и сейчас, когда я вам пишу, я опять жду, чтоб он пришел. Теперь, сударыня, я надеюсь, что вы больше не станете меня бранить.

В вашем письме меня очень удивило только одно: то, что вы мне говорите относительно Дансени и господина де Вальмона, — как мне вести себя с ними после замужества. Помнится мне, что как-то, когда мы с вами были в Опере, вы мне говорили совсем обратное — что, выйдя замуж, я уже никого не смогу любить, кроме своего мужа, и что мне даже придется забыть Дансени. Впрочем, я, может быть, не так поняла, и я даже предпочла бы, чтобы это было иначе, ибо теперь я уже не буду так бояться замужества. Я даже хочу, чтоб это наступило, — ведь тогда у меня будет больше свободы. И я надеюсь, что смогу устроиться таким образом, чтобы думать лишь о Дансени. Я уверена, что по-настоящему счастлива буду только с ним. Ибо теперь меня постоянно

мучит мысль о нем, и я счастлива лишь тогда, когда могу о нем не думать. Но это очень трудно, а стоит мне только подумать о нем, как мне тотчас же становится грустно.

Немножко утешает меня то, что, как вы уверяете, Дансени будет меня от этого сильнее любить. Но вполне ли вы в этом уверены? О да, ведь вы не стали бы меня обманывать. Забавно, однако, что люблю я Дансени, а между тем с господином де Вальмоном… Но, как вы говорите, может быть, это к лучшему! Словом, там будет видно.

Я не очень уразумела то, что вы мне говорите насчет моей манеры писать. Кажется, Дансени мои письма нравятся такими, какие они есть. Однако я хорошо понимаю, что не должна ничего говорить ему о том, что у меня происходит с господином де Вальмоном. Так что на этот счет не беспокойтесь.

Мама еще не говорила со мной о замужестве. Но я готова: когда она заговорит, даю вам слово, что сумею солгать, если она захочет поймать меня.

Прощайте, мой добрый друг. Я очень вам благодарна и обещаю, что никогда не забуду всей вашей доброты ко мне. Пора кончать: уже около часу и господин де Вальмон скоро придет.

Из замка ***, 10 октября 17…

Письмо 110

От виконта де Вальмона к маркизе де Мертей

Силы небесные, у меня хватило душевных сил для страдания, дайте же мне душевные силы для счастья[36]. Кажется, именно так изъясняется чувствительный Сен-Пре*. Природа одарила меня щедрее: я владею и тем и другим бытием. Да, друг мой, я одновременно и очень счастлив, и очень несчастен. И раз вы пользуетесь моим полным доверием, я расскажу вам повесть моих страданий и моих радостей.

Знайте же, что моя неблагодарная святоша ко мне по-прежнему сурова: я получил обратно четвертое свое письмо. Может быть, не следует говорить — четвертое. Ибо, когда я получил обратно первое, то сразу догадался, что за этим последуют многие другие, и, не желая тратить даром времени, решил изливать свои сетования в самых общих выражениях и не ставить чисел, так что со второй почты туда и сюда ходит одно и то же письмо, и меняется только конверт. Если прелестница моя кончит тем, чем обычно

---

[36] Примечания: 36
«Новая Элоиза».

кончают прелестницы, и в один прекрасный день смягчится хотя бы от усталости и оставит у себя мое послание, — тогда и настанет время приглядеться к тому, как обстоят дела. Вы сами понимаете, что при этом новом способе переписки я не могу быть очень хорошо осведомлен.

Впрочем, я обнаружил, что непостоянная эта особа переменила наперсницу: во всяком случае, я смог убедиться, что со времени ее отъезда из замка не было доставлено от нее ни одного письма госпоже де Воланж, но целых два пришло на имя старухи де Розмонд. А так как та ничего нам об этом не сказала, так как рта не раскрывает по поводу своей красавицы, о которой прежде говорила без умолку, я вывел из этого заключение, что в наперсницы попала именно она. Предполагаю, что эта великая перемена произошла, с одной стороны, из-за потребности говорить обо мне, а с другой — из-за некоторого стыда обнаружить перед госпожой де Воланж чувство, которое так долго отрицалось. Боюсь, что от этой перемены я только проиграл, ибо чем старее женщины, тем они жестче и строже. Первая наговорила бы ей, конечно, больше дурного обо мне, эта наговорит больше дурного о любви. А чувствительная святоша гораздо больше боится чувства, чем его

предмета.

Для меня единственный способ оказаться в курсе дел — это, как вы сами видите, перехватить держащуюся в тайне переписку. Я уже послал соответствующие распоряжения своему егерю и со дня на день жду их исполнения. До тех же пор я могу действовать только наугад. Поэтому уже целую неделю я тщетно перебираю в уме все известные способы, — и те, что содержатся в романах, и те, что отмечены в моих секретных записках, — но не нахожу ни одного, подходящего к данным обстоятельствам и к характеру героини. Трудность для меня не в том, чтобы к ней проникнуть, хотя бы даже ночью, не в том даже, чтобы усыпить ее и превратить в новую Клариссу. Но прибегать после более чем двух месяцев забот и трудов к способам, мне совершенно чуждым! Рабски влачиться по чужим следам и восторжествовать бесславно!.. *Нет, ей не иметь утех порока вместе со славою добродетели!*[37] Мне мало обладать ею — я хочу, чтобы она мне отдалась. А для этого надо не только проникнуть к ней, но достигнуть этого с ее же согласия, застать ее одну и готовую выслушать меня, а самое

---

[37] Примечания: 37
«Новая Элоиза».

главное — закрыть ей глаза на опасность, ибо если она ее увидит, то сумеет или победить ее, или умереть. Но чем лучше я представляю себе, что именно следует делать, тем труднее мне это выполнять. И даже если вы станете снова издеваться надо мной, я все же признаюсь вам, что, чем больше я занимаюсь этим делом, тем сильнее мое замешательство.

Я думаю, что совсем потерял бы голову, если бы не приятные развлечения, которыми дарит меня наша с вами общая подопечная. Ей обязан я тем, что мне пришлось заняться еще кое-чем, помимо сочинения элегий.

Поверите ли, эта девочка была до того перепугана, что прошло целых три дня, прежде чем ваше письмо произвело должное действие! Вот как одно только ложное представление может исказить самые благоприятные природные наклонности!

Словом, лишь в субботу девица эта стала вертеться около меня и лепетать какие-то слова, сперва еле слышные — до того заглушал их стыд. Но они вызывали краску на лице, и по этому признаку я догадался об их смысле. До тех пор я держался надменно, но, поколебленный столь забавным раскаянием, соблаговолил пообещать, что в тот же вечер приду отпустить красотке

грехи. И эта моя милость принята была со всей благодарностью, подобающей столь великому благодеянию.

Так как я никогда не упускаю из виду ни ваших замыслов, ни своих, то решил воспользоваться этим случаем и узнать, чего по-настоящему стоит эта девочка, а также поторопиться с завершением ее образования. Но для того чтобы свободнее заняться этим делом, мне нужно было сначала переменить место наших свиданий, ибо ее комнату от комнаты матери отделяет лишь чуланчик, и она не чувствовала себя в достаточной безопасности, чтобы развернуться вовсю. Поэтому я решил произвести якобы нечаянно какой-нибудь шум, который напугал бы ее настолько, чтобы она решилась избрать на будущее какое-нибудь более надежное убежище. Но она сама избавила меня и от этого труда.

Малютка смешлива. Чтобы поощрить ее веселость, я решил рассказывать ей в перерывах между нашими занятиями все скандальные приключения, какие только приходили мне в голову. А чтобы они были поострее и произвели на нее особенное впечатление, все их относил на счет ее мамаши, с большим удовольствием наделяя эту даму всевозможными пороками и выставляя

в смешном виде.

Выбор этот я сделал не без тайного умысла: подобные рассказы лучше чего бы то ни было другого придавали смелость моей робкой ученице, в то же время внушая ей глубочайшее презрение к ее матери. А я давно заметил, что, если это средство не всегда необходимо для того, чтобы соблазнить девушку, оно незаменимо и часто наиболее действенно, если хочешь ее развратить. Ибо та, кто не уважает своей матери, потеряет и всякое уважение к себе — вот нравственное правило, которое я считаю настолько назидательным, что очень рад был найти пример для его подтверждения.

Между тем ваша подопечная, отнюдь не думая о нравственности, беспрестанно подавляла смех и, наконец, не выдержала и громко расхохоталась. Мне без труда удалось уверить ее, что она наделала ужасающий шум. Я притворился, что перепуган, и мой страх тотчас же передался ей. Чтобы она получше это запомнила, я не допустил возобновления удовольствий и покинул ее на три часа раньше обычного. Итак, расставаясь, мы условились, что с завтрашнего дня будем встречаться у меня.

Я принимал ее в своей комнате уже дважды. За

этот короткий срок ученица стала почти такой же сведущей, как ее учитель. Да, это правда, — я обучил ее всему, вплоть до утонченностей. Исключил лишь предосторожности.

Занятый таким образом по ночам, я выгадываю то, что могу спать значительную часть дня. А так как общество, находящееся сейчас в замке, для меня нисколько не привлекательно, я за весь день появляюсь в гостиной на какой-нибудь час. С сегодняшнего дня я решил даже обедать у себя в комнате и намерен покидать ее лишь для коротких прогулок. Странности эти относят за счет моего нездоровья. Я объявил, что у меня приступы ипохондрии, а также сказал, что меня слегка лихорадит. Для убедительности мне приходится только говорить медленно, упавшим голосом. Что же до изможденного вида, то уж доверьтесь своей подопечной. *Любовь об этом позаботится*[38].

На досуге я раздумываю, какими способами вновь приобрести те преимущества над своей неблагодарной, которые я утратил, а также сочиняю своего рода «катехизис распутства» для своей ученицы. Мне доставляет удовольствие

---

[38] Примечания: 38
Реньяр. «Любовное безумие»*.

называть там все специальными терминами, и я заранее веселюсь при мысли о занятной беседе, которая должна будет произойти между ней и Жеркуром в их первую брачную ночь. Нет ничего забавнее непосредственности, с которой она уже пользуется тем немногим, что знает на этом языке! Она и представления не имеет, что можно выражаться иначе. Девочка и впрямь обольстительна! Этот контраст наивного простодушия с бесстыдством в речах производит впечатление, а — я уж не знаю почему — мне теперь нравятся только необычные вещи.

Может быть, я уж чересчур увлекся этим приключением, на которое трачу и время и здоровье. Но я надеюсь, что моя мнимая болезнь не только спасает меня от скуки, царящей в гостиной, но и сослужит мне службу у моей суровой святоши, чья свирепая добродетель уживается, однако, с нежной чувствительностью! Я не сомневаюсь, что ее уже осведомили о сем великом событии, и мне ужасно хочется знать, что она о нем думает, тем более что — ручаюсь в этом — она не преминет приписать себе честь быть его причиной. Состояние моего здоровья будет теперь зависеть от впечатления, которое оно станет на нее производить.

Теперь, прелестный друг мой, вы знаете о моих делах не меньше меня самого. Хотел бы в ближайшее время сообщить вам более интересные новости, и прошу вас верить, что среди наслаждений, которые я надеюсь от них вкусить, большое место занимает ожидаемая от вас награда.

Из замка ***, 11 октября 17…

Письмо 111

От графа де Жеркура к госпоже де Воланж

В наших краях, сударыня, все, кажется, уже успокоилось, и мы со дня на день ожидаем разрешения вернуться во Францию. Надеюсь, вы не сомневаетесь, что я по-прежнему стремлюсь очутиться на родине и скрепить там узы, которые должны соединить меня с вами и с мадемуазель де Воланж. Между тем герцог де***, мой двоюродный брат, которому, как вы знаете, я столь многим обязан, только что известил меня о своем отозвании из Неаполя. Он сообщает мне также, что намеревается проследовать через Рим и по дороге осмотреть ту часть Италии, с которой он еще не знаком. Он предлагает мне сопровождать его в этом путешествии, которое продлится полтора-два месяца. Не скрою от вас, что мне было

бы приятно воспользоваться этим случаем, ибо я отлично понимаю, что, будучи женат, лишь с трудом смогу выбрать время для каких бы то ни было отлучек, кроме служебных. Может быть, было бы также более удобно повременить со свадьбой до зимы, поскольку лишь к тому времени в Париж съедутся все мои родственники, и прежде всего маркиз де***, которому я обязан надеждой породниться с вами. Несмотря, однако, на все эти соображения, планы мои в данном случае я полностью подчиняю вашим. И если вы хотя бы в самой малой степени были склонны предпочесть свои прежние намерения, я готов отказаться от своих. Прошу вас только сообщить мне как можно скорее ваше на этот счет решение. Я буду ждать здесь вашего ответа, и лишь он один определит мои действия.

Остаюсь, сударыня, с глубоким уважением и всеми чувствами, подобающими сыну, вашим покорнейшим и проч.

Граф де Жеркур Бастиа, 10 октября 17…

Письмо 112

От госпожи де Розмонд к президентше де Турвель (написано под диктовку)

Только сейчас, красавица вы моя, получила я ваше письмо от 11-го[39], полное нежных упреков. Признайтесь, вам хотелось бы упрекнуть меня посильнее, и если бы вы не вспомнили, что вы моя дочь, то побранили бы меня по-настоящему. Но как это было бы несправедливо! Если я откладывала письмо со дня на день, то лишь потому, что хотела и надеялась ответить вам собственноручно; однако, как вы сами можете убедиться, я и теперь вынуждена пользоваться для этого услугами моей камеристки. Злосчастный ревматизм одолел меня: на этот раз он забрался в мою правую руку, и я сейчас — совершенная калека. Вот что значит для вас, юной и свежей, иметь другом старуху! Приходится страдать от ее недугов.

Как только боли дадут мне передышку, я даю себе слово обстоятельно побеседовать с вами. Пока же знайте только, что я получила оба ваши письма, что они лишь увеличили бы, если бы это было возможно, мои нежные чувства к вам и что я никогда не перестану живейшим образом

---

[39] Примечания: 39
Письмо это не обнаружено.

входить во все, что вас касается.

Племянник мой тоже не совсем здоров, но ничего сколько-нибудь опасного у него нет, и беспокоиться по этому поводу не приходится. Это совсем легкое недомогание, и, на мой взгляд, оно больше отражается на его расположении духа, чем на здоровье.

Мы его почти совсем не видим. Его отчужденность и ваш отъезд не делают наше маленькое общество веселее. Особенно же недостает вас малютке Воланж: она весь день так зевает, что вот-вот проглотит свои кулачки. А в самые последние дни она оказывает нам честь погружаться после обеда в глубокий сон.

Прощайте, красавица моя дорогая. Я неизменно остаюсь вашим любящим другом, вашей мамой, даже сестрой, если бы называться так позволял мне мой возраст. Словом, я привязана к вам самыми нежными чувствами.

Подписано Аделаидой за госпожу де Розмонд.

Из замка ***, 14 октября 17…

Письмо 113

От маркизы де Мертей к виконту де Вальмону

Считаю себя обязанной предупредить вас,

виконт, что в Париже вами уже начинают заниматься, что ваше отсутствие замечено и о причине его уже догадались. Вчера я была на очень многолюдном званом ужине, и там самым определенным образом говорилось, что в деревне вас задерживает романтическая несчастная любовь; тотчас же на лицах всех мужчин, завидующих вашим успехам, и всех покинутых вами женщин изобразилась радость. Послушайтесь моего совета — не давайте укрепиться этим опасным слухам и немедленно приезжайте, чтобы своим присутствием прекратить их.

Подумайте, если хоть раз будет поколеблено представление, что перед вами нельзя устоять, вы вскоре увидите, что вам и действительно начнут гораздо успешнее сопротивляться, что соперники ваши тоже утратят уважение к вам и наберутся смелости для борьбы с вами, ибо кто из них не воображает, что он уж, во всяком случае, сильнее добродетели? В особенности же подумайте хорошенько, что из множества женщин, связью с которыми вы похвалялись, те, которых вы в действительности не имели, будут стараться рассеять заблуждение общества на свой счет, а другие сделают все, чтобы его обмануть. Словом, будьте уж готовы к тому, что вас, быть может,

станут в такой же мере недооценивать, в какой доныне переоценивали.

Возвращайтесь же, виконт, не жертвуйте своей славой ребяческому капризу. С малюткой Воланж вы сделали все, как мы хотели, а что до вашей президентши, то уж конечно, оставаясь в десяти лье от нее, вы ее из головы не выбросите. Уж не считаете ли вы, что она устремится за вами? Может быть, она и думать-то о вас забыла, а если и вспоминает, то лишь для того, чтобы порадоваться вашему унижению. Здесь же, по крайней мере, вы сможете найти случай с блеском проявить себя, в чем сильно нуждаетесь. А если бы вы стали упорствовать в желании продолжать свое нелепое приключение, то не вижу, чем возвращение может вам повредить, — даже напротив.

Право же, если ваша президентша обожает вас, о чем вы мне так много говорили, но что так мало доказывали, — единственным ее утешением, единственной радостью должна быть сейчас возможность беседовать о вас, знать, что вы делаете, что говорите, что думаете, знать, наконец, о вас все до мельчайших подробностей. Все эти пустяки приобретают цену из-за лишений, которые испытываешь. Это крохи хлеба, упавшие со стола богача: тот ими пренебрегает, но бедняк жадно

подбирает их и поглощает. Так вот, бедняжка-президентша и питается теперь этими крохами. И чем больше она их получит, тем меньше будет стремиться насытиться остальным. К тому же, с тех пор как вы знаете, кто наперсница, вы можете не сомневаться, что в каждом письме от нее содержится по меньшей мере одна небольшая проповедь и все назидания, способные, по ее мнению, содействовать укреплению целомудрия и поддержанию добродетели[40]. Зачем же предоставлять одной средства для защиты, а другой — возможность вредить вам?

Я не сказала бы, что разделяю ваше мнение относительно ущерба, который вы якобы потерпели от перемены наперсницы. Во-первых, госпожа де Воланж вас ненавидит, ненависть же всегда проницательнее и изобретательнее, чем симпатия, а вся добродетель вашей старой тетки не заставит ее хотя бы один-единственный раз сказать что-либо дурное о любимом племяннике, ибо и добродетели свойственны слабости. А во-вторых, ваши страхи основаны на совершенно неверном наблюдении.

Неправда, что чем женщины старше, тем они

---

[40] Примечания: 40

«Всего не предусмотришь»*. Комедия.

жестче и строже. Между сорока и пятьюдесятью годами, когда женщины с отчаянием видят, как увядает их лицо, и с бешенством убеждаются, что надо отказаться от притязаний и наслаждений, которые им еще так дороги, они действительно почти всегда становятся желчными ханжами. Этот длительный промежуток времени им необходим для того, чтобы примириться с неизбежностью великой жертвы. Но как только жертва полностью принесена, они разделяются на две категории.

К первой относится большая часть женщин: это те, у которых не было ничего, кроме привлекательной внешности и молодости, — они впадают в тупую апатию, из которой их выводят лишь карты да какие-либо проявления благочестия. Такие женщины почти всегда скучны, зачастую ворчливы, иногда придирчивы, но редко бывают злы. Нельзя также сказать, строги они или нет: лишенные собственных мыслей и чувств, они повторяют безо всякого понимания и без разбора все, что слышат от других, сами же остаются полными ничтожествами.

Вторую категорию, гораздо более редкую, но поистине драгоценную, составляют женщины, обладавшие характером и заботившиеся о том,

чтобы давать пищу своему уму, а потому умеющие создать себе жизнь даже тогда, когда им уже нечего ждать от природы: они принимаются украшать свои духовные качества, как раньше украшали свою внешность. Такие женщины обычно весьма здраво рассуждают, а ум у них твердый, веселый и изящный. Чары внешней прелести они заменяют привлекающей к ним добротой, а также оживленностью, которая тем пленительнее, чем они старше; таким образом и удается им в какой-то мере сблизиться с молодежью, заслуживая ее любовь. Но в таких случаях они весьма далеки от того, чтобы, как вы говорите, быть жесткими и строгими: привычка к снисходительности, длительные размышления о человеческих слабостях, в особенности же воспоминания о своей молодости, — единственное, что привязывает их к жизни, — делают их скорее даже чрезмерно терпимыми.

Словом, я хочу сказать вам, что постоянно стараюсь бывать в обществе старух, ибо очень рано поняла, как важно им понравиться, и среди них мне встречалось немало таких, к которым меня влекли не только соображения выгоды, но и склонность. Тут я останавливаюсь. Ибо теперь вы загораетесь так быстро и в то же время увле-

чения ваши так целомудренны, что я опасаюсь, как бы вы не влюбились внезапно в свою старую тетушку и не сошли бы вместе с нею в могилу, где, впрочем, уже давно пребываете. Возвращаюсь поэтому к делу.

Несмотря на то, что вы, по-видимому, в восторге от своей ученицы, я не могу представить себе, чтобы она занимала хоть какое-нибудь место в ваших планах. Она оказалась под рукой, и вы ею овладели: превосходно! Но ведь это же не может быть увлечением. По правде сказать, даже и обладание тут не полное: ведь вы завладели только ее телом. Я не говорю о сердце ее, ибо не сомневаюсь, что оно вам глубоко безразлично; но даже и помыслы ее заняты отнюдь не вами. Не знаю, заметили ли вы это, но у меня есть доказательство в последнем полученном от нее письме[41]; посылаю вам его, чтобы вы сами могли судить. Обратите внимание, она всегда говорит о вас — «господин де Вальмон»: все мысли ее, даже те, которые пробуждены вами, в конце концов устремлены к Дансени, а его-то она не величает «господином»; он всегда просто Дансени. Этим она отличает его от всех других

---

[41] Примечания: 41
См. письмо 109.

и, даже отдаваясь вам, близость ощущает только к нему. Если такая любовница кажется вам обольстительной, если наслаждения, которые она вам дарит, вас привлекают, вы действительно скромны и нетребовательны! Если вам хочется сохранить ее — согласна: это даже соответствует моим планам. Но мне кажется, что все это не стоит даже пятиминутных хлопот и что надо все же проявить некоторую власть и, к примеру, не допускать ее увидеться с Дансени до тех пор, пока вы ее не заставите хоть немного позабыть его.

Прежде чем я перестану заниматься вами и перейду к себе, должна вам еще сказать, что прием, к которому вы, по вашим словам, намереваетесь прибегнуть, — болезнь — хорошо известен и очень распространен. Право же, виконт, вы не особенно изобретательны! Я, как вы сейчас увидите, тоже иногда повторяюсь, но стараюсь при этом разнообразить хотя бы подробности, а главное — меня оправдывает успех. Я намереваюсь еще раз попытать счастья и затеваю новое приключение. Признаю, что трудностей здесь не представится и славы будет немного. Но, по крайней мере, это меня развлечет, — а я умираю от скуки.

Не знаю уж почему, но после приключения

с Преваном Бельрош стал мне просто невыносим. Он до того усугубил внимание, нежность, поклонение, что нет сил терпеть. Сперва гнев его показался мне забавным. Пришлось, однако, успокоить его, ибо предоставить ему свободу действий означало бы скомпрометировать себя. Но урезонить его не было никакой возможности. Поэтому я решила проявить побольше чувств, чтобы легче было с ним справиться. Но он принял все за чистую монету и с тех пор бесит меня своей беспрерывной восторженностью. Особенное раздражение вызывает его оскорбительное доверие ко мне и уверенность, что теперь я принадлежу ему навсегда. Я чувствую себя поистине униженной. Недорого же он меня ценит, если считает себя достойным того, чтобы я остановила на нем свой окончательный выбор! Однажды он даже заявил мне, что я-де и не могла бы полюбить никого, кроме него. Ну, уж на этот раз потребовалось все мое благоразумие, чтобы я сразу же не разуверила его и не рассказала, как все обстоит на самом деле. Ведь вот чудак: подавай ему исключительные права! Охотно признаю, что он хорошо сложен и внешность у него довольно привлекательная, но, в конце концов, он в любви не более чем ремесленник. Словом, пришло вре-

мя нам расставаться.

Вот уже две недели, как я начала осуществлять этот замысел и поочередно испробовала холодность, капризы, дурное настроение, ссоры. Но упрямец вцепился в меня мертвой хваткой. Придется прибегнуть к более сильному средству, и для этого я увожу его к себе в деревню. Мы отправляемся послезавтра. С нами там будет всего несколько посторонних лиц — не любопытствующих и не слишком проницательных, и мы будем почти так же свободны, как если бы находились в полном одиночестве. Там я уж до такой степени перегружу его любовью и ласками и мы будем так исключительно жить друг для друга, что, ручаюсь, — он еще больше, чем я, захочет положить конец этому путешествию, которое сейчас представляет себе как величайшее счастье. И если он вернется не пресыщенным мною еще больше, чем я им, можете говорить — разрешаю вам это, — что я смыслю в подобных вещах так же мало, как вы.

Предлогом для этого, некоторым образом, затворничества служит намерение по-настоящему заняться моим большим процессом, который действительно будет наконец-то слушаться в начале зимы. Я чрезвычайно этому рада, ибо и

впрямь крайне неприятно, когда все твое благосостояние, можно сказать, висит в воздухе. Не то чтобы меня беспокоил исход тяжбы; прежде всего правда на моей стороне — так уверяют все мои адвокаты, а если бы даже все обстояло иначе, я была бы уж очень неловкой, когда не сумела бы выиграть процесс, в котором против меня одни малолетние да их старый опекун! Но так как в столь важном деле ничего нельзя упускать из виду, со мною будут оба мои адвоката. Как, по-вашему, — веселенькое путешествие? Однако, если оно поможет мне выиграть дело и избавиться от Бельроша, я не пожалею о потерянном времени.

А теперь, виконт, угадайте, кто будет преемником. Даю вам сто очков форы. А впрочем, разве я не знаю, что вы не способны что-либо угадать? Так вот: это Дансени. Вы удивлены, не правда ли? Ведь я еще не дошла до того, что мне остается лишь воспитывать детей. Но этот ребенок заслуживает стать исключением: он обладает только прелестью юности, без ее легкомыслия. Сдержанность, с которой он ведет себя в обществе, устраняет всякие подозрения, и она же делает его особенно приятным, когда остаешься с ним наедине. Разумеется, у меня лично с ним таких свиданий еще не было: сейчас я всего лишь его

наперсница, но, сдается мне, под покровом дружбы у него заметно очень острое влечение ко мне. Жаль было бы, если бы весь этот ум и тонкость чувств оказались принесенными в жертву и отупели подле этой дурочки Воланж. Надеюсь, он ошибается, воображая, что любит ее: она этого далеко не заслуживает. Я отнюдь не ревную к ней, — но ведь это было бы убийством, а я хочу спасти Дансени. Прошу вас поэтому, виконт, приложить все усилия к тому, чтобы он не смог увидеться со своей Сесилью (у него еще сохранилась дурная привычка называть ее так). Первое увлечение всегда сохраняет над нами большую власть, чем думаешь, и я ни в чем не буду уверена, если он увидится с нею теперь, особенно же в мое отсутствие. По возвращении же я беру на себя все и за все ручаюсь.

Я сперва было думала взять молодого человека с собой, но принесла эту мысль в жертву своему привычному благоразумию. Кроме того, я боялась бы, что он заметит что-нибудь между мною и Бельрошем, и была бы в отчаянии, если бы у него возникло хоть малейшее представление о том, что происходит. Пусть — по крайней мере, в его воображении — я останусь чистой и незапятнанной, словом, такой, какой следует быть,

чтобы оказаться достойной его.

Париж, 15 октября 17…

Письмо 114

От президентши де Турвель к госпоже де Розмонд

Дорогой друг мой, я не в силах побороть беспокойства и, не зная даже, будете ли вы в состоянии ответить мне, не могу не расспросить вас. Хотя вы и считаете, что у господина де Вальмона нет ничего опасного, я не разделяю той уверенности в хорошем его состоянии, какой, видимо, проникнуты вы. Нередко случается, что меланхолия и стремление уклониться от общения с людьми оказываются предвестниками серьезного заболевания. Телесные страдания так же, как и душевные, вызывают потребность в одиночестве, и часто мы упрекаем за дурное расположение духа тех, кого можно только жалеть, как больных.

Мне кажется, что ему все же следовало бы с кем-нибудь посоветоваться. Как это вы сейчас, тоже болея, не имеете подле себя врача? Мой врач, который был у меня сегодня утром и с которым — не скрою от вас — я косвенным образом посоветовалась, полагает, что внезапной апатией

у людей от природы деятельных пренебрегать не следует. Он же добавил, что болезнь, если ее вовремя не захватить, не поддается лечению. Зачем же подвергать такому риску столь дорогое вам существо?

Беспокойство мое усиливается тем, что вот уже четыре дня, как я не получаю от него известий. Боже мой! Уж не обманываете ли вы меня насчет его состояния? Почему бы он вдруг перестал писать мне? Если только из-за того, что я неизменно возвращала ему письма, то мне кажется, что он гораздо раньше принял бы такое решение. Наконец, хотя смешно верить предчувствиям, я уже в течение нескольких дней погружена в такую тоску, что мне просто страшно становится. Ах, может быть, я накануне величайшей беды!

Вы не поверили бы — и мне стыдно вам в этом признаться, — какое для меня огорчение не получать больше тех писем, которые я сама же отказывалась читать. Я все-таки имела уверенность в том, что он обо мне думает! И я хотя бы видела что-то, исходящее от него. Я не распечатывала этих писем, но я плакала, глядя на них; слезы мои текли легче и были не столь горькими, и только эти слезы хоть немного рассеивали уныние, в котором я нахожусь со дня возвращения. Закли-

наю вас, снисходительный друг мой, напишите мне своей рукой, как только сможете, а пока распорядитесь, чтобы мне ежедневно сообщали о вас и о нем.

Я вижу, что почти ни слова не сказала лично вам, но вы знаете мои чувства, мою безграничную привязанность, мою нежную благодарность за вашу чувствительную дружбу. Вы простите мне смятение, в котором я нахожусь, мои смертельные страдания, ужаснейшую муку — страшиться бедствий, причина которых, возможно, я же сама. Великий Боже! Эта доводящая до отчаяния мысль преследует меня, раздирает мне сердце. Не хватало мне только этого несчастья, и я чувствую, что рождена лишь для того, чтобы испытать их все.

Прощайте, дорогой друг, любите меня, жалейте меня. Получу ли я сегодня от вас письмо?

Париж, 16 октября 17…

Письмо 115

От виконта де Вальмона к маркизе де Мертей

Удивительная вещь, прелестный друг мой: стоит только расстаться — и сразу как-то перестаешь понимать друг друга. Пока я был подле вас, у нас всегда было полное единство чувств и взглядов.

А из-за того, что вот уже около трех месяцев я вас не вижу, мы по поводу всего расходимся во мнениях. Кто из нас двоих не прав? Разумеется, вы-то ответили бы, не колеблясь, но я, более рассудительный или более вежливый, не могу решиться. Ограничусь тем, что отвечу на ваше письмо и сообщу вам о дальнейшем своем поведении.

Прежде всего благодарю вас за совет, который вы даете мне по поводу распространяющихся обо мне слухов. Но пока я на этот счет не тревожусь, ибо, кажется, могу с уверенностью сказать, что вскоре у меня будет полная возможность заставить их смолкнуть. Будьте спокойны: в свете я появлюсь не иначе, как завоевав еще большую славу и будучи еще более достоин вас.

Надеюсь, что мне зачтут даже в какой-то степени приключение с малюткой Воланж, к которому вы относитесь столь пренебрежительно. Как будто это такие уж пустяки — за один вечер отбить девушку у ее возлюбленного, которого она любит, тут же попользоваться ею сколько тебе угодно и совершенно беспрепятственно, как будто это твоя собственность, получить от нее то, чего осмелишься потребовать не у каждой девицы, сделавшей себе из этих вещей ремесло, и при этом ни в малейшей степени не нарушить ее

нежной любви, не сделать ее ни непостоянной, ни даже неверной, ибо я и впрямь нисколько не занимаю ее мыслей! Таким образом, когда эта прихоть у меня пройдет, я возвращу ее в объятия возлюбленного, и при этом окажется, что она ничего, если можно так выразиться, не заметила. Уж такое ли это обычное дело? К тому же, поверьте мне, раз уж она прошла через мои руки, начала, внушенные мной, получат дальнейшее развитие, и могу предсказать, что робкая ученица вскоре так покажет себя, что сделает честь учителю.

Тем же, кто предпочитает героический жанр, я покажу президентшу — сей признанный образец добродетели! — уважаемую даже отъявленными распутниками, словом, ту, на кого покуситься никто бы и не подумывал. Я, повторяю вам, покажу ее женщиной, забывшей свой долг и добродетель, жертвующей своей репутацией и двумя годами целомудренного супружества ради счастья понравиться мне, ради опьянения счастьем любить меня и считающей, что за все эти жертвы она достаточно вознаграждена одним словом, одним взглядом, которых ей к тому же и не всегда удается добиться. Я сделаю больше — я ее брошу, и, если у меня окажется преемник, значит, я не знаю эту женщину. Она устоит и перед потребностью

в утешении, и перед привычкой к наслаждению, и даже перед жаждой мести. Словом, она будет существовать лишь для меня, и каков бы ни был этот ее путь — короток или длинен, никто, кроме меня, не откроет и не закроет перед ней шлагбаума. А достигнув этого триумфа, я скажу своим соперникам: «Взгляните на содеянное мною и найдите в наше время второй такой же пример!»

Вы спросите, откуда у меня сейчас такая безграничная самоуверенность? Дело в том, что уже с неделю я проник в тайны моей прелестницы: она мне их не открывает, но я их похищаю. Два письма от нее к госпоже де Розмонд сказали мне вполне достаточно, и все прочие я стану читать только из любопытства. Чтобы достигнуть своего, мне надо только увидеться с ней, а способ я уже нашел и тотчас же пущу его в ход.

Вам, кажется, любопытно?.. Нет, в наказание за неверие в мою изобретательность вы его не узнаете. Право же, вы заслуживаете, чтобы я перестал с вами быть откровенным, во всяком случае на время этого приключения. И знайте, что, если бы не сладостная награда, которую вы обещали мне за успех в этом деле, я бы перестал вам о нем говорить. Как видите, я рассержен. Однако в надежде на то, что вы исправитесь, я готов

ограничиться этим легким наказанием и, вновь обретя снисходительность, забываю на миг свои великие планы, чтобы обсудить с вами ваши.

Так, значит, вы у себя в деревне, скучной, как чувство, и унылой, как верность! А бедняга Бельрош! Вы не довольствуетесь тем, что поите его водой забвения, вы превращаете это в пытку. Как же он себя чувствует? Хорошо ли переносит он тошноту от любовного пресыщения? Очень хотел бы я, чтобы от всего этого он только крепче привязался бы к вам. Мне любопытно, какое же еще более действенное лекарство умудритесь вы применить. Право же, мне жаль, что вы оказались вынуждены прибегать к таким средствам. Сам я лишь раз в жизни воспользовался любовью как приемом. Причина была, разумеется, достаточно веская: ведь речь идет о графине де***. Раз двадцать, когда я находился в ее объятиях, меня подбивало сказать: «Сударыня, я отказываюсь от места, которого домогаюсь; позвольте же мне оставить то, которое я занимаю сейчас». Должен сказать, что из всех женщин, которыми я обладал, только о ней мне было по-настоящему приятно злословить.

Что касается ваших побуждений, то, по правде говоря, я нахожу их на редкость нелепыми, и

вы были правы, думая, что я не догадаюсь, кто будет преемником Бельроша. Как! Все эти ваши хлопоты — ради Дансени! Э, милый друг мой, предоставьте ему обожать свою добродетельную Сесиль и не компрометируйте себя участием в этих детских играх. Пусть школьники получают воспитание у нянек или играют с пансионерками в невинные игры. Неужели вы станете обременять себя новичком, который не сумеет ни взять вас, ни покинуть и с которым вам придется все делать самой? Не шутя говорю вам: этого выбора я не одобряю. И какую бы строгую тайну вы в данном случае ни соблюдали, он унизил бы вас хотя бы в моих глазах и перед собственной вашей совестью.

Вы говорите, что начинаете испытывать к нему сильное влечение; уверяю вас, вы наверняка заблуждаетесь, и, кажется, я даже сообразил, в чем причина этого самообмана. Пресловутое отвращение к Бельрошу овладело вами в дни, когда кругом было пусто, и Париж не мог предоставить вам никакого выбора; ваше чрезмерно пылкое воображение и заставило вас остановиться на первом попавшемся предмете. Но примите же во внимание, что по возвращении вы сможете выбирать из тысяч, а если вы опасаетесь, что вам

придется бездействовать и скучать, откладывая свой выбор, я готов развлечь вас в свободное время.

Ко времени вашего возвращения главные мои дела окажутся так или иначе законченными, и уж наверно ни крошка Воланж, ни даже сама президентша не будут тогда занимать меня настолько, чтобы я не мог быть в вашем распоряжении всякий раз, как вы этого пожелаете. Может случиться, что к тому времени я уже передам девочку в руки ее несмелого возлюбленного. Несмотря на все, что вы говорили, я не могу согласиться с вами, что в наслаждениях с нею нет ничего притягательного. Так как я хочу, чтобы у нее на всю жизнь сохранилось обо мне воспоминание, как о лучшем из мужчин, я усвоил с нею такой тон, которого не смогу долго выдержать без ущерба для здоровья. И отныне меня с ней связывают только те заботы, которые посвящаешь семейным делам…

Вы не понимаете? Дело в том, что сейчас я жду только второго срока, чтобы укрепиться в своих надеждах и убедиться, что расчеты мои полностью оправдались. Да, прелестный друг мой, у меня имеются уже первые указания на то, что муж моей ученицы не умрет без потом-

ства и что в будущем глава дома Жеркуров будет лишь младшим отпрыском Вальмонов. Но дайте мне завершить по своей прихоти это приключение, которое начато было мною лишь по вашей просьбе. Подумайте, что, если из-за вас Дансени окажется непостоянным, вся острота этой истории пропадет. Примите, наконец, во внимание, что если я предлагаю вам себя в качестве замены его подле вашей особы, то имею некоторое право на предпочтение.

И я так сильно рассчитываю на него, что не побоялся пойти наперекор вашим замыслам и сам содействовал усилению нежной страсти несмелого влюбленного к первому и столь достойному предмету его выбора. Итак, застав вчера вашу подопечную за письмом к нему и оторвав ее сперва от этого сладостного занятия для другого, еще более сладостного, я затем попросил ее показать мне начатое письмо. Найдя тон его холодным и принужденным, я дал ей понять, что не таким способом сможет она утешить возлюбленного, и убедил ее написать другое под мою диктовку. В нем, подражая, насколько мог, ее простодушной болтовне, я постарался укрепить любовь юноши более определенной надеждой. Молодая особа, как она сама заявила, пришла в полный восторг

от того, что умеет так хорошо выражаться, и отныне переписка поручается мне. Чего я только не делаю для этого Дансени! Я одновременно и приятель его, и наперсник, и соперник, и возлюбленная! И даже в настоящий миг я оказываю ему услугу, спасая от ваших пагубных уз. Да, разумеется, пагубных: ибо обладать вами, а затем потерять вас — значит заплатить за мгновение счастья вечными сожалениями.

Прощайте, мой прелестный друг. Соберитесь с силами и разделайтесь с Бельрошем как можно скорее. Оставьте мысль о Дансени и приготовьтесь вновь обрести и вновь подарить мне сладостные утехи нашей первой связи.

P. S. Поздравляю вас с предстоящим слушанием вашего дела. Я был бы рад, если бы это великое событие совершилось в мое царствование.

Из замка***, 19 октября 17…

Письмо 116

От кавалера Дансени к Сесили Воланж

Госпожа де Мертей уехала сегодня утром в деревню. Таким образом, моя прелестная Сесиль, я лишился единственной радости, которая оставалась мне в ваше отсутствие, — говорить о вас с

вашим и моим другом. С некоторых пор она разрешила мне называть ее так, и я воспользовался разрешением тем более охотно, что — казалось мне — я таким образом становлюсь ближе к вам. Боже мой, до чего эта женщина мила! Какое пленительное очарование умеет она придавать дружбе! Кажется, что это нежное чувство украшается и укрепляется в ней всем тем, чего она не отдает любви. Если бы вы знали, как она вас любит, как ей приятно слушать, когда я говорю о вас!.. Какое счастье жить только ради вас обеих, беспрестанно переходя от упоения любовью к нежным восторгам дружбы, посвятив им все свое существование, быть в некотором смысле точкой пересечения вашей взаимной привязанности и постоянно ощущать, что когда я стараюсь сделать счастливой одну, то в равной мере делаю это и для другой! Любите, мой прелестный друг, крепко любите эту очаровательную женщину. Разделяйте мою привязанность к ней, чтобы придать этому чувству больше ценности. С тех пор как я вкусил прелесть дружбы, мне хочется, чтобы и вы ее испытали. Мне кажется, что, если какая-нибудь радость не разделена с вами, я наслаждаюсь ею лишь наполовину. Да, моя Сесиль, я хотел бы овеять ваше сердце самыми

сладостными чувствами, чтобы каждое из этих душевных движений доставляло вам счастье. И при этом я считал бы, что отдаю вам лишь часть того блаженства, которое получаю от вас.

Почему же все эти восхитительные планы должны оставаться лишь волшебной игрой моей фантазии, а действительность, напротив, приносит мне лишь одни мучительные, нескончаемые лишения? Вы ласкали меня надеждой, что я смогу увидеться с вами в деревне, где вы находитесь, — теперь я вижу, что от этого надо отказаться. Единственное мое утешение — убеждать себя, что для вас это и в самом деле невозможно. А вы даже не хотите сказать мне этого сами, посетовать на это вместе со мною! Уже дважды мои жалобы по этому поводу остались без ответа. Ах, Сесиль, Сесиль, я готов верить, что вы любите меня всеми силами души, но душа ваша не пылает, подобно моей! Почему не от меня зависит преодолевать препятствия? Почему не дано мне жертвовать своими интересами вместо ваших? Я вскоре сумел бы доказать вам, что для любви нет ничего невозможного.

Вы не сообщаете мне также, когда может кончиться эта жестокая разлука; здесь я, может быть, смог бы все же повидаться с вами. Ваш восхити-

тельный взор оживил бы мою угнетенную душу, его трогательное выражение успокоило бы мое сердце, которое порою так в этом нуждается. Простите, моя Сесиль, в этом опасении нет никакой подозрительности. Я верю в вашу любовь, в ваше постоянство. Ах, я стал бы чересчур несчастным, если бы усомнился в них. Но нас разделяет столько препятствий! И их становится все больше и больше! Друг мой, я тоскую, жестоко тоскую. Кажется, из-за отъезда госпожи де Мертей у меня обострилось ощущение всех моих несчастий.

Прощайте, моя Сесиль, прощайте, моя любимая. Подумайте о том, что ваш возлюбленный страдает и что лишь вы одна можете вернуть ему счастье.

Париж, 17 октября 17…

Письмо 117

От Сесили Воланж кавалеру Дансени (продиктовано Вальмоном)

Неужели вы думаете, милый мой друг, что надо бранить меня, чтобы я стала грустить, когда я знаю, что вы тоскуете? И неужели вы сомневаетесь, что я страдаю всем тем, что вас мучит? Я разделяю даже те ваши страдания, которые

сама вынуждена вам причинять, а, помимо всего этого, мучусь еще и оттого, что вы ко мне так несправедливы. О, это нехорошо! Я понимаю, отчего вы рассердились: оба последних раза, когда вы просили разрешения приехать сюда, я вам не ответила. Но разве так легко на это ответить? Вы думаете — я не понимаю, что то, чего вы хотите, очень дурно? А ведь если мне и заочно так трудно вам отказывать, что было бы, если бы вы находились здесь? И еще: пожелай я утешить вас на один миг, мне потом пришлось бы всю жизнь раскаиваться.

Видите, я ничего от вас не скрываю. Таковы мои причины — судите о них сами. Я бы, может быть, и сделала то, чего вы хотите, если бы не обстоятельства, о которых я вам сообщала: этот господин де Жеркур, виновник всех наших несчастий, приедет еще не так скоро, а так как с некоторых пор мама со мной гораздо мягче и я, со своей стороны, ласкова с ней, насколько это возможно, кто знает — чего я не смогу от нее добиться? А разве не было бы для нас гораздо лучше, если бы мы могли быть счастливы, ни в чем себя не упрекая? Если верить тому, что мне часто говорили, мужчины гораздо меньше любят своих жен, когда они слишком сильно любили

их до женитьбы. И это опасение удерживает меня больше всего прочего. Друг мой, разве вы не уверены в моем сердце, и разве время так уж не терпит?

Слушайте: обещаю вам, что, если мне не удастся избежать этого злосчастного замужества с господином де Жеркуром, которого я так ненавижу, еще даже не узнав его, — ничто не удержит меня, и я стану вашей, насколько это будет в моей власти, и даже до свадьбы. Так как для меня важно лишь одно — чтобы вы любили меня, и так как вы хорошо поймете, что если я поступаю дурно, то не по своей вине, — все остальное мне безразлично, лишь бы вы обещали мне любить меня всегда так же, как сейчас. Но, друг мой, пока предоставьте мне действовать, как сейчас, и не требуйте от меня того, чего я не могу сделать по весьма веским причинам, но в чем мне очень тягостно вам отказывать.

Я хотела бы также, чтобы господин де Вальмон не так настоятельно уговаривал меня уступить вам: это лишь сильнее растравляет мое горе. О, у вас в его лице очень добрый друг, могу вас уверить! Он делает все так, как вы сами делали бы. Но прощайте, милый мой друг, я начала вам писать очень поздно и провела за письмом

немалую часть ночи. Иду скорее ложиться, чтобы наверстать потерянное время. Целую вас, но не браните меня больше.

Из замка***, 18 октября 17…

Письмо 118

От кавалера Дансени к маркизе де Мертей

Если верить календарю, обожаемый друг мой, вы отсутствуете всего два дня, если же верить моему сердцу — то два столетия. А ведь следует верить, как вы сами мне говорили, прежде всего своему сердцу. Значит, давно пришла вам пора возвращаться, и все дела ваши должны быть более чем закончены. Как вы хотите, чтобы я интересовался вашим процессом, если — выиграете вы его или проиграете — я все равно должен платить издержки тоской от разлуки с вами? О, как мне хотелось бы побраниться с вами, и какая досада — иметь такую основательную причину сердиться и не иметь права на это.

А разве не подлинная неверность, не самая черная измена — оставить друга вдали от себя, после того как вы приучили его не уметь без вас обходиться? Сколько бы вы ни советовались со своими адвокатами, — для такой жестокости

они оправдания не отыщут. И, кроме того, эти люди знают только доводы, идущие от разума, а их недостаточно, чтобы ответить на запросы чувства.

Что касается меня, то после всех ваших уверений, что поездку эту вы предприняли, повинуясь голосу разума, я совсем рассорился с этим разумом. Я не желаю больше его слушать, даже тогда, когда он велит мне забыть вас. Совет этот, однако, очень разумный и, кстати сказать, не такой уж неосуществимый, как вам может показаться. Для этого достаточно было бы потерять привычку беспрестанно думать о вас, а здесь — будьте уверены — ничто бы мне о вас не напоминало.

Наши самые красивые женщины, которые считаются наиболее очаровательными, настолько все же не могут сравниться с вами, что по ним нельзя составить о вас ни малейшего представления. Я даже думаю, что, на изощренный взгляд, между ними и вами окажется тем больше различий, чем больше по первому впечатлению было сходства; что бы они ни делали, как бы ни напрягали силы и уменье, им всегда будет не хватать одного — быть именно вами, а ведь в этом-то и состоит ваше очарование. К сожалению, когда дни так долго тянутся и нет никакого дела, на-

чинаешь мечтать, строить воздушные замки, создавать себе химеры. Мало-помалу воображение воспламеняется, стараешься как можно лучше разукрасить творение своей мечты, собираешь в уме все, что особенно привлекает, наконец, рождается совершенный образ, и тут воображаемый портрет возвращает мысль к оригиналу, и с удивлением убеждаешься, что все время только одно и делал: думал о вас. «Вот и в настоящую минуту я впал почти в такое же заблуждение. Может быть, вы думаете, что я принялся писать вам, чтобы говорить о вас? Нисколько: я хотел от вас отвлечься. Мне нужно было поговорить с вами о многих вещах, непосредственно к вам не относящихся и, как вы знаете, весьма и весьма для меня важных. А отвлекся я как раз от них. С каких же это пор очарование дружбы отвлекает от чар любви? Ах, если приглядеться повнимательней, может быть, мне есть в чем себя упрекнуть! Но — тсс! Забудем этот легкий грех, чтобы вновь не впасть в него, и пусть о нем не узнает даже мой друг.

Но почему, почему вас нет здесь, чтобы ответить мне, чтобы вернуть меня на путь истинный, чтобы говорить со мной о моей Сесили и увеличивать, если это только возможно, счастье любви к ней сладостной мыслью, что люблю я вашего

друга? Да, нечего скрывать, любовь, которую она мне внушает, стала для меня еще драгоценней с тех пор, как вы соблаговолили выслушать мое признание в ней. Мне так радостно открывать перед вами мое сердце, занимать ваше сердце моими чувствами, вверять ему их все без остатка! Мне кажется, что они становятся дороже для меня по мере того, как вы благоволите принимать их. А потом я гляжу на вас и думаю: «Вот кто хранит все мое счастье».

О своих делах я ничего нового сообщить не могу. Последнее полученное от нее письмо увеличивает и укрепляет мои надежды, но вместе с тем отдаляет их. Однако доводы ее так чувствительны и благородны, что я не могу ни порицать ее, ни жаловаться. Может быть, вы не вполне понимаете то, что я пишу, но почему вас здесь нет? Хотя другу можно все сказать, не все, однако, напишешь. Любовным же тайнам свойственна особая хрупкость: их нельзя отдавать на волю ветра. Если их порою и выпускаешь на свет божий, за ними все же надо присматривать; надо, если можно так выразиться, своими глазами проследить за тем, как они войдут в новую свою обитель. Ах, возвращайтесь же, мой пленительный друг. Вы сами видите, как необходимо ваше

присутствие. Забудьте, наконец, тысячи разумных доводов, удерживающих вас там, где вы сейчас находитесь, или же научите меня жить там, где вас нет.

Имею честь и проч.

Париж, 19 октября 17…

Письмо 119

От госпожи де Розмонд к президентше де Турвель

Хотя боли мои еще не прекратились, красавица моя, пытаюсь все же писать вам собственноручно, чтобы мне можно было поговорить с вами о том, что вас так занимает. Племянник мой по-прежнему погружен в мизантропию. Он неизменно справляется о моем здоровье, но сам ни разу не зашел узнать о нем, хотя я и велела просить его зайти; я вижу его не больше, чем если бы он находился в Париже. Сегодня утром, однако, я встретилась с ним в месте, где никак не думала его увидеть: в своей домашней часовне, куда я сошла впервые после того, как начался мучительный мой припадок. Сегодня я узнала, что уже в течение четырех дней он не пропускает мессы. Дал бы бог, чтобы так продолжалось!

Когда я вошла в часовню, он подошел ко мне и очень сердечно поздравил меня с улучшением здоровья. Так как служба началась, я прервала разговор, рассчитывая затем возобновить его, но племянник мой исчез до того, как я смогла к нему приблизиться. Не скрою от вас, что, на мой взгляд, он несколько изменился. Но, красавица моя, не предавайтесь чрезмерному беспокойству и не заставляйте меня раскаяться в моем доверии к вашему разуму, а главное, будьте уверены, что я предпочла бы огорчить вас, чем обмануть.

Если племянник мой будет по-прежнему так же отчужден от меня, я, как только мне станет лучше, пойду повидаться с ним в его комнату и постараюсь выяснить причину этого странного наваждения, к которому, я думаю, вы несколько причастны. Все, что мне удастся узнать, я вам сообщу. А сейчас покидаю вас: нет больше сил шевелить пальцами. К тому же, если Аделаида узнает, что я писала, она будет бранить меня весь вечер. Прощайте, моя красавица.

Из замка ***, 20 октября 17…

Письмо 120

От виконта де Вальмона к отцу Ансельму (в монастырь Фельянов на улице Сент-Оноре)

Я не имею чести быть вам известным, сударь, но знаю, какое безграничное доверие питает к вам госпожа президентша де Турвель, и знаю также, как глубоко это доверие обосновано. Поэтому я решаюсь, не боясь показаться нескромным, обратиться к вам с просьбой об услуге весьма существенной и поистине достойной вашего святого служения, в которой к тому же госпожа де Турвель заинтересована так же, как и я сам. В моих руках имеются важные касающиеся ее документы, которые я не должен и не хочу передавать ей через посредников, — только в ее собственные руки. У меня нет никакой возможности известить ее об этом, так как по причинам, которые, быть может, известны вам непосредственно от нее, но о которых, мне кажется, я не имею права сообщать вам, она приняла решение отказаться от какой бы то ни было переписки со мною. Решение это — охотно признаюсь — я в настоящее время не мог бы осудить, ибо она не могла предвидеть событий, которых сам я отнюдь не ожидал и в которых мы вынуждены признать вмешательство сил более могущественных, чем

силы человеческие.

Итак, прошу вас, сударь, сообщить ей новые мои намерения и ходатайствовать перед нею о назначении мне, ввиду особых обстоятельств, личного свидания. Тогда я смог бы отчасти искупить мою вину перед нею мольбой о прощении и в качестве последней жертвы уничтожить на ее глазах единственные сохранившиеся свидетельства моей ошибки или проступка, в котором перед нею повинен.

Лишь после этого предварительного искупления осмелюсь я повергнуть к ногам вашим постыдное признание в длительных заблуждениях и умолять вас о посредничестве в примирении еще гораздо более важном и, к несчастью, гораздо более трудном. Могу ли я надеяться, сударь, что вы не откажете мне в помощи, столь насущной и столь для меня драгоценной, и что вы соизволите поддержать мою слабость и направите стопы мои по новому пути, которого я пламенно жажду, но — признаюсь в этом, краснея от стыда, — сам отыскать не способен!

Ожидаю вашего ответа с нетерпением человека, кающегося и стремящегося загладить содеянное им, и прошу принять уверения в признательности и глубоком почтении вашего

покорнейшего слуги и проч.

P.S. Предоставляю вам право, сударь, если вы найдете нужным, дать это письмо полностью прочесть госпоже де Турвель, которую я буду считать долгом своим уважать всю жизнь и в чьем лице я не перестану чтить ту, кого небо избрало своим орудием, чтобы вернуть мою душу на стезю добродетели, явив мне трогательное зрелище ее души.

Из замка ***, 22 октября 17…

Письмо 121

От маркизы де Мертей к кавалеру Дансени

Я получила ваше письмо, мой слишком юный друг, но, прежде чем выразить вам благодарность за него, я должна вас пожурить и предупреждаю, что если вы не исправитесь, то я перестану вам отвечать. Послушайте меня, оставьте этот умиленно-ласковый тон, который превращается в какой-то условный язык, когда он не является выражением любовного чувства. Разве дружба говорит таким стилем? Нет, друг мой, у каждого чувства есть свой, подобающий ему язык, а пользоваться другим — значит искажать мысль, которую стремишься высказать. Я хорошо знаю,

что наши дамы не понимают обращенных к ним речей, если они не переложены до некоторой степени на этот общепринятый жаргон. Но признаюсь, мне казалось, что я заслуживаю того, чтобы вы меня с ними не смешивали. Я не на шутку огорчена — быть может, больше, чем следовало бы, — что вы обо мне так неверно судили.

Поэтому в моем письме вы найдете лишь то, чего недостает вашему: искренность и простоту. Например, я скажу вам, что мне было бы очень приятно видеть вас подле себя, что мне досадно быть окруженной только людьми, нагоняющими на меня скуку, вместо тех, кто мне нравится. А вы эту же самую фразу переводите так: научите меня жить там, где вас нет! Таким образом, если, предположим, вы будете находиться подле своей любовницы, то не сможете существовать в ее обществе без меня в качестве третьего лица? Какой вздор! А эти женщины, которым не хватает только одного — быть мною, может быть, вы находите, что и вашей Сесили этого не хватает? Но вот куда заводит язык, которым сейчас злоупотребляют настолько, что он становится бессмысленнее жаргона комплиментов и превращается в сплошные формулы, в которые веришь не больше, чем в покорнейшего слугу.

Друг мой, пишите мне лишь для того, чтобы высказывать свои подлинные мысли и чувства, и не посылайте мне набора фраз, которые я найду сказанными лучше или хуже в любом модном романе. Надеюсь, вы не рассердитесь на то, что я вам сейчас говорю, даже если обнаружите в моих словах некоторую долю раздражения. Ибо я не отрицаю, что испытываю его, но, чтобы избежать даже намека на недостаток, в котором я вас только что упрекнула, я не скажу вам, что это раздражение, быть может, усилилось от разлуки с вами. Мне кажется, что при всех обстоятельствах вы стоите больше, чем один процесс и два адвоката, и, может быть, даже больше, чем преданный Бельрош.

Как видите, вместо того чтобы огорчаться моим отсутствием, вам следовало бы радоваться: ведь никогда еще я не говорила вам таких любезностей. Кажется, я заразилась вашим примером и принимаю с вами жеманно-умиленный тон. Но нет, я предпочитаю держаться своего чистосердечия: лишь оно одно может быть свидетельством моей нежной дружбы и участия, ею внушенного. Как радостно иметь юного друга, чье сердце отдано другой женщине! Не все женщины со мной согласятся, но таково мое мнение. Мне кажется,

что с гораздо большим удовольствием отдаешься чувству, которое тебе ничем не угрожает. Поэтому я приняла на себя, может быть и слишком рано, роль вашей наперсницы. Но вы выбираете себе столь юных возлюбленных, что заставили меня впервые почувствовать, что я начинаю стареть! Вы хорошо делаете, что готовите себя к такому длительному постоянству, и я всем сердцем желаю, чтобы оно оказалось взаимным.

Вы правы, подчиняясь чувствительным и благородным доводам, которые, как вы сообщаете, отдаляют ваше счастье. Длительная самозащита — единственная заслуга, остающаяся тем, кто не всегда может устоять. Для всякой другой, кроме такого ребенка, как малютка Воланж, я считала бы непростительным не уметь уклониться от опасности, о которой она достаточно предупреждена, раз уж сама признается в своей любви. Вы, мужчины, понятия не имеете о том, что такое добродетель и чего стоит поступиться ею! Но мало-мальски рассудительная женщина должна понимать, что, не говоря уже о грехе, даже слабость для нее — величайшее несчастье. И я не допускаю мысли, чтобы женщина могла ей поддаться, если хоть минутку над этим поразмыслила.

Не ополчайтесь против этой мысли, ибо она-то главным образом и привязывает меня к вам. Вы спасаете меня от опасностей любви. И хотя я доселе и без вас умела от нее защищаться, я согласна быть вам благодарной за помощь и буду за это любить вас еще больше и крепче.

А затем, любезный мой кавалер, да хранит вас Господь.

Из замка ***, 22 октября 17…

Письмо 122

От госпожи де Розмонд к президентше де Турвель

Я надеялась, милая дочь моя, что смогу наконец успокоить вас, но с огорчением вижу, что лишь усилю вашу тревогу. И все же не беспокойтесь: племяннику моему отнюдь не грозит опасность и нельзя даже сказать, чтобы он был по-настоящему болен. Но с ним действительно происходит что-то странное. Ничего не могу в этом понять, но я вышла из его комнаты крайне опечаленная, может быть, даже в некотором страхе, и теперь раскаиваюсь в том, что заставляю вас разделять со мной этот страх, хотя и не могу удержаться от того, чтобы не побеседовать с вами о нем. Вот мой

рассказ о происшедшем: можете не сомневаться в его точности, ибо, проживи я еще восемьдесят лет, мне не забыть впечатления, которое произвела на меня эта грустная сцена.

Итак, сегодня утром я была у племянника. Когда я вошла, он писал: стол его завален был разными бумагами, над которыми он, видимо, работал. Он был так поглощен этим делом, что я уже дошла до середины комнаты, а он еще даже не повернул головы, чтобы посмотреть, кто вошел. Я сразу заметила, что, едва увидев меня, он постарался придать своему лицу спокойное выражение, и, может быть, именно это обстоятельство и заставило меня приглядеться к нему повнимательней. Правда, он был полуодет и не причесан, но я нашла его бледным и изможденным; особенно изменились черты его лица. В глазах его, обычно, как вы знаете, живых и веселых, были видны печаль и тоска. Словом, говоря между нами, я не хотела бы, чтобы вы видели его в таком состоянии. Ибо зрелище это было очень трогательным и, думаю, весьма способным вызвать в женщине нежную жалость — одну из самых опасных ловушек любви.

Хотя все это и поразило меня, я тем не менее начала разговор так, словно ничего не заметила.

Сперва спросила его о здоровье; он не ответил мне, что чувствует себя хорошо, но и не сказал определенно, что болен. Тогда я стала жаловаться на его затворничество, которое начинает походить на своего рода манию, и старалась при этом придать своему упреку некоторую шутливость. Но на это он только произнес проникновенным тоном: «Да, не отрицаю, это лишняя моя вина, но я искуплю ее вместе с прочими». Вид его еще больше, чем эти слова, несколько сбил с меня напускную веселость, и я тотчас же поспешила сказать ему, что он слишком много значения придает простому дружескому упреку.

Затем мы продолжали мирно беседовать. Немного времени спустя он сказал, что одно дело, быть может, самое важное в его жизни, вскоре призовет его в Париж. Так как я опасалась, красавица вы моя, что угадываю, в чем дело, и что такое начало могло бы привести к исповеди, которой я не хотела допустить, я только ответила, что для его здоровья полезны были бы развлечения. К этому я добавила, что на этот раз не стану его удерживать, так как люблю своих друзей ради них самих, И вот, в ответ на эту простую фразу, он сжал мои руки и заговорил с горячностью, которой я просто не в силах передать: «Да,

милая моя тетя, любите, крепко любите племянника, который тоже любит вас и чтит, и, как вы сами сказали, любите его ради него самого. Не заботьтесь о его благополучии и никакими сожалениями не нарушайте вечного мира, который он надеется вскоре обрести. Повторите, что вы любите меня и прощаете. Да, вы мне прощаете, я ведь знаю вашу доброту; но как надеяться на такое же снисхождение со стороны тех, кого я так оскорбил?» Тут он положил голову мне на грудь, чтобы скрыть слезы или страдальческое выражение, но самый звук его голоса не мог не выдать его.

Чем больше я обо всем этом думаю, тем меньше понимаю, что он хотел сказать. Какое это дело, самое важное в жизни? За что он просит у меня прощения? Откуда взялся этот невольный прилив нежности, когда он со мной говорил? Уже тысячу раз задавала я себе эти вопросы, не в силах будучи найти ответ. Здесь я даже не нахожу ничего, что имело бы отношение к вам. Однако любовь проницательнее дружбы, и потому я хочу, чтобы вы знали все, что произошло между моим племянником и мною.

Я четыре раза принималась за это длинное письмо, которое было бы еще длиннее, если бы

не моя усталость. Прощайте, моя красавица.

Из замка ***, 25 октября 17…

Письмо 123

От отца Ансельма к виконту де Вальмону

Я имел честь получить ваше письмо, господин виконт, и, выполняя вашу просьбу, вчера же отправился к особе, о которой в нем идет речь. Я изложил ей причины и сущность дела, по которому вы просили меня к ней обратиться. Как ни твердо стояла она сперва на принятом ею мудром решении, все же, когда я обратил ее внимание на то, что своим отказом она может воспрепятствовать счастливому вашему обращению на путь истинный и, следовательно, милосердным намерениям Провидения, она согласилась принять вас с тем, однако, условием, что это будет в последний раз, и поручила мне сообщить вам, что будет дома в следующий четверг 28-го. Если этот день почему-либо вам не подходит, соблаговолите назначить другой. Письмо ваше будет прочитано.

Все же, господин виконт, разрешите мне посоветовать вам не откладывать этой встречи без достаточно веских причин, дабы вы могли как

можно скорее и всецело посвятить себя выполнению тех похвальных намерений, о которых вы мне писали. Подумайте о том, что тот, кто медлит воспользоваться осенившей его благодатью, подвергает себя опасности утратить ее, что если милосердие Божие беспредельно, то злоупотреблять им недопустимо, и может наступить мгновение, когда милосердная десница Божия превратится в десницу карающую.

Если вы по-прежнему будете оказывать мне честь своим доверием, прошу вас не сомневаться, что я всегда к вашим услугам, если только вы их пожелаете. Как бы и чем бы я ни был занят, самым важным делом для меня всегда явится выполнение святого служения, которому я себя посвятил, и самым радостным мгновением моей жизни будет то, когда я увижу, как труды мои по милости Всевышнего увенчались успехом. Все мы — слабые грешники и сами по себе ничего не можем! Но Бог, которого вы призываете, может всё, и только благости его будем обязаны мы оба, вы — неустанным стремлением соединиться с ним, я — возможностью привести вас к нему. С его помощью надеюсь я вскоре убедить вас, что лишь святая наша вера и в этой земной юдоли может обеспечить нам прочное и длительное

счастье, которого мы тщетно ищем в ослеплении страстей человеческих.

Остаюсь с глубочайшим уважением и проч.

Париж, 25 октября 17…

Письмо 124

От президентши де Турвель к госпоже де Розмонд

Хотя новость, которую я вчера узнала, повергла меня в крайнее изумление, я не забываю, какое удовлетворение вы должны от нее получить, и потому тороплюсь ею с вами поделиться. Господин де Вальмон не занят больше ни мной, ни любовью и хочет лишь искупить более достойной жизнью проступки или, вернее, заблуждения своей юности. Об этом важном обстоятельстве сообщил мне отец Ансельм, к которому он обратился с просьбой руководить им в дальнейшем, а также устроить ему свидание со мной. Насколько я понимаю цель этого свидания — вернуть мне мои письма, которые он до последнего времени не возвращал, несмотря на все мои просьбы.

Я, разумеется, могу только приветствовать эту счастливую перемену в его чувствах и радоваться за себя, если, как он уверяет, я действительно

ей способствовала. Но почему надо было, чтобы именно я стала ее орудием и это стоило мне покоя всей моей жизни? Неужели господин де Вальмон мог достигнуть душевного благополучия лишь ценой моего счастья? О, снисходительный друг мой, простите мне эти жалобы! Я знаю, что не мне судить о предначертаниях Божиих; но в то время, как я беспрестанно и тщетно молю его дать мне силы одолеть мою злосчастную любовь, он даровал эту силу тому, кто о ней не просил, меня же оставляет без помощи, в полной власти чувства, с которым я не могу совладать.

Но мне следует заглушить этот греховный ропот. Разве не знаю я, что блудный сын по возвращении в отчий дом больше получил от щедрого своего отца, чем сын, никогда не отлучавшийся? А если бы у нас и могли быть какие-то права на благодать Божию, что могла бы предъявить я для обоснования своих прав? Похвалюсь ли я тем, что сохранила свою честь, когда и этим обязана только Вальмону? Он спас меня, а я осмеливаюсь жаловаться на то, что страдаю из-за него! Нет, даже страдания мои будут сладостны, если они — цена его счастья. Разумеется, надо было, чтобы и он вернулся в лоно нашего общего Отца. Ведь Бог сотворил его, и он должен возлюбить свое

творение. Он не мог создать это восхитительное существо лишь для того, чтобы сделать из него отверженного. Наказание за свою дерзкую неосторожность должна нести я. Не обязана ли я была понять, что, раз мне не дозволено его любить, я не должна была позволять себе видеться с ним?

Мой грех или моя беда в том, что я слишком долго не сознавала этой истины. Вы свидетельница, мой дорогой, достойный друг, что я покорно принесла эту жертву, как только поняла, насколько она необходима. Но для полноты этой жертвы недоставало лишь одного — чтобы для господина де Вальмона наша разлука не была жертвой. Признаться ли вам, что сейчас именно эта мысль терзает меня больше всего? О, нестерпимая гордыня, заставляющая нас находить облегчение своих страданий в тех страданиях, которые мы причиняем другим! Нет, я смирю это мятежное сердце, я приучу его к унижениям.

И главным образом с этой целью я наконец согласилась на мучительную встречу с господином де Вальмоном в следующий четверг. Тогда я услышу от него самого, что я для него больше ничего не значу, что слабое, беглое впечатление, которое я на него произвела, совсем изгладилось!

Я встречу взгляд его, устремленный на меня безмятежно, и мне придется опустить глаза, чтобы моего смятения они не выдали.

Те самые письма, которые он отказывался вернуть мне, несмотря на мои постоянные просьбы, мне теперь возвратит его равнодушие. Он передаст их мне, как нечто ненужное, нисколько его не занимающее. И дрожащие мои руки, принимая эту постыдную пачку бумаг, почувствуют, что они переданы им рукою спокойной и твердой! И, наконец, я увижу, как он удаляется… удаляется навсегда, и мой неотступно следящий за ним взор не встретит его взора, ибо он ко мне не обернется!

И на такое унижение я ныне обречена! Так пусть же оно принесет мне пользу, заставив меня проникнуться сознанием своей слабости… Да, я бережно сохраню эти письма, которые ему уже не нужны. Я обреку себя на позор ежедневно перечитывать их, пока слезы мои не сотрут с бумаги последних следов моего почерка, а его письма я сожгу, как нечто пропитанное губительным ядом, растлившим мою душу. О, что же такое любовь, если мы вынуждены сожалеть даже об опасностях, которым она нас подвергает, а главное — если можно опасаться, что будешь испытывать

это чувство, даже когда его уже не внушаешь! Надо бежать от этой гибельной страсти, предоставляющей нам лишь один выбор — позор или несчастье — и зачастую соединяющей для нас то и другое. И пусть хотя бы благоразумие заменит нам добродетель.

Как еще далеко до этого четверга! Как желала бы я без промедления завершить свое жертвоприношение и забыть одновременно и то, что приносится в жертву, и то, ради чего она приносится! Это посещение мне тягостно, и я раскаиваюсь в том, что согласилась на него. Зачем ему еще раз видеться со мной? Что мы теперь друг для друга? Если он оскорбил меня, я его прощаю. Я даже готова приветствовать его решение искупить свои грехи. Я хвалю его за это. Я сделаю даже больше: я поступлю, как он. И так как в соблазн ввели меня те же самые заблуждения, то и пример его приведет меня на истинный путь. Но если он решил бежать от меня, зачем ему искать встречи со мной? Разве для каждого из нас не самое неотложное — забыть другого? Ах, отныне и впредь это станет моей главной заботой.

Если вы позволите, любезный мой друг, то за этот тяжкий труд я примусь подле вас. Если мне понадобится помощь, может быть, даже утеше-

ние, я хотела бы получить их только от вас. Одна вы умеете понимать меня и говорить моему сердцу на понятном ему языке. Ваша драгоценная дружба заполнит все мое существование, ничто не покажется мне трудным ради того, чтобы ваша забота обо мне не пропала даром. Я буду обязана вам покоем, счастьем, добродетелью, и плодом вашей доброты ко мне будет то, что я наконец-то окажусь достойной ее.

Кажется, письмо мое получилось очень бессвязным. Так я предполагаю хотя бы по тому смятению, в котором я находилась все время, пока писала вам. Если в этом письме проглядывают чувства, которых мне следует стыдиться, прикройте их своей снисходительной дружбой. Я всецело на нее полагаюсь. И от вас я не скрою ни одного движения своего сердца.

Прощайте, достойный друг мой. Надеюсь, что через несколько дней смогу известить вас о своем приезде.

Париж, 25 октября 17…

Письмо 125

От виконта де Вальмона к маркизе де Мертей

Итак, она побеждена, эта гордая женщина,

осмелившаяся вообразить, что она сможет передо мной устоять! Да, друг мой, она моя, всецело моя: она отдала мне все, что могла. Я еще слишком полон счастьем, чтобы оценить его как должно, но дивлюсь неведомому доселе очарованию, которое мне довелось ощутить. Может быть, и вправду добродетель украшает женщину даже в миг слабости? Но, впрочем, пусть эта ребяческая мысль остается достоянием бабушкиных сказок. Разве, одерживая первую победу, не встречаешь всегда более или менее искусно разыгранное сопротивление? И, может быть, я все же когда-нибудь уже испытывал очарование, о котором говорю? Однако это и не очарование любви. Ибо если подле этой изумительной женщины на меня иногда и находили минуты слабости, напоминавшей эту малодушную страсть, я всегда умел преодолевать их и следовать своим обычным правилам. Даже если то, что произошло вчера, завело меня несколько дальше, чем я рассчитывал, даже если я на мгновение разделил трепет и опьянение, которые вызывал у нее, это мимолетное наваждение теперь уже рассеялось бы. А между тем очарование не покидает меня. Признаюсь даже, что мне было бы сладостно отдаться ему, если бы оно не вызывало у меня некоторого

беспокойства. Неужели я в мои годы мог, словно школьник, оказаться во власти непроизвольного и неведомого мне чувства? Нет, прежде всего надо побороть его и хорошенько изучить.

Впрочем, я, быть может, уже догадался, откуда оно возникло. Во всяком случае, мысль эта меня тешит, и я хотел бы, чтобы она была правильной.

Среди множества женщин, подле которых я доселе играл роль и выполнял обязанности любовника, я не встретил еще ни одной, которая сдаться не желала бы по меньшей мере так же сильно, как я — склонить ее к этому. Я даже привык называть недотрогами тех, кто останавливался на полпути, в противоположность стольким другим, чья вызывающая самозащита лишь очень слабо затушевывала то обстоятельство, что первые шаги были сделаны ими.

Здесь же, напротив, я сперва столкнулся с неблагоприятным для меня предубеждением, подкрепленным затем советами и сообщениями женщины мне враждебной, но проницательной, затем с необычайно сильной природной робостью, поддержанной вполне сознательным целомудрием, с приверженностью к добродетели, руководимой религиозным чувством и

непоколебимо торжествовавшей уже в течение двух лет, наконец, с решительными поступками, внушенными этими различными побуждениями и имевшими всегда одну цель — избежать моих преследований.

Итак, сейчас это не просто, как в прежних моих приключениях, более или менее выгодная для меня капитуляция, которой легче воспользоваться, чем гордиться: это полная победа, купленная ценой тяжких военных действий и достигнутая благодаря искусным маневрам. Поэтому и неудивительно, если успех, которым я обязан исключительно самому себе, стал для меня особенно дорогим, а избыток наслаждения, который я пережил в миг победы и чувствую еще сейчас, — лишь сладостное ощущение торжества. Мне нравится такой взгляд на вещи, ибо он избавляет меня от унижения думать, что я могу хоть в малейшей степени зависеть от покоренной мною рабы, что не во мне одном полнота моего счастья и что возможность моя испытывать от него полное наслаждение зависит от какой-то определенной женщины преимущественно перед всеми прочими.

Эти здравые рассуждения будут руководить моими поступками в данном столь важном случае.

И вы можете быть уверены, что я не настолько закабалюсь, чтобы не суметь шутя, по первой прихоти порвать эти новые узы. Но вот я говорю с вами о разрыве, а вы еще не знаете, каким образом я получил на него право: читайте и убеждайтесь, чему подвергает себя целомудрие, когда оно пытается прийти на помощь исступлению страсти. Я так внимательно следил за своими собственными речами и за полученными на них ответами, что, кажется, смогу передать вам и те и другие с точностью, которой вы будете удовлетворены.

По прилагаемым копиям двух моих писем[42] вы сами увидите, какого посредника нашел я для того, чтобы встретиться с моей прелестницей, и как усердно этот святой человек постарался нас соединить. К этому надо еще добавить, что, как я узнал из одного перехваченного обычным способом письма, страх оказаться покинутой и некоторое чувство унижения от этого несколько ослабили осторожность строгой святоши и наполнили ее сердце и ум чувствами и мыслями, хотя и лишенными какого бы то ни было здравого смысла, но тем не менее любопытными. Все это

---

[42] Примечания: 42
Письма 120 и 123.

были необходимые предварительные сведения, теперь же вы можете узнать, что вчера, в четверг 28-го, в день, назначенный самой неблагодарной, я явился к ней в качестве робкого, кающегося раба, чтобы выйти от нее увенчанным славой победителем.

В шесть часов вечера я прибыл к прекрасной затворнице, ибо со дня своего возвращения в Париж она никого не принимала. Когда обо мне доложили, она попыталась встать, но колени у нее до того дрожали, что она не могла держаться на ногах и тотчас же снова опустилась в кресло. Слуге, который ввел меня к ней, пришлось задержаться в комнате для того, чтобы кое-что прибрать, и это ее, по-видимому, раздражало. Пока он находился с нами, мы обменивались обычными светскими любезностями. Но чтобы не терять времени, ибо дорог был каждый миг, я внимательно изучал местность и сразу же наметил те пункты, где должен был одержать победу. Будь у меня выбор, я нашел бы что-нибудь поудобнее, ибо хотя в этой комнате имелась оттоманка, напротив нее оказался портрет мужа. Признаюсь, я опасался, принимая во внимание странности этой женщины, как бы один ее взгляд, случайно брошенный в эту сторону, не свел на нет все мои

труды и старания. Наконец мы остались одни, и я приступил к делу.

Напомнив ей в нескольких словах, что отец Ансельм должен был уведомить ее о цели моего посещения, я стал жаловаться на чрезмерную ее ко мне суровость и особенно подчеркнул презрение, которое ко мне выказывалось. Как я и ожидал, она стала защищаться, но я, как вы несомненно угадываете, привел в качестве доводов вызываемые мною у нее страх и недоверие, скандальное бегство, которое за этим последовало, отказ не только отвечать на мои письма, но даже принимать их и т. д. и т. п. Так как она тоже начала приводить в свое оправдание доводы, найти которые было нетрудно, я счел необходимым прервать ее, а чтобы загладить свою резкость, тотчас же прибегнул к лести. «Если, — продолжал я, — прелесть ваша оставила в моем сердце столь глубокое впечатление, то душу мою покорила ваша добродетель. И, наверно, соблазненный желанием приблизиться к ней, я осмелился счесть себя достойным этого. Я не упрекаю вас за то, что вы судили иначе, но караю себя за свою ошибку». Так как она смущенно молчала, я продолжал: «Я хотел, сударыня, либо оправдаться в ваших глазах, либо получить от вас прощение за прегре-

шения, в которых вы меня подозревали, для того чтобы, по крайней мере, с некоторым душевным спокойствием окончить свои дни, которые не имеют для меня никакой цены, раз вы отказались украсить их».

Тут она все же попыталась ответить: «Долг мой не позволял мне этого». Но договорить до конца ложь, которой требовал от нее этот долг, было слишком трудно, и она не закончила фразу. Я же продолжал самым нежным тоном: «Значит, правда, что бежали вы от меня?» — «Отъезд мой был необходим». — «Значит, правда, что вы удаляете меня от себя?» — «Так надо». — «И навсегда?» — «Я должна это сделать». Нет нужды говорить вам, что в течение этого краткого диалога голос влюбленной недотроги звучал сдавленно, а глаза на меня не поднимались. Тогда я, решив, что надо внести некоторое оживление в эту тягучую сцену, с негодующим видом встал и произнес: «Ваша твердость возвращает мне мою. Пусть будет так, сударыня, мы расстанемся; разлука наша будет даже большей, чем вы думаете, и вы сможете сколько угодно радоваться делу рук своих». Несколько удивленная укоризной, звучавшей в моем голосе, она пыталась возразить: «Решение, вами принятое…» — начала она. «Оно

лишь следствие моего отчаяния, — с горячностью прервал я ее. — Вы пожелали, чтобы я стал несчастным, и я докажу вам, что это удалось вам больше, чем вы рассчитывали». — «Я хочу вашего счастья», — ответила она. И дрожь в ее голосе выдавала довольно сильное волнение. Тут я бросился перед ней на колени и вскричал трагическим голосом, который вам хорошо знаком: «Ах, жестокая, может ли быть для меня счастье, если вы его не разделяете? Как могу я обрести его вдали от вас? Нет, никогда, никогда!» Признаюсь, что, зайдя так далеко, я весьма рассчитывал, что мне помогут слезы, но потому ли, что я не сумел достаточно взвинтить себя, потому ли только, что слишком напряженно и неустанно следил за каждым своим движением, — разрыдаться мне не удалось.

К счастью, я вспомнил, что, когда хочешь покорить женщину, любое средство хорошо, и достаточно вызвать в ней изумление каким-нибудь сильным порывом, чтобы произвести глубокое и выгодное впечатление. И вот за недостатком чувствительности я решил прибегнуть к запугиванию. С этой целью я и продолжал, изменив только звук голоса, но оставаясь в прежней позе: «Здесь, у ваших ног, клянусь я либо обладать

вами, либо умереть!» Когда я произносил эти последние слова, взгляды наши встретились. Не знаю, что эта робкая особа увидела или вообразила, что увидела в моих глазах, но она с испуганным видом вскочила с места и вырвалась из моих рук, уже обвивших ее. Правда, я и не пытался ее удержать, так как неоднократно замечал, что сцены отчаяния, разыгрываемые чересчур пылко, становятся, затягиваясь, смешными или же требуют уже подлинно трагического исхода, к чему я отнюдь не стремился. Однако, пока она выскальзывала из моих рук, я пробормотал зловещим шепотом, но так, чтобы она могла меня расслышать: «Итак, значит, смерть!»

Затем я поднялся и, умолкнув, стал бросать на нее дикие взоры, которые хотя и казались безумными, но на самом деле не утратили ни зоркости, ни внимательности. Ее неуверенные движения, тяжелое дыхание, судорожное сокращение всех мускулов, дрожащие поднятые руки — все достаточно явно доказывало, что я добился желаемого действия. Но так как в любовных делах все совершается лишь на очень близком расстоянии, мы же были довольно далеко друг от друга, надо было прежде всего сблизиться. С этой целью я как можно скорее постарался обрести кажущееся

спокойствие и тем самым умерить выражение своего неистовства, не ослабляя, однако, впечатления, которое оно должно было производить.

Переход мой был таков: «Я очень несчастен. Я хотел жить для вашего счастья — и нарушил его. Я приношу себя в жертву ради вашего душевного мира — и опять же смущаю его». Затем, со спокойствием, но явно напускным, я произнес: «Простите, сударыня, я так не привык к бурным проявлениям страсти, что плохо умею их обуздывать. Если мне не следовало предаваться столь неистовому порыву, примите во внимание, что это в последний раз. Ах, успокоитель, заклинаю вас, успокойтесь!..» И во время этой довольно длинной речи я незаметно приближался. «Если вы хотите, чтобы я успокоилась, — ответила взволновавшаяся прелестница, — то и сами держитесь спокойнее». — «Хорошо, обещаю вам это, — ответил я и добавил более тихим голосом: — Придется сделать над собою большое усилие, но, во всяком случае, — ненадолго. Однако, — продолжал я с таким видом, словно спохватился, — я пришел, чтобы вернуть вам письма, не так ли? Ради бога, соблаговолите принять их от меня. Мне остается принести эту последнюю мучительную жертву, не оставляйте у меня ничего, что

могло бы ослабить мое мужество». И, вынув из кармана драгоценный пакет, я сказал: «Вот они, эти обманные уверения в вашей дружбе! Они еще привязывали меня к жизни; возьмите их обратно и, значит, сами дайте знак, который нас с вами навеки разлучит…»

Тут несмелая возлюбленная окончательно поддалась нежному беспокойству: «Но, господин де Вальмон, что с вами? Что вы хотите сказать? Разве вы поступаете не по своей доброй воле? Разве вы не приняли вполне обдуманное решение? И разве не размышления ваши заставили вас же одобрить тот выход, который мне подсказало чувство долга?» — «Да, — сказал я, — и этот выход определил решение, принятое мною». — «Какое же?» — «Единственное, которое может не только разлучить меня с вами, но и положить конец моим мучениям». — «Но скажите же мне, на что вы решились?» Тут я заключил ее в объятия, причем она не оказала ни малейшего сопротивления. Столь полное забвение приличий показало мне, как глубоко и сильно она взволнована. «Обожаемая, — сказал я, рискнув высказать восторженность, — вы не представляете себе, какова моя любовь к вам; вы никогда не узнаете, до какой степени я боготворил вас и насколько

чувство это было мне дороже моей жизни! Да протекут дни ваши блаженно и мирно! Пусть украсятся они всем тем счастьем, которого вы меня лишили! Вознаградите же это чистосердечное пожелание хоть одним знаком сожаления, хоть одной слезинкой и верьте, что последняя принесенная мною жертва не будет самой тягостной моему сердцу. Прощайте…» Говоря все это, я ощущал, как неистово билось ее сердце, замечал, как она менялась в лице, а главное — видел, как слезы душат ее, падая из глаз редкими тяжелыми каплями. Только тут я принял решение сделать вид, что окончательно ухожу. «Нет, выслушайте, что я вам скажу», — горячо произнесла она, с силой удерживая меня. «Пустите меня», — ответил я. «Вы меня выслушаете, я так хочу». — «Я должен бежать от вас, должен!» — «Нет!» — вскричала она, и при этом последнем слове устремилась или, вернее, упала без чувств в мои объятия. Так как я еще сомневался в столь великом успехе, то изобразил крайний испуг; но, продолжая притворяться испуганным, вел ее или нес к месту, заранее избранному в качестве арены моего торжества. И действительно, в себя она пришла уже покоренной, уже полностью отдавшейся своему счастливому победителю.

Доселе, прелестный друг мой, вы, я думаю, признавали за мной такую безупречность метода, которая доставит вам удовольствие, и вы убедитесь, что я ни в чем не отступил от истинных правил ведения этой войны, столь схожей, как мы часто замечали, с настоящей войной. Судите же обо мне, как о Тюренне* или Фридрихе*. Я заставил принять бой врага, стремившегося лишь выиграть время. Благодаря искусным маневрам я добился того, что сам выбрал поле битвы и занял удобные позиции, я сумел усыпить бдительность противника, чтобы легче добраться до его укрытия. Я сумел внушить страх еще до начала сражения. Я ни в чем не положился на случай, разве лишь тогда, когда риск сулил большие преимущества в случае успеха и когда у меня была уверенность, что я не останусь без ресурсов в случае поражения. Наконец, я начал военные действия, лишь имея обеспеченный тыл, что давало мне возможность прикрыть и сохранить все завоеванное раньше. Это, я полагаю, все, что можно сделать. Но сейчас я боюсь, что изнежился, как Ганнибал среди утех Капуи*. Вот что затем произошло!

Я готов был к тому, что столь значительное событие не обойдется без обычных слез и выра-

жений отчаяния. И если сперва я заметил у нее немного больше смущения и какую-то внутреннюю сосредоточенность, то приписал их тому, что она ведь — недотрога. Поэтому, не обращая внимания на эти легкие отклонения, которые считал чисто случайными, я пошел проторенной дорогой привычных утешений, вполне уверенный, что, как это обычно бывает, чувственность поможет чувству и что одним действием добьешься больше, чем любыми речами, которых я, впрочем, не жалел. Однако я столкнулся с сопротивлением, поистине ужасным, и не столько по его силе, сколько по форме, в которой оно проявилось.

Представьте себе женщину, сидящую неподвижно, словно окаменевшую, с застывшим лицом, с таким видом, будто она не думает, не слышит, не внемлет ничему, а из устремленных в одну точку глаз ее непрерывно и словно сами по себе льются слезы. Такою была госпожа де Турвель, пока я разглагольствовал. Но если я делал попытку привлечь ее внимание к себе какой-нибудь лаской, каким-либо самым невинным жестом, эта кажущаяся бесчувственность сменялась тотчас же страхом, удушьем, судорогами, рыданиями и порою криками, но без слов.

Приступы эти возвращались несколько раз, становясь все сильнее и сильнее. Последний был до того неистовым, что я совершенно пал духом и даже одно мгновение опасался, что победа, мною одержанная, бесполезна. Тогда я перешел на принятые в подобных случаях общие места, и среди них оказалось следующее: «И вы пришли в такое отчаяние, потому что сделали меня счастливым?» При этом слове восхитительная женщина обернулась ко мне, и лицо ее, еще несколько растерянное, обрело уже свое небесное выражение. «Счастливым!» — повторила она. Что я ответил, вы сами можете догадаться. «Значит, вы счастливы?..» Я стал еще с большим пылом расточать уверения. «Вы счастливы благодаря мне!» Я присовокупил ко всему, что говорилось раньше, восхваления и всяческие нежности. Пока я говорил, все тело ее как-то размягчилось, она томно откинулась на спинку кресла и, не вырывая у меня руки, которую я решился взять, сказала: «Я чувствую, что эта мысль утешает и облегчает меня…»

Вы сами понимаете, что, снова выбравшись таким образом на верный путь, я уже не сходил с него: путь был и впрямь верный, может быть, даже единственно возможный. Решив снова

попытать счастье, я сперва встретил некоторое сопротивление: ведь то, что произошло раньше, вынуждало к осторожности. Но, призвав на помощь себе ту же мысль о моем счастье, я вскоре ощутил всю ее благотворность. «Вы правы, — сказала мне эта чувствительная женщина, — отныне жизнь станет для меня выносимой лишь в той мере, в какой она может послужить для вашего счастья. Я всецело посвящу себя ему: с этого мгновения я — ваша, и вы не услышите от меня ни отказа, ни сожалений…» И вот, с этим самозабвением, простодушным или величавым, она отдала мне себя, все свои прелести и увеличила мое блаженство тем, что разделила его. Опьянение было полным и взаимным. И впервые за всю мою жизнь оно сохранилось для меня и после наслаждения. Я высвободился из ее объятий лишь для того, чтобы упасть к ее ногам и поклясться ей в вечной любви. И — надо во всем признаться — я взаправду думал то, что говорил. Словом, даже когда мы расстались, мысль о ней не покидала меня, и мне пришлось сделать над собой усилие воли, чтобы отвлечься.

Ах, почему вы не здесь, чтобы упоение тем, чего я добился, уравновесить упоением обещанной вами наградой? Но ведь я ничего не потеряю, если

немного подожду, не так ли? И, надеюсь, я могу считать, что вами приняты те сладостные условия, которые я предложил вам в своем последнем письме? Вы видите, что я со своей стороны их уже выполняю, и, как я вам обещал, дела мои вскоре настолько продвинутся, что я смогу уделять вам часть своего времени. Избавьтесь же поскорее от вашего тяжеловесного Бельроша, оставьте в покое слащавого Дансени и займитесь лишь мною одним. Но что вы такое делаете в своей деревне, что не имеете даже времени ответить мне? Мне, знаете ли, хочется вас побранить. Однако счастье располагает к снисходительности. И, кроме того, я не забываю, что, вновь вступая в число ваших поклонников, должен вновь подчиниться вашим мелким прихотям. Помните все же, что новый любовник не хочет ничего терять из прав, которые приобрел в качестве друга.

Прощайте, как некогда… *Да, прощай, ангел мой! Шлю тебе все поцелуи любви.*

P. S. Известно ли вам, что, просидев месяц под арестом, Преван затем вынужден был уйти из своего полка? Это — последняя светская новость в Париже. Вот уж поистине жестоко поплатился он за проступок, которого не совершал, и торжество ваше — полное!

Париж, 29 октября 17…

Письмо 126

От госпожи де Розмонд к президентше де Турвель

Я бы ответила вам раньше, милая моя дочь, если бы не переутомилась, когда писала свое последнее письмо, и ко мне не вернулись мои боли, лишив меня все эти дни возможности пользоваться своей рукой. Я очень торопилась поблагодарить вас за хорошие вести о моем племяннике и заодно принести вам самые искренние поздравления. Здесь уж никак нельзя не признать вмешательства Провидения, которое, озарив благодатью одного из вас, спасло другую. Да, красавица моя, Господь, пожелавший только испытать вас, послал вам помощь в миг, когда силы ваши были на исходе. И, несмотря на ваш легкий ропот, мне кажется, вам есть за что возблагодарить его. Я, разумеется, понимаю, что вам было бы приятнее, если бы решение это зародилось сперва у вас, а решение Вальмона явилось бы уже следствием вашего. С общечеловеческой точки зрения, в этом случае были бы, видимо, лучше соблюдены права нашего пола; мы ведь не

желаем поступаться ни одним из своих прав. Но какое значение имеют эти малосущественные соображения по сравнению с важностью достигнутого? Разве спасшийся после кораблекрушения станет жаловаться на то, что он лишен был возможности выбирать средства спасения?

Вскоре, дорогая моя дочь, вы убедитесь, что муки, которых вы страшились, сами собою облегчатся. А если бы даже они и продолжали терзать вас с прежней силой, вы бы все же ощущали, что их легче переносить, нежели угрызения совести и презрение к самой себе. Раньше мне было бы бесполезно говорить вам эти слова, кажущиеся столь строгими: любовь — чувство, против которого мы бессильны, и благоразумие может помочь нам избежать его, но не победить. Раз уж оно возникло, то может умереть лишь естественной смертью или же от полной безнадежности. Ваш случай — как раз второй, и это дает мне право и мужество свободно высказать свое мнение. Жестоко пугать безнадежного больного, которому нужны только утешения да болеутоляющие средства; но полезно просветить выздоравливающего насчет опасности, которой он подвергался, чтобы внушить ему необходимое благоразумие и готовность подчиниться советам, которые могут

ему еще понадобиться.

Раз уж вы избрали меня своим врачом, я и говорю с вами как врач, — говорю, что легкое недомогание, которое вы еще испытываете, может быть, нуждаясь в кое-каких лекарствах, ничто по сравнению с ужасной болезнью, полное излечение от которой вам уже обеспечено. Затем, как ваш друг, как друг женщины разумной и добродетельной, я позволю себе присовокупить, что овладевшую вами страсть, злосчастную самое по себе, делал еще более злосчастной предмет ее. Если верить тому, что мне твердят, то племянник мой, к которому, признаюсь, я, может быть, питаю чрезмерную слабость и в котором действительно многие похвальные качества сочетаются с величайшей обходительностью, представляет для женщин известную опасность и не свободен от вины перед многими из них: губить их доставляет ему почти такое же удовольствие, как и соблазнять. Я верю, что вы обратили бы его на путь истинный: для такого дела нет никого более достойного, чем вы. Но, рассчитывая на это, столько других женщин уже пережили горькое разочарование, что я предпочла бы, чтобы с вами этого не случилось.

Теперь, красавица моя, подумайте о том, что

вместо многих опасностей, подстерегавших вас, вы, кроме чистой совести и душевного спокойствия, будете чувствовать также удовлетворение, оттого что оказались главным орудием возвращения Вальмона на праведный путь. Что до меня, то я не сомневаюсь, что это главным образом следствие вашего доблестного сопротивления и что один миг слабости с вашей стороны, может быть, оставил бы моего племянника в вечном заблуждении. Мне хочется так думать и хочется также, чтобы и вы так думали. В этом обретете вы первые утешения, а я основание любить вас еще сильнее.

Жду вас к себе в ближайшие дни, дорогая моя дочь, как вы мне обещали. Вы найдете мир и счастье в тех самых местах, где потеряли их. Придите прежде всего порадоваться вместе с вашей любящей матерью тому, что вы так счастливо сдержали данное вами слово не совершить ничего, что не было бы достойно ее и вас!

Из замка ***, 30 октября 17…

Письмо 127

От маркизы де Мертей к виконту де Вальмону

Если я не ответила, виконт, на ваше письмо от

29-го, то не потому, что у меня не было времени: просто-напросто оно меня рассердило, и я нашла его лишенным какого бы то ни было здравого смысла. Поэтому я сочла самым лучшим предать его забвению. Но раз уж вы к нему возвращаетесь, раз вы, видимо, настаиваете на высказанных в нем мыслях и принимаете мое молчание за знак согласия, придется мне изложить вам мое мнение.

Иногда у меня появлялись притязания на то, чтобы собою одной заменить целый сераль, но я никогда не соглашалась быть просто одной из одалисок. Я думала, что вам это известно. Но, во всяком случае, теперь, когда вы уже не можете не знать этого, вам легко будет сообразить, насколько нелепым должно было показаться мне ваше предложение. Как! Чтобы я пожертвовала влечением, и вдобавок влечением нежданным, ради того, чтобы заниматься вами? И притом еще как именно заниматься? Ожидая в качестве покорной рабы своей очереди на благосклонную милость вашего величества? Когда, к примеру, вам благоугодно будет на миг отвлечься от неведомого очарования, которое дала вам ощутить одна лишь восхитительная, божественная госпожа де Турвель, или когда вы вдруг стане-

те опасаться, как бы не поколебалось в глазах привлекательной Сесили то возвышенное представление о вашей особе, которое вы хотели бы, чтобы она сохранила? Тогда, снизойдя до меня, вы станете в моем обществе искать наслаждений — правда, не столь острых, но зато ни к чему не обязывающих, и ваши драгоценные знаки внимания, хотя бы и довольно редкие, сделают меня в конце концов достаточно счастливой!

О да, у вас, разумеется, весьма высокое мнение о своей особе. Но, видимо, мне зато недостает скромности, ибо, как внимательно я себя ни разглядываю, я не нахожу, что до такой степени опустилась. Может быть, это мой недостаток, но предупреждаю вас, что у меня их вообще немало. И вот главный из них: я полагаю, что школьник, слащавый Дансени, занятый сейчас исключительно мной, пожертвовавший ради меня, не делая из этого особой заслуги, своей первой страстью еще до того, как удовлетворил ее, словом — любящий меня, как любят только в его возрасте, может, несмотря на свои двадцать лет, дать мне больше счастья и больше радостей, чем вы. Я позволила бы себе даже добавить, что если бы мне пришла в голову прихоть взять ему помощника, то им были бы не вы, во всяком слу-

чае, в настоящий момент.

А по каким таким причинам, спросите вы меня? Но, прежде всего, причин может и вовсе не быть, ибо каприз, благодаря которому я могу предпочесть вас, способен точно так же сделать вас совершенно нежеланным. Однако из вежливости я готова привести вам свои доводы. Мне кажется, что вам пришлось бы слишком многим ради меня пожертвовать. Я же, вместо того чтобы оказаться вам за это благодарной, как вы стали бы, разумеется, ожидать, вполне способна была бы считать, что вы должны и дальше приносить мне жертвы! Вы видите, у нас настолько несхожий образ мыслей, что мы никак не сможем сблизиться, а я опасаюсь, что мне понадобилось бы много, очень много времени, прежде чем переменились бы мои чувства. Когда я исправлюсь, обещаю вас об этом известить. А до того, послушайтесь меня, устраивайтесь как-нибудь иначе и приберегите свои поцелуи, ведь у вас столько возможностей найти им лучшее применение!..

Прощайте, как прежде, говорите вы? Но прежде, кажется, я значила для вас несколько больше. Я не была у вас на третьих ролях, а главное, вы, прежде чем быть уверенным в моем согласии, благоволили дожидаться, пока я скажу «да».

Примиритесь же с тем, что вместо того, чтобы говорить вам «прощайте», как говорила прежде, я скажу вам «прощайте», как могу сказать теперь.

Остаюсь, господин виконт, преданной вам…

Из замка ***, 31 октября 17…

Письмо 128

От президентши де Турвель к госпоже де Розмонд

Лишь вчера, сударыня, получила я ваш запоздалый ответ. Он убил бы меня на месте, если бы жизнь моя принадлежала мне. Но ею владеет другой, и это — господин де Вальмон. Видите, я от вас ничего не скрываю. Наверно, вы более не считаете меня достойной вашей дружбы, но я не так боюсь потерять ее, как обманным образом пользоваться ею. Вот единственное, что я могу сказать вам: господин де Вальмон поставил меня перед выбором — или его смерть, или его счастье, и я решилась на последнее. Я не хвалюсь и не обвиняю себя: я просто говорю, как обстоит дело.

После этого вы легко поймете, какое впечатление могло произвести на меня ваше письмо и те суровые истины, которые в нем высказаны. Однако не думайте, что оно может вызвать во

мне какие-либо сожаления или заставить меня изменить свои чувства и свои поступки. Это не означает, что у меня не бывает жестоких минут. Но даже когда мое сердце разрывается на части, когда мне кажется, что я уже не в силах переносить свои муки, я говорю себе: Вальмон счастлив, и перед этой мыслью отступает все, или, вернее, она все превращает в радость.

Итак, я посвятила свою жизнь вашему племяннику, ради него я погубила себя. Он стал целью всех моих мыслей, всех моих чувств, всех моих поступков. Пока жизнь моя необходима для его счастья, я буду дорожить ею и считать, что судьба ко мне милостива. Если в некий день он помыслит иначе… он не услышит от меня ни жалобы, ни укора. Я уже дерзнула представить себе этот роковой миг, и решение мое принято.

Теперь вы видите, как мало могут волновать меня опасения, видимо, тревожащие вас, опасения, как бы господин де Вальмон не погубил меня. Ибо если бы у него возникло такое желание, он, значит, уже разлюбил бы меня. А что для меня тогда пустые разговоры, которых я уже не услышу? Только он будет моим судьей. И так как я жила лишь для него, память обо мне будет жить в нем, и если он будет вынужден признать, что я

его любила, я буду достаточно оправдана.

Читая эти строки, сударыня, вы читали в моем сердце. Несчастье потерять из-за своей откровенности ваше уважение я предпочла несчастью стать недостойной его, унизившись до лжи. Я считала, что к полному чистосердечию по отношению к вам меня обязывают ваши прежние дружеские ко мне чувства. Если я добавлю еще хоть слово, вы можете заподозрить, что я имею дерзость и сейчас рассчитывать на них, а между тем мой собственный строгий суд над собою уже возбраняет мне притязать на это.

Остаюсь, сударыня, нижайше преданной вам…

Париж, 1 ноября 17…

Письмо 129

От виконта де Вальмона к маркизе де Мертей

Скажите мне, прелестный друг мой, откуда взялся едкий и издевательский тон, который господствует в вашем последнем письме? Какое совершил я, очевидно сам того не подозревая, преступление, столь вас разгневавшее? Вы упрекаете меня за то, что я говорил с вами так, будто вполне рассчитываю на ваше согласие, хотя еще не получил его. Но — так я полагал — в том, что

в отношениях с кем угодно могло бы показаться дерзостью, между нами двумя следует видеть лишь знак доверия. А с каких пор это чувство вредит дружбе или любви? Соединив желание с надеждой, я лишь поддался естественному для человека порыву оказаться как можно ближе к счастью, которого он домогается. Вы же приняли за проявление гордыни то, что явилось лишь следствием моего нетерпения. Я отлично знаю, что, согласно принятым обычаям, в подобных случаях полагается выказывать почтительную недоверчивость. Но вы так же хорошо знаете, что это лишь церемонная формальность, и, думается мне, я имел право считать, что подобное мелочное жеманство между нами уже лишнее.

Мне кажется даже, что такая свобода и откровенность, когда они основаны на давнишней связи, гораздо ценнее нелепого улещивания, из-за которого в любовные отношения так часто вносится какая-то приторность. Может быть, впрочем, моя манера обращения нравится мне больше лишь потому, что напоминает о пережитом счастье. Но именно поэтому мне было бы еще обиднее видеть, что вы придерживаетесь иного мнения.

Это, однако, по-моему, единственная моя вина.

Ибо я не представляю себе, что вы могли бы всерьез думать, будто я способен предпочесть вам какую бы то ни было другую женщину, и еще меньше — что я мог ценить вас так мало, как вы якобы думаете. По этому поводу вы говорите, что внимательно разглядывали себя и не нашли, что до такой степени опустились. Нисколько не сомневаюсь, и это лишь доказывает, что у вас хорошее зеркало. Но разве вам не было бы легче сделать тут же более справедливый вывод, что я-то уж, наверно, не думал о вас так, как вы вообразили?

Тщетно стараюсь я понять, откуда у вас взялась такая странная мысль. Все же мне думается, что она имеет какое-то отношение к похвальным отзывам, которые я осмелился сделать по адресу других женщин. Так, по крайней мере, заставляет думать ваше подчеркнутое повторение эпитетов «восхитительная», «божественная», «привлекательная», которые я употребил, говоря о госпоже де Турвель или о малютке Воланж. Но разве вы не знаете, что эти слова, по большей части выбираемые случайно, а не обдуманно, выражают не столько отношение к данной особе, сколько положение, в котором находишься в тот момент, когда о ней говоришь? И если в то

самое время, когда я был увлечен той или другой, желание обладать вами у меня не ослабевало, если я совершенно явно оказывал вам предпочтение перед теми двумя, — ибо ведь не могу же я возобновить нашу былую связь иначе, как пренебрегши ими, — мне кажется, что вам не в чем меня особенно упрекнуть.

Немногим труднее будет мне оправдаться и по поводу неведомого очарования, которое вас, кажется, тоже задело: ибо прежде всего, ежели что-то неведомо, это отнюдь не значит, что оно привлекательнее. О, что может превзойти восхитительные наслаждения, которые одна лишь вы способны всегда делать новыми и всегда более острыми? Я, значит, хотел сказать только одно, — что это наслаждение было такого рода, какого я еще не испытывал, и я вовсе не намеревался определять его сравнительную ценность. При этом я даже добавил то, что и сейчас повторяю: каким бы оно ни было, я сумею бороться с ним и превозмочь его. И в это нетрудное дело я внесу еще больше рвения, если оно окажется данью моего служения вам.

Что же касается малютки Сесили, то говорить вам о ней считаю просто ненужным. Вы же не забыли, что я занялся этой девочкой по вашей

просьбе и, чтобы развязаться с ней, жду только вашего разрешения. Я мог отметить ее простодушие и свежесть, я мог даже на мгновение счесть ее привлекательной, — ведь творение твоих рук всегда доставляет тебе известное удовольствие. Но, разумеется, она еще ни в какой области не созрела настолько, чтобы удержать внимание.

А теперь, прелестный друг мой, я взываю к вашему чувству справедливости, к доброте, с которой вы в свое время ко мне отнеслись, к нашей долгой, ничем не омрачаемой дружбе, к полному взаимному доверию, которое скрепило нашу связь, — разве заслужил я жесткий тон вашего последнего письма? Но как легко будет вам вознаградить меня за него, едва только вы этого пожелаете! Скажите лишь слово, и вы увидите, удержат ли меня здесь не то что на один день, но на одну минуту любые очарования, любая привязанность. Я полечу к вашим ногам, в ваши объятия и докажу вам тысячу раз тысячью способами, что вы и есть истинная владычица моего сердца и всегда останетесь ею.

Прощайте, прелестный друг мой. С нетерпением жду вашего ответа.

Париж, 3 ноября 17…

Письмо 130

От госпожи де Розмонд к президентше де Турвель

А почему, моя красавица, не хотите вы больше оставаться моей дочерью? Почему вы как будто намекаете на то, что переписка наша должна прекратиться? Уж не хотите ли вы наказать меня за то, что я не догадалась об обстоятельстве совершенно неправдоподобном? Уж не подозреваете ли вы, что я умышленно огорчила вас? Нет, я слишком хорошо знаю ваше сердце, чтобы поверить, что оно так мыслит о моем. Вот почему, прочтя ваше письмо, я страдаю больше за вас, чем за себя.

О юный друг мой, говорю вам это с душевной скорбью — вы слишком достойны любви, чтобы любовь когда-либо дала вам счастье. Какая по-настоящему нежная и чувствительная женщина не обрела несчастья в том самом чувстве, от которого ожидала столько блаженства! Разве мужчина способен оценить женщину, которой он обладает?

Конечно, многие мужчины ведут себя порядочно и проявляют постоянство в своих чувствах.

Но даже и в их числе как мало таких, чье сердце способно биться в лад с нашим! Не думайте, милая моя дочь, что их любовь подобна нашей. Да, они испытывают то же опьянение, зачастую даже вносят в него больше, но они не знают тревожного рвения, нежной внимательности, из-за которых мы отдаемся непрерывным нежным заботам, единственная цель которых — любимый человек. Мужчина наслаждается счастьем, которое испытывает он сам, женщина — тем, которое дает она. Различие это, столь важное и очень редко замечаемое, весьма ощутительно влияет на поведение каждого из них. Для одного — наслаждение в том, чтобы удовлетворить свои желания, для другой — прежде всего в том, чтобы их вызвать. Для него нравиться — один из способов добиться успеха, в то время как для нее в этом и состоит успех. И кокетство, в котором так часто упрекают женщин, есть не что иное, как некоторое злоупотребление подобного рода чувствами, являющееся, однако, доказательством их истинности. И, наконец, исключительная страсть к одному существу, характерная для любви вообще, у мужчины есть всего лишь предпочтение, служащее самое большее для того, чтобы усилить удовольствие, которое ослабело бы, может быть,

появись новый предмет, но отнюдь не исчезло бы. В то время как в женщинах это — глубокое чувство, не только уничтожающее какое-либо постороннее влечение, но более властное, чем природа, и не подчиняющееся ее законам и потому заставляющее женщин испытывать мучительное отвращение там, где, казалось бы, должно было возникнуть желание.

И не думайте, что более или менее многочисленные исключения, которые можно было бы привести в данном случае, могут успешно опровергнуть эту общеизвестную истину! Ее опора — взгляды общества, которое лишь для мужчин делает различие между неверностью и непостоянством. Этим различием они похваляются, а между тем оно унизительно, и среди представительниц нашего пола его принимали только те развращенные женщины, которые позорят наш пол и для которых хорошо любое средство, подходящее, по их мнению, для того, чтобы избавить их от тягостного сознания собственной низости.

Мне представлялось, моя красавица, что вам было бы полезно внять этим моим доводам: вы противопоставите их неосуществимым мечтам о безоблачном счастье, которыми любовь беспрестанно морочит наше воображение. Это об-

манчивая надежда, за которую цепляешься даже тогда, когда ясно видишь, что от нее приходится отказаться, и утрата ее обостряет и умножает те вполне реальные муки, которые всегда сопутствуют сильной страсти.

Единственное, что я могу и хочу сейчас делать, — это облегчить ваши страдания, постараться, чтобы их стало меньше. При неизлечимой болезни можно давать советы только относительно режима. Я прошу вас лишь об одном: помните, что жалеть больного — не значит порицать его. Да кто мы все такие, чтобы осуждать друг друга? Предоставим право судить тому, кто один читает в сердцах человеческих, и я дерзаю даже верить, что много добродетелей могут в отеческих глазах его искупить одну слабость.

Но заклинаю вас, милый друг мой, остерегайтесь превыше всего опрометчивых решений, говорящих не столько о силе духа, сколько о полном отчаянии. Не забывайте, что, сделав кого-то властелином вашей жизни — пользуюсь вашим же выражением, — вы тем не менее не смогли лишить своих друзей того, чем они владели раньше и от чего никогда не откажутся.

Прощайте, дорогая моя дочь. Думайте иногда о своей нежно любящей матери и не сомневайтесь,

что вам она отдает всегда и прежде всего прочего свои самые заветные мысли.

Из замка ***, 4 ноября 17…

Письмо 131

От маркизы де Мертей к виконту де Вальмону

Вот и отлично, виконт, на этот раз я более довольна вами. Но теперь поговорим по-дружески, и я надеюсь убедить вас, что тот сговор между нами, которого вы, видимо, так желаете, был бы чистейшим безумием и для вас и для меня.

Неужели вы еще не уразумели, что наслаждения, действительно являющегося единственным толчком для соединения двух полов, все же недостаточно для того, чтобы между ними возникала связь, и что если ему предшествует сближающее их желание, то после него наступает отталкивающее их друг от друга пресыщение? Таков закон природы, и нарушать его властна только любовь. А разве любовь приходит по заказу? Но ведь нужна-то она всегда. И это было бы до крайности неудобно, если бы люди не сообразили, что, к счастью, достаточно, когда любовь есть у одной из сторон. Трудность таким образом уменьшилась наполовину, и притом почти ничего не было

утеряно: действительно — один счастлив тем, что любит, другой тем, что его любят, хотя, правда, счастье это не так велико, но зато ему сопутствует удовольствие измены; выгоды уравновешены, и все устраивается.

Но скажите мне, виконт, кто из нас двоих возьмет на себя труд изменять другому? Помните рассказ о двух мошенниках, которые поймали друг друга во время игры. «Ничего у нас не получится, — сказали они, — заплатим за карты пополам». И они бросили игру. Поверьте мне, последуем их благоразумному примеру и не станем терять совместно времени, которое с таким успехом можем провести каждый в отдельности.

Чтобы доказать вам, что в данном случае я руководствуюсь вашей выгодой не меньше, чем своей собственной, что я действую так не из каприза, не оттого, что раздражена, я не отказываю вам в условленной между нами награде. Я отлично понимаю, что на один вечер мы останемся вполне довольны друг другом, и я даже не сомневаюсь в том, что мы сумеем так усладить его, что нам будет жаль, когда он кончится. Но не будем забывать, что сожаление это необходимо для счастья. И как бы сладостны ни были наши иллюзии, не поддадимся заблуждению, будто они

могут быть длительны.

Как видите, я тоже выполняю свои обязательства, и даже не дожидаясь, чтобы вы совершенно точно выполнили ваши. Ибо я ведь должна была получить первое же после ее падения письмо божественной недотроги. А между тем то ли потому, что вы им еще дорожите, то ли потому, что забыли об условиях сделки, которая, может быть, интересует вас меньше, чем вы стараетесь показать, я ничего, совершенно ничего не получила. Между тем или я ошибаюсь, или нежная святоша усиленно пишет письма. Ибо что ей делать, когда она одна? Уж наверно у нее не хватит ума развлекаться. Словом, у меня было бы в чем вас упрекнуть, если бы мне этого хотелось. Но я молчу в качестве воздаяния за некоторое раздражение, которое, может быть, допустила в своем последнем письме.

Теперь же, виконт, у меня есть к вам просьба, и даже больше ради вас, чем ради меня самой: отложим ненадолго мгновение, желанное мне, быть может, не менее, чем вам. Я думаю, что отложить его следует до моего возвращения в город. С одной стороны, здесь у нас не было бы достаточной свободы, а с другой — для меня имелась бы некоторая опасность, так как довольно, может

быть, капли ревности, чтобы привязать ко мне постылого Бельроша, хотя сейчас он держится, можно сказать, на волоске. Он уже выбивается из сил, стараясь в проявлениях любви не ударить лицом в грязь. Дело дошло уже до того, что, перенасыщая его ласками, я вынуждена не только быть осторожной, но и хитрой. В то же время вы сами понимаете, что Бельрош может считаться жертвой, которую я вам приношу. Обоюдная неверность еще больше усилит очарование.

А знаете ли, я иногда жалею, что мы вынуждены прибегать к таким средствам. В дни, когда мы любили друг друга, — ибо я думаю, что то была любовь, — я была счастлива… а вы, виконт? Но зачем думать о счастье, которому нет возврата? Нет, что бы там ни говорили, возврат невозможен. Прежде всего, я потребовала бы жертв, которых вы, наверно, не смогли бы или не захотели принести и которых я, возможно, вовсе и не достойна. А затем — как вас удержать? О нет, нет, я и думать об этом не хочу. И хотя писать вам доставляет мне сейчас радость, я предпочитаю внезапно покинуть вас.

Прощайте, виконт.

Из замка ***, 6 ноября 17…

Письмо 132

От президентши де Турвель к госпоже де Розмонд

Глубоко растроганная вашей ко мне добротой, сударыня, я целиком отдалась бы ей, если бы меня не останавливала в какой-то мере боязнь осквернить ее этим. Почему, когда ваша доброта мне так драгоценна, я в то же время должна ощущать, что недостойна ее? Ах, но, во всяком случае, я осмелюсь высказать вам всю свою благодарность. Особенно восхищает меня в вас снисходительность добродетели, которой наши слабости ведомы лишь постольку, поскольку она им сострадает, — так сильна и так сладостна власть ее чар над нашими сердцами, что выдержит сравнение даже с чарами любви.

Но могу ли я и теперь заслуживать дружбу, которой уже недостаточно для моего счастья? То же самое могу я сказать и о ваших советах: я сознаю всю их мудрость, но не могу им следовать. И как не верить мне в совершенное счастье, когда я его сейчас ощущаю? Да, если мужчины такие, как вы о них говорите, надо бежать от них, надо их ненавидеть. Но насколько же не схож

с ними Вальмон! Если у него, как и у них, есть то неистовство страсти, которое вы называете необузданностью, то насколько же в нем сильнее этой необузданности беспредельная нежность! О друг мой! Вы говорите, что разделяете мои страдания, но порадуйтесь со мной и моему счастью! Я обязана им любви, а как увеличивает его самый предмет этой любви! Вы говорите, что любовь ваша к племяннику — быть может, проявление слабости. О, если бы вы знали его, как я! Я его обожаю, боготворю, и все же меньше, чем он заслуживает. Конечно, он мог порою впадать в заблуждения, в чем он и сам признаётся. Но кто лучше его познал истинную любовь? Что мне сказать вам больше? Он внушает ее, но и сам ощущает с не меньшей силой.

Вы подумаете, что я одержима неосуществимой мечтой, которой любовь беспрестанно смущает нагое воображение. Но если так, то почему же он стал более нежным, более внимательным с тех самых пор, как ему уже нечего добиваться? Должна признаться, что раньше рассудительность и сдержанность редко покидали его, и это часто, даже против воли, вызывало в моем сознании все те лживые и жестокие представления о нем, которые существуют у его недоброжелателей.

Но с тех пор, как он беспрепятственно может отдаваться порывам своего сердца, он словно угадывает все желания моего. Кто знает, не были ли мы созданы друг для друга! Не суждено ли было мне счастье стать необходимой для его счастья! Ах, если это самообман, пусть я умру прежде, чем он рассеется. Нет, я хочу жить, чтобы лелеять, чтобы обожать его. Почему бы перестал он любить меня? Какая другая женщина сделает его счастливее? А я чувствую по собственному опыту, что счастье, которое порождаешь в другом, это самая крепкая, единственно подлинная связь. Да, это и есть то упоительное чувство, которое облагораживает любовь, которое в некотором смысле очищает ее и делает действительно достойной такой нежной и благородной души, как душа Вальмона.

Прощайте, мой дорогой, уважаемый, снисходительный друг. Тщетно пыталась бы я продолжать это письмо: настал час, когда он обещал прийти, и у меня уже нет других мыслей. Простите! Но вы хотите моего счастья, а оно в этот миг так велико, что меня едва хватает, чтобы ощущать его.

Париж, 7 ноября 17…

Письмо 133

От виконта де Вальмона к маркизе де Мертей

Что же это за жертвы, мой прелестный друг, на которые я, по вашему мнению, не пойду, хотя наградой за них мне было бы ваше благоволение? Скажите, прошу вас, и если я хоть на мгновение поколеблюсь — принести их или нет, — разрешаю вам отказать мне в следуемой за них награде. Хорошо же вы судите обо мне с некоторых пор, если, даже проявляя снисходительность, сомневаетесь в моих чувствах или же силе воли! Жертвы, которых я не смогу или не захочу принести! Итак, вы считаете меня влюбленным, порабощенным, вы думаете, что если я так добивался успеха, то мне дорог самый предмет? Ах, нет, слава богу, я еще не пал так низко и берусь вам это доказать. Да, я докажу это, хотя бы и за счет госпожи де Турвель, и тогда у вас уж наверно не останется никаких сомнений.

Я полагаю, что мог, не становясь смешным, посвятить некоторое время женщине, у которой есть хотя бы то достоинство, что она принадлежит к довольно редкой породе. Может быть, я особенно увлекся этим приключением потому,

что оно совпало с мертвым сезоном. Нечего дивиться, что и сейчас я почти целиком поглощен им, — ведь общество только-только начинает съезжаться. Подумайте к тому же, что я всего какую-нибудь неделю вкушаю плоды трехмесячных трудов, — а мне приходилось и дольше задерживаться около женщин, гораздо менее стоящих, на которых и труда было затрачено гораздо меньше! Однако тогда вы не делали никаких позорящих меня выводов.

И наконец — хотите знать истинную причину моего упорства в этом деле? Вот она. Женщина эта по природе своей робка; в первое время она беспрестанно сомневалась в своем счастье, и этого было достаточно, чтобы спугнуть его, вследствие чего я лишь сейчас едва начинаю выяснять, как далеко простирается моя власть над такого рода женщинами. А мне ведь очень любопытно было узнать это, подходящий же случай подвертывается не так легко, как можно думать.

Прежде всего, для очень многих женщин наслаждение есть наслаждение, и больше ничего. У них, как бы они нас ни именовали, мы только поставщики, передатчики, и в их глазах все наше достоинство — активность: кто делает больше, тот и лучше.

Другую категорию женщин, в наши дни, может быть, самую многочисленную, интересует почти исключительно известность их любовника, удовольствие от того, что он отбит у соперницы, страх в свою очередь потерять его. Сами мы тоже занимаем некоторое место в том подобии счастья, которое они испытывают, однако в первую очередь оно зависит от обстоятельств, а не от личности любовника. Они получают счастье благодаря нам, но не от нас.

Мне же хотелось для своих наблюдений найти женщину нежной и чувствительной души, для которой любовь стала бы всепоглощающей и которая в самой любви видела бы лишь возлюбленного: в ней чувство, уклоняясь от обычного пути, шло бы от сердца к желанию, и я, например, видел, как такая женщина (притом не в первый день) после наслаждения лила слезы, а через мгновение вновь предавалась страсти из-за какого-нибудь моего слова, нашедшего отзвук в ее душе. Наконец, мне надо было, чтобы ко всему этому присоединялось и природное чистосердечие, ставшее настолько привычным, что его уже не преодолеть и что оно не дает скрыть ни единого чувства, живущего в сердце. Вы должны согласиться, что подобные женщины встреча-

ются очень редко, и я уверен, что, если бы не эта именно женщина, другой такой я, быть может, никогда бы уже не встретил.

Поэтому было бы неудивительно, если бы я оставался верен ей больше, чем какой-либо другой женщине. Если для наблюдений моих, которые я произвожу с ее помощью, нужно, чтобы я сделал ее счастливой, совершенно счастливой, почему я должен от этого отказываться, в особенности раз это мне помогает вместо того, чтобы препятствовать? Но если ею занят мой ум, значит ли, что сердце мое порабощено? Нет, конечно. Вот почему, хотя я и впрямь дорожу этим приключением, оно не помешает мне искать других и даже пожертвовать им чему-либо более приятному.

Я настолько свободен, что не пренебрегаю даже малюткой Воланж, которой, в сущности, почти не придаю значения. Через три дня мать привезет ее в Париж. Я же со вчерашнего дня позаботился о том, чтобы сохранить с ней связь: немного денег привратнику, несколько любезностей его жене — и дело в шляпе. Подумайте только, что Дансени не сумел додуматься до такого простого средства! И еще говорят, что любовь делает людей изобретательными. Напротив, она превращает в полных тупиц тех, над кем забрала власть. И это

я не сумею от нее защититься! Нет, будьте покойны. В самые ближайшие дни я нарочно ослаблю слишком, быть может, сильное впечатление, которое испытал: я перебью его другими, а если этого будет недостаточно, постараюсь, чтобы новых впечатлений было побольше.

Тем не менее я готов передать юную пансионерку ее робкому возлюбленному, как только вы найдете это удобным. Мне кажется, у вас уже нет причин препятствовать этому, я же согласен оказать столь существенную услугу бедняге Дансени. По правде сказать, это пустяки по сравнению с тою, какую он оказал мне. Сейчас его крайне тревожит мысль, будет ли он принят у госпожи де Воланж. Я успокаиваю его как только могу, уверяя, что так или иначе, но я с первого же дня устрою его счастье, пока же продолжаю заботиться о переписке, которую он хочет возобновить тотчас же по прибытии своей Сесили. У меня уже имеются от него письма, и до наступления блаженного дня прибавится, конечно, еще одно или два. Этому малому, видно, совсем нечего делать!

Но оставим эту ребяческую парочку и вернемся к своим делам: мне бы только целиком отдаться сладостной надежде, которое дало мне ваше письмо! Да, разумеется, вы меня удержите подле себя,

и непростительно вам сомневаться в этом. Разве я когда-либо переставал быть вам верным? Узы наши ослабли, но не порвались. Наш так называемый разрыв был лишь обманом воображения: связь наших чувств и интересов сохранялась. Подобно путешественнику, возвратившемуся умудренным, я, как и он, признаю, что покинул счастье в погоне за обманчивой надеждой, и скажу, как д'Аркур:

Чем больше видишь стран, тем родина милее[43].

Не боритесь же больше с мыслью или, вернее, чувством, которое возвращает вас ко мне. После того как, идя каждый своим путем, мы отведали всех удовольствий, насладимся теперь счастьем сознавать, что ни одно из них не сравнится с теми, которые мы испытали друг с другом и которые покажутся нам еще более сладостными!

Прощайте, мой пленительный друг. Я согласен ждать вашего возвращения. Но поторопитесь и не забывайте, как я его жажду.

Париж, 8 ноября 17…

---

[43] Примечания: 43
Дю Беллуа, трагедия «Осада Кале»*.

Письмо 134

От маркизы де Мертей к виконту де Вальмону

Браво же, виконт, вы — совсем как ребенок, в присутствии которого ничего нельзя говорить и которому ничего нельзя показать, чтобы он тотчас же не пожелал этим завладеть! Мне пришла в голову случайная мысль, я даже предупредила вас, что не намерена придавать ей значения, но только потому, что я ее высказала, вы ею злоупотребляете, пытаетесь привлечь к ней мое внимание, заставить меня сосредоточиться на ней, когда я стремлюсь к совершенно обратному, и в некотором смысле разделить вопреки моей собственной воле ваши безрассудные желания! Великодушно ли с вашей стороны взваливать на меня одну все бремя благоразумия? Повторяю вам — себе же самой повторяю еще чаще: придать нашим отношениям тот характер, какой вы желали бы, совершенно невозможно. Даже если вы вложите в них все великодушие, которое проявляете в данный момент, то — как вы думаете? — нет ли у меня известной щепетильности и соглашусь ли я принять жертвы, которые лишат вас счастья?

Неужели, виконт, вы обманываетесь насчет

чувства, привязывающего вас к госпоже де Турвель? Если это не любовь, то любви вообще не существует. Вы отрицаете это на сто ладов, а доказываете на тысячу. Что, например, означает эта попытка хитрить с самим собою (ибо я не сомневаюсь, что со мною вы искренни), заставляющая вас объяснять своей любознательностью желание удержать эту женщину, желание, которого вы не можете ни скрыть, ни подавить? Можно подумать, что и впрямь не бывало другой женщины, которой вы дали бы счастье, полное счастье! Ах, если вы в этом сомневаетесь, то плохая же у вас память! Но, конечно, дело не в этом. Просто сердце ваше поработило рассудок и заставляет его выдумывать слабые доводы. Но меня-то, весьма заинтересованную в том, чтобы не обманываться, не так легко ввести в заблуждение.

Например, я обратила внимание на вашу предупредительность, заставившую вас старательнейшим образом опустить все эпитеты, которые, как вы вообразили, пришлись мне не по вкусу, однако тут же заметила, что, может быть, сами того не замечая, вы остались верны тем же мыслям. И действительно, госпожа де Турвель уже не восхитительная и не божественная, но зато

она удивительная женщина, с нежной и чувствительной душой, притом в противоположность всем прочим женщинам, словом — женщина редкая, второй такой уж не встретишь. Так же обстоит и с неведомым очарованием, которое вы сумеете преодолеть. Пусть так; но раз вы доселе никогда не встречали его, то весьма вероятно, что и в будущем не встретите, а значит, утрата его окажется все же непоправимой. Или, виконт, все это явные признаки любви, или таких признаков вообще невозможно обнаружить.

Поверьте, что сейчас я говорю без всякого раздражения. Я дала себе слово не допускать себя до него, ибо отлично поняла, какую опасную ловушку оно собой представляет. Послушайтесь меня, будем только друзьями, остановимся на этом. И будьте благодарны мне за то мужество, с каким я защищаюсь: да, за это мужество, ибо его надо иметь порою и для того, чтобы не стать на путь, который сам же признаёшь дурным.

Поэтому на ваш вопрос о жертвах, которых я потребовала бы, а вы не смогли бы принести, отвечаю лишь для того, чтобы убедить вас разделить мою точку зрения. Я нарочно употребляю выражение «потребовала бы», ибо уверена, что сейчас вы и впрямь найдете меня чрезмерно

требовательной, но тем лучше. И я не только не рассержусь на вас за отказ, но даже буду вам за него благодарна. Более того — не перед вами же мне притворяться — он мне, может быть, просто необходим.

Я потребовала бы — вот ведь жестокость! — чтобы эта редкая, удивительная госпожа де Турвель стала для вас самой обыкновенной женщиной, такой, какова она на самом деле. Ибо не следует обманываться: чары, которые якобы обретаешь в другом, находятся в нас самих, и только одна любовь делает столь прекрасным любимое существо. Как бы ни было неосуществимо то, чего я требую, вы, может быть, заставите себя пообещать мне это и даже клятву дадите, хотя, откровенно говоря, и не поверю пустым словам. Меня сможет убедить лишь поведение ваше в целом.

Это еще не все, у меня будут капризы. Вы с такой готовностью предлагаете принести мне в жертву малютку Сесиль, но я в этом нисколько не заинтересована. Я пожелала бы, напротив, чтобы вы продолжали нести эту нелегкую службу до новых моих распоряжений, потому ли, что мне угодно было бы злоупотреблять таким образом своей властью, потому ли, что, пожелав стать

снисходительной или справедливой, я довольствовалась бы возможностью распоряжаться вашими чувствами, не лишая вас наслаждений. Как бы то ни было, но я потребовала бы повиновения, а приказания мои были бы весьма суровы!

Правда, тогда я считала бы себя обязанной отблагодарить вас и, кто знает, может быть, даже наградить. Я, например, сократила бы срок разлуки, которая и для меня самой стала бы невыносимой. Словом, я увиделась бы с вами, виконт, увиделась… в качестве кого?.. Но вы все же помните, что это всего лишь разговор, описание неосуществимого плана, а мне не хотелось бы забывать об этом одной…

Знаете ли, что я несколько обеспокоена своим процессом? Я захотела наконец точно узнать, на что могу рассчитывать. Мои адвокаты ссылаются на какие-то законы, а еще больше на авторитеты, как они их именуют, но все это не представляется мне столь же разумным и справедливым, как им. Я почти жалею, что отказалась пойти на мировую. Все же успокаиваю себя тем, что прокурор ловок, адвокат красноречив, а истица хороша собой. Если эти три средства не окажутся действенными, значит, надо изменить весь порядок ведения дел. Но что же станет тогда с уважением

к старым обычаям?

В настоящее время только процесс удерживает меня здесь. Процесс Бельроша закончен: в иске отказано, судебные издержки уплачены. Он уже сожалеет, что не попадет на сегодняшний бал. Вот уж, поистине, сожаление человека, оказавшегося не у дел! Когда мы возвратимся в Париж, я верну ему полную свободу. Я приношу ему эту горестную для меня жертву, но нахожу утешение в том, что он считает мое поведение великодушным.

Прощайте, виконт, пишите мне почаще. Подробные отчеты о ваших забавах отвлекут меня хотя бы до некоторой степени от одолевающих меня забот.

Из замка ***, 11 ноября 17…

Письмо 135

От президентши де Турвель к госпоже де Розмонд

Пытаюсь писать вам, сама еще не зная, смогу ли. О боже, подумать только, что предыдущее мое письмо не дал мне закончить избыток счастья! Теперь же я сражена предельным отчаянием — у меня остались лишь силы ощущать свою муку, но нет сил выразить ее.

Вальмон… Вальмон больше не любит меня и никогда не любил. Любовь так не уходит. Он обманывает меня, предает, оскорбляет. На меня обрушились все несчастья, все унижения, какие только могут быть, и исходят они от него!

Не думайте, что это простое подозрение: я ведь была так далека от каких бы то ни было подозрений! Но сейчас мне не дано счастья сомневаться. Я это видела — что же он может сказать в свое оправдание?.. Но разве ему не безразлично? Он даже и не попытается этого сделать… Несчастная! Что ему твои упреки, слезы? Очень ты ему нужна!..

Итак, он действительно пожертвовал мною, даже предал… и кому?.. Низкой твари… Но что я говорю? Ах, я потеряла даже право презирать ее. Она не так виновна, как я, она в меньшей мере нарушила свой долг. О, как мучительны страдания, обостренные угрызениями совести! Но вот муки мои усиливаются. Прощайте, дорогой друг мой, как ни мало достойна я вашей жалости, вы все же проявите ее ко мне, если только подумаете о том, как я страдаю.

Перечитала это письмо и вижу, что оно вам ничего не объяснит. Поэтому попытаюсь найти достаточно мужества, чтобы рассказать вам это

жестокое для меня событие. Оно произошло вчера. В первый раз после возвращения в Париж я должна была ужинать не дома. Вальмон зашел ко мне в пять часов и никогда еще не казался мне более нежным! Он дал мне понять, что мое намерение ехать в гости ему неприятно, и вы сами понимаете, что вскоре я переменила решение и осталась дома. Однако часа через два и вид его и тон заметно изменились. Не знаю, может быть, у меня вырвалось что-либо такое, что ему не понравилось. Как бы то ни было, через некоторое время он заявил, что совсем позабыл об одном деле, вынуждающем его покинуть меня, и удалился. При этом он, однако, выражал самые живые сожаления, показавшиеся мне тогда очень нежными и вполне искренними.

Оставшись одна, я решила, что приличнее будет не изменять ранее данному обещанию, раз я свободна и могу сдержать его. Я закончила свой туалет и села в карету. К несчастью, кучер поехал мимо Оперы, я оказалась в самой сутолоке разъезда, и тут, в четырех шагах от себя, в ближайшем к своей карете ряду, узнала карету Вальмона. Сердце у меня тотчас же забилось, но не от какого-либо страха: мне хотелось лишь одного — чтобы моя карета поскорее двинулась

вперед. Вместо этого его карете пришлось податься назад, и она поравнялась с моей. Я тотчас же высунулась, и каково же было мое изумление, когда рядом с ним я увидела особу, хорошо известную в качестве девицы легкого поведения! Как вы сами понимаете, я откинулась назад; того, что я увидела, было вполне достаточно, чтобы ранить мое сердце. Но, вероятно, вам нелегко будет поверить, что эта девица, которой он, видимо, самым гнусным образом все обо мне рассказал, продолжала смотреть в окно кареты прямо на меня и при этом громко вызывающе хохотала.

Уничтоженная всем, что произошло, я тем не менее позволила довезти меня до того дома, где должна была ужинать. Но оставаться там оказалось для меня невозможным: каждое мгновение я ощущала, что вот-вот потеряю сознание, а главное — я не могла удержать слез.

Вернувшись домой, я написала господину де Вальмону и тотчас же отослала ему письмо; его не оказалось дома. Желая любой ценой либо выйти из этого состояния смертной муки, либо уже знать, что буду пребывать в нем вечно, я вновь послала слугу со своим письмом, велев ему дождаться возвращения Вальмона. Но еще до полуночи слуга мой возвратился с сообщением,

что кучер вернулся один и сказал ему, что хозяин не будет ночевать дома. Утром я рассудила, что мне остается лишь одно — вторично потребовать возвращения всех моих писем и просить Вальмона больше у меня не бывать. Я и дала соответствующие распоряжения, но они, видимо, были совершенно излишни: уже около полудня, а он еще не явился, и я не получила от него хотя бы записки.

Теперь, дорогой друг мой, мне добавлять нечего. Вы в курсе дела, и вы хорошо знаете мое сердце. Единственная моя надежда — что мне уже недолго придется огорчать такого друга, как вы.

Париж, 15 ноября 17…

Письмо 136

От президентши де Турвель к виконту де Вальмону

Наверно, сударь, после того, что произошло вчера, вы не рассчитываете больше быть принятым у меня да и не очень к этому стремитесь! Поэтому пишу вам не столько даже для того, чтобы просить вас у меня больше не появляться, сколько для того, чтобы вновь потребовать у вас возвращения писем, которых мне не следовало

писать. Если они когда-либо могли иметь для вас некоторое значение, как свидетельство порожденного вами ослепления, то сейчас, когда оно прошло, они не могут не быть для вас безразличными, ибо выражают только чувство, вами же во мне уничтоженное.

Признаюсь, что с моей стороны ошибкой было проникнуться к вам доверием, жертвами которого оказалось до меня столько других женщин. В этом я обвиняю лишь себя. Однако я полагала, что, во всяком случае, не заслуживаю того, чтобы вы отдавали меня на осмеяние и позор. Я думала, что, пожертвовав ради вас всем и потеряв из-за вас одного право на уважение со стороны других людей и даже на самоуважение, я могла рассчитывать, что вы-то не станете судить меня строже, чем общество, в чьих глазах существует все же огромная разница между женщиной, виновной в слабости, и женщиной, вконец испорченной. Вот почему я упоминаю здесь лишь о тех проступках ваших, которые всегда и всеми осуждаются. О проступках против любви я умалчиваю: вашему сердцу все равно не понять моего. Прощайте, сударь.

Париж, 15 ноября 17…

Письмо 137

От виконта де Вальмона к президентше де Турвель

Мне только что вручили, сударыня, ваше письмо. Я содрогнулся, прочтя его, и у меня едва хватает сил написать ответ. Какого же вы обо мне ужасного мнения! Ах, конечно, я совершал проступки такие, каких не прощу себе всю жизнь, даже если бы вы покрыли их своей снисходительностью. Но насколько же всегда было чуждо моей душе то, в чем вы меня упрекаете! Как, это я унижаю, оскорбляю вас, я, который чтит вас не меньше, чем любит, который узнал чувство гордости лишь в тот миг, когда вы сочли его достойным себя? Вас ввели в заблуждение внешние обстоятельства, и я не отрицаю, что они могли быть против меня. Но разве в сердце вашем не было того, что нужно для борьбы с заблуждением? И почему оно не возмутилось от одной мысли о том, что может на меня сетовать? А вы поверили! Значит, вы не только сочли меня способным на такую гнусность и безумие, но у вас даже возникла мысль, что жертвой его вы стали из-за своей доброты ко мне! Ах, если вы себя считаете до

такой степени униженной любовью, то до чего же я низок в ваших глазах!

Удрученный мукой, которую причиняет мне эта мысль, я, отгоняя ее, теряю время, которое следовало бы употребить на то, чтобы изгладить ее из вашего сознания. Буду откровенен — меня удерживает еще один довод. Нужно ли говорить о событиях, которые я хотел бы предать полному забвению? Нужно ли задерживать ваше внимание — да и мое тоже — на миге заблуждения, которое я хотел бы искупить всей своей остальной жизнью, — причина его мне самому еще не совсем ясна, и воспоминание о нем всегда будет для меня унизительным и постыдным? Ах, если, обвиняя себя самого, я еще больше распалю ваш гнев, мщение у вас под рукой: достаточно будет предать меня терзаниям моей же совести.

И все же — кто поверил бы? — первопричиной этого происшествия было то всемогущее очарование, которое я испытываю, находясь подле вас. Именно оно заставило меня позабыть о важном деле, не терпевшем отлагательства. Я ушел от вас слишком поздно и не встретился с человеком, которого искал. Я надеялся застать его в Опере, но и эта попытка оказалась тщетной. Там находилась Эмили, которую я знал в дни, когда

не имел никакого представления ни о вас, ни о настоящей любви. У Эмили не было кареты, и она попросила меня подвезти ее — она жила в двух шагах от театра. Я не придал этому никакого значения и согласился. Но тогда-то мы с вами и встретились, и я тотчас же почувствовал, что вы можете поставить мне это в вину.

Страх вызвать ваше неудовольствие или огорчить вас имеет надо мной такую власть, что его нельзя не заметить, и на него действительно вскоре обратили внимание. Признаюсь, что он даже вынудил меня попросить эту девицу не показываться. Но предосторожность, вызванная моей любовью; обратилась против любви. Привыкшая, подобно всем таким женщинам, считать свою власть, всегда незаконную, прочной лишь тогда, когда ею можно злоупотребить, Эмили, конечно, решила не упускать столь блестящей возможности. Чем больше замечала она, что мое замешательство усиливается, тем больше старалась она, чтобы ее увидели в моей карете. А ее безумный смех, из-за которого я теперь краснею при одной мысли, что вы хоть на мгновение могли счесть себя его причиной, вызван был лишь моей жестокой мукой, проистекавшей опять же от моей любви и уважения к вам.

До сих пор я, как мне кажется, более несчастен, чем виновен, и те проступки, единственные, о которых вы упоминаете и которые всегда и всеми осуждаются, — их не существует, и за них меня укорять нельзя. Но напрасно умалчиваете вы о проступках против любви. Я не стану этого делать: нарушить молчание вынуждают меня слишком важные соображения.

Этим своим поступком, для меня самого невероятным, я смущен и пристыжен настолько, что мне крайне мучительно напоминать о нем. Проникнутый сознанием вины, я готов был бы нести за нее кару или же дожидаться поры, когда время, моя неиссякаемая нежность и мое раскаяние принесут мне ваше прощение. Но как могу я молчать, раз то, что мне остается сказать вам, важно именно для вас, касается ваших чувств?

Не подумайте, что я ищу каких-либо уверток, чтобы оправдать или прикрыть свою вину: нет, я ее признаю! Но я не признаю и никогда не признаю, что это унизительное заблуждение может быть сочтено преступлением против любви. Что может быть общего между порывами чувственности, минутным ослеплением, которое вскоре сменяется стыдом и раскаянием, и чистым чувством, способным возникнуть лишь в душе,

исполненной нежности, поддерживаться лишь уважением и в конце концов дать полное счастье? Ах, не унижайте таким образом любви. А главное — бойтесь унизить себя, смотря с единой точки зрения на вещи несоединимые.

Предоставьте женщинам низким, падшим страшиться соперничества, которое, как они невольно чувствуют, всегда им угрожает, и ощущать муки ревности настолько же жестокой, сколь и унизительной; но вы, вы отвращайте свой взор от того, что может его осквернить, и, чистая, как божество, карайте, подобно ему же, за оскорбления, оставаясь к ним нечувствительной.

Но какую кару назначите вы мне, более тягостную, чем то, что я сейчас испытываю? Что можно сравнить с сожалением о проступке, вызвавшем ваш гнев, с отчаянием оттого, что доставил вам огорчение, с гнетущей мыслью о том, что я стал менее достойным вас? Вы ищете, чем бы покарать меня, я же прошу у вас утешений, и не потому, что заслуживаю их, а потому, что они мне необходимы, и получить их я могу только от вас.

Если вдруг, забыв о моей и о своей собственной любви и не дорожа более моим счастьем, вы, напротив, желаете ввергнуть меня в вечную муку — это ваше право: наносите удар. Но если,

проявляя снисходительность или отзывчивость, вы все же вспомните о нежности, соединявшей наши сердца, о страстном томлении душ, вечно возрождающемся и все более и более жгучем, о сладостных и счастливых днях, которыми каждый из нас был обязан другому, о всех радостях, которые дает одна любовь, — может быть, вы предпочтете употребить свою власть на то, чтобы воскресить все это, вместо того, чтобы уничтожать. Что мне сказать вам еще? Я все потерял, и все потерял по своей же вине. Но я все могу обрести вновь, если на то будет ваша благая воля. Теперь вам решать. Добавлю лишь одно слово. Еще вчера вы клялись мне, что мое счастье обеспечено, если оно зависит от вас! Ах, сударыня, неужели вы повергнете меня теперь в безысходное отчаянье?

Париж, 15 ноября 17…

Письмо 138

От виконта де Вальмона к маркизе де Мертей

Настаиваю на своем, прелестный мой друг, нет, я не влюблен, и не моя вина, если обстоятельства вынуждают меня изображать влюбленность. Дайте только согласие и возвращайтесь: вы

вскоре сами убедитесь, насколько я искренен. Я доказал это вчера, а то, что происходит сегодня, не опровергает вчерашнего.

Итак, я был у чувствительной недотроги, и никакое другое дело меня не отвлекало, ибо малютка Воланж, невзирая на свое положение, должна была всю ночь провести на балу, который госпожа В*** давала, несмотря на то, что сезон еще не наступил. От нечего делать я сперва захотел продлить свое посещение и даже потребовал в связи с этим маленькой жертвы. Но как только я получил согласие, удовольствие, которого я ожидал, было нарушено мыслью о том, что вы упорно продолжаете считать меня влюбленным или, во всяком случае, беспрестанно ставите мне это в укор. Так что единственным моим желанием стало убедить и самого себя, и вас, что с вашей стороны это чистейшая клевета.

Тут я принял смелое решение и под довольно пустяковым предлогом покинул свою прелестницу, крайне изумленную и, несомненно, в еще большей степени огорченную. Я же преспокойно отправился в Оперу и на свидание с Эмили, и она может отчитаться перед вами в том, что до нынешнего утра, когда мы расстались, ни единое сожаление не смутило наших утех.

У меня, однако, был бы достаточный повод для беспокойства, если бы не мое полнейшее равнодушие. Ибо да станет вам известно, что не успели мы с Эмили, сидевшей со мной в карете, отъехать за четыре дома от Оперы, как с нами поравнялась карета суровой святоши и, вследствие образовавшегося затора, простояла рядом с нашей минут семь-восемь. Мы видели друг друга, как в ясный полдень, и избежать этого не было никакой возможности.

Но это еще не все: мне пришло в голову сообщить Эмили, что эта дама — та самая, которой я писал пресловутое письмо (вы, может быть, припомните эту мою выходку, когда сама Эмили служила пюпитром)[44]. Она-то этого не забыла и, смешливая по натуре, не успокоилась, пока не нагляделась вдосталь на эту, по ее выражению, ходячую добродетель, хохоча при этом так непристойно, что можно было действительно выйти из себя.

Но и это не все: может быть, вы сомневаетесь в том, что ревнивица послала ко мне в тот же вечер? Меня не оказалось дома, но она в своем упорстве отправила слугу вторично, велев

---

[44] Примечания: 44
Письма 47 и 48.

ему дождаться моего возвращения. Я же, решив остаться у Эмили, отослал карету домой, а кучеру велел только приехать за мной утром. Застав посланца любви в моем доме, кучер безо всяких околичностей сообщил ему, что я не возвращусь до утра.

Вам легко догадаться, что эта новость возымела свое действие и что по возвращении я получил полную отставку, объявленную мне со всей подобающей торжественностью.

Таким образом, история эта, по вашему мнению нескончаемая, могла бы закончиться хоть сегодня утром. Если же она не закончилась, то не потому, чтобы я, как вы, наверно, вообразите, дорожил ею, а лишь вследствие того, что, с одной стороны, я считаю неподобающим делом, чтобы меня бросали, а с другой — потому, что честь этой жертвы хотел оказать вам.

Итак, на суровую записку я ответил пространным и весьма чувствительным посланием. Я привел обстоятельнейшие объяснения, а чтобы они были приняты за чистую монету, решил опереться на любовь. Мне это уже удалось. Только что я получил вторую записку, по-прежнему весьма суровую и подтверждающую разрыв навеки, как и следовало ожидать, но тон ее, однако,

иной. Самое главное — меня не хотят видеть: это решение объявляется раза четыре и самым непреклонным образом. Из этого я заключил, что надо, не теряя времени, явиться. Я уже послал егеря, чтобы заручиться швейцаром, а через минуту отправлюсь сам заставить ее подписать мне прощение. Ибо при такого рода проступках существует лишь одна церемония отпущения, и она может быть совершена только в личном присутствии.

Прощайте, очаровательный друг мой, бегу по этому важному делу.

Париж, 15 ноября 17…

Письмо 139

От президентши де Турвель к госпоже де Розмонд

Как я упрекаю себя, отзывчивый друг мой, за то, что поторопилась посвятить вас во все подробности своих мимолетных горестей! Из-за меня вы теперь огорчены. Печаль ваша, в которой повинна я, еще длится, я же в это время счастлива. Да, все забыто, прощено, лучше того — восстановлено. Скорбь и тоска сменились спокойствием и отрадой. О, как мне выразить тебя, радость

моего сердца! Вальмон не виноват. Нельзя быть виноватым, когда любишь так, как он. Тяжкие, оскорбительные для меня проступки, в которых я его обвиняла с такой горечью, — он их не совершал, а если в одном-единственном пункте я должна была выказать снисходительность, то разве не было и с моей стороны несправедливостей, которые надлежит искупить?

Не стану вдаваться в подробности о фактах или о причинах, его оправдывающих. Может быть, рассудок и не очень внимал бы им: лишь сердцу дано их понять. Но если вы все же заподозрите меня в слабости, я призову себе на помощь ваши же рассуждения. Ведь вы сами говорите, что у мужчин неверность еще не означает непостоянства.

Это вовсе не значит, что я не понимаю, до какой степени это различие, хотя бы оно и было узаконено мнением общества, оскорбляет истинную чувствительность. Но моей ли чувствительности жаловаться, когда еще сильнее страдают чувства Вальмона? Я-то забываю его проступок, но не думайте, что он прощает его себе сам или находит какое-нибудь утешение. А ведь как искупил он эту легкую вину избытком любви ко мне, избытком моего счастья!

Или же счастье мое теперь полнее, или я больше ценю его после того, как боялась, что оно мною утрачено. Но могу вам сказать, что, если бы у меня хватило сил переносить горести такие же тяжкие, как те, что я сейчас пережила, я не считала бы, что слишком дорого плачу за полноту счастья, которую с тех пор вкусила. О нежная моя матушка, побраните свою неразумную дочь за то, что она огорчила вас своей поспешностью, побраните ее за то, что она слишком дерзновенно судила и оклеветала того, кого должна была неизменно боготворить. Но, признав ее неблагоразумие, знайте, что она счастлива, и увеличьте это счастье, разделив его с нею.

Париж, 15 ноября 17… вечером.

Письмо 140

От виконта де Вальмона к маркизе де Мертей

Почему это, прелестный мой друг, я не получаю от вас ответа? Между тем последнее мое письмо, как мне кажется, его заслуживало. И я должен был получить его уже три дня тому назад, а все жду и жду! Мягко говоря, я на вас сердит, и потому ничего не стану рассказывать вам о самых важных своих делах. Ни слова не скажу я о том,

что состоялось самое полное примирение, что вместо упреков и недоверия оно породило новые ласки, что теперь уже передо мною извиняются, и я получаю возмещение за то, что была заподозрена моя невинность. Я вообще не стал бы вам писать, не случись прошлой ночью совершенно непредвиденного события. Но так как оно касается вашей подопечной и она, по всей вероятности, не сочтет подходящим оповещать вас о нем, во всяком случае на первых порах, — об этом позабочусь я.

По причинам, о которых вы догадаетесь или не догадаетесь, последние несколько дней я не мог быть занят госпожой де Турвель. А так как этих причин у малютки Воланж не могло быть, я стал чаще навещать ее. Благодаря любезности швейцара мне не приходилось преодолевать никаких препятствий, и мы с вашей подопечной вели спокойный и размеренный образ жизни. Но привычка ведет к небрежности. В первые дни мы никак не могли успокоиться, принимая все новые и новые меры предосторожности, и дрожали за всеми запорами. Но вчера непостижимая рассеянность вызвала то происшествие, о котором я хочу вам сообщить. И если я со своей стороны отделался страхом, то девочке оно обошлось

несколько дороже.

Мы предавались отдыху и истоме, которые сменяют сладострастие, как вдруг услышали, что дверь нашей комнаты внезапно отворилась. Тотчас же я схватился за шпагу, столько же для самозащиты, сколько для того, чтобы защитить нашу с вами подопечную. Устремляюсь вперед, но никого не вижу. Дверь, однако, действительно оказалась открытой. Так как мы не тушили света, я пошел на разведку, но не обнаружил ни единой живой души. Тогда я вспомнил, что мы пренебрегли обычными предосторожностями, видимо, лишь слегка притворили или же плохо закрыли дверь, и она сама распахнулась.

Возвратившись к своей пугливой подруге, чтобы успокоить ее, я не нашел ее в постели. Упала ли она между кроватью и стеной или спряталась туда, во всякое случае она лежала там без сознания и в сильнейших судорогах. Можете судить о моем замешательстве! Мне, однако, удалось снова уложить ее в кровать и даже привести в чувство. Но, падая, она ушиблась, и последствия не замедлили сказаться.

Боли в пояснице, жестокие колики и другие еще менее двусмысленные признаки вскоре окончательно прояснили мне ее положение. Но,

чтобы сообщить о нем ей, надо было сперва осведомить ее и о том, в которое она попала несколько раньше, ибо она об этом даже не подозревала. Может быть, ни одна девица до нее не сохраняла подобной невинности, так прилежно делая все, чтобы эту невинность потерять! О, эта особа не тратит времени на размышления!

Но зато очень много его она тратила, предаваясь отчаянью, и я почувствовал, что надо на что-то решаться! Поэтому мы с ней договорились, что я тотчас же отправлюсь за их домашним врачом и за их домашним хирургом и что, предупреждая их, что за ними пришлют, я под строгим секретом посвящу их во все. Она же, со своей стороны, позвонит горничной, доверится ей или нет, по своему усмотрению, но, во всяком случае, пошлет за врачебной помощью, а паче всего — запретит будить госпожу де Воланж — трогательная и вполне естественная заботливость дочери, боящейся побеспокоить мать.

Я постарался закончить оба мои визита и оба доверительных сообщения как можно скорее, а затем возвратился к себе и до сих пор еще не выходил из дома. Но хирург, которого я, впрочем, и раньше знал, в полдень явился известить меня о состоянии больной. Я не ошибался, но он наде-

ется, что, если не произойдет осложнений, дома у нее ничего не заметят. Горничная посвящена в тайну, доктор дал болезни подходящее название, и дело это устроится, как бесчисленное множество других, — разве что впоследствии нам с вами понадобится, чтобы о нем заговорили.

Но имеются ли у нас с вами сейчас какие-либо общие интересы? Молчание ваше вызывает у меня на этот счет сомнения. Я бы уже перестал и верить в это, если бы желание сохранить их не побуждало меня всеми правдами и неправдами сохранить надежду.

Прощайте, прелестный мой друг. Целую вас, хотя все еще сержусь.

Париж, 21 ноября 17…

Письмо 141

От маркизы де Мертей к виконту де Вальмону

Боже мой, виконт, до чего мне надоело ваше упорство! Не все ли вам равно, что я молчу? Уж не думаете ли вы, что молчу потому, что мне нечего сказать в свою защиту? Если бы все было в этом! Но дело в том, что мне трудно об этом писать!

Скажите мне правду: сами вы себя обманываете или меня хотите обмануть? Ваши слова и

поведение настолько противоречат друг другу, что у меня остается выбор лишь между этими двумя мнениями: какое из них — истинное? Что вы хотите от меня услышать, когда я сама не знаю, что и думать?

Вы, как видно, вменяете себе в великую заслугу последнюю сцену между вами и президентшей. Но что она доказывает в пользу вашей системы или против моей? Уж наверно, я никогда не говорила вам, что вы любите эту женщину настолько, чтобы не изменять ей, чтобы не пользоваться любым случаем, который покажется вам приятным или удобным. Я не сомневалась даже, что вам более или менее безразлично утолять с другой, с первой попавшейся женщиной даже такие желания, которые могла возбудить в вас только эта. И я не удивлена, что благодаря своему душевному распутству, оспаривать которое у вас было бы несправедливо, вы однажды совершили вполне обдуманно то, что сотни раз делали просто так, при случае. Кому не ведомо, что так вообще принято в свете, что таков обычай, которому следуете вы все, от негодяя до самого избранного? Кто в наши дни от этого воздерживается, слывет мечтательным. А я, кажется, вас за этот порок не упрекаю!

Тем не менее я говорила, и думала, и теперь еще думаю, что вы свою президентшу любите. Конечно, не слишком чистой и не слишком нежной любовью, но такой, на какую вы способны. Такой, к примеру, которая заставляет вас обнаруживать в женщине прелести и качества, коих на самом деле у нее нет, ставить ее на особое место, а всех других отодвигать во второй разряд. Словом, такой, какую, по-моему, султан может питать к любимой султанше, что не мешает ему порою предпочесть обыкновенную одалиску. Сравнение это представляется мне тем более верным, что подобно восточному султану, вы никогда не бываете возлюбленным или другом женщины, а всегда ее тираном или рабом. Поэтому я совершенно уверена, что вы бесконечно унижались и раболепствовали, чтобы вновь войти в милость у этого предмета вашей страсти, и, охваченный ликованием, что это вам удалось, вы, как только, по вашему мнению наступила минута прощения, оставляете меня ради этого великого события.

И если в своем последнем письме вы не говорите исключительно об этой женщине, то потому, что не хотите беседовать со мной — о самых важных своих делах. Они представляются вам столь значительными, что в своем молчании на этот

счет вы усматриваете какое-то наказание мне. И после того как вы дали сотни доказательств решительного предпочтения, отдаваемого вами другой женщине, вы спокойно спрашиваете меня, имеются ли у вас со мной сейчас какие-либо общие интересы? Берегитесь, виконт, уж если я вам отвечу, то сказанного обратно не возьму. И я уже слишком много говорю, если остерегаюсь давать сейчас ответ. Поэтому я твердо решаю умолкнуть.

Все, что я могу сделать, — это рассказать вам одну историю. Может быть, у вас не хватит времени прочесть ее или уделить ей внимание, необходимое для того, чтобы понять ее как должно? Что ж, воля ваша. В худшем случае мой рассказ пропадет даром.

Один мой знакомый, подобно вам, вступил в связь с женщиной, не доставлявшей ему много чести. Временами у него хватало ума понимать, что рано или поздно от этого приключения ему будет один вред. Но хоть он и стыдился, а мужества для разрыва у него не хватало. И положение его оказывалось тем сложнее, что он хвастался перед своими друзьями, будто ничто не стесняет его свободы, а ведь он отлично знал, что, чем яростнее защищаешься от обвинения, что сделал

глупость, тем становишься смешней. Так он и жил, не переставая изображать собою дурака, а затем говорить: «Не моя в том вина». У этого человека была приятельница, которая едва не поддалась соблазну выставить его всем напоказ в этом состоянии опьянения и тем самым раз и навсегда сделать его смешным. Все же великодушие пересилило в ней коварные поползновения, а может быть, оказались иные причины — и она попыталась использовать последнее средство, чтобы при всех обстоятельствах иметь право сказать, как ее друг: «Не моя в том вина». С этой целью она послала ему без всяких пояснений нижеследующее письмо, как лекарство, которое могло бы оказаться полезным при его недуге:

«Все приедается, мой ангел, таков уж закон природы: не моя в том вина.

И если мне наскучило приключение, полностью поглощавшее меня четыре гибельных месяца, — не моя в том вина.

Если, например, у меня было ровно столько любви, сколько у тебя добродетели — а этого, право, немало, — нечего удивляться, что первой пришел конец тогда же, когда и второй. Не моя в том вина.

Из этого следует, что с некоторых пор я тебе

изменял, но надо сказать, что к этому меня в известной степени вынуждала твоя неумолимая нежность. Не моя в том вина.

А теперь одна женщина, которую я безумно люблю, требует, чтобы я тобою пожертвовал. Не моя в том вина.

Я понимаю, что это — отличный повод обвинить меня в клятвопреступлении. Но если природа наделила мужчин только искренностью, а женщинам дала упорство, — не моя в том вина.

Поверь мне, возьми другого любовника, как я взял другую любовницу. Это хороший, даже превосходный совет. А если он придется тебе не по вкусу, — не моя в том вина.

Прощай, мой ангел, я овладел тобой с радостью и покидаю без сожалений: может быть, я еще вернусь к тебе. Такова жизнь. Не моя в том вина».

Сейчас не время, виконт, рассказывать вам о том действии, которое возымела эта последняя попытка, и о ее последствиях, но обещаю сообщить вам об этом в ближайшем же письме. В нем же вы найдете и мой ультиматум касательно вашего предложения возобновить наш с вами договор. А до того — говорю вам просто: прощайте…

Кстати, благодарю за подробности относитель-

но малютки Воланж. Это — статейка для газеты злословия, мы пустим ее на другой день после свадьбы. Пока же примите мои соболезнования по случаю утраты наследника. Добрый вечер, виконт.

Из замка ***, 24 ноября 17…

Письмо 142

От виконта де Вальмона к маркизе де Мертей

Лестное слово, прелестный друг мой, не знаю, право, плохо ли я прочел, плохо ли понял и ваше письмо, и рассказанную в нем историю, и приложенный к ней образчик эпистолярного стиля. Единственное, что я могу вам сказать, — это то, что последний показался мне оригинальным и вполне способным произвести должное впечатление, поэтому я его просто-напросто переписал и столь же просто послал божественной президентше. Я не потерял ни минуты времени — нежное послание было отправлено вчера же вечером. Я предпочел не медлить, ибо, во-первых, обещал написать ей вчера, а во-вторых, подумал, что ей, пожалуй, и целой ночи не хватит на то, чтобы углубиться в себя и поразмыслить над этим великим событием, пусть бы вы даже вторично

упрекнули меня за это выражение.

Я надеялся, что еще сегодня утром успею переслать вам ответ моей возлюбленной. Но сейчас уже около полудня, а я еще ничего не получил. Я подожду до пяти часов, и, если к тому времени не будет никаких известий, сам за ними отправлюсь. Ибо только первый шаг труден, особенно когда оказываешь внимание.

А теперь, как вы сами понимаете, я тороплюсь узнать конец истории этого вашего знакомого, на которого пало ужасное подозрение, будто он в случае надобности не способен пожертвовать женщиной. Исправится ли он? Простит ли ему великодушная приятельница?

Однако я не в меньшей степени желаю получить ваш ультиматум, как вы выразились на языке высокой дипломатии! Особенно же любопытно мне знать, не обнаружите ли вы любви и в этом последнем моем поступке. О, конечно, она в нем есть, и в большом количестве! Но к кому? Впрочем, я не хочу хвастаться и все свои надежды возлагаю на вашу доброту.

Прощайте, прелестный друг мой. Письмо это я запечатаю не раньше двух, в надежде, что смогу присовокупить к нему желанный ответ.

В два часа пополудни.

По-прежнему ничего, а ждать больше нельзя — нет времени добавить хоть одно слово. Но отвергнете ли вы и на этот раз нежные поцелуи любви?

Париж, 27 ноября 17…

Письмо 143

От президентши де Турвель к госпоже де Розмонд

Сорвана завеса, сударыня, на которой написана была обманчивая картина моего счастья. Роковая правда открыла мне глаза, и я вижу перед собой неминуемую близкую смерть, путь к которой лежит между стыдом и раскаянием. Я пойду по этому пути… и мучения мои будут мне дороги, если они сократят мое существование. Посылаю вам полученное мною вчера письмо. Добавлять к нему ничего не стану: оно само за себя говорит. Сейчас уже не до жалоб — остается лишь страдать. Мне нужна не жалость, а силы.

Примите, сударыня, мое последнее прости — прощаюсь я только с вами, — и исполните мою последнюю просьбу: предоставьте меня моей участи, позабудьте обо мне, не числите меня больше среди живых. В горе есть некая черта, за которой

даже дружба лишь усиливает наши страдания и не может их исцелить. Когда раны смертельны, всякая попытка лечить их бесчеловечна. Мне отныне чужды все чувства, кроме отчаяния. Для меня теперь нет ничего — только глубокая ночь, в которой я хочу похоронить свой позор. Там стану я плакать о грехах своих, если еще смогу плакать! Ибо со вчерашнего дня я не пролила и слезинки. В моем увядшем сердце их больше нет.

Прощайте, сударыня. Не отвечайте мне. Я дала клятву на этом жестоком письме — больше их не получать.

Париж, 27 ноября 17…

Письмо 144

От виконта де Вальмона к маркизе де Мертей

Вчера в три часа пополудни, прелестный мой друг, потеряв в ожидании известий терпение, я явился к покинутой прелестнице; мне сказали, что ее нет дома. Усмотрев в этой фразе только отказ принять меня, чем я не был ни удивлен, ни задет, я удалился в надежде, что мое появление вынудило столь учтивую женщину удостоить меня хотя бы одним ответным словом. Мне так хотелось получить его, что я нарочно зашел до-

мой около девяти часов вечера, но так ничего и не нашел. Удивленный этим молчанием, которого отнюдь не ожидал, я послал своего егеря за новостями и поручил ему узнать, уж не умерла ли эта чувствительная особа или, быть может, умирает? Словом, когда я окончательно вернулся домой, он сообщил мне, что госпожа де Турвель действительно уехала в одиннадцать утра в сопровождении горничной, что везти себя она велела в монастырь *** и в семь часов вечера отослала обратно карету и своих людей, велев передать, чтобы дома ее не ждали. Разумеется, это полное соблюдение приличий. Монастырь — лучшее убежище для вдовы. И если она станет упорствовать в столь похвальном намерении, я смогу прибавить ко всему, чем я ей уже обязан, еще и огласку, которую несомненно получит это приключение.

Я ведь не так давно говорил вам, что, вопреки всем вашим тревогам, возвращусь на сцену большого света лишь в ореоле новой славы. Пусть же они покажутся, строгие критики, обвинявшие меня в том, что я поддался мечтательной и несчастной любви, пусть они похвалятся более стремительным и блестящим разрывом, нет — пусть они сделают больше и предстанут в ка-

честве утешителей, тропа для них проторена. Так вот, пусть они решатся сделать хотя бы один шаг на том пути, который я прошел до конца, и если хоть один из них добьется малейшего успеха, я уступлю им пальму первенства. Но все они на собственном опыте узнают, что, когда я берусь за что-нибудь основательно, оставленное мною впечатление неизгладимо. А уж это впечатление будет таковым, и если подле этой женщины у меня появится счастливый соперник, я сочту все свои прежние победы за ничто. Решение, которое она приняла, конечно, льстит моему самолюбию, но мне досадно, что она нашла в себе достаточно силы, чтобы так отдалиться от меня. Значит, между нами могут быть не только те препятствия, которые поставил бы я сам! Как, если бы я захотел снова сблизиться с нею, она могла бы не захотеть? Что я говорю? Она могла бы не испытывать такого желания? Не считать нашей близости высшим для себя блаженством? Да разве так любят? И вы полагаете, прелестный друг мой, что я должен это стерпеть? Разве не смог бы я, например, и разве не было бы лучше попытаться вернуть эту женщину к мысли о возможности примирения, которое всегда желанно, пока есть надежда? Я мог бы сделать такую попытку, не

придавая этому особого значения, и, следовательно, не вызывая у вас каких-либо сомнений. Напротив! Это был бы опыт, проведенный нами совместно, и даже если бы он удался, то явился бы только лишним поводом вторично принести по вашему повелению жертву, которая вам как будто показалась угодной. А теперь, прелестный друг мой, мне остается только получить за нее награду, и единственное, чего я желаю, — это ваше возвращение. Вернитесь же поскорее к своему возлюбленному, к своим забавам, к своим друзьям и к дальнейшим приключениям.

Приключение с малюткой Воланж приняло отличнейший оборот. Вчера, когда беспокойство не давало мне усидеть на одном месте, я, побывав в самых различных местах, забежал и к госпоже де Воланж. Вашу подопечную я нашел уже в гостиной: она была еще в туалете больной, но уже на пути к полному выздоровлению и от этого еще более свежая и привлекательная. Вы, женщины, в подобном случае целый месяц валялись бы в шезлонге.

Честное слово, да здравствуют девицы! Эта, по правде говоря, вызвала во мне желание узнать, завершено ли выздоровление.

Должен еще сообщить вам, что беда, случив-

шаяся с девочкой, едва не свела с ума вашего чувствительного Дансени. Сперва от горя, теперь — от радости. Его Сесиль была больна! Вы сами понимаете, что от такой беды голова пойдет кругом. Трижды в день он посылал за новостями, и не проходило дня, чтобы он не явился лично. Наконец, он написал мамаше витиеватое послание с просьбой разрешить поздравить ее с выздоровлением столь дорогого ее сердцу создания. Госпожа де Воланж изъявила согласие, и я застал молодого человека водворившимся на прежних основаниях, — недоставало лишь непринужденности, на которую он пока не решался.

Эти подробности я узнал от него самого, ибо вышел от них вместе с ним и вызвал его на разговор. Вы и представить себе не можете, какое воздействие оказал на него этот визит. Его радость, желания, восторги — непередаваемы. Я же такой любитель сильных переживаний, что окончательно вскружил ему голову, пообещав, что очень скоро устрою ему возможность увидеть его красотку еще ближе.

И правда, я решил передать ему ее, как только завершу свой опыт. Ибо я хочу целиком посвятить себя вам. И потом — стоило ли вашей подопечной стать моей ученицей, если ей предстояло бы

обманывать лишь своего мужа? Высшее достижение — изменить любовнику, притом первому своему любовнику! Ибо я не могу упрекнуть себя в том, что произнес слово «любовь».

Прощайте, прелестный друг мой. Возвращайтесь как можно скорее упиться вашей властью надо мною, получить от меня выражение преданности и уплатить мне положенную награду.

Париж, 28 ноября 17…

Письмо 145

От маркизы де Мертей к виконту де Вальмону

Это правда, виконт, вы бросили президентшу? Вы послали ей письмо, которое я вам для нее сочинила? Право же, вы очаровательны и превзошли все мои ожидания! Чистосердечно признаю, что эта победа льстит мне больше всех, которые я когда-либо одерживала. Вы, может быть, найдете, что я очень уж высоко ценю эту женщину, которую прежде так недооценивала? Нисколько. Ведь победу-то я одержала вовсе не над ней, а над вами. Вот что забавно и поистине восхитительно.

Да, виконт, вы сильно любили госпожу де Турвель, вы даже и теперь любите ее, безумно

любите, но из-за того, что меня забавляло стыдить вас этой любовью, вы мужественно пожертвовали ею. Вы бы и тысячью женщин пожертвовали, лишь бы не снести насмешку. Вот ведь куда заводит нас тщеславие! Лесаж* прав, когда говорит, что оно — враг счастья.

Хороши были бы вы теперь, если бы я намеревалась только подшутить над вами! Но я не способна обманывать, вы это хорошо знаете. И даже если бы вы и меня довели до отчаяния, до монастыря, я готова идти на риск и сдаюсь своему победителю.

Однако если я и капитулирую, то это — чистейшее проявление слабости, ибо, захоти я прибегнуть к увертками, сколько бы их у меня нашлось! И, может быть, даже вполне обоснованных. Меня, например, восхищает, как тонко или, наоборот, как неловко предлагаете вы мне потихоньку-полегоньку разрешить вам возобновить связь с президентшей. Как было бы удобно, не правда ли, сохранить за собой заслугу разрыва, не теряя всех радостей обладания? И так как эта кажущаяся жертва уже ничего бы вам не стоила, вы предлагаете принести ее вторично, как только я потребую! Такая сделка позволяла бы божественной святоше по-прежнему считать себя

единственной избранницей вашего сердца, а мне — гордиться тем, что я счастливая соперница: обе мы были бы обмануты, но зато вы — довольны, а что вам до всего остального?

Жаль, что при таких способностях к составлению планов вы столь слабы насчет их осуществления и что одним лишь необдуманным поступком сами поставили непреодолимое препятствие к тому, чего вам больше всего хотелось бы.

Как! Вы думали возобновить свою связь и все же послали ей сочиненное мною письмо! Верно, вы и меня тоже сочли очень уж неловкой! Ах, поверьте мне, виконт, когда одна женщина наносит удар в сердце другой, она редко не попадает в самое уязвимое место, и такая рана не заживает. Нанося удар этой женщине или, вернее, направляя ваши удары, я не забывала, что она — моя соперница, что была минута, когда вы предпочли ее мне, и, наконец, что вы сочли меня ниже ее. Если мщение мое не удалось, я готова признать свою вину. Так, я согласна, чтобы вы испробовали все способы вернуть ее, я даже призываю вас к этому и обещаю не сердиться на ваши успехи, если вы их одержите. На этот счет я настолько спокойна, что не хочу больше заниматься этим.

Поговорим о чем-нибудь другом.

Например, о здоровье малютки Воланж. По моем возвращении вы дадите мне самые точные сведения о нем, не правда ли? Я очень хотела бы иметь их. А затем предоставлю вам самому решать, передадите ли вы девочку ее возлюбленному или же вторично попытаетесь стать родоначальником новой ветви Вальмонов под именем Жеркуров. Мысль эта представляется мне забавной, и, оставляя за вами право выбора, я все же прошу вас ничего не решать окончательно, пока мы с вами об этом не переговорим. До этого недалеко, ибо я очень скоро буду в Париже. Не могу назвать вам точно дня, но не сомневайтесь, что по приезде моем вы будете извещены о нем первый.

Прощайте, виконт. Несмотря на мои ссоры с вами, мои козни и упреки, я по-прежнему очень люблю вас и намереваюсь это доказать. До свидания, друг мой.

Из замка ***, 29 ноября 17…

Письмо 146

От маркизы де Мертей к кавалеру Дансени

Наконец я уезжаю отсюда, мой юный друг, и

завтра к вечеру буду в Париже. Перемена местожительства всегда вызывает беспорядок, поэтому я никого не намерена принимать. Однако, если вы хотите сообщить мне что-либо неотложное, я готова сделать для вас исключение из общего правила, но сделаю его только для вас, и потому прошу сохранить мой приезд в секрете. Даже Вальмону о нем не будет известно.

Если бы совсем немного времени назад мне сказали, что вскоре вы станете пользоваться у меня исключительным доверием, я бы просто посмеялась. Но ваша доверчивость вызвала и мою. Начинаешь невольно думать, что вы проявили какую-то ловкость и даже как бы обольстили меня. Это было бы по меньшей мере неблаговидно! Впрочем, обольщение это теперь не представляло бы для меня опасности: у вас есть дела и поважнее! Когда на сцене появляется героиня, никто не обращает внимания на наперсницу.

Итак, у вас не хватило даже времени сообщить мне о последних ваших успехах. Когда ваша Сесиль отсутствовала, все дни были слишком короткими для ваших чувствительных жалоб. Если бы я не выслушивала их, вы жаловались бы эху. Когда она потом заболела, вы тоже оказывали мне честь, поверяя свои тревоги: вам ведь надо

было изливать их кому-нибудь. Но теперь, когда та, кого вы любите, в Париже, когда она здорова и в особенности когда вы ее изредка видите, она заменяет вам всех, и друзья ваши для вас уже ничто.

Говорю я это не в осуждение: вам ведь всего двадцать лет. Всем известно, что, начиная с Алкивиада* и кончая вами, молодые люди только в горестях ценят дружбу. Счастье порою делает их нескромными, но никогда не вызывает у них потребности в излияниях. Я сказала бы, подобно Сократу: «Я люблю, когда мои друзья прибегают ко мне в несчастии»[45], но в качестве философа он отлично без них обходился, когда они не появлялись. В этом отношении я не так мудра, как он, и, будучи слабой женщиной, несколько огорчилась вашим молчанием.

Но не считайте меня требовательной: как раз требовательности-то мне и недоставало! То же чувство, благодаря которому я замечаю эти лишения, дает мне силу мужественно переносить их, когда они являются доказательством или причиной счастья друзей. Поэтому я рассчитываю на вас завтра вечером лишь в том случае, если

---

[45] Примечания: 45
Мармонтель,* «Нравоучительная история об Алкивиаде».

любовь ваша предоставит вам свободу и досуг, и запрещаю вам идти ради меня на какие-либо жертвы.

Из замка ***, 29 ноября 17…

Письмо 147

От госпожи де Воланж к госпоже де Розмонд

Вы, без сомнения, будете огорчены так же, как и я, достойный мой друг, когда узнаете о состоянии, в котором находится госпожа де Турвель. Со вчерашнего дня она больна; болезнь ее началась так внезапно и с такими тяжелыми признаками, что я до крайности встревожена. Сильнейший жар, буйный, почти не прекращающийся бред, неутолимая жажда — вот что у нее наблюдается. Врачи говорят, что предсказать пока ничего невозможно, а лечение представляется весьма затруднительным, так как больная отказывается от всякой медицинской помощи: чтобы пустить кровь, пришлось силой держать ее, и к этому же прибегнуть еще два раза, чтобы снова наложить повязку, которую она, находясь в бреду, все время старается сорвать.

Вы, как и я, привыкли считать ее слабой, робкой и кроткой, но представьте себе, что сейчас

ее едва могут сдержать четыре человека, а малейшая попытка каких-либо уговоров вызывает неописуемую ярость! Я опасаюсь, что тут не просто бред, что это может оказаться настоящим умопомешательством.

Опасения мои на этот счет еще увеличились от того, что произошло позавчера.

В тот день она в сопровождении горничной прибыла в монастырь… Так как она воспитывалась в этой обители и сохранила привычку ездить туда от времени до времени, ее приняли, как всегда, и она всем показалась спокойной и здоровой. Часа через два она спросила, свободна ли комната, которую она занимала, будучи пансионеркой, и, получив утвердительный ответ, попросила разрешения пойти взглянуть на нее. С нею пошли настоятельница и несколько монахинь. Тогда она и заявила, что хочет вновь поселиться в этой комнате, что ей вообще не следовало ее покидать, и добавила, что не выйдет отсюда до самой смерти — так она выразилась.

Сперва не знали, что и сказать ей, но, когда первое замешательство прошло, ей указано было, что она замужняя женщина и не может быть принята без особого разрешения. Ни этот довод, ни множество других не возымели действия, и

с этой минуты она стала упорствовать в отказе не только оставить монастырь, но и эту комнату. Наконец, после долгой борьбы, в семь часов вечера дано было согласие на то, чтобы она провела в ней ночь. Карету ее и слуг отослали домой, а решение, как же быть дальше, отложили да завтра.

Уверяют, что весь вечер ни в ее внешности, ни в поведении не только не замечалось ничего странного, но что она была сдержанна, рассудительна и только раза четыре или пять погружалась в такую глубокую задумчивость, из которой ее трудно было вывести, даже заговаривая с ней, и что всякий раз, прежде чем вернуться к действительности, она подносила обе руки ко лбу, словно пытаясь как можно сильнее сжать его. Одна из находившихся тут же монахинь обратилась к ней с вопросом, не болит ли у нее голова. Прежде чем ответить, она долго и пристально смотрела на спросившую и наконец сказала: «Болит совсем не там!» Через минуту она попросила, чтобы ее оставили одну и в дальнейшем не задавали ей никаких вопросов.

Все удалились, кроме горничной, которой, к счастью, пришлось ночевать в той же комнате за отсутствием иного помещения!

По словам этой девушки, госпожа ее была

довольно спокойна до одиннадцати вечера. В одиннадцать она сказала, что ляжет спать, но, еще не вполне раздевшись, принялась быстро ходить взад и вперед по комнате, усиленно жестикулируя. Жюли, которая видела все то, что происходило днем, не осмелилась ничего сказать и молча ждала около часа. Наконец госпожа де Турвель дважды, раз за разом, позвала ее. Та успела только подбежать, и госпожа упала ей на руки со словами: «Я больше не могу». Она дала уложить себя в постель, но не пожелала ничего принять и не позволила звать кого-либо на помощь. Она велела только поставить подле себя воду и сказала, чтобы Жюли ложилась.

Та уверяет, что часов до двух утра не спала и в течение всего этого времени не слышала никаких жалоб, никаких движений. Но около пяти утра ее разбудил голос госпожи, которая что-то громко и резко говорила. Жюли спросила, не нужно ли ей чего-нибудь, но, не получив ответа, взяла свечу и подошла к кровати госпожи де Турвель, которая не узнала ее, но, внезапно прервав свои бессвязные речи, с горячностью вскричала: «Пусть меня оставят одну, пусть меня оставят во мраке, я должна быть во мраке». Вчера я и сама отметила, что она часто повторяет эту фразу.

Жюли воспользовалась этим своего рода приказанием и вышла, чтобы позвать людей, которые могли бы оказать помощь, но госпожа де Турвель отвергла ее с исступленной яростью, в которую с тех пор так часто впадает.

Все случившееся повергло монастырь в такое замешательство, что настоятельница решила послать за мной вчера в семь часов утра. Было еще темно. Я примчалась тотчас же. Когда обо мне доложили госпоже де Турвель, она как будто пришла в себя и сказала: «Ах, да, пусть войдет!» Но когда я очутилась у ее кровати, она пристально посмотрела на меня, быстро схватила мою руку и, сжав ее, сказала мне громким, мрачным голосом: «Я умираю потому, что не поверила вам». И сразу вслед за тем, закрыв глаза рукой, принялась повторять одну и ту же фразу: «Пусть меня оставят одну» — и т. д., пока не потеряла сознания.

Эти обращенные ко мне слова и еще некоторые, вырвавшиеся у нее в бреду, наводят меня на мысль, что эта тяжелая болезнь имеет причину еще более тяжкую. Но отнесемся с уважением к тайне нашего друга и ограничимся состраданием к ее беде.

Весь вчерашний день прошел так же бурно, в ужасающих приступах, сменявшихся полным

упадком сил, напоминающим летаргию; лишь в эти минуты она сама вкушает — и дает другим — известный покой. Я покинула изголовье ее постели лишь в десять вечера, с тем чтобы вернуться сегодня утром на весь день. Разумеется, я не оставлю моего несчастного друга, но то, что она упорно отказывается от всяких забот о ней, от всякой помощи, вызывает просто отчаяние.

Посылаю вам ночной бюллетень, только что мною полученный, — как вы увидите, он отнюдь не утешителен. Я позабочусь, чтобы и вам их аккуратно посылали.

Прощайте, достойный мой друг, спешу к больной. Моя дочь, которая, к счастью, почти совсем поправилась, свидетельствует вам свое уважение.

Париж, 29 ноября 17…

Письмо 148

От кавалера Дансени к госпоже де Мертей

О вы, любимая мною! О ты, обожаемая! О вы, положившая начало моему счастью! О ты, сделавшая его полным! Чувствительный друг, нежная любовница, почему воспоминание о печали твоей смущает очарование, которое я испытываю?

Ах, сударыня, успокойтесь, это спрашивает друг. О подруга, будь счастлива, это мольба влюбленного.

В чем можете вы упрекнуть себя? Поверьте мне, чрезмерная чувствительность заставляет вас заблуждаться. Сожаления, которые она в вас вызывает, прегрешения, в которых меня винит, — равно призрачны, и сердце мое говорит мне, что между нами обоими единственным обольстителем была любовь. Не бойся же отдаться отныне чувству, которое ты внушила, не бойся, если тебя пронижет насквозь пламя, которое ты сама зажгла. Как, лишь потому, что сердца наши прозрели поздно, они стали менее чистыми? Конечно нет. Напротив, лишь обольщение, действующее всегда обдуманно, может соразмерять свою поступь, рассчитывать средства и заблаговременно предвидеть события. Но истинная любовь не допускает таких размышлений и раздумий. Она отвлекает нас от мыслей чувствами, власть ее сильнее всего, когда она неосознанна, и во мраке, в безмолвии она опутывает нас узами, которых и не замечаешь и не можешь разорвать.

Так вот даже вчера, несмотря на волнение от мысли о вашем возвращении, несмотря на безграничную радость, которую я ощутил, увидев

вас, я все же думал, что меня призывает и влечет спокойная дружба, или, вернее, всецело отдавшись сладостным ощущениям своего сердца, я очень мало заботился о том, чтобы разбираться в их причинах и истоках. И так же, как я, ты, нежная моя подруга, ощущала, не сознавая их, те властные чары, которые наполняли наши души впечатлениями сладостной нежности, и оба мы осознали, что любим, лишь тогда, когда очнулись от опьянения, в которое погрузил нас бог любви.

Но именно это оправдывает нас, вместо того, чтобы осуждать. Нет, ты не предала дружбы, и я тоже не злоупотребил твоим доверием. Правда, оба мы не знали о своих чувствах, но эту грезу мы лишь ощущали, а вовсе не создавали сами. Ах, не будем сетовать на нее, будем думать лишь о счастье, которое она нам дает. И, не омрачая его несправедливыми укорами, постараемся лишь увеличить его чарами взаимного доверия и уверенности друг в друге. О подруга, как лелеет сердце мое эту надежду! Да, отныне, свободная от всяческого страха и всю себя посвятив любви, ты разделишь мои желания, мои восторги, исступление моих чувств, опьянение души, и каждый миг наших блаженных дней отмечен будет новым наслаждением. Прощай, о ты, обожаемая! Я увижу

тебя сегодня вечером, но будешь ли ты одна? Не смею надеяться на это. Ах, ты не можешь хотеть этого так сильно, как я!

Париж, 1 декабря 17…

Письмо 149

От госпожи де Воланж к госпоже де Розмонд

Почти весь вчерашний день я не теряла надежду, мой достойный друг, сообщить вам поутру более утешительные сведения о здоровье нашей дорогой больной. Но со вчерашнего вечера надежда утрачена, и у меня нет ничего, кроме сожалений об этом. Обстоятельство, на первый взгляд вполне невинное, но весьма жестокое по своим последствиям, привело больную в состояние по меньшей мере такое же тяжкое, как и раньше, если не еще худшее. Я ничего не поняла бы в этой внезапной перемене, если бы вчера не получила полного признания от нашего несчастного друга. Так как она не скрыла от меня, что вы тоже осведомлены о всех ее несчастьях, я могу без стеснения говорить о ее горестном положении.

Когда вчера утром я приехала в монастырь, мне сказали, что больная спит уже более трех часов и сон ее был так глубок и спокоен, что на

мгновение я даже испугалась: не летаргия ли это? Через некоторое время она проснулась и сама откинула занавески кровати. Она оглядела нас всех с каким-то удивлением, а так как я встала, чтобы приблизиться к ней, она узнала меня, назвала по имени и попросила подойти поближе. Не успела я задать ей какой-либо вопрос, как она первая спросила, где она находится, что мы все тут делаем и почему она не дома. Сперва я подумала, что это новый бред, только более тихий, но тотчас же заметила, что она отлично понимает мои ответы. И действительно, она обрела разум, хотя и не память.

Она очень обстоятельно расспросила меня обо всем, что с нею происходило с тех пор, как она в монастыре, но, как она туда попала, она не помнила. Я ответила ей на все совершенно точно, не упоминая лишь о том, что могло бы ее слишком испугать. Когда же я, в свою очередь, спросила о ее самочувствии, она ответила, что в данный момент никаких страданий не ощущает, но что очень мучилась во сне и чувствует себя усталой. Я стала уговаривать ее быть спокойнее и меньше говорить, после чего полузадвинула занавески так, чтобы можно было ее видеть, и села у самой кровати. В это время принесли бульон, который

она съела и нашла вкусным.

Так продолжалось около получаса. В течение этого времени она заговаривала лишь для того, чтобы поблагодарить меня за заботы о ней, вкладывая в слова благодарности всю пленительную учтивость, которая ей так свойственна. Затем на некоторое время она совершенно умолкла и прервала молчание, только чтобы сказать: «Да, теперь я помню, как приехала сюда», — а через минуту горестно воскликнула: «Друг мой, друг мой, пожалейте меня, я вспомнила обо всех своих бедах». Так как я придвинулась к ней поближе, она схватила мою руку, прижалась к ней головой и воскликнула: «Великий Боже, почему мне не дано умереть?» Выражение ее лица еще больше, чем эти слова, растрогало меня до слез, и, заметив это по дрожи в моем голосе, она сказала: «Вы жалеете меня? Ах, если бы вы знали!..» Затем, прерывая себя, добавила: «Пусть нас оставят одних, я вам все расскажу».

Кажется, я уже упоминала, что у меня были догадки о характере ее признаний. Опасаясь, чтобы эта беседа, которая, как я предполагала, должна была быть длительной и печальной, не повредила состоянию нашего друга, я сперва отказывалась ее слушать под предлогом, что ей

необходим покой, но она настаивала, и я уступила. Едва мы остались наедине друг с другом, она сообщила мне все, что вы уже от нее знаете. Поэтому повторять ее исповеди не стану.

В заключение, рассказывая о том, как жестоко ее принесли в жертву, она прибавила: «Я была уверена, что умру, и на это у меня хватило бы мужества, но нет у меня сил пережить мою беду и позор». Я постаралась побороть это уныние, или, вернее, это отчаяние, оружием веры, которая прежде так много для нее значила, но вскоре убедилась, что для столь возвышенного дела мне недостает сил, и ограничилась тем, что предложила позвать к ней отца Ансельма, которому, как мне известно, она бесконечно доверяет. Она согласилась и, по-видимому, действительно очень хотела этого. За ним послали, и он тотчас же явился. Он очень долго оставался у больной, и, выйдя от нее, сказал, что, если врачи с ним согласятся, причащение святых даров можно отложить, он же завтра опять придет.

Было около трех часов пополудни и до пяти наш друг была в довольно спокойном состоянии, так что у нас всех снова появилась надежда. К несчастью, в пять ей подали письмо. Когда ей хотели вручить его, она сперва ответила, что

не желает читать никаких писем, и никто не стал ее уговаривать. Но с той минуты она стала волноваться. Вскоре вслед за тем она спросила, откуда письмо. Но на нем не оказалось штемпеля. Кто его принес? Никому это не было известно. От чьего имени его передали? Принесший ничего не сказал сестрам привратницам. Затем она на некоторое время смолкла, после чего опять начала говорить, но из бессвязных речей ее мы поняли только одно: бред возобновился.

Был все же довольно спокойный промежуток времени, но в конце концов она попросила показать ей принесенное письмо. Бросив на него лишь один взгляд, она вскричала: «От него! Боже великий!» — и затем добавила твердым, но приглушенным голосом: «Уберите его, уберите!» Тотчас же она велела задернуть занавески кровати и запретила кому-либо подходить к ней. Но почти тотчас же мы вынуждены были приблизиться. Припадок на этот раз оказался сильнее, чем раньше, и сопровождался ужасающими судорогами. Приступы следовали один за другим весь вечер, и утренний бюллетень известил меня, что и ночь прошла не менее бурно. Словом, состояние ее таково, что я удивляюсь, как она еще жива, и не скрываю от вас, что у меня осталось очень

мало надежды.

Думаю, что это злосчастное письмо — от господина де Вальмона. Но о чем он решается теперь писать ей? Простите, дорогой друг мой, я стараюсь воздержаться от каких-либо рассуждений на его счет, но горько видеть, как погибает жалостным образом женщина, доселе такая счастливая и так достойная счастья.

Париж, 2 декабря 17…

Письмо 150

От кавалера Дансени к маркизе де Мертей

В предвкушении счастья увидеться с тобой, нежная моя подруга, я предаюсь радости писать тебе и, таким образом посвящая тебе хотя бы свои мысли, отгоняю сожаление о том, что мы не вместе.

Описывать тебе мои чувства, припоминать твои — для меня истинное наслаждение, и благодаря ему даже время лишений дарит мне тысячи радостей, драгоценных для моей любви. Однако, если верить тебе, я не получу от тебя ответа, даже это мое письмо будет последним, и мы прекратим этот, по твоему мнению, опасный и ненужный для нас способ общения. Если ты будешь настаи-

вать, я, разумеется, соглашусь с тобой, ибо, раз ты чего-нибудь желаешь, этого разве не достаточно, чтобы и я желал того же?

Но прежде чем принять окончательное решение, не позволишь ли ты, чтобы мы об этом еще поговорили.

Что касается опасности, решай сама: я не способен ни на какие расчеты и ограничиваюсь только просьбой, чтобы ты позаботилась о себе, ибо я не могу быть спокойным, если нет покоя у тебя. На сей предмет нельзя даже сказать, что мы с тобой едины: просто мы оба — это ты одна.

Иное дело — ненужность. Здесь мы должны иметь одно мнение, и если мнения наши расходятся, то лишь потому, что мы не сумели объясниться и понять друг друга.

Конечно, письмо представляется отнюдь не необходимым, когда можно свободно видеться. Скажет ли оно что-либо такое, чего в сто раз лучше не выразит одно слово, один взгляд, даже само молчание? Эта мысль кажется мне настолько верной, что в ту минуту, когда ты сказала, что нам не надо больше писать друг другу, она легко скользнула по моей душе, может быть, слегка задев ее, но отнюдь не ранив. Так, если я, к примеру, хочу коснуться поцелуем того места, где у

тебя бьется сердце, и встречаю ленту или кисею, я лишь отодвигаю их, но не ощущаю никакого препятствия.

Но затем мы расстались, и как только ты исчезла, мысль о письме стала вновь преследовать меня. Зачем, сказал я себе, еще это дополнительное лишение? Как, мы разделены, и потому нам нечего сказать друг другу? Предположим, что, на наше счастье, мы можем провести вместе целый день, нужно ли отнимать у наслаждения время для беседы? Да, у наслаждения, мой нежный друг. Ибо подле тебя даже мгновения отдыха дарят восхитительное наслаждение. Но ведь, в конце концов, сколько времени ни пройдет, приходится расставаться, а потом чувствуешь себя таким одиноким! Вот тогда-то письмо и драгоценно: даже если не перечитываешь, то хотя бы смотришь на него… Ах, это верно — можно смотреть на письмо не читая, так же как — представляется мне — ночью я испытывал бы радость, даже хотя бы прикасаясь к твоему портрету…

Я сказал: «К твоему портрету»! Но письмо — изображение души. В нем нет, как в холодной картине, неподвижности, столь чуждой любви. Оно воспроизводит все наши душевные движения — оно поочередно то оживляется, то

наслаждается, то предается отдыху… Мне так драгоценны все твои чувства; лишишь ли ты меня хоть одной возможности запечатлеть их?

Так ли ты уверена, что потребность писать мне никогда не станет беспокоить тебя? Если в одиночестве сердце твое обрадуется чему-то или опечалится, если ощущение радости войдет в твою душу, если ее на миг смутит невольная грусть, неужели ты не захочешь излить другу свою радость или свою печаль? Неужели сохранишь ты какое-то чувство не разделенным с ним? Неужели предоставишь ему в одиночестве и задумчивости блуждать вдали от тебя? Подруга моя… нежная моя подруга! Но последнее слово принадлежит тебе. Я хотел лишь обсудить этот вопрос, а не убеждать тебя. Я приводил доводы и дерзаю верить, что просьбы мои оказались бы сильнее. Поэтому, если ты будешь настаивать на своем, я постараюсь не огорчаться, постараюсь изо всех сил мысленно произносить те слова, которые ты написала бы. Но, право же, ты сказала бы их лучше, чем я, а насколько приятнее было бы мне их слушать!

Прощай, моя пленительная подруга. Приближается наконец час, когда я смогу тебя увидеть. Спешу покинуть тебя сейчас, чтобы поскорее

увидеться с тобой.

Париж, 3 декабря 17…

Письмо 151

От виконта де Вальмона к маркизе де Мертей

Полагаю, маркиза, что вы не считаете меня совершенным простаком, которого легко можно провести, заставив поверить в то, будто Дансени сегодня вечером по какой-то непостижимой случайности очутился у вас и находился вдвоем с вами, когда я пришел! Конечно, ваше искушенное в притворствах лицо отлично сумело принять невозмутимо спокойное выражение, и, конечно, вы не выдали себя ни единым словом, которое иногда вырывается у нас в момент волнения или раскаяния. Я готов даже согласиться, что ваши послушные взоры отлично повиновались вам, и, если бы они сумели заставить поверить себе, как они заставили понять себя, я не только не возымел бы и не сохранил бы ни малейшего подозрения, но даже ни на мгновение не усомнился бы, что докучное присутствие третьего лица вас крайне огорчает. Однако, чтобы такие замечательные таланты не пропали даром, чтобы они достигли желаемого успеха, чтобы, наконец,

создать то впечатление, на которое вы рассчитывали, надо было сперва основательно обучить вашего неопытного любовника.

Раз уж вы взялись за воспитание несовершеннолетних, научите своих воспитанников не краснеть и не теряться от малейшей шутки, не отрицать с такой горячностью то самое, от чего они так вяло защищаются, когда речь идет обо всех других женщинах. Научите их также спокойно выслушивать похвалы, расточаемые их любовнице, и не считать, что им следует выказывать благодарность хвалящему, а если вы уж позволяете им смотреть на вас в обществе, пусть они хотя бы сперва научатся не выдавать себя взглядом, явно свидетельствующим о том, что они вами обладают, который они путают со взглядом, выражающим их любовь. Тогда вы сможете позволять им находиться вместе с вами в обществе и не подвергнетесь при этом опасности, что поведением своим они повредят учителю. Я сам, радуясь, что смогу посодействовать вашей известности, обещаю составить и опубликовать учебные программы этого нового коллежа. Но до того должен признаться, что удивляюсь, как это вы именно меня решили принять за школьника. О, как я уже был бы отомщен, если бы речь шла о

другой женщине! Какое удовольствие доставила бы мне месть! И насколько это удовольствие превзошло бы то, которого она думала меня лишить! Да, только ради вас одной я могу предпочесть мести примирение, и не воображайте, что удерживает меня хоть малейшее колебание, хоть малейшая неуверенность.

Вы в Париже уже четыре дня, и каждый день вы виделись с Дансени и принимали только его одного. И сегодня доступ к вам тоже был закрыт, но, чтобы помешать мне добраться до вас, швейцару вашему не хватило только вашей выдержки. А ведь вы мне писали, чтобы я не сомневался, что первым буду знать о вашем приезде, том самом приезде, о точном дне которого вы еще не могли меня известить, хотя писали накануне своего отъезда. Станете ли вы отрицать эти факты или попытаетесь найти себе оправдание? И то и другое в равной степени невозможно, а тем не менее я еще сдерживаюсь! Можете признать в этом свою власть, но послушайтесь моего совета — удовлетворитесь тем, что испытали ее, и больше ею не злоупотребляйте. Мы хорошо знаем друг друга, маркиза. Этих слов вам должно быть достаточно.

Завтра вас целый день не будет дома, сказали

вы мне? Пусть так, если вас действительно дома не будет, а вы можете не сомневаться, что я это узнаю. Но, так или иначе, вечером вы вернетесь домой, а заключить мир будет для нас делом настолько нелегким, что и до самого утра времени не хватит. Поэтому известите меня, у вас ли на дому или там совершатся наши взаимные и многочисленные искупительные обряды. Однако прежде всего — покончим с Дансени. Мысль о нем засела в вашей сумасбродной голове, и я могу не ревновать к этому бреду вашей фантазии. Но вы должны понять: сейчас то, что было лишь прихотью, станет явным предпочтением, а я не считаю себя созданным для такого унижения и не жду его от вас.

Надеюсь к тому же, что вы и не посчитаете это за особую жертву. Но даже если бы она вам чего-то и стоила, мне кажется, я подал вам блестящий пример! Женщина, полная чувства, красивая, жившая только для меня и, может быть, в настоящую минуту умирающая от любви и отчаяния, уж наверно стоит юного школьника, не лишенного, если хотите, привлекательности и ума, но еще не имеющего ни опыта, ни выдержки.

Прощайте, маркиза, не говорю вам ничего о моих чувствах к вам. Все, что я могу в данную

минуту, — это не заглядывать в тайники своего сердца. Жду вашего ответа. И когда вы будете писать его, подумайте, хорошенько подумайте, что, чем легче для вас заставить меня забыть нанесенную вами мне обиду, тем неизгладимее запечатлеет ее в моем сердце отказ или даже простая отсрочка.

Париж, 3 декабря 17…

Письмо 152

От маркизы де Мертей к виконту де Вальмону

Будьте осторожны, виконт, и щадите мою крайнюю робость! Могу ли я перенести гнетущую мысль, что заслужила ваш гнев, а главное, не сразит ли меня окончательно страх перед вашим мщением? Тем более, что — вам это отлично известно, — если вы учините мне какую-нибудь каверзу, я не буду иметь никакой возможности ответить вам тем же. Сколько бы и что бы я ни оглашала, вы сможете по-прежнему вести ту же безмятежную блестящую жизнь. И правда, ну чего вам страшиться? Оказаться вынужденным бежать, если у вас на то будет время? Но разве за границей нельзя жить не хуже, чем здесь! И во всяком случае, если французский двор не станет

тревожить вас при том дворе, где вы устроитесь, для вас это будет лишь переменой места ваших побед. Теперь, когда этими моральными соображениями я попыталась вернуть вам хладнокровие, возвратимся к нашим делам.

Знаете ли вы, виконт, почему я не вышла вторично замуж? Уж наверно не потому, что мне не представлялись выгодные партии, а единственно для того лишь, чтобы никто не имел права перечить моим поступкам. И дело даже не в том, что я опасалась не иметь возможности поступать, как я хочу, — в конце-то концов я бы всегда настояла на своем, — но меня бы стесняло даже то, что кто-то мог мне в чем-либо попенять. И наконец, потому, что я хотела обманывать лишь для собственного удовольствия, а не по необходимости. И вдруг вы пишете мне самое что ни на есть супружеское письмо! Говорите в нем только о моих провинностях и о вашей снисходительности. Но как можно быть виновной перед тем, перед кем не имеешь вообще никаких обязательств? Я просто не могу этого понять! Посудите сами, о чем идет речь? Вы застали у меня Дансени, и вам это не понравилось? На здоровье! Но какие выводы вы из этого сделали? Либо это вышло случайно, как я вам и сказала, либо на то была моя воля,

чего я вам не говорила. В первом случае письмо ваше несправедливо, во втором оно смехотворно — так стоило ли его писать! Но вы приревновали, а ревность не рассуждает.

Либо у вас есть соперник, либо нет. Если он есть, надо понравиться настолько, чтобы вам оказали предпочтение. Если нет, опять же надо понравиться, чтобы соперника не появилось. В обоих случаях следует вести себя одинаково. Зачем же мучить себя? А главное — зачем мучить меня? Разве вы разучились быть самым очаровательным из поклонников? И разве вы утратили веру в себя? Нет, виконт, вы плохо судите о самом себе. Но, впрочем, это не так. Дело в том, что, по вашему мнению, я не стою таких трудов. Вам не столько нужна моя благосклонность, сколько вы хотели бы злоупотребить своей властью. Вы просто неблагодарный. Смотрите-ка, я, кажется, впадаю в чувствительность. Еще немного — и это письмо, пожалуй, станет весьма нежным. Но вы этого не заслуживаете.

Не заслуживаете вы и того, чтобы я стала оправдываться. В наказание за ваши подозрения — сохраняйте их. Поэтому ни о времени своего возвращения в Париж, ни о визитах Дансени я вам ничего не скажу. Вам, кажется, стоило

немалого труда разузнать обо всем, не правда ли? Что ж, много вам это дало? Желаю от всей души, чтобы вы получили от этого как можно больше удовольствия: моему удовольствию оно, во всяком случае, не помешало.

Вот единственное, что я могу ответить на ваше угрожающее письмо: ему не суждено было понравиться мне, а посему в настоящее время я менее всего расположена удовлетворить ваши просьбы.

По правде говоря, принять вас таким, каким вы себя показали, значило бы по-настоящему изменить вам. Это означало бы не возобновить связь с прежним любовником, а взять другого, гораздо менее стоящего. Но я не настолько забыла первого, чтобы до такой степени обмануться. Тот Вальмон, которого я любила, был очарователен. Готова даже признать, что никогда не встречала человека, более достойного любви. Ах, прошу вас, виконт, если вы с ним повстречаетесь, приведите его ко мне: он-то всегда будет хорошо принят.

Однако предупредите его, что это ни в коем случае не может быть сегодня или завтра. Его Менехм* несколько повредил ему. Поторопившись, я боюсь ошибиться: а может быть, эти два дня обещаны Дансени? Ваше же письмо учит меня,

что вы не шутите, когда мы изменяем данному нами слову. Итак, вы сами видите, что придется подождать.

Но не все ли вам равно? Вы же отлично отомстите своему сопернику. Хуже, чем вы поступили с его возлюбленной, он с вашей не поступит. И в конце концов, разве одна женщина не стоит другой? Это ведь ваши же правила. И даже та, полная чувства, красивая, которая могла бы жить только для вас и умереть от любви и отчаяния, — даже она была бы принесена в жертву первой прихоти, опасению, что вы на миг станете мишенью случайной насмешки. И после этого вы хотите, чтобы с вами стеснялись! Знаете, это просто несправедливо.

Прощайте, виконт, станьте снова достойным любви. Право же, я больше всего хотела бы вновь найти вас очаровательным. И как только приду к такому убеждению, даю слово доказать вам это. Согласитесь, что я еще слишком добра.

Париж, 4 декабря 17…

Письмо 153

От виконта де Вальмона к маркизе де Мертей

Немедленно отвечаю на ваше письмо и по-

стараюсь быть до конца ясным, хотя с вами это нелегко, раз вы решили не понимать.

Не было нужды в длинных речах для того, чтобы стало ясно, что, если у каждого из нас имеется в руках все необходимое, дабы погубить другого, обоим нам в равной степени выгодно щадить друг друга. Да и не в этом дело. Но, кроме отчаянного решения о взаимной погибели и несомненно более разумного — оставаться в союзе, как и прежде, и даже еще крепче объединиться, возобновив нашу старую связь, — кроме, повторяю, этих двух решений, может быть множество других. Поэтому вовсе не смешно было сказать вам и отнюдь не смешно повторить, что с этого дня я либо ваш любовник, либо враг.

Я отлично понимаю, что такой выбор вам не по вкусу, что вам милее всякие проволочки, и мне небезызвестно, что вы никогда не любили говорить «да» или «нет». Но и вы должны понимать, что я не могу выпустить вас из этого тесного кольца, не рискуя быть обманутым, и должны были также предвидеть, что я этого не потерплю. Теперь уже решать вам. Могу предоставить вам выбор, но не желаю оставаться в неизвестности.

Предупреждаю вас только, что вы не собьете меня с толку своими рассуждениями, удачными

или неудачными, что не сумеете и опутать меня лестью, которою вы хотите приукрасить свой отказ, — словом, что наступила пора проявить чистосердечие. С полной охотой подам вам пример и с удовольствием объявлю, что предпочитаю мир и союз. Но, если придется разорвать и то и другое, мне кажется, у меня есть на это и право, и полная возможность.

Добавлю, что малейшее препятствие с вашей стороны мною будет принято как настоящее объявление войны. Вы видите, что ответ, которого я прошу, не требует длинных и витиеватых фраз. Достаточно двух слов.

Париж, 4 декабря 17…

Ответ маркизы де Мертей, приписанный в конце того же письма:

Ну что ж, — война!

Письмо 154

От госпожи де Воланж к госпоже де Розмонд

Бюллетени извещают вас лучше, чем я, дорогой друг мой, о тяжелом состоянии нашей больной. Целиком посвятив себя заботам о ней, я отрываю от них время писать вам лишь тогда, когда случается что-либо помимо болезни. Нечто дей-

ствительно произошло — для меня совершенно неожиданное. Я получила письмо от господина де Вальмона, которому заблагорассудилось избрать меня своей наперсницей и даже посредницей между ним и госпожой де Турвель: он тоже написал ей письмо, присовокупив его к адресованному мне. Одно я возвратила ему, на другое ответила. Последнее пересылаю вам и думаю, что вы, как и я сама, найдете, что я не должна была, да и не могла, ничего сделать из того, о чем он меня просит. Но даже если бы мне и хотелось исполнить его просьбу, наш несчастный друг не в состоянии была бы меня понять: она непрерывно в бреду. Но что скажете вы об этом отчаянии господина де Вальмона? Прежде всего — верить ли ему или он хочет всех до конца обманывать?[46] Если на этот раз он искренен, то смело может сказать, что сам явился кузнецом своего счастья. Думаю, что мой ответ не придется ему по вкусу, но признаюсь — все, что мне становится известно об этой злосчастной истории, все больше и больше восстанавливает меня против ее виновника.

Прощайте, дорогой друг мой, возвращаюсь к

---

[46] Примечания: 46

Так как в дальнейшей переписке не обнаружено ничего, что могло бы разрешить это сомнение, мы сочли правильным исключить письмо господина де Вальмона.

своим горестным обязанностям, еще более горестным оттого, что у меня так мало надежды на успех. Вы знаете о моих чувствах к вам.

Париж, 5 декабря 17…

Письмо 155

От виконта де Вальмона к кавалеру Дансени

Я заходил к вам дважды, дорогой кавалер, но, променяв роль влюбленного на роль волокиты, вы — что вполне естественно — стали неуловимы. Однако ваш камердинер заверил меня, что вы к вечеру вернетесь и приказали ему ждать вас. Правда, я, посвященный во все ваши планы, отлично понял, что вернетесь вы только на минутку, чтобы облечься в подобающий костюм, и тотчас же помчитесь одерживать новые победы. В добрый час, могу лишь приветствовать это. Но, может быть, сегодня вечером вы поддадитесь соблазну изменить направление. Вы знаете лишь половину касающихся вас дел, надо сообщить вам другую, а там уж решайте сами. Найдите время прочитать мое письмо. Оно не оторвет вас от наслаждений, напротив: единственная его цель — дать вам возможность выбора между ними.

Если бы я пользовался полным вашим довери-

ем, если бы я знал от вас самого ту часть ваших тайн, о которых вы предоставили мне догадываться, я бы обо всем был осведомлен заранее, оказался бы в своем усердии гораздо более ловким, и теперь оно бы вас не стесняло. Но будем исходить из существующего положения. Каково бы ни было ваше решение, даже в худшем случае оно осчастливит, кроме вас, и еще кого-то другого.

Сегодня ночью у вас назначено свидание, не правда ли? С обаятельной и обожаемой вами женщиной? Ибо какую женщину не боготворишь в вашем возрасте, особенно в течение первой недели? Очаровательный маленький домик, снятый исключительно ради вас, придаст наслаждению все прелести свободы и полной тайны. Все уже условлено — вас ждут, и вы пылаете нетерпением устремиться туда! Вот что знаем мы оба, хотя мне вы об этом ничего не говорили. А теперь — вот чего вы не знаете и что я должен вам сообщить.

С момента возвращения моего в Париж я изыскивал способы сделать возможными ваши встречи с мадемуазель де Воланж. Я обещал вам это и еще в последний раз, когда мы с вами об этом говорили, имел основание думать, судя по вашим ответам, можно сказать даже — по

вашему восторгу, что стараюсь на счастье вам. Занимаясь этим трудным делом в одиночку, я не мог рассчитывать на успех и потому подготовил почву, а во всем остальном положился на рвение вашей юной возлюбленной. Чувство подсказало ей способы, которых не нашла вся моя опытность. Словом, на несчастье ваше, все ей удалось. «Вот уже два дня, — сказала она мне сегодня вечером, — как все препятствия преодолены». Таким образом, теперь ваше счастье зависит лишь от вас самих.

В течение этих же двух дней она мечтала сообщить эту новость вам лично и, несмотря на отсутствие ее мамаши, вы были бы приняты. Но вы-то даже и не явились! И не стану от вас скрывать, что юная особа — по капризу ли или не без основания — показалась мне несколько обиженной таким недостатком усердия с вашей стороны. Наконец, она нашла способ и мне дать возможность проникнуть к ней и взяла с меня обещание как можно скорее передать вам прилагаемое письмо. Она так хлопотала об этом, что — пари держу — в нем идет речь о свидании на сегодняшний вечер. Как бы то ни было, но я клялся честью и дружбой, что нежное послание вы получите сегодня днем, а потому не могу и не

хочу изменить данному слову.

А теперь, молодой человек, что же вы предпримете? Вам предстоит выбор между кокетством и любовью, между наслаждением и счастьем. Что вы изберете? Если бы я говорил с Дансени, каким он был три месяца назад или даже неделю назад, то, уверенный в его чувствах, не сомневался бы и в поступках. Но нынешний Дансени, которого женщины рвут друг у друга, который жаждет приключений и стал, как это в подобных случаях бывает, до некоторой степени злодеем, предпочтет ли он робкую девушку, не имеющую за собой ничего, кроме красоты, невинности и своей любви, прелестям женщины, в полной мере обладающей опытом?

Что касается меня, дорогой мой друг, то мне кажется, что даже при ваших новых правилах, являющихся — не отрицаю этого — в известной мере и моими, обстоятельства заставили бы меня решить в пользу юной возлюбленной. Прежде всего здесь одной женщиной больше, затем прелесть новизны и, наконец, опасение, что, не сорвав плода стольких забот, вы навсегда потеряете эту возможность. Ибо в данном случае она действительно была бы потеряна, а новая может и не представиться, в особенности когда

речь идет о первом проявлении женской слабости. Часто при этих обстоятельствах достаточно минутного раздражения, ревнивого подозрения, даже чего-нибудь еще менее значительного, чтобы помешать самой что ни на есть блестящей победе. Тонущая добродетель хватается даже за соломинку, а если ей удается спастись, она становится гораздо опасливей, и ее уже не так-то легко застигнуть врасплох.

Напротив, — чем рискуете вы в отношении другой стороны? Даже не разрывом, — самое большее — легкой размолвкой, при которой можно, чуть постаравшись, добиться всех радостей примирения. Что остается женщине, уже отдавшейся, как не снисходительность? Что она выиграет суровостью? Потеряет наслаждение без пользы и без славы.

Если, как я предполагаю, вы примете решение в пользу любви, — по-моему, это будет и требованием разума, — я полагаю, что было бы осторожнее не предупреждать заранее о том, что вы не явитесь на свидание. Пусть вас ждут: если вы рискнете дать какое-то объяснение, его, быть может, пожелают проверить. Женщины любопытны и упрямы. Все может раскрыться. Сам я, как вам известно, только что испытал это на себе.

Но если вы оставите у другой стороны надежду, тщеславие поддержит ее, и утрачена она будет лишь через немалое время после того момента, когда проверка была бы еще возможна. А на другой день вы уже можете подыскать себе любое препятствие, помешавшее вам явиться: либо вы заболели, либо, если понадобится, даже умирали, либо случилось еще что-то, приводящее вас в не меньшее отчаяние, — и все в полном порядке.

Впрочем, на что бы вы ни решились, я прошу вас только известить меня и, поскольку являюсь лицом незаинтересованным, всегда найду, что вы поступили правильно. Прощайте, любезный друг.

Могу добавить еще одно: я скорблю о госпоже де Турвель, я в отчаянии, что разлучен с нею, я полжизни отдал бы за счастье посвятить ей другую половину. Ах, поверьте мне: счастье дает одна лишь любовь.

Париж, 5 декабря 17…

Письмо 156

От Сесили Воланж к кавалеру Дансени (приложено к предыдущему)

Как это получилось, милый друг мой, что я

перестала видеть вас, когда желать этого не перестаю? Или вам уже хочется этого не так, как мне? Ах, вот теперь-то мне и становится грустно. Гораздо грустнее, чем когда мы были совсем разлучены. Горе, которое мне раньше причиняли другие, теперь причиняете вы, и от этого мне еще больнее.

Вот уже несколько дней, как мама совсем не бывает дома, — вы это отлично знаете, — и я надеялась, что вы попытаетесь воспользоваться выпавшей нам случайно свободой. Но вы обо мне даже и не думаете. Я очень несчастна! А вы еще уверяли меня, что из нас двоих я люблю меньше! Я-то знала, что дело обстоит как раз наоборот, и вот тому доказательство. Если бы вы пришли повидаться со мной, то и повидались бы, ибо я ведь не такая, как вы, — я думаю лишь о том, как бы нам быть вместе. Вы заслуживаете, чтобы я не сказала вам ни слова обо всем, что я для этого сделала и каких трудов мне это стоило. Но я вас слишком люблю, и мне до того хочется видеть вас, что я не могу не сказать вам этого. Потом-то я уж смогу убедиться, любите ли вы меня по-настоящему.

Я постаралась переманить на нашу сторону швейцара, — он обещал мне, что каждый раз,

как вы будете приходить, он станет впускать вас так, словно и не видит, и мы можем вполне довериться ему, — он человек очень честный. Значит, теперь надо только стараться, чтобы никто не увидел вас в доме, а это вовсе не трудно, если приходить только вечером и когда можно не опасаться, что с кем-нибудь встретишься. Вот, например, мама: с тех пор как она ежедневно уходит из дому, она ложится спать каждый день в одиннадцать часов; времени у нас будет достаточно.

Швейцар сказал мне, что, когда вы захотите прийти таким образом, вам надо будет, вместо того чтобы стукнуть в дверь, постучаться в окошко, и он вам тотчас же ответит. Дальше вы уж сами найдете боковую лестницу, а так как вам нельзя будет иметь при себе свечи, я оставлю дверь своей комнаты приоткрытой — это немного осветит вам дорогу. Будьте осторожны, не шумите, особенно проходя мимо маленькой двери в мамину комнату. У комнаты моей горничной это не так важно; она обещала мне не просыпаться; она тоже славная девушка! Уходить будете точно так же. Теперь посмотрим, придете ли вы ко мне.

Боже мой, почему у меня так бьется сердце, когда я вам пишу! Неужели со мной приключится

какая-нибудь беда; или меня взволновала надежда увидеть вас? Но одно я чувствую: никогда еще я вас так сильно не любила и никогда еще так сильно не хотела сказать вам это. Приходите же, мой друг, мой милый друг, чтобы я сто раз повторила вам, что люблю вас, обожаю, что никогда никого, кроме вас, не полюблю.

Мне удалось дать знать господину де Вальмону, что мне надо ему кое-что сказать, и он такой хороший друг, что, наверно, завтра придет, и я попрошу его тотчас же передать вам мое письмо. Итак, я буду ждать вас завтра вечером, а вы непременно придете, если не хотите, чтобы ваша Сесиль очень страдала.

Прощайте, милый друг, целую вас от всего сердца.

Париж, 4 декабря 17… вечером.

Письмо 157

От кавалера Дансени к виконту де Вальмону

Не сомневайтесь, любезный виконт, ни в моем чувстве, ни в моих поступках: как мог бы я устоять перед желанием моей Сесили? Ах, ее, и только ее, люблю я по-настоящему. Простодушие и нежность ее полны для меня очарования, от

которого по слабости я мог отвлечься, но которого ничто никогда не затмит. Сам того не заметив, если можно так выразиться, я увлекся другим приключением, но воспоминание о Сесили часто смущало меня в минуты сладчайших утех. И, может быть, сердце мое никогда не было полно более подлинного чувства к ней, чем в тот самый миг, когда я изменил ей. Однако, друг мой, пощадим чувствительность моей Сесили и скроем от нее мои прегрешения, не для того, чтобы ввести ее в обман, а для того, чтобы не огорчить. Счастье Сесили — самое пламенное мое желание, никогда не простил бы я себе ни одной провинности, которая стоила бы ей хоть одной слезинки.

Понимаю, что вполне заслужил ваши шутки по поводу того, что вы называете моими новыми правилами, но можете мне поверить: не ими руководствуюсь я в данный момент и решил с завтрашнего же дня доказывать это. Я приду к той, кто явилась причиной моего заблуждения и сама разделила его, покаюсь перед нею, скажу ей: «Читайте в моем сердце: оно полно к вам нежнейшей дружбы, а дружба в сочетании с желанием так похожа на любовь!.. Оба мы ошиблись; но если я могу впасть в заблуждение, то не способен на вероломство». Я знаю своего друга: она так

же прямодушна, как и снисходительна, она не только согласится со мною, она меня простит. Она сама часто упрекала себя за то, что изменила дружбе, часто щепетильность ее отпугивала любовь; более умудренная, чем я, она укрепит в моем сердце спасительный страх, который я дерзновенно стремился заглушить в нем. Я буду обязан ей тем, что стану лучше, как вам обязан буду тем, что стану счастливее. О друг мой! Разделите мою благодарность. Мысль, что за свое счастье я в долгу перед вами, увеличивает для меня его ценность.

Прощайте, дорогой виконт. Избыток радости не мешает мне думать о ваших страданиях и сочувствовать вам. Почему не дано мне помочь вам? Неужели госпожа де Турвель остается неумолимой? Говорят также, что она тяжело больна. Боже мой, как мне вас жаль! Да обретет она разум, и здоровье, и снисхождение, да сделает она вас навеки счастливым! Это пожелания дружбы. Смею надеяться, что осуществит их любовь.

Я хотел бы подольше побеседовать с вами, но время не терпит: может быть, Сесиль уже меня ждет.

Париж, 5 декабря 17…

Письмо 158

От виконта де Вальмона к маркизе де Мертей (вручено при ее пробуждении)

Ну, как находите вы, маркиза, утехи истекшей ночи? Не ощущаете ли некоторого утомления? Согласитесь, что Дансени очарователен! Мальчик просто чудеса творит! Этого вы от него не ожидали, не правда ли? Ну, мне приходится отдать ему должное: такой соперник заслуживал того, чтобы ради него пожертвовали мною. Я не шучу, он полон превосходнейших качеств! В особенности же — сколько любви, постоянства, деликатности! Ах, если он полюбит вас когда-нибудь так, как любит свою Сесиль, можете не опасаться соперниц: нынче ночью он вам это доказал. Возможно, что, прибегнув к кокетству, какая-нибудь женщина и изловчится на миг похитить его у вас: молодые люди не способны сопротивляться, когда их умело соблазняют. Но, как вы можете убедиться, одного слова любимого существа достаточно, чтобы рассеять обман чувств. Таким образом, для полноты счастья вам не хватает только одного — быть этим существом.

Конечно, вы на этот счет не ошибетесь: у вас

слишком много проницательности, чтобы следовало за вас опасаться. Однако взаимная наша дружба, столь же чистосердечная с моей стороны, сколь и признанная с вашей, заставила меня пожелать, чтобы вы подверглись испытанию минувшей ночи. Я выказал некоторое усердие, и труд мой увенчался успехом. Но не надо благодарить меня: не могло быть ничего легче.

И правда, чего мне это стоило? Небольшой жертвы и некоторой ловкости. Я согласился разделить с молодым человеком милости его возлюбленной. Но в конце концов он имел на них не меньше прав, чем я, а мне это было так безразлично! Письмо, которое написала ему юная особа, продиктовал, разумеется, я, но сделал это исключительно ради сбережения времени, которое мы с ней употребили гораздо лучше. А то послание, которое присовокупил я, — о, сущие пустяки, почти ничего: несколько дружеских соображений, чтобы помочь неопытному любовнику сделать выбор. Но, по чести говоря, они оказались совершенно бесполезными; нечего скрывать правду — он ни минуты не колебался.

Чистосердечие его при всем том таково, что он намерен сегодня явиться к вам и обо всем поведать. Уверен, что рассказ этот доставит вам

огромное удовольствие! Он заявил мне, что скажет вам: «Читайте в моем сердце»; вы отлично понимаете, насколько это исправит дело. Надеюсь, что, читая в нем все, что он захочет, вы также, может быть, прочитаете, что столь юные любовники представляют свои неудобства, а также и то, что лучше иметь меня другом, чем врагом.

Прощайте, маркиза, до ближайшей приятной встречи.

Париж, 6 декабря 17…

Письмо 159

От маркизы де Мертей к виконту де Вальмону (записка)

Я не люблю, когда скверные поступки сопровождаются скверными шутками: это и не в моем вкусе, и не в моих обычаях. Когда я недовольна кем-нибудь, я не высмеиваю его, я делаю лучше: мщу. Как бы вы ни были собою довольны в данную минуту, не забывайте, что не в первый раз вы заранее — и в полном одиночестве — рукоплещете себе в предвкушении победы, которая ускользает из ваших рук в тот самый миг, когда вы себя с нею поздравляете. Прощайте.

Париж, 6 декабря 17…

Письмо 160

От госпожи де Воланж к госпоже де Розмонд

Я пишу вам из комнаты нашего несчастного друга. Положение ее приблизительно такое же, как и было. Сегодня днем должен состояться консилиум из четырех врачей. К сожалению, это, как вы знаете, чаще доказательство опасного состояния, чем средство для спасения.

Все же прошлой ночью она как будто приходила в сознание. Сегодня утром горничная сообщила мне, что около полуночи госпожа велела позвать ее, пожелала остаться с ней наедине и продиктовала ей довольно длинное письмо. Жюли добавила, что, пока она его запечатывала, госпожа де Турвель снова начала бредить, и девушка не знает, кому его адресовать. Сперва я удивилась, что она не уразумела этого из содержания письма. Но Жюли ответила, что боится что-нибудь напутать, а между тем госпожа велела отправить его немедленно. Тогда я взяла на себя ответственность и вскрыла конверт. В нем оказалась записка, которую я вам и посылаю и которая действительно никому не адресована,

ибо обращена к слишком многим. Мне, впрочем, кажется, что нашему несчастному другу хотелось сперва писать Вальмону, но, сама того не замечая, она отдалась хаосу своих мыслей. Как бы то ни было, но я полагаю, что это письмо никому не следует посылать. Вам я посылаю его, потому что из него вы увидите лучше, чем я смогла бы вам рассказать, какие мысли тревожат нашу больную. Пока она будет находиться в таком сильном возбуждении, у меня не появится ни малейшей надежды. Тело с трудом поправляется, когда дух так неспокоен. Прощайте, дорогой и достойный друг. Рада за вас, что вы далеко от печального зрелища, которое постоянно у меня перед глазами.

Париж, 6 декабря 17…

Письмо 161

От президентши де Турвель к…, (продиктовано ею и написано рукой камеристки)

Существо жестокое и зловредное, неужели не перестанешь ты преследовать меня? Мало тебе того, что ты измучил меня, опозорил, осквернил? Ты хочешь отнять у меня даже покой могилы? Как, и в этой обители мрака, где бесчестье заставило меня похоронить себя, нет для меня отдыха

от мук и надежды? Я не молю о пощаде, которой не заслуживаю: чтобы я могла страдать не жалуясь, достаточно, чтобы муки не превышали моих сил. Но не делай моих терзаний невыносимыми. Пусть остаются страдания, но освободи меня от жестокого воспоминания об утраченных радостях. Раз ты отнял у меня их, не воссоздавай перед моим взором их горестный образ. Я была невинна и спокойна; увидела тебя — и потеряла душевный мир, услышала тебя — и стала преступницей. Виновник моих прегрешений, какое право имеешь ты карать за них?

Где друзья, которые любили меня, где они? Мое несчастное положение приводит их в ужас. Никто из них не решается ко мне приблизиться. Меня угнетают, а они оставляют меня без помощи!

Я умираю, и никто меня не оплакивает. Мне отказано в малейшем утешении. Жалость останавливается на краю бездны, которая поглощает преступника. Раскаяние разрывает его на части, а криков его не слышно!

А ты, кого я оскорбила, ты, чье уважение ко мне еще усиливает мою пытку, ты, единственно имеющий право на возмездие, что ты делаешь вдали от меня? Приди, покарай неверную жену. Пусть меня постигнут заслуженные муки. Я уже

готова была покорно снести твою месть, но у меня не хватило мужества оповестить тебя о твоем позоре. И не из желания скрыть свой грех, а из уважения к тебе. Пусть же хотя бы из этого письма узнаешь ты о моем раскаянии. Небо приняло твою сторону: оно мстит за обиду, о которой сам ты не знал. Это оно сковало мой язык, не дало вырваться словам: оно опасалось, как бы ты не простил греха, который оно хотело покарать. Оно не дало мне укрыться под покровом твоей снисходительности, которая нарушила бы его справедливость.

Неумолимое в своем мщении, оно выдало меня именно тому, кто меня погубил. Я страдаю из-за него и одновременно от него. Тщетно стремлюсь я бежать от него: он преследует меня, он тут, он не дает мне покоя. Но как он не схож с самим собой! Во взорах его нет ничего, кроме ненависти и презрения, на устах лишь хула и укор. Руки его обвивают меня, но лишь для того, чтобы разорвать на части. Кто избавит меня от его варварской свирепости?

Но ах, вот он!.. Я не ошибаюсь, я вновь вижу его. О мой любезный друг, прими меня в объятия, укрой меня на своей груди. Да, это ты, это, конечно, ты. Какой пагубный обман помешал мне

узнать тебя? Как я страдала в разлуке с тобой! Не будем больше расставаться, не будем расставаться больше никогда. Дай мне вздохнуть. Слышишь, как бьется мое сердце? Ах, это уже не страх, это сладостное волнение любви. Почему уклоняешься ты от моих нежных ласк? Обрати ко мне свой ласковый взор! Но что это за узы, которые ты стараешься разорвать? Почему готовишь ты это орудие казни? Кто мог настолько изменить твои черты? Что ты делаешь? Оставь меня, я трепещу! Боже, это опять то же чудовище!

Друзья мои, не покидайте меня. Ведь вы уговаривали меня бежать от него — помогите же мне теперь его побороть. Вы же, более снисходительная, обещавшая облегчить мою муку, подойдите ко мне ближе! Где же вы обе? Если мне не позволено больше видеть вас, ответьте хотя бы на это письмо, чтобы я знала, что вы меня еще любите.

Оставь же меня, жестокий! Какая новая ярость вспыхнула в тебе? Или ты боишься, как бы хоть одно нежное чувство не проникло мне в душу? Ты удваиваешь мои муки, ты вынуждаешь меня ненавидеть тебя. О, как мучительна ненависть! Как разъедает она сердце, которое ее источает! Зачем вы мучите меня? Что вы можете еще сказать мне? Разве не вы сделали невозможным для

меня и слушать вас, и отвечать вам? Не ожидайте от меня больше ничего. Прощайте, сударь.

Париж, 5 декабря 17…

Письмо 162

От кавалера Дансени к виконту де Вальмону

Мне стало известно, милостивый государь, о том, как вы со мною поступили. Знаю я также, что, не довольствуясь тем, что вы так гнусно провели меня, вы не стесняетесь громогласно похваляться этим. Я видел написанное вашей рукою признание в совершенном вами предательстве. Признаюсь, сердце мое было глубоко уязвлено, и мне стало стыдно, что я сам некоторым образом способствовал вам в гнусном злоупотреблении моей слепой доверчивостью. Однако я не завидую этому постыдному преимуществу: мне только любопытно знать, во всем ли вы будете иметь надо мной подобное превосходство. И я узнаю об этом, если, как я надеюсь, вы соблаговолите быть завтра между восемью и девятью утра у ворот Венсеннского леса близ деревни Сен-Манде. Я позабочусь о том, чтобы там имелось все необходимое для тех объяснений, которые мне остается от вас получить.

Париж, 6 декабря 17… вечером.
Кавалер Дансени.

Письмо 163

От господина Бертрана к госпоже де Розмонд

С глубочайшим прискорбием выполняю я печальную обязанность сообщить вам новость, которая причинит вам столь жестокое горе. Разрешите мне сперва призвать вас к той благочестивой покорности воле Провидения, которая в вас так часто всех восхищала и лишь благодаря которой мы можем переносить бедствия, усеивающие наш горестный жизненный путь.

Господин ваш племянник (боже мой, почему должен я причинить столь мучительную боль такой почтенной даме?), господин ваш племянник имел несчастье пасть сегодня утром в поединке с господином кавалером Дансени. Мне совершенно неизвестна причина их ссоры, но, судя по найденной мною в кармане господина виконта записке, которую я имею честь вам препроводить, он, по всей видимости, не является зачинщиком. А по воле Всевышнего пасть суждено было ему!

Я находился в особняке господина виконта и дожидался его возвращения как раз, когда его

привезли домой. Можете представить себе мой ужас, когда я увидел, как господина вашего племянника, залитого кровью, несут двое его слуг. Он получил две глубокие раны шпагой и был уже очень слаб. Господин Дансени находился тут же и притом даже плакал. Ах, конечно, ему подобает плакать, но не поздно ли проливать слезы, когда уже совершено непоправимое зло?

Что до меня, то я не мог совладать с собой, и хотя я и маленький человек, а высказал ему все, что по этому поводу думаю. Но тут-то господин виконт и проявил истинное величие души. Он велел мне замолчать, взял за руку того, кто стал его убийцей, назвал его своим другом, поцеловал его при всех и всем нам сказал: «Приказываю вам относиться к этому господину со всем почтением, какого заслуживает благородный и доблестный человек». Вдобавок он велел передать ему в моем присутствии объемистую пачку бумаг, содержание которых мне неизвестно, но которым, насколько я знаю, он придавал огромное значение. Затем он пожелал, чтобы их на минуту оставили одних. Между тем я тотчас же велел послать за помощью, как духовной, так и мирской. Но, увы, состояние его оказалось роковым. Не прошло и получаса, как господин виконт

уже потерял сознание. Над ним успели только совершить соборование и едва обряд окончился, как он испустил дух.

Боже правый! Когда при его рождении я принял на руки эту драгоценную опору столь славного дома, мог ли я предвидеть, что он скончается на моих руках и мне придется оплакивать его смерть? Смерть — столь преждевременную и злосчастную! Слезы невольно льются из моих глаз. Прошу у вас прощения, сударыня, за то, что осмеливаюсь смешивать таким образом мое горе с вашим. Но в любом сословии люди имеют сердце и чувства, и я был бы очень неблагодарным, если бы не оплакивал всю жизнь господина, проявлявшего ко мне такую доброту и оказывавшего мне такое доверие.

Завтра, после выноса, я все опечатаю, и в этом отношении вы можете на меня всецело положиться. Вам небезызвестно, сударыня, что горестное это событие делает ваше завещание недействительным и предоставляет вам свободный выбор наследника. Если я смогу быть вам полезным, прошу вас соизволить сообщить мне ваши распоряжения: я приложу все свои старания к тому, чтобы выполнить их точнейшим образом.

Остаюсь с глубочайшим уважением, сударыня, вашим покорнейшим… и проч.

Бертран.

Париж, 7 декабря 17…

Письмо 164

От госпожи де Розмонд к господину Бертрану

Я только что получила ваше письмо, дорогой господин Бертран, и узнала из него об ужасном происшествии, злосчастной жертвой которого стал мой племянник. Да, конечно, у меня будут для вас распоряжения, и только они принудят меня заняться чем-то иным, кроме моей смертельной скорби.

Присланная вами записка господина Дансени является убедительнейшим доказательством, что зачинщик дуэли — он, и я хочу, чтобы вы незамедлительно подали от моего имени жалобу. Прощая своему врагу, своему убийце, мой племянник мог поддаться врожденному своему великодушию; но я должна добиваться отмщения и за его смерть, и вообще во имя человеколюбия и религии. Никакой закон, направленный против этого пережитка варварства, оскверняющего наши нравы, не был бы чрезмерно суров, а я не

думаю, чтобы в подобном случае нам предписывалось прощение обид. Поэтому я рассчитываю, что вы займетесь этим делом со всем рвением и со всей энергией, которые, как я знаю, вам столь свойственны.

Прежде всего вам надлежит повидаться с господином президентом *** и переговорить с ним от моего имени. Сама я ему не пишу, ибо хочу всецело отдаться своей скорби. Вы принесете ему за меня извинения и познакомите его с этим письмом.

Прощайте, дорогой Бертран, хвалю вас и благодарю за добрые чувства и остаюсь преданной вам до конца жизни.

Из замка ***, 8 декабря 17…

Письмо 165

От госпожи де Воланж к госпоже де Розмонд

Я знаю, мой дорогой и достойный друг, что вы уже оповещены о постигшей вас утрате. Я знала, как нежно вы любили господина де Вальмона, и со всей искренностью разделяю ваше горе. И мне крайне мучительно, что к нынешним вашим огорчениям я должна прибавить новые. Но, увы, и о нашем несчастном друге вам остается только

проливать слезы. Мы потеряли ее вчера в одиннадцать часов вечера. По воле злого рока, неустанно преследовавшего ее и словно насмехавшегося над всеми людскими предосторожностями, короткого промежутка времени, на который она пережила господина де Вальмона, оказалось достаточным для того, чтобы она узнала о его смерти и, по собственному ее выражению, пала под бременем своих несчастий лишь после того, как мера их переполнилась.

Действительно, как вы знаете, она уже более двух суток находилась без сознания. Еще вчера, когда явился врач и мы вместе подошли к ее кровати, она не узнала ни меня, ни его, и мы не могли добиться от нее ни единого слова, ни малейшего знака. Так вот, едва мы отошли к камину и как только врач сообщил мне печальную новость о смерти господина де Вальмона, эта несчастная женщина обрела весь свой рассудок, то ли потому, что эту перемену произвела в ней сама природа, то ли потому, что ее вызвало постоянное повторение двух слов «господин де Вальмон» и «смерть», которые могли вернуть больную к единственным мыслям, занимавшим ее так долго.

Как бы то ни было, но она внезапно откинула

занавески своей кровати и воскликнула: «Как, что вы говорите? Господин де Вальмон умер?» Я надеялась убедить ее, что она ошиблась, и сперва стала ее уверять, что она ослышалась. Но она отнюдь не дала себя уговорить и потребовала у врача, чтобы он повторил свой жестокий рассказ. А когда я снова попыталась разубедить ее, она подозвала меня к себе поближе и тихонько сказала: «Зачем вы пытаетесь меня обмануть? Разве и без того он не был для меня мертв?» Пришлось уступить.

Наш несчастный друг слушала сперва довольно спокойно, но вскоре прервала рассказчика. «Довольно, я уже достаточно знаю», — сказала она, тотчас же потребовала, чтобы занавески снова задвинули, а когда врач захотел наконец заняться своим делом и осмотреть ее, не позволила ему подойти. Как только он удалился, она точно так же отослала сиделку и горничную и, когда мы остались одни, попросила меня помочь ей встать на колени в постели и поддержать ее в таком положении. Некоторое время она молча стояла на коленях, лицо ее ничего не выражало, по нему только непрерывно струились слезы. Потом, сложив руки и подняв их к небу, она слабым, но проникновенным голосом заговорила: «Гос-

поди всемогущий, я покоряюсь суду твоему, но прости Вальмону. Пусть несчастья мои, которые я — каюсь — заслужила, не вменятся ему в вину, и я воздам тебе хвалу за твое милосердие».

Я позволила себе, дорогой и достойный друг мой, остановиться на всех этих подробностях, которые — прекрасно понимаю — должны обострить и усилить вашу скорбь. Делаю это, так как не сомневаюсь, что молитва госпожи де Турвель принесет душе вашей великое утешение.

Произнеся эти немногие слова, она снова упала в мои объятия, и едва я успела уложить ее в постель, как она была охвачена приступом слабости, который продолжался довольно долго, однако поддался обычным средствам. Как только больная пришла в себя, она попросила меня послать за отцом Ансельмом и добавила: «Сейчас это единственный врач, который мне нужен. Я чувствую, что скоро наступит конец моим мучениям». Она жаловалась на тяжесть в груди и говорила с трудом.

Немного времени спустя она велела горничной передать мне шкатулку, которую я вам посылаю; при этом она сказала, что там находятся ее личные бумаги, и просила меня отправить их вам

тотчас же после ее смерти[47]. Затем, насколько это было для нее возможно, она с большим волнением стала говорить о вас и о вашем расположении к ней.

Около четырех часов прибыл отец Ансельм и почти целый час оставался с нею наедине. Когда мы вошли, лицо больной было ясным и спокойным, но нетрудно было заметить, что отец Ансельм много плакал. Он остался, чтобы принять участие в совершении последних церковных обрядов. Зрелище это, всегда столь торжественное и скорбное, становилось еще торжественней и печальней благодаря контрасту между спокойной покорностью больной и глубокой скорбью ее почтенного духовника, обливавшегося слезами подле нее. Все были до крайности растроганы — ни одной слезы не пролила лишь та, кого все оплакивали.

Остаток дня прошел в обычных для подобного случая молитвах, которые прерывались лишь частыми приступами слабости у больной. Наконец, часам к одиннадцати вечера мне показалось, что ей стало еще более тяжело и что она сильнее страдает. Я протянула руку, чтобы коснуться ее

[47] Примечания: 47

В этой шкатулке находились все письма, освещающие ее отношения с господином де Вальмоном.

руки. У нее еще хватило силы взять ее и положить себе на сердце. Я не почувствовала, как оно бьется, и действительно в это самое мгновение нашего несчастного друга не стало.

Помните ли вы, дорогой друг мой, что в последний ваш приезд в Париж — менее года тому назад — мы с вами беседовали о некоторых лицах, счастье которых представлялось нам более или менее прочным, и с особенным удовлетворением упоминали об этой самой женщине, чьи горести и чью смерть сейчас оплакиваем. Столько добродетелей, столько похвальных качеств, столько прелести! Кроткий и легкий характер, муж, любимый ею и обожающий ее, общество, которое ей нравилось и украшением которого она была, красивая внешность, молодость, богатство — и сочетание стольких преимуществ пошло прахом только из-за неосторожности! О Провидение! Мы, без сомнения, должны чтить твои предначертания, но как они порою нам непонятны! Впрочем, умолкаю: боюсь увеличить вашу скорбь, отдаваясь своей.

Покидаю вас, чтобы отправиться к своей дочери, — она немного нездорова. Узнав от меня нынче утром о столь внезапной смерти двух знакомых ей лиц, она почувствовала себя плохо, и я

уложила ее в постель. Надеюсь, впрочем, что это легкое недомогание не будет иметь последствий. В таком юном возрасте нет еще привычки к несчастьям, и, вследствие этого, впечатление от них сильнее и резче. Столь острая чувствительность — конечно, похвальное качество, но как учит нас опасаться ее все, что мы каждый день видим! Прощайте, мой дорогой и достойный друг.

Париж, 9 декабря 17…

Письмо 166

От господина Бертрана к госпоже де Розмонд

Милостивая государыня!

Выполняя распоряжения, которыми вы соблаговолили меня почтить, я имел также честь повидаться с господином президентом*** и сообщил ему содержание вашего письма, предупредив его, что по выраженному вами желанию предприму что-либо, лишь следуя его советам. Сей уважаемый магистрат поручил мне обратить ваше внимание на то, что жалоба, которую вы намереваетесь подать на господина Дансени, бросила бы в равной степени тень и на память вашего племянника и что его честь также была бы неизбежно затронута постановлением суда,

а это, разумеется, явилось бы большим несчастьем. Его мнение поэтому таково, что следует воздержаться от каких-либо шагов, а уж если и предпринимать их, то с единственной целью не допускать, чтобы судебным инстанциям стало известно об этом деле, и без того слишком нашумевшем.

Замечания эти показались мне в высшей степени благоразумными, и я решил выжидать дальнейших ваших распоряжений.

Разрешите мне, сударыня, просить вас присовокупить к ним хоть словечко о состоянии вашего здоровья, на котором — я крайне этого опасаюсь — может пагубно отозваться столько огорчений. Надеюсь, что вы не сочтете слишком дерзкой эту просьбу моей привязанности и усердия.

Париж, 10 декабря 17…

Письмо 167

От неизвестного лица к кавалеру Дансени

Милостивый государь!

Имею честь предупредить вас, что сегодня утром в судебной палате среди господ королевских чиновников шла речь о деле, которое было несколько дней назад у вас с господином

виконтом де Вальмоном, и что есть основания опасаться, как бы прокуратура не возбудила преследования. Я полагал, что данное предупреждение может оказаться вам полезным либо для того, чтобы вы, воспользовавшись своими связями, предотвратили пагубные последствия этой истории, либо, если бы это оказалось для вас невозможным, чтобы вы могли обеспечить себе личную безопасность.

Если бы вы разрешили дать вам совет, то мне кажется, что для вас было бы лучше некоторое время реже появляться в обществе, чем вы это делали в последние дни. Хотя к подобного рода делам принято относиться снисходительно, все же следует оказывать закону эту дань уважения.

Такая предосторожность тем более необходима, что до меня дошли сведения, будто некая госпожа де Розмонд, которая, говорят, приходится теткой господину де Вальмону, собиралась подать на вас жалобу, и в этом случае прокуратура просто вынуждена была бы дать ход делу. Может быть, было бы целесообразным, если бы вам удалось вступить с этой дамой в переговоры.

Причины личного характера не позволяют мне подписать это письмо. Но я полагаю, что, хотя вам неизвестно, от кого оно, вы тем не менее

воздадите должное чувствам, которыми оно продиктовано.

Имею честь и проч.

Париж, 10 декабря 17…

Письмо 168

От госпожи де Воланж к госпоже де Розмонд

Здесь распространяются, мои дорогой и достойный друг, крайне странные и неприятные слухи насчет госпожи де Мертей. Разумеется, я далека от того, чтобы им верить, и даже готова биться об заклад, что это всего-навсего гнусная клевета. Но я слишком хорошо знаю, как легко укрепляются даже самые неправдоподобные наветы и как трудно изгладить потом оставленное ими впечатление, а потому в высшей степени встревожена этими слухами, как ни легко, на мой взгляд, было бы их рассеять. Особенно хотелось бы мне, чтобы им сразу был положен конец еще до того, как они смогут получить более широкое распространение. Но об этих гнусностях, которые только сейчас начинают всеми обсуждаться, я узнала лишь вчера поздно вечером. Когда же сегодня утром я послала к госпоже де Мертей, оказалось, что она на два дня уехала в деревню.

Никто не мог мне сказать, к кому именно она отправилась. Ее вторая горничная, которую я вызвала к себе, сказала мне только, что госпожа велела ждать ее в ближайший четверг; никто из оставленных дома слуг ничего больше не знает. Я сама тоже понятия не имею, где она может находиться; насколько мне известно, никто из ее знакомых не засиживается так поздно в деревне.

Как бы то ни было, я надеюсь, что еще до ее возвращения вы сможете дать кое-какие разъяснения, которые могут быть для нее полезны. Ибо все эти гнусные россказни основываются на обстоятельствах, при которых погиб господин де Вальмон, по-видимому, известных вам, если они правильны. И уж наверно вам нетрудно будет их выяснить, о чем я вас молю как о милости. Вот что распространяют, или, вернее, о чем пока только шепчутся, но вскоре, разумеется, начнут говорить в полный голос.

Итак, передают, что ссора между господином де Вальмоном и кавалером Дансени есть дело рук госпожи де Мертей, обманывавшей их обоих; что, как это часто случается, соперники сперва начали драться и лишь затем объяснились, после чего произошло самое искреннее примирение, и что с целью окончательно раскрыть кавалеру Дансени

глаза на госпожу де Мертей и заодно полностью оправдаться господин де Вальмон подкрепил свои слова множеством писем, представляющих собой регулярную переписку между ним и ею, в которой она рассказывает о самой себе, притом самым беззастенчивым образом, скандальные истории.

Добавляют, что в первом порыве негодования Дансени показывал эти письма всем и каждому и что теперь они ходят по всему Парижу. Больше всего говорят о двух письмах[48]: в одном она излагает историю своей жизни и свои жизненные правила, представляющие собою якобы верх гнусности; другое полностью оправдывает господина де Превана, чью историю вы, несомненно, помните: в нем содержится доказательство того, что он, напротив, лишь уступил самому откровенному заигрыванию со стороны госпожи де Мертей и что о свидании они заранее договорились.

К счастью, у меня имеются веские основания считать все эти обвинения столь же лживыми, сколь и омерзительными. Прежде всего, обе мы знаем, что господин де Вальмон отнюдь не был занят госпожой де Мертей, а я имею все данные

---

[48] Примечания: 48
Письма 81 и 85 этого собрания.

полагать, что и господин Дансени занимался ею не больше; таким образом, мне представляется очевидным, что она не могла быть ни предметом ссоры, ни ее подстрекательницей. Не понимаю я также, какой смысл был для госпожи де Мертей, якобы сговорившейся с господином де Превано, разыграть сцену, которая не могла не быть неприятной из-за своей громкой огласки и, безусловно, могла стать крайне для нее опасной, поскольку госпожа де Мертей приобретала таким образом непримиримого врага в человеке, частично владевшем ее тайной и имевшем тогда немало сторонников. Между тем примечательно, что после этого происшествия ни один голос не поднялся в защиту Превана, и даже он сам не решился протестовать.

Эти соображения заставляют меня заподозрить, не является ли он сам источником распространяемых сейчас слухов, и усматривать в этой черной клевете акт ненависти и мщения со стороны человека, который, сознавая себя погибшим, надеется таким способом хотя бы посеять сомнения и, может быть, выгодным для себя образом направить внимание общества в другую сторону. Но откуда бы ни исходили все эти злостные слухи, надо прежде всего положить им конец. Они сами

собой прекратились бы, если бы выяснилось, — и вернее всего так оно и есть, — что господа де Вальмон и Дансени не беседовали друг с другом после своего злосчастного поединка и никто никому не передавал никаких бумаг.

В своем нетерпении скорее проверить все это я послала сегодня утром к Дансени, но его тоже нет в Париже. Его слуги сказали моему лакею, что этой ночью он уехал, следуя полученному вчера совету, и что местопребывание его хранится в тайне. По всей видимости, он опасается возможных последствий своего дела. Поэтому лишь от вас, мой дорогой и достойный друг, могу я узнать подробности, которые меня интересуют и которые, возможно, окажутся крайне необходимыми госпоже де Мертей. Еще раз прошу вас сообщить мне их как можно скорее.

P. S. Недомогание моей дочери не имело никаких последствий. Она свидетельствует вам свое уважение.

Париж, 11 декабря 17…

Письмо 169

От кавалера Дансени к госпоже де Розмонд

Милостивая государыня!

Может быть, то, что я сейчас делаю, покажется вам весьма странным, но, молю вас, выслушайте меня, прежде чем осудить, и не усматривайте дерзости и вызова там, где имеются лишь почтение и доверчивость. Я не скрываю от себя, насколько виновен перед вами, и никогда в жизни не простил бы себе этой вины, если бы хоть на мгновение подумал, что для меня возможно было ее избежать. Будьте также уверены, сударыня, что хотя я не могу ни в чем себя упрекнуть, я, во всяком случае, ощущаю скорбь и со всей искренностью хочу добавить, что глубоко скорблю о той скорби, которую доставил вам. Для того чтобы вы поверили чувствам, в которых я осмеливаюсь вас уверять, вам достаточно отдать должное самой себе и иметь также в виду, что, хоть я не имею чести быть вам известным, я тем не менее знаю вас.

Однако в то время как я тоскую под бременем роковых обстоятельств, послуживших причиной вашего горя и моих бедствий, меня пытаются уверить, что вы, всецело отдавшись мысли о мщении, готовы с этой целью прибегнуть даже к суровости законов.

Позвольте мне прежде всего обратить ваше внимание на то, что в данном случае вы ослеп-

лены горем, ибо тут мои интересы теснейшим образом связаны с интересами господина де Вальмона: добейся вы моего осуждения, оно затронуло бы в равной степени и его. Поэтому, сударыня, я полагал бы, что с вашей стороны могу рассчитывать скорее на содействие, чем на помехи в стараниях, которые мне, возможно, придется приложить к тому, чтобы это злосчастное происшествие осталось погребенным в молчании.

Но эта поддержка, вынужденная соучастием и оказываемая как виновному, так и невиновному, недостаточна для моей щепетильности: желая отстранить вас как истца, я прошу, чтобы вы были моим судьей! Уважение тех, кого мы чтим, для нас слишком дорого, чтобы я согласился лишиться вашего, не защищаясь, а мне кажется, что для защиты у меня есть полная возможность.

И действительно, если вы согласны с тем, что мщение дозволено или, вернее, что мы обязаны его совершить, оказавшись жертвою измены дружбе, любви, а главное, взаимному доверию, — если вы с этим согласны, моя вина перестанет для вас существовать. Не верьте моим словам, но прочитайте, если у вас хватит мужества, переписку,

которую я отдаю в ваши руки[49]. Огромное количество писем, имеющихся здесь в оригинале, подтверждает, по-видимому, достоверность тех, что представлены в копиях. К тому же я получил эти бумаги в том виде, в каком имею честь вам их переслать, лично от господина де Вальмона. Я ничего к ним не прибавил и изъял только два письма, каковые позволил себе предать гласности.

Одно было необходимо для общего нашего — моего и господина де Вальмона — мщения, на которое оба мы имели право и которое он мне завещал. Кроме того, я считал, что окажу услугу обществу, разоблачив перед ним такую опасную женщину, как госпожа де Мертей, которая, как вы сами сможете убедиться, является единственной, истинной причиной всего, что произошло между господином де Вальмоном и мною.

Чувство справедливости побудило меня предать гласности и второе, ради оправдания господина де Превана, которого я едва знаю, но который отнюдь не заслужил ни постигшей его

---

[49] Примечания: 49

Из этой переписки, а также из писем, переданных госпоже де Розмонд после смерти госпожи де Турвель и доверенных ей же госпожой де Воланж, составлен был настоящий сборник. Оригиналы находятся в руках наследников госпожи де Розмонд.

суровой кары, ни даже еще более жестокой строгости общественного приговора, под тяжестью которого он с тех пор изнывает, не имея никакой возможности защититься.

Вы поэтому найдете здесь лишь копии этих двух писем, оригиналы которых я почитаю своим долгом хранить у себя. Что до всего остального, то я полагаю, что не мог бы доверить более надежным рукам архив, который, быть может, в моих интересах было бы не уничтожать, но которым я посовестился бы злоупотребить. Не сомневаюсь, сударыня, что, доверяя вам эти письма, я послужу заинтересованным в них лицам так же хорошо, как если бы их передал им самим. Тем самым я избавляю их от смущения, которое они испытали бы, получая их от меня и зная, что я осведомлен о приключениях, которые им, разумеется, хотелось бы от всех скрыть.

Считаю своим долгом предупредить, что прилагаемая переписка есть лишь часть гораздо более обширного собрания писем, из которого господин де Вальмон извлек их в моем присутствии; по снятии печатей вы несомненно найдете его под названием, которое я лично видел: «Открытый счет маркизы де Мертей и виконта де Вальмона». Решение, которое следует принять в данном слу-

чае, подскажет вам ваше благоразумие. Остаюсь, сударыня, с уважением и проч.

P. S. Полученные мною предупреждения и советы друзей побудили меня на некоторое время покинуть Париж, но тайна моего убежища, строго охраняемая от всех, вам должна быть открыта. Если вы удостоите меня ответом, прошу адресовать его в коман-дорство*** через П*** на имя господина командора***. От него я и имею честь писать вам.

Париж, 12 декабря 17…

Письмо 170

От госпожи де Воланж к госпоже де Розмонд

Я перехожу, дорогой друг мой, от неожиданности к неожиданности, от горя к горю. Нужно быть матерью для того, чтобы представить себе, что я выстрадала в течение вчерашнего утра. И хоть самая острая тревога моя с тех пор улеглась, я все же нахожусь в сильнейшем волнении и не вижу ему конца.

Вчера, около десяти часов утра, удивленная тем, что дочь моя еще не появляется, я послала свою горничную выяснить, что означает это опоздание. Через минуту она возвратилась крайне

испуганная и еще больше напугала меня, сообщив, что дочери моей нет в ее комнате и что горничная тоже не нашла ее там рано утром. Представьте себе мое состояние! Я призвала всех своих слуг и прежде всего швейцара; все поклялись мне, что им ничего не известно и что они ничего не могут сообщить мне по поводу случившегося. Я тотчас же направилась в комнату дочери. По царившему там беспорядку мне стало ясно, что она покинула ее лишь утром, но никаких других указаний я не обнаружила. Я осмотрела ее шкафы, ящики секретера — все оказалось на месте, все ее платья, кроме одного, в котором она ушла. Она не взяла даже той небольшой суммы денег, которая у нее была.

Так как она лишь вчера узнала обо всем, что говорят о госпоже де Мертей, так как она к ней сильно привязана, — настолько, что весь вчерашний день проплакала, — и так как, кроме того, я вспомнила, что она не знала об отъезде госпожи де Мертей в деревню, мне прежде всего пришло в голову, что она пожелала увидеть свою приятельницу и по своему легкомыслию отправилась к ней одна. Но время шло, она не возвращалась, и мною вновь овладела тревога. С каждым мгновением муки мои усиливались, я изнывала от

неизвестности и, однако, не решалась наводить какие-либо справки из опасения придать гласности поступок, который впоследствии, может быть, захочу от всех скрыть. Нет, никогда в своей жизни я так не страдала!

Наконец, только после двух часов дня я получила сразу два письма: одно от дочери, другое от настоятельницы *** ского монастыря. В письме дочери говорилось только, что она опасалась, как бы я не воспротивилась ее призванию стать монахиней, и что поэтому не осмеливалась со мной об этом заговорить. Далее она пространно извинялась, что без моего согласия приняла это решение, которое, добавляла она, я, наверно, могла бы лишь одобрить, если бы знала причины его, о которых тем не менее она меня просила не спрашивать ее.

Настоятельница сообщала, что, так как молодая девушка приехала одна, она сначала отказалась принять ее. Но, расспросив незнакомку и узнав, кто она такая, она решила, что окажет мне услугу, если прежде всего предоставит моей дочери убежище, чтобы не принудить ее ехать дальше, на что та, по-видимому, твердо решилась. Предлагая, разумеется, вернуть мне дочь, если я потребую ее возвращения, настоятельница, как

это и подобает в ее положении, советует мне не препятствовать призванию, которое она называет бесповоротным. Она пишет также, что не известила меня об этом событии раньше, ибо ей стоило большого труда заставить мою дочь написать мне: та хотела, чтобы никто не знал, куда она удалилась. Какая жестокая вещь — безрассудство детей!

Я тотчас же отправилась в этот монастырь. Переговорив с настоятельницей, я сказала, что хочу видеть свою дочь; та пришла очень неохотно и вся дрожала. Я говорила с ней в присутствии монахинь, говорила и наедине. Она все время обливалась слезами, и единственное, чего я от нее добилась, это то, что она может быть счастлива только в монастыре. Мне пришлось позволить ей остаться там, но еще не в качестве послушницы, как она хотела. Боюсь, что смерть госпожи де Турвель и господина де Вальмона чересчур взволновала ее юную голову. Как ни чту я монашеское призвание, мне все же было бы мучительно и даже страшно видеть, как моя дочь принимает схиму. Мне кажется, что у нас и без того довольно обязанностей и незачем налагать на себя новые, не говоря уже о том, что в столь юном возрасте мы не можем знать, что нам больше подходит.

Замешательство мое еще усиливается из-за предстоящего возвращения господина де Жеркура. Неужели столь выгодный брак должен расстроиться? Как же нам создавать счастье детей, раз недостаточно желать этого и прилагать все свои усилия? Вы оказали бы мне огромную услугу, если бы написали, как бы вы поступили на моем месте. Я же ни на чем не могу остановиться: самое страшное — решать судьбу других, и в данном случае я одинаково боюсь проявить и строгость судьи, и слабость матери.

Беспрестанно укоряю я себя за то, что увеличиваю ваши горести, донимая вас своими. Но я знаю ваше сердце: самое большое для вас утешение — то, которое вы можете дать другим.

Прощайте, мой дорогой и достойный друг; с нетерпением жду вашего ответа на оба мои вопроса.

Париж, 13 декабря 17…

Письмо 171

От госпожи де Розмонд к кавалеру Дансени

После того, что мне стало известно от вас, сударь, мне остается только плакать и молчать. Когда узнаёшь о подобных мерзостях, жалеешь,

что еще живешь на белом свете. Стыдно быть женщиной, когда видишь, что есть женщина, способная на такое распутство.

Что касается лично меня, сударь, то я охотно соглашаюсь предать молчанию и забвению все, что может напомнить эти горестные события и привести к каким-либо их последствиям. Я хотела бы даже, чтобы они не доставили вам никаких огорчений, кроме тех, что неразрывно связаны с печальным преимуществом, которое вы получили над моим племянником. Несмотря на то, что я вынуждена признать всю его неправоту, я чувствую, что никогда не утешусь в том, что потеряла его. Но мое неиссякаемое горе — это единственная месть, которую я позволю себе по отношению к вам. Насколько она велика — определить может ваше сердце.

Позвольте мне, во внимание к моему преклонному возрасту, высказать одно суждение, которого обычно не делают люди в ваши годы: если бы мы понимали, в чем истинное наше счастье, мы никогда не искали бы его за пределами, установленными законами божескими и человеческими. Можете не сомневаться в том, что я охотно и добросовестно сохраню доверенные мне вами бумаги. Но я прошу вас предоставить мне

право не передавать их никому и даже не возвращать вам, — разве что это стало бы необходимым для вашего оправдания. Смею надеяться, что вы не откажете в этой просьбе, ибо вам теперь понятно, как зачастую раскаиваешься в том, что предался даже самому справедливому мщению.

Просьбы мои этим не ограничиваются, ибо я уверена в вашем великодушии и чувствительности: было бы вполне достойно их, если бы вы передали мне также письма мадемуазель де Воланж, которые, по-видимому, хранятся у вас и которые теперь, без сомнения, вам уже не нужны. Я знаю, что эта молодая особа очень перед вами виновата, но я не думаю, чтобы вы намеревались наказывать ее за это; и хотя бы из уважения к самому себе вы не опозорите существо, которое так любили. Поэтому мне нет необходимости добавлять, что внимание, которого не заслуживает дочь, должно оказывать матери, женщине весьма почтенной, перед которой вы далеко не безгрешны; ибо в конце концов сколько бы ни обманывать себя так называемой тонкостью чувства, тот, кто первым пытается обольстить сердце еще невинное и неопытное, тем самым становится первым виновником его порчи и всю свою жизнь несет ответственность за дальней-

шие его заблуждения и грехи.

Не удивляйтесь, сударь, подобной строгости с моей стороны: именно она является величайшим доказательством моего к вам полного уважения. Вы обретете еще большее право на него, согласившись, как я и прошу вас, обеспечить сохранение тайны, разглашение которой вам самому причинило бы вред и явилось бы смертельным ударом для материнского сердца, которому вы уже нанесли рану. Словом, сударь, я желаю оказать эту услугу моему другу. И если бы я могла опасаться, что вы мне откажете в этом утешении, я попросила бы вас подумать сперва о том, что это единственное утешение, которое вы мне оставили.

Имею честь… и проч.

Из замка***, 15 декабря 17…

Письмо 172

От госпожи де Розмонд к госпоже де Воланж

Если бы, дорогой мой друг, мне пришлось запрашивать из Парижа те сведения относительно госпожи де Мертей, которых вы у меня просите, и дожидаться их, я сейчас еще не имела бы возможности вам их дать и в конце концов получила

бы нечто смутное и неопределенное. Однако мне доставлены были сведения, которых я совсем не ожидала, да и не могла ожидать. Но они, к сожалению, слишком достоверны. О друг мой! Как эта женщина вас обманула! Мне противно разбираться в подробностях: это нагромождение всевозможных мерзостей. Но что бы об этом ни распространяли, всё — не сомневайтесь в этом — еще далеко до действительности. Надеюсь, дорогой друг мой, что вы знаете меня достаточно хорошо, чтобы поверить мне на слово и не требовать от меня никаких доказательств. Достаточно вам знать, что их множество, и в настоящее время они находятся в моих руках.

С крайним прискорбием вынуждена я обратиться к вам еще с одной такой же просьбой — не заставляйте меня приводить основания для совета, которого вы у меня просите касательно мадемуазель де Воланж. Я советую вам не противиться призванию, которое у нее обнаружилось. Разумеется, не существует причин, по которым можно было бы заставить принять монашеский сан того, кто к этому не призван. Но иногда такое призвание — великое счастье. Видите — дочь ваша сама говорит, что вы не стали бы порицать ее, если бы знали причины, побуждающие ее

стремиться к этому. Тот, кто вдохновляет наши чувства, знает лучше, чем наш суетный рассудок, что нужно каждому из нас. И часто то, что мы принимаем за проявление его суровости, есть на самом деле акт милосердия.

Словом, мое мнение — я понимаю, что оно вас огорчит, но именно поэтому вы не должны сомневаться, что я его тщательно обдумала, — мое мнение таково, что вам надо оставить мадемуазель де Воланж в монастыре, раз она сама сделала такой выбор, что вы должны не только не препятствовать решению, которое она, по-видимому, приняла, но и поддержать его и что в ожидании, пока оно осуществится, вам следует, не колеблясь, отказаться от задуманного вами брака.

После того как я выполнила этот печальный долг дружбы, будучи бессильна чем-либо вас утешить, я должна еще, друг мой, попросить вас об одной милости: не расспрашивать меня ни о чем, имеющем какое-либо касательство к этим грустным событиям. Предадим их заслуженному забвению и, не ища бесполезных и горьких разъяснений, подчинимся воле Божией; уверуем в мудрость ее предначертаний даже тогда, когда она не дозволяет нам понять их. Прощайте, друг мой.

Из замка***, 15 декабря 17…

Письмо 173

От госпожи де Воланж к госпоже де Розмонд

О друг мой! Каким страшным покровом окутываете вы для меня участь моей дочери! И, по всей видимости, вы боитесь, чтобы я не попыталась приподнять его! Что же такое скрывается за ним, способное огорчить сердце матери даже больше, нежели ужасные подозрения, к которым вы меня тем самым вынуждаете? Чем больше вспоминаются мне ваши дружеские чувства и снисходительность, тем сильнее становятся мои муки. Раз двадцать со вчерашнего дня хотела я избавиться от этой жестокой неуверенности и просить вас поведать мне все, как оно есть, ничего не смягчая, ни о чем не умалчивая. И всякий раз я трепетала от страха, вспоминая о вашей просьбе не расспрашивать вас ни о чем. Наконец я останавливаюсь на решении, оставляющем все же некоторую надежду, и от вашей дружбы жду, что вы не откажете исполнить мое желание. Ответьте мне, поняла ли я хоть приблизительно то, что вы могли мне рассказать. Не бойтесь сообщить мне все, что может принять материн-

ская снисходительность, все, что еще можно исправить. Если же несчастья мои превышают эту меру, тогда я согласна, чтобы единственным вашим разъяснением было молчание. Так вот что я пока узнала, вот насколько могут простираться мои опасения.

Дочь моя несколько увлеклась кавалером Дансени, и, как мне сообщили, дело дошло до того, что она получала от него письма и даже отвечала ему. Но я полагала, что мне удалось воспрепятствовать каким бы то ни было опасным последствиям этого ребяческого заблуждения. Теперь же, когда я всего опасаюсь, я допускаю мысль, что моя бдительность была обманута, и боюсь, что моя обольщенная дочь дошла в своих заблуждениях до предела.

Мне припоминаются кое-какие обстоятельства, которые, может быть, подтверждают эти опасения. Я сообщала вам, что моя дочь почувствовала себя плохо, узнав о несчастии с господином де Вальмоном. Может быть, эта чувствительность объяснялась мыслью об опасности, которой в этом поединке подвергался господин Дансени. Когда затем она так сильно плакала, узнав все, что говорилось о госпоже де Мертей, может быть, то, что я считала дружеским состраданием, бы-

ло лишь следствием ревности или огорчения, оттого что возлюбленный оказался неверным. И последний ее поступок может, мне кажется, объясняться той же причиной. Часто считаешь себя призванным к служению Богу лишь потому, что негодуешь на людей. Словом, если предположить, что все обстоит именно так и вы об этом узнали, вы, конечно, могли усмотреть в этих обстоятельствах достаточное основание для своего сурового совета.

Однако если даже это так, то, осуждая свою дочь, я все же считала бы, что обязана сделать все возможное, чтобы избавить ее от мучений и опасностей, которые таятся в воображаемом, необдуманно выбранном призвании. Если господин Дансени не потерял остатка порядочности, он не откажется исправить беду, единственный виновник которой он сам. И я, наконец, полагаю, что женитьба на моей дочери — дело достаточно выгодное, чтобы он и его семья были этим только польщены.

Вот, дорогой и достойный друг мой, единственная оставшаяся у меня надежда. Поспешите подтвердить ее, если это возможно. Вы сами понимаете, как я жду вашего ответа и каким ужасным ударом было бы для меня ваше мол-

чание[50].

Я уже собиралась запечатать, это письмо, когда меня пришел навестить один знакомый, рассказавший мне о жестокой сцене, которую пришлось пережить госпоже де Мертей. Так как в последние дни я ни с кем не виделась, то и не знала ничего об этом происшествии. Вот что сообщил мне о нем очевидец.

Вернувшись из деревни позавчера, в четверг, госпожа де Мертей велела отвезти себя в Итальянскую комедию, где у нее своя ложа. Она сидела в ней одна, и ей должно было показаться странным, что в течение всего вечера никто из мужчин к ней не зашел. По окончании спектакля она, по своему обыкновению, направилась в фойе, уже полное народа. Тотчас же поднялся шум, но, по-видимому, она не приняла его на свой счет. Заметив на одном диване свободное место, она уселась, но тотчас же все уже сидевшие там дамы поднялись, словно сговорившись, и оставили ее в полном одиночестве. Столь подчеркнутое проявление всеобщего негодования присутствующие мужчины встретили знаками одобрения, и ропот усилился, переходя, как говорят, даже в свист.

---

[50] Примечания: 50
Это письмо осталось без ответа.

На ее беду, словно для того, чтобы чаша ее унижения переполнилась, господин де Преван, нигде не появлявшийся после своего приключения, в ту же минуту вошел в фойе. Едва завидев его, все, и мужчины и женщины, окружили его и стали наперерыв приветствовать, так что он был, если можно так выразиться, подведен к госпоже де Мертей публикой, сомкнувшейся вокруг них. Уверяют, что она сохранила невозмутимый вид, — словно ничего не видела и не слышала, и даже не изменилась в лице. Но я думаю, что уж это-то преувеличено. Как бы то ни было, но в таком, поистине позорном, положении она находилась до тех пор, пока не доложили, что ее карета подана, а когда она выходила, оскорбительный свист и выкрики еще усилились. Ужасно сознавать себя родственницей этой женщины. В тот же вечер господина де Превана весьма сердечно приняли в свой круг присутствовавшие тут офицеры его части, и нет сомнения, что ему скоро вернут и должность и чин. Лицо, так подробно рассказавшее мне обо всем этом, сообщило также, что на следующую ночь у госпожи де Мертей обнаружился сильный жар. Сперва полагали, что это следствие крайне мучительного положения, в котором она оказалась, но вчера

вечером выяснилось, что она заболела оспой в очень злокачественной форме. Думаю, что для нее было бы истинным счастьем умереть от этой болезни. Говорят даже, что вся эта история может сильно повредить ей в процессе, который должен в ближайшее время состояться, ибо для успеха в нем ей явно потребовалась бы благосклонность тех, от кого это зависит.

Прощайте, мой дорогой и достойный друг. Я вижу, что злодеи несут в данном случае кару, но не нахожу ни малейшего утешения для их несчастных жертв.

Париж, 18 декабря 17…

Письмо 174

От кавалера Дансени к госпоже де Розмонд

Вы совершенно правы, сударыня, и, разумеется, поскольку это зависит от меня, я не откажу вам ни в чем, что вы почитаете для себя важным. В пакете, который я сейчас имею честь вам препроводить, находятся все письма мадемуазель де Воланж. Если вы их прочтете, то, может быть, у вас вызовет удивление, каким образом в одном существе могут сочетаться столько простодушия и столько вероломства. Во всяком случае, именно

это поразило меня, когда я в последний раз перечитывал эти письма.

Но прежде всего можно ли удержаться от самого гневного возмущения госпожой де Мертей, когда вспомнишь, с каким гнусным удовольствием она не щадила усилий, чтобы злоупотребить всей этой невинностью и простодушием?

Нет, любовь моя прошла. Ничего не осталось во мне от чувства, так ужасно поруганного, и не оно заставляет меня искать оправданий для мадемуазель де Воланж. И все же, разве это столь неискушенное сердце, столь мягкий и податливый характер не склонились бы к добру гораздо легче, чем они дали себя увлечь на путь зла? Кто из юных девиц, точно так же едва вышедших из монастыря без опыта и без всяких представлений о жизни и вступающих в свет, как это почти всегда бывает, в полнейшем неведении как добра, так и зла, — какая юная девица, повторяю, сумела бы более успешно сопротивляться столь гнусным ухищрениям? Ах, чтобы проявить снисходительность, достаточно подумать, от скольких не подвластных нам обстоятельств зависит роковой выбор — сохраним ли мы неиспорченность чувств или они станут растленными? Вы поэтому справедливо судили обо мне, сударыня, полагая,

что заблуждения мадемуазель де Воланж, которые меня глубоко уязвили, не внушают мне, однако, никакой жажды их покарать. Достаточно того, что я вынужден был отказаться от любви к ней; а возненавидеть ее было бы для меня слишком тяжко.

Мне незачем долго раздумывать, чтобы стремиться сохранить в полной тайне все то, что касается ее и может ей повредить. Если вам могло показаться, что я некоторое время медлил исполнить ваше на этот счет желание, то, думается мне, могу не скрывать от вас причины: я хотел сперва иметь уверенность в том, что все это злополучное дело не будет иметь для меня тягостных последствий. В то время как я домогался вашего снисхождения и осмеливался даже считать, что имею на него некоторое право, я опасался, что, проявляя в данном случае уступчивость, я как бы пытаюсь подкупить вас. Но, уверенный в чистоте своих побуждений, я возымел, не скрою этого, гордое желание, чтобы и вы в ней не усомнились. Надеюсь, что вы простите мне эту, быть может, чрезмерную щепетильность, ибо причина ее — то благоговейное чувство, которое вы мне внушаете, и то значение, которое я придаю уважению с вашей стороны.

Те же чувства заставляют меня просить вас о последней милости — благоволите сообщить мне, считаете ли вы, что я до конца выполнил свой долг в тех злосчастных обстоятельствах, в каких оказался? Успокоившись на этот счет, я приведу в исполнение то, что решил. Я уезжаю на Мальту. Там я с радостью принесу обеты, которые разлучат меня со светом, ибо, несмотря на свои юные годы, я уже немало от него настрадался, — и буду их свято блюсти. И, наконец, я буду стараться позабыть под чужим небом обо всем этом нагромождении злодеяний, память о которых может лишь омрачить и осквернить мою душу.

Остаюсь, сударыня, с глубоким уважением ваш покорнейший… и проч.

Париж, 26 декабря 17…

Письмо 175

От госпожи де Воланж к госпоже де Розмонд

Судьба госпожи де Мертей, кажется, наконец, совершилась, мой дорогой и достойный друг, и она такова, что даже злейшие враги ее испытывают не только возмущение, какого заслуживает эта женщина, но и жалость, которую она не может не внушать. Я была права, когда говорила,

что, быть может, для нее было бы счастьем умереть от оспы. Она же, правда, поправилась, но оказалась ужасно обезображенной, а главное — ослепла на один глаз. Вы сами понимаете, что я с ней не виделась, но говорят, что она стала совершенным уродом.

Маркиза де***, не упускающая ни малейшей возможности позлословить, вчера, говоря о ней, сказала, что болезнь вывернула ее наизнанку и что теперь душа ее у нее на лице. К сожалению, все нашли, что это очень удачно сказано.

Еще одно событие увеличило и несчастья ее, и вину. Ее дело позавчера слушалось в суде, и она проиграла его полностью. Издержки, протори, возмещение расходов — все было присуждено в пользу несовершеннолетних наследников, так что небольшая часть состояния, относительно которой тяжба не велась, полностью поглощена издержками.

Едва только это стало ей известно, она, еще не окончательно поправившись, тотчас же собралась и уехала ночью одна в почтовой карете. Слуги ее сегодня рассказывают, что никто из них не пожелал ее сопровождать. Говорят, она отправилась в Голландию.

Этот отъезд наделал еще больше шуму, чем все

остальное, так как она увезла свои бриллианты на очень крупную сумму, которые подлежали возвращению в наследство ее мужа; она увезла также серебро, драгоценности — словом, все, что могла, и оставила неуплаченными долги на 50 000 ливров. Это самое полное банкротство.

Родня ее собирается завтра на семейный совет, чтобы как-нибудь договориться с кредиторами. Хотя я и очень дальняя родственница, но тоже предложила свое участие. Однако на этом собрании я не буду, ибо должна присутствовать на церемонии еще более печальной: завтра моя дочь приносит обет послушницы. Надеюсь, вы не забыли, дорогой друг мой, что единственная для меня причина считать себя вынужденной принести столь великую жертву — это ваше молчание в ответ на мое последнее письмо.

Господин Дансени покинул Париж недели две тому назад. Говорят, он собирается на Мальту и намерен там остаться. Может быть, есть еще время удержать его?.. Друг мой!.. Неужели дочь моя настолько виновна?.. Вы, конечно, простите матери то, что ей так трудно примириться с этой ужасной уверенностью.

С некоторых пор надо мной властвует какой-то злой рок, поражая меня такими ударами по

самым дорогим мне существам. Моя дочь и мой друг!

Как можно без содрогания помыслить о бедствиях, которые способна причинить хотя бы одна опасная связь! И скольких несчастий можно было бы избежать при большей рассудительности! Какая женщина не обратится в бегство при первых же словах обольстителя? Какая мать могла бы без трепета видеть, что дочь ее доверительно говорит не с нею, а с кем-то другим! Но эти запоздалые соображения приходят в голову лишь после того, как все уже случилось. И одна из самых важных, а также самых общепринятых истин не применяется в жизни, сметаемая вихрем наших неустойчивых нравов.

Прощайте, мой дорогой и достойный друг. Сейчас я на горьком опыте познаю, что разум наш, столь мало способный предотвращать наши несчастья, еще менее пригоден для того, чтобы

даровать нам утешение[51].

Париж, 14 января 17…

[51] Примечания: 51

Причины частного характера и соображения, уважать которые мы будем всегда считать своим долгом, вынуждают нас здесь остановиться. В настоящее время мы не можем дать Читателю ни продолжения приключений мадемуазель де Воланж, ни изложить ему мрачные события, которые переполнили чашу бедствий госпожи де Мертей и довершили ее кару. Может быть, когда-нибудь нам и будет дозволено дополнить этот труд, но никаких обязательств в этом отношении мы на себя взять не можем. А если бы это и оказалось возможным, мы сочли бы своим долгом справиться сначала о желании читающей Публики, которая отнюдь не имеет тех же оснований, что мы, интересоваться такого рода Сочинением.

Примечание Издателя

Зима красоты

Посвящается Поль Констан, моей земной подруге, и Жерару.
«Прошлое и грядущее, Словно пара псов-близнецов, рыщут вокруг нас».
Ж. Сюпервьель. «Гравитации»

«Судьба госпожи де Мертей, кажется, наконец, свершилась… и она такова, что даже злейшие враги ее испытывают не только возмущение, какого заслуживает эта женщина, но и жалость, которую она не может не внушать. Я была права, когда говорила, что, быть может, для нее было бы счастьем умереть от оспы. Она же, правда, поправилась, но оказалась ужасно обезображенной, а главное, ослепла на один глаз. Вы сами понимаете, что я с ней не виделась, но, говорят, что она стала совершенным уродом.

Маркиза де ***, не упускающая ни малейшей возможности позлословить, вчера, говоря о ней, сказала, что болезнь

вывернула ее наизнанку и что теперь душа ее у нее на лице. К сожалению, все нашли, что это очень удачно сказано…

(Еще одно событие увеличило и несчастья ее, и вину. Ее дело позавчера слушалось в суде, и она проиграла его полностью.)[52]

Едва только это стало ей известно, она, еще не окончательно поправившись, тотчас же собралась и уехала ночью одна в почтовой карете. Слуги ее сегодня рассказывают, что никто из них не пожелал ее сопровождать. Говорят, она отправилась в Голландию.

Этот отъезд наделал еще больше шуму, чем все остальное, так как она увезла свои бриллианты на очень крупную сумму,… увезла также серебро, драгоценности — словом, все, что могла…»

Шодерло де Лакло. «Опасные связи»[53]

---

[52] Примечания: 52

В тексте Ф. Шандернагор эта фраза выпущена. *(Прим. перев.)*

[53] Примечания: 53

Отрывок из письма 175 (Шодерло де Лакло. «Опасные связи», пер. Н. Рыковой).

I

Когда они увидели меня — ПОСЛЕ — они сказали: «Божья кара опалила ее, точно адское пламя. Перед ЭТИМ даже смерть не страшна, оставим ее в покое…»

Жар долго и цепко держал меня в плену беспамятства; теперь же я слышала, как они где-то там, поодаль, в полутьме, с высоты своего презрения, защищенного курениями и покрывалами, оценивали неведомой мне монетою ту малую толику жизни, что еще теплилась в моем теле.

Их взгляды не выражали ни жалости, ни даже страха; приглушенно говорилось о моей беде и о той необходимой осторожности, что удерживала их подойти поближе, дабы вернее измерить всю тяжесть моего несчастья.

Служанки, укутанные в простыни, запеленутые до кончиков пальцев, до самых глаз в мертвенно-белое полотно, не удостаивали меня даже взглядом. Я вырвалась из жгучего мрака лихорадки, в которой корчилась долгими, нескончаемыми днями, лишь затем, чтобы теперь стынуть среди холодного безразличия прислуги, к которому ничто не подготовило меня.

Сперва я подумала: я уже мертва; затем, немного придя в себя, поняла: кажется, я жива, но ровно настолько, чтобы понимать, что еще жива. А потом, в одно прекрасное утро, я очнулась одна-одинешенька в пустом доме, глухом к моим призывам о помощи.

Конечно, в ту минуту я и думать забыла о зеркалах, у меня нашлись дела поважнее. Я сгребла в кучу драгоценности, бриллианты, золото и кое-какие тряпки. Закутавшись в грубый плащ (служанки накидывали его, бегая по моим поручениям), я выскользнула на еще не проснувшиеся улицы. Я прятала лицо, но никому и не было до меня дела.

Я остановила наемный экипаж.

То, что я увидела в глазах кучера, не насторожило меня; я пока не научилась распознавать ужас, мною внушаемый.

Я просто подумала: он ЗНАЕТ, кто я такая, и осуждает меня; мне и в голову не пришло, что все, до нас касающееся, никогда не выходило и не выйдет за пределы тесного круга, в котором вращались я и мне подобные.

Теперь-то я понимаю: отвращение возмущает сердца одинаковым образом повсюду, сверху донизу на социальной лестнице. Наблюдать за

другими свысока, как следят за схваткою насекомых, — плохой способ постигать законы этого мира.

Наемные кареты сменялись дилижансами, ночи на постоялых дворах — днями на разбитых дорогах Севера, и мало-помалу я начала подозревать, что на моем лице лежит неведомая мне печать избранницы ада. Но для меня было куда важнее добраться до далекой моей гавани, нежели гадать, в каком состоянии я достигну ее.

И вот наконец я узнала.

В Роттердаме, в доме моей сестры. Служанки побелели и разинули рты, потом поспешно скрылись, оставив меня на пороге. Я уже довольно укрепилась в своих предчувствиях, чтобы расценить это как простое удивление.

Моя сестра, так же, как они, отшатнулась от меня; судорожно отмахиваясь, она закричала: «Не прикасайся ко мне, Изабель, ради Бога, только не прикасайся ко мне!»

Дрожа, стояла она среди ковров, привезенных из Индии ее мужем-арматором[54]; стояла, откровенно некрасивая, заурядная. Она всегда была такой, — уж это-то, по крайней мере, ничуть не

---

[54] Примечания: 54
Арматор — владелец одного или нескольких кораблей.

изменилось.

Я подняла глаза к огромному венецианскому зеркалу — из тех, что превращают один огонек в тысячи сверкающих солнц, и оно превратило в тысячи смертей мое изуродованное оспой лицо.

В двадцать пять лет для меня началась зима красоты.

* * *

Изабель… Она прожила очень долгую жизнь, — долгую, если считать периоды пустоты и отчаяния, временами настигавшие ее.

И очень короткую — если сразу подвести итог.

Одна вещь поражает воображение, когда читаешь ее дневник, ее письма и то, что другие писали о ней. В те времена люди переписывались часто и помногу, но корреспонденцию эту отличает следующая тонкость: трудно распознать, пишет ли данная особа другой, желая просто сообщить что-то, или же пользуется этим, чтобы описать самое себя? В данном случае удивляет ее собственное удивление: она не чувствовала себя по-настоящему несчастной. Превратиться в чудовище, в Медузу — хоть и без змей на голове, без взгляда, обращающего в камень, просто в результате обыкновенной оспы, погубившей

ее прелестный цвет лица, чистые черты, светлые, как родник, глаза, — все это для нее РОВНО НИЧЕГО не значит. Впрочем, последнее требует уточнений.

Кроме того, она лишилась левого глаза, но, хотя эта часть лица вокруг глубоко запавшей пустой глазницы являла собою зрелище полного разрушения, сразу ощущаешь властную, лихорадочную жажду воссоздания утраченного. Чувствуется, что за этим ликом, который, не будучи ее собственным, был ей, возможно, предназначен, скрывается ДРУГАЯ. Впрочем, пока я еще не могу ясно выразить эту мысль.

Когда я гляжу на ее портрет — портрет, который НИЧЕГО не скрывает (и что-то подсказывает мне, что она уж проследила за этим!), я думаю сперва о Пикассо и о Беллмере[55]; потом я мысленно возвращаю глаз в пустую орбиту, стираю шрамы с шагреневых щек, подменяю это Богом посланное уродство другим — уродством «Старух» Гойи. И с ужасом в душе размышляю о зиме всех женщин, — всех, а не только ее одной; для этого ведь и оспа не нужна, возраст — уж он-то сделает свое дело. Она успела свыкнуться, выработать свою,

---

[55] Примечания: 55

Беллмер Ганс (1902–1975) — французский художник немецкого происхождения, сюрреалист.

особую привычку к несчастью, и я говорю себе: ей повезло, что она не видела себя стареющей постепенно; она перестала быть красивой вдруг, а это совсем иное, нежели медленная старческая деградация, совсем иное… лицо, изрытое оспой враз, так, словно сама жизнь оступилась и покалечилась в тот самый миг, когда появлялась на свет.

* * *

Мадлен лежит в креслах почти без чувств, а я стою перед нею. Господи, до чего же мне противны эти обязательные женские слабости, это удобное скольжение в обморок! Есть у нас такой способ, говорят женщины, — способ избежать наихудшего, вернуться к обыденности, эдакая унизительная ущербность, которую нам столь охотно приписывают мужчины. Ну еще бы, разумеется!.. Каждый вид рабства имеет свою золотую грань, но мне ли не знать: лучшая служба — та, что лишена оттенка услужливости.

Мадлен здесь, передо мною, потрясенная до глубины души. Да, она потрясена, в этом я не сомневаюсь, но знаю также, что она сейчас лихорадочно высчитывает, глядя на меня своими белесыми глазами. Арман-Мари далеко; наверня-

ка где-нибудь в плавании со своими кораблями. Он давным-давно любит море — оттого, что не любит свою жену. И сходит на берег лишь за тем, чтобы еще разок попытаться обрюхатить ее. Моя сестра, увы, бесплодна. Этот способ привлекать мужчину для очередной попытки — тщетной, конечно, но зато побуждающей к объятиям, — ничуть не хуже всех остальных. Они возненавидели друг друга с первой же ночи, но, хотя в жилах Мадлен течет горячая кровь нашего отца, она слишком добродетельна и мещаниста, чтобы решиться на адюльтер. Или слишком боязлива: здесь с супружескими изменами не шутят… Иногда я мысленно благодарю свою мать за то, что она выдала меня замуж за старика без будущего. Он пылко бросился в эту ловушку смерти, которая стоит любой другой и которая ублажила меня вдвойне — наслаждением и свободой.

Он вовсе не был злым. И я, мне кажется, не слишком часто досаждала ему. Конечно, жизнь моя могла бы стать намного проще, если бы женщины нашей семьи не страдали бесплодием, а так мне пришлось бороться с его сыновьями от первого брака, поскольку я не смогла противопоставить им свое собственное, не менее законное потомство. Ба! Я обожаю борьбу, особенно с муж-

чинами!

— Зачем ты явилась, Изабель?

Ага, вот оно что! Мадлен прекрасно знает, чего я хочу, но не может отказать себе в удовольствии лишний раз унизить меня, заставив просить; теперь, когда я лишена преимущества своей красоты, моя уважаемая сестрица вновь становится старшей в семье. Да, поистине ничто не меняется. Что ж, на другое я и не надеялась; и разве сама я не осталась прежней?!

А хочу я просто-напросто признания своих прав; иначе говоря, мне нужен наш маленький дом близ гавани, и еще я намерена потребовать денежного отчета. Уж не забыла ли она, что мое наследство составило весомую добавку к ее приданому? Ее выдали замуж — после меня! — благодаря вложению моей доли в торговые предприятия арматора. Я щупаю шелк занавесей, трогаю шелк драпировок, мну шелк ее платья… Ну-ну, дела, видно, идут на лад!

Мадлен белеет как мел; я еще сильнее комкаю ее подол: интересно, можно ли быть бледнее, чем моя сестра в этот миг? Она отдала бы все сокровища мира, лишь бы я перестала касаться ее, — все сокровища и Армана-Мари в придачу, если он еще хочет этого. Но она взглядывает на

меня и лицо ее вновь розовеет: он больше этого не захочет.

* * *

У меня есть письмо, которое Мадлен написала по этому случаю своей свекрови. Эти две женщины ладили меж собою; такое бывает редко. Сохранились также их портреты-миниатюры; глядя на них, понимаешь, отчего они заключили этот священный союз. Они ни красивы ни безобразны; одетые в кружева и парчу, они выставляют напоказ не тело, а наряд, под которым все та же унылая плоть. Им часто не хватает внутреннего света, но что за важность: женясь на таких женщинах, мужчины покупают то, что дремлет не в них самих, а на дне их сундуков; в результате — тут можете мне поверить — первая брачная ночь несет им всего лишь двойное «вскрытие» и не порождает ничего, кроме потомства. А в данном случае, вдобавок, хорошо известно, какого рода сделку заключили брачащиеся стороны: Изабель была продана дорого, Мадлен — сбыта по дешевке.

И вот она доверительно пишет свекрови в самый вечер возвращения Изабель:

«Ее лицо походит на скверно продубленную

шкуру, веко свисает гнилым лоскутом. Эта пустая глазница зачаровывает и притягивает, как пропасть. Изабель всегда внушала мне страх, и это чувство не умерло вместе с ее красотой, ибо Бог оставил ей голос.

Конечно, я имею право, я могла бы бороться с нею, чтобы сохранить деньги, и она передо мною бессильна. Достаточно чуть-чуть сплутовать с цифрами, вот и все. Но я боюсь и, думаю, вечно буду бояться ее.

Она смотрит на меня, она отвратительна, ужасна на вид, но из этого ужаса звучат те же, прежние слова, те же мед и елей, что сообщают ее речам дополнительную колкость. Я испытываю цепенящее ощущение слабости: у меня нет сил противиться обаянию именно того, что грозит мне разорением. О, как я ненавижу Изабель! Мне нисколько не жаль ее, а надо бы пожалеть. Ее плечи теперь словно из пемзы сделаны. Помните ли вы те камни, что Арман-Мари привез с островов Сонды[56]? Капли лавы, лопнувшие или вздувшиеся, — вот что такое нынче плечи моей сестры. Вспомните: Арман-Мари прятался за дверями, чтобы подслушать, как она поет; я

[56] Примечания: 56

Острова Сонды (или Сунды) — Индонезийский архипелаг. С 1602 г. принадлежал Голландии.

этого не забыла. И этот голос совсем, совсем не… о, матушка, постарайтесь понять и помогите мне: я не любима, но я владею. И не собираюсь расставаться с моим достоянием. Ее изрытая кожа успокаивает меня на миг, не более. Я не могу выразить этого, просто смутно догадываюсь: некоторые существа самою природою созданы для того, чтобы пленять, пленять всегда, даже когда они внушают отвращение; это я кое-как постигаю, но объяснить не способна. Да и что толку: она-то наверняка знает, что бороться с нею мне не по силам.

Я согласилась на все ее требования. Она займет дом у гавани, который стоял на замке со дня смерти нашей матери, и я верну ей ее «добро» в виде ренты. Лишь об одном прошу вас, матушка: не говорите о сестре с НИМ. Он пойдет к ней, в этом я не сомневаюсь. Но пусть никто не предупредит его о том НИЧТОЖЕСТВЕ, в которое она превратилась нынче. А остальное уж мое дело».

Был ли ответ на это письмо? Я не знаю.

Изабель ушла в сторону гавани, поселилась в доме, и безмолвие сомкнулось над нею — по крайней мере, до возвращения Армана-Мари ван Хаагена.

И, однако, она жила.

* * *

Правду сказать, я не была счастлива в этом доме. Мой отец хотел иметь сына… интересно, что он собирался ему передать, — он в жизни своей ничего не продал, кроме разве флотского сукна, тяжелого, темного. Он был не из тех, кто с нетерпением поджидал возврата кораблей из Индии, груженных разноцветными шелками и пестрыми ситцами. Он торчал за закрытыми ставнями крошечной продымленной каморки, которую гордо именовал «Конторой», хотя одним лишь и занимался там: лелеял свою горечь неудачника. Быть может, сын придал бы ему храбрости, побудив вложить свое золото в морские предприятия, а впрочем, сомневаюсь, — он не любил беспокойства.

Когда я родилась… уф, я и поныне не переношу звука хлопнувшей двери! Нет-нет, он не мешает, — он УЯЗВЛЯЕТ меня. Отец крикнул: «Опять девчонка!» — и вышел, захлопнув дверь с такою силой, что даже каменные плиты пола зазвенели от сотрясения. Ну и, конечно, потом я из него веревки вила. Как, впрочем, и из всех остальных.

Считается, что соблазнить кого-нибудь возможно лишь ценою величайших усилий. Вот

глупости! Некоторые мужчины — самые чванливые, самые грубые — просто-напросто мягкая глина в оболочке из шипов.

Я — БЫЛА. Для него я — БЫЛА. Моя мать и сестра существовали в его глазах не более, чем бледные фаянсовые горшки, в которых хранился золотистый табак разных сортов; отец сам смешивал их. Иногда я думаю, что на мой счет все заблуждались: я не женщина, — во всяком случае, не совсем женщина; я — обманутая мечта моего отца.

Дом окончательно умер с его смертью, и жить там мне теперь будет легче, чем я того опасалась.

Его портрет над лестницей свысока взирает на тех, кто поднимается по ступеням. Я уверена: он презирал всех и вся; презрение — вот единственно сильное чувство, которое мне было известно в нем. И художник тоже почуял и выявил в нем эту черту. Презрение рождается среди человеческой комедии, когда недостает сил сыграть в ней свою роль. Мой отец предпочитал думать, что добровольно сошел со сцены, в то время как он никогда и не всходил не нее. Ладно, это его дело.

Ну а теперь с потолка свисает зеленая бахрома плесени и плесенью же разъедены лестничные

перила. Их дерево превратилось в труху… и он там, наверху, позеленел так же, как потолок и стены, только глаза хранят прежнее выражение.

Мне вспоминается день, когда отец решил повесить этот портрет над верхней лестничной площадкой, там, где он находится и поныне. Это случилось сразу же после моей свадьбы. Маркиз должен был приехать и увезти меня во Францию, и я ждала его. Я знала одно — что я очень красива, остальное лишь смутно угадывалось мною. Главное, я покидала этот суконный мирок, чтобы войти в мир переливчатых шелков и атласа; мещанское благополучие золотых крестиков я меняла на великолепие диадем и бриллиантов. Я обожаю бриллианты.

Мой отец наблюдал за нами, сурово сжав губы; но смотрел он не на мое платье, не на мои украшения, даже не на саму меня. Маркиз всходил по ступеням с высоко поднятой головой; я стояла наверху. В конечном счете, гордыня и равнодушие всегда отыщут верное для себя решение. На следующий же день мой отец запер «Контору», повесил свой портрет над лестницей и с той поры до самой смерти встречал посетителей не иначе как стоя на верхней ступени, одетый в черное и представленный, так сказать, сразу в

двух ипостасях.

Смотри же теперь, старый недоверчивый суконщик, смотри на свою дочь, на ее изуродованное лицо; вряд ли ты еще увидишь ее такою, как нынешним вечером, — сплошь покрытую оспинами и едва подсохшими язвами; похвалите меня, отец, мне остался для презрительных взглядов всего один глаз, но он смотрит зорко, он многое видел и многое оценил верно… ясный день просвечивает сквозь мою пустую глазницу, точно сквозь старую дырявую падаль, но падаль жива и еще заставит вас поплясать, как встарь.

Музыка, правда, уже не та, но вы у меня попляшете!

* * *

Законники из Франции прибыли следом за нею, чтобы заставить вернуть похищенную добычу. Сохранилось несколько писем нотариуса, ведущего дела старшего сына покойного маркиза; тот охотился за бриллиантами больше из ненависти, чем по необходимости. Одно из этих писем — настоящий вопль ужаса, неподдельного, не выразимого в обычных словах; человек, как видно, смертельно напуган, он не говорит об этом прямо, но торопливый сбивчивый почерк подобен

прерывистому дыханию, и я не уверена, что он когда-нибудь вполне оправился от потрясения.

Она сыграла со стряпчим жестокую шутку. Портрет. Ее мало чему учили в детстве, но тем быстрее училась она потом; светская утонченная злость во всем, до нее касающемся, пополнила ее образование лишь несколькими мелкими штрихами, главная же черта — стремление укусить (и жадность здесь — только одна из граней подобного характера!) — родилась вместе с нею, под грохот хлопнувшей двери, похоронивший обманутые надежды ее отца.

Итак, суконщика выдворили с лестницы в чулан, где несколько поколений спустя он был обнаружен стоящим лицом к стене и сплошь покрытым кракелюрами… куда только подевался взгляд, обливавший презрением всех и вся и открывшийся, в день возвращения дочери, навстречу ужасу?! Нынче лицо выражает один только глуповатый испуг, и мне нравится думать, что выражение это легло на него в тот знаменательный вечер, когда Изабель вернулась в отчий дом. Та Изабель, что лишилась присутствия духа в первый и, быть может, в последний раз в жизни, та Изабель, что сорвала с себя платье, прежде чем подняться по ступеням к портрету, одетой в одну

лишь гнойную коросту разрушительной хвори.

Разумеется, она заменила портрет суконщика своим собственным. Теперь он стоит передо мной. Я часто и с удовольствием изучаю его. Она, как и ее отец, одета в черное, но это роскошная чернота, обрамленная золотом, — рыхлый бархат, поглощающий свет. Ее руки, которые оспа пощадила больше, чем лицо, выступают из пышных брабантских кружев четко, как на гравюре. Одна из них сжимает закрытый веер, другая — венок из остролиста. Венок оцарапал кожу и, приглядевшись, можно различить капельку крови у безымянного пальца, украшенного огромным рубином — из тех, что зовут «мертвое сердце».

Тонкая талия, широкие плечи, округлая грудь, стыдливо осененная кружевом, ниспадающим сзади с волос и нежданно-дерзко приоткрывшим взору «кое-что» спереди. Весь облик, одновременно и расплывчатый и резкий, влечет к себе и за собой, возбуждает нездоровый интерес. Вытекший глаз смотрит с призывом довольно низменного толка. Сразу же вспоминается иная женская влага; я хорошо знаю, что сужу пристрастно, однако не мне одной пришлось вздрогнуть от гадливости и, вместе, смутного влечения перед этой ужасной зияющей орбитой.

Разумеется, она легко могла прикрыть ее или вставить искусственный глаз; она этого не сделала. Я повторю: она обладала той изощренной проницательностью, что рождается от бедной (относительно, конечно) жизни, от знания света и всех способов защиты, какими вооружаются против живущих в богатстве.

Другой глаз зряч. Художник, безвестный гений, видно, обожал пустоту: уцелевший глаз смотрит с очень высокой точки, где суждения бессмысленны, бесполезны, ибо там они — лишь отсвет противоположных истин. Стряпчий встретил не Изабель, он встретил ее портрет, который не показывает, но обличает; он заглянул в беспощадно-точное зеркало, и увиденное обожгло его жестоко и навсегда. И стряпчий сбежал; не страх гнал его прочь, а остатки инстинкта самосохранения. Я так полагаю, что он просто спасался бегством. Но это не помогло: тем легче он потом сдастся на милость демонам.

Разумеется, он не объясняет всего этого в письме к законному наследнику, — впечатление слишком свежо, чтобы до конца осмыслить его. Письмо написано по горячим следам, сразу после бегства, — паническое послание, о многом говорящее помимо воли автора. Рассудочные умы

имеют обыкновение складывать и умножать. Они редко прислушиваются к пророчествам, не поддающимся арифметике, и тем лучше. Этот сделал подобную попытку, хотя не думаю, что по доброте душевной.

«Месье, я не смогу продолжать вести это дело. Ваша мачеха приняла меня. Вы поступили неразумно, не предупредив меня. Своим изумлением (нет, более, хуже того!) я дал ей в руки козырь против Вас. Это даже не уродство, это куда хуже.

Только не подумайте, что меня легко разжалобить. Я уже давным-давно недоступен бесполезному сердоболию, но здесь — здесь я оказался беззащитнее младенца.

Вы уже знаете — я предупреждал Вас, — что бриллианты могут сколько угодно считаться частью наследства; тем не менее они неоспоримо принадлежат ей по праву брака с Вашим отцом. Она носила их с первого же дня замужества, и это видели все. Разве могла бы она красоваться в этих бриллиантах, если бы господин маркиз не подарил их ей?! И тот факт, что Ваша матушка носила их, ровно ничего не меняет: маркиз распорядился ими по своему усмотрению постольку, поскольку не передал их вам. Кроме того, я проверил: в брачном контракте Вашей матушки, в

девичестве Буассоньер, нет ни малейшего упоминания о подобном вкладе в приданое.

Эта женщина захватила их и уехала. Следовало предвидеть и предупредить это; никто ничего не сделал. Я знаю: Вас удерживали вдали дела, но разве имели мы право вмешиваться без Вашего приказа?!

Я представил ей Ваши претензии, присовокупив к ним настоятельное требование отказаться от прав на Вервиль. Месье, она расхохоталась. Она стояла там, на маленькой лестничной площадке, перед своим портретом, и разглядывала меня сверху вниз.

Я понял, что смешу ее; скажу Вам прямо: я не привык смешить людей, когда выполняю свои прямые обязанности.

Эта женщина мертва, полностью и окончательно мертва для всего, что делает уязвимыми других; ей нечего более терять. Быть может, Вам и удастся одержать верх в этой борьбе, ведь Вы ненавидите ее, Вы — наследник титула и имущества, Вы вполне являетесь тем, кто вы есть. А это весьма важно. Но только выйдете ли вы целым из схватки? Подумайте об этом хорошенько!»

Что меня поражает, так это независимость тона. В первом письме нотариус рассыпается в

любезностях, учтивостях и медоточивых оборотах, описывая предпринятые шаги, а вслед за ними объясняя отсрочки в решении дела. Изабель без конца откладывала день встречи. Стряпчий полагал, что она боится его, и помянул об этом в своем послании не без угодливости, которая, видно, заменяла ему хребет. Он услаждает слух клиента почтительнейшими словесами, он прямо-таки обволакивает его своей учтивостью: господин маркиз… Ваша светлость… безграничная преданность Вашего покорного слуги…

И вдруг все это рушится. Стряпчий больше не тратит времени на то, что раньше, вероятно, называл туманом слов вокруг туманных надежд; теперь он спешит, он рвется прямо к цели, единственной цели своего письма: предупредить клиента, а самому умыть руки. Коротко сказать, он почти грубо заявляет юному и совсем свежему маркизу (свежему, разумеется, только в смысле недавнего обретения титула!): «Улаживайте свои дела сами, только сперва подумайте, стоит ли игра свеч!»

Не следует усматривать в этой внезапной метаморфозе какое-то особое коварство; в свое первое письмо стряпчий еще вкладывал остатки честности, свойственной слугам закона, живущим

хитростями этого закона; теперь же он вдруг осознал, что здесь его уловки ровно ни к чему не послужат.

С тем же успехом он мог бы и промолчать, ибо адресат не оценил по достоинству этот приступ искренности, который, разумеется, больше не повторился. И все же стряпчего осенил, пусть всего на четверть часа, душевный порыв; на такое судейские не очень-то щедры.

Юный Эктор, однако, заупрямился, и не один только скверный характер тому виной. Не следует забывать, что он — ровесник этой второй супруги своего отца, что она была красива, и что неуклюжее упорство никак нельзя приравнивать к безразличию. Изабель не любила, но и не ненавидела старого маркиза. В подобных случаях объективность тут же окрашивает в радужные тона чисто субъективные цели. И дает простор действию. Итак, пасынок вознамерился броситься в море ненависти, как бросаются в двадцать лет в постель к женщине. Тот век способствовал более раннему и полному созреванию. Двадцать пять лет или около того — это годы расцвета, для Эктора так же, как и для нее. На мой-то взгляд, они слишком даже молоды. Я никак не могу привыкнуть к мысли, что детства в их эпоху не

существовало. Эти двое начали воевать чересчур рано; я употребляю слово «воевать» в буквальном смысле: он и впрямь навязал ей войну; он в буквальном смысле хватался за пистолет, она же сражалась с ним оружием социальных различий. Конечно, такие слова — не из их лексикона, но что это меняет?!

Эктор вспыльчив, напорист, несокрушим; что же до нее, она спокойна, — я хочу сказать, внешне бесстрастна, ведь за ее спиною стоят три-четыре века жестокого порабощения; и если женщины в то время становились королевами только по праву брака с королями, то фактически гораздо чаще царствовали посредством обходных маневров. В этом у них было много общего с Церковью. Да и что тут удивительного, — и там и тут долгополые.

А потом времена меняются. Огненною кометой промчался Лоу[57]; он почти сгорел в пламени катастрофы, но дурные примеры заразительны. Власть мало-помалу уходит из королевских рук, попадая в цепкие лапы практичных буржуа; из

[57] Примечания: 57

Лоу Джон (1671–1727) — шотландский финансист, основавший в 1716 г. первый частный банк во Франции. Банк в результате неосторожного обращения с денежными средствами лопнул, и Лоу вынужден был бежать, оставив финансы Франции в тяжелом состоянии.

явной она становится тайной. Кто из нас может нынче похвастаться знанием истинного обличия того, что нами управляет и что на самом деле есть Его Величество Платежный баланс? Мы — логическое завершение этой деградации мира, мы — лошади, оседланные переобученным ковбоем или вышедшим из тени шпионом; слава Богу, не им назначено прикончить нас.

Но вернемся к нашим птенцам[58], — они ведь не вне сюжета, они-то и есть сюжет. Изабель абсолютно современна, Эктор — отсталый, но типичный представитель аристократии, переживающей свой последний расцвет. Его отец купил Изабель, а его потомки, вместе с гербами и родословным древом, станут продаваться фабрикантам швейных машин. Таких примеров предостаточно. Ну а пока они затеяли старую как мир игру: иди, иди сюда! — говорит паук мухе, Ариадна — своим женихам. Ибо стряпчий, толкая своего хозяина к неподвижной, невесомой добыче, забывает вместе с ним (Эктор-то уж забыл наверняка!) главное: никогда не следует атаковать самку на ее территории!

Они полагают застать ее врасплох, а она дав-

[58] Примечания: 58

Намек на ставшую поговоркой фразу из романа Ф. Рабле «Гаргантюа и Пантагрюэль» — «Вернемся к нашим баранам».

но уже поджидает их. Без особого нетерпения. Смерть хватает именно торопыг; это ею давно усвоено, а она — она хочет жить.

Я не думаю, что стряпчий, даже в эти первые минуты, был вполне свободен от задних мыслей. Он обнаружил в тайниках своей натуры нечто такое, что следовало либо сразу забыть, либо принять навсегда как данность. Первый выбор всегда бывает самым легким, но редко — неизменным. Стряпчий принял решение почти тотчас же, и когда в другом письме, которое также сохранилось, он торопит Эктора, побуждая его действовать, то закрадывается сомнение: а впрямь ли это письмо — второе? Если так, значит, он вернулся на прежнюю дорожку, а это указывает на иные, скрытые процессы, в которые я не верю; короче, когда он подталкивает Эктора перейти от слов к делу, опять являются привычные кудрявые обороты. Настоящая подлость не может позволить себе ни хамской грубости, ни даже обыкновенной вольности стиля. «Господин маркиз, видит Бог, я знаю Вас с колыбели. И это дает мне право сказать Вам: поторопитесь! Чем больше Вы медлите, тем скорее она убедится в Вашей нерешительности, а недавние события показали, что она-то всегда действовала энергично и не раздумывая. Разу-

меется, я нарушаю, как могу, ее покой, без конца шлю ей записки, повестки, все, чем только можно досадить ей в рамках законности, но не мне напоминать Вам, бывалому охотнику, старую присказку: не давай убежать раненому зверю, его смерть будет неизбежной, но бесполезной; к тому же я опасаюсь, что, если Вы промедлите еще, она отыщет какую-нибудь юридическую лазейку, дабы обратить процесс к пользе своей семьи, которая, повторяю, обладает здесь немалым влиянием.

Разумеется, Ваша милость, не мне приказывать Вам скорее завершить дело, — разве я имею на это право?! Но я старый, опытный человек и, памятуя о том, что вот уже три поколения нашей семьи служат Вашей, настоятельно советую Вам: решайтесь!»

И Эктор ринулся (хотя это еще слабо сказано!) в теплое болото, надеясь затравить крупную дичь; тут-то Изабель и прикончила его одним махом. Она запаслась новым оружием, о существовании которого глупец и подозревать не мог. Да и знай он о нем, что толку?! — ведь ему неделя за неделей расписывали беззащитную лань: только пальцем шевельни, и она твоя.

Четверг 17 мая 1787.

Они прислали ко мне Шомона. Он еще не стар, но решимость соотнести выражение своей физиономии с серьезностью возложенной на него миссии отнюдь не молодит его. Зауряднейший человечишка, всего лишь более других привыкший… как бы это выразиться?… скрывать. Скрывать собственное могущество. Но к чему оно служит, это ощущение могущества? Он нотариус, отец его был нотариусом, и дед также. Его хваленое «могущество» зиждется на чужих фамильных состояниях, стало быть, в этом деле корни почти ничего не значат, главное — листва, а листва эта ох как жидковата!

Я хорошо знала его деда — эдакую столетнюю гадюку, — вот кто умел сдерживать и не выпускать наружу собственный яд, особенно, когда исход дела представлялся сомнительным. Он отличался достаточным смирением, чтобы не пускаться в «авантюры». Сыну еще хватило запасов отцовской желчи. Последний представитель этой семейки, кажется, неспособен даже понять, что он уже болтается на веревке и нет ему спасения, этому отродью висельников, мелкобуржуазной шушеры, которая теперь позадирала носы. Кому, как не мне, знать это лучше других?! Итак, я промучила его недельки две, доведя до

кипения на моем огне, и когда он примчался по моей «умоляющей» записке, — после бесчисленных отговорок и откладываний на завтра! — то взлетел по лестнице единым духом. Дед — тот наверняка остался бы внизу, поджидая, пока я сама сойду к нему, вот в чем и состоит разница между ними и вот в чем крылась главная забава. Я не огорчилась бы, найдя его более неподатливым, — тогда сладить с ним было бы потруднее; а какое же удовольствие, когда добыча сама идет в руки?! Я люблю не брать, я люблю отбирать.

Четверг 1 июня 1787.

Не знаю, верно ли он подал мне Эктора. Но какое-то сладостное предчувствие подсказывает, что стряпчий в меру своих сил приукрашивает его, рисуя доверчивым и наивным; хотя, думаю, мой старший пасынок вряд ли способен разглядеть веревочки, на которых его водят другие. Я была бы менее уверена в исходе, имей я дело с его младшим братом, — тот не полагается ни на оружие, ни на Церковь, — только на самого себя. Не так-то это много, но, с другой стороны, бедность весьма способствует ясности суждений.

Шомон без конца докучает мне, и всегда по вечерам. Я больше не доставляю ему удовольствия пугаться при виде меня; принимаю его, конечно,

но теперь уже в «Конторе», садясь напротив, зато пряча лицо в тени; всякий раз он пытается вовлечь меня в бурную дискуссию, чтобы расшевелить и побудить к действию, однако я упорно молчу, я выжидаю.

Он внушает мне легкое отвращение. Временами его длинная постная физиономия вызывает у меня в памяти лицо герцога Сен-Симона[59], когда тот скидывал парик. Герцог смаковал чужое уродство с омерзительным наслаждением, хуже которого я ничего не знаю. Не пойму, какого одобрения ищет нотариус в моем мертвом глазу, да и не желаю понимать. В любом случае, он его не увидит. Когда он явится в следующий раз, я приму его, покрывшись вуалью. И так будет отныне и навсегда.

Суббота 3 июня 1787.

Эктор уже в пути. О, меня никто об этом не уведомлял, просто я сама сделала вывод: вчера Шомон подстерег мою служанку и долго втолковывал ей, что мне следует остерегаться дурных встреч. Хендрикье вернулась домой в полном недоумении от этих боязливых советов. «Он не говорит, а будто слова обсасывает, — заявила

---

[59] Примечания: 59

Герцог де Сен-Симон Луи де Рувруа (1675–1755) — французский писатель, автор «Мемуаров» эпохи царствования Людовика XIV.

она, — не разобрала я, что там за конфеты у него во рту. И от чего это я должна вас оберегать, Господи спаси, вы и так ни с кем не знаетесь».

Хендрикье — простодушная веселая здоровячка. Она явилась в числе нескольких других женщин, когда я дала знать, что ищу служанку для уборки и стряпни. Я не стала прятать от них лицо — еще чего не хватало! — напротив, показалась им в ярком полуденном свете. Мне не нужны обмороки и вопли прислуги, если я вдруг ненароком забуду про вуаль или маску. Все, кто пришли до нее, бледнели и бормотали, что нет, мол, вы сами должны понимать… Я-то их понимала; неужто они думают, что МНЕ удалось привыкнуть?

Ну а Хендрикье спокойно глянула на меня. «Ну-ну, добрый Боженька не обошел вас своею милостью!» — вот и все, что она сказала. Ее гораздо больше интересовал дом, она все обшарила, обнюхала и наконец коротко объявила: «Подходит! Я, знаете ли, больше служанка, чем горничная или камеристка, но, сдается мне, вам еще долго будет не до нарядов».

С тех пор она и служит мне, молчаливая, прямодушная. Напрасно было бы ждать от нее утонченных манер и бесед, она толкует со мною

лишь о простых вещах, — так говорят с малыми детьми. Время от времени, чуть поколебавшись, она добавляет: мадам Изабель. В первый же день она сообщила мне, что знавала моего отца. К этому и добавить нечего: для нее я — только дочь суконщика, и, Господь свидетель, она напоминает мне об этом по любому поводу: попробуй-ка я забыть этот факт, меня живо приведут в чувство. Хендрикье с толку не собьешь.

Она глядит на меня без страха, без отвращения. Я слишком остро чувствую, какое впечатление произвожу на окружающих, чтобы не понимать: мое уродство оставляет ее спокойной. Она считает, что я напрасно живу затворницей, что я слишком редко моюсь и плохо питаюсь. И, наконец, это первый человек в моей жизни, который ничего не ждет от меня, — только дает, несмотря ни на что.

Четверг 8 июня 1787.

Эктор наконец привел в боевую готовность свою «артиллерию», прибыв в город с приспешниками, которые громко бряцали на притихших улочках шпорами и шпагами, дабы заявить о своих воинственных намерениях. Шомон был при них, его втянули против воли в этот почти военный парад. На всякого мудреца довольно

простоты: его лицо, подергиваемое яростным тиком, вдруг явило свой истинный возраст. Ему едва ли тридцать пять лет, он страдает пронырливостью и — в этом я теперь уверена — неуемной жаждой богатства и власти. Мне приятно думать, что я внесла свою лепту в это внезапное преображение: обожаю видеть, как люди гибнут ПОСЛЕ того, как я прошла по их жизни!

Они долго колотили в дверь, требуя, чтобы им отворили. Хендрикье улыбнулась мне: вот они, дурные-то встречи! Совсем рехнулись, олухи непотребные! Я объяснила, что Эктор — маркиз, командует полком в армии Его Величества Короля и живет по законам военного времени. Она рассмеялась. Для нее власть всегда означала меркантильное правительство прежней Лиги да не менее торгашеское господство тех, чья молодость пришлась на годы между Вильгельмом V и штадтхоудатом; что перед ними Эктор, этот молокосос, распаленный шумом, который сам же и поднял! Она отворила слуховое оконце: «Эй, ты, рвань наемная, ишь залил зенки, а ну убирайся отсюда подальше!»

Я слышала, как Шомон со злорадной точностью переводит маркизу: «Монсеньор, она принимает вас за пьяного ландскнехта».

Хендрикье же, абсолютно нечувствительная к переполоху, отправилась за деревянной лоханью:

— Пойду-ка я приготовлю вам баню, нынче самое время, помоетесь да и забудете про весь этот содом.

И все то время, что она опрокидывала в лохань полные ведра мыльной воды, не заботясь о том, что заливает плиточный пол, помогала мне скидывать платье и белье, а потом забраться в лохань, те, снаружи, продолжали барабанить в дверь, галдеть и браниться.

Я даже заплакала, до того нежной показалась мне вода после долгих дней выздоровления. Хендрикье сдирала с меня засохшие струпья, приговаривая: «Ну-ну, будет вам кручиниться, не такая уж вы страшная. Гляньте-ка на себя, — ничего особенного, я видала и похуже».

Она-то, может, и видала…

Я вдруг спохватилась: «Ты знаешь, что это заразно?» Она пожала плечами: «Не беспокойтесь, все уже подсохло, теперь не опасно. Невредно было бы отмыть вас пораньше, моя красавица, а то вы уже вонять начали».

Я рывком повернула Хендрикье к себе; лицо ее было, как всегда, безмятежно и гладко.

— Никогда больше не говори так!

— Что вы воняете?

— Нет, другое.

— А что я еще такого сказала?

Что же она почуяла во мне, если я не отталкиваю, а даже привлекаю ее? Неужто она и впрямь не замечает моего уродства?

Пятница 9 июня 1787.

Они так растревожили окрестных жителей, что соседи побежали за городской стражей; в результате шуму только прибавилось.

Эктор так и не уразумел, что король Франции — король только у себя дома, особенно после Утрехта[60]. А Голландия уже так давно господствует на морях, что ей вовсе нет нужды заискивать перед наследниками французской короны, особенно, когда она связана с ними разорительными для Франции договорами.

И воцарилось спокойствие, лишь временами нарушаемое возгласами ночных сторожей да звоном колоколов, что ни ночь ведущих перекличку над сонными водами гавани.

И я тоже успокоилась; я помогла Хендрикье

---

[60] Примечания: 60

В 1577 г. в результате невыгодного для Франции Утрехтского договора был создан союз семи провинций или республик, входящих в единое государство — Голландию.

вынести ведра, а потом мы заговорили о жизни, глядя на радужную мыльную пену в мелких черных лужах у порога. Кто бы определил, глядя, как мы, две кумушки, болтаем в дверях дома, которая из нас служанка, которая — госпожа? Наконец Хендрикье заперла двери и тихонько сказала: «Завтра займусь вашей прической». И, клянусь, я ровно ничего не почувствовала, когда ответила, что гребню тут делать нечего, скорее понадобится нож, чтобы разделать на части этот слипшийся кокон из сальных волос, которые оспа милостиво оставила мне, навсегда отняв красоту.

Я пошла спать. Когда я поднималась по лестнице, Хендрикье подбоченясь стояла и глядела мне вслед, руки у нее еще были мокрые, она крикнула: «Ладно, коли уж я за вас взялась, пойду-ка выброшу ваше исподнее, а то оно словно со срамной девки!» Я не ответила; странно мне было думать о том, что настало время беречь деньги и ничего не выбрасывать.

Кажется, я раскусила Хендрикье и мне нетрудно будет прибрать ее к рукам. Но хочется ли мне причинить ей зло?

Воскресенье 11 июня 1787.

Умиротворение снизошло на меня, сама не знаю отчего.

Целое утро над моей головой стрекочут ножницы. Некогда белокурые пряди устилают плиты пола. Хендрикье суетится вокруг меня, состригая все больше и больше и приговаривая, что мне повезло: голова у меня круглая, как ядро.

Я больше не пытаюсь заткнуть ей рот, запретить некоторые слова; теперь я поняла: для нее красота и везение заключаются единственно в здоровье. Она находит меня сильной и крепкой: «Ваш батюшка был точно такой же, и плечи у него были могутные; голову дам на отсечение, что свои, а не накладные». По утрам, помогая мне одеваться, она трогала мои груди, оценивая взглядом их тяжесть: «Молока у вас будет вдосталь, это я вам верно говорю!» О Боже, для какого младенца и от какого мужчины; неужто сыщется такой полоумный, что захочет меня — теперешнюю?! Она пожимает плечами: «Разве я вам о любви толкую?»

Потом Хендрикье прилаживает мне на голову беленький чепчик, туго обхватывающий лоб, и, очень довольная, хохочет: «А ну, гляньте-ка на себя, — монашка, как есть монашка!» Но я не могу. Я уже видела себя в зеркале моей сестры; этого мне хватит на десять тысяч лет вперед. Нет, больше я на себя смотреть не стану, довольно,

налюбовалась. Тогда она треплет меня по щеке: «Ничего, бедняжка вы моя, вам еще захочется глянуть в зеркало!» — и уходит к себе в кухню.

Эктор все еще откладывает встречу со мной. Да знает ли он сам, чего добивался тем ночным скандалом? Верно, просто перепились до бесчувствия.

Стряпчий прислал мне записку — с предосторожностями, коих ее содержание отнюдь не стоило. Кого он надеется обмануть? Он больше не таит своих намерений. Прошло то время, когда он скрывал свой выбор, метался меж двух огней. Отныне он взял мою сторону, и это для меня неожиданность. Теперь вот еще и письмо. Хотя осмотрительность и не позволила ему подписаться.

Эктор как будто колеблется и тянет время. Живя в Вервиле, я держала крестьян-арендаторов в ежовых рукавицах, притом что каждый из них воображал, будто именно его-то и удостоили бархатных. Эктор знает, что, несмотря на все мои труды, вложенные в это имение, я не захочу туда возвращаться, и начинает потихоньку спекулировать на всем, что может отвратить меня от такого шага. Эктор не обладает здравым смыслом, всегда был им обделен, так же как и умением

считать деньги. Он даже не представляет себе, во сколько станет ему мой окончательный отказ от прав на Вервиль. Да знает ли он, на каких условиях сдают фермы в аренду? Известно ли ему, что скот не гонят на пастбище мечом и саблей? И что рубка леса — это не разграбление захваченного города? Однако Эктор не настолько глуп, чтобы вовсе не предвидеть трудностей. Шомон разъясняет причину его колебаний, добавив к сему: «Бейтесь смело, он разорен. Не Вами, но той страстью к оружию, что гонит его от поражения к поражению, от разгрома к разгрому, где он всякий раз оставляет добрую часть своего состояния. Он вверил свою честь полку, и полку незадачливому. Вот так обстоят дела. Требуйте настойчивее, и Вы сохраните Вервиль, куда однажды вернетесь. А до тех пор я заменю Вас там и поведу Ваши дела. Разумеется, если Ваша Милость соблаговолит доверить их мне».

Ага, вот в чем суть! Этого человечишку насквозь видно.

Я прочла его письмо Хендрикье, и она возвела глаза к небу: «Ну, не говорила ли я вам, что он обсасывает слова, как конфеты?! Только нынче-то конфетки от дьявола, не отравиться бы бедняге».

Эктор не единственный, кто вертится вокруг

нашего дома. Однажды рано поутру, пока я еще спала, пожаловала моя сестрица. И прямо с порога принялась язвить: сразу, мол, видно, что я не озабочена добыванием хлеба насущного! — хотя втайне, видимо, осталась довольна тем, что не столкнулась со мною лицом к лицу.

Мадлен привезла мой девический клавесин. Пока ее слуги топтались с инструментом на улице, она решительно ворвалась в «Контору» (Я бы не вошла столь смело к ней в дом!) и выбрала простенок между двумя окнами, куда и водворили маленький инструмент. Все свершилось в мгновение ока; Хендрикье и охнуть не успела, как госпожа и слуги отбыли в экипаже, оставив вместо себя лишь конский навоз на мостовой.

Мадлен расчетлива, как всегда; но я что-то не пойму, какую цель преследовала она нынче.

Я солгала бы, сказав, что «подарок» этот не обрадовал меня. Я принялась играть, и тотчас старые мелодии навеяли старые мечты. Верхние ноты звучат слегка фальшиво, но это пустяки.

Хендрикье присела послушать, всплакнула, и я поняла, что у нее доброе, нежное сердце.

А не поздно ли мне учиться проявлять интерес к другим?

* * *

Конечно, время, так медленно текущее для нее, несется быстрее ветра, когда воссоздаешь ее историю в нескольких фразах. И вот однажды Эктор, помягчев после недолгого раздумья, а может, и после голландского пива, к коему, говорят, он сильно пристрастился, стучит в ее дверь и просит об аудиенции. Именно просит, и как нельзя более вежливо, — так, по крайней мере, мне кажется. Хорошее воспитание того века выражалось главным образом в церемонных реверансах и приветствиях. Но ратные доспехи, в отличие от черепашьих панцирей, не растут вместе со слабостями своих владельцев, а лопаются по швам.

Судя по тому, что известно об умственных способностях Эктора, — а известно это по одной фразе, которую он якобы бросил в адрес проходившей мимо Дюбарри, — он глуп, как тридцать шесть Адонисов[61] вместе взятых. Смазливое личико, белокурые волосы, голубые глаза с поволокой, тело, томимое смутными, самому ему

[61] Примечания: 61

Дюбарри Жанна (1743–1798) — фаворитка Людовика XV. Гильотинирована во время Великой французской революции. Адонис — согласно греческой мифологии, юный красавец, любимый богиней Афродитой.

непонятными желаниями… Все это чревато обильными неприятностями.

«Фаворитка, — возглашает он во всеуслышанье, — выражается лучше всего, когда молчит». Но этого ему мало, он хочет воткнуть шпильку поглубже и добавляет: «И когда лежит». Ну и что же, как вы думаете, он делает вслед за подобными словами? Как баран (или — таран?) ломится за графиней в открытые двери и добивается-таки, что ему защемляют створками пальцы; поистине Эктор не создан для двора.

По правде говоря, мне никак не понять, для чего же именно он создан (ведь я размышляю над этим два века спустя). Он исполнен грубой спеси и воинственного пыла; бесполезно требовать тонкого ума от того, кто привык бряцать оружием. Солдаты обожают его; он бросает их в дерзкие вылазки и атаки, а поскольку в военной стратегии он смыслит не более, чем в обычной жизни, то постоянно проигрывает битвы и теряет людей. Мало-помалу эта печальная репутация становится общеизвестной и вынуждает его набирать в полк все больше и больше наемников. Как раз в тот, избранный мною момент он только-только вступил в права наследства и теперь тратит его на покрытие долгов. Вдобавок он разоряется на

содержание своего полка: солдат нужно кормить, солдатам нужно платить. Вообще-то Эктор опоздал родиться, ему больше подошел бы другой век и другой король. Людовик XV был старым развратником, Людовик XVI предпочитает звону мечей звон ключей[62]. Эктор же создан для того, чтобы поладить с Франциском (и геройски погибнуть под Павией[63]). В пылу сражения, разумеется. И тот факт, что он игрок, не усложняет, а лишь уточняет его характер: он любит проигрыш.

У меня есть два его портрета, из коих один, словесный, принадлежит перу самой Изабель. Второй — миниатюра; до чего же удивительны эти сокровища, разысканные в бабушкиных сундуках! Увы! Что значат какие-нибудь две дюжины медальонов, гравюр, акварелей и рисунков пером — свидетельств двухвековой семейной генеалогии — перед пулеметной скоростью фотоаппарата?! В наши дни снимки одного только поколения способны заполнить две дюжины обувных коробок… ну так вот, на миниатюре

---

[62] Примечания: 62

Король Людовик XVI увлекался изготовлением дверных замков и ключей.

[63] Примечания: 63

Франциск I (1494–1547) — король Франции, потерпел поражение в бою против испанского императора Карла при городе Павия в 1525 г.

Эктор изображен эдаким пухлым купидончиком с пышными кудрями, гордо отринувшими парик. Он белокур, как я уже говорила, и смазлив; жеманно сжатые губки черны, как вишни, но не возбуждают желания попробовать их на вкус. Широко распахнутые глаза таят одну лишь пустоту — такую бездонную пустоту, что даже ему самому невдомек, насколько она мрачна. При Генрихе III он творил бы чудеса; говоря «при», я имею в виду не царствование, а самого короля[64]. Изабель пишет об этом — и ниже читатель узнает, в чем дело, — с иронией принцессы Палатинской, вышедшей из объятий Монсеньора[65].

Поражает меня в этом лице из романов Скюдери[66] полное отсутствие следов возраста; Эктору словно раз и навсегда двадцать лет, и трудно представить себе, что он — и он тоже! — доживет до старости после того, как сделает попытку про-

---

[64] Примечания: 64

Король Генрих III (1551–1589) был известен гомосексуальными наклонностями и держал при себе фаворитов — «миньонов».

[65] Примечания: 65

Имеется в виду Анна Гонзаго (1616–1684). Желая спастись от пострижения в монахини, обольстила Генриха Гиза, архиепископа Реймсского, который и помог ей выйти из монастыря. Известна под именем принцессы или княгини Палатинской.

[66] Примечания: 66

Скюдери Мадлен де (1607–1684) — французская писательница, автор назидательно-галантных романов.

даться, вместе с полком, англичанам, которые ответят отказом, а затем укроет свою все более и более аристократическую нищету в Польше. Эти черты, застывшие в вечной молодости, смущают, точно восковая маска.

Итак, он стучится в дверь, и его принимают. Когда он выходит из этого дома, он уже знает, для каких бездонных глубин был создан; а еще он знает, что навсегда лишился прав на Вервиль.

* * *

Воскресенье 18 июня 1787.

Хендрикье даже слушать меня не пожелала, она напялила мне на голову чепчик, закутала в теплый, не по сезону, плащ, и мы медленным шагом пошли бродить по городу. Она вела меня за руку. Я мельком подумала о Виктории, моей парижской камеристке, — той самой Виктории, чью непорочность я сгубила, преподав ей любовь к наслаждению — увы, довольно быстролетному, ибо хорошие ученики всегда усваивают предмет слишком быстро для тех, кому нравится наставлять.

Погода стояла чудесная, ветерок доносил из гавани запахи ракушек, зеленых водорослей, горько-соленой воды и рыбьей чешуи. В небе

легко и радостно парили чайки. Парить, летать… я вновь стала маленькой девочкой, уцепившейся за руку дяди Оскара на причалах старой Компании. Все те же большущие корабли со скатанными парусами смирно стояли в хлюпающей водице доков, все так же дрожали и прогибались сходни под ногами грузчиков, таскавших тяжелые тюки. Ничто не изменилось… О нет, изменилось: детство ушло…

— Ну вот вы и разрумянились чуток, мадам Изабель. Надобно пользоваться солнышком, не больно-то часто оно греет зимой.

Разрумянилась… встречные прохожие и не глядели на нас.

Хендрикье потащила было меня в церковь, но тут уж я твердо сказала «нет». И вернулась домой одна, предоставив ей молиться за меня сколько душе угодно. Мне нет нужды ни восхвалять кого-то, ни выпрашивать что бы то ни было. К тому же Господь Бог знает один лишь ответ — громы небесные. Я ни разу не удостоилась Его милостей, да и другим не много перепало, так с какой же стати мне почитать Его? Знаю, что говорят обо мне (если вообще говорят): ее Бог наказал. А я так полагаю, что у Него есть заботы поважнее, чем ошибаться дверью и карать невинного, да и

по моей ли жизни судить о Его делах?! Все было мне назначено судьбою — как и любому другому. Отчего я обойдена любовью, отчего красота женщин, если они бедны, становится ножом, безжалостно раздирающим их сердца? «Ваш батюшка любил вас», — твердит Хендрикье. На самом же деле она говорит не о любви, другое она пытается высказать: «Он гордился вами». В ее понимании это одно и то же. В моем — нет.

Моя сестра обладает тысячью достоинств, которые мне самой и не снились; она ДОБРОДЕТЕЛЬНА — вот наиболее емкое слово, позволяющее скрыть нехватку всех других слов; бедняжка Мадлен — обыкновенное ничтожество, воплощенное почтение к самым неудобным формам жизни. Ею мой отец НЕ ГОРДИЛСЯ… что не помешало ему продать меня, а на вырученные деньги купить ей мужа. Мужа!

Старый маркиз тоже «любил» меня: любил вывозить в свет, любил осыпать драгоценностями, прогуливаться со мною под ручку перед всякими молокососами. Ему уже не требовалось похваляться другими богатствами: я была его живым золотом, его теплым бриллиантом, юностью, заключенной в роскошную оправу его маркизата… Правда, я обманула его надежды на

потомство, так мне говорили. Но я в это не верю. У него уже было три сына, а потом, носи я в чреве ребенка, разве смог бы он так забавляться мною, как делал это?!

И я об этом не жалею. Я ни о чем не жалею, даже о своей оспе, даже о мокрой дыре на месте левого глаза. Я была блистательна, теперь я — ничто. Мне знакомы люди, которые никогда и ничем не блистали, а зависть — это добродетель БЕЗДОХОДНАЯ, не правда ли, сестрица?

Иногда мне становится жаль Мадлен. Мы могли бы попытаться понять друг дружку. Но нет. Что она, что я — обе мы пленницы противоположных убеждений. Я всегда ощущала себя красавицей, она всегда видела себя дурнушкой, и никому, даже мне самой, в голову не пришло подсказать ей иную истину. О том, что она попросту заурядна. Но разве это мешает жить? Хендрикье, например, такова, — да нет, хуже, она проста. Но кто об этом горюет? Она горяча, как вафля, вынутая из печи, она разукрашивает вещи и явления вкусными словами, словно торт глазурью покрывает, такое никогда не приедается. Мадлен же навеки оцепенела под взглядом торговца сукном, который говорил ей: «Уйди с глаз долой, видеть тебя не хочу!» Мне он говорил то же самое, но СМЕЯСЬ. И

Мадлен страдала…

* * *

Я люблю те минуты одиночества, которые она оставляет себе, чтобы оглянуться на прошлое. В ее речах нет горечи, — есть жесткость. Она не обвиняет ни судьбу, ни Бога, ни Дьявола, — она сухо констатирует факты. Это прагматическая натура, не пожелавшая сотворить для себя ад из сожалений и угрызений совести; она просто говорит: было так-то, и делает выводы. Холодно, спокойно. Даже если временами страсть лишает ее обычного самообладания (когда я пишу «страсть», то на самом деле разумею под этим совсем иное — жизненную силу), она ни на минуту не упускает из виду, что жизнь не проживают, «как получится», иначе та превращается в жалкое прозябание. Изабель же — бурлит. Но не взрывается.

Впрочем, иногда и взрывается — это когда она любит.

Но об этом речь впереди.

* * *

Как я понимаю, Изабель начала размышлять по-настоящему современно (то есть по-нашему) о

месте женщины в ее обществе лишь после визита Эктора. Она сама приняла его; Хендрикье ушла в церковь или еще куда-то, какая разница. Главное-то в другом: она оказалась ОДНА, наедине с ним.

Сперва она не открывала; он стучал в дверь дома, а она тем временем сидела в «Конторе» за клавесином, изливая свою горечь в музыке. Но ей мало чужих мелодий, и она сочиняет сама, — ведь столько еще не высказано, и могут ли тягаться с ее чувствами мелкие любовные огорчения, разлуки и услады, запечатленные в воздухе и воздушных ариях того века! И голос ее, вылетая из растворенных окон, пронизывал летнюю жару сладкой грустью, непривычной этому времени года.

Зачарованный странной музыкой, Эктор понял, что его не слышат, подобрался к окну и, прислонясь к стене, весь обратился в слух. Прохожие замедляли шаги, с любопытством поглядывая на пришельца во французской одежде, который не орал и не буянил, как намедни, а недвижно подпирал стенку, словно окаменел от удивления. Доныне Эктор желал знать об Изабель только одно: она настраивала против НЕГО отца. Теперь же его глупенькую душу всколыхнуло невыразимое волнение, он даже вытащил платок. Ох уж этот их

притворно чувствительный век! — он так охотно проливал слезы над несчастьями ближнего, тем самым освобождая себя от обязанности искать им лекарство! Я, как огня, боюсь людей такого сорта; их «хрупкая» оболочка надежно оберегает их душу от глубоких ран, защищает почти от всего, что несет горе окружающим. Дождавшись паузы (такие пустоты нередко перемежают горестные песнопения), Эктор стучится в окно. Изабель оборачивается, и оба они, по ту и по эту сторону стекла, застывают от изумления. Потрясенный взгляд Эктора сказал Изабель больше, чем любое зеркало.

Она отворила дверь. Он вошел и последовал за ней по пятам вверх по лестнице. Один за другим они вошли в большую светлую комнату, где Изабель обычно проводила большую часть дня.

Я, конечно, фантазирую, в ее дневнике ничего подобного нет, но сцена должна начаться именно так, иначе непонятно было бы продолжение. Стоя в этой комнате, выходящей окнами на сухой док, где суда кажут взору обнаженные днища, как всегда в таком месте (и док, и дом сохранились поныне, только вот шхуны больше не бороздят воды Индийского океана, а превратились в прогулочные суденышки — нелепые, неуместные

на фоне индустриального гиганта, каким стал Роттердам после Второй мировой войны), итак, стоя в этой комнате, обставленной потемневшей мебелью и таящей суровые тени в складках синих бархатных портьер, они глядят друг на друга. Никто никогда не узнает, о чем в тот миг думал Эктор. Может, и ни о чем. Он-то ведь не оставил письменных свидетельств своих приключений, о нем расказыва-ют только другие.

Он не потребовал у нее драгоценности, они начисто вылетели у него из головы. При виде этой женщины в белом чепчике, с ужасными отметинами оспы на лице, похоронившими былую, памятную ему красоту, он просто окаменел. Все, что он впитал чуть ли не с молоком матери, — учтивость, лживость, светское лицемерие, даже страсть к злословию, заменявшему удар шпаги и способному в какие-нибудь три месяца загубить жизнь человека, — все это здесь оказалось неуместно. Совершенно неуместно. Почти суеверный ужас сковал ему уста.

Потом они обсудили вопрос о Вервиле. Очень коротко. На все его претензии Изабель отвечала мягким «нет». Уж не знаю, как они величали друг друга: в литературе тех времен даже пасторальные пастушки пользуются слащавеньким «вы».

А какие слова идут в ход, когда общество вас не слышит?.. Или же они, изливая свою ярость, все же соблюдали внешние приличия? Кто нам скажет?..

Во всяком случае, сильно сомневаюсь, что он сохранил надежду на успех, невзирая на меморандум, который держал в кармане и собирался изложить ей строго по пунктам:

1. Вервиль принадлежит их семье вот уже два столетия.

2. Вервиль принадлежит их семье, потому что они выиграли процесс против нее.

3. Вервиль принадлежит их семье, потому что они сыновья своего отца.

4. Вервиль принадлежит Е, потому что он так хочет.

Что она ответила на это? Что Вервиль больше не является частью его наследства, ибо, согласно брачному контракту, маркиз продал замок ее отцу? Вполне вероятно; вдобавок, она сказала бы чистую правду, — старый суконщик был ведь не дурак, он никогда не отдавал свое добро задаром. Маркиз решил самолично распорядиться своим маркизатом и продал его. Я даже отыскала купчую с ценой, которую он выручил за Вервиль. По сути, Изабель досталась ему в придачу к со-

лидной сумме, — прекрасное деревце скрывало собою густой лес. Ибо суконщик знал жизнь. Он хотел обеспечить своей горячо любимой дочери надежное место под солнцем. А тут еще вдобавок и титул. Что ж, тем лучше. И Изабель тоже начала любить Вервиль и твердо положила оставить его за собою даже после бегства.

Вот он — самый простой из контраргументов, единственный, который тотчас дошел до сознания Эктора. И тут его обуяла ярость.

Бывают такие места или такие вещи, коим придают величайшее значение без всякой связи с их реальной ценностью. Если хорошенько подумать, Вервиль, вконец запущенный до замужества Изабель, тот Вервиль почти ничего не стоил в сравнении с ее драгоценностями, но он стал первой в ее жизни СОБСТВЕННОСТЬЮ, и она подняла дом из руин, потратив на него уйму времени и целое состояние. Вервиль был разорен и разрушен, ей и отдали-то его именно по причине полной непригодности для жилья; она вложила в него пять лет жизни (пять лет тайны, ибо кто может сказать, что укрывала она в этих стенах? — все думают об «опасных связях»…), непрестанно требовала у аркиза денег и людей и все это вкладывала в Вервиль. Вервиль

стал ее вещью, ее работой, ее творением. Она, быть может, так не думала, — но я так думаю за нее. Попробуйте-ка вырвать у меня из рук МОЙ деревенский дом, и вы увидите, как цепляются за жилище, созданное собственными тяжкими трудами. Изабель не зря была дочерью суконщика, а я не зря одна из ее потомков.

Эктор же питает к Вервилю чисто сентиментальную привязанность. Он там жил, он там играл ребенком, его мать умерла там.

Свою родину любят и за меньшее, особенно когда чувствительность сердца гнездится в пустом сердце. И хотя он смутно понимает, что в его руках солдафона и гуляки Вервиль продержится не долее, чем все остальное, ему наплевать: Вервиль принадлежит Е! Он выкрикивает это во всю глотку, он орет, вопит, вскакивает, подбегает к Изабель, размахивается…

И вот тут-то ад и поглотил его. Внезапно Эктор вцепляется в эту притаившуюся в углу, побитую оспой тень с изуродованным лицом, раздирает на ней бархат платья и батист белья, оголяет ее. Чего он хочет — просто вынудить показать то, что она столько месяцев скрывает от самой себя, обнажить ее несчастное жалкое тело, сжигаемое огненным темпераментом? Но этот огонь охва-

тывает и его. В комнате, выходящей на север, тонущей в холодном полумраке подкравшихся сумерек, тело Изабель — всего лишь силуэт, но этот силуэт — красив. И Эктор забывает обо всем на свете — об оспе, о пустой глазнице, даже о Вервиле; он срывает с себя дурацкие тряпки с кружевами — последний оплот аристократического воспитания, — он швыряет Изабель на пол, он овладевает ею.

А Изабель не сопротивляется. Она так и пишет: «Я не позвала на помощь, я не испугалась, я и пальцем не шевельнула, чтобы остановить его, напротив. Я только все время думала: ты об этом будешь вспоминать всю свою жизнь, мой мальчик!»

Старый маркиз был тайным, но страстным любителем шлюх и он позволил себе роскошь преподать их привычки своей юной маркизе, которая и побаловала Эктора всем, чем услаждала его отца задолго до сына — «этого бычка, который вскакивает на телок… или на их пастухов, если я верно распознала его вкусы».

Да и где ж ему было выучиться чему-то другому?! «Теперь-то он выучился, теперь он многое узнал о своем папаше и его причудах; я ему передала хорошенький привет от отца, вместе с

рекомендациями».

Все, что можно сотворить с телом, из тела, для или против тела, этот недоумок, чувствующий себя мужчиной лишь по определению да под защитой шпаги (не плеоназм ли это?)[67], этот грубый скот познал на груди Изабель. «Сегодня я преподала тебе науку любви, и тебя от нее воротит, и ты к этому вернешься…» Эктор де Мертей, ставший маркизом благодаря усопшему отцу, так никогда и не кончил искать то, что узнал в себе, и бежать от того, чего предпочел бы не узнать вовсе. «Ты меня выставил голой перед тобою, — до такого зеркала мне дела нет. Я тебя поставила перед моим, и оно не забудет того, что увидело».

Даже опьяненная злорадным ликованием, она не теряет обычной зоркости. «Малый удрал так поспешно, как удирают те, кому не терпится остаться, — одеваясь на ходу, прыгая со ступеньки на ступеньку в спущенных штанах. Его лицо молодого старичка исказила безобразная гримаса звериной жестокости, еще не остывшая судорога сладострастия». Изабель гордо добавляет: «Я уродлива совсем по-иному».

«На пороге он обернулся. Я еще была голой;

[67] Примечания: 67

Плеоназм — употребление слов, излишних для смысловой полноты высказывания.

мне вдруг явилась мысль: хорошо бы ходить так с утра до вечера, ничего не скрывая — в первую очередь от себя самой.

Эктор не вымолвил ни слова. Мужчина, если уж он боязлив в душе, прежде всего боится собственных поступков. Эктор стоял в светлом дверном проеме, сгорая от желания вновь взбежать, взобраться, вскарабкаться по ступеням, добраться до меня и еще, и еще раз повторить все с самого начала… воистину, яблоко от яблони… что отец, что сын. Но он этого не сделал. Уже его взгляд обшаривал улицу, подстерегая возвращение служанки, уже завладел его мыслями трезвый расчет. Стоит мужчине начать дрожать за свою репутацию, как он человек конченый. Мне незачем заботиться о своей чести — этот хвастаться не станет».

Временами я смутно представляю себе, как медленно, но верно посвящались юные существа в те обычаи, что приводили их к постели. И сопровождалось это обучение множеством уловок и интриг, умело замаскированных такими хорошими, такими благородными манерами…

Когда Хендрикье и ей подобные хотят скрыть свои мысли, они молчат. Высшее же общество

— Сен-Жерменское предместье[68], двор с его знатью, подчиненной окаменелому светскому этикету, — это общество говорит. Чересчур много. Оно прячется за словами, вместо того чтобы довольствоваться молчанием (правда, соблазн также пользуется неподвижностью, но по-иному) и, разумеется, чаще всего оно бывает доступно пониманию или, вернее, толкованию именно тогда, когда окутывается туманом привычных речей и церемоний.

За Эктором захлопывается дверь. Что же — бросается ли он в ночь, чтобы затеряться в ней? Нет, он бежит в таверны, но не там суждено ему обрести интерес в чужих глазах, не там исполнится он значительности, которой от него не ждали. К этому мы еще вернемся. А пока меня больше занимает Изабель; я слежу за нею, и мне нравятся ее движения и поступки, все, что она делает.

Изабель осталась одна; не дожидаясь прихода Хендрикье, она выходит во дворик, разжигает маленькую жаровню, на которой греют воду, наполняет чан, черпая кувшином из водоема, хлопочет. Ее мысли заняты лишь тем, что она делает в данный момент, укрывшись в этом уют-

---

[68] Примечания: 68

Имеется в виду Сен-Жерменское предместье, резиденция многих французских королей и высшей знати.

ном мирке привычных занятий. Так ли уж я в этом уверена? Ход дела нарушает ход мыслей, но не изгоняет их.

Почти десять лет Изабель совершала свой туалет с помощью слуг. Нынче она возвращается в пору своего детства — скромного, мещанского, чистоплотного детства людей, имеющих деньги, но не привыкших широко тратиться. И эти люди не просто смывали с себя грязь, они священнодействовали. Во времена молодости Корнелиуса Каппеля, суконщика, горожанки ходили в «мыльни»; там натирались они пухлыми растительными губками, какие можно видеть уже на гравюрах Дюрера, и не стеснялись обнажать при этом мощные бедра и обвисшие от частых беременностей животы — скрытую гордость приносивших ПОЛЬЗУ, ЧЕСТНО послуживших тел.

И вот Изабель моется, как в те стародавние годы; парится в обжигающе-горячей воде, которая очищает ее от ненужных воспоминаний. В своем дневнике она записала одно наблюдение, чреватое многими открытиями как в одном, так и в другом смысле: «Если вникнуть, Эктор — тот же

Вальмон[69], только что глупый, — вполне идет в ногу со своим временем; Мертей принадлежал к другому, но и старика забавлял больше процесс развращения, нежели собственно разврат. Все эти люди — бездушные сладострастники. А я расплачиваюсь за них и за себя, ибо ошибочно полагала, что, приобщаясь к их нравам, становлюсь полноправным членом их общества».

Вернувшаяся Хендрикье застает ее в голубоватой мыльной воде; Изабель спокойно приказывает ей: «А ну-ка потри мне спину».

Беседуют ли они друг с дружкой откровеннее, чем прежде? Вряд ли, — Изабель явно не расположена признаваться, что над ее телом совершено насилие и что ей удалось взломать последние запоры мелкой мужской душонки, падкой на запах серы. А впрочем, откуда мне знать?! Ее вдруг, ни с того ни с сего, одолевают такие неистовые приступы откровенности! Когда я думаю об этой женщине, мне всегда вспоминается головоломка, которую мне подарили в детстве, — с намерением научить секрету Секрета, — круглый шершавый коричневый шарик размером с орех; он так уютно ложился в ладонь, так идеально умещался в

[69] Примечания: 69
Вальмон — герой романа «Опасные связи».

ней — легонький, почти мягкий на ощупь. Шарик раскрывался: немало времени потратила я на то, чтобы отыскать тот невидимый глазу «сезам», который управлял им. Я и сама видела тайну повсюду вокруг себя: люблю такие вот замкнутые предметы, которые не доверяются первому встречному.

Вторая загадка шарика таилась внутри: среди бледно-розовых кристалликов покоилась непрозрачная, также полая сердцевина; при желании можно было раскрыть и ее. Эта головоломка в головоломке, что же она так упорно прятала от нас?

Вот и Изабель устроена подобным же образом — женщина в другой, а та, в свою очередь… и сколько же времени просуществуют они все в этой Изабель с ее быстрым пером, беспощадным даже к себе самой?

Прежняя красавица Изабель — та, что гордилась своей красотой и выгодно торговала предметом своей гордости; нынешняя Изабель — кривая и рябая, которая еще ничего не забыла, но ни о чем и не жалеет; наконец, будущая Изабель, Изабель, узнавшая жизнь и то, что бывает ПОСЛЕ жизни, Изабель, которую юный болван взял силой, воображая, будто берет «вопреки»,

тогда как овладел ею «из-за»…

Да, лица суть глухие стены, сквозь которые мне хотелось бы пробиться к истине. Но не будем обольщаться: я выбрала стену по имени Изабель именно потому, что главная брешь была в ней уже пробита.

* * *

Лето уже испускает дух. На рассвете седое марево ползет с моря на берег, окутывая легкой дымкой порт и его причалы; в этом тумане грустными призраками блуждают прохожие.

Я отворяю окна не раньше полудня. Интересно, каковы будут морозы в этом мглистом гнезде, где сама жизнь, чудится мне, задыхается от нехватки воздуха.

Вчера приходила Мадлен; Хендрикье впустила ее, и я слышала, как они болтают внизу, у лестницы, сокрушаясь по поводу осенней сырости, к которой нипочем не привыкнуть. Голос моей сестры звучал спокойно, и я тотчас поняла, что вернулся ее муж. Она ведь как все женщины: мужское желание ублаготворяет ее. Ну а я спокойна на свой лад — предстояние пустоте к волнениям не располагает.

На пороге моей комнаты она остановилась,

пораженная. Северную стену занимало огромное, как у нее в доме, зеркало. Та, что стоит перед ним в тусклом свете, сочащемся из окон с мелкими переплетами, не ищет обманчивых отражений.

— Ты…смотришься?..

— Я себя созерцаю. Ты ведь знаешь, я никогда не боялась правды… или почти никогда.

Мы сидели близко, едва не касаясь друг дружки. Она, по своей вечной привычке, пристально оглядывала все вокруг. Моя сестра — я вынуждена признать этот факт — честна даже в нелюбви. Она наклонилась ко мне: «Странно, — я уже привыкаю. Ты теперь не ужасаешь меня». И она тронула мою руку, — я больше не кусалась, не испепеляла ее взглядом, я пришла или, скорее, вернулась к банальной человечности, я стала безобразной, вот и все.

— Люди сплетничают, Изабель. Говорят, твой пасынок болтает в тавернах бог весть что, — напивается и несет всякую мерзость.

— И что же он говорит?

— Что ты его обобрала, что ты воспользовалась слабостями его отца, чтобы отнять у него Вервиль. И вот я подумала: надо это прекратить, Я нашла в бумагах нашего отца твой брачный контракт, вот он. Имея эту бумагу, ты будешь в

силах заткнуть ему рот, даже выдворить его отсюда, если захочешь, а я бы предпочла, чтобы ты захотела. Нужно прекратить эти сплетни, сестра, если не ради тебя самой, то ради нас.

Мой брачный контракт… странно было увидеть Вервиль воплощенным в юридических формулах, сведенным к «имению в пятьсот арпанов[70] с двумя фермами, прудом и несколькими домиками на берегу оного, главным домом и парком». Вервиль настолько… настолько БОЛЬШЕ этого сухого перечня! Мадлен удивленно спросила, зачем я держусь за все это, и у меня вырвалось: я собираюсь вернуться во Францию.

Она испуганно отшатнулась: да на тебя же наложат секвестр[71], Шомон нам это сообщил. «Ага, я вижу, шустрый нотариус — истинно преданная душа; что же еще он вам сообщил и присоветовал?»

Она отвела глаза. «Ну-ну, говори, не бойся, я ведь догадываюсь, что он замышляет: утвердить надо мною опеку, а опекуном, конечно, назначить его. Я не ошиблась?»

---

[70] Примечания: 70

Арпан — старинная мера площади (от 35 до 50 акров).

[71] Примечания: 71

Секвестр — запрещение пользоваться имуществом ввиду разорения владельца или незаконности его прав.

Мадлен съежилась на своем стульчике у камина; казалось, сквозь меня она видит еще что-то, не дающее ей покоя. «Я этого не хотела бы», — прошептала она. Ее руки зашевелились в лихорадочном нетерпении совсем как прежде, когда она делала то, чего от нее и ждать не ждали, на что она решалась по собственному почину. Мадлен обожает страдать — и показывать это. «Не нравится мне ваш нотариус, он бросается громкими фразами, это ни на что не похоже; он разглагольствует о том, что нравы, мол, испортились, третье сословие[72] поднимает голову, короли больше не правят, и возмущается этим, а сам в то же время несет всякую чушь».

Она прекрасно понимала, что стряпчий хотел заморочить ей голову. «И потом, хотя ты — МОЯ сестра, он сперва обратился к Арману-Мари, как будто я и вовсе ничего не значу». Несмотря на раздражение, она произнесла имя своего супруга мягко, словно зубастая кошка облизнулась. Мне случается думать, что Арману не так уж не повезло, особенно если он лишен воображения: Мадлен всегда готова поймать его на наживку… которая ему и даром не нужна!

---

[72] Примечания: 72

В парламенте Франции — Генеральных Штатах (до 1789 г.) заседали представители знати, духовенства и третьего сословия — буржуазии.

— Ты меня не слушаешь, Изабель!

Я взглянула на нее, и она слегка побледнела; отодвинуться дальше от меня она не могла, а потому вскочила и бросилась к окну, однако сумерки сгустились настолько, что разглядывать там было нечего. Комната тонула в обычном полумраке; Мадлен взяла свечу, поставила ее подле меня и снова уселась рядом, все еще не отдышавшись от застарелого страха. Отчего она так боится меня? Ведь теперь этот страх утратил лицо. Я стала обыкновенным пугалом и, судя по ней, пугаю все меньше и меньше. Мадлен медленно повторила, что не собирается препятствовать моему отъезду во Францию, но такие вещи делаются втайне, а…

— А мое лицо, по твоему мнению, слишком уж бросается в глаза. Ну-ну, успокойся, у меня нет никакого желания быть узнанной — равно как и никакой возможности быть признанной, неужели ты этого не понимаешь? Двор, Мадлен, это ведь совсем крошечный мирок, а королевский дворец — совсем крошечное пространство; если народ и впрямь зашевелится, то, можешь быть уверена, эти волнения как раз и обеспечат мое спокойствие; меня даже не заметят в общей суматохе. Тем более что я не собираюсь разъез-

жать по дорогам в золоченой карете, в платье со шлейфом.

Я поднялась. Мы стояли друг против дружки. Против… как и всегда.

Она позволила себе роскошь проявить жалость: «Что твои волосы, отрастают? Я могу дать тебе бальзам из водорослей, помнишь его?»

Я вспомнила нашу мать, ее почти лысую голову с редкими седыми прядками; вспомнила, как она, заслышав на лестнице шаги суконщика, торопливо натягивала свой тесный чепец. Ее черные глаза посреди всей этой белизны молодо смотрели с чуть увядшего лица, которое отец иногда сжимал в ладонях и долго разглядывал — с любопытством, но без нежности. Хоть убей, не знаю — да и никто не знает, — что их соединяло; впрочем, никто и не доискивался причин. Ясно, что не деньги. Может, они просто любили друг друга?

У них не было других детей, кроме нас с сестрой. После моего рождения грузное тело матери множество раз теряло недоношенный плод; я хорошо помню глухие рыдания, доносившиеся из-за стены при каждом выкидыше. Служанки шептались: «Жалость-то какая, опять был мальчик!» — уходили за город и возвращались с пустыми

руками, а мать лежала, пристально глядя в стену. Ее глаза походили на две черные сливы, забытые на дереве: сохнут, сморщиваются, но не падают.

Мадлен собралась домой. Задержавшись на пороге, она прикрыла глаза с блаженным видом, словно ей впервые стало приятно касание этого сырого воздуха, которым мы дышали, обычно не разбирая его вкуса. А воздух был соленый. Стоящая в доке обленившаяся шхуна мало-помалу оживала, танцуя на волне прилива. О эти мирные здешние вечера! Тут часто бывает скучно, но стоит научиться ничего не ждать, как тут-то все и случается. Мадлен вдруг обернулась ко мне с кроткой улыбкой, озарившей ее бесцветное лицо: «Знаешь, Изабель, у меня, кажется, будет ребенок. Я еще никому не говорила!» И вдруг я уразумела, что она больше не стремится причинить мне боль, — прошли те времена. Мы просто родные сестры, вот и все. Даже когда сестры ненавидят друг дружку — наверное, особенно, когда ненавидят (а впрочем, имеет ли значение ненависть в такие минуты?) — все-таки одна доверяется только другой, ибо, что бы там ни было, эта другая ближе всех прочих.

Мне не горько, о нет! — я лишь слегка растрогана. Может, она согласится отдавать мне ЕГО хоть

время от времени?

Мадлен ушла пешком, осторожно обходя рытвины, где застывала вечерняя роса. Она счастлива… что ж, это хорошо. Я тихо прикрыла дверь и пробралась в «Контору»; там Хендрикье накрывала маленький столик возле очага. Вот и первый огонь… Еще тепло, но вечера становятся прохладными.

Пока я ужинала, она болтала со мною. Как и в прошлые вечера — только нынче я ее слушала, я наконец слышала ее и теперь вдруг узнала, что у Хендрикье, как и у всех женщин, есть своя жизнь, есть муж и дети, и ее старшая, Аннеке, тоже ждет прибавления.

— Ты нас подслушивала?

— Ну вот еще! Просто у таких, как ваша сестра, все на лице написано; да притом они, что твоя квашня, пухнут на глазах.

И она рассмеялась. Милая Хендрикье, она меня не боится, даже когда я смотрю на нее в упор. Мой отец всегда кричал: не смей так на меня смотреть, Изабель, я не потерплю наглости ни от одной из моих дочерей! Я не отвечала, я не опускала глаза. Он частенько наказывал меня за это; временами, когда горе слишком уж больно жалит меня в сердце, когда я чувствую, что

вот-вот разрыдаюсь над своею жалкой участью без любви, без мужчин, я поднимаюсь на чердак, поворачиваю лицом к себе его портрет и гляжу на него в упор. Неужели он так и не догадался, откуда взялись у меня эти светло-серые глаза? Я столько мечтала о море и кораблях, о путешествиях на трехмачтовой шхуне — из тех, что плыли в Индию и, презрев бури и ураганы, возвращались в родную гавань!..О, бежать, бежать поскорее от этих унылых голландских берегов! И вот, вместо Индий и ураганов, я ринулась в другие места, в другие — горькие — бури; я угодила в ловушку, которую сама же и расставила. Добродетельные женщины пресны, сохранять добродетельность — невеликая заслуга, вот что мне докучает. Я-то ведь знаю, что скрывается под их пресловутой скромностью. Впрочем, госпожа Турвель[73] особенно и не сопротивлялась. Говорят, ее убили угрызения совести. Вольному воля, нечего было ими терзаться! Ох уж эти мне гордячки — их ведь ужасает не сам грех, а звон разбившейся вдребезги маски добродетели. Вы только посмотрите на этих дурочек: они, видите ли, ОТДАЛИСЬ! А вот я не отдавалась, я продавалась, и с большим

[73] Примечания: 73

Госпожа Турвель — одна из героинь «Опасных связей», соблазненная Вальмоном по наущению Изабель.

барышом. Эти же почти никогда и ничего не получали за свой «дар» (да и можно ли оценить его в деньгах?!), ну а я — получала. Дважды в жизни я получила, а платили за это другие.

Похоже, я задремала возле потухающего очага. Не знаю, что меня разбудило. Огонь уже сник, но холодно мне не было. Оказывается, Хендрикье прикрыла меня одеялом из овечьей шерсти, и я угрелась под ним; мне виделся сон, и в этом сне маленький мальчик прыгал на морском берегу, бросая камешки в воду.

Странная штука жизнь, — она никогда не ранит нас так сильно, как нам это кажется.

* * *

Итак, она решила ехать во Францию; я думаю (ибо и мне хорошо знакомо это нежданное вторжение выбора в размеренную жизнь), что ее подгоняют не столько собственнические интересы, сколько жажда именно ЕХАТЬ КУДА-ТО, будь то Вервиль или другие места. Странствия у нее в крови; недаром же они грезились суконщику для неродившегося желанного сына. Вот только она не родилась его желанным сыном, и не осталось ничего, кроме грезы. Быть может, ей хватило бы путешествий по стране собственной красоты, но

теперь эта страна лежит в руинах. В ее век это не мелодрама, это преждевременная смерть.

И потом, одолеть семьсот километров в том же веке означало пять-шесть дней пути на скверных дорогах и ночлеги на почтовых станциях, непрестанную смену лошадей и смену погоды, — в такие поездки не пускаются с бухты-барахты. А все же, скажи ей кто-нибудь: завтра ты едешь! — и она тотчас собралась бы в путь. Но этого ей никто не предлагал. И Вервиль оставался далеким маяком в открытом море, а плоская равнина, отделяющая ее от Вервиля, — океаном, океаном тверди.

Стало быть, ей надобно все как следует обдумать, а пока она устраивается на житье в этой прибрежной зиме с ее туманами, лелея мечту о бегстве к солнцу и планы на воображаемое будущее. «Я увезу тебя с собой», — говорит она Хендрикье, но та не отвечает — слишком крепко держит ее реальность, чтобы давать, пусть даже для проформы, согласие на путешествие в мечтах.

От этого путешествия Хендрикье достанется лишь песня, но ни та, ни другая этого еще не знают. А тем временем Изабель одолевают приступы безмерного отчаяния, хоть чем-то окрашива-

ющие ее скудную, бесцветную жизнь, которая — теперь она в этом уверена — станет для нее всего лишь медленным угасанием. Желание захлестывает ее с головой, но кто, кто разделит его с нею?! Она почти никого не видит. Эктор вернулся во Францию — рубить головы, усмирять крестьянские мятежи, грабить и насиловать; ей это безразлично, хотя отзвуки его подвигов прилежно доносятся до ее ушей — разумеется, тем же Шомоном, почти невидимым Шомоном с его темными делишками, цели которых никто не понимает. Он никогда не говорит о Вервиле, он никогда не говорит о деньгах и никогда не говорит Изабель о самой Изабель; вдруг возникнет, проскользнет, шепнет несколько загадочных, зловещих слов… И никак не понять, грозит ли он? Предупреждает ли? В том просвещенном (и так ярко освещенном, — недаром же эти слова имеют общий корень) обществе легко запутаться во множестве обманчивых наслоений: под карнавальной маской скрывается трагедийная, а то и трагическая; их бесконечные отражения в анфиладах зеркальных галерей мешают отличить среди этой пугающей вереницы образов истинное от ложного.

Пока же Шомон орудует втихую, готовя свои

будущие акции с притворным равнодушием, которое на деле — не что иное как неистощимое терпение, и время работает на него (надеется он исступленно), История ускоряет свой бег, стремится, галопом летит вперед, готовая отомстить за него всем этим нетерпивцам, что желали получать все тотчас же и даром.

А в общем-то, эта зима тянется бесконечно долго для всех, — суровая зима: с декабря 87-го по март 88-го года снег шел почти непрерывно, грозя превратить по весне пахотные земли в вязкую трясину, где сгниют, не взойдя, семена. И когда последний хлеб будет съеден, нового зерна уже недостанет. Взвоют голодные глотки, и затопит этот крик всю монархию, готовую к бунту, но все еще охваченную злосчастной нерешительностью. Людовик XУ1 недостаточно сильно любит власть для того, чтобы твердо встать на ее защиту; бедствия подданных не оставляют короля безучастным, но не будем забывать о главной черте его характера, состоящей именно в отсутствии характера.

Ну а в Роттердаме дела другого рода — пока еще другого. Сонно тянется осень, Изабель все сильнее томится неопределенностью своего положения. Ей легко мечтать об отъезде, но реального отъезда

приходится ждать: зимой в дорогу не пускаются, особенно когда можно поступить иначе.

Все спрашивают у Изабель, что так спешно гонит ее прочь. Кто «все»? Да Хендрикье. А у Изабель просто слишком горячая кровь, вот так-то. Она вновь обрела несокрушимую жизненную силу, всегда бурлившую в ней и столь долго растрачиваемую на пустые интриги. Кроме того, она упорно видит себя страшилищем, и она изголодалась по мужчинам. А Изабель — не чета другим: с этим жадным аппетитом, который не подавила даже болезнь, придется считаться. Впрочем, с какой стати, да, с чего это вдруг у нее пропала бы охота к мужчинам? Ее тело не утратило прежнего жара и громко заявляет свои права; это, я полагаю, обнадеживает. И именно тело поможет ей в самом скором времени найти решения, которые никогда не пришли бы в голову натурам более заурядным.

И уж конечно не приносят ей облегчения этой вялой осенью вкрадчивые визиты Шомона, который начинает беспокоиться: не предвещают ли все эти смутные слухи из Франции — о крестьянских и даже городских волнениях (Париж, говорят, бурлит!) еще более «важные» события? Разумеется, то, что одержимый стряпчий по-

нимает под этим, никоим образом не касается политики, да и существовало ли уже тогда это понятие, — по крайней мере, в том смысле, какой мы сегодня вкладываем в него? То, что там замышляется — конституционная монархия или зачаточная демократия, — его не слишком волнует, а вот как поступят с СОБСТВЕННОСТЬЮ? Шомон готов смириться с тем, что она может попасть в руки третьего сословия, а не духовенства или военных; главное, не дать заграбастать ее этой сволочи, этой презренной рвани, которая многие века поставляет Франции так называемых рабочих, ту дешевую трудовую силу, которая и в самом деле гроша ломаного не стоит. О Господи, опять я увлеклась, но что поделаешь, мне не меньше, чем тогда, ненавистны эти два ходящие бок о бок демографические бедствия — безработица и война, которая превратилась в идеологическую с тех пор, как на наших благословенных широтах народ больше не мрет с голоду. Диктатура перестала быть отравленным подарком королей; нынче это пропитанный сладким ядом дар тридцатипятичасового «проли»[74], рыщущего по дорогам страны с целью

[74] Примечания: 74

«Проли» — сокращение слова «пролетарий». Во Франции рабочая неделя равняется 35 часам.

убить время-отдыха-качество-жизни и обогатить ее могильщиков.

Но вернемся к нашему барану (см. сноску № 7), бешено жаждущему власти: Шомон также ошибся веком, но он родился слишком рано; замыслы, что роятся у него в голове, найдут свое ярчайшее воплощение только в размахе буржуазии при Луиилиппе или в прединдустриальной республике господина Тьера[75], а потом и в современных межнациональных сообществах. Эти последние нынче управляют кораблем-кризисом столь же умело, сколь прежде сильные мира сего управляли голодом. Иногда мне кажется, что все шаги назад в нашем эмоциональном и духовном (или, иначе говоря, в умственном и чувственном) развитии, наш страх перед вспышками технического прогресса суть не что иное, как последние попытки мрачного бога укрыться в том беззаботном животном рае, который он сам же некогда опрометчиво приоткрыл для нас.

---

[75] Примечания: 75

Луи Филипп I (1773–1850) — король Франции с 1830 по 1848 г., пользовался поддержкой богатой буржуазии. Тьер Луи-Адольф (1797–1877) — французский политический деятель, известный жестоким подавлением Парижской коммуны 1871 г. В 1871–1873 гг. — Президент Республики, способствовал реорганизации финансов Франции.

* * *

К трем часам дня уже смеркается; иногда по вечерам я выхожу на улицу. Мне невыносимо это каждодневное зябкое существование, что все они влачат подле смирного огня в камельке; противна эта покорная всеохватывающая дрема. Взять хотя бы Хендрикье, — она вовсе не чувствует себя несчастной; недавно ей вздумалось вышивать для меня рубашки — длинные рубашки с пышными оборками, которые одновременно и скрывают все, что можно, и дают ветерку свободно гулять под подолом. Знаю, что с удовольствием буду носить их следующим летом, но пока меня раздражает, нет, прямо-таки бесит вид ее толстых рук, протягивающих иголку сквозь полотно с бесконечным, медлительным упорством. Я завидую ей, а я не люблю завидовать: слишком много ошибок принесло мне это чувство. И тогда я бросаюсь к клавесину, позабыв о ледяной туманной стуже, наползающей в контору прямо с набережной. Хендрикье забегает мне дорогу: «Да вы же простынете!» Она раздувает огонь в камине, вытаскивает из бездонных сундуков все новые шали и одеяла, кутает меня; но тщетны ее суета, ее заботы, я кричу: «Нечего тут вертеться,

надоели мне твои телячьи нежности, не понимаешь ты, что ли, — я живая, я женщина, и мне нужен мужчина!»

Однажды она вдруг остановилась, уставилась на меня и, пожав плечами, изрекла:

— Ну так выходи замуж!

— С эдакой рожей? — Я, кажется, даже пропустила мимо ушей и лишь позже припомнила это ласковое, материнское обращение на «ты». В тот же миг Хендрикье разразилась своим внезапным грубоватым смехом, — словно ее ровный внутренний огонь взвился вверх бурным пламенем.

— А пасынок-то ваш? Его разве ваша рожа остановила?

Я покраснела. Хендрикье пристально глядела на меня; за ее иронией таилась строгость: «Нет, куда там, небось еще и подстегнула!»

— Откуда ты все знаешь?

— Эх, мадам Изабель, да вы вспомните, это ведь я вам спину терла, когда домой пришла. Вы были кругом в синяках, еще в свеженьких; конечно, я только служанка, да жизнь-то — она для всех жизнь; могу спорить, вы не уступили бы свое место ни за какие царские сокровища! Уж не знаю, как вы там с ним обошлись, как он с вами обошелся, знаю одно: среди бела дня женщины

так просто не моются. Когда я была молодая и шла война, нам ведь тоже пришлось с солдатней спознаться.

И она задумчиво поворошила торф в очаге:

— Конечно, сейчас время мирное, ну да может, он не в своем уме, этот молодчик.

— И верно, нужно быть не в своем уме, чтобы захотеть меня.

— Фу-ты, ну-ты, мы, кажись, в гордыню ударились, а, красавица моя? — Хендрикье смеялась, отблески огня горели на ее щеках, румяных, точно спелые яблоки, и я прошептала, что стосковалась по чужой плоти, что мне не терпится обнять, расцеловать, потискать кого-нибудь; вот родит сестра, а позволит ли она мне хоть коснуться своего ребенка? Кто дотронется до меня по своей воле, кто мне…

Хендрикье стояла, подбоченясь, и разглядывала, изучала, оценивала меня взглядом.

— Полгода назад, сказать по правде, вы были страх что за уродина. Вспомните-ка сами, какою вы сюда приехали; да и два месяца спустя, когда я вас отмывала в этой самой комнате, вы выглядели не лучше. — И она пожала плечами: — Еще этот ваш портрет… уж не знаю, кто вас так торопил, теперь-то, гляньте, ничего похожего.

И она погладила меня по щеке:

— Ну ладно, мадам Изабель, лучше спойте-ка что-нибудь, я люблю слушать ваш голос, меня от него так и тянет поплакать — в пустоте, как вы говорите.

Я всей душой привязалась к Хендрикье, только мне ужасно докучает ее внимание, ее постоянное присутствие; бывают минуты, когда мне хотелось бы петь для себя одной. О чем она грезит, когда смирно сидит там, у меня за спиной? Вот уже несколько недель она не уходит ночевать домой или же уходит заполночь и как бы нехотя. Чаще она остается здесь, в каморке под крышей, где в свое время спала служанка моей матери. Не сразу я догадалась, что она полуспит-полудремлет там на узенькой, неудобной для ее тучного тела лежанке все те ночи, что Джоу выходит в море. Я спросила ее об этом. Она потупилась: «Ну да, верно, Джоу нынче в плаванье, а дети уже подросли, не больно-то я им и нужна».

«А вам я нужна» — вот что означают ее слова. Но и в это мне больше не верится. С недавнего времени я начала думать, что ей просто необходимо кого-то любить, — меня, например, раз уж я оказалась у нее под рукой. Хендрикье привязалась… к моему голосу, наверное. Не знаю, к чему

еще можно привязаться во мне, любезностью я ее не балую.

Сидеть при свечах по наступлении сумерек (Хендрикье заставляет меня экономить, и я подчиняюсь, не спорю!) — вот еще одна тягостная необходимость. Мне бы надо предвидеть это, теперь же остается лишь констатировать, что свечи бедняков освещают не бедность сердца или душевных качеств, они показывают телесные недостатки, а мои, видит Бог, не нуждаются в специальной демонстрации!

В конечном счете, я прихожу к выводу, что нас воспитывают для того, чтобы мы производили на свет потомство, да притом не всякое, а только мужского пола… о боги, для чего, ну скажите, для чего? Плодить голодающих, пушечное мясо? Ни на что другое надеяться не приходится: я ведь вижу, кому мы отворяем дверь, чтобы подать милостыню. Зима наступает суровая; говорят, что муки осталось мало, говорят, что нынешний урожай сгнил на полях, не успев созреть… ну, что бы там ни говорили, все это плохо кончится. А что же остается женщинам, когда груди их пусты и дети мрут от голода?

Я предпочитаю бродить близ портовых кабаков, — в них хоть светло, даже если вокруг тьма

гуще, чем в других местах; я слушаю, о чем они толкуют, они яростно стучат кулаками по столу, они пьют пиво, сдобренное горечью жизни; во Франции, похоже, ропот становится громче и громче, и все, все твердят в один голос, что грядет мятеж. В народе еще не умерла память о Жакерии[76]; о ней говорят полунамеками, даже Шомон в один прекрасный день изрек короткую фразу, полную умолчаний, в которых проглядывала истина: «Бог и Король более не правят страной, ее не спасут ни хлеб, ни зрелища». Ибо голод таит в себе более насущное желание, нежели охота набить брюхо, — желание стать самому себе хозяином.

Декабрь (дата неразборчива).

О боже мой, я уже не в силах переносить эти ночи, которые, едва вступив в свои права, тотчас же уступают их рассвету. Вчера я так долго бродила в доках, что у моих башмаков отвалились подметки. «Вот дурья башка!» — так бранит меня Хендрикье, добавляя при этом: «Скажите спасибо, что не простыли до смерти, бегая по снегу босиком, с башмаками в руках. Ну что вы там потеряли?» И верно — что? Только не смерть, — с

---

[76] Примечания: 76

Жакерия — крестьянские восстания во Франции XVI в.

этим я уже опоздала, умирать надо было прошлой весной.

Неужто с тех пор прошел почти год? Время вроде бы тянется бесконечно долго, а пролетает как один миг. Хендрикье строго глядит на меня: «У вас в тарелке мясо, Изабель, а по нынешним временам это не так уж мало». Да, ей-то, и в самом деле, немного нужно. Странные отношения связывают меня с нею: она лелеет меня — и сурово бранит, ласкает — но спуску не дает. И все для нее так просто! Есть мясо в тарелке — и слава богу, значит, жизнь удалась.

Мне и самой кажется, что я напрасно грызу себя, сидя в сумрачной комнате при последних сполохах угасающего дня и стараясь, елико возможно, оттянуть тот темный миг, когда приходится зажигать свечи. Да, именно «темный миг», ибо никогда не знаешь, что возникнет из танцующих по углам теней, кто нынче придет смущать душу. Спроси-ка я у Хендрикье — она станет уверять меня, что это угрызения совести, страх Божий. Но что мне делать с иными страхами, которые так соблазнительно манят вникнуть в них поглубже, разглядеть их при свете других, не ею зажженных светильников?

В конечном счете, не пора ли разобраться —

коль скоро на нашу долю выпала такая бурная эпоха: что становится с женщинами, чья красота исчезла, или с теми, кому в удел досталось безобразие — хуже того, заурядность? Представим себе, что наш почтенный родитель-купец не оплатил, подобно штукам сукна, свадьбу моей сестры, не пожертвовал для нее всеми моими деньгами на этой земле; где тогда были бы сегодня «девицы» Каппель?

Мне трудно представить себе жизнь бедных девушек. Хотя не исключено, что я вынуждена буду задуматься над этим в самом скором времени. Вдруг моя сестра решит больше не выплачивать мне пресловутую «ренту», — хватит ли у меня смелости потребовать ее у Армана-Мари, смелости заявить ему в лицо: я так хочу! Теперь мне ведь нечего предложить ему взамен. О, как ненавижу я этот роковой отсвет болезни, опалившей мою душу! Чем дальше, тем яснее вижу я, как уплывает от меня в туманные дали Вер-виль. Мой Вервиль, боль души моей!..

Я придумала средство выбираться из дому, не будя Хендрикье, — хватит уж мне трепать башмаки на портовых мостовых. Теперь я закутываюсь в старый плащ, плащ Виктории, который за год так и не удосужилась отчистить, всовываю ноги

в сабо, до того мирно покоившиеся в груде хлама на чердаке, — может быть, сабо моей матери, — и выхожу.

* * *

И она выходит. Она скользит сквозь ночную мглу, точно бесплотный призрак.

Отчего нам так важно каждое движение существа, не поддающегося пониманию, ибо оно жило двумя веками раньше? Я часто задавала себе этот вопрос — всякий раз, как чья-нибудь захватывающая биография помогала мне вникать в мысли биографа скорее даже, чем в мысли самого персонажа. Разве под всеми этими записями не бьется живой пульс истории, свидетельство реального существования, а иногда и гибели? Мы изучаем нашего доблестного предка и, сами того не желая, пускаемся в сравнения. Возьмите Цвейга, пишущего о Бальзаке, — вот типичная двусмысленность взгляда на объект исследования: он восхищается писателем, пытается обнаружить достойные восхищения черты человека, не находит ни одной, и это его бесит. Цвейг, как и все, сталкивается с необъяснимым, а именно: гений редко бывает вскормлен Добродетелью, гений растет где и как попало. Иногда я говорю себе,

что великие принципы — те, что делают нас цивилизованными людьми, располагают лишь к одному — облегчать жизнь другим. А что это дает мне? Это ли влечет меня к Изабель? Она преступила закон, она заплатила за все сполна — собственной плотью; она ни о чем не жалеет, не собирается исправляться, да и с чего это ей исправляться, хотела бы я знать?!

Ах, как мне нравится эта женщина, что бежит, бежит прочь от дома в своих звонких сабо, — уж не думаете ли вы, что она боится стучать ими по мостовой, что она робко крадется по улицам?! — нет, она дерзко вспугивает ночь стуком деревянных подошв. С открытым лицом, не таясь, подходит она к домам, где хохочут, где пируют, и вслушивается, стоя под окнами или за дверью.

И пусть ее застигнут там, — ей это нипочем, она бесстрашно смотрит на того, кто смотрит на нее, она ВИДИТ своим единственным глазом, и то, что она видит, утверждает ее в ощущении вместе мучительном и вдохновляющем: она все еще пугает, но теперь уже по-иному.

Любая, кроме нее, прикрыла бы эту пустую глазницу, запудрила, зарумянила бы эти рябые щеки, этот бугристый лоб; она же смело идет вперед, откинув капюшон, в своем белоснежном чепце,

беспощадно оттеняющем изуродованное лицо. Она проходит сквозь мрак, который не убежище ей, но пропуск к огням того мира, где красота и безобразие — слишком великие понятия, чтобы можно было выразить их словами.

Она настолько готова к мятежу (и к мятежу, который захлестнет не ее одну!), что вступает на территорию, запретную для всех женщин, кроме шлюх, даже не подозревая, что там ее могут «слопать с потрохами», хотя, как уверяет она себя, теперь ей нечего дать мужчинам.

Мне чудится, будто я вижу ее под окнами таверны; вот она замерла на самой границе тьмы и света, льющегося изнутри, — хрупкая ночная бабочка, готовая сгореть в этом огне. Она стоит — прямая, настороженная, вслушиваясь в голос певца, в вечно грустную его песню под всхлипы окарины[77]; все сидящие в кабаке либо только что сошли на берег, либо вот-вот уйдут в плаванье, а пока, спокойные, усталые или тоскующие, они пьют свое пиво, они думают о женщинах, которых покидают и которые ждут их, о черных днях, что суждены их семьям, если они не вернутся; да мало ли о чем еще можно размышлять

---

[77] Примечания: 77
Окарина — род свистковой флейты.

за кружкой пива в те короткие — о, не длиннее вздоха отчаяния! — мгновения, что море всегда дарует морякам перед тем, как забрать их себе вновь. И эти минуты исполнены особой значимости, и о них никто не говорит вслух.

Изабель не остается незамеченной, — я хочу сказать, она появляется отнюдь не для того, чтобы позволить не заметить себя. Один «летописец», некий суперкарго[78] — из тех, что ведут судовые журналы и бухгалтерские счета, частенько добавляя самые неожиданные подробности, — пишет следующее: «Корабли уже не плывут «великим шелковым путем»[79], теперь их влекут к себе Западные Индии[80]. Здесь, в порту, стоят три большие шхуны с многочисленным экипажем; вскоре они отчалят и уйдут далеко, к неведомым берегам неведомых океанов, где либо найдут рынки сбыта, либо горько пожалеют о доброй старой Голландии, от коей, впрочем, мало видят в последнее время добра. И вот с некоторых

---

[78] Примечания: 78

Суперкарго — представитель владельца судовой компании на корабле.

[79] Примечания: 79

То есть, к берегам Индии и Китая.

[80] Примечания: 80

Имеется в виду побережье Америки.

пор на причале Дресселя моряки стали прислушиваться, не раздастся ли стук сабо; это голос моря, шепчут они, это бродит кривая сирена. Они высматривают за дверьми неуклюжую фигуру в грубом плаще, иногда затаскивают ее внутрь. Она входит, присаживается к столу, пьет с ними пиво; она поет им. Никто из моряков не распускает руки. Вначале некоторые пробовали лапать ее, — она взглянула на них в упор, — так, верно, смотрит она на тех, кто еще не знает ее, и, вы не поверите, они отступились. Лицо у нее жестоко побито оспой, пустой глаз слезится, когда песня звучит очень уж жалостно. Но голос чист, как родник… многие из матросов бегут с кораблей и отказываются плыть к берегам, о которых столько мечтали. Впрочем, за них всех мечтает капитан. Его тоже видели здесь — капитана-арматора Ван Хаагена. Это не я, а боцман донес ему. Капитан подошел и что-то шепнул ей на ухо, но она и бровью не повела, даже не взглянула на него. Те, кто стоял рядом, рассказывали после, что ее зрячий глаз горел бешеным огнем. Капитан молча вышел, белый, как его рубашка. Говорят, он шепнул ей: «Иди домой, Изабель!», но врать не стану, сам я не слыхал. Как бы то ни было, даже если она и не заходит в таверну, все равно

каждый вечер моряки слышат ее шаги, слышат ее дыхание и хриплый голос — совсем не тот, каким она поет свои песни. Так бывает всякий раз, как игрок на окарине извлекает из своего инструмента особо тоскливые ноты. Некоторые парни воображают, будто она бегает за ними; я думаю иначе: не любовных песен ищет она здесь, а песен странствий, тех, что зовут уйти, уплыть, увести свой корабль в диковинные заморские края».

Изабель наверняка еще ощутит боль от той встречи, той немой схватки с Арманом-Мари, когда крикнет своей сестре, чтобы она не смела мешать ей наслаждаться хотя бы ничтожной толикой власти, какая у нее осталась: «Мой голос нравится им, а об остальном не беспокойся, они меня и пальцем не тронут, да и захоти тронуть, я до этого не допущу!» Ее перо яростно рвет бумагу: «У тебя во чреве ребенок, Мадлен, у тебя есть шелка, ковры, дом, служанки, оставь же меня в покое, дай попользоваться тем малым, что я имею; я ведь не посягаю ни на твои деньги, ни на твои ночи с мужем; он видел мой профиль, он остолбенел так, словно узрел все мое лицо. Спасибо тебе, что предупредила его, спасибо тебе, что послала его полюбоваться вблизи на

мою рябую физиономию; уж не знаю, будет ли он теперь жарче любить тебя по ночам, — мои ночи одиноки, я даже не помню больше, какими глазами он смотрел на меня, когда подслушивал мои песни, затаившись под нашей дверью, перед тем, как начать любезничать с тобою; как торчал под моим окном перед тем, как жениться на тебе; как впился мне в губы поцелуем в день вашей свадьбы перед тем, как взять тебя и покинуть меня, ибо все его к этому принуждало».

И тут же еще одна запись, другими чернилами: «В конце концов, мы не вольны выбирать себе судьбу, и я не держу на тебя зла. Давай же попытаемся не причинять друг другу боли».

Спустя несколько дней каравеллы тяжело отваливают от берега и исчезают в тихих морских далях за ровным — по-летнему — горизонтом. В эти смутные времена они оставляют на причале слишком много семей без мужчин, даже без старших сыновей, ушедших искать счастья — или гибели от изрыгающих огонь английских пушек. Не слыхать ни песен, ни криков «ура»; расплывшаяся Мадлен рыдает в своем портшезе, уткнувшись в платок и забыв даже помахать им на прощанье. Все приводит ее в смятение, начиная с дурноты, обычной для тех, кто ждет ребенка,

а уж как она ждет его! Но до чего же безобразной увидела она себя в глазах Армана-Мари! Муж обнял ее, глядя с неистовой надеждой, обращенной не к ней — она это знала, — но к плоду их союза.

До нее доносятся слова: «А ну-ка идемте греться!» — это Хендрикье берет ее под руку, поддерживает: «Пошли, пошли, дочка, сейчас не время выстуживать гнездышко, там ведь наш птенец!»

Мадлен тащится вслед за ней к дому, падает в кресло у очага и слезы ручьем текут по ее лицу — покорные слезы, не прерываемые ни рыданиями, ни возмущенными криками горя. На миг расставшись с обычным высокомерием, она причитает: «Я люблю его, пойми ты! Я и сама не знала, как люблю его. И в вашей встрече я не виновата; откуда мне было знать, что ты слоняешься вокруг портовых кабаков, — ни одна из моих служанок не посмела бы сказать мне это. Да и сам он ничего не знал. Просто кто-то остерег его: там, мол, одна женщина поет такие песни, от которых матросы разбегаются с кораблей, не желают больше плавать; не идти же ему в море с экипажем призраков! Вот это и привело его к тебе, клянусь!»

И Мадлен грустно усмехается: «Видела бы ты его после: он был бледен, как мертвец, он говорил

сам с собой; я решила, что ему во сне привиделся кошмар; и еще он вдруг сказал: “А Цирцея, наверное, была безобразна…”»

Смирилась ли Изабель после этого признания? Знаю одно: с того дня она частенько наведывается в Верхний город, названный так лишь потому, что он расположен дальше от порта; она стучится в дом сестры; съежившись, минует роскошно убранные покои, где одному богатству только и уютно; находит Мадлен в ее комнатах. Там, среди почти бедной обстановки (сразу видно, что здесь все устраивалось для себя, и мебель — старая, по-мещански скромная, из той, прежней жизни) — там Мадлен ведет себя и проще и мягче. Она доверительно, без колкостей, беседует с Изабель; она расспрашивает сестру, которая отвечает ей, ничего не скрывая из своих деяний, она делится страхами и без конца твердит об избавлении от одиночества, — но не о ребенке и не о родах речь. «Я больше не останусь одна, — говорит она, — ты будешь со мною, Изабель, обещай мне это; я боюсь, вдруг он не вернется!» Изабель смеется: «Да он же всегда возвращался!» — и насвистывает песенку, и, сев прямо на шерстяной ковер, прикрывающий пол, глядит, как Хендрикье прилежно трудится над крошечной льняной рас-

пашонкой — взрослому и двух пальцев в рукав не всунуть! — она прижимается щекой к вздутому теплому животу, где вовсю уже ворочается, буянит младенец. Она растирает заплывшие жиром плечи и отекшие ноги сестры, она бранит ее: «Ты слишком много ешь!» — она распахивает окна с мелкими переплетами: «У тебя тут задохнуться можно!» — а потом наступает вечер. Когда Изабель и Хендрикье возвращаются домой (пешком — Изабель раз и навсегда отказалась от портшеза или экипажа сестры), Мадлен высовывается в окно, машет им вслед и кричит слова, которые безвозвратно поглощает сырой туман; Мадлен думает: «Да, в конце концов, сестра есть сестра».

Конечно, я и тут фантазирую, но, скажите, зачем они обмениваются записками в те дни, когда не видятся? Мадлен больше не выходит из дому, — стало быть, те двое сами навещают ее. «Почему ты вчера не осталась ночевать у меня? — пишет Мадлен. — Неужто это снегопад погнал тебя домой?»

«Шомон никак не поймет, отчего ты больше не открываешь ему дверь. Я засмеялась, но ничего не сказала; незачем ему знать, где тебя можно найти. Не нравится мне этот человечишка, и Арману тоже не нравится, он всегда мне гово-

рил: “Остерегайся нотариусов, которые слишком усердствуют”».

«Если родится мальчик, мы назовем его — как в той песенке, что ты пела вчера, — Коллен; это французское имя, оно будет по душе тебе; а если девочка, то я хотела бы дать ей имя нашей матери — Саския, это звучит красиво, а как ты думаешь? О Изабель, если бы я смогла, я народила бы целую кучу детишек!»

Миниатюрный портрет Мадлен Ван Хааген сделан незадолго до родов. На нем она почти красива: голубоватые круги под глазами, прозрачная нежная кожа (усеянная пятнышками беременности, которые потом быстро сходят), широко распахнутые глаза. Они глядят мимо живописца, куда-то вдаль, — наверняка в море. Любопытная деталь: кисть художника наметила, правда как-то нерешительно, руку на плече Мадлен; ее легко признать по рубину на безымянном пальце. Странное и трогательное желание — запечатлеть на этом маленьком портрете руку сестры!

Миниатюру я случайно обнаружила под грудой писем в старинном ларце, который вот уже два века переходит в нашей семье от поколения к поколению. Это письма, написанные Мадлен к Арману-Мари. Они покрыты пятнами сырости,

они явно много путешествовали; любопытно бы знать, когда именно? Портрет лежал внизу, он был заботливо обернут листом пергамента, на котором другим почерком, четким и властным, записано: «Коллену — портрет его матери Мадлен Ван Хааген, 1760–1787». Ларец из твердого красного дерева неизвестной мне породы стойко выдержал испытание временем; застежкой ему служит плетеный ремень из сыромятной кожи; на латунной табличке столбиком выгравированы имена владельцев, последним стоит имя моего прадеда. Его зовут уже не Ван Хааген, а Дос Хагуэнос. В общем, вся наша семейная хроника заключена в этом незаметном переходе от одного имени к другому — тому же, но переиначенному на португальский лад.

Иногда Изабель удивляется тому, что сестра не может обойтись без нее, и думает: а ведь жизнь могла сложиться совсем иначе.

* * *

16 декабря.

Близится Рождество, Мадлен грустит все сильнее. Она из тех, кого холода вгоняют в спячку. Но только ли зима отнимает у нее силы, делает чувствительной сверх меры? Она то и дело плачет

у нас на руках, точно ребенок, который боится темноты и прижался бы к кому угодно, хоть к палачу, лишь бы ощутить успокаивающее тепло другого тела.

«Мне так хотелось, чтобы меня любили! — рыдает Мадлен. — Мама любила только отца, а он любил только тебя, а я — я никого не любила. Я ненавидела тебя за красоту, — тведит она непрестанно, — и не потому, что сама была некрасива, а потому что ты только и делала, что гляделась на себя в оконные стекла».

Она права: красота помрачает разум. Но тогда отчего тех, кто красив, не учат пренебрегать ею?

И все-таки… все-таки я отдала бы полжизни, лишь бы вернуть себе красоту. Хотя, если вдуматься, сегодня я жажду этого куда меньше, чем прежде, несмотря на то, что мужчины чураются меня, бегут прочь. Ну да ведь они всегда бегут, всегда покидают нас, красивы мы или некрасивы. Однажды ночью Хендрикье простонала во сне: «Джоу, Джоу, где ты?» Иногда к нам приходит ее дочь, она жмется к матери; она, как и Мадлен, на сносях, но ее беременность проходит много легче; положив руку на живот, она вслушивается в себя, и глаза ее вспыхивают счастьем. На нее часто нападает внезапная сонливость: вдруг смыкаются

веки и она задремывает на несколько минут, так доверчиво прильнув к надежному материнскому плечу, что мы невольно улыбаемся и замолкаем, боясь потревожить этот короткий детский сон. Аннеке всего семнадцать лет, ее муж тоже ушел в море…

Семнадцать лет… именно в этом возрасте я досталась маркизу и он овладел мною. Мне сразу же понравилось заниматься любовью. Я не любила мужчин, о нет! — мое сердце — пора уже признаться — занимал другой. Но меня привлекали их тела, их руки, их узкие бедра. Вальмон был высокого роста, его серые глаза напоминали мне… море. Только они были пусты.

Вальмон был красив, как картинка. А с картинкою счастлив не будешь. Там, во Франции, люди, как нигде, помешаны на счастье; здесь же, у нас, толкуют о чести, о долге, об отчете перед Господом за честно прожитую жизнь. А вот я не верю в этого Бога-бухгалтера, восседающего на небесном троне с открытой книгой и пером в руке, с тайными, как у Шомона, помыслами о прибыли и власти. Но отчего Бог наших предков готов лишь карать, придерживая свои благодеяния на будущую жизнь — на будущее без жизни?! Моя жизнь — вот она, вся тут, на лице, в этой

зияющей ране, в этой кровавой глазнице, через которую Он удрал, толкая меня впереди себя, украдкой, точно вор, набравший полные руки чужого добра. От всей души надеюсь, что там, на небесах, мой мертвый глаз постоянно висит перед Ним, взывая о справедливости. В чем я повинна, за что меня наказали? Если я убивала, то лишь нестойкую добродетель; если выкалывала глаза, то лишь слишком льстивым зеркалам; если и отнимала право на существование, то у одних только иллюзий, порожденных лицемерным двором! Я виновна так же, как маркиз, развративший меня, но ничуть не более, чем он, и не более моего отца, который продал меня за титул да за устройство сестры. Отец наш неразумный, вы, что на чердаке, не смейте молиться за меня!

22 декабря.

Вчера, невзирая на снег и бешено завывавший ветер, мы отправились в Верхний город. Судя по озабоченному лицу Хендрикье, моя сестра беспокоит ее. Мадлен разнесло, как бочку; она ест, по ее словам, за двоих, а я не могу отделаться от ощущения, что она просто пытается подсластить шоколадом и слишком жирными печеньями свое вечное, еще с детства гнетущее ее одиночество.

У дверей дома, где нас уже нетерпеливо ожи-

дали служанки, стоял портшез; из него с бесконечными предосторожностями выбиралась маленькая седая дама, укутанная в шубу; все ее тело, с головы до ног, сотрясала мелкая непрерывная дрожь. Она со вздохом отряхнулась от снега, потом взглянула на нас. Ее серые глаза потемнели; не задержав взгляд на моем лице, она, тем не менее, увидела все, и ее хрупкие руки боязливо втянулись в рукава, пока мы входили в дом. Служанки засуетились вовсю. Мадлен, уже оповещенная о приезде гостьи, тяжело спускалась с лестницы, восклицая: «Матушка!»

Мы стояли внизу, все трое. Хендрикье отступила в тень и скрылась в темном коридоре с навощенными полами. «Изабель, — прошептала старая дама, — говорят, у вас все те же прекрасные руки и все тот же голос».

Бледные пятнистые щеки Мадлен заблестели от слез: «Матушка, вы принесли дурные вести?» Они нежно обнялись; Мадлен неловким, робким движением поправила ленту чепца, прильнула к морщинистой щеке свекрови: «О матушка, вы ведь не с дурными вестями?»

Эти две женщины нежно любили друг дружку. Мать Армана-Мари сбросила свою тяжелую шубу. «Я знаю, что ты на сносях, дочь моя, я просто

приехала узнать, не нужна ли тебе моя помощь. О Боже, какая же ты толстая».

Мадлен, понурившись, указала на меня: «Вот и они говорят то же самое».

Мы провели спокойный день. В комнату бесшумно вошла Хендрикье, она принесла шоколад в синих чашках, которые я до сих пор не видела у сестры (они вызвали улыбку на губах старшей Ван Хааген), и присела в уголке у двери, не расставаясь, как и в предыдущие дни, со своей прялкой. Мадлен неожиданно пришла в доброе расположение духа, глаза ее повеселели. Я вдруг поняла, как невнимательно мы смотрим на тех, кто живет рядом с нами. Под робостью дурнушки Мадлен скрывается внутренняя красота, которой она не умеет распорядиться.

Госпожа Ван Хааген умеет хранить душевное спокойствие, ее руки праздно дремлют на коленях подобно двум отдыхающим зверькам. Это настоящее искусство, — мне так и не удалось им овладеть. Я металась, как белка в колесе, я непрестанно вскакивала с места, пока Мадлен наконец не взмолилась: «Господи, да остановись же, у меня от тебя голова кружится!» Я послушно уселась возле темнеющего окна, мучимая невыносимым чувством ожидания. Хендрикье обеспокоенно

поглядывала на меня, потом вздохнула, — видно, поняла, что я опять выскочу ночью на улицу и отправлюсь бродить вокруг портовых кабаков. Теперь я больше не скрываюсь, я смело бегу по улицам к этим островкам света, которые умиротворяют мою душу; я безбоязненно подхожу к двери, они уже ждут меня. Я начала лучше разбираться в мужчинах. Слишком долго подстерегала я в их глазах одно только желание, не ища ничего иного: о, как я была неправа! Мужчины похожи на нас, им тоже случается грустить, испытывать страх — который они топят в пиве, как мы топим его в слезах. Но когда, вслушиваясь в мой голос или в голоса поющих своих товарищей, они прячут лица в ладонях, я знаю: они тоже плачут — горькими сухими слезами, слезами призраков.

Минне Ван Хааген шестьдесят лет. Тридцать из них она вдовеет. Я вдруг, ни с того ни с сего, спросила ее: как живут женщины ПОСЛЕ?.. Она не пошевелилась, не улыбнулась, она легко справилась с замешательством и ответила: живут ожиданием, день за днем, как и все другие, — разве это не общий удел? Мадлен вздрогнула, умоляюще стиснула руки, и Минна, встав, погладила ее по щеке: «Ну-ну, он всегда возвращался,

ты же знаешь; он и теперь вернется — особенно теперь». Обе женщины как будто легко смирились с тем, что они любимы не ради себя самих. Они производят на свет потомство, вот он — секрет их притягательности; они рождают сыновей и тем удерживают… да ведомо ли им, что именно? Они — продолжательницы рода, сосуды его; когда сосуд разбивается, его заменяют другим, только и всего. Маркиз с очаровательной откровенностью признавался, что не оплакивал свою первую супругу. Трое сыновей — что еще могла она дать ему? Благодаря ей мне не пришлось представлять маркизу доказательства моих способностей, — по крайней мере, этих.

Мы вышли из дома вместе. В тот момент, когда дороги наши расходились, Минна вложила свои руки в мои — без отвращения. Она глядела задумчиво, мое имя прозвучало в ее устах с мягкостью, какой я не знала за нею: «Отчего вы ни с кем не видитесь, Изабель? Люди удивляются, они не понимают, почему вы живете затворницей и сторонитесь их; болезнь уже не может служить оправданием. И потом, этот стряпчий…» Вдруг Хендрикье схватила нас за руки: «Молчите, вот он!» Запыхавшийся Шомон взбирался по крутой улочке, набросив на голову полу плаща; он

направился к нам. Лицо его было бледно, по лбу катились капли пота. «Мадам, мне нужно срочно поговорить… я только что от вас…» Стряпчий задыхался, словно ему пришлось бежать. Куда он подевал свою шляпу? Он дрожал как осиновый лист, боязливо озирался: «Эктор де Мертей вернулся, мадам, он не в себе, совсем обезумел! Он повсюду разыскивает вас, мадам; мне кажется, он не в своем уме и замыслил что-то ужасное, — во всяком случае, от него всего можно ожидать».

Минна наклонилась ко мне из своего портшеза: «О ком он толкует, Изабель? Не могу ли я помочь вам?»

Я поцеловала кончики ее дрожащих пальцев с гнетущим чувством отчаяния: ее сын — плоть от плоти ее. Ну почему я не околела от этой проклятой болезни, когда другие мрут от нее как мухи?! Остается думать одно: я слишком люблю жизнь.

* * *

Да, она любит жизнь. Шомон, который обычно пускается в долгие велеречивые разъяснения, приукрашивая их то тут, то там любезностями, дабы замаскировать свои тайные помыслы, этот Шомон, под влиянием пережитого потрясения, на сей раз выкладывает все без утайки, не заботясь

об изяществе стиля. Мне это не впервой, такое я уже видывала: тщедушный человечишка создан для макиавеллиевских штучек не более, чем я — для обольщения мужчин; он тут же впадает в панику, я тут же отступаюсь…

Без всяких происшествий добираются они до дома Каппелей, входят. Изабель недалека от мысли, что нотариус просто разыграл комедию с целью проникнуть наконец в ее дом, чего он не мог добиться уже несколько недель, а именно, со дня отплытия каравелл.

Дом выстужен: стоит забыть про очаг, и с набережной внутрь заползает ядовитая сырость. Хендрикье «вздувает», по ее выражению, огонь. Изабель и Шомон усаживаются и начинают беседовать — не о главном, сперва требуется преамбула. Во Франции ширится мятеж; впервые — то есть впервые с тех пор, как народ действительно осознал себя народом, — мятеж этот принимает политическую окраску, звучат речи о Свободе, от отмене привилегий, об установлении равноправия, но все конкретные предложения тонут в потоке словоблудия… Король уступает, потом упирается, потом опять сдается, не понимая, что недоверие к нему растет не по дням, а по часам; его окружают скверные советники, и

положение быстро ухудшается, а темная история с колье особенно усугубила ненависть к его близким[81]. Кроме того, некоторые намеренно истолковывают промахи Короля как скрытое коварство.

Третье сословие, поначалу довольное удвоением своей квоты, ныне возмущается отказом утвердить одну Палату вместо двух[82]. Шомон явно в курсе всех событий, вплоть до мельчайших подробностей, неизвестных Изабель, а ей хочется знать все, ибо она вращалась в высших кругах, — это Шомон их так величает — «Высшие круги», и это Шомон приписывает ей проницательный политический ум; жаждущий власти нотариус воображает, будто власти жаждут все вокруг!

Зато теперь Шомон настроен менее восторженно, чем прежде; он взял сторону умеренных, тех, кто уже начинает спекулировать на последствиях затянувшихся беспорядков; поскольку силою обстоятельств он отлучен от непосредственного участия в происходящем, ему со стороны легче

---

[81] Примечания: 81

Алмазное колье ценой в полтора миллиона франков было тайно куплено — по одной версии, королевой Марией-Антуанеттой, по другой — некоей авантюристкой, госпожой Ламот, подделавшей подпись королевы на письме к ювелирам — владельцам колье.

[82] Примечания: 82

Имеются в виду палаты Генеральных Штатов.

понять одну вещь, а именно: революцию подавить не так-то просто, как подавляют мятеж, особенно когда нынешние солдаты — вчерашние крестьяне; ввязавшись в подобное дело, выбраться из него нелегко, тут либо пан, либо пропал, вот как обстоят дела, мадам. Нотариус излагает эти свои комбинации вслух перед женщиной, чей ум он уже смог оценить по достоинству; он взвешивает, примеривает, распределяет шансы на успех; потом внезапно впадает в безумную ярость по поводу Эктора: тот ведет себя хуже дикаря, вдобавок он напичкан предрассудками; на самом же деле его сиятельство маркиз де Мертей — жалкий аристократишка, видящий не дальше собственного носа… нет, собственного права первой ночи, так кто же захочет служить эдакому болвану, мадам… ну вот и все, что я хотел вам сказать. И не ищите других резонов в моем негодовании, я просто больше ничего не жду от него, как, впрочем, и от вас.

Наклонившись к нему, Изабель почти безразлично спрашивает, что же, В ТАКОМ СЛУЧАЕ, повергло его в столь истерическое состояние. Лишившись прав на Вервиль, маркиз совсем взбесился, — отвечает Шомон, — уж не знаю, что он там натворил, Бог свидетель, не знаю, кто их

там разберет! Но только потом маркиз явился сюда, изругал меня на чем свет стоит, даже, можно сказать, дал волю рукам, — видите, я и шляпы лишился. А теперь он собрался приструнить Изабель, заставив его, Шомона, помочь ему вырвать у нее отказ от владения. Он прибыл вооруженный, в сопровождении пяти рейтаров, мадам, — и это сюда, в НАШ город, совсем рехнулся! При одном воспоминании о багровой опухшей физиономии маркиза, который выкрикивал свои приказы прямо ему в лицо, Шомон стал еще бледнее, чем только что на улице.

Мне кажется, Изабель слушает его без особого удивления. Однажды, в записке к сестре, она уже объяснила, чем опасен Эктор: он глуп и спесив, а глупость да спесь — это уж до гроба. Но разве может он сейчас навредить ей? Изабель встает, гордо выпрямляется: Шомон, одержимый своими старыми демонами, может вернуться к прежней роли честолюбивого наблюдателя, от остального она его освобождает. И тот записывает (мало ли, а вдруг пригодится!) в своем «часослове» — шедевре мелочного, цепкого на подробности внимания, полном и высокопарных рассуждений, и самых незначительных фактов (вот такие-то забытые пустяки и служат потом отличным поводом для

шантажа!): «Изабель пылает гневом; прямая, в черном платье, опустив руки, она взирает на меня сверху вниз своим единственным глазом. “Благодарю вас, Шомон, вы оказали мне неоценимую услугу!” — и смеется долгим загадочным смехом. Ей-богу, у этой дочери суконщика течет в жилах благородная кровь!» Она сама провожает его до дверей, отворяет их.

— Спрячьтесь получше, станьте недосягаемым; даже если маркизу удастся застичь меня врасплох и принудить подписать что-нибудь, ни один из здешних стряпчих не заверит документа, вырванного насильно чужаком, французом, как бы знатен он ни был. Господь свидетель, этот ублюдок еще глупее, чем я думала.

Изабель не утратила исконной, простонародной грубости, далекой от лицемерия; уж она-то знает цену возвышению, знает, какой монетой платят за него. Этот чванливый боров воображает себя маркизом по божественному праву?! Фи, какая глупость!

Затворив за Шомоном дверь, она возвращается в «Контору», насвистывает сквозь зубы песенку, присаживается к очагу погреться. Хендрикье уже неплохо изучила свою хозяйку: приглядевшись к ней, она молча ворошит угли, потом выскальзы-

вает в коридор. Приносит свою накидку, помогает Изабель закутаться в ее плащ: «Ну, пошли?» Они улыбаются друг дружке: в обеих теперь проснулась новая, без сомнения, редкая для женщин того века потребность — улаживать свои дела собственными руками.

То, что происходит потом, выглядит просто и незатейливо, — ау, где вы, любители романов Виктора Гюго и Александра Дюма?! Герои того времени еще не до конца изжили в себе тягу к мелодраме, — быть может, в силу того, что сохранили шляпы с перьями, хотя уже утратили задиристый нрав. А впрочем, кто может похвастаться задиристым нравом — что в их время, что в наше?!

Женщины идут тесными улочками к докам; свежевыпавший снег приглушает их шаги; на окнах, там, где не затворены ставни, серебрится узорчатый иней, ветер уже начал рвать в клочья плотную завесу тумана. У пирса стоит одно-единственное судно, его снасти звенят под шквалом, словно натянутые струны, ванты обросли мохнатым льдом.

Изабель навсегда сохранит искристое воспоминание о той студеной безлунной ночи, где огоньки сияли, как звезды, звезды светились, как

огоньки, и никак их не различить. Она держит за руку Хендрикье, которая уткнулась лицом в теплый воротник; мысли ее заняты лишь одним: двигаться, двигаться ровно столько, сколько нужно, чтобы остаться живою в самом средоточии этого застывшего студеного царства.

Едва переступив порог кабака, Изабель направляется к игроку на окарине. Этот старик — здешний миротворец; часто одной лишь трелью на своем инструменте он гасит закипевший гнев, возвращает взбудораженные умы к тупому спокойствию. Он столько наплавался за свою долгую жизнь, что теперь, по его словам, весь ход мироздания мало ему интересен: земля вертелась и будет вертеться, хотим мы того или нет.

Он бормочет своим хриплым старческим голосом: «Тебя ищут солдаты. Не по душе мне это. Они говорят, будто пришли послушать твои песни, а мне не верится, — врут, как пить дать, врут. Один из них не говорит, а командует; ротик у него махонький такой, губы черные, тьфу, пакость! Мне этот ротик уже случалось видеть. Ну а пьет он, что в бочку льет. Два раза они заявлялись сюда и уходили ни с чем; до тебя добираются, верно тебе говорю. Вот только пособить мне тебе нечем, коли они худое задумали».

— Не беспокойся, — отвечает Изабель.

Хендрикье продолжает путь одна. Она бежит, она колотит в низкие двери, в затянутые инеем оконца, она убеждает, настаивает. Из домов выскальзывают тени — женщины, дети; они тянутся за нею шумной кучкой, на ходу расспрашивают ее. Хендрикье объясняет, размахивая руками, грозя кулаком. Что она говорит им? «Кто-то из наших… рейтары из Франции… шестеро на одну…» — и внезапно ночную тьму прорезает грозный смех — отзвук старинных смут. Дети подбирают камни с земли, женщины хватаются за палки, толпа спешит к кабачку, мягко топают по свежему снегу тяжелые сабо.

В кабачке, посреди залы, стоит Изабель, прямо перед нею — Эктор, вокруг его люди. Хмельной Эктор жестикулирует, грозит, вопит: куда провалился этот чертов Шомон, никогда его нет под рукой в нужный момент! «Мы его не нашли там, где вы велели искать», — возражает один из солдат, которому явно не по душе то, что его принуждают делать. Ему-то пообещали, что он выступит поборником справедливости, посулили богатырскую схватку за правое дело, а нынче вечером он только и видит, что старика с его дудкой, пару пьяных матросов за столом да осо-

вевших от пива парней, прочно засевших в углу.

А потом, эта женщина… как странно, как широко открыты ее глаза… один вид кровавой слезящейся глазницы заставил их в ужасе отшатнуться. Что за дела могут быть у господина маркиза с этой рябой? Кроме того, она говорит вроде бы негромко, но так высокомерно, и слова ее бьют точно в цель, им-то видно. «Чего вы надеетесь достичь вашими бандитскими ухватками? — спрашивает она. — Закон не на вашей стороне. О, я понимаю, вами движет самое пылкое и благородное мужество, — еще бы! — шестеро вооруженных мужчин против одной слабой женщины; это будет почетная победа, не правда ли, Эктор?»

Ох, как не терпится схватить, скрутить, изнасиловать, убить; ох ты, господи боже мой, вот где настоящая война… эй, а против кого война-то? С кем биться, за кого биться, а главное, за сколько?

Эктор давным-давно уже не нанимает дворян, и время кружевных манжет минуло безвозвратно. «Вы свое возьмете с той гадины», — пообещал он им. Ладно… но с какой такой гадины? Неужто с этой вот женщины в бедном плаще и сабо, которую моряки окликают на «ты», словно портовую девку, ей-богу! — да чем же она оплатит их разо-

чарование, коли сама страшна как смертный грех? Эй, ребята, пока суд да дело, пошли-ка выпьем, авось и разберемся!

Эктор вопит: «Я заставлю тебя вернуть бриллианты, из глотки вырву, падаль ты эдакая!» — и дает пощечину. За его спиной распахивается дверь, ледяной воздух врывается внутрь, едва не загасив пламя свечей. Появляются женщины и дети с запудренными снегом волосами. Моряки, встрепенувшись, привстали из-за стола: «Что он себе позволяет, этот осел?» «Осел» выхватывает шпагу, пятеро его приспешников тесно сгрудились вокруг, спина к спине, с пистолетами в руках: может, схватка все-таки состоится? Щелкают пружины ножей, и у людей с моря загораются глаза, — их-то уж доброй дракой не напугаешь, а потом, с чего вдруг эти французишки так распоясались, словно забыли про Утрехтский мир, когда им ох как славно утерли нос?!

Уста Изабель рдеют, словно спелый плод; она отбрасывает от себя шпагу резким взмахом плаща, и та летит на пол; она вскидывает руку: «Тихо, все вы!» Боже, до чего прекрасна жизнь! Плащ соскальзывает с ее плеч, она подбирает его и попутно ударом сабо ломает упавшую шпагу; она глядит на Эктора, и пунцовые ее губы презритель-

но кривятся: «Вот что вас ждет, маркиз, — камень и палка. Убирайтесь прочь из города! В следующий раз все эти люди разорвут вас на куски, и я не вступлюсь».

Один из рейтаров Эктора восклицает: «Вот чертова баба, ай да баба! Я к твоим услугам, красотка!» Изабель бледнеет, отвечает ему, как истинная дочь Каппеля: чтобы услужить ей, надо иметь кое-что за душой и в штанах. Раздвинув толпу кумушек с детишками, она указывает Эктору на дверь; до чего ж ей хочется изничтожить его, стереть в порошок! — вместо этого она плюет на руки, которыми он защищает лицо, пробираясь мимо нее к выходу под градом пинков и ударов: «Если я еще раз увижу тебя здесь, берегись!»

Бывают дни, когда я неодолимо ощущаю в себе присутствие Изабель: достаточно короткой записи в ее дневнике, нескольких слов, выхваченных из письма, свидетельств очевидца или какого-нибудь образа, почерпнутого в хрониках того времени; пусть они не имеют к ней прямого отношения, но фантазия моя тут же воздвигает театр, где она играет при полных сборах, а я занимаю все зрительские места.

Тот вечер в кабаке не доставил ей полного

удовлетворения. В ярости своей, в жгучем желании надавать пинков, которые она заменила язвящими словами, она забыла главное, о чем вспомнила лишь сейчас. Эктор похвалялся перед Шомоном какими-то непоправимыми деяниями, — что имел он в виду? Совершил ли он нечто роковое или же только собирался? Ее грызет глухое беспокойство, которое Хендрикье выражает, как всегда, точно и просто: «Вы слишком поторопились вышвырнуть их вон, теперь ничего не разузнать».

Изабель нервно ходит взад-вперед мимо очага, ей становится жарко, она расстегивает платье, сбрасывает чепец с головы. «У вас волосы потемнели», — замечает Хендрикье, и внезапно Изабель ловит свое отражение в зеркальце из полированного олова, в котором ее отец рассматривал зубы перед тем, как выйти на улицу. Едва отросшие волосы уже вьются колечками. Нет, они не потемнели, просто к ним вернулся врожденный каштановый оттенок, который пудра скрывала, делая локоны белокурыми.

Изабель глядит на себя и вспоминает, как накануне вечером, в кабаке, маленький мальчик подбежал и дернул ее платье: «Хочешь, мы их всех поубиваем? Это они украли у тебя глаз?»

Она вздыхает: «Я была красива». Хендрикье только пожимает плечами: «Ба! Много ли толку от красоты, в тарелку ее не положишь!»

— Завтра разыщешь мне Шомона. Не знаю, где он прячется, но мне нужно, чтобы ты непременно его отыскала, ему необходимо знать все — Изабель задумывается. — Ты слышала, он сказал, что мне, мол, нечего больше ждать от Эктора (ну, это-то понятно!), КАК, ВПРОЧЕМ, И ОТ ВАС. Помнишь? Что же он имел в виду?

Потрескивание умирающего огня на миг отвлекает их; Изабель забывает об усталости, Хендрикье о позднем часе; обе садятся перед очагом и Хендрикье наконец-то дает роздых неугомонным рукам.

— Знаешь… — Изабель говорит полушепотом, как делятся сокровенным, — самое интересное, что я не жалею ни об украшениях, ни о светских забавах, ни о мужчинах, волочившихся за мной, с их страстью к интригам, — они только и годились для приятного времяпрепровождения. Минна Ван Хааген права: что бы мы ни делали, жизнь идет себе день за днем. Ты любишь Джоу, Хендрикье?

Хендрикье тихонько посмеивается: «Он отец моих детей, а их шестеро; разве можно наделать

полдюжины ребятишек с кем попало? Я тоже люблю заниматься любовью, чем я хуже других!» — и, залившись румянцем, прячет лицо в ладонях.

Изабель молча подсаживается поближе к ней, собирает в кучку рдеющие угли. Отросшие волосы, свободные от чепца, делают ее круглую головку похожей на детскую, и пальцы без конца тянутся теребить это шелковистое руно со светлыми кончиками. Она греется и грезит вслух:

— Понимаешь, в Вервиле, как здесь, чувствуешь себя такой далекой от всего мира, от двора; там ты — владелица замка, но владеешь всего лишь собственным теплом; в Вервиле мне часто случалось засыпать подле камина, вспоминая о том, как я любила.

Любовь… Любила ли она Вальмона? Наверняка нет; много позже она запишет в своем дневнике ответ — ответ в пустоту, ибо никто больше не задается вопросом, КОГО она обожает, это и так известно, и лишь сама она все еще копается в прежних своих «любовях» или, вернее, в том, что способствовало ее самообману; так брешь в плотине затыкают всем, что попадется под руку. «Любовь без любви — что это было? Плоть утоляла свою жажду, но сердце полнилось новой горечью,

в придачу к убитым надеждам, к воспоминаниям о кровоточащих укусах судьбы». Вальмон был лишь слабым эхом далекого, навсегда замолкшего голоса, лишь бледной тенью обожаемого, столь желанного тела. А теперь Вальмон мертв, и ничего не помнится о нем, кроме сходства с…

Скорбный ужас в серых глазах Армана-Мари, его шепот: «Иди домой, Изабель…» Что знаем мы о других? Вальмон любил президентшу — не слишком пылко, это верно, да ведь слово «любовь» годится для чего угодно. Вальмон любил президентшу Турвель… как любят сладости.

Опершись подбородком на руки, Изабель открывает доступ призракам прошлого, смутным из-за набегающих слез… о, это дым очага заставляет ее плакать… что же еще, кроме дыма?!

«Я вас не люблю!» — крикнула она старому маркизу, который лез ей под юбку в экипаже, увозящем ее прочь из родного дома. Но ему не терпелось взять ее, и он только рассмеялся: что ему было за дело до любви, до ее имени, до подвенечного наряда! Не слушая протестующих криков, он сунул голову под белые юбки, и все то время, что он ласкал ее языком, глаза ее не отрывались от насмешливо-наглого взгляда лакея на запятках, много чего повидавшего на своем веку. Вот

тогда-то она и начала постигать один из законов плоти: наслаждение может иметь мимолетных повелителей, но никогда не знает постоянного хозяина; оно рождается в касании старческих губ так же легко, как и в касании молодых. И ее тоже одолел смех: род человеческий, для продолжения самого себя, нуждается лишь в животах да членах; наслаждение — роскошь, а любовь — ах, любовь! — напрасное расточительство, так он, наверное, и думал. Маркиз вынырнул из-под ее юбок красный, запыхавшийся, слегка вспотевший, и взглянул на нее: «Ох-хо-хо, юная особа, я вижу, из вас выйдет толк!»

А дальше… дальше все пошло как по маслу. Ей достаточно было вступить на этот путь, который в конечном счете и тернистым-то не назовешь (так когда-то выражалась Саския), и почаще повторять себе, что за ЭТО она его БОЛЬШЕ не полюбит. Жаркое тело, холодная голова. «Ни разу я не солгала ему ни словом, ни жестом. Да, он имел меня и имел так, как хотел и сколько хотел. И он часто доставлял мне наслаждение, а почему бы и нет?!»

Вот только очень скоро маркиз начал требовать большего, осыпая ее драгоценностями, лишь бы добиться того, что она никогда не даст ему. Она

получала от него желаемое, даже когда он не понимал ее целей, и поскольку он их не понимал, то дарил все без разбору, вплоть до других, более молодых мужчин.

«И я брала их — что мужчин, что бриллианты, — принимая это как должное».

О, им случалось и беседовать — спокойно, по-дружески, откровенно признаваясь друг другу во всяких малопристойных страстишках. Изабель почти ласково говорила маркизу, что не ненавидит его: «Вам хорошо известно, чего я жду от мужчины — способности наслаждаться телом женщины. Будь у меня сердце, я, вероятно, полюбила бы вас».

А потом Мертей износился в плотских утехах и умер, воображая, будто оставляет Изабель полной хозяйкою ее будущего. Мог ли он предвидеть, что ей суждено сгореть и возродиться на груде пепла?!

— Видишь ли, я вела двойную жизнь, притом без всяких усилий. При дворе после смерти мужа на меня смотрели как на пособницу дьявола. Не сам ли он разглашал повсюду, что я убиваю его, что каждая новая ночь со мною приближает его кончину? И не это ли помогло мне вправду погубить многих других, — кого смерть маркиза,

как магнитом, притягивала в мои объятия и кого я заставляла хранить тайну, грозя разрывом? Скольких из них, надоевших мне, я толкала в чужие постели, которые они отвергали — поначалу отвергали, а потом… потом соглашались на все. И тогда я открывала им главное: любовь соблазнительна САМА ПО СЕБЕ; ни один из них не простил мне этой науки. Какая дьявольская, злобная радость охватывала меня при виде их лиц после этого открытия: они почитали себя любимыми, а на самом деле любили наслаждение…

— А вы злая.

— Да, я была злою и вполне способна стать таковою вновь. Только нынче я безоружна.

Хендрикье долго и серьезно рассматривает ее. И наконец спрашивает, какой была другая Изабель, — та, что удалялась от двора.

А та, другая, жила в Вервиле, и по-прежнему ей было не больше семнадцати лет — возраст еще не убитого сердца; та, другая, почти верила, что можно быть счастливой без счастья, просто самой по себе. «Вервиль, тихий приют души моей! Там, в Вервиле, часы замерли, там время стояло на месте, и в этом неподвижном мире, где зов плоти не тревожил меня, я жила священным воспоминанием о человеке, который пока еще не

женился на другой».

В тот вечер, непохожий на другие, Хендрикье прилегла на постель рядом с Изабель, положила ее голову себе на плечо и долго гладила, растирала длинными теплыми пальцами ее спину, ноги. Она говорила о лошадях с разорванным уздою ртом. «Поплачьте же, — шептала она, — что, как не собственные слезы, лучше всего смывает горе». Нежные, успокаивающие слова: «Да ты погляди вокруг себя, Изабель. Я знаю, тебе это безразлично, но мы тебя любим».

Назавтра Хендрикье рассылает своих младших детей на поиски Шомона. Эктор тоже не отказался от надежды найти стряпчего, он рыщет по городу со своими людьми, но ему никто не отвечает, — уж Хендрикье-то знает своих соотечественников. Вот он и бродит как потерянный по причалам, кружит близ жилища нотариуса. Круги расширяются, но все тщетно: Шомон как сквозь землю провалился.

Не в силах справиться с нетерпением и хотя бы чуточку подождать, Изабель, пришедшая к логическому, неопровержимому выводу из сопоставленных фактов, бежит к Мадлен.

На сей раз Хендрикье не сопровождает ее, и сестры остаются наедине; молча сидят они рядом.

Мадлен еле слышно постанывает: распухшие ноги со вздутыми венами доставляют ей немало страданий.

Изабель упорно молчит, с машинальной энергией растирая ступни, лодыжки, раздавшиеся бедра сестры. Живот Мадлен ходит ходуном под толчками младенца: срок родов уже близок.

Мадлен на секунду кладет руку на склоненную голову Изабель: «Объясни ты мне, что происходит? Служанки переглядываются, перешептываются, а я ничего не понимаю. Говорят, вернулся Эктор со своими людьми. Зачем? Чего он хочет?»

— Все того же.

— Бриллианты?

— Бриллианты, Вервиль, мщения, да мало ли чего…

— Но что же еще?

Изабель пожимает плечами, ходит взад-вперед между кроватью и заиндевевшим окном, треплет сестру по бледной щеке: «Не волнуйся, все обойдется!» — и вновь беспокойно мечется по комнате. Ох, не думать бы ни о чем! — но разве остановишь поток догадок, особенно грозящих катастрофой! И, как ни крути, а сопоставление всего и ничего, сказанных слов и умолчаний, гневных и бегающих взглядов приводит к одному

и тому же выводу: случилось НЕПОПРАВИМОЕ.

Мадлен мягко удерживает ее, заставляет сесть: скажи, ты никого из этих мужчин не любила? Изабель уносится мыслями в прошлое; мир воспоминаний населен лицами, которые не выдержали испытания временем, стерлись, утратили мимику и даже нечаянное сходство. Можно было бы опереться на иллюзию, попасться на удочку собственного обмана, как это делают другие; можно бы назвать любовью то, что на самом деле есть сиюминутное желание, разодеть первого встречного в пышные одежды единственно любимого, и тогда я, наверное, сумела бы провести саму себя; но, увы, мне никогда это не удавалось, так разве удастся теперь?!

По другой миниатюре, сделанной в год ее пятнадцатилетия (это множество портретиков, прядок волос в медальонах, всех прочих невесомых вещиц, что забивают ящики комода, не собираясь покидать их, доказывает, как безумно Каппели — и мать, и сам Корнелиус — любили Изабель: среди реликвий нет ни единого предмета, принадлежащего Мадлен), по этой бледной акварели уже можно судить об отвержении того, что вполне удовлетворяет остальное человечество. Щечки Изабель еще сохраняют детскую пухлость,

но глаза — глаза готовы к презрению. Рот четко очерчен — сластолюбивый рот, но — как бы это выразиться? — лишенный той мягкости, которая часто сочетается со сладострастием, если это последнее служит целью, а не одной из многих граней любви. И уже в этом возрасте лицо ассимметрично — чуть-чуть. Вполне достаточно. Правый глаз смотрит тверже; он меньше левого и именно над ним бровь выгибается круче, придавая всем чертам неожиданное высокомерие, ту видимость отстраненности, которая иногда маскирует презрение. Вот его-то — этого глаза — она потом и лишится. Ну а второй не изменился: за жесткостью взгляда таятся глубины, открытые зову морских просторов, бушующим страстям; это взгляд безумной любви, этим взглядом отныне суждено Изабель окидывать те пятьдесят лет, что ждут ее впереди. Голодный, всепожирающий взгляд, который ничто не способно насытить, — ведь мир в конечном итоге так удивительно мал!

Мадлен робко трогает кончиком пальца поблекшее, некогда прелестное лицо, на котором безжалостная болезнь оставила неизгладимую мету и которое всегда отчаянно ненавидела: «Почему они любили тебя?»

Она спрашивает не о мужчинах, Изабель знает это, — речь опять и опять о тех, первых распрях раннего детства; Изабель глядит на сестру — прозрачную, истаявшую, несмотря на грузное тело: и правда, отчего они любили одну лишь ее, девчонку-сорванца, которая мчалась по улицам (а Мадлен за нею, умоляя: ну дай мне руку!), которая вихрем налетала на дядю Оскара с его кораблями (а Мадлен, не поспевая следом, ныла: Иза, ну погоди же!). Старшая сестра с грустными глазами, старшая сестра, потерпевшая крушение…

К чему послужило ей это избранничество — любимице родителей, солнечному зайчику семьи? Настал день, и отец оторвал ее от себя, как срывают с дерева поспевший плод; он отказался даже обнять ее на прощанье, перед тем как экипаж шестерней умчал ее во Францию без всякой надежды на возвращение.

«Он не допустил, чтобы я уехала с миром в душе, с охотою к тому, что все зовут настоящей жизнью; ему понадобилось сперва убить меня своей холодностью».

Мадлен испуганно вскидывается: «Да нет, ты ошибаешься, он же хотел как лучше!»

Нет, Изабель не ошибается, о нет! Слишком много размышляла она над этой загадкой, что-

бы ошибиться. Маркиз, поставляя ей мужчин — или поставляя ее мужчинам? — не всегда умел совладать с собственными чувствами. «И когда я увидела лицо ревности, я тотчас же признала его, — то было лицо моего отца».

«Он умер, Изабель».

«Он-то умер, да я жива. За эти восемь лет я перенесла тысячи ежедневных смертей, так что его кончина меня уже не волнует. Интересно, верил ли он в искупление грехов и в ад? Если да, то пускай его черти там поджарят хорошенько!»

Слезы потекли из глаз Мадлен: «Он ведь и потом меня не любил».

«Еще бы, не сомневаюсь, То, что отнято у одной, не так-то просто отдать другой».

«Ах, как я ненавидела тебя, Изабель, — за все, за эту явную нелюбовь, за прошлое, за настоящее. Я ведь не дура, я с первого же дня поняла, что меня выдали замуж “за твой счет”, а еще затем, чтобы сбыть меня из дому, с глаз долой. В последние месяцы жизни он совсем не выходил из спальни; раскладывал на столе твои игрушки и медальоны, твои первые золотые сережки и твой молитвенник и часами глядел на них. А потом, в один прекрасный день, сжег все дотла, лег в постель и принялся, по его словам, ждать смерти.

Он не переносил ни моего вида, ни вида…»

Женщины встречаются глазами и разом отводят их.

Они позволяют вечерним теням окутать их и сидят в темноте рядком, плечом к плечу, роняя малозначительные, сумеречные слова: а не зажечь ли лампу?

Такими их и застает Хендрикье. Она входит с плащом Изабель в руках, и та понимает: его нашли.

Да, дети обнаружили Шомона у рыбаков, которые укрывали его — разумеется, за деньги. Сейчас Шомон ждет ее в домике у порта.

Изабель уже знает, что он скажет ей; угадать нетрудно, вывод напрашивается сам собою.

Вервиль сгорел, а вернее, Эктор спалил Вервиль дотла: замок, овчарни вместе с овцами, сараи со спящими пастухами. Вервиль обращен в пепелище и отмечен слишком многими смертями, чтобы их можно было забыть. Вервиль теперь — не только потерянная земля, нынче это враждебная земля, дышащая ненавистью всех Мертеев вместе взятых.

И заодно с этим заповедным краем обратился в прах мир Шомона. Для него Вервиль был Тра-

пезундом[83], землей обетованной, убежищем, будущим. А сейчас перед очагом с тлеющим торфом сидит мелкий стряпчий, обреченный строчить мелкие кляузы по мелким делишкам; он давится от ярости и еще от того, что даже ярость эту не способен выразить во всей полноте. «Если вы захотите отомстить, — бормочет он, — то нет ничего проще. Он все еще в городе, но его молодцы уже ропщут; через несколько дней он останется один и почти без средств».

Изабель стоит не двигаясь. Шомон настаивает, и она говорит: «Я… я мщу не откладывая». Она взглядывает на стряпчего, и тот отшатывается. Эти людишки беззащитны перед ее холодным безумием. У Изабель остался лишь один из тех неведомых способов кары, которая поразит неизвестно когда и как. Нотариус уходит, ретируется, бежит по улице. И мы так и не узнали бы продолжения, если бы не Хендрикье, ибо сама Изабель ни единой строчкой не помянет Вервиль; много недель подряд не прикоснется она к дневнику, как будто языки ТОГО пламени пожрали все, вплоть до слов печали.

Хендрикье же, по давно заведенному обы-

[83] Примечания: 83

Трапезунд — древний турецкий порт на Черном море, здесь: далекая, желанная цель.

чаю, пишет своему Джоу, когда тот в плаванье, «Письма с продолжением», и Джоу, естественно, получает их лишь по прибытии и читает все подряд, как читают на берегу вахтенный журнал. Да это, впрочем, и есть журнал. Я долго недоумевала, каким образом Хендрикье, жена и дочь моряка, научилась писать, и это во времена, когда три четверти населения были неграмотны. Я просто забыла о том, что Роттердам — город кальвинистов, иначе говоря, молиться Богу возможно было, только умея читать Библию. И Хендрикье ежевечерне открывает свою Библию или сборник псалмов. Мы никогда не узнаем, зачем она рассказывает Джоу все события повседневной жизни; по ее словам, — чтобы он следил за тем, как растут его дети. И этому посвящены все ее письма — вплоть до того дня, после которого повествование касается одной только Изабель. Позже, много позже Джоу от души посмеется над этим, скрывая под весельем остатки беспокойства: ей-богу, будь Изабель парнем, я бы взревновал.

И вот что рассказывает Хендрикье:

«Ты ведь знаешь, Джоу, нелегко терять то, что имеешь. Она лишилась своего хорошенького личика и, как мне кажется, уже смирилась с этим. А вообще-то это дело привычки; я ее люблю всем

сердцем и больше не замечаю ни дыру на месте глаза, ни побитую оспой кожу. Но самое странное, Джоу, что мне никак не удается вспомнить и ее прежнее лицо. А ведь я часто видела ее в детстве. Помнишь девочку с золотистыми кудряшками, помнишь, как она подбирала юбочки над сабо и со всех ног кидалась к минхееру Оскару, в его объятия? Помнишь ли девушку с веселыми глазками, что высматривала Армана-Мари из окон "Конторы"? Мне кажется, она позабыла те времена, а может, и не желает их вспоминать. Я-то слышу, о чем она ведет разговоры с молодою госпожой — так мы зовем Мадлен, чтобы не путать ее со старой Минной, которая теперь постоянно трясется как осиновый лист. "Она" никогда не поминает те годы. Мадлен — та частенько говорит о папаше Каппеле; все доискивается, почему ее сестру любили, а ее нет, и почему он, Корнелиус, вдруг, ни с того ни с сего, отдал свою желанную дочку маркизу, который хоть и знатен был, да куда как немолод.

Я-то знаю, почему; сколько уж раз я тебе об этом толковала. Каппель застал их, Каппель увидал лица Армана-Мари и Изабель у окна; ах, Джоу, это было так красиво: их губы прильнули к стеклу с двух сторон, а широко открытые глаза сияли

от счастья. Прямо удивляюсь, как это стекло не расплавилось от жара. Мадлен не о чем жалеть: отец, так страстно любящий своего ребенка, любит только себе на утеху. Известно, что из этого выходит. Ван Хааген, отец Армана-Мари, в те времена потерял все свое состояние, — ты-то помнишь, сколько кораблей сгинуло тогда в штормах, сколько наших погибло вместе с ними. Да, все видели, что дела его плохи, и Каппель, конечно, мог бы подсобить ему, выдай он Изабель за Армана-Мари. А он вместо этого… ну да ладно, что старое поминать… Каппель умер в полном одиночестве, в пустом доме, заброшенный всеми, как сам того пожелал. Теперь его портрет плесневеет на чердаке, лицом к стене. Он до сих пор умирает, этот человек.

Изабель навела на меня ужас, а ведь я мало чего пугаюсь. После ухода стряпчего она как стояла, так вдруг и замерла, окаменела, словно опасалась сесть или сделать еще что-нибудь привычное; долго, долго это продолжалось. Я вышла из “Конторы”; тоска погнала меня прочь, молчание трещало, как стекло под ногами, я не осмеливалась глядеть на Изабель из страха прочесть на ее лице, что сердцу ее нанесена новая смертельная рана. И я сказала себе — о, я хорошо помню, как я

подумала: “Если она не придет в себя, что с нами будет?” Видишь, как мы эгоистичны, даже когда любим.

Я нагрела воду во дворе под навесом. Стоял такой мороз, что окна сплошь затянуло ледяными узорами. Я надеялась, что она позволит мне помыть себя. И вдруг я услыхала за спиной ее шаги и голос; он звучал, как обычно, разве чуть-чуть срывался на некоторых словах, точно они обжигали ее: “Помоги мне одеться, Хендрикье!”

Мы втащили лохань в кухню, и я помыла ее — в точности, как год назад, только нынче она выглядела, на мой взгляд, и вправду красавицей; хорошо хоть, в этот раз у меня хватило ума промолчать на сей счет. Она была где-то за тридевять земель от меня, понимаешь, — слишком далеко. Я обтерла ее, плача в три ручья; сама не знаю, что на меня нашло. Она пожала плечами: “Сделай милость, избавь меня от своих переживаний!” Сказала, как отрезала. Иногда она и впрямь ведет себя точно настоящая маркиза. Может, я ошибусь или не так скажу, но, видно, и ей надобно на что-то опереться.

Оспа пощадила ее высокую маленькую грудь и только слегка затронула шею, да и на теле во многих местах кожа осталась гладкой, так что

временами даже забываешь о лице, покрытом оспинами и бугорками; впрочем, если присмотреться повнимательней, то и они мало-помалу сходят на нет; мне кажется, у нее и щеки стали светлее и глаже, — щербины утратили свой фиолетовый оттенок и скоро, наверное, те, кто ее не знает, будут спрашивать себя, что это с нею когда-то приключилось.

Она выбрала то платье, что на портрете, а к нему сборчатый воротник из брюссельских кружев, еще ни разу ею не надеванный, и недаром: Саския тоже вынимала его лишь по большим праздникам; уж верно, бабка Каппелей сильно попортила себе глаза, мастеря его в свое время. Ее короткие волосы скрутились от воды, как золотистые стружки. Встав перед большим зеркалом, она придирчиво оглядела себя с головы до ног. Потом достала драгоценные украшения, — я сроду таких не видывала, теперь понятно, почему Эктор столь усердно за ними охотился! — и надела их на грудь, на голову, на руки. Ох, сколько же их было! Не люблю я их — эти бриллианты. “Я тоже!” — прошипела она мне в лицо, а я даже и не заметила, что говорю вслух. Я не все понимала, Джоу, хотя кое о чем догадывалась. Ее губы подергивала еле заметная гримаса гадливости:

“Бриллианты не горят, Хендрикье, их даже огонь не берет… а то и обходит”. — “Вот только кабы эти бриллианты не рассорили вас с ним, Вервиль остался бы цел и люди тоже”. Пойми, Джоу, ну не могла я смолчать. Она так побелела, что я подумала: “Ну, пришел мой смертный час!” Клянусь тебе, Джоу, эта женщина… она способна… ох, сама не знаю на что.

А потом она сняла все эти побрякушки и швырнула их в ветхий ларец; я узнала его, — в этом ларце ее мать хранила пару голубых вязаных пинеток и прядку светленьких, почти белых волос, и вдруг я вспомнила, что еще до Мадлен Саския родила мальчика, который умер в двухлетнем возрасте от крупа. Вот видишь, всегда есть кто-то, кого продолжают любить втайне, даже когда рядом есть новая, другая любовь; Изабель не смогла вытеснить из сердца матери этого младенчика…

“А теперь иди за ними!”

Когда она заговорила, я все еще раздумывала о том малыше и не сразу уразумела, что она требует к себе Эктора — Эктора и Шомона.

Ну и долго же мне пришлось уламывать стряпчего; сгоревший Вервиль отбил у него всю охоту к жизни. Эктор же был пьян, — непонятно, что с такого взять, но я уже смекнула, в чем тут дело:

пришло время платить долги.

Шомон прятался в полутемной передней, я стояла за его спиной, а она — на верхней лестничной площадке. Уж эти Каппели! — нравится им заставлять людей подниматься к ним.

Эктор то багровел, то бледнел, и это его не красило, он был страшон, как черт.

А у меня прямо дух захватило: мне показалось, будто там, наверху, стоит Сам — в черном камзоле, с каменным выражением лица, что не покидало его с того самого злополучного дня, как он увидел свою дочь целующей затуманенное стекло; ах, боже мой, Джоу, до чего же все люди любят пытку воспоминаниями!

Стояла зловещая тишина, — знаешь, точно перед решающей битвой. И вдруг произошло… ну, чудо, что ли; да-да, я говорю, как думаю, я ведь не шибко ученая: Изабель встрепенулась и с улыбкой сказала: “Значит, ты сжег Вервиль… ну что ж, ты хорошо поступил, Эктор, ты оказал мне услугу”. Как повел себя Эктор? Да как кот на горячих угольях. Не часто, должно быть, она звала его на “ты”.

А Изабель уже чуть ли не смеялась: “Тебе все еще нужны бриллианты?” Бедняга не знал, что и думать; в пьяном угаре он разрывался между

боязнью и желанием ответить “да” тому, на что она указывала левой рукой, что сверкало в открытом ларце.

Я чувствовала, как дрожит стоящий подле меня Шомон; на его лице ужас запечатлен от рождения, до чего же он ничтожен, этот человечишка! “Что она замышляет?” — проскрипел он.

«Отвечай же, Эктор, ты хочешь получить их?»

Он промычал наконец, что да, мол, он хочет, конечно, хочет!

«Ну что ж, иди, возьми их!»

И он пошел… как безумный, пошатываясь, он бросился вперед, его темно-багровые губы раскрылись, точно в любовном наслаждении — тьфу, от одного этого меня затошнило! — понимаешь, он решил, что наконец-то победил ее, одержал над нею верх; как подумаешь, с ума сойти можно! Ну почему такие мужчины, вроде него, вечно попадаются в ловушку к женщинам?! Это даже и не глупость; уж не знаю, что их побуждает ВЕРИТЬ чужим словам, если каждое их собственное слово — ложь.

И вдруг Эктор отшатнулся, вскинул руки к лицу, упал и с грохотом покатился вниз по ступеням. Шомон весь перекосился от ужаса, вот уж на кого смотреть противно, когда он пугается.

Я взглянула на Изабель; она стояла совершенно спокойная, держа в руке кожаный хлыст отца, которым тот наказывал собак. А мне все еще виделось лицо Эктора, всем своим существом — а не только скрюченными от жадности руками — тянущегося к бриллиантам.

Изабель с равнодушным видом оправляла платье. “Мадам! — простонал нотариус, — вы же выбили ему глаз и рассекли губы!” Она только плечами пожала: “Ничего, привыкнет, вот увидите, к этому быстро привыкают”.

Шомон удалился, волоча за собою шатающегося маркиза; тот визжал и скулил, как побитый пес. Изабель бесстрастно заперла ларец и унесла его к себе в комнату. Она двигалась точно во сне. Хотя нет, не так — все ее осторожные движения напоминали повадки слепой.

Уж не знаю, чего мы еще ожидали, но что ожидали, это верно. И дождались. В дверь громко заколотили, и раздался испуганный голос Элизы, служанки молодой госпожи. Еще накануне вечером у Мадлен начались схватки, с тех пор истекли многие часы, а она все никак не могла разродиться».

* * *

Мадлен не суждено было умереть этой ночью. Но случилось то, чего Минна боялась с самого начала: ребенок оказался крупным, а узкобедрая Мадлен сильно растолстела. Прошло уже восемь часов конвульсий, схваток и потуг, и две повивальные бабки, вызванные еще на рассвете, испуганно переглядывались: приходилось накладывать щипцы, а ведь роженица была женою Арматора города… Спешно прибывшая Минна скрывала ужас под внешним спокойствием. Именно она погнала Элизу по темным улицам к низенькому домику с наказом привести Хендрикье. И Изабель — если та пожелает прийти.

И они обе поспешили на помощь.

Среди сбитых запачканных простынь, в облаках пара от ведер горячей воды, что служанки грели одно за другим — так, словно в доме была не одна, а двадцать рожениц, — Мадлен надрывно кричала, судорожно сдавливая живот и до крови кусая губы; голова ее, облепленная мокрыми от пота волосами, моталась по подушке. «Я умру… я умру… я не хочу!» — хрипела она.

Повитухи испуганным шепотом спрашивали, что делать. Хендрикье, засучив рукава, вос-

кликнула: «Фу ты, сколько шума из-за пустяков! Лучшие в мире щипцы — вот они, дочка, перед тобой. Сейчас увидите, как ими орудуют, фру Мадлен!» Громко смеясь, она уже мылила руки, смывала пену под щедрой струей воды: «Ну-ну, успокойтесь, молодая госпожа, не вы первая, не вы последняя!» Мадлен с ужасом смотрела на нее: «Нет, ни за что, убери свои толстые лапы; Изабель, сделай это сама, умоляю, умоляю тебя!»

Женщины замерли. Минна своим тоненьким четким голоском уговаривала самолюбивую Хендрикье: у Изабель такие тонкие руки; вероятно, и в самом деле лучше…

«Ладно, ладно, все давно ясно, — пробурчала Хендрикье, — я тоже не дура, понимаю».

Изабель дрожала всем телом, как испуганная лошадь; то, о чем просили ее, разбередило столько больных воспоминаний, начиная с родов матери, с ее смерти. Саския тоже кричала всю ночь напролет перед тем, как разродиться мертвым младенцем и скончаться от неостановимого кровотечения.

Не зная, на что решиться, безжалостно кусая губы, Изабель невидяще смотрела перед собой, в пространство. Хендрикье положила конец ее колебаниям: «А ну-ка, давайте сюда ваш краси-

вый воротник да и кольцо тоже; они вам еще пригодятся на крестинах. И поторапливайтесь!»

Обвязавшись чистым фартуком и оголив до плеч руки (она скинула свой бархатный казакин), Изабель подступила к кровати.

«Кричи, сколько хочешь, Мадлен, но вставай!»

«Как “вставай”?»

«Мадлен, делай, что я говорю!»

Хендрикье долго потом вспоминала, как орущий младенец шлепнулся на колени Изабель. Она-то сразу поняла необычный ее замысел. «Вот увидите, молодая госпожа, он такой тяжеленький, что сам собой выпадет из вас».

Служанки поддерживали Мадлен, которая в неистовой надежде на избавление нервно смеялась, перемежая смех стонами.

«Вдохни и тужься, — скомандовала Изабель, — слышишь меня? Тужься и опять вдыхай, не думай больше ни о чем».

Ее тонкие пальцы осторожно скользнули внутрь, между трясущихся ног сестры. Они в замешательстве переглянулись; Мадлен, задыхаясь, но не отводя глаз от Изабель, отрывисто говорила: «Он должен родиться… обещай, Изабель!..»

«Молчи!»

«Послушай, Изабель, он должен… даже если разорвет меня…»

«Да помолчи же! Конечно, он родится, — надеюсь, ты не собираешься держать его в животе двадцать лет, этого малыша?»

«Ты же знаешь, что я хочу сказать: не заботься обо мне…»

«Да заткнись ты, Христа ради, и делай, что тебе велят! — завопила Изабель. И она оглянулась на женщин: — А ну-ка, вы, держите ее покрепче, хватит глазеть на меня».

Беззвучно молившейся Хендрикье тоже досталось: «Эй ты, прекрати молиться, как дура, лучше помоги мне. Кому сейчас нужны твои «pater noster»?![84]

Нужно было давить на верх живота Мадлен.

«Только поосторожней, она все-таки не кобыла! И не жеребенка рожает… а ну-ка, выходи на свет божий, птичка моя ненаглядная, Коллен, сыночек!»

Что-то вроде транса охватило Изабель, вызывавшую ребенка из чрева сестры; одна ножка уже показалась наружу. Глаза Изабель расширились: ребенок шел неудачно. Она ощупью нашла вто-

---

[84] Примечания: 84
Католическая молитва «Отец наш небесный».

рую ножку. Крошечные пальчики поджались от прикосновения, и Хендрикье расхохоталась: «Глядите-ка, фру Мадлен, младенец уже на подходе, да стоя, прямо как вы сами». Изабель потребовала, чтобы ее слушали внимательно. «Да-да, я тебя слушаю, говори». Нужно было спешить; голос ее стал сухим, отчетливым: «Вдохни, как можно глубже и тужься, пока я считаю. На счет «три» ты сильно выдохнешь. Поняла?»

Мадлен кивнула, сосредоточилась. Ребенок продвигался вперед медленными, почти грациозными движениями, судорожно сжимая при каждом толчке пальчики на ногах. «Он меня кусает!» — проговорила Мадлен и рассмеялась. Громко, по-мужски выдохнув, она поднатужилась из последних сил, и ребенок упал на руки Изабель под громкие стоны его матери: она родила своего малыша, она все-таки родила его! Женщины и смеялись и плакали. Изабель завязывала пуповину, шлепала младенца по розовому задику: мальчик! Младенец орал вполне здоровым громким голосом, и Хендрикье, растроганно гулькая, унесла его пеленать.

Минна, белая, как ее манишка, стояла в ногах кровати, куда вновь уложили ее невестку, и боязливо спрашивала: «Как ты себя чувствуешь,

дочь моя?» Ну, конечно, Мадлен чувствовала себя превосходно: Господи, ведь он родился, такой хорошенький, руки-ноги на месте, чего еще надо?!

Да, ребенок был великолепен. Никто из женщин еще не видал такого крупного новорожденного!

Изабель, в изнеможении уронив руки на юбку, притулилась в уголке, с пустой головой и ноющим животом, словно это она сама рожала. Страшная усталость накатывала волнами, и она беспомощно отдавалась ей, прикрыв глаза, прислонясь затылком к стене. Откуда-то издалека до нее доносился мышиный писк младенца, которого, наверное, пеленали служанки. И голос Минны: «Вы только поглядите на эти ноготочки; у Армана-Мари были точь-в-точь такие же, когда он родился». Хендрикье грубовато пеняла ей: «А ну-ка, руки прочь, фру Минна, вы его совсем заморозили, нашего мальчика, хватит вам держать его голеньким. Говорю вам, все у него на месте, все целехонько, настоящий маленький мужичок. Эй, а вы чего пялитесь, живо, займитесь-ка молодой госпожой!»

Вокруг большой кровати поднялась суета, замелькали в воздухе простыни. Минна что-то шепнула на ухо Элизе, и та кинулась к двери, крича на ходу: «Погодите, не перестилайте постель,

пока я не вернусь, фру Минна дает парадные простыни!»

Хендрикье приводила в порядок обессиленную Мадлен; обтирая ей живот губкой, кладя компрессы и мази, она приговаривала: «А ну-ка давайте затянем потуже весь этот жир, теперь даже и не думайте переедать, а то он вернется и застанет вас толстую, как бочка, — сами скажите, будет ли он доволен?»

Служанки согласно кивали и вдруг спохватились: а ТА-то куда подевалась?

А ТА уже спала глубоким сном, припав щекой к бархатным занавесям, безвольно свесив руки.

Женщины растерянно замерли: что же делать? «Положите ее рядом со мной!» — шепнула Мадлен, приподнявшись на локтях. Служанки дотащили Изабель до разоренной постели.

«Э-э, нет, погодите, тут же все мокрое!» — закричала Хендрикье, всплеснув руками.

Откинувшись на подушки, Мадлен следила за женщинами, суетящимися вокруг нее. Их ловкие руки щупали ткань: «Глянь, какие кружева, Хендрикье, вот так красота! Никак это ваши свадебные простыни, фру Минна?»

От белья шел слабый, долго укрывавшийся в складках аромат флердоранжа и сытный запах

горячего утюга, когда им гладят после стирки влажное полотно.

Изабель бурно ворочалась во сне, и теперь ее голова приникла к бедру Мадлен; та разглядывала лицо сестры с умиленным вниманием: некогда, в их детской спальне, Изабель лежала точно так же, свернувшись калачиком; знакомые сонные позы согревают сами по себе — что сердце, что тело. В конечном счете мы никогда не бываем вполне счастливы.

Сестер уложили рядышком; Изабель тотчас привалилась к сестре, нетерпеливо поморщившись во сне. «Холодно», — пробормотала она. Женщины закатились смехом, держась за бока. Мадлен вспоминала их охи и ахи, когда они впервые увидели это обезображенное лицо. Уже год прошел с той поры… нет, больше года. Да, верно, ко всему привыкаешь. Несмотря на пустую глазницу, Изабель никого больше не пугала. Занимался новый день, а сон все не шел к Мадлен. Ей уже показали сына, приложили к груди, но крошечный ротик сосал недолго; ребенок тут же уснул, под его прозрачными веками подрагивали глазки, которые он покуда прятал ото всех. Мадлен грезила, Изабель рядом спала непробудным сном. Теперь она лежала на спине, и Мадлен, при-

поднявшись на локте и разглядывая в полутьме сестру, ощутила, как больно сжалось у нее сердце: ее мирно спящая сестра, чей мертвый глаз был сейчас едва заметен, казалась почти красивою. И когда ОН — и он тоже! — привыкнет к этому, что будет с нами?

Наконец она впала в легкую, почти незаметную дремоту, но даже и в забытьи все ощущала странную пустоту в теле, наводившую на нее сладкую грусть: никогда больше Коллен не будет принадлежать ей так безраздельно, как в прошедшие недели…

Несколько часов спустя она проснулась в каком-то влажном тумане; тошнота и головокружение подступали к ней, кровь яростно билась в висках. «Мне дурно, дурно!» — простонала она. Изабель склонилась над сестрой и в ужасе отпрянула: «Боже, что с тобой?»

Блестящее от пота, багровое лицо Мадлен вздулось, глаза дико вращались в орбитах. Внезапно ее начало корчить, жестокая судорога выгибала ноги во все стороны. Прибежавшая на шум Хендрикье сжимала пылающие плечи Мадлен. Элиза, посланная за Минной и врачом, уже мчалась по коридору так, словно за нею гнались.

Два дня подряд, упорно отказываясь смирить-

ся с очевидным, все боролись с эклампсией[85]. Мадлен чувствовала, как тело отказывается подчиняться ей, как путаются мысли, уходит сознание, но и в полубреду упрямо твердила: «Не хочу, не хочу умирать!» Уже заплетался язык, закатывались глаза, а она все сопротивлялась: «Не хочу умирать… не сейчас…»

Время от времени кто-то чужой властно завладевал ее членами, ввергая их в безжалостную, мучительную пляску, отнимавшую последние силы. Глаза, помимо ее воли, так бешено вращались, что, не поворачивая головы, она видела все пространство спальни. В эти минуты рассудок Мадлен гас, и она слышала один лишь жалобный, не достигающий даже губ, а бьющийся где-то там, глубоко в голове стон: «Спасите меня, я не хочу умирать!»

На третий день судороги и конвульсии участились, и Мадлен впала в почти полное беспамятство. Ребенок непрерывно плакал и отказывался брать грудь; все тельце покрылось водянистыми пузырьками: молоко Мадлен отравляло его.

Тем временем родила и Аннеке. Хендрикье исчезла, появилась снова и так и бегала из дома

---

[85] Примечания: 85

Эклампсия — поздний токсикоз беременности, опасный для жизни матери и ребенка.

в дом, совещаясь с Изабель и Минной. А Мадлен, страшная до неузнаваемости, лежала в забытьи, в тошнотворных запахах, исходящих от нее, несмотря на то, что ее заботливо обмывали после каждого припадка. Она приходила в себя лишь в те редкие минуты, когда ей приносили ребенка, но впадала в беспамятство еще до конца кормления.

«У Аннеке молока хоть залейся, фру Минна, а на бедняжку Коллена прямо смотреть жалко, — худеет, срыгивает…»

Хендрикье явно была права, но ни та, ни другая из женщин никак не могла решиться. Изабель, с бьющимся сердцем, размышляла: ну вот будь я больна и ребенка оторвали от меня, разве я бы не умерла? И она повернулась к кровати.

Мадлен, худая, как скелет, с раздувшимся животом, лежала без сознания. Минна вздохнула: «Унеси ребенка, Хендрикье, я беру всю ответственность на себя; если она захочет его увидеть, мы всегда успеем принести его обратно». И они безнадежно переглянулись: Мадлен умирала.

Теперь в комнате слышалось только хриплое, натужное, прерывистое дыхание больной. Изабель глядела в окно: служанки стелили солому на улице перед домом; да, никто больше не надеялся

на благополучный исход. И она горько подумала: «Нет, никогда я не привыкну к этому».

Шли часы. Конвульсии у Мадлен прекратились, но это был скверный признак. Она больше не двигалась, и, однако, что-то еще звучало в этом теле, словно его непрерывно сотрясали изнутри невидимые бури. Курильницы с благовониями уже не заглушали запах смерти; Изабель, борясь с отвращением, признавалась себе, что оно мешало ей предаваться скорби: решительно, бедняжке Мадлен не везло с сестринской любовью.

Вернулась, вся в снегу, Хендрикье, глянула на Мадлен, поморщилась и безжалостно объявила: «Эту ночь она не переживет».

«Молчи!»

«А чего молчать, надо смотреть правде в глаза. Схожу-ка я за пастором и за нотариусом. О чем вы только думаете, Изабель? Она умрет, а вам еще жить да жить, и уговор между вами заключен только на словах».

«Арман-Мари предупрежден, я знаю».

«А ну как он не вернется? Или вернется лет через десять, такое тоже бывало. Что станется с Колленом? Отец его далеко, фру Минна тоже не вечная, кто же им займется?»

Нотариус, бледный, тщедушный человечек,

отшатнулся, едва переступив порог, и спросил, не заразна ли болезнь. Он тоже брезгливо морщился: «Нельзя ли перейти в другую комнату, менее… э-э-э… где побольше воздуха?»

Минна тихонько плакала: «Я любила ее, поверьте, Изабель». Изабель возмущенно вскинулась:

«О, пожалуйста, не хороните ее раньше времени!»

И, взглянув на оробевших служанок и нотариуса, мимолетно подумала, что, пожалуй, это не так уж плохо — в нужный момент почувствовать себя маркизой и дать понять это окружающим.

И, однако, именно Минна вытолкала всех прочь из спальни, чтобы пастор, с его монотонной скороговоркой, смог «облегчить» умирающую. И она же передала опеку над Колленом Изабель, заявив ей своим тоненьким, неожиданно сухим голосом, что ни одно завещание в мире пока еще никого не убило: да хоть бы и убило, Изабель, это такое же путешествие, как любое другое. Мы ведь не оставляем входную дверь настежь распахнутой, когда уезжаем.

Мадлен скончалась в скорбном экстазе забытья. Молитвы и последние напутствия остались неуслышанными; выходя от нее, пастор прошептал, что его позвали слишком поздно. Изабель

не ответила.

Перед смертью больная попросила принести ей ребенка, но то была еле слышная, косноязычная мольба затуманенного, почти мертвого сознания. Хендрикье покачала головой: пока Коллена доставят сюда, она уже скончается.

Мадлен шарила вокруг себя, трогала вздутые груди и живот боязливыми, какими-то птичьими движениями. Почерневшие губы шептали, вдыхали и выдыхали только одно слово: Коллен! — это имя стало ее дыханием. Изабель тихонько прилегла к сестре, приникла щекой к слабо вздымавшейся груди, ласково погладила судорожно напрягшиеся плечи. Когда она коснулась губами соска, Мадлен открыла глаза и улыбнулась. Пальцы ее робко пробежали по коротеньким волосам: а-а-а, это ты, Иза? Так они и лежали рядышком, умиротворенные. Изабель согревала щекой грудь сестры, тихонько целовала ее, ощущая на губах горький привкус молока. Ей думалось о водах, непригодных для питья, которые, тем не менее, очищают, освящают: кажется, я испила от некоторых из них. Во время оспы я узнала вкус целебных отваров; когда Эктор насиловал меня — вкус едкого мужского пота, а задолго до того — вкус слюны, выпитой со столь-

ких нелюбимых губ. «Ты ему расскажешь обо мне… потом, позже…» — проговорила Мадлен.

Хендрикье, сидя в ногах постели, молча глядела на сестер. Стояла тишина, только за окном слышался распев молочника да звон его горшков. В этот час Мадлен умерла.

* * *

В своем дневнике Изабель ставит печальную дату и пишет: «Люди всегда умирают на заре, думается мне, — на заре жизни, на заре дня, на заре времени года. Это солнцу нужна уйма времени, чтобы закатиться…» Здесь же она отмечает, что в тот день вновь стала женщиной и, со свойственной ей точностью, указывает, что месячных у нее не было больше года.

Она сама обмыла и обрядила покойницу — молча, без отвращения; надела на нее пышное свадебное платье; в нем-то и ушла Мадлен в землю, скрестив на груди руки без перстней, падавших с ее исхудалых пальцев, зато на губах ее лежало обручальное кольцо Армана-Мари. Хендрикье опустила в вырез белого платья тоненькую шелковистую прядку светлых волос, срезанных за ушком Коллена.

И жизнь потекла дальше, очень быстро войдя

в будничную колею. Вечно голодный крикун Коллен занимал все время взрослых, отвлекая от бесплодных печалей по усопшей оставшихся в живых.

Вместе с возвратом к жизни Изабель вновь ощутила и жажду вольных странствий. Ничто не располагало к ним, особенно теперь, но факт остается фактом: ей опять не терпелось уехать.

* * *

Итак, она возобновляет свой дневник и довольно скоро между фактами, посвященными Коллену — отчетами о мелких, но славных событиях его жизни, первом зубе, первой улыбке, — появляется запись: «Этот городишко мне слишком тесен. Я начала размышлять над тем, что называют «большими морскими портами». В сущности, это обширные пространства, которым суждено развиваться только наполовину, города, которым разрастание идет во вред, ибо они могут увеличиваться лишь с ТЫЛЬНОЙ своей стороны. Поворачиваясь лицом к ТВЕРДОЙ ЗЕМЛЕ, к суше, они уподобляются человеку, вдруг осознавшему опасность внезапного нападения сзади, предательского удара в спину.

Замените «обширные пространства» пред-

местьями, часть города, обращенную к суше, строительными площадками, окраины — кольцевой дорогой, и перед вами социально-урбанистический срез 70-х годов нашего века. Вот что привлекает меня в этой женщине: она целиком принадлежит своему времени, но ее так ЛЕГКО понять, находясь в нашем; стоит ей взяться за перо и подробно описать быт той эпохи, как она обгоняет свой век.

Я возвращаюсь к уже сказанному, возвращаюсь еще раз: случайных или, если хотите, нечаянных биографических исследований не бывает. Изыскатель всегда углубляется в «неведомую область», имеющую над ним колдовскую власть, ибо смутно провидит или надеется (иногда и против воли), что она имеет родство с его собственной территорией. «Ах, я ничего не знаю, пока сам не определю себя, пока не выясню, где он — мой ареал! Когда я летаю, я орел, но ведь рано или поздно приходится спускаться на грешную землю!» Да, приходится, только где и как — вот что важно. Чужой опыт, что бы там ни говорили, полезен, но тогда лишь, когда он достигает вершин универсальности, перестав быть чьим-то личным, тщательно укрытым сокровищем и сделавшись всеобщим достоянием. Сей факт не всегда хо-

чется признавать; является сильное искушение восстать против него, словно оригинальность заключается в отрицании самого общего знаменателя. Изабель — это форма, в которой отольют меня, — разумеется, много поколений спустя и со многими поправками на сходство. Как и она, я обезображена, — тот же вытекший глаз, та же горькая складка губ — подарок откровенного зеркала. Ну а различие? Я смотрю на себя. Не знаю, зачем, но я на себя смотрю. Может быть, оттого, что моя «потеря» — глубже. О красоте я знаю лишь то, что вижу на стороне, — на одной стороне, ибо родилась на свет с глазом, выдавленным акушерскими щипцами. Только богачи пользуются такими привилегиями… при моем рождении не нашлось ловких рук, что помогли бы моей матери разродиться, и не оказалось рядом с ней любящей сестры с ее остроумной выдумкой, а у нее самой не хватило жертвенности, требующей: «Пусть даже ребенок разорвет меня, но останется цел!» Таких, как Мадлен, полно, только они не повторяются в одном и том же семействе… Она — моя мать — кричала: «Кончайте с ней, уберите от меня это чудовище, я рожу другую!» О чем моя бабушка не преминула осведомить меня, когда я достигла сознательного возраста: моя смерть

только утешила бы всю родню.

Но увы! «Мы вытащили ее, мы вышли из положения», — мямлил врач. Да, верно, он-то и вправду вышел. А мое детство стало вереницей всяческих ухищрений, сложных причесок, асимметричных челок. Мое отрочество прошло в вечном страхе перед ветром, взметающим волосы со лба… страхе перед взглядом моей матери. Я блестяще училась в школе. «Конечно, это частично компенсирует… — говаривала она, — но все равно, мы боимся показывать ее людям».

Кто способен утешиться отражением в холодных, безразличных глазах близких? Мой отец не удостоил меня даже попыткой инцеста, а она — она меня прятала.

Двумя годами позже мой брат Диэго выскочил на свет божий, как пробка из бутылки шампанского. «Хоть этот-то родился мамочке на радость», — твердила она умиленно.

Испытывала ли я горечь? О, я не собираюсь проклинать судьбу. Несчастный случай, — что тут поделаешь! Нет, другое мучит меня: ненависть к ней. Мне недодали то, что причитается ребенку по праву рождения, — безоглядной, бескорыстной любви. Конечно, я требую слишком многого. И, однако, мне, как и вам, приходилось встречать-

ся с существами, которым природа не подарила ничего лишнего. Она скупо отмерила им лишь необходимое, но это, по-моему, уже есть красота. Быть уродливым не мешает оценивать уродство или, скажем так, взвешивать долю уродства, видимую на чужом лице…но разве это стирает свое собственное безобразие? Вот где самое больное место. Я знаю массу мужчин и женщин, лишенных, что называется, особых преимуществ; они, тем не менее, ведут себя по-королевски, они царят в обществе. За ними бегают поклонники, их ласкают, их любят; они похожи на бриллианты, выпачканные в грязи, на конфеты без коробки, но окружающие забывают о перекошенном рте, о незрячем глазе, о горбатой спине или хромой ноге человека, который проходит по жизни с торжествующим взглядом, с ликующим смехом, суля другим золотые горы, олицетворяя собою возрождение, победу. Они могут сколько угодно косить и заикаться, иметь заячью губу, кожу, сожженную огнем или кислотой, тело, покалеченное войной или автомобильной катастрофой (и действительно, при виде их вздрагиваешь от страха, чтобы не сказать — от гадливости), но они живут, заражая других своим жизнелюбием, повелевающим забыть об их уродстве: ИХ В

ДЕТСТВЕ ЛЮБИЛА МАТЬ. Вникнешь в суть такого человека, презрев внешние изъяны, и начнешь спрашивать себя: а так ли уж нужна красота? Ведь она эфемерна — настолько, что иногда я готова удовольствоваться скромной правдой, скроенной по моей мерке. Красота ни на один день не отсрочит смерть, а, может, наоборот, способна даже приблизить ее…

Коллен отнимает у Изабель куда больше времени, чем она хотела бы посвящать ему; все чаще понимает она, испытывая короткие приступы нежности, смешанной с раздражением, какая это бездонная пропасть — ребенок, а что уж говорить о двоих! Ибо Аннеке и ее сын тоже переселились в портовый домик, под крылышко Хендрикье, и жизнь их, нужно сказать, протекает весьма скромно и лишена какой бы то ни было роскоши. Несмотря на мольбы Минны, Изабель решительно отказалась перебраться в богатый городской дом. Пришлось его запереть. Две служанки продолжают поддерживать там чистоту, приходя только днем: ни за какие горы золотые мы не останемся тут ночевать! — объявили они. Изабель не захотела даже взять ключи; одна Минна время от времени наведывается в дом, боязливо отворяет одну за другой двери в анфи-

ладе опустелых, безжизненных комнат. Гробовая тишина обволакивает ее, и она бежит прочь, с колотящимся скорбным сердцем. Минна любила Мадлен.

О, это вовсе не означает, что она ненавидит Изабель. Но ее страшит этот непроницаемый взгляд, пустая красная глазница. А ведь один Бог знает, сколько всего связывает их… Минна, до безумия обожающая Коллена, словно сама его родила, каждый день заходит проведать внука, высылая вперед себя служанку, испрашивающую дозволения на визит. В один прекрасный день Изабель принимает старую даму с резкостью, которая отличает ее в те дни, когда ее снедает жажда ночных похождений (она теперь никогда не поддается ей!), молчаливых блужданий вокруг портовых кабаков, хриплых песен в табачном дыму и в пьяном моряцком угаре. «Минна, — кричит она, — мне надоели ваши подходцы, вот вам ключ, приходите — или не приходите — как вам угодно, только не подсылайте сюда больше эту овцу, она до сих пор боится на меня взглянуть!»

Ее единственный глаз гневно сверкает, тон жесток, чтобы не сказать жесток, а ведь она дарит Минне счастье и знает это. Минна вцепляется в связку ключей и в протянувшую их руку: «Иза,

Иза, большей радости вы мне доставить не могли!» Она гладит длинные пальцы, смотрит прямо в лицо Изабель — на сей раз без всякого замешательства — и улыбается: «Вам очень идет этот зеленый бархат!»

Ибо отныне мертвый глаз прикрыт бархатной повязкой, и у нее есть отдельная история. Хендрикье эта история восхитила до того, что она поведала ее Джоу в одном из своих знаменитых «писем»: «Ты ведь знаешь, она выставляла напоказ пустую глазницу, как некоторые размахивают своею культей; ну так вот, нынче с этим покончено. Никогда не угадаешь, кто тому причиной, — Коллен!

Этот упрямец твердо решил жить с закрытыми глазами, что бы ни делал: улыбался ли, сосал грудь, снова улыбался, когда Аннеке гладила его или молочный брат молотил кулачками. И ведь не спал же он круглые сутки! Но ничто не могло заставить его разомкнуть веки — ни голоса, ни прикосновения, ни даже голод, когда Аннеке, занятая другим, вынуждала его криком требовать свою долю. Никто из нас не мог бы сказать, какого цвета у него глаза. Аннеке пробовала приподнять ему веки, — он заплакал; пыталась застать его врасплох — ничего у нее не вышло. Он словно

играл с нами в прятки; сперва мы досадовали, а потом и всполошились. Я забыла сказать, что Изабель часто, едва ли не каждую четверть часа заходила взглянуть на него, но никогда не брала на руки.

Три недели спустя Минна, которую Коллен удостаивал взглядом не больше, чем нас, прошептала: “А что, если он слеп? Вдруг…” И все мы, вместе с нею, повернулись к Изабель. Может быть, он слишком задержался в животе у своей бедняжки-матери, а может, ее отравленное молоко сделало свое дело…

Изабель пожала плечами: “Глупости!” Мы продолжали настаивать. Она пришла в бешенство — как всегда, молча. Это выглядит так: сперва хмурится лоб, потом надменно вздергиваются брови, ну а дальше и смотреть неохота: пустая глазница наливается кровью, прямо страх берет. Она пошла в спальню, засучила рукава, нагнулась над колыбелькой. Коллен махал ручонками над головой и гулькал. Веки у него тоненькие, почти прозрачные, на левом бьется голубая жилка, — Господи, до чего ж он хорошенький, Джоу, ты и представить себе не можешь! Должна признать, он куда красивее нашего Виллема, и вовсе не потому, что старше его на два дня.

“Распеленай-ка его, Аннеке”.

Когда Коллен остался совсем голеньким, Изабель брызнула ему на животик несколько капель холодной воды. Он вздрогнул, как испуганный козленок, но не заплакал, не рассмеялся, а главное, и не подумал открыть глазки. “Ну, это будет почище, чем игра в пробки[86]”, — воскликнула Элиза. Тут даже Изабель призадумалась. Иногда я спрашиваю себя, что у нее там творится в голове — или в сердце; губы ее горько скривились, и мне показалось, что она дрожит. И вдруг она схватила Коллена на руки. Я уже говорила: за все три недели она и пальцем к нему не притронулась — с тех пор, как он плюхнулся к ней на ладони, словно сбитый с ветки орех. И — ты не поверишь, Джоу! — он тотчас перестал гулькать, дрыгать ножками и ручонками; он открыл глаза — широко-широко! — и глянул прямо на Изабель. У него оказались серые, точно как у его отца, глазки — цвета не то воды, не то неба; красивые глаза из тех, что называют переменчивыми и что на самом деле обещают суровый, твердый взгляд, уж ты-то знаешь.

Изабель медленно приблизила его к себе, к

---

[86] Примечания: 86
Игра, состоящая в сшибании монет, лежащих на пробке.

своему изуродованному лицу. Коллен все так же спокойно глядел на нее. И тогда она расплакалась и начала обцеловывать его крошечное тельце. Ей-богу, она прямо-таки омыла его своими слезами! А мы, взрослые дуры, стояли рядом и сморкались, будто на всех нас разом напала простуда.

Вечером я застала ее перед венецианским зеркалом; она серьезно разглядывала себя, прикрыв ладонью пустую глазницу. Она казалась не раздраженной — как в те дни, когда шипит на всех змеей, — а просто задумчивой, и мое появление не смутило ее. Вот с тех-то пор она и прикрывает глаз бархатной повязкой в цвет с платьем. О, не постоянно, нет, — это раздражает, мешает ей, — но как может часто. Причем она надевает ее ради нас — так мне кажется, — и всегда снимает, беря на руки племянника. Видишь ли, важен первый шаг: теперь она даже злится, видя, как Аннеке кормит его. Но это единственное, что она позволяет ей делать с маленьким, да и то потому, что не может кормить его сама».

Вся эта сложная, раз и навсегда пущенная в ход механика чувств не устраняет, однако, глухого раздражения. К счастью, Изабель мыслит достаточно логично, чтобы понимать: оно направлено против нее самой. Она начинает действовать.

Постепенно и большей частью благодаря Минне она завоевывает город или, вернее, богатые дома Верхнего города. Там ее судят и, естественно, осуждают: разве не продолжает она «посещать» порт?

Но зато против ее опеки над Колленом никто возразить не может, а против финансовой власти — и не хочет. Один из кораблей Армана-Мари прибыл в порт и отплыл обратно, прихватив с собою мужчин, соблазнившихся фантастическими рассказами о заморской богатой и безлюдной стране. А потом, разве все, что говорилось о Городе, строящемся на берегу Атлантического океана, при слиянии двух больших, то ленивых, то бурных рек, не напоминает местные стародавние приключения? Им описали зыбучую почву, дамбы, ограждающие сушу от моря, подступившие к берегу пески, богатейшие края в глубине материка; слово «богатство» одновременно и пугает и манит. Богатство вроде бы предосудительно, но оно существует и с ним приходится считаться, а, кстати, что это такое — «богатейший край»? Невредно бы глянуть своими глазами… вот и вышло, что в Роттердаме остались одни старики, женщины и дети. Старики дряхлеют, детишки подрастают. А пока решающее слово незаметно

переходит к женщинам. У Изабель развязаны руки.

Вновь появился Шомон; решительно, он привязан к Изабель, как к последнему бастиону своих нотариальных чаяний и надежд; он курсирует между Францией и Роттердамом и, возвращаясь из этих таинственных экспедиций, обиняками доносит ей: во Франции, а особливо в Париже, народ бурлит. Но Изабель так просто не обманешь: она смотрит на него, она видит его насквозь, под ее взглядом он невольно краснеет, ему не нравится этот взгляд (но тогда почему он все-таки каждый раз возвращается?). У нее тоже острый слух, ей известно, о чем болтают в городе: Шомон действует за спиной нынешнего муниципалитета (не очень-то популярного).

Он похудел, Шомон, он спал с лица; былое ханжество уже не сдабривает елеем его губы и слетающие с них слова.

Нынче же с них срываются яростные филиппики — гладкие, будто загодя приготовленные, но произносимые с глубокой убежденностью экспромта; Изабель легко распознает их источник — «теоретические страсти», безобидная мстительная накипь, что выплескивалась из обмена великими идеями, походя брошенными

собеседнику на придворном бале. Будучи маркизой, она называла их авторов умствующими развратниками. «И верно, — вспоминает Изабель с добродушным удивлением, — меня забавляли их словесные игры, увлекала эта пустопорожняя риторика…»

«Вы меня не слушаете, мадам Изабель».

Она смотрит на него: и правда, она его больше не слушала. «Не стоит перенимать парадоксы у тех, кого вы собираетесь изничтожить, Шомон!» Тот яростно краснеет, вскакивает с места: «Послушайте, я и не думал!..» Ну конечно, думал. Она дергает его за полу камзола: «Да сядьте же вы! Я ведь не упрекаю вас, просто предостерегаю». Он жаждет потеснить высшее общество, и это явственно следует из его речей и поступков (она ведь не слепая, всего лишь кривая!), но не для того, чтобы изменить это общество, а чтобы втереться в него.

«Шомон, у вас слово “народ” с языка не сходит, вы его обсасываете, как конфетку».

Оба они слишком хорошо знают, что тот, кто без конца взывает к народу или говорит «от его имени», на самом деле просто-напросто рвется к власти — над народом или с помощью народа, это уж безразлично.

«Вас ведь не аристократы раздражают, а их положение, место, на которое метите вы сами, вот и все. Ваши планы — мелкая стратегия, Шомон, вы отстали от времени».

Шомон бледнеет, стискивает кулаки: «Маркиза, ваше презрение тоже не ко времени!»

«Ну-ну, не беситесь, — смеется Изабель, встав и смерив его взглядом с головы до ног, — мы с вами вырвались из одного осиного гнезда, старина. Да и я-то маркиза всего лишь по праву постели. Такой язык вам, надеюсь, понятен? Ваш батюшка, который любил играть словами, говаривал: “Мадам, главное — попасть в нужное место!” — кому и знать это, как не вам. Его приводили в восторг подобные выверты. А вы — вы недостаточно дерзки, зато чересчур воинственны».

Она подходит к нему поближе, вкрадчивая, недобрая. «Шомон, когда жизнь — или, если хотите, смерть — добирается до вас, бьет наотмашь, МЕТИТ, чтобы потом легче признать, вы многое открываете в себе и других, оказавшись на том месте, что она уготовила вам ПОСЛЕ… Бойтесь революций, друг мой, — они, как и все остальное, представляют собою лишь то, что людям удалось из них сделать».

Все это не мои выдумки. Я лишь восстанав-

ливаю обстоятельства, кратко изложенные в ее дневнике. Например, дату 28 июня 1789 года. Она записывает — с необъяснимой яростью (если уж держаться точных определений), разбрызгивая чернила, царапая пером бумагу, словно черт когтями провел: «Шомон не без отчаяния открывает для себя истину: мир не так-то легко изменить. Народ ропщет в первую очередь из-за нехватки хлеба; по убеждению же Шомона, он восстает за идеи. Оно, может, и так — когда люди едят досыта; если же они голодают, то им не до идей. На самом деле Шомон, в своих отношениях со мной, словно по канату ходит. Я так же незнатна, как и он; по его мнению, мне суждено было возвыситься лишь затем, чтобы потом больнее упасть. Ему понадобилось много времени, чтобы убедиться в незначительности потери — затронувшей только лицо. Захоти я — и завтра же смогу без всякого риска отпереть дом в Верхнем городе и пригласить к себе городских старшин. И они придут без всяких колебаний. Хотя знают обо мне все и даже больше. Но ведь я распоряжаюсь состоянием нашего Коллена. Золото, ах, золото! Здесь никто и в руках не держал ассигнаций господина Лоу, а золото не пахнет и бриллианты — тоже.

В сущности, этому человеку не хватает вот чего:

пережить страдание, ощутить страх перед настоящим и взглянуть на грядущее глазами того, кто распрощался с прошлым. Я больше никого не соблазню красотой, что верно, то верно. А чем же еще владеем мы, женщины, дабы подхватить поводья судьбы на всем скаку? Революция… мне она грозит лишь одним — обогащением, но мне не нужно богатство. Да и думала ли я когда-нибудь о нем всерьез, несмотря на все мои усилия вернуть украденное наследство, сберечь бриллианты? Я разоряла маркиза вовсе не для того, чтобы сколотить себе состояние, не это было моей целью. Маркиз умер слишком рано, он не успел увидеть того, над чем я трудилась многие годы. Да и кто увидел это?!»

Изабель не обманывается; она глядит за окно, как глядела некогда, но высматривает там, видит там не высокий мужской силуэт, не танцующую походку, что превращала хрупкого юношу в рыцаря ее ночных, еще девических грез, а ВРЕМЯ, быстротекущее время. Теперь она вполне готова к отъезду. Ей ведомо множество вещей, неизвестных Шомону, который воображает, будто служит ей вестником, а на самом деле демонстрирует лишь собственную реакцию на события. Перед медленно вздымающейся волной, перед надвига-

ющейся стихией, которой стряпчий и имени-то не подберет, он прячет голову в песок, робко мечтая о власти в ЧЬИХ-ТО ОДНИХ руках, на добрый буржуазный манер. Итак, слово пока не найдено, зато принцип — тут как тут. Если бы король-слесарь взял за себя супругу-мещанку, он сохранил бы и трон и голову. Если бы Мария-Антуанетта походила на Марию-Амелию и вместо пастушков, овечек и молочных ферм увлекалась бы рагу с луком, то Людовик XVI уподобился бы Луиилиппу и Франция обошлась бы без Террора[87].

Но Шомон, так же, как и австриячка[88], НЕСОВРЕМЕНЕН. Он никак не может представить себе грядущие события. А Изабель может: их ждет террор, а за ним иллюзорная свобода пролетариев, управляемых процентщиками.

С недавних пор Изабель все чаще подсаживается в тавернах за столы к мужчинам; теперь она поет редко — ей больше нет нужды лелеять свои горести, она предпочитает слушать, и все в этих

---

[87] Примечания: 87

Мария-Антуанетта (1755–1793) и Людовик XVI (1754-17930) — королева и король Франции, гильотинированы во время Великой французской революции. Мария-Амелия и Луиилипп — королева и король Франции в 1830–1848 гг., поддерживаемые либеральной буржуазией. Террор — период Великой французской революции, в течение которой были казнены тысячи аристократов, священников, военных и проч.

[88] Примечания: 88

Австриячкой французы пренебрежительно звали Марию-Антуанетту.

беседах, где хмель путает слова, но не мысли (in vino veritas![89]), убеждает ее, что Бог и Король утратили свой авторитет в наступившие голодные времена. И это уже проявляется во всем, не только и не столько в нищете. Крах Лоу — лишь короткий, почти анекдотический эпизод в общей цепи явлений. Изабель догадывается, что скоро клочок бумаги под названием «вексель» обретет несметную цену, за ним станут гоняться, его начнут покупать и продавать, и выгоднее будет заставить работать золото, нежели человека. Для того чтобы выжить, финансовая система должна сменить форму, и нынче настал час этой, с позволения сказать, эволюции. В Изабель говорит инстинкт дочери суконщика. Бунт больше не подвластен старым средствам подавления, ад больше не существует где-то там, глубоко, под землей, он здесь, рядом. И выглядит весьма реальным.

Что же до «внешнего обличья», до всех этих дурацких королевских указов, актов правительственного произвола, в общем, пузырей, которые пускает идущий ко дну режим, то… 21 июля торжествующий Шомон наконец может злорад-

---

[89] Примечания: 89
Истина в вине *(лат.)*.

но известить Изабель о том, что народ — по ее словам, слишком оголодавший для борьбы за идею, — кажется, нашел в себе силы выразить возмущение существующим режимом, а именно: взял штурмом Бастилию и сровнял ее с землей. Изабель с усмешкой глядит на него: «Шомон, хотите, заключим пари, кто окажется ловчее — так называемые повстанцы или те, кто держит в руках все нити?»

И, однако, в тот же вечер она отправляется в лачугу старика Жозе, чтобы порасспросить его. Конечно, он слишком стар, чтобы воевать с англичанами или лезть на рожон из-за всяких там идеалов, но для контрабанды или свежих новостей поздно никогда не бывает. Что ему обо всем этом известно? Что он думает? В душную июльскую ночь Жозе ведет ее на берег моря, показывает на барашки волн, лижущих подножия дюн. Вот чему, говорит он, можно вериться; море — оно никого не разбирает. Ты спрашиваешь, волнует ли, пугает ли меня вся эта суматоха, поднятая теми, кому жрать нечего, — да Господь с тобой, дочка! А ну-ка выкладывай начистоту, что ты хочешь знать на самом деле? Изабель молча глядит на песчаные холмы и наконец вздыхает (а я лишь подхватываю ее ответ): спрашивай не

спрашивай, разве что-нибудь изменится, когда судьба тебя настигнет? Ты ведь знаешь, в больших передрягах страдают и гибнут всегда одни и те же.

Старик хватает ее за плечо цепкими, словно орлиные когти, пальцами: «А ну, прикинь, дочка, с какой стати тебе бояться; конечно, в Верхнем городе тебя не шибко-то любят, ну да делать нечего, денежки все равно у тебя в руках. Зато в порту нашем ты в чести, не смотри что богачка, — чего ж тебе еще? Да и Хендрикье готова глаза выцарапать каждому, кто вздумает наложить лапу на твой дом».

«Да не о том я забочусь; слава Богу, сама зубами и когтями не обижена. Нет, Жозе, я смотрю дальше, у меня другая забота. И не столько о Коллене, сколько о Минне: если я уеду…»

Она задумчиво умолкает. Жозе пялится на нее, словно впервые видит: черт подери, да ты, никак, рехнулась! Ехать во Францию… Ну что ты там забыла? Пускай они все там кишки друг другу повыпускают!

Изабель шепчет: «Ты же знаешь, такие вещи всегда выплескиваются наружу, для сумасшедших идей нет границ. Старики — те на обман не поддадутся, ну а молодые проглотят нажив-

ку, точно просфору, и мы, Жозе, мы окажемся в самом пекле… Если ты воображаешь, что Хендрикье способна усмирить целую толпу, то это ты рехнулся, а не я».

Потом, в припортовой таверне, она поет томительно-медленную песнь, и в голосе ее звенят все сокровища Индии, вздымаются волны морских дорог; если бы в этот миг корабли подняли якоря, все моряки до одного кинулись бы на борт, зачарованные тайной чужедальних берегов, о которых она им пела.

Хоэль, молодой парень, потерявший ногу, как говорили, в английской плавучей тюрьме, упивается этим голосом, как водкой; он подстерегает Изабель у выхода и ковыляет следом: «Эй, сирена, погоди, я хочу тебя!» — «Я ничуть не испугалась, — запишет она позже, — да и чего бояться, я легко могла убежать». Но она не бежит, она медлит, нерешительно глядя на него. «Он мой ровесник, какая-то часть его тела давно мертва, но разве человеку когда-нибудь надоедает жить?!» Она оценивает его: отчаяние, неприкаянность, желание. Она оценивает и себя: я тоже вдруг возжаждала чужого тела… да! Она круто поворачивается: пошли! — ее сабо звонко стучат по мостовой, она и не думает скрываться. Они

подходят к песчаной кромке берега, и Изабель сбрасывает с себя плащ, юбки, корсет. Сброшен и чепец, короткие кудряшки трепещут на ветру. Она входит в воду: ну, иди сюда! — и оба спокойно отдаются течению. В воде он забывает о ноге, унесенной священным вихрем войны, он говорит: человек всегда слишком молод для смерти, даже когда она для него — единственный выход. Изабель молча плывет рядом, мимолетная жалость к ним обоим осеняет ее; нырнув, она вновь поднимается на поверхность и приникает к нему, уже не испытывающему желания; она говорит, что любит мужчин, и он рассеянно откликается: да, конечно… они встречаются глазами, трогают друг друга… Но поцелуя Изабель ему не дает.

Потом, когда они почти уже одеты, Изабель опирается на его плечо, чтобы вытряхнуть песок из своих сабо, и он смеется: «А ты такая же, как другие, ей-богу! И дырка между ног, как у всех баб. С чего это ты вдруг пошла со мной, а, сирена?» Она отворачивается, уходит, напевает: «За домом нашим старый пруд…»

Они возвращаются к докам. На краю причала, рядом с домом, Изабель задерживает парня: ты, наверное, голоден, — и все время, пока он ест (Хендрикье молча снует у него за спиной, пода-

вая на стол), глаза его неотрывно устремлены на Изабель. Все еще тихонько напевая, она баюкает младенца Коллена, она гладит детскую головенку с льняными кудряшками, уткнувшуюся ей в шею.

«Когда я поеду во Францию, этот дом должен охранять мужчина — с оружием под рукой и с дружками неподалеку. Ты бы взялся за это ради меня?»

Парень бледнеет: «Так вот оно что, ты мне, выходит, заплатила вперед!» Она отрицательно качает головой: «Ну до чего ж ты глуп!» Хоэль уставился в миску, словно гадает на похлебке: «А почему ты выбрала меня?» Изабель пожимает плечами: «Жозе слишком стар, а другие… ну, других ты знаешь».

«А я на что гожусь?»

«Слушай, не валяй дурака. Они (Изабель указывает на женщин за спиной парня) не посмеют отказать Шомону, когда он будет заставлять их перебраться в Верхний город; они не осмелятся даже перечить ему, я ведь знаю, они женщины простые».

Хендрикье бурчит: «Простые, да не немые», — а парень возражает Изабель: «Я ведь тоже из Нижнего города».

«Тебя я прошу об одном: просто твердо отказать ему от моего имени. Пусть у Шомона две ноги, а не одна, но он спасует перед решительным ответом».

«Это все одни слова».

Изабель подходит поближе, Коллен — щека к щеке с нею — открыл глаза и тоже смотрит на мужчину.

«Хоэль, — говорит она, — я тебя не принуждаю, а прошу, вот и все».

Тот вздыхает: «Спой мне что-нибудь». Изабель проходит по комнате, попутно укладывает ребенка в ивовую колыбель, задумчиво медлит на пороге «Конторы». Налетевший с моря в док ветер гудит, играет на снастях трехмачтовика с заголенным днищем, и в такт привычному скрипу дерева Изабель не поет, а почти говорит:

Постыл мне здешний край.
Любимый мой за морем,
Где смуглокожий рай,
Где не спознаться с горем.
Вернись в страну снегов,
Как только буря минет!
Так пуст и тих мой кров,

Так страшно сердце стынет…

Ночью сон не идет к ней, внезапное лихорадочное нетерпение — уехать, уехать поскорее! — мучит и не дает спать так же, как летняя липкая жара.

Дверь спальни приотворяется, входит Хендрикье с глиняным кувшином в руке: «Я приготовила сидр, пейте, пока холодный».

Они молча потягивают прохладный напиток, а дом вокруг них покряхтывает, что-то тихонько бормочет. «Ветер, — говорит Хендрикье, — это южный ветер сводит тебя с ума».

Изабель пожимает плечами.

«Да-да, — спокойно настаивает толстуха, — в прошлом году, вспомни-ка, то же самое было».

Тогда Изабель точно так же волчком вертелась в постели, а потом взяла да потешила себя с Эктором.

Хендрикье вдруг с шумным вздохом растягивается прямо на плиточном полу: уж и не знаешь, куда деваться по такой жарище! Она не затворила двери, и легкий сквознячок колышет прозрачный полог, которым защищаются от мух. «Это ведь не всерьез, Изабель, надеюсь, ты и сама понимаешь».

А Изабель все молчит и молчит. Женщины…

они подобны часам, что хозяин забыл завести, — стрелки остановились на цифре, с которой начался отсчет неподвижности.

«Я всю жизнь была непоседой, ходила, бегала, ездила туда-сюда, отчего же нынче это тебя тревожит? И почему я обязана отчитываться перед тобой? Жозе высадит меня на французском побережье; если нам повезет, мы найдем какую-нибудь укромную бухточку, чтобы спрятать баркас. А дальше я отправлюсь вместе с ним, если он согласится, или без него, если откажется. Взгляни на меня, Хендрикье, — чего мне бояться, когда я сама внушаю страх. Судьба проехалась по мне всеми четырьмя колесами».

«Так-то оно так. Но Вервиль сгорел, что же вы надеетесь там найти?»

«Эктор мог и солгать».

«Да полно тебе, дочка! С какой стати ему врать? Чтобы вас уесть? Ну да не больно-то он хитер, чтобы эдак в душу вам наплевать; он ведь дурак-дураком, этот самый Эктор; сразу видно, что на выдумки не горазд. Нет, он правду сказал, а вы наткнетесь на развалины и ненависть, потому как вас, уж будьте уверены, мигом признают, и не надейтесь проскочить незамеченной. Они ведь зорко глядели, как вы там расхаживали, как вы

жили-поживали, неужто ж теперь не признают? Да Господь с вами!»

И Хендрикье села, подбоченясь: а про Коллена вы подумали? Что, если Арман-Мари вернется в ваше отсутствие и захочет увезти сына с собой? Вам ли не знать, что он наверняка так и поступит, и Аннеке отправится за ним, коли ее муженек позовет, да и я тоже к своему подадусь. А как же иначе! Минна, конечно, не забудет про вас, но что коли вы там замешкаетесь? Арман-Мари здорово изменился и он не…

«Молчи!»

«Вы же сами говорили: время проходит, оно только и делает, что проходит».

«Молчи!»

Хендрикье удаляется, насмешливо бормоча: «Вы-то его не позабыли, а он… как знать! У мужчин много всякого бывает в жизни, кроме нас и получше нас».

Оставшись одна, Изабель записывает: «Я знаю, что она сыпет мне соль на раны; я знаю, что она права. Иногда мне кажется, что не судьба, а мы сами во всем виноваты, ибо не умеем вовремя сказать “нет”. “Нет” — браку, что устраивается семьей, которую он устраивает. “Нет” — разорительным тратам, съедающим наше приданое и

лишающим нас тех малых, но притягательных достоинств, коими мы можем похвастаться. И к чему тогда старость, если мы вступаем в нее безоружными перед всем, что нас убивает? Что нам остается — глядеть, как мужчины, в ничтожестве своем, суетятся, оспаривая друг у друга видимость власти, пышные перья и блестящие безделушки? Что остается женщинам, если их миновала смерть от родов, от голода, от побоев, на которые так щедры мужчины, когда ничего другого дать не могут? Вот я — как я помешаю Арману-Мари забрать своего сына?»

Изабель размышляет над этим всю ночь; всю ночь до самой зари мечется она по комнате, и назавтра Хендрикье предупреждает Минну, просит старую даму быть начеку: опасайтесь ее, когда она впадает в меланхолию, она прямо звереет; она не плачет, она действует.

И Минна отправляет записку, нацарапанную дрожащим, брызгающим пером; возраст — или страх? — едва не парализуют ее.

«Изабель, не совершайте того, о чем позже пожалеете. Я никогда не рассказала бы вам того, что вы сейчас прочтете, если бы не чувствовала, что вы намерены сбежать от нас, увезя с собою Коллена, а этого Арман-Мари вовек не простит вам.

Мой сын любил вас безумно; он крался за вами по улицам и набережным, подслушивал ваше пение, затаившись в строительной люльке, свисавшей с борта шхуны в доке. Я видела, каким он возвращался потом домой: лицо его каменело. Тщетно Мадлен докучала ему упреками: что ты в ней нашел, ну что, ты погляди только на эту рябую маску, на эту изъеденную кожу, и она же ненавидит тебя! Но у Армана-Мари на все был один ответ: он ничего не в силах изменить, и никто здесь не виноват, — что поделаешь, если мечта не желает умирать! Из-за этого он и ушел в море.

Мне же он признался: Изабель такая же, как другие женщины, но ее голос зовет в неведомый путь, — таких не сулит даже море. Этот голос обещает целый мир, а какой глупец откажется от мира?! О матушка, ее пустой глаз… какой ад открылся ему? Если бы вы видели Изабель в тот вечер, когда ее длинные руки откинули капюшон плаща! В скудном свете сальных свечей она запрокинула голову, ее короткие детские кудряшки вились совсем, как прежде, и я тотчас подумал: кожа здесь ни при чем, и плоть под нею ни при чем, оба мы — блуждающие души, разлученные ветром жизни. Знаете, как они зовут ее? КРИВАЯ

СИРЕНА. О матушка, эта сирена погубит нас, завлечет в морскую бездну!

Вот что он говорил мне перед отплытием, перед тем, как набрать в экипаж всех этих полупьяных парней, которых вы, Изабель, выманили на морские просторы с неведомыми мелями и рифами. Когда мужчина говорит так, как мой сын, значит, он одурманен. Это не любовь, но разве вы ищете любви? Для нее сгодится первый встречный. Арман-Мари — не первый встречный».

Стоя на лестничной площадке, Изабель читает письмо и, зло сощурившись, смотрит на Хендрикье сверху вниз: «Ты зачем суешься, куда тебя не просят? Не боишься, что я тебя выгоню?»

«Да выгоняйте на здоровье! — парирует Хендрикье. — А вы не боитесь, что я уйду и Аннеке с собой прихвачу?»

И Хендрикье смеется, не отводя глаз от Изабель; эта схватка взглядов забавляет ее: да ладно вам, лучше занялись бы свежими слухами. Шомон опять вернулся из Франции; он аж пожелтел от страха, но зато на всех углах кричит о том, как гордится тамошним простонародьем, — видать, готовит себе запасной выход на будущее. Теперь, думается мне, он не станет цацкаться со здешним муниципалитетом — осторожность не позво-

лит. Судя по всему, у нас тоже нынче началось брожение умов; вот помяните мое слово, Шомон наверняка будет вам нашептывать так: «Всюду неспокойно, страсти слишком накалены, чтобы остыть, не пройдя через кровь, ярость, всеобщее насилие, коего размах, мадам, вы даже не можете себе вообразить; увы, оно чаще всего направлено против вам подобных».

Они обе смеются, вслед за чем Изабель награждает Хендрикье сухой пощечиной: это научит тебя знать свое место. Ну а теперь, может, и ты меня ударишь, — времена-то изменились, не так ли?

Хендрикье пожимает плечами: «Ваша правда, времена изменились. Только вот отвечать вам тем же — значит изменять их в дурную сторону; вам должно быть стыдно. А место у меня, мадам Изабель, там, где верное сердце; решайте сами, на каком лучше — на вашем или на моем».

Но тут появляется Аннеке: «Послушайте, вы обе, я их еле-еле укачала, да и то Виллем орал меньше, чем другой. Прошу вас, нельзя ли потише, мадам Изабель!» Женщины переглядываются. Я не уверена, что Изабель способна полностью одобрить эту крестьянскую фамильярность. Однако цель достигнута: она отказывается от намере-

ния ехать тотчас же; подобное путешествие, по нынешним временам, чистейшее безумие; она знала это и раньше, — правда, тот факт, что она знала, ровно ничему не препятствовал. Позже она скажет в письме к Минне: «...вы как будто не понимали, что я рождена и живу для бурь. Я, с моим пылким, властным, полностью отдающимся радости характером, становлюсь самою собой лишь в схватках, сердечных или плотских наслаждениях. Мне понадобилось время, чтобы постичь одну простую истину: людей соблазняет не красота, Минна, их соблазняет жизнь, а я — живая. И не упрекайте в этом меня: я унаследовала жизненную силу прямо от отца, от его страстного желания иметь сына. Оно терзало его сильнее, чем мою мать, бедняжку. Говорят, у него была холодная, невозмутимая кровь, как потом у Мадлен; никогда я не поверю в это. Он никак не мог смириться со своим положением простого суконщика, с тем, что окружающие мерили его значимость локтями проданного сукна. Но тот, кто торгует с моряками, не может не опьяняться заморскими ароматами. Разве вам не приходилось вдыхать запахи чужого, дикого мира, пропитавшие одежду вашего мужа, вернувшегося из дальнего плаванья? Моему же отцу

осталась одна власть — сделать нас несчастными; уж не знаю, отчего плоды его супружеского союза с Саскией гибли один за другим, но он упорно брюхатил ее еще и еще, до тех пор, пока она не умерла. А сына он так и не получил, и в этом была его трагедия. И моя. Вот почему мои мечты — это мечты мужчины».

Она упорно отказывается замечать, что Арман-Мари точно так же поступал с Мадлен; впрочем, трудно сказать, о чем думала, чего хотела эта последняя, — от Мадлен осталось так мало писем!

Как бы то ни было, Изабель не сдается полностью: после мелких стычек, в которых окружающие пытались приструнить ее, принудить к общепринятой женской покорности, она берет ключи от Верхнего дома и просиживает там долгими предвечерними часами.

Она бывает там одна; чужое присутствие раздражает ее. По возвращении не старается избежать удивленных взглядов Минны, но упорно молчит. Ей приходится задавать себе самой слишком много вопросов, и она понимает, что ее поведение возбуждает их у других, но отвечать — это уж извините!

* * *

21 сентября 1789.

Нижние большие залы мертвы. Пустые зеркала, давно остывшие камины, подсвечники без свеч, скатанные ковры, сиротливо стоящие по углам. Портрет супруга Минны в простенке между окнами. На его лице печать преждевременной смерти, жизненной усталости, задумчивого ожидания. Это взгляд того, кто мечтает умереть молодым, поскорее сбросить с себя жизненные оковы. В моей памяти он остался серым — серые губы, лицо, волосы — человеком, проводящим дни в ожидании своих кораблей. Год его смерти, кажется, совпал с годом «моей».

О Боже, неужели тому скоро уже десять лет?! Я вспоминаю, как он, понурив голову, выходил из «Конторы», а папаша Каппель с торжествующей ухмылкой глядел с порога ему вслед. Я всматривалась в море так же неистово, как и он, только другие мысли владели мною. И каждый лишний час ожидания откладывался в моем сердце отчаянием и надеждой. Я слишком хорошо знала (думала, что знаю!): одно лишь его разорение позволило бы мне войти в эту семью. Бедный Ван Хааген! Он так и не осмелился сказать — сказать

МНЕ, — но я тотчас поняла все сама, ведь мой-то отец посмотрел на меня. Ох, как же я ненавидела их обоих, как проклинала бесстыдство денег, годных лишь на то, чтобы купить себе иллюзию власти! Маркиз, маркиз, хорошо ли вы знали то, что предложили моему отцу — а ведь вы были одних лет с ним! — в обмен на меня?

Временами я раздумываю о вдовстве Минны Ван Хааген. Когда она говорит о своем тридцатилетнем одиночестве после смерти мужа, то имеет в виду первого своего супруга — Ван Хаагена по прозвищу Арматор. Его сводный брат свершил, как полагают, богоугодное дело, женившись на ней и очень быстро сделав ей ребенка. Доброе дело… как бы не так! Он просто-напросто обеспечил себе правонаследие младшего бедного брата за богатым старшим, минуя жену!

Покинув дом в Верхнем городе, чтобы отдать его сыну и Мадлен, Минна оставила там этот портрет. Зато мне часто случалось видеть, как она извлекает из медальона в ямку ладони бледную миниатюру — единственную память о «брате» — и любовно разглядывает ее. Мне жаль вас, господин Арматор, ибо у вас не было супруги. Я же не получила мужа, которого хотела, — вот мы и квиты.

25 сентября

Если не считать того дня, когда Мадлен — стоя в своей раззолоченной гостиной, под защитой зеркал, кружев и всего, что она, сама того не ведая, отняла у меня, — приняла потерпевшую жизненный крах беглянку, я ни разу не видела свою сестру нигде, кроме как в двух комнатках окнами на Арсенал.

Продолжали ли они задавать празднества и балы в огромных парадных залах? У нас, Каппелей, в доме не было никаких особых покоев, одни лишь просторные комнаты с плиточными полами, где жили у камина, пока в нем горел огонь, где ели и проводили вечера вместе со служанками. С наступлением темноты все отправлялись спать: свечи стоят дорого. В те времена мы были люди простые, и не нашему, с трудом нажитому на сукне богатству назначалось быть пущенным враспыл на шелковых путях. Мещане экономны. Нет, более того: «расходовать деньги» звучало так же ужасно, как «пуститься в разбой»; наши праздники проходили в кругу семьи и отмечались крайне редко: замуж ведь выходят не каждый день…

Пока был жив старший Ван Хааген, праздничный переполох Верхнего города, случалось,

захватывал краешком и Нижний, где жили мы; ночами мимо дома то и дело сновали одна за другой кареты, и стук колес не мог не будить нас, несмотря на застеленную соломой мостовую. Мы с Мадлен соскакивали с постелей: кто это там разъезжает с таким форсом? За дверцами карет смутно угадывались тени в блестках золота и драгоценностей, слышались смешки, и смешки эти звучали не всегда естественно. Назавтра служанки не лишали себя удовольствия вполголоса посудачить: нет, ты слыхала, каковы негодяйки! Щекотаться до самого утра, вот развратницы-то! Мадлен и я с тревожным любопытством выспрашивали у них, почему щекотаться ночью — это… Толстые красноролжие девахи прыскали в кулак: эх вы, простушки, вот погодите, скоро сами все поймете!

Мадлен, коли ей велено было не думать о таких вещах, ни о чем и не думала. А я… о, я грезила. И в первую очередь об огнях. Что-то чарующее крылось для меня в этих вечерних огнях, так резко проводящих границу между нашими семьями. Я видела, как моя мать читает Библию при свете камина, — отец экономил буквально на всем. В его «Конторе» горела одна-единственная свеча, при свете которой он составлял счета. Ежедневно.

Подолгу. Я думаю, он засиживался в «Конторе», спасаясь от женского засилья в доме и мечтая о сыне, которого сделает большим человеком. Все нажитое и строго охраняемое богатство имело одно только это назначение. Я-то знаю, уверена в том, что была для него лишь игрушкой, любимой игрушкой, какую держат при себе в ожидании настоящих, серьезных дел. Родись у него сын — и я тотчас превратилась бы во что-нибудь вроде нарядной завитой болонки, нисколько не нужной человеку, имеющему наследника по мужской линии.

Да, огни в доме Арматора неодолимо притягивали меня. Именно они заставили меня УВИДЕТЬ Армана-Мари, которого я до того встречала сотни раз.

Мне только что исполнилось двенадцать лет; я была маленькой, худенькой, и платья, доставшиеся мне после Мадлен, всегда приходилось укорачивать и ушивать в талии. Вырез лифа тоже оказывался слишком широк и его обшивали клочками кружев, чтобы прикрыть мои нарождавшиеся грудки. У Мадлен волосы были тонкие, прямые и почти белые. Мои же круто вились, распирая чепчик; кудряшки торчали из-под него во все стороны; говорили, что я похожа на мами-

ного брата, дядю Оскара, который унаследовал от своего отца корабли и заправлял делами с грубоватым, наигранным весельем. В глубине же души Оскар прятал грусть и чуть меланхоличное лукавство.

Уж не помню, по какой причине о том бале сплетничали больше, чем о предыдущих. Служанки бегали из дома в дом, пересказывая подробности, сообщавшие этому празднеству особую значимость. У Хаагенов выставлялись ВСЕ факелы, начищалась ВСЯ посуда, отмывался сверху донизу ВЕСЬ дом; предстоящее торжество касалось ВСЕГО города, члены муниципалитета собирались почтить его своим присутствием, — иначе и быть не могло, в противном случае глава Лиги да и вся Компания тут же утратили бы авторитет: торговля с Восточной Индией шла все туже…за неимением того, что я тогда считала таким незначительным.

А кареты все ехали и ехали мимо нашего дома. И служанки с удовольствием перемывали косточки тем, кто сидел в них. Все было внове для меня, для них же — так старо и привычно. «Видала Капитаншу? — двадцать лет как она таскает это платьишко, оно уже по швам лопается; кабы Капитан пил поменьше шнапса в кабаках, ей не

приходилось бы ставить заплатку на заплатку. А вон дочка старого графа, ну и страхолюдина! И брильянты ей не в прок, глянь-ка, малышка, — ни один жених не клюнет на такую приманку, хоть ты ее раззолоти всю!

А это еще кто? Ага, Жюли, та самая, которая… которую…» И они переходили на шепот, то и дело смачно прыская, а Саския увещевала их: «Ну-ну, девушки, нехорошо так злословить, будьте милосердны».

Я же восхищалась золотой мишурой, не видя, как она облезла от времени, жадно вдыхала запах духов, не зная, какую дряблую кожу ими обливают, любовалась крошечными шелковыми башмачками, что неуверенно нащупывали ступеньку кареты, — ах, им предстояло всю ночь напролет танцевать менуэт в золотистом сиянии свеч, при ярком пламени факелов, разгоняющем осенний мрак. Мои деревянные сабо весили сто пудов! — сбросив их, я отплясывала в одних чулках, под мелодии, которые сама же и сочиняла; жизнь обещала быть розовой и золотой, небо — вечно лазурным.

30 сентября.

Я слишком много мечтала. В ту ночь большого празднества, заданного в честь короля (какого

короля?), я долго сторожила у окошка. Мадлен тряслась от страха, но не решалась лечь в постель без меня. И вдруг я решилась; подхватив шаль, взяв в руки сабо, я выскользнула на улицы через задний дворик; передние ворота — здесь, как и всюду, нынче, как и прежде, — закрывались на задвижки и массивный деревянный брус.

Мадлен попыталась удержать меня, цепляясь за шею, за руку: ой, не ходи туда, что, если отец увидит!.. Да-да, уже в пятнадцать лет она была умницей-разумницей, пай-девочкой. С недавних пор она начала закручивать свои длинные волосы жгутами, они удлиняли ей лицо, но глаза от этого больше не становились. И напрасно гляделась она тайком в оконные стекла, в полные ведра, в водоем, — она не нравилась самой себе и оттого губы ее вечно кривила недовольная гримаса. Мы исподтишка, издали следили друг за дружкой: она боязливо, подозрительно, я — со своим детским розовым личиком и большими (слишком уж большими, говорили служанки) глазами — презрительно и высокомерно.

Не одну меня привлекла праздничная россыпь огней, но одна я была слишком мала, чтобы расслышать осуждение в восхищенном шепоте собравшихся. Ибо не все, кто сбежался поглазеть

на снующие туда-сюда кареты, высказывали одобрение.

Проскользнув, как юркая уклейка, сквозь толпу, я стала примериваться, куда бы мне еще взобраться, чтобы заглянуть в окна, приотворенные по случаю жары в доме. Из них тянуло запахами свечного сала, жареного мяса, горящего в плошках жира, а еще — терпким духом, который встречался мне потом на всех балах во Франции, смешанным духом позолоты и потных тел. Но тогда я еще не знала, отчего морщу нос; тогда запах этот возбуждал и чуть отпугивал; для меня, стоящей на улице, то был аромат празднества, вот и все.

Наконец я углядела рядом с домом деревянную колоду с воткнутым в нее топором. Я подтащила ее к растворенному окну, — Господи, да я бы горы свернула, лишь бы подышать воздухом этой недоступной мне, веселой суматохи! Никогда суконщик не принимал гостей, никогда не распахивал ставен, а если и распахивал, то из них тянуло лишь чадом от горящих в очаге шишек да торфа.

Вскарабкавшись на подоконник, я высматривала прорезь в парчовых занавесях, ловила момент, когда ветер вздует их, чтобы заглянуть в щелку.

Я была так поглощена этим, что не заметила силуэт, скрывавшийся от света в тяжелых складках парчи. Ветер все не дул, я протянула руку. И тут другая рука стиснула мое запястье: не делай этого, — если тебя заметят и отведут к твоему отцу, тебе не сдобровать.

Волосы его были напудрены, подбородок тонул в пышных кружевах жабо, он выглядел хрупким, несчастным и разозленным.

Он сам откинул занавесь: ладно уж, гляди, коли пришла! — и пока я упивалась зрелищем золотой посуды, ярких сполохов света и щебечущих дам, он шептал мне прямо в ухо: «И что хорошего ты здесь нашла; ты только глянь: ноги тощие, чулки гармошкой, парики посъезжали, румяна растаяли и несет от них прогорклым салом».

«Отстань, замолчи! Ты уже привык, а я…»

«А я!.. А я!.. Да ты просто дурочка! Моему отцу нужны деньги, ему вечно нужны деньги, а их ссужают лишь тому, у кого их полно или кажется, будто полно. Ты посмотри, как он вьется вокруг толстухи Гертруды Ховенштальь, — главная богачка-то ведь она, супруг ее — ничто, пустое место, дунь и полетит! Посмотри, как моя мать улыбается через силу. Знаешь, сколько недель мы потом будем доедать остатки праздничного

ужина? Черт бы побрал это вонючее стадо!»

Вдруг он оттолкнул меня: спрячься, сюда идут! — и задернул перед моим носом пахнущие пылью занавеси.

«Ага, вот ты где! Пойдем-ка, сынок, ты мне нужен».

«Вам требуется помощник, чтобы поднять ее с кресел?»

«Арман-Мари, не будь наглецом, графиня Ховенштальт — наша гостья».

«Наша БОГАТАЯ гостья».

Молодой петушок бесстрашно смотрел в глаза отцу: ну, что еще вам угодно от меня? Чтобы я пригласил потанцевать ее дочь? Так ведь там и двоим не справиться.

«Арман-Мари, вы сейчас же и без разговоров подчинитесь приказу вашей матери!»

Они скрестили взгляды, как шпаги. Глаза арматора внезапно погрустнели: до чего же ты похож на дядю… ладно, делай, как знаешь.

И он удалился тяжкой поступью пожилого человека. Арман-Мари вытер вспотевший лоб, сорвал с шеи жабо, распахнул ворот сорочки, глубоко вздохнул. Обо мне он забыл, я же, не шевелясь, восхищенно взирала на него. Мальчики — те, по крайней мере, могли безнаказанно

восставать против отцов, особенно когда ничто не заставляло младшего преклоняться перед Именем, чтобы достичь своих целей.

Наконец он успокоился; стихия праздника опять прихлынула к нам, подхватила меня, вознесла на гребень волны. Тщетно пыталась я сойти незамеченной, я была ТАМ. И конечно не смолчала, — ведь я тоже всегда храбро шла навстречу опасности.

«Ты не любишь своего отца?»

«Дура! — крикнул он. — Я не люблю, когда он заставляет меня делать то, чего я не хочу, а ты молчи, слышишь!»

Он больно вцепился мне в плечи, но вдруг мне стало страшно, что он разожмет горячие пальцы, и я сказала: значит, ваши дела плохи…

Его руки сжали мне шею: «Да, да, плохи, корабли тонут или приходят слишком поздно, шелка больше не продаются, а он стоит на своем. Но ты, Изабель, молчи, слышишь, молчи!»

И он резко оттолкнул меня. Миг назад я еще чувствовала тяжесть его тела и вдруг — ничего, пустота, отчаяние. Мне было всего двенадцать лет, но я уже узнала, что такое отчаяние. И я с гордостью вспоминаю, что сделала и сказала тогда. Я сорвала с себя чепчик, выпустив на волю кудри:

когда ты красива, ты всегда сумеешь добавить лишний штрих к своей красоте, а я уже была красива, я ЕЩЕ была красива. «Нет, не стану я молчать! В городе говорят, будто он тебе не отец, а дядя, и ты можешь оспорить его права, раз он отнял у тебя добро, а еще говорят…»

«Кто это говорит?»

«Я!»

И тогда он начал смеяться. Весело, беззаботно. Я ожидала от него всего, что угодно, только не этого хитроумия, с которым он хотел обвести меня вокруг пальца, словно последнюю простушку. Он подобрал мой чепец, расправил воротничок и все это, продолжая смеяться: «Я родился спустя одиннадцать месяцев после их свадьбы. Что ты на это скажешь, маленькая чертовка? Я гляжу, ты и про бал забыла».

Да, я забыла про бал, я обрела нечто лучшее.

Я сдернула с его плеча повисшее на нем жабо и, выпрыгнув в окно, крикнула: «Я верну его тебе в тот день, когда ты на мне женишься!» И удрала. Он стоял, подбоченясь, и глядел мне вслед. Теперь он уже не смеялся.

1 октября 1789.

Я роюсь, ищу повсюду. В секретере Мадлен — никаких секретов. Мой отец купил его из-за

ящиков. Шесть ящиков, и все на один ключ; отец не забывал пустить его в ход всякий раз, как покидал «Контору». Никто в доме, даже Саския, не знал, что он там прячет от нас. Я обнаружила этот секретер в простенке между окнами спальни; ключ лежал на верхней доске. Латунные украшения перекосились и торчали, словно выставленные для обороны колья. Но только в ящиках ничего важного не было — пустота обманутой мечты. Мадлен сложила в самый поместительный из них целую груду всякого хлама — медные пуговицы, огрызки карандашей, сальные огарки. А еще там лежали палочки воска и две-три печатки; одна из них, серебряная, давала оттиск звезды в виньетке из переплетенных инициалов. Папаша Каппель завел собственный «шифр», как выражались в Верхнем городе.

Что до Мадлен, то она заботливо укрыла свою молодость в полотняных саше. Старательно — как и все, что она делала, — вышила их и положила внутрь тоненькие прядки волос. Своих, моих, жестких и седых волос нашей матери, а вот черная прядь, при виде которой у меня сжалось сердце, — тяжелое темное кольцо вьющихся, почти живых волос; от них веет пряностями. Арман-Мари пахнет корицей и горячим хлебом,

за Арманом-Мари всегда тянулась струя сладкого медового запаха. Есть такие дурманящие ароматы — раскаленной печи, трюмов кораблей, вернувшихся с Востока, — они неизменно опьяняют меня. Я хорошо знаю, кого искала (но не находила!) во всех этих мужских телах с грубой кожей; я знала это задолго до того… но это именно так. Из ауры теплого шафрана возникали редкие мужчины, которыми я завладела, что называется, «в охотку», а не только для удовольствия увидеть растерянность в глазах партнера, уразумевшего, что ему отведена всего-навсего роль породистого жеребца. Вот уж чего они не любили! Да и кому же такое по вкусу?! Хоэль вот так же взглянул на меня в день нашей встречи, хотя, свидетель Бог, я вовсе не хотела его обидеть. Но что я могу поделать! В конце концов, я точно так же не любила ту, за которую принимали меня. Кто поинтересовался доводами Вальмона? Мне бросили в лицо обвинения в его смерти, как будто главной причиною всего было то, что я натравила его на беззащитную лань-президентшу. А ведь и у добродетели есть свой способ соблазна — трудность в достижении цели. Госпожа Турвель, поддайся она Вальмону по первому слову, не удержала бы его при себе и минуты, так же,

как и я сама, вздумай я домогаться его. Он ведь был из числа тех хищных любовников, которых гонит за добычей не голод, а единственно жажда охотничьего трофея. Такие обожают оставлять после себя загубленные их стараниями репутации и пролитые слезы, которые им куда дороже страстных вздохов и сладких смешков в постели. Нет, по мне, так уж лучше мой маркиз. Ему, по крайней мере, требовались тела, их столь хорошо изученная механика. Я не строю иллюзий на свой счет: будь маркиз помоложе, воспоминание об Армане-Мари, возможно, навсегда уснуло бы в моем сердце. И потом, теперь я знаю, насколько способен занять мое сердце ребенок, — под этим словом я разумею не одного только Коллена. В последние вечера Виллем взял моду орать во всю глотку, стоило матери убаюкать его и отойти, чтобы покормить его молочного брата. Однажды я взяла Виллема на руки и он, весело смеясь и гулькая, ухватил меня за уши под волосами; я и не заметила, как растаяла, засюсюкала, защекотала, зацеловала младенца. Женщины молча наблюдали за мною, сложив руки на груди и как будто желая сказать: ага! попалась и ты, милая моя! О, это была радость почти без привкуса горечи. Мне все чаще приходит мысль, что настоящая жизнь

необязательно измеряется успехами при дворе… О Боже, что за несчастье! Мне скоро уже двадцать восемь… А Мадлен через несколько недель исполнилось бы тридцать. На чем, на какой нити держатся наши жизни?..

* * *

Итак, на чем же держалась жизнь? А почти ни на чем. Нить оказалась совсем тоненькой. Первые октябрьские холода принесли болезни и страх. Сперва Виллем, за ним сразу же Коллен подхватили круп, и взрослые с замиранием сердца следят, как малыши борются с ужасным недугом. Зловещее молчание скрывает их чувства. Трудно было бы заподозрить беду, если бы о ней не говорилось в одном из писем Шомона. «Я знаю, что вы никого не принимаете, хотя самое страшное уже позади. Месье Коллен выздоровел, — это, мне кажется, главное. А эти женщины плодовиты, как кошки; вдобавок, ваша еще молода, успеет нарожать других».

Поперек этой фразы Изабель яростно начертала: «Болван!» Скомканный листок явно был вышвырнут в мусор, но затем выужен оттуда и разглажен, а по неровному краю разрыва (понятно, почему это письмо уцелело и можно

догадаться, благодаря кому именно) — итак, по неровному краю чернила размыты — размыты слезами.

Спустя долгое время Хендрикье рассказывает: «Ах, этот круп, этот вечный круп, наш бич с незапамятных времен!.. Он делал ненужными крошечные чепчики и пинетки, благоговейно хранимые потом Саскией. Изабель кричала как безумная, осыпая нас ругательствами, когда после Виллема заболел и Коллен. “Дуры вы набитые! — вопила она. — Он же сосет ту же грудь, что и другой, о чем ты только думала, где у вас у всех голова?!” И она грубо трясет плачущую, причитающую Аннеке, она моет ей соски дегтярным мылом: “И чтобы вот так ты мылась после каждого кормления, поняла?” Усевшись у постели обоих малышей, она раскрывает им ротики и вытаскивает из горла белые пленки; она не отходит ни на минуту, даже ест рядом с ними на скорую руку, всухомятку, — хлеб, кусок селедки, копченую сосиску; она держит под подбородком острую спицу, чтобы не задремать ненароком; она заставляет нас помогать ей, забыть о страхах и отвращении, и еще — она запрещает нам молиться… дошло до того, что она с размаху швырнула мою Библию через всю

комнату, завопив, что изобьет нас, если хоть раз застанет за молитвами вместо дела. “Занимайся тем, чем я занимаюсь, Хендрикье; посмей-ка еще раз встать на колени, я тебе все кишки вырву; на что он нам сдался, твой добрый Боженька, с какой стати ему угождать?! А ты, дуреха, не мать, а мачеха! — давай-ка, отцеживай молоко, будем поить их с ложечки, — видишь, у них уже нет сил сосать”. Да… вот в такой же неистовый гнев впадал когда-то и ее папенька. Только у папаши Каппеля никак не понять было причины, его ярость вызывали любые мелкие провинности или грешки — ясное дело, огорчительные, но уж вовсе не соразмерные с бурей, которую он поднимал. Ну а ее ярость — дело другое; мы и впрямь чувствовали себя виноватыми…

И вдруг Виллем начал задыхаться; она схватила его за ноги и встряхнула, думая, что он поперхнулся молоком; она насильно раскрыла ему рот и принялась дуть, дуть, но все напрасно, — наш малыш уже посинел от удушья.

Мы застыли, окаменели от ужаса. Аннеке еще не поняла, она закричала: “Иисусе сладчайший, сжалься, спаси его!” Но наше молчание и ей замкнуло уста. Она вскочила, она бросилась на Изабель: “Гадина, гадина, это твой дурной глаз

сгубил моего мальчика!” — и выбежала вон из комнаты, словно за нею гнался сам Сатана. На улице еще не разошелся ночной туман, стояло раннее студеное утро — из тех, что пронизывают холодом все вокруг. Аннеке кинулась вперед, через бортик причала, и мы с порога услыхали тяжкий всплеск от ее тела, упавшего в воду; почти в тот же миг Изабель прыгнула следом за ней. Ледяная вода отрезвила Аннеке, она завопила: “Не хочу умирать, не хочу!” — и вцепилась в плечи Изабель, которая утянула ее в глубину. Мы увидали, как они барахтаются там, в мутной яблочной жиже: папаша Жагго только-только слил в море сусло от сидра. Изабель зажала Аннеке нос, и та, хлебнув морской воды, внезапно обмякла; тогда Изабель доволокла ее до мелководья и, шлепая по грязи, крикнула: “Чего пялитесь, дуры, а ну помогите!” Мы вытащили их на причал. Вода лилась с обеих ручьями, Аннеке потеряла свой чепчик, ее длинная распущенная коса облепила спину Изабель, которая взвалила мою дочку к себе на плечо. Аннеке судорожно давилась и кашляла.

— Беги вздуй огонь, Хендрикье, а ты, Элиза, сходи за Минной. Эй, соседка, раз уж вы здесь, окажите услугу, подержите ноги этой малышке, да и вы все тоже не стойте столбом, помогайте!

Она выплюнула попавший в рот листок и принялась растирать руки и выжимать юбки. Детишки из окрестных домов изумленно глазели на нее, и она прикрикнула на них: “Эй, малышня, нечего тут пялиться, бегите домой!” Ее грудь все еще тяжело вздымалась, но, когда взгляды наши скрестились, ее глаз сверкнул остро и торжествующе, словно ей сам черт не брат: ну, что, женщина, в море-то прыгнула не твоя Библия, а я! И она стиснула мне плечи: запомни хорошенько, я не запрещаю тебе и твоим дочерям молиться, это ваше дело, но у меня в доме на первом месте всегда будут поступки, а не молитвы; это так же непреложно, как то, что меня зовут Изабель, маркиза де Мертей, урожденная Каппель, и если ты не подчинишься, лучше уходи, откуда пришла! А теперь живо, грей воду, надо отпарить эту девчонку, не хватало ей еще потерять молоко!

И она вернулась к колыбельке Коллена, чтобы снова и снова вытаскивать у него из горлышка белые пленки и по капельке поить молоком. И что же ты думаешь, Джоу! — Аннеке понемногу пришла в себя, она уже начинает улыбаться; ведь она молода и — правду сказал Шомон! — народит еще детишек, вот только не ему бы это писать!»

Временами я прихожу к выводу, что мир про-

грессирует куда медленнее, чем кажется. На ферме, куда я в детстве ходила за молоком, старший ребенок подхватил дифтерит — это ученое слово означает ту же самую болезнь — и, несмотря на все вакцины и уколы, что каждодневно делал ему врач, несмотря на более зрелый возраст мальчика, его мать каждодневно выскребала у него из горла пленки кончиком пера лука-порея — совсем как Изабель, словно и не прошло с той поры почти два века. От этой процедуры голос у Марсиаля остался сдавленным, как бы придушенным, и когда он заболевал ангиной, я читала в его глазах тревожный страх, навсегда засевший в глубине сознания.

И еще поражает меня… но это трудно сформулировать. В те времена женщины справлялись с повседневными трудностями жизни сами, между собою; объединенные деятельной, почти сестринской общностью, они не искали подмоги вне ее, у мужчин, да и где их взять-то, этих мужчин! Их носит по морям, а не то так и по полям сражений либо по кабакам, и они заняты тем, что переделывают мир либо предаются сожалениям о невозможности этого. Их не интересует жизнь — то, что я называю жизнью, а именно реальное, практическое бытие, текущее минута

за минутой и не вдающееся в разные там отвлеченные теории. Жизнь — ее нужно проживать, а мужчины иногда забывают об этом. Женщины же — никогда.

Что до врача — того врача, к которому приходят в кабинет или вызывают на дом, — то в конечном счете это весьма недавнее достижение цивилизации; такой врач (разумеется, он тоже «мужчина»!) исцеляет Оргона от его ипохондрии грандиозным клистиром в задницу, тогда как хватило бы обыкновенного отвара. Вот и в наши дни медицину, медленно, но верно переходящую в женские руки, пренебрежительно называют феминизированной, забывая при этом, что самое простое присыпание тальком детских попок тоже относится к пусть элементарному, но все равно медицинскому уходу. Рождение ребенка означает приобщение к элементарному, что бы об этом ни думали; кому и знать это, как не мне, которой не суждено родить.

II

В один прекрасный день старушенция из архива Национальной библиотеки (на самом деле не такая уж старая) спросила меня — без особой жалости, скорее, с участливым интересом, — где это я раздобыла себе такую физиономию. Разумеется, любопытная дама выразилась не столь грубо, но взгляд ее был вполне красноречив.

Я рассказала. Все. Выложила ей даже больше, чем собиралась, начав с той особого рода ненависти, которую питала к моему отцу. Я для него что-то вроде бесплотного призрака, его взгляд проходит сквозь меня, как сквозь стекло; когда ему случается промямлить пару слов в мой адрес, это означает всего лишь одно: в данный момент стекло оказалось грязным, непрозрачным и мешает ему смотреть вдаль.

Дама вздохнула: почему бы вам не сделать пластическую операцию? Запавшую щеку вполне можно восстановить. Глаз — дело другое, его не вставишь, но, если вам укрепят орбиту, вы сможете носить стеклянный протез. Вы ведь не безобразны, просто сейчас на вас трудно смотреть, все ваше лицо полностью «разбаланси-

ровано»; в конечном счете, это совсем нетрудно исправить.

— Да, но я хотела бы…

Она пожала плечами: «Ну, конечно, моя милая, все женщины хотят одного и того же. Каждая мечтает быть любимой такою, какова она есть. А самым красивым из нас и этого мало: им подавай любовь не за аппетитную попку, а за душу… Идиотство все это! Я, например, не понимаю вашу мать: если уж она оплачивает вам учебу, неужели ей трудно оплатить банальнейшую операцию у более или менее опытного хирурга? Так мне, по крайней мере, кажется».

Тут пришел мой черед усмехнуться: по убеждению моих родителей, плата за учебу есть выгодное помещение денег; получив диплом, я не буду сидеть у них на шее, — напротив, сама стану ухаживать за ними, когда они состарятся, поскольку — ясное дело! — больше мне не о ком заботиться.

— Но ваш брат…

— У моего брата есть дела поважнее, так он считает, а главное, так считают они. Вернуть мне красоту или хотя бы нормальный человеческий облик — значит лишить себя сиделки в старости, которая уже не за горами, так с какой же стати?!

Единственное, о чем меня настоятельно просят, это получше маскировать лицо волосами. «Надо же все-таки и наши нервы поберечь!» Я частенько слышала это с тех пор, как вошла в сознательный возраст; таков единственный совет, коим удостоили меня в семье.

Что могла мне ответить на это архивная дама? Она только разглядывала меня так, словно сомневалась во всем услышанном. А мне нечего было добавить, чтобы убедить ее в правдивости моих слов, — пускай делает выводы сама. Мы с моим лицом недавно отпраздновали серебряную свадьбу, это ли не доказательство?!

Коротко попрощавшись, я взяла свои книги и пошла в читальный зал. Я исследовала документы по Французской революции. Обычно этот процесс погружения в работу — расписывание по карточкам событий, подтверждающих правдоподобие моих фантазий о том времени, — помогает мне абстрагироваться от реальной действительности. История восстанавливает исключительно прошлое; я не верю, будто истекшие века отбрасывают свою тень на будущее, пророча его нам. Что толку, что мы его знаем или думаем, будто знаем; что толку… если это ничему нас не учит. Бедный Гёте!

Да, все эти истории прошлого помогают мне избавиться от настоящего. Я бегу от него, — может, из трусости, согласна, — мне наплевать, как расценивают окружающие мой выбор. Однако на сей раз забыться мне не удалось, в ушах звучали слова «если вам укрепят орбиту», и горечь моя превращалась в смертельный яд. Неужто это и вправду так просто, как она сказала? У меня явилось весьма угнетающее впечатление, что я способна только на одно — копить этот яд в себе, без всякой пользы для кого бы то ни было.

Сумерки и конец рабочего дня внезапно застигли меня погруженной в совершенно нелепые, идиотские мечты.

— Мы закрываем, мадемуазель.

Я вернула книги, чувствуя на себе ее внимательный взгляд. Она наклонилась над стойкой, придерживая рукой спадающие на глаза волосы: «Скажите мне, что вы разыскиваете в этих документах?»

Я объяснила. Интерес ее ко мне явно усилился, — видно, она задумалась над тем, как влияет уродливое лицо на душу перед тем, как душа возвращает лицу этот удар. Далеко ли я продвинулась в своей работе? — спросила она. Я показала ей исписанные листки.

— Дайте мне почитать.

Не очень-то мне хотелось отдавать их в чужие руки. Именно в этот миг я и осознала, насколько прочно замкнулась в жизни Изабель; эта жизнь паутиной ткалась вокруг меня, питала, восстанавливала, поддерживала. Так мне, по крайней мере, казалось.

Неохотно протянула я ей мои записки. Я еще не готова была расстаться с ними. И, едва отдав, уже горела желанием получить назад. Так убивают старика, не дождавшись его согласия возродиться в ином воплощении… Я совсем уж было собралась взять их у нее обратно, как она пригласила меня к себе назавтра, на ужин.

Я съежилась, я опустила голову: уж если прячешься, лучше спрятаться целиком, а мне и подавно не следовало бы… но она разом покончила с моими колебаниями: «Приходите, приходите, чего вы боитесь? Я вас уже видела, насмотрелась на вас досыта, пока вы посещали читальный зал, так что мое отвращение вам не грозит, если вы этого опасаетесь. Я знаю все, что мне нужно знать о вас — в этом плане. Имейте в виду вот что: лицо, облик — это не только то, что вы видите в зеркале, это еще и ваша пластика, комплекс движений, о котором вы и сами не все знаете».

Она дала мне свой адрес, коротко и точно объяснила маршрут, попросила не приходить раньше назначенного часа и, наконец, бросила мне, как спасательный круг, фразу: «Если вы принесете что-нибудь, пусть это будет вещь, которую можно разделить и которую, по вашему мнению, любите только вы одна». Она иронически улыбалась, но глядела прямо, не пряча глаз.

Чуть позже я увидела, как она вышла, села в машину и уехала. Некрасивая женщина. Внезапно до меня дошел смысл ее слов: без взгляда, без голоса ее вполне заурядное лицо не представляло никакого интереса.

Я не спала всю ночь и за весь следующий день не написала ни строчки. Впервые с тех пор, как я взялась «изобретать» жизнь Изабель, исходя из того, что от нее осталось, я не приписывала свои аппетиты, свою ненасытность к жизни той, о которой писала. Странная передышка, — словно я остановилась после долгих месяцев бешеной гонки. Внезапно мое существование показалось мне жалкой попыткой перерождения, а сама я — сыщицей, эдакой «ученицей из Эммауса». И, если вдуматься, я, может быть, наметила себе не слишком-то высокий идеал.

* * *

Ее звали Элен Либера, она жила в скромном домике, утонувшем в целом море пышных бледнолицых гортензий. Темно-красная штукатурка, узкие окна, деревянная дверь с витражным стеклом наверху в тоненьком железном переплете, — короче, классический тип «домика в предместье», в самой глубине квартала Сен-Манде.

Стоял мягкий темный вечер, пахло свежескошенной травой, влажной, только что политой землей и чуть-чуть — печной сажей. Прошумела электричка — где-то очень далеко, что было странно; правда, я долго проблуждала в чаще Венсеннского леса и совсем сбилась с дороги, домик же неожиданно оказался в двух шагах от складов Берси. Даром что они вот уже лет двадцать как закрыты, все равно окружающая местность насквозь пропахла виноградным суслом и скисшим вином.

Из окон первого этажа сочился слабый свет. Я позвонила. Кто-то зашевелился в шезлонге на лужайке; к калитке подошла плотная, коренастая женщина с жесткими, как проволока, и черными, как вороново крыло, волосами.

— Вы знакомая Элен? А меня зовут Полина. Хотите, подождем ее здесь, в саду?

Возвращаясь к своему шезлонгу, она заговорила о том, как любит это время суток: никогда не знаешь, что приключится, еще не ночь, но уже не день, — так… час зловещих предчувствий. И она засмеялась. Из ее плоской груди исходил неожиданно громкий, грубоватый смех, смех человека, жадного до радости. И глаза у нее тоже были ярко-черные, зоркие, как у хищной птицы.

— Подождите, — сказала она, придержав меня за руку, — осторожнее на ходу!

На дорожке, посыпанной гравием, смутно белеющим в вечерней мгле, лениво потягивалась толстая кошка: ох и гулена она у нас, по два-три выводка приносит за год; котята, правда, прехорошенькие, но слишком уж их много, а я не люблю убивать даже эти слепые комочки мяса, едва вылезшие на свет.

Мы замолчали. Я наконец стала различать контуры в этой полутьме — чуть розоватой от зарева над кольцевой дорогой, — и теперь яснее видела ее: сидя в кресле, она тяжело, трудно дышала, глаза были широко открыты. Мне нравятся такие люди, они смело берут от жизни удовольствия, хорошо зная, что придется платить за них, и чест-

но платят. Я тоже не обделена этим знанием, вот только с удовольствиями у меня плоховато.

Тут-то и появилась Элен с целой грудой пакетов. «Сидите спокойно, — сказала мне Полина, — она терпеть не может, когда ей лезут помогать».

Из кухни доносился грохот посуды, а я погрузилась в сонное спокойствие нашего сумерничанья. В сущности, энергия других людей имеет свои преимущества. Мне трудно было бы объяснить, почему именно; лучше, конечно, и не пытаться. Находить всему обьяснения, оправдания… внезапно я устала от этого.

Полина, осторожно понизив голос, знакомила меня с их образом жизни: нас здесь трое, по одной на каждом этаже, профессии у всех совершенно разные, а уж характеры… о-ла-ла! Я пожираю людей прямо так, сырыми, тогда как Рашель запекает их и подает к столу в бумажных папильотках, — наверное, эти фигли-мигли от ее ремесла, понуждающего продвигаться вперед короткими шажками, а вернее, мелкими мазками, почти точками — она из пуантиллистов, — вот удивительно-то, когда эти точки складываются в цельный ансамбль, уверенно и четко, иногда даже безжалостно возглашающий замысел художницы. Ну а Элен — та прирожденный дик-

татор, мать-командирша, она заправляет всем домом, она у них «интендант». Вот сойдетесь с ней поближе и убедитесь, что она и архив прямо созданы друг для друга.

— А вы?

Она тихонько засмеялась: «Ну а я — хирург».

Тут-то я и поняла: Элен и впрямь командовала и распоряжалась людьми, мало заботясь об их реакции. «Маркиза де Мертей на самом деле приходится вам прапрабабушкой? То есть, я хочу сказать…»

— Та, что послужила ей прообразом — да.

— Она все-таки заполучила его, своего армато-ра?

— Если вы подразумеваете под этим, что она вышла за него замуж и они народили кучу де-тей, — да, это так. Но заполучила ли она его так, как хотела… пока не знаю.

— А я готова спорить, что заполучила; ох и штучка же она! Мне очень понравилось, как вы ее описали. Но куда меньше мне нравится, что вы оборачиваете это на себя.

Элен крикнула из кухни:

— Не гони лошадей, этой малышке и так несла-дко, нечего сыпать ей соль на раны!

— Ах, да помолчи ты!

— Ну, по крайней мере, дай ей спокойно поужинать перед тем, как взять в оборот!

И она подошла к нам, вытирая на ходу мокрые руки; на пороге она зажгла два фонаря над верандой.

— Э, нет, погаси-ка их, старушка, на черта нам твоя иллюминация!

И мы остались в темноте, все трое, каждая на свой лад. Элен не сиделось на месте, она нетерпеливо ерзала в своем шезлонге, ее ноги, ее пальцы не знали покоя. Полина — та укрылась во тьме, словно в засаде, но каким внутренним громом чревато было ее молчание! Я же… о, я просто ждала. Толстая кошка-кормилица тихонько и призывно мяукала; взъерошенный новорожденный котенок неуверенно пополз к ней, ища полные молока сосцы. Элен ворчала: «Когда уж ты наконец решишься ее кастрировать, она становится все хитрее и хитрее, теперь она прячет их у соседей, скоро от ее отпрысков совсем житья не станет».

— Пускай живет как хочет, старушка. Она устраивает весь этот цирк, чтобы сохранить при себе хоть одного котенка, значит, ей так надо. Это ее успокаивает. В прошлом году она их рожала и тут же съедала.

Эти женщины забавляли меня. Подумать только: я начала интересоваться живыми людьми! С ума сойти… Из-под внешней грубоватости Элен проглядывала истинная доброта, от нее становилось тепло на душе.

С третьего этажа нас окликнул чей-то голос — хрипловатый и вместе с тем мягкий:

— Что, уже пора? Я кончила.

— Ну, раз кончила, значит, пора!

— Это Рашель, — объясняла Полина, — вы увидите — она вроде совы, что слепо пялится на солнце. Таращит на вас свои большущие глаза, разглядывает и обьявляет: вы похожи на такую-то зверюшку! Но это беззлобный приговор, она просто констатирует факт; никто на нее не сердится.

— Что же она говорит о вас?

— Меня она сравнивает то с куницей, то со свинкой-отари, в зависимости от настроения.

— Куница — это ведь хищный зверек.

Полина взглянула на меня, и ее белозубая улыбка сверкнула в полумраке:

— Что ж, я ведь иногда и кусаюсь, знаете ли, особенно, когда мой поросячий нос устает подбрасывать красные мячи.

Рашель устало рухнула в шезлонг, распространяя вокруг себя терпкий запах скипидара:

— Уф, до чего ж мне все надоело! — У нее был певучий протяжный говор.

Не знаю, чего она ждала. Ответ пришел с другой стороны. Элен сказала:

— Ну, детка, что вы нам принесли такого, чего желаете вы одна?

Я прошептала:

— Принесла себя, которую никто не желает, придется вам удовольствоваться этим жалким даром. Я ведь уже разделила Изабель между собой и вами двумя…

— Я тоже прочла!

И Рашель, встав, позвала меня за собой:

— Пошли-ка в дом, поглядим, что за лицо вы нам принесли!

Я последовала за ней. В ателье Рашель вела узкая скрипучая лесенка. У Рашель было тяжелое неуклюжее тело, опухшие ноги; она двигалась скованно и устало. Наверное, она была старше своих подруг, — по крайней мере, так мне показалось. Когда мы проходили мимо слухового окна, она вдруг обернулась ко мне; губы ее посинели, улыбка исчезла.

— Я сердечница, детка, и, прямо вам скажу, этим не хотела бы с вами поделиться.

Со вздохом изнеможения она усадила меня

перед собой:

— Ну-ну, не дрожите так. А кстати, как вас зовут? Надеюсь, вы не скажете, что Изабель, — я не верю в подметные судьбы.

— Меня зовут «Ninguem»[90]

Рашель пожала плечами. Сигарета, зажженная от предыдущего окурка, торчала из уголка ее губ. Выпуклые немигающие глаза отливали желтым. Медлительность ее была не предосторожностью больного человека, но, видимо, обычным состоянием.

Большие руки недвижно лежали на коленях, пристальный взгляд пронизывал меня насквозь. Она изучала мое лицо.

Я приподняла голову, откинула волосы со лба и заправила их за уши. Она усмехнулась:

— Ну и сволочи же эти врачи! — и принялась рисовать — короткими, точными, неожиданно быстрыми движениями, — приговаривая: «Вы озлобились, очерствели, но эта плотина уже дает трещины; что ж, это вполне естественно. “Personne” по-французски “персона” или “никто”; словечко с двойным дном, не правда ли? Впрочем, давайте помолчим». Спустя несколько минут она

---

[90] Примечания: 90
Никто (порт.).

встала, разминая поясницу:

— Готово, пошли вниз!

Мы ели, пили, смеялись. Мои хозяйки веселились вовсю, нещадно вышучивали друг дружку, но во всех язвительных остротах, которыми они перебрасывались, проглядывали ум и взаимная нежность, приводившие меня в чувство, близкое к восторгу. Впервые с тех пор, как я стала пользоваться мозгами вместо того, чтобы стенать над своей горестной судьбой, я встретила женщин, которые не нуждались в безобразии, чтобы мыслить и проявлять остроумие. Я уж начала спрашивать себя: а не являлось ли это изуродованное и столь гордо носимое мною лицо скорее предлогом, чем неудобством?

После кофе Рашель протянула свой альбом с набросками Полине:

— На, держи, теперь твой ход. А я пошла бай-бай, дети мои.

Она взглянула на меня блестящими глазами, в которых горел хищный огонек:

— Сейчас, детка, у вас есть своя физиономия, а вы хотите променять ее на личико; берегитесь!

Наступило молчание. Элен вздохнула. Было слышно, как скрипят ступени под грузными шагами Рашель. Полина тоже вздохнула:

— Мы переживаем за Рашель, только эту упрямицу не переспоришь. Пробовали уговорить ее перебраться на первый этаж, но куда там, ей хоть кол на голове теши!

Полина рассматривала наброски; Элен, склонившись над ней, то и дело поднимала голову, чтобы сравнить их со мною. Я уже почти смирилась с неизбежным, хотя время от времени ощущала позывы к бегству. Еще вчера вверить себя незнакомым рукам показалось бы мне чистейшим безумием. Кто они — эти женщины? Почему живут вместе? И откуда во мне эта особая подозрительность ко всему, что напоминает гинекей?[91] Сопоставляя их с Изабель, Хендрикье, Элизой или Аннеке, я, как ни странно, обнаруживала больше сходства, чем различий. Привычка сексуализировать все человеческие отношения лишает нас обыкновенного тепла, простого прикосновения, бескорыстной ласки, того, что однажды бросило Изабель в объятия Хендрикье, утешившей ее под шумные всхлипы грубоватыми шлепками по спине. Может, мы наконец освобождались от гнета мужского желания, от их предвзятого мнения о нас, оскорбительного, если

---

[91] Примечания: 91
В Древней Греции — женская половина дома.

как следует вдуматься, лишь для шлюх и для святых? Женщины… все до одной неполноценные, инфантильные… ну, в общем, говорят, что они говорят о нас именно так… Но, мне кажется, мы их слишком упрощаем.

Полина подошла ко мне, принялась ощупывать щеки, кожу за ушами, у подбородка:

— Скажи-ка, у тебя раны быстро рубцуются? А следы остаются? Покажи мне шрамы от прививок! Тебе случалось ломать кости?

Швы от аппендицита мне сняли через четыре дня, а гипс на сломанной руке — спустя пять недель.

— Железное здоровье! — иронизировала Элен, однако у Полины был довольный вид. Она отошла от меня:

— Мы дадим тебе рисунки Рашель, посмотри их, подумай как следует, время терпит. Что же касается твоей «физиономии», то вот тебе мое мнение: Рашель не права, жить с «личиком» куда легче. Когда ты его получишь, делай с ним что хочешь, дальше наше дело сторона. Хочу только предупредить: это процедура долгая и небезболезненная…

— И дорогая.

— Это не самое важное; думаю, мы без труда

добьемся оплаты по страховке; тебе придется только заплатить анестезиологу и протезистке, если она понадобится.

— Почему такой щедрый подарок?

Элен усмехнулась. Полина, сложив руки на коленях, молча глядела на меня:

— Не ломай голову, детка, просто она обожает трудности, а ты как раз трудный случай. Всего лишь случай, и ничего больше! — Глаза Элен смотрели на меня с холодной иронией.

— А для вас, Элен?

— А ты никогда не спрашивала себя, как она справится с жизнью, твоя героиня, у которой чувства не больше, чем у ножа, режущего масло? Тебе никогда не бывает просто любопытно сделать что-нибудь, не вкладывая в это всю душу? Не воображай, будто мы хотим облагодетельствовать тебя, детка, — нам всего лишь вздумалось поиграться с тобой.

Они были правы. Я ведь тоже взялась за биографию Изабель из чистого любопытства, чтобы «поиграться», как они выразились; такое отношение способно обезвредить немало опасных ловушек.

Я покинула маленький темно-красный домик с чувством смутного облегчения и еще с ощуще-

нием женщины, распоротой по швам, которую другие женщины вознамерились сшить заново и украсить фестончиками. Теперь я знала, что смогу принять подобную услугу только от них. На факультете у меня был приятель, Марк, который тоже занялся когда-то моим «случаем». Он повел меня к своему брату, работавшему ассистентом хирурга, и тот, едва взглянув на меня, спросил, что, по мнению Марка, он должен делать с ЭТИМ. Мне было почти смешно — слышать, как тебя называют «ЭТО»… После того визита я стала лучше понимать свою матушку, ее стремление отнять у меня всякую надежду и в то же время прикрыть мое уродство пышными волосами, чтобы избавить себя от угрызений совести.

Сконфуженный Марк неловко оправдывался: просто ты его не интересуешь. Но я уже не нуждалась в его неуклюжих обьяснениях; мне и без него было ясно, что в таком виде я никого не способна заинтересовать. Как утверждает мой брат, можно не быть красавицей, но некий минимум все же необходим.

И внезапно Изабель предстала предо мною совсем в ином свете. Между маркизой де Мертей, хладнокровно дергавшей за ниточки придворных марионеток, и урожденной Каппель, наблюдав-

шей, как Хендрикье, Аннеке и другие изо дня в день сражаются с жизнью, не было такой уж большой разницы. Я же упорно верила в обратное, убеждала себя: она изменилась. Ну так вот: люди не меняются. Элен нашла нужное слово: Изабель, подобно моим трем Паркам из Сен-Манде[92], была движима любопытством, вещим трансом пифии перед чужою судьбой. Все люди получают одинаковый дар жизни; свобода, в конечном счете, заключается в выборе — как и зачем жить. Изабель тоже «игралась» с окружающими! Я же долгие годы напихивала себя готовыми правилами и безапелляционными выводами — так человек наклоняется над пропастью, будучи надежно огражден предохранительной сеткой.

Целую неделю я изучала рисунки Рашель, и удивление мое непрерывно возрастало, переходя почти в испуг. Рашель набросала мое лицо с беспощадной зоркостью художника, ничего не приукрасив в нем, затем по неизуродованной половине восстановила, как в зеркале, вторую, и эта слишком безупречная симметрия обнаруживала пугающую пропасть между моим теперешним обликом и чертами, которые не принадлежали

[92] Примечания: 92

В римской мифологии — богини судьбы, прядущие нити человеческих судеб.

мне и в любом случае не станут моими никогда. Нет, хуже, чем пропасть, — беспокойство, вот что мучило меня.

Судя по этим наброскам, я была красива. Но при взгляде на них сразу приходили на ум слова «холодность», «безжалостность». Сравнение со старинными миниатюрами доказывало, что два века не стерли бесследно фамильное сходство. Но если единственный глаз Изабель отражал мечтательность, авантюризм, жизненную силу, жадный аппетит к будущему, то мой — сохранившийся — был хищно-зорким, жестким, нацеленным… сама не знаю на что, но только не на радость жизни; он не лгал и не обещал.

Последний из рисунков Рашель являл собою целый мир. Трудно назвать это иначе, ведь под каждой шевелюрой и впрямь скрывается личная, но необъятная вселенная. Здесь мое лицо украшал мягкий чувственный рот; пышные губы хорошо сочетались с отсутствующим глазом, который мне предстояло заменить другим, если я не хотела сделаться игрушкой ненависти, временами терзавшей меня.

Мне казалось, что я решилась окончательно; последние остатки былых страхов не в счет. Если Полина добьется успеха, мне придется привы-

кать… привыкать к незнакомке, какой я стану… разве это не ужасно?! Мне все время вспоминался Лауда: благоприобретенное безобразие поможет ему скрыть старость, когда та нагрянет. Ей уже не удастся изуродовать его, дело давно сделано. Найди я в себе мужество показаться ему, встать лицом к лицу, я бы задала давно мучивший меня вопрос, пусть-ка ответит: бываем ли мы когда-нибудь похожи на самих себя? У нас есть лицо — наше ли оно? Мне кажется, он должен знать это, ведь ему-то суждено было пользоваться двумя обликами. Но куда там! — я никогда не осмелюсь с ним заговорить.

Вместо этого я вернулась в темно-красный домик, так оно было проще. Позвонила однажды днем, чтобы наверняка застать одну Рашель. Она ничуть не удивилась: проходите, калитка в саду всегда отперта.

Рашель сидела перед довольно большим холстом; забытый окурок тихонько дымился сам по себе в уголке губ.

Она показалась мне бледной, увядшей; серый свет, падавший из окна в крыше, не красил ее бескровное лицо. Она хмуро и пристально оценивала взглядом свою работу.

На переднем плане была изображена пожилая

женщина с поникшей головой. От нее отделялся целый ряд лиц, все более и более молодеющих по мере того, как они поднимались вверх, к краю холста. Там, в беспорядочном мельтешении расплывчатых пятен, вырисовывалось крошечное детское личико. У ребенка был совсем старческий взгляд, у женщины — те пустые молочно-голубые глазки, какими смотрят все новорожденные. Не могу сказать, что мне нравится такого рода живопись, стремящаяся любой ценой привести вас к аллегорическим заключениям. Но тут было нечто иное, более сложное.

— Все возрасты жизни?

— Если хочешь. В холодильнике есть сок, можешь налить себе.

На другой картине фантастическое, странно изогнутое существо в белых перьях падало в пропасть. Фон светился, лик неведомого создания озаряла вдохновенная трагическая печаль. Что-то от Вильяма Блейка[93], только менее загадочное.

Рашель улыбнулась:

— Ну как, хорош?

— Куда он падает?

---

[93] Примечания: 93

Блейк Вильям (1757–1827) — английский поэт и художник, для которого характерны фантастическая романтика, философские аллегории и смелая игра линий.

— Понятия не имею. Мне хотелось бы, чтобы это полотно вешали то так, то эдак. Переверни его, — теперь понимаешь, что я хотела сказать? Он падал, сейчас он воспаряет.

Рашель маленькими глотками отпивала сок. Пальцы ее ощутимо дрожали. Но она смотрела, как я смотрю на них, с полнейшим безразличием.

— Итак, юная «персона», что вам угодно от меня?

— Я не знаю, что мне делать.

— Чего вы боитесь?

Трудновато было объяснить ей: моя боязнь красоты кого хочешь удивила бы!

— Поймите, Рашель, у меня свое, единственное в мире лицо, пусть даже оно отвратительно. И я вовсе не уверена, что смогу сохранить свою, единственную в мире душу, приобретя внешность «женщины-как-все».

Она жестом прервала меня:

— Это не так. У вас не будет лица «женщины-как-все», не пытайтесь меня одурачить. Вы прекрасно поняли, что будете красивы, почти наверняка красивы и уж во всяком случае станете жестокой или, по крайней мере, злой, это-то очевидно, просто бросается в глаза.

— Но я вовсе не злая!

— Потому что сейчас у вас нет для этого «ресурса». Вспомните, — вы ведь сами приписали эти слова вашей Изабель. На самом деле вы почти ничего не знаете о себе, да и знать не можете, и теперь, в двадцать пять лет, наконец вам предстоит познакомиться с собою, а это нелегко. Вы невольно, инстинктивно станете сопротивляться власти собственного лица. Вот это-то, мне кажется, и пугает вас. Примерно так же я боялась бы вдруг оказаться здоровой после пятидесяти лет жизни с пороком сердца. Вы ведь именно об этом думаете, верно? И вы сказали себе: она-то поймет.

Я покраснела.

Рашель похлопала меня по плечу, успокаивающе почмокав губами. Она не спросила, почему я ничего не предпринимала до встречи с Элен, — а ведь я сама зарабатывала себе на жизнь, и моей матери не за что было зацепиться, — я не нуждалась в ее деньгах; тем не менее я все откладывала и откладывала решение… Рашель явно интересовалась причиной подобной инертности, и я поторопилась перейти к другим картинам, боясь, что она заговорит. Рассматривая их, я чувствовала на себе ее взгляд. Рашель спокойно

усмехнулась:

— По-моему, вы еще не созрели окончательно. Но не торопитесь, не делайте ничего такого, о чем после пожалеете; вы ведь из числа тех, кто обожает мучиться угрызениями совести на пустом месте.

— Ну а вы, — что вы делаете, чтобы вылечиться?

Она опять усмехнулась:

— А кто это здесь только что говорил «я вовсе не злая!»? Знайте, юная моя «персона»: я нахожу отвратительным ждать чьей-либо смерти, чтобы затем воспользоваться его сердцем. А я не желаю давать повод к отвращению, такое желание — почти порок.

— Но существуют ведь и другие средства.

— Мне они не годятся, и потом, я всегда очень боюсь заканчивать начатые картины, — для чего тогда жить, чем заниматься? Пожинать плоды трудов своих, наслаждаться славой? Нет уж, увольте!

Да, я понимала, что она не бережет себя, но к чему, например, страдать понапрасну, отказываясь перебраться на первый этаж, как уговаривают ее подруги?

Она пристально взглянула на меня своими

желтыми, как топаз, глазами:

— А ну-ка, выгляньте в южное окно, малышка!

Из окна открывался вид на соседний сад за высокой стеной. Белая камелия и еще два рослых темноствольных дерева.

— Это магнолии. Они потрясающе красивы при хорошем освещении. Я провела чуть ли не полжизни, любуясь их расцветом и розовым отливом лепестков в таком вот, как сейчас, вечернем свете. А вы хотите, чтобы я спустилась вниз, где и порадоваться-то не на что, кроме лужайки, которую Полина выкашивает догола, да двух облезлых яблонь; нет, моя милая, и не надейтесь! Если вы этого не поймете, значит, никогда не поймете, сколько радости ваша «физиомордия» способна доставить такому закоренелому прагматику, как наша Полина. И как я. Хотелось бы мне дожить до того дня, когда я смогу нарисовать вас с новым лицом, которое она вам подарит и которое вы выставите на суд окружающих.

Было очень тепло. Сквозь открытое окно лилось расплавленное золото заката; этот сумеречный свет смягчал тяжелые линии ее подбородка, накладывал тени вокруг узких лисьих глаз.

— Как вы красивы, Рашель!

Она вздохнула.

— Мне нравится стареть, — правда, глупо? Я словно только теперь оценила всю сладость жизни. Но ничего: скоро окочурюсь и не успею ею попользоваться. Оно и к лучшему.

Я спросила у Рашель, как образовалась их маленькая коммуна, она пожала плечами:

— Господи, да мы знакомы всю жизнь, еще со школы. Полина всегда была упряма, как мул, Элен — проницательна, как дьявол, ну а я — я витаю в облаках, подобно вам; живу в параллельном мире — мире болезни. Они обе трясутся надо мной, Полина все еще надеется меня вылечить, Элен упорно пытается облегчить мне существование, а я как сумасшедшая цепляюсь за живопись, лишь бы избавиться от них обеих. Только не подумайте, что я не люблю их, нет, — просто они хотят держать меня в вате, а я сопротивляюсь, вот так и создается равновесие. Если бы они меня так не обхаживали, я, может, и не занялась бы живописью — это мой способ бегства. Они играют в «дочки-матери», мои подружки. Иногда это приятно, но большей частью…

— Они вас любят.

— И еще как! Свирепой, требовательной любовью, несовместимой с моим идиотским инфантилизмом, — ничего себе характеристика, верно?

Но этой любви не хватает на мои картины.

Она подалась вперед:

— А ну, выгляньте в окно!

Солнце уже касалось горизонта, и магнолии за высокой стеной погружались в тень. Ароматы цветов и трав вступили в противоборство с вечерней сыростью, занимавшей свои ночные квартиры. Рашель частыми вдохами пила воздух, смаковала, глотала его, блаженно прикрыв глаза:

— Я люблю жизнь, всю, до последних мелочей! А будь я в добром здравии, я бы и внимания на них не обращала. Полине, к примеру, наплевать на магнолии, она наслаждается по-иному, — ну что ж, это ее дело. А Элен…

И Рашель улыбалась, сидя в своем углу, где уже погасло солнце и расплылись контуры предметов, — недвижная, застывшая, словно деревянная фигура на носу корабля.

— Элен… она переделывает мир. Рассудочная натура, и честолюбивая вдобавок. Смотрите не заговаривайте с ней о политике, — она вам распишет во всех подробностях утопию нашего века, построенную по принципу «каждая вещь на своем месте и место для каждой вещи», — этот принцип вполне соотносится с ее профессией.

Она командует всем и всеми. Она заведует нашим хозяйством; когда я поднимаюсь к себе в мастерскую после нее, то нахожу все тюбики с краской разложенными по гнездам в коробке, кисти — вымытыми, холсты — расставленными в строгом порядке, по росту. Это просто сильнее ее…

— Значит, она и меня решила «привести в порядок»?

Рашель повернулась ко мне:

— А ты, оказывается, умница! — Она смеялась. — Пошли, я хочу спуститься.

— Я скоро уйду.

— Да ты не беспокойся, они раньше полуночи сегодня не явятся, так что оставайся, в холодильнике наверняка найдется чем закусить. Элен всегда запасает кучу продуктов, как на случай атомной войны.

Мы поужинали в саду, близ розовых кустов. Время от времени пролетавший по соседству скоростной поезд всколыхивал воздух и слегка сотрясал высокие стены складов Берси; тогда подрагивал и домик. Где-то вдали гудел город, этот гул достигал маленького садика… Рашель больше не говорила. Я видела, как она вдруг застывает, позабыв о еде и вслушиваясь в звучащие лишь для нее одной шорохи. А потом улыбалась, погру-

женная в какие-то счастливые воспоминания, которым вела счет про себя.

Налетел порывистый ветерок, и мы услышали звук мягкого падения — словно капли дождя плюхнулись наземь; Рашель с ликующим видом указала на соседний сад: это осыпались пионы! Я еще не забыла ее слова о том, как страстно привязана она к таким вот жизненным мелочам, и никак не могла поверить, что ей суждено умереть — в один из вечеров или поутру, но скоро, скоро. Любила ли она и кого? Страдала ли?

Я ушла поздно, неприлично поздно. Мне не хотелось утомлять ее, но этот вечер оставил в моей душе воспоминание о блаженной, мирной, невесомой тишине, которая — я это предчувствовала — быть может, не повторится никогда. Но Рашель и не гнала меня. Время от времени она взглядывала мне в лицо, и в глазах ее мелькал легкий интерес. Откровенно говоря, больше всего мне нравилось в ней то, что она сразу же привыкла ко мне. Все-таки я эгоистка, но кто из людей не эгоист?! Машину свою я оставила за полквартала, у перекрестка; увидев Элен и Полину, успела шмыгнуть в ближайшую подворотню. Они меня не заметили и медленно прошли мимо. Полина курила и прихрамывала на ходу.

— Черт меня дернул надеть эти колодки!

— Все туфли жмут в первый день.

— О Господи! Все ты со своими глупостями! За каким дьяволом мне было мучиться на этих идиотских шпильках?

— Кроссовки и выходной костюм — это, знаешь ли…

— …ужасно, безвкусно и так далее! Знаю и без тебя! Как думаешь, Рашель уже легла?

— А тебе зачем?

— Из-за малышки. Я хотела еще разок пересмотреть вместе с ней наброски, мне тут пришло в голову, как попроще перекроить ей рожицу.

— Я гляжу, тебя заело всерьез, а?

— Н-да, но она-то предпочитает Рашель.

— Не знаю, не думала.

— А о чем ты, интересно, думала?

Они обе засмеялись: ну-ну, старушка, пора бы уж утихомириться. Ты ведь знаешь, что ее Изабель интересует меня вне зависимости от литературной формы или платы за операцию.

Продолжения я не услышала. Сидя в машине, я с удивлением обнаружила, что отвечаю на вопросы Рашели, начиная с тех, которые она мне не задавала.

Я не пыталась приукрасить свое лицо из гор-

дости. С самого детства мой братец, стремясь выиграть на контрасте, искал отражение своей красоты в моем безобразии, находя в этом занятии невинные услады, которым я не сразу подобрала название. Мне так и не удалось обидеться на него за это, но, достигнув возраста желаний, я принялась упорно искать того из мужчин, кто захотел бы меня ВОПРЕКИ. Я прекрасно понимала, что кроется за этим стремлением. Мне знакомы все низменные побуждения, стоящие за якобы голым вожделением, но, что поделаешь, — я ведь из рода Изабель, которая шла на бой с открытым забралом, ни от кого не пряча пустую глазницу. Только дерзости у меня поменьше, меньше «куража»…

Что же до моего дрянного братца Диэго, этого маменькиного сынка, то, если он несчастен, меня это не радует, но и не печалит. На его смазливой пустой мордашке написано нечто, предостерегающее женщин: берите и пробуйте этого красавчика, «не отходя от кассы»! Ни одна из них не задержалась надолго. Мой брат… как бы это выразиться… нравится, но не соблазняет. В буквальном смысле этого слова. Я люблю вспоминать первичный, забытый смысл слов. Он приятен, как бывает приятно, когда тебя гладят

по шерстке, вылизывают, ласкают; как приятны на ощупь большие овальные куски мыла «Жироду»… а мыло — оно тает быстро. Может, я действительно злая — за внешней надменной невозмутимостью? О Господи, не знаю!

* * *

Несмотря на бешеный приступ гнева и последующее отчаяние, Аннеке, грудь Аннеке продолжала источать молоко.

Молодая женщина повзрослела в один миг, лишившись со смертью Виллема того перламутрового сияния юности, что составляло все ее очарование. Отныне в ее темнеющих с возрастом волосах змеилась седая прядь, которую Коллен отыскивал, забираясь даже к ней под чепец, чтобы намотать себе на пальчик. Молчаливая, потухшая, она почти не покидала комнату, где спал выживший малыш, которого она теперь называла сыночком.

Именно в это время Изабель и объявила, что собирается окрестить Коллена, не дожидаясь возвращения его отца, и Хендрикье насторожилась. Но так ни до чего и не додумавшись самостоятельно, она в один из вечеров уселась на скамеечку у ног Изабель, всем своим видом являя

настоятельный вопрос.

Изабель вздохнула. Она угадывала за дверьми невидимое присутствие двух служанок Мадлен, которых Минна незаметно внедрила в домик у порта. Элиза и Дина сменили испуганное отвращение первых дней на спокойное безразличие, удивлявшее их самих. Более разговорчивая Элиза с философским видом заметила однажды: «Вот уж верно, что ко всему можно привыкнуть!»

«Нас здесь шестеро, — думала Изабель, — пять женщин и ни одного мужчины. А жизнь продолжается. И на ошибках нужно учиться».

«Ну так что? — Хендрикье прямо сгорала от нетерпения. — Вы ведь неверующая, безбожница, а тут вдруг затеяли крещение, к чему бы это?»

Крещение… оно дает имя, оно закрепляет за тобою место в этом мире, которым неведомо кто и как правит, понятно тебе это, Хендрикье? Ты ведь не знаешь, на чем держится мир, а я-то знаю. Кроме того, крещение укрепляет связи в семье, если родители вдруг умрут. Мы ведь живем в дикие, свирепые времена.

Хендрикье встала во весь рост, подбоченилась: «Ну и кого ж это вы собрались просить опекать Коллена, кто в этом городе заменит ему Армана, Мадлен или вас? Кто будет ходить за ним лучше,

чем мы?» Хендрикье прямо пылала гневом: «Никак, мы уже умерли и не в счет?»

Изабель следила за тем, как толстуха яростно ворошит кочергой торф в очаге, словно решила не развести, а затушить огонь.

«Сердца у вас нет, вот что я вам скажу, вы все решаете сами, никого не спрашиваясь. А что скажет фру Минна? Круп уже отнял у нас одного малыша, вам этого мало?»

Молчание Изабель пугало Хендрикье; ярость ее улеглась так же быстро, как и вспыхнула. Служанка обернулась: Изабель в комнате не было, она спокойно сошла вниз по лестнице, ее шаги замерли у входной двери, где она надела свои черные сабо.

Хендрикье кинулась за нею следом: «Что ж вы мне не отвечаете?» Она грозно надвигалась на Изабель, высилась над нею, как великанша: «Иногда я понимаю, отчего некоторые вас ненавидят».

«Я иду в Верхний дом. Если придет Минна, пошли за мною Элизу».

И Изабель тихонько прикрыла за собою дверь. Днем прошел легкий снегопад и шаги звучали приглушенно, словно по вате ступаешь. Вся злость Хендрикье разом утихла. Она вернулась в

комнату, где сидела Аннеке с ребенком. Коллен спал. Аннеке, замерев, глядела в окно и улыбалась: до чего же красиво, когда ложится снег! Но Хендрикье, еще не остывшая от недавнего гнева, зло бросила: «Снег-то снегом, а вот она собралась окрестить нашего Коллена».

Глаза Аннеке расширились, налились смятением: «Что? Кто? Где она?» Крестная мать имеет неоспоримые права на ребенка, с нею не совладать всем служанкам в мире, им обеим это было хорошо известно.

Аннеке уже выбегала на улицу, даже не завязав как следует ленты чепчика. Хендрикье попыталась удержать дочь, но та сердито вырвалась: пусти меня! — и бежала не переводя дух до самой двери Верхнего дома, массивной двери с истершимся от бесчисленных касаний молотком. Каменные кариатиды у входа закутались в снежные плащи.

Дверь со скрипом отворилась. Изабель оставила свечу на нижней ступеньке лестницы. Слабый колеблющийся свет тек из просторной парадной залы, где она зажгла свечи в двух канделябрах. Очаг отсырел, от огня шел чад. Изабель, все еще в плаще, стояла у приоткрытого окна, вглядываясь в сад, в статуи, засыпанные сухими листьями;

легкий снежок скользил по ним, не укрывая.

«Подойди, обогрейся».

Аннеке застыла на пороге. В простенке между окнами раньше висел портрет старого арматора, теперь он исчез, уступив место портрету Армана в возрасте пятнадцати или шестнадцати лет, в серо-голубом распахнутом на груди камзоле. Любопытная деталь: свое кружевное жабо он держал в руке и глядел на него с нежной усмешкой.

Изабель сказала: «Это жабо… я его так и не вернула ему, увезла с собою во Францию. Это одна из тех немногих вещей, что я захватила оттуда, когда бежала из Парижа».

Огонь наконец разгорелся и весело затрещал в очаге.

Изабель подошла к Аннеке, сняла с нее чепчик, распустила шелковистые волосы: «Ты все еще ненавидишь меня?» Ее руки скользнули по покатым плечам молодой женщины: «Ты все еще веришь, что это я извела твоего сына?»

Аннеке рухнула на колени и, обняв ноги Изабель, зарылась лицом в ее полотняные юбки. Она тихонько плакала, покачивая головой. Изабель присела рядом с ней, обняла, прижала к себе: «Ну чего ты боишься?»

Долго сидели они так, на полу, в мирной ти-

шине. В зале стало тепло, за окнами смеркалось, Изабель рассказывала короткими отрывистыми фразами:

«Я подстерегала его, прячась за ставнями… он знал это. И не было случая, чтобы он не повернулся к окну и не сказал… не вслух, а одними губами: “Верни мне жабо, а то побью!” Ах, как долго я ждала, когда же он побьет меня!

Если Саския посылала меня в город под присмотром служанки, он всегда оказывался поблизости. А когда отец Армана брал его с собою в порт, я непременно вертелась где-нибудь рядом. Нас с ним прибивало друг к другу, словно два корабля, попавших в одно течение…»

Изабель гладила шею Аннеке. «Когда мне исполнилось семнадцать лет, он стал подбираться еще ближе. Меня тогда сопровождала в город Сидония. У нее там был ухажер, а я ходила в док — якобы для того, чтобы любоваться трехмачтовой шхуной, прибывшей из Индии. Сидония убегала обжиматься со своим Лилем, а мне наказывала: “Стойте тут и глядите, сколько влезет!”

Арман незаметно подходил сзади, от легкого касания его руки я трепетала, как натянутые снасти. Его пальцы обхватывали мои, я чувствовала спиною его грудь. Мы могли стоять так целую

вечность, уже и темнело, и задувал холодный ветер, а мы все стояли… он глубоко дышал сзади, я была ни жива ни мертва. Вот и все, Аннеке, вот и все… он так и не побил меня, пальцем не тронул, не взял. Однажды вечером он сказал: “Сегодня мой отец придет к твоему”».

Аннеке вскинула голову и оторопело взглянула на Изабель: «А дальше что?»

«А вот что: мой отец ответил: “Я дам денег, но он женится на старшей. Насчет младшей у меня другие планы”».

Голос ее прозвенел и сорвался на этих словах. Однако Изабель улыбнулась: «Понимаешь, малышка, вот это и называется прекрасной любовной историей. Меня выдали за маркиза, Армана женили на Мадлен, а когда я вновь увидала его там, в кабаке, он сказал: “Иди домой, Изабель!” Вот и все».

Она поднялась и взглянула сверху на сидящую служанку: «Ну а теперь давай поговорим — коротко и без обиняков. Через неделю мы окрестим Коллена, ты будешь крестной матерью. Ну а в крестные отцы годится только Джоу, и никто другой. Хендрикье заменит его в церкви. И не из чего было устраивать переполох».

Аннеке вскочила на ноги и так бурно обняла

Изабель, что та пошатнулась. Юное, поблекшее от скорбных слез личико внезапно вновь озарилось ликующим сиянием: «О, мадам Изабель!» Свежие губы прильнули к шершавой щеке, на которой оспа оставила свою страшную мету.

Они улыбнулись друг дружке. И тут же Изабель, мучительно оскалившись, пробормотала: «А теперь оставь меня!»

* * *

Я решилась в несколько минут, оставив Изабель ее упрямому отчаянию, ее напускной грубости. Ибо ее молчание в ответ на расспросы служанок было моею выдумкой — так я репетировала ту гипотетическую жестокость, которую мне приписали заранее. Что-то нашептывало мне, что она непрестанно выказывала злость именно для того, чтобы излить ее, избавиться от нее путем постоянных стычек с окружающими. А может, я и заблуждалась на ее счет с самого начала. Соблазн давить, подчинять себе живые существа никогда не ослабевает, повторяясь вновь и вновь. Я часто твержу себе это. Подобные рецидивы воспитывают меня. И учат — многому. Я тоже играю в эту игру — не очень давно, но играю. Слова Рашели явились для меня внезапным откровением на

эту тему. Рашели или Элен? Обеих. Вот это-то я и называю «играться с окружающими» — или уж я совсем не разбираюсь в жизни.

Итак, я позвонила Полине. На сей раз не домой — в клинику. Разумеется, она не подошла к телефону. Пришлось мне обговаривать с кем-то другим время консультации, называть имя-отчество-фамилию… Внезапно мне стало тошно от всего этого. Я давно отвыкла представляться другим людям, — вероятно, из презрения к ним, хотя и презрение в некоторых случаях способно охранить вас. Я прекрасно знаю, как меня НЕ зовут, а имя… Господи, какой пустяк!

В клинике на меня заполнили карточку, не удостоив ни единым взглядом. Когда я очутилась в приемной, страхи мои несколько улеглись. Ужасы во множественном числе обращаются в банальность, а ужасов здесь хватало, и мне, с моей рожей, было далеко до некоторых из них. Не видя этого, быстро забываешь, чем нас способна «одарить» милосердная жизнь. Мои соседи встретились на своем пути кто с лобовым стеклом автомобиля, кто с кипящим маслом, кто с кислотой, с раком, с неумелыми врачами. По сути дела, жизнь старается избегать уродств и увечий: вот почему, собранные вместе, они утрачивают

свой невыносимый гнет.

Когда я вошла в кабинет, Полина улыбнулась:

— Ну, решила наконец?

Да, я решила! Вся ее команда разглядывала меня острым профессиональным глазом, перебрасываясь анатомическими терминами со страстью ученых педантов.

У секретарши, делавшей записи, была красивая, но холодная, застывшая мордочка. Интересно, а не подновили ли и ей фасад? Эта мысль мне не понравилась. Девица покачивала ножкой, звенела многочисленными кольцами, шуршала шелком, у нее была цепочка на щиколотке и пресыщенный вид многоопытной особы… Я отвела взгляд; негоже примеривать к себе все встречные смазливые личики; верно сказала Рашель: это всего лишь личико.

Здесь у Полины был совсем другой голос, иные тон и ирония, чем там, в шезлонге на лужайке, близ розовых кусов. Вот только взгляд не изменился. Она снова исследовала, прощупала меня. В ее руках, под ее пальцами, я была всего лишь куском мяса, ни больше, ни меньше. Она разъясняла своим ассистентам, что собирается удалить, обрезать, закрепить, какими материалами нужно пользоваться. Нет, костяная мука не подойдет

— слишком большое пространство нужно заполнить… и пересадка кости здесь тоже не годится — очень долго приживается и совсем ненадежно. «Но почему бы не попробовать? — кипятился брюнет со взглядом фанатика, — она молодая, крепкая, здоровая — выдержит!» — «Посмотрим после рентгена, — охлаждала его пыл молодая женщина со строгой прической, — может, ей вовсе не улыбается сидеть в клетке все время, что приживается кость, это ведь не подопытная собака, старина!»

Да, я не входила в число его подопытных собак. Я была не прочь послужить им предметом для игры, но притом собиралась поиграть и сама. Помнили ли они о том, что жизнь завоевывается для всех одинаковым образом, а именно активным участием в «игре»? Они смеялись, подмигивали Полине. Особенно мужчины. До меня дошло — правда, не сразу, — что они разделяют ее вкус к красивым женским телам и любовь к трудным «случаям».

Весь день ушел на многочисленные исследования и анализы; их сплошная череда помешала мне предаваться страхам и унынию. Всякий раз, как я сталкивалась с Полиной, — а теперь я знаю, что она старалась в тот день попадаться

мне на глаза как можно чаще, — я видела, что ее мучат сомнения не меньше моего. Моя боязнь моральных последствий операции передалась и ей: Рашель пересказала Полине наш разговор, и при каждой очередной встрече я читала в ее взгляде что-то похожее на мольбу:

«Не жалей ни о чем, не заставляй меня мучиться угрызениями совести, я и так уже несу свою часть этого гнета!»

Перед самым концом исследований я наткнулась на Полину в коридоре; стоя перед балконной дверью, она задумчиво покусывала ноготь большого пальца. Она была так напряжена, что, казалось, стекла вот-вот зазвенят от устремленного на них взгляда.

Она отмахнулась от меня, и мне пришлось вручить всю кипу анализов и прочих справок секретарше, которая рассеянно записала меня на среду, велев принести оплаченную страховку. Оглянувшись, я еще раз увидела Полину, по-прежнему застывшую посреди коридора. Девица с презрительным равнодушием объяснила: Полина только что прооперировала девочку-подростка; после таких операций она не сразу выходит из транса, не следует обращаться к ней. Эта глупая красивая пустельга мне решительно

не нравилась. Я не была уверена, что хочу жить с таким лицом, как у нее. Еще немного, и я попросила бы Полину соорудить мне самую невзрачную из всех заурядных физиономий.

Я ушла, борясь со все возрастающим ощущением полной неопределенности и одновременно сладенькой мечтательности, как будто нанялась сниматься статисткой в какой-нибудь из фильмов Спилберга. И почти готовая все бросить к черту. Я позвонила Рашель, но мне никто не ответил. И тогда я побежала к своему братцу, в его роскошную «хижину». Маёге[94] купила ему эту гарсоньерку втайне от нас всех — по крайней мере, она так думает, — экономя на чем только можно, в том числе и на мне, и мы оба — и я, и мой брат — прекрасно это знаем. Мой милый братец утверждает, что недостаток конфет и пирожных сослужил НАМ хорошую службу, сохранив прекрасные зубы; на самом деле польза от этого только Е одному, кому эти лишения принесли очень недурную «хазу» на верхнем этаже здания, построенного под офисы, на улице Сен-Бенуа.

Я частенько забегаю к нему сюда (когда он дома). После шести вечера офисы пустеют, и

---

[94] Примечания: 94
Мать *(исп.)*.

квартирка — словно необитаемый островок среди моря черепичных крыш вокруг площади Сен-Жермен. Здесь так уютно, что я даже не испытываю горечи или зависти, — во всяком случае, по отношению к нему.

Брат тотчас почуял, что я не в себе. Он сунул мне в руку стакан и усадил перед огнем, который всегда разводит в камине «под настроение» — свое и мое.

Мне хорошо у него. Пять бывших каморок прислуги образовали одну длинную комнату в пять окон; каждое освещает свой уголок — уголок мечтаний, уголок чревоугодия, уголок обольщения, любви или одиночества. Его постель тянется вдоль трех дальних окон, — на ней он читает, ласкает, наслаждается, иногда даже спит. И я спрашиваю себя: что он знает в жизни, кроме денежных затруднений в конце месяца; мучится ли сомнениями, смирился ли с тем, что ему — и ему тоже! — суждено постареть. Мой брат красив, как картинка, он всегда был красив, как картинка…

Мы долго сидели рядом, оглаживая друг друга. Эти невинные ласки заменяют нам беседу; но когда я начала слишком уж рьяно прижимать к себе Диэго, словно втирала в кожу приторно-сладкий крем, он впился в меня подозрительным взгля-

дом: а ну-ка, детка, выкладывай, что стряслось? И я выложила… на сей раз вполне победным тоном, — то-то старики взовьются! Он улыбнулся; полулежа, подложив под голову ладонь, он исподтишка разглядывал меня.

— Тебе нужны деньги?

И тотчас добавил, что прекрасно понимает: я пришла не для этого, но все-таки, хватит ли мне на операцию? Хорошо ли ее сделают? И кто?

Я расказала про трех «толстух» в темно-красном домике, и мой братец зашелся от нервного хохота. Ей-богу, моя новость взволновала его. Он оказался «глубже», чем я думала; поистине, нынче мне выпал день открытий.

Зазвонил телефон, и Диэго резко вскочил, ухватившись за этот предлог, чтобы скрыть свои чувства. Говорил он сухо, отрывисто, — разумеется, с женщиной: нет, он не может… нет, он не зайдет за ней к этим, как их… Он сурово нахмурился: «Слушай, ты мне надоела!» Женщина, вероятно, кричала, потому что он отвел трубку подальше от уха. Я вновь увидела знакомое выражение на его лице, когда его пальцы поползли к рычагам аппарата. Он нажал на них и прервал разговор.

Мое определение злобы получило новую пищу.

До этого я не могла подобрать имени тому, что madre называла «божественными прихотями» Диэго и что сейчас запечатлелось во взбешенном, почти змеином взгляде.

Мы молчали. Наконец он успокоился и мало-помалу вновь превратился в того очаровательного юношу, что поддерживает со своей сестрой милые, ни к чему не обязывающие отношения. Интересно, чем он зарабатывает на жизнь, мой душка-братец?

Учился он хорошо, но обманул тщеславные ожидания отца, а может, и свои собственные.

Сейчас он работает ассистентом режиссера. В этой должности он чувствует себя привольно, как рыба в воде; впрочем, точно так же он вел бы себя на любой другой работе, — например, перед кинокамерой. Но он о таком и не помышляет и другие — тоже. Вместо этого он мечется по съемочной площадке, делая все, что попросят, подмазывая физиономии актерам, маскируя морщины актрисам. Он, что называется, «специалист по связям с общественностью», и специалист превосходный — веселый, жизнерадостный, ровный в обращении, к тому же всегда годится «на выход» для сопровождения особ не первой, да и не второй молодости, — словом, мастер своего дела.

Режиссеры просто рвут его на части, особенно при трудных съемках, так что, наверное, я к нему несправедлива. То, чем он занимается в этом мире буйных сумасшедших, еще изнурительнее, чем ходьба по проволоке, хотя за это ему вполне прилично платят. Но деньги, заработанные подобным, обманчиво простым способом, опасны, как гремучая змея; впрочем, я, вероятно, ко всем своим недостаткам, еще и занудная пуританка.

Диэго опять уселся у моих ног: «Хочешь, поужинаем здесь? У меня есть все, что ты любишь, — лососина, блины, водка».

Я поглаживала его по плечам и затылку. Прикрыв глаза (так и не пойму, зачем, — разве чтобы не видеть меня или просто разнежившись, — ведь он «профессионал», говорила я себе), мой братец тихонько насвистывал старую «боссанова», выделывая руками то, что в детстве мы называли «carna vale». Насвистывал, мурлыкал… Нет, решительно, я слишком люблю Диэго.

— Как там твои дела с прабабкой?

— Движутся потихоньку.

— Знаешь, она мне с некоторых пор не дает покоя. Помнишь, я в феврале ездил с группой Барни на съемки в Рио? Ну так вот: я сбежал от них на второй же день. Все эти распроклятые

бабы вертели задами и вопили «стр-р-растными» голосами, пытаясь изобразить знойных бразильянок, и на каждом шагу норовили уложить меня в постель; наконец, мне это осточертело. И Барни тоже был сыт по горло. Он оплачивал весь этот бардак и — слепому было видно — все впустую. Тогда я предложил ему: давай смоемся! Он плюнул на них, и мы слиняли. Странное дело: мужчин я интересую, а женщинам только нравлюсь... Ну, в общем, мы с ним улетели в Ресиф[95], и я повез его в наше фамильное гнездо. Гасиенда «Жунсао» или «Триречье», ты помнишь это название? Ныне это просто величественные развалины. Мангровое дерево проросло сквозь плиты патио, а грязь и сырость прикончили все остальное. Баньян перед домом возвышается на воздушных корнях толщиной с мою ногу, словно на колоннах, — потрясающее зрелище, глаз не оторвать!

Над южным крылом дома сохранилась крыша, и большая комната в нем осталась нетронутой, — правда, она вся увешана зеленой бахромой плесени.

Дом хранит молчание, — так нам сказали

---

[95] Примечания: 95

Ресиф — Бразильский портовый город на Атлантике, старое название — Пернамбуко.

местные жители… Негры. Они перекрестились, увидев нас выходящими оттуда. В их семьях это имя передается из поколения в поколение; чуть ли не в каждом доме есть своя Изабелита, и все они, как на подбор, одержимые. Имя делает их властными, сильными. И когда в семье находят, что девочка похожа на «госпожу», она может потребовать хоть луну с неба — ей достанут.

Все они там знают историю жизни Изабель, все хранят ее в памяти, — за два века она не постарела ни на йоту. Для них она словно только вчера умерла. И по-прежнему внушает им смертельный ужас. Они обшарили, ограбили и разорили практически весь дом, все, кроме южного крыла, где жила она; туда никто даже носа не сунул. У меня…

Внезапно он смолк, напрягся, потом руки его безвольно сникли. «Видишь, мне тоже есть о чем порассказать».

— Ты приедешь ко мне туда? — спросил он. — Обрыдла мне здешняя жизнь. Я раб — в золотом ошейнике, но раб. А там я буду жить. Просто-напросто жить. Конечно, придется вкалывать вовсю, я, знаешь ли, не обольщаюсь по этому поводу, но уж, по крайней мере, смогу сам выбирать, кого любить. Наверное, сперва хлебну горя;

что ж, без труда не вытащишь рыбки из пруда, я готов потрудиться. Работаю же я здесь! Ну, будет у меня меньше башлей, ясное дело. Но, знаешь, я уже созрел для того, чтобы понять: некоторые хорошие заработки обходятся слишком уж дорого.

Представь себе: сквозь паутину и мох сверкал глаз Изабель, словно вопрошая меня: тебе нравится твоя теперешняя жизнь, мальчик? Вправду нравится? И до каких же пор?..

Все это я объяснил Барни. Знаешь, за его невозмутимой английской физиономией и вечной сигарой в зубах таится настоящая доброта. При этом он не размазня, отнюдь нет! Он много чего повидал и сделал в жизни и не обо всем болтает. «Я наслаждаюсь не телами», — ответил он мне как-то давно, когда мы говорили о его женщинах. Там, в Бразилии, я наконец понял, что он имел в виду: ему, как и всем, нужна луна с неба и все планеты в придачу. Цитирую его: «Я буду счастлив лишь тогда, когда найдется женщина, которая возьмет всю эту роскошь, всю эту жизнь, полную погони за деньгами, просто и естественно, не думая об “отдаче”, не делая ставки на будущее». А вместо этого ему подворачивается очередной «приятный эпизод» и… жизнь продолжается. Все эти красотки воображают, будто достаточно рас-

платиться с ним «натурой», тогда как он ничего такого от них не требует; несмотря на неудачи, он продолжает искать; вот уже двадцать лет как он ищет. Он бы понравился тебе; знаешь, как он сам говорит о себе? — Я Простодушный, лишенный простодушия[96].

Когда он увидал портрет Изабель, он прямо онемел от изумления. «Вот какая мне нужна!» Представляешь? Ну, тогда-то я и вывалил ему все, что думал: если хочешь заполучить луну с неба, нужно не прыгать за ней, а притвориться равнодушным: мол, ничего такого не хочу. Я рассказал ему, чем ты занимаешься в свободное время; он так удивился, что на целых пять минут позабыл про свою кошмарную вонючую сигару.

— Он поможет тебе?

— Он обещал разорвать контракт, связывающий меня с его компанией, и — скатертью дорожка! Я ничего другого и не желаю. Единственное, что он дал мне, это советы. Вполне, кстати, разумные, — этот тип разбирается в жизни. Когда мы прощались в аэропорту, он впервые взглянул на меня внимательно. До тех пор, знаешь ли, я ведь был королевским шутом, а кто

---

[96] Примечания: 96
Простодушный — герой одноименной повести Вольтера.

же разглядывает шута?! В конечном счете и у меня есть своя гордость. Он использовал меня и получил удовольствие — в своем понимании этого слова, а такое случается с ним не каждый день. Я не хвалюсь — это его собственные слова. Я чуть не помер со смеху. Сильно подозреваю, что он просек все с первого же взгляда, потому что этот человек умеет видеть; он ничего не ожидал от меня, а в результате получил; впрочем, должен признать, что раньше и не подозревал за собой таких талантов. И думаю, что не будь тебя — такой, какая ты есть, — я бы прошел по жизни стороной, не догадываясь о главном. Красота — действенное зеркало… при условии, что стоишь не перед ним, а сзади…

Диэго говорил, говорил… но я знала, что под журчащим ручейком его болтовни он непрестанно думал об одном: наша madre устроит такой трамтарарам!..

— Ты матери сказала?

— А ты?

— Ну еще бы!

Мы поужинали на крыше, как всегда, поглядывая на маленькую статую Персея, воздевающего к небу голову Медузы в двадцати метрах от мостовой и совершенно невидимого снизу. Уже

больше века этот бесполезный герой покрывается зеленой патиной на крыше необыкновенного дома-салона, где с самого начала обосновывались одни только психи — от теософского кружка Анни Безан до нынешней школы танго «для тех, кому за шестьдесят».

Дождливыми вечерами, которые и летними-то не назовешь, — так, чуть-чуть теплее, чем зимой! — нам случалось спать здесь под навесом, сооруженным по заказу Диэго, — спать или пытаться заснуть, лежа за спиной бронзового красавца с юными округлыми ягодицами, простиравшего к звездам руку с трофеем. Японские груши на площади роняли от восхищения розовые лепестки.

Мне нравится этот уголок, нравится эта неизвестно для чего сооруженная статуя; она решительно никого не отпугивает, даже воробьев. Нравится этот меленький неслышный дождик, робко шепчущий что-то неразличимое. В Ресифе, наверное, совсем другие дожди — буйные, оглушительные, и вода в обеих реках поднимается на добрый метр!

Диэго задумчиво оглядывал церковь, деревья вокруг: подумать только, неужели я буду скучать по всему этому?! Он потягивался с плотоядной

ухмылкой, которую я иногда наблюдаю и у отца. О, этот хищный рот Армана-Мари! — сколько женских сердец и в скольких поколениях соблазнили им мужчины из рода Хагуэносов! — даже наша madre, и та не колеблясь последовала за ним в изгнание.

— Когда я их вижу, я лишний раз убеждаюсь, что любовь не стоит тех бед, которые ей сопутствуют.

— Что ты имеешь в виду?

— Наших родителей. Почему мать поехала за ним? Ведь она-то ни с какого боку не имела дела с политикой?

Диэго изумленно вытаращил глаза, потом разразился хохотом:

— Политика… ой, Боже мой… политика! — Он чуть не плакал от смеха. — Политика… ну, ты и романтик, детка! Хочешь знать, почему он уехал из Бразилии, наш папаша Хагуэнос? Да его отец выгнал из дому, вот тебе и вся политика. Ну и насмешила ты меня! Его «политика» трясла парой толстых сисек и звалась Долорес — любовница деда за номером 3 или 4. Дед сам был не промах и изменял своим бабам направо и налево, но когда собственный сын наставил ему рога, это уж извините! Тут-то они и сшиблись: вор у вора

дубинку украл. Слово «вор», кстати, тут вполне уместно, поскольку наш папочка запустил руку в сейф к старику, чтобы оплатить себе проезд до Европы. А ты к этому моменту была уже в проекте. Вот почему мамаша сбежала вместе с ним, по этой же причине она и любит тебя, как прыщ на заднице. Ну… потом старик умер, папаша получил наследство, так вот почти все и уладилось. А с моим рождением мать полностью овладела ситуацией — еще бы! — сын, новый Хагуэнос!.. он тотчас женился на ней. Но с тех пор они ни разу не были в Ресифе — не потому, что он не хотел, а потому, что она не хотела, чтобы он туда ехал. Вот тебе подлинная и правдивая история блестящего семейства Хагуэнос. У нашего папы — революционные идеи! Господи, да ты только глянь на него! Все его идеи умещаются у него в штанах, а единственная революция, какая ему известна, воплощена в виляющей заднице танцорки самбы. Хочешь, я тебе скажу, на кого он похож? — на Эктора… на твоего Эктора с его черным ротиком.

Итак, мы поставили родителей перед свершившимся фактом. Может быть, из трусости, а что касается меня, то из внезапного разочарования: в детстве я упивалась тем фактом, что мой отец — политический беженец. Я оказалась не

такой уж проницательной в отношении своего родителя. И теперь с опозданием убеждалась, что он просто-напросто мелкий маклер, помаленьку растрачивающий отцовские денежки; наш образ жизни то и дело менялся, и ставшие привычными слова «если бы ты не истратила так по-идиотски…» знаменовали собой очередное сокращение ежемесячной суммы на хозяйство и карманные расходы, обрекая нас на полуголодное существование. Всеобщее процветание в эту индустриальную эпоху ничем не коснулось нашей семьи; вместо него меня осыпали попреками типа «ты думаешь, дети в слаборазвитых странах питаются так, как ты?». Они начисто лишали меня аппетита, заставляя терзаться угрызениями совести. «Мы помогаем странам третьего мира», — говаривала моя мать Долорес, сопровождая свои слова едкими взглядами, которые я не понимала. По правде говоря, эту пикантную подробность разъяснил мне со злорадным смехом все тот же Диэго: под третьим миром подразумевались всякие Джессики, Труди, Хлои и прочие дешевые шлюшки, что «утешали» отца, когда он нуждался в утешении, накупив акций по высокому курсу и распродав их по бросовой цене.

Таким образом, очнувшись после операции, я

приготовилась к одиночеству: Диэго уехал неделю назад. Я сама настояла на этом, как, впрочем, и на всем остальном: «Хочу увидеть себя до того, как меня увидят другие; увидеть сама, а не через их взгляды, даже твой мне будет тягостен», — так я сказала ему, и он согласился. Мой брат никогда не замечает моей лжи.

Но возле меня, сложив руки на коленях, сидела Рашель — спокойная, бледная до синевы, сложив руки на коленях.

Я перешла от операционного сна к нормальному, даже не заметив этого; так мне и не пришлось испытать томительное ощущение возврата из потустороннего мира в наш грешный. Единственное, что я ощутила, придя в себя, это неудержимое желание пописать. Это и были мои первые слова. Голос у меня хрипел и «плыл», точно на покореженной пластинке. Рашель позвонила, вошедшая медсестра сделала все необходимое. Итак, моим первым сознательным ощущением оказалось вот это незамедлительное физическое облегчение, оно тотчас же подняло мне тонус: до чего ж приятно зависеть от собственного тела в тех непоэтических обстоятельствах, где поэзии и не требуется! Не рискуешь угодить в лирическое кораблекрушение. Ох, я, кажется, так и не сумела

отучиться говорить максимами!..

Мое возрожденное лицо было сплошь, до самой шеи, замотано бинтами. Вторым, столь же острым ощущением, был волчий голод, что я и выразила вслух. Кто-то засмеялся, но и тут все устроилось весьма прозаическим образом. Мне дали пососать через толстую соломинку какую-то микстуру — по словам медсестры, смесь растительных жиров, протеинов и глюцидов замедленной усвояемости. Мне на эти премудрости было решительно наплевать.

Взглядом я вопрошала Рашель. «Диэго навестил меня, — сказала она, — он очень красив. Ты-то знаешь, что я думаю о красоте. Он начал интересовать меня лишь в ту минуту, как я поняла, что он уезжает именно с целью отучиться пользоваться ею в корыстных целях. Он любит тебя. Он не решился ослушаться и остаться, но хотел, чтобы кто-нибудь побыл с тобой после операции: мол, человеческое тепло не способно причинить зла; полагаю, ты узнала его манеру выражаться».

Я слушала, но не слышала ее. В голове у меня стоял туман, и временами я погружалась в какое-то промежуточное состояние призрачной пустоты. «Бекон...» Рашель нагнулась и с озабоченным видом попросила меня повторить, но

мысли мои уже приятно спутались и завертелись в медленном вальсе. В объятиях… кого? Я всегда любила спать, ведь во сне видишь сны. Нынешний сон явил мне сладостную мечту, которую хотелось удержать, хотя она была расплывчатой и невесомой. А Изабель… видела ли она сны? Уж для нее-то мужчины не были ни расплывчатыми, ни невесомыми.

Прошло, как мне почудилось, довольно много времени. Я вторично вынырнула из дремы и увидела Полину, которая сухо и отрывисто отдавала приказы. «Больше никаких снотворных, никаких транквилизаторов, больная явно слишком чувствительна к ним».

Я открыла глаза, и она присела ко мне на кровать: тебе плохо? Нет, мне не было плохо.

«Вот это-то и плохо, у тебя должны быть боли».

«Браво! Как ты добра!»

И тут в коридоре опять кто-то засмеялся.

Полина рассердилась: «Не будь дурой! Мне нужно, чтобы у тебя был зуд, ведь это живая ткань, черт возьми!»

Да, ткань была живая. Но больно мне не было. Просто надо выражаться точнее, моя дорогая!

Полина зло запыхтела и сжала мне запястье: «Эй, ты еще шутки шутить со мной вздумала?!»

Я неотрывно смотрела на нее, и она наконец выпустила мою руку. «Там пришла Рашель».

— Я знаю.

— Она в коридоре, вместе с другом твоего брата, хочешь их видеть?

Я хотела только немного покоя, но ведь Рашель, спустившись со своего насеста на третьем этаже, нарушила свой, и я пожала плечами: ладно, пусть войдут!

Рашель, все еще задыхаясь от недавнего смеха, причитала, что я слишком много сплю. Мужчину, стоявшего за ней, я не знала, но узнала сразу. Высокий, массивный, с нежно-голубыми глазами и носом той дерзкой формы, что придает мальчишеский вид даже самым зрелым людям. Глаза поблескивали жестковатой хитрецой. Он жевал гаванскую сигару. Не успел он вымолвить и слова, как пигалица-медсестра фурией налетела на него: «Месье, в палате у больной не курят!»

Он показал на сигару — она была не зажжена. Пигалица, уже было воинственно привставшая на своих коротеньких ножках, повернулась к нему спиной, бормоча: «Тогда зачем она вам сдалась?»

«Младенцы сосут пальчик, дети — леденцы, медсестры жуют резинку, — чем я хуже их?»

Рашель тронула его за рукав: «Не смешите ее, ей это вредно». Она выпрямилась, трудно дыша: «Я устала, пойду… если хочешь, я еще как-нибудь навещу тебя. И не дразни Полину, она и без того сильно переживает. Поупражняйся в остроумии на ком-нибудь другом».

И вот мы остались одни, Барни и я. Прислонившись к стене, он разглядывал меня сверху вниз: «Ну как, все в порядке? Я могу говорить, задавать вопросы? Мне многое хочется узнать, но я готов и потерпеть».

Тут в дверь просунулась медсестра: «Лучше потерпите. Доктор строго предписала ей полный покой, покой и еще раз покой».

Сестра увлеченно жевала резинку, и Барни насмешливо показал ей язык: «О'кей, малышка!» И с улыбкой вышел; на пороге палаты он рассмеялся от всего сердца: «Цыпочка моя, я вас просто обожаю!» Сестра, ничуть не смутившись, проводила его глазами с ворчанием: «Ладно, ладно, я еще и не таких усмиряла! За кого они себя принимают, наглецы эдакие?!»

В течение последующих трех дней я боролась с полчищами муравьев, безжалостно терзавших меня под бинтами. Полина хотела, чтобы у меня «зудело», — ну так вот, не знаю, что меня удержи-

вало сорвать с себя бинты и расчесать кожу до крови, настолько нестерпим был этот зуд.

А за окнами пылала ранняя осень. Деревья пожелтели, не успев потерять ни листочка, а сырой воздух разукрасил их стволы охряно-черными разводами. Мне не надоедало любоваться особенным, ни с чем не сравнимым светом тех ранних сумерек, когда октябрь норовит до времени занять место погожего сентября.

Рашель не раз навещала меня, все еще в платьях летних тонов, и подробно описывала свой сад. Она много говорила и о Полине — оказалось, они родные сестры! — и невнятно вспоминала былые влюбленности, препятствия, страхи.

«У нашего отца был слишком властный нрав, он никогда не потерпел бы рядом с собою другой такой же характер».

Я безразлично возражала ей: «Ну а ты сама? У тебя-то ведь точно такой же!»

Барни прислал мне ветку орхидей с черными мясистыми языками; Рашель не сводила с них глаз, она не отвечала. Но ее молчание не стесняло меня.

Это были спокойные, тихие дни; я хочу сказать, дни без особых душевных волнений. По крайней мере, для меня, ибо я — путешествовала.

* * *

Среди людей, посвященных в ее замысел попутешествовать, Изабель легко находит тех, кто хранит старинную приверженность к ТАЙНЕ, и тот факт, что нею следят — ибо любят! — ничего не меняет в положении вещей. Итак, она замыкается в действиях и жестах, которые отныне никого более не удивляют. Разве не чувствует она себя в порту как дома?! Она толкует с Жозе, которого давно уже зовет Пепе — дедушкой; этот, сидя за стаканчиком шнапса, готов переделывать мир по два раза на дню. Она беседует и с Хоэлем — сурово и по-мужски грубовато — о войне, о Революции, и ее едкий, приятельски-фамильярный тон отнюдь не располагает к ласкам, хотя он только о том и помышляет и хотя ей это известно.

Но ничто в их беседах пока не настораживает окружающих. Женщины мало-помалу успокаиваются, даже Минна, забыв о бдительности, гордится собой: она, мол, употребила во благо то, что ее сын всячески скрывал от Изабель. Да и все прочие пребывают в приятной безмятежности, столь удобной для той, что затаила в сердце хитроумные свои планы.

Однажды вечером Минна даже признается, что

легкое волнение и мелкие, постыдные уловки, направленные на обуздание Изабель, разгорячили ей кровь почти так же, как любовные желания в юности, и Хендрикье, выслушав ее, мрачно покачает головой. В очередном письме к своему Джоу она с обычной прямотой скажет, что ей стало стыдно за старуху. «Ты ведь знаешь, как я осуждала Изабель, когда она водила за нос Шомона; я находила непристойным то удовольствие, которое она получала от бессилия стряпчего перед нею. И вот теперь Минна пустилась в такие же проделки; будь я на ее месте, я бы прежде хорошенько подумала…»

Но это все пустяки. Невзирая на тревожные слухи из Франции о набирающей скорость гильотине, они ведут прежнее сонное существование в привычном домашнем мирке, который не сотрясают никакие бури; они уверенно глядят в будущее, сулящее им возврат «своих» моряков — мужей, сыновей, любовников. Живут, как жили сотни лет подряд — во всем по-деревенски прижимисто; для этих женщин время движется еле-еле и отнюдь не в том направлении, какое им хорошо знакомо.

Но вот грянул гром, и они забегали: однажды утром Хендрикье приходит из своего дома, где

она еще иногда ночует, и видит распахнутую входную дверь; Элиза и Дина, сидя на ступеньках лестницы, растерянно глядят на остывающие горшки с горячей водой и льют слезы: Изабель исчезла.

«Пойми, Джоу, я пришла в ярость. Как я могла обмануться и принять полыхающий пожар за мирный зимний огонек?! Я завопила, я бросилась в комнату Коллена, — слава Богу, она уехала одна. Со злости я расколотила две миски, чуть не отхлестала Дину по щекам за какую-то мелкую провинность; я бушевала вовсю! Пока Элиза бегала с этой новостью к фру Минне, я металась по дому, не зная, куда приткнуться, бранясь шепотом, чтобы не разбудить малыша, который и так слишком скоро все узнает, и проклиная упорно молчавшую Аннеке. Вот уж кто меня удивил, так это она! Наша “умница” вдруг заявила, что Изабель сама имеет право решать; она, мол, не обязана перед нами отчитываться, и тогда я заорала во всю глотку, как ненормальная: интересно, что бы ты запела, если бы наша маркиза увезла Коллена!

Минна, одетая наспех, в криво напяленном чепце, прибежала, хватаясь за сердце и шепча: “О Боже, Боже, какое безумие!” Кроме этих испу-

ганных и бесполезных причитаний я от нее так ничего и не добилась. Опять и снова приходилось нам сидеть и ждать неизвестно чего, и вдруг я поняла, что и мне тоже хотелось бы наконец уразуметь, в чем же смысл нашей древней, еще от Адама и Евы, доли — ожидания? Вдумайся в это и запомни, Джоу, — я больше не хочу жить в вечном ожидании».

А в это время Изабель сидит в легкой двухвесельной шлюпке под маленьким парусом; суденышко крадучись пробирается к скрытой в утесах бухточке, под самым носом у английских кораблей на рейде, у таможенной братии, стерегущей контрабандистов с их солью, и редких солдат еще молодой Республики, следящих за передвижениями на побережье. Изабель, Пепе и его племянник Антон отыскивают взглядом берег в промозглом тумане; невозможно распознать, далеко или близко земля, ползет ли марево с берега или с моря. Три ночи, проведенные на песчаных отмелях, около скудного, дымного, не согревающего костерка, сравняли всех троих в безобразии. Изабель способствует своему усерднее других; ее ладони покрыты кровавыми мозолями от весел, волосы засалились и свалялись, тяжелые от налипшей глины юбки цепляются и рвутся об

острые камни. И все же Пепе покачивает головой: спрячь свой глаз!

— Который?

— Здоровый. Пока он виден, никого ты своими лохмотьями не проведешь.

Изабель внутренне ликует. При дворе злословили: красотка Дюбарри так и не смогла избавиться от запаха сельдяных бочек;[97] ей же, напротив, никак не удается впасть в ничтожество.

После двух дней борьбы с яростным восточным ветром шлюпку выбрасывает на каменистую отмель, и старик, осмотрев суденышко, бормочет, что вряд ли оно продержится на обратном пути. Изабель, истрепанная морским ветром, не слушает его; она всматривается в лесистые берега, такие спокойные и зеленые в мелкой утренней мороси, покрывшей блестящим бисером изгороди и ветви ольхи.

Мужчины вытаскивают лодку на сушу и прячут ее в расщелине скалы. Изабель делит на троих привезенные ей Шомоном монеты — нового образца, с республиканским гербом. Плотно закутавшись в плащ, она неслышным шагом крадется по тропинке через пастбище. В корзине, под

---

[97] Примечания: 97

Графиня Дюбарри — любовница короля Людовика XV — происходила из незнатной купеческой семьи.

припасами и тряпьем, спрятана пара маленьких пистолетов, заряженных порохом. Скорее всего, порох отсырел в плаванье и пистолеты дадут осечку, но все же с ними спокойнее.

Она обходит стороною два хутора. С виду они заброшены, но мало ли что… она не стремится быть узнанной, по крайней мере так скоро. И она собирается проскользнуть мимо третьего. Корова в хлеву, недоенная и обезумевшая от жажды, громко мычит и рвется с привязи.

В три быстрых, почти машинальных движения — как часто она видела это в детстве! — Изабель швыряет охапку сена в кормушку, наполняет ведро водой из корыта, подхватывает скамеечку. Животное пьет не отрываясь и позволяет доить себя неумелым пальцам Изабель. Напившись парного молока и прихватив с собою сыр, забытый под полотняной тряпкой, она уходит; в доме по-прежнему царит мертвая тишина.

Изабель приближается к Вервилю короткими переходами, временами мимолетно думая о том, как перебиваются Пепе с Антоном. Условились, что они будут ждать ее ровно две недели, потом — каждый за себя. Изабель зашила в подол юбки несколько золотых монет старого образца, — это всегда пригодится. Золото, пусть даже с выбитой

на нем головой обезглавленного короля, — все-таки золото.

Она ночует в стогах или в заброшенных амбарах. Селения, городки тоже почти обезлюдели. Дважды она едва не столкнулась с солдатами. На ее счастье, они горланили песни на ходу, и она успела шмыгнуть в проулок, где и переждала. Теперь ей стала понятна заброшенность деревень: как видно, крестьяне укрылись в лесах, а может, наоборот, подались в города — «делать революцию». Всегда ведь найдутся такие охотники «по-волчьи выть».

На старом верстовом столбе, вывернутом из земли, она с трудом разобрала надпись «Вервиль в двух лье».

Сердце ее взволнованно заколотилось. Чуть дальше она признала овчарню, перед которой некогда водружали майское дерево[98]. Сюда приходили плясать фарандолу девушки на выданье и парни, задумавшие жениться; здесь она встретила Викторию — черноволосую, румяную Викторию в дерзком расцвете пятнадцатилетней красоты. Виктория приглянулась ей. Но шесть

---

[98] Примечания: 98

Майское дерево — шест, украшенный пестрыми лоскутками и цветами, с призом наверху, который доставался тому, кто взберется на верхушку.

лет спустя, когда оспа наложила на ее хозяйку свою страшную руку, девчонка сбежала из дому вместе с остальными служанками…

Изабель закрывает глаза; ей тогда было всего двадцать лет — двадцать сияющих лет! — а маркизу пятьдесят пять. Виктория приходила гасить свечи в ее спальне. Когда Мертей задирал служанке юбку или гладил пухленькие ее грудки, темные девичьи глаза впивались в светлые — Изабель; в этом взгляде читалось торжество: чьему-то владычеству приходит конец!.. Позже Изабель посылала ее с записками к Вальмону, и тот, конечно, не преминул тоже позабавиться с нею. Со временем Виктория обучилась многим хитростям и уловкам; она вполне уверилась в том, что получать от жизни возможно только золото — золото и ничего более, — ублажая мужчин высшего общества. Интересно, что сталось нынче с Викторией — податливой, свеженькой, аппетитной Викторией с ее развращенной душонкой?

Теперь Изабель замедляет шаг. В теплом утреннем мареве еще не проснувшейся деревни царит тишь, даже птицы — и те безмолвствуют.

А вот и Вервиль. Изабель огибает деревушку и сворачивает на дорогу с распятием на обо-

чине; она бредет с опущенной головой, словно боясь споткнуться о камень, но нет, — просто ей страшно. Только что увиденная овчарня с майским деревом была сплошь черной от жирной вонючей копоти; обгорелая крыша провалилась внутрь. Страх пробирает Изабель до костей: вот уже почти восемь лет, как она не бывала здесь, и два года, как Вервиль, по словам Шомона, погиб в огне, запаленном рукою Эктора.

Тропинка сворачивает, бежит вверх, переходит в аллею. Усыпанные гравием дорожки густо поросли травой; пахнет шиповником… странно, ведь раньше здесь благоухали розы. Изабель чувствует дурноту: ее розы сгорели, сгорели дотла!

К чему долее отрицать очевидное?! Но Изабель не щадит себя, она храбро смотрит.

Гранитный фундамент не уступил пожару, разве что кое-где дал трещины, но черные оконные проемы без стекол и криво висящая на вывернутых петлях дверь кажут взгляду дотла разоренные залы. Расплавленная черепица крыши устилает разбитые плиты и обугленный паркет; деревянные шкафы библиотеки намертво слиплись с остатками золоченых книжных переплетов и медными прутьями дверец. Здесь к запаху гари примешиваются запахи оплавлен-

ного пергамента и паленой кожи — словно от костра еретика.

Искусственная речка сплошь заросла кувшинками; они выбрались даже на берег, обвили каменный парапет, и их свежие мясистые цветы выглядят почти непристойно среди этого страшного пепелища.

Большие юкки перед домом пострадали на свой лад: в их треснувших стволах что-то поблескивает, и внезапно Изабель с почти бесчувственным интересом отмечает: ага, понятно, — оконные стекла полопались от жара и разлетелись вдребезги, а осколки впились в черную древесину, которая потом зарубцевалась вокруг них. Но острые кончики все еще выступают наружу и блестят на солнце.

За спиной у нее раздается треск; она оборачивается. Их трое — женщина и двое мужчин; они настороженно уставились на нее.

Исхудалые лица, грязные, как у нее, лохмотья, жадные пронизывающие глаза.

— Ты тоже ищешь убежище?

Изабель отрицательно качает головой. Женщина подходит ближе, пристально разглядывает ее: «А я как будто тебя где-то встречала». Они мерят друг друга глазами. Изабель, встревожившись,

отворачивается, но женщина уже успела увидеть. Она испуганно подносит руку к губам: «Господи Боже, я так и думала!» — и тут же замолкает. Изабель понимает: ее узнали.

Мужчины, рыскавшие тем временем по сгоревшим комнатам, выходят с разочарованным видом: там давно уже пусто, нечем поживиться, ни вещей, ни жратвы.

— Эй, девки, пошли поищем еще где-нибудь!

Изабель идет за ними. Женщина, опустив голову, шагает рядом с нею. Тщетно Изабель роется в памяти, — это испитое лицо ей незнакомо. Попутчица исподтишка поглядывает на нее — без гнева, даже без острого любопытства, всего лишь с тупым удивлением.

В деревне мужчины обшаривают дома и наконец в пятом из них находят немного хлеба. Оборванка даже отыскала где-то окорок — старый, вонючий, но нынче привередничать не приходится. Они с трудом жуют протухшее жесткое мясо; Изабель, не желая выделяться, ест вместе с остальными.

Подойдя к водоему, чтобы напиться, они видят двух собак; при виде людей те с рычанием отбегают прочь. Женщина испускает крик ужаса: собаки обгрызли два трупа, валяющихся лицом

вниз. Мужчины переворачивают их и разражаются проклятиями: «Ну, ясно, тут солдатня поработала!» Их лица перекошены ненавистью.

Тела уже смердят, ноги и животы внизу запачканы кровью. Женщина отбегает подальше, ее рвет; вернувшись и утирая рот, она оправдывается: «Это, верно, от ветчины». Изабель тоже сотрясают спазмы, — ветчина или что другое, но и она извергает рвоту. Наклонясь, женщина придерживает ей голову и шепчет — не зло, но с каким-то мертвенным торжеством в голосе: «Ну как, весело тебе, маркиза?»

Изабель выпрямляется, пристально смотрит на нее: «Кто же ты?»

— Тихо! — обрывает ее та. — Потом поговорим. Я боюсь этих двоих, они злы, как черти, я их не знаю.

И впрямь: мужчины пристально глядят на них пустыми, мертвыми глазами, в которых нет ничего человеческого.

Маленькая их группа идет весь день; женщины бредут сзади, стараясь, впрочем, не слишком отставать. Когда начинает смеркаться, они подходят к морскому побережью. Здесь всегда найдется сушняк; просоленный, даже волглый, он трещит, дымит, но все же кое-как горит и согревает.

Мужчины разводят костер в яме и ищут на скалах ракушки; пока Изабель и Франсуаза — так зовут женщину — собирают хворост, обломки досок и сухую траву, они обдирают раковины, перед тем как сунуть их в горячую золу.

Женщина наконец назвалась; она оказалась младшей дочерью смотрителя колодцев папаши Матье. Теперь Изабель признала ее, вернее, начала припоминать. Франсуазе должно быть года двадцать два, но она уже лишилась половины зубов, поэтому, разговаривая, стыдливо прикрывает рот ладонью. «Это у меня от сидра», — жалуется она.

— Зачем вы вернулись сюда?

— Хотела увидеть.

— Ну, это на вас похоже! Только чего тут глядеть-то? А вот коли вас узнают, берегитесь, недорого я дам за вашу шкуру.

— Но ведь и тебе тогда несдобровать.

— О, я не в счет! — горько усмехается та. — Здешние женщины хорошо знают, что за штука эта сволочная война. Кто бы с нами ни воевал — король или Комитет общественного спасения, ваш пасынок Эктор или солдаты Второго года[99],

[99] Примечания: 99

В эпоху Великой французской революции было введено новое летосчисление.

— нам все едино, нас все подряд грабят, преследуют, брюхатят; скажи спасибо, если в живых останешься… вот она какая, эта самая Революция. Одним только она и хороша: видишь, маркиза, как я нынче храбро с тобой толкую! А что до всего прочего…

Один из мужчин встает, подбоченившись: ну как, узнала ты, откуда она взялась?

— Да откуда же ей взяться, жирный ты боров, как не из Кутанса; там они убили ее мужа. А ей удалось сбежать, — слишком уж она страшна, чтобы забавляться с нею.

Подняв голову, Изабель кажет им пустую глазницу, побитое оспой лицо. Мужчина брезгливо морщится: ну, красотка, придется тебе самой заботиться о пропитании, вряд ли кто возьмется тебя кормить, с такой-то рожей! И он злобно хохочет: твой мужик, верно, охотно отправился на тот свет, от тебя подальше! Изабель молча отходит, надвинув чепец на глаза. О чем она только думала?! Искать себе пропитание, сказал он… Да, верно, в этом подлом мире нужно как-то существовать, и не всегда это легко. Она замечает, как жадно и вопрошающе смотрит на нее Франсуаза. «Раньше-то о вас заботились другие, нешто не так?» — говорит этот взгляд.

Чуть позже Изабель отходит в сторонку; один из мужчин, дернув Франсуазу за юбку, приказывает: пошли! Другой уже храпит вовсю. Изабель снова и снова вспоминает Вервиль. Она сама выбирала всю мебель, все ковры, все картины для дома, всех коров и овец для фермы; сама посадила все розы, деревья, кусты, ко всему приложила руку. Это она настояла: хочу разводить баранов рядом с вашими дурацкими коровами, пусть у нас будет свое мясо; она использовала все, что почерпнула в детстве из разговоров своей матери с дядей Оскаром, когда они поминали родную провинцию Фрисланд. Крестьяне мигом раскусили ее: она никогда не кричала, не угрожала, не распекала; она просто смотрела в глаза и презрительно бросала: «Кого вы хотите обмануть?» Она объезжала свои земли на тяжеловесном жеребце с мощными бабками, который с невозмутимым спокойствием шел сквозь плотный морской ветер. И все, все покорно подчинялись ей. Она им ничего не спускала, но и правами своими не злоупотребляла никогда. В Вервиле крестьяне-арендаторы жили спокойно и безбедно.

И еще: ни один из ее любовников никогда не бывал в Вервиле.

Теперь храпят уже оба их спутника. Женщина,

сидя за спиной Изабель, тихо и устало говорит: «Все равно, — нынче ли, завтра, — нас изловят и повесят. Или обезглавят — гильотины есть повсюду, в Ивето, в Байе, в Сен-Ло». И Франсуаза грустно усмехается: «Когда нужно лишить кого-нибудь жизни, прогресс тут как тут, идет вперед семимильными шагами, верно?»

И она со вздохом шепчет: «Уходите, пока они спят. Я им скажу, что тоже заснула; в конце концов, они мне не наказывали сторожить вас. Послушайте меня, уходите, — все лучше, чем подохнуть с голоду в нашей компании».

Изабель же продолжает размышлять вслух:

— Как это удалось Эктору одному устроить такой пожар? Конечно, в замке никого не было, но фермеры, арендаторы…

— Да нет, их явилось десятка два, не меньше; они выпустили нас из домов, но кое-кто из парней спал в стогах или на сеновалах, — еще бы, такая жара стояла! — ну, те сгорели заживо, вместе с сеном. А солдаты вошли во вкус; вы же знаете, каковы они — наемники. Сваливаются на голову невесть откуда — ни кола ни двора, — мы, крестьяне, для них чужаки. А ваш пасынок совсем помешанный, крови ему подавай! Он еще маленьким мучил собак, и господин маркиз порол

его, когда заставал за такими делами; сам-то он своих гончих любил больше родных детей. Ну а она — она исчезла; говорили даже, будто померла от оспы. Однако, я гляжу, вы далеко не ушли. Эх, до чего ж вы были пригожая, ей-богу!

— Как ты узнала меня?

— Да как же вас не узнать, вы ведь не меняетесь, а уж мы на вас тогда глядели во все глаза. Все наши девчонки мечтали попасть к вам в услужение, и я тоже. Говорили о вас, будто вы больно гордая, но справедливая, зря не обидите, и не злая, а только печальная. Ну, мужчины — те считали вас злюкой, но мыто все видели: небось вашему маркизу ни знатность, ни замок, ни богатство молодых лет не вернули. Понимай так: вас с ним окрутили тем же манером, каким и нас продают замуж. Знаете, мы вас даже любили, ей-богу! Не слишком, но все же… Конечно, последним куском хлеба с вами не поделились бы, но все знали, от кого шло добро. В дни свадеб выставлялась бочка вина — уж конечно не от маркиза, ему такое и в голову не приходило, даже когда была жива мать его сыновей, — говорят, чересчур заносчивая и глупая. Она тоже заболела оспой, как и вы, только ей-то пришлось помереть.

Франсуаза вспоминает прошлое без неудоволь-

ствия, почти мечтательно.

— А что стало с Викторией?

— Виктория возомнила о себе бог весть что; теперь она распутничает в Кутансе, вернее, распутничала, потому как недавно ее гильотинировали. И поделом: не спи с аристократишками, коли ты из простых, вот простые-то люди и вздернули на фонарь и тех и других. Ох-хо-хо, гнусная штука эта Революция, поверь мне, маркиза, гнуснее не бывает. Народ как раньше пух с голоду, так пухнет и поныне. Конечно, мошну теперь набивают другие, не вы, да все одно не мы.

Изабель молча слушала ее… все одно не мы!

— Так что, коли веришь мне, уноси-ка отсюда ноги! Песок твердый, ты легко пройдешь по нему, а там прилив смоет твои следы, и они ничего не увидят. А я скажу: спала, мол, и знать не знаю, ведать не ведаю.

Изабель встает и, спокойно отряхнув юбки, подвязывает их выше колен. Отдает корзинку Франсуазе: «Держи, там на дне деньги; правда, они немногого стоят; а этим скажешь, что я утонула, пытаясь бежать в прилив, и они тебе ничего не сделают. И это тоже возьми».

Женщина испуганно отшатывается: «Ох, нет, оружие я не возьму, да я и стрелять-то не умею; не

дай бог, найдут его у меня, тогда мне крышка».

Изабель пожимает плечами: ну, как хочешь! — и сует пистолеты в свой закатанный вокруг талии передник. «Прощай, Франсуаза, береги себя!» И уходит, пробираясь вдоль прибрежных утесов, шлепая по мелкой приливной волне глухо рычащего моря; она уже отметила по выброшенным водорослям границу последнего прилива и держится ее, поглядывая одновременно на путеводную звезду в северо-восточной части небосклона: Пепе с Антоном ждут ее, она успеет вовремя. Назад она не оборачивается.

Вервиль мертв, с Францией для нее покончено.

* * *

Полина ужасно нервничала. Позже я поняла причину: ей было мало просто исправить уродство. Она стремилась к творчеству — создавать на голом месте или воссоздавать, когда было из чего, добиваясь сходства новой половины со старой. Каждый вечер, перед тем как отправиться домой, в Сен-Манде, она беспокойно топталась возле моей кровати, исподтишка разглядывая меня, но стараясь не встречаться со мной глазами. В конце концов мне это надоело и я заявила ей: «Послушай, Полина, все идет прекрасно, прекрати это!»

В тот день, когда мне должны были снимать повязки, явился Барни, помахал под носом у сестры погашенной сигарой: «Это опять я, цыпочка!» — и сел у окна, напротив меня. «Ну как, понравились вам мои орхидеи?»

Его веки, неторопливо моргая, бросали тень на яркую синеву глаз; я люблю этот цвет. Так мы провели вместе почти час, даже не устав от обоюдного молчания. Дни уже стали короче, и мне были приятны рано подступившие сумерки. Ему, по-моему, тоже. Но когда заявилась медсестра — включить свет, как она объяснила, — он наклонился и тронул меня за руку: поговорим?

У него был «домишко» на Юге, близ Кавалэр, и он предложил мне пожить в нем до полного выздоровления. Там я смогу спокойно провести время, пока не спадет опухоль; ОНА сказала, что для этого мне хватит трех недель. И еще: я буду одна или почти одна, если не считать обслуги; мне уделят внимания не больше, чем любой другой в толпе отдыхающих. Что я об этом думаю?

— Думаю, что вы, наверное, очень любили моего брата.

Барни поднялся. У него были большие руки — ухоженные и все-таки мозолистые. Он показал мне ладони: «Это от яхты. Люблю стоять у штур-

вала, особенно в бурю».

Да, он высоко ценил Диэго, считал его слишком умным для того ремесла, которым тот занимался, — досадно видеть, когда люди тратят себя попусту. А вот теперь дело пойдет лучше: кажется, он достиг соответствия.

И потом, я должна знать: он, Барни, весьма любопытен, а то, что Диэго поведал ему, раздразнило его и он решил узнать все до конца. Кроме того, брат озаботился моими делами как раз перед отъездом, он ничем не успевал помочь мне сам, но… я и не подозревал в нем такого альтруизма, — проворчал Барни.

Он следил за моей реакцией. Я лишь пожала плечами, я была не в курсе.

Оказывается, Барни посоветовал Диэго сдать свою квартирку иностранцам, — например, американцам, что приезжают в Европу «расслабиться на годик». Все-таки запасец на черный день, разве не так? Только получите с них долларами и из рук в руки, сказал он Диэго, все так делают. Доллары ему там, в Бразилии, ох как пригодятся. Но Диэго распорядился иначе, он отдал квартиру в ваши руки. Впрочем, вы можете и не сдавать ее, а просто жить там сами, — квартира теперь принадлежит вам. В общем… И он резко

отвернулся. Смущение не отражалось на его жестах, он по-прежнему двигался гибко и свободно, как дикий кот; этому не мешали ни сигара, ни дорогой костюм. «В общем, он хочет, чтобы я занялся вами».

— Как вы сколотили себе состояние, Барни?

Он осекся, впился в меня глазами. Я ждала. О, вот что я умею в совершенстве — так это ждать, хоть до второго пришествия. Истина выходит наружу, как ее ни замалчивай; это убеждение сложилось у меня в возрасте десяти лет и с тех пор ни разу не нашло опровержения. Барни шумно вздохнул и, усевшись снова, погладил меня по руке: «Чем только я не занимался, Керия, всего попробовал, и пирожных, и дерьма. Хватался за все, что попадалось под руку. А начинал как рекуператор металлов[100]. Это настоящие джунгли, но я с ними хорошо знаком: мой отец более или менее успешно занимался тем же ремеслом. Я унаследовал его фирму, потолкался среди специалистов, изучил как следует литейное и формовочное дело. Потом я стал заниматься скупкой всяких развалин, отстраивал их заново из их же камней и балок, но так, чтобы это вы-

[100] Примечания: 100

Рекуперация — возвращение части металлов для повторного использования в том же технологическом процессе.

глядело дорогостоящей реставрацией. Я обожаю покупать то, что рушится от возраста; наверное, во мне погиб старьевщик. Словом, деточка, я наживаюсь, где только могу, и притом никому еще даром не отдал даже булавки!

Он смеялся. Да… замки, что строят мальчишки, всегда самые веселые в мире… Вот только на какую компенсацию он рассчитывает, столь ревностно заботясь о моем будущем? Как и чем Диэго расплатился с ним?

Он слегка посерьезнел: наконец-то мы добрались до самой сути. Моя ирония нравилась ему лишь наполовину, но можно ли сколотить себе состояние на отходах металла, если бояться едких растворителей?! С этой минуты и до самого его ухода мы уже не сводили друг с друга глаз. Я была слишком заинтригована и задета, чтобы забыть о том, где находится самое уязвимое место. Ощущение оказалось и приятным, и острым, и жестоким; мне стало понятно, что нас обоих забавляет эта игра. Так чего же я страшилась?

— Вы любите риск?

— Да, вот уже целую неделю.

Барни покачал головой; он быстро схватывал чужую мысль.

— Я не оставлю вас в покое до тех пор, пока не

завершится история Изабель. Вот он где — мой кусок сахара, моя награда, и я ее получу.

— Ну, это-то пара пустяков.

— А вы не хвалитесь заранее. Может, вам расхочется ею заниматься.

— Не расхочется, я всегда завершаю начатое. Только не понимаю вашего интереса ко всему этому.

— Я уже сказал: вы мне заплатите, — пожалуй, даже уже начали платить. У меня есть первая часть вашей работы. Диэго нуждался во мне: знаете, контакты с людьми, кого-то нужно подтолкнуть, подмазать, а я, как уже говорил, ничего не делаю бескорыстно и ваши записки об Изабель пошли в счет уплаты. Ибо я обнаружил в них то, чего вы, вероятно, не оценили во всей полноте: торжество, жажда торжества. Для нее Коллен, Арман, Хендрикье, даже Мадлен и Минна, словом, все окружающие — повод к торжеству над жизнью. Ей нравится смотреть, как они движутся, живут… Я вовсе не утверждаю, что она добра — люди не меняются в силу обстоятельств; если вы думаете иначе, то глубоко заблуждаетесь. Нет, она осталась прежней, просто ушла в тень, замаскировалась, пригасила свой блеск. Но и спрятанный под золою нож остается ножом. И до

меня вдруг дошло то, что сразу уразумела ваша подружка Рашель: потерять ли красоту, вновь ли обрести ее, что иногда одно и то же, — это способно отвратить, отвлечь от самого себя и обратить вас к другим, — ведь другие настолько интереснее! Керия, я получил удовольствие от Диэго, когда собственная красивая мордочка озадачила его, словно курицу, снесшую утиное яйцо. Он не создан для того, чтобы жить альфонсом, ваш братец, — слишком нежен, слишком утончен. Вот почему он и отправился расточать свою красоту в Жунсао, на место слияния рек.

Такие-то дела. А ему, Барни, любопытно посмотреть, какою я выйду из рук моего демиурга[101] — Полины.

Я не ответила; в конце концов, это мое личное дело, мое личное торжество — если только будет повод торжествовать. Еще вначале я спросила у Полины, почему она устроила вокруг меня такой трамтарарам, но она ответила уклончиво: «Просто интересный случай!» Конечно, то была всего-навсего полуложь, но и полуправда тоже. Я частенько заглядывала к ней в приемную и повидала там достаточно «случаев» куда хуже

---

[101] Примечания: 101
Демиург *(греч.)* — творец, создатель.

моего. Или лучше — это уж как посмотреть.

Люди охотно замыкаются в полуправдах, — а ведь как легко выкрикнуть правду во весь голос! Легко, а главное, выгодно, — сразу ясно, чего держаться. Но нет, куда там! Что ж, тем хуже для них. Для Полины мне хотелось быть именно «случаем», историей болезни, отчетом об операции, удачной или неудачной. Я надеялась, что все происшедшее оставит на ней, как и на мне, лишь тоненький шрам; на моем лице он будет подчеркивать по-прежнему пустую глазницу. Никакая волшебная палочка не вернет мне вытекший глаз. Я никак не могла постичь эту навязчивую идею Полины — заменить его протезом. О чем она мечтала — для меня?

— Ну, так поедете в Кавалэр или нет?

Я решила высказаться вполне откровенно: наплевать мне было на насмешки, пока я укрыта от чужих взглядов под бинтами.

— Барни, я хотела бы съездить в Роттердам.

— В Роттердам — в ноябре?

— А вы предпочитаете Кавалэр или Канарские острова? Ну так знайте: не хрена мне там делать — ни в Кавалэр, ни на Канарах! И если вы втемяшили себе в голову, что я непременно должна закончить историю этой чертовки Изабель, то уж

конечно вдохновение меня посетит не на ваших дурацких курортах. Будьте же логичны, старина, она жила в Голландии, эта женщина!

Он расхохотался: ну-ну, не пугайте меня, Керия, я же не Шомон! Тут-то я и заподозрила, что мы с ним не соскучимся вдвоем. Короли в блеске, но без нищеты[102] — вот что такое будем мы с ним вместе.

Существует масса способов соблазнять мужчин, — я хорошо усвоила этот урок маркизы де Мертей, которая открывала перед ними темные бездны любострастия одним только звуком своего голоса. Еще чуть-чуть — и все эти мужчины проглотили бы ее целиком и нагишом. Особенно нагишом. Я вспоминала — с долей извращенного удовольствия — все, что она нашептала мне, но не забыла и другого: Барни, по его собственному выражению, не довольствуется одними телами.

А он, поигрывая желваками и потирая руки, тем временем говорил:

— Ну, коли хотите знать, мне этих Канарских островов и даром не надо. — Если в его манерах и проскальзывало кое-что от нувориша, то не в данном случае. — Я просто подумал, что в ноябре

---

[102] Примечания: 102
Намек на роман Бальзака «Блеск и нищета куртизанок».

Роттердам окутан туманами, — знаете, густые такие, настоящие морские туманы, вы там ни черта не разглядите. Но это, в конце концов, дело ваше. Возьмете хотя бы меня в попутчики?

Почему бы и нет, — платит-то ведь он!

Я проводила Барни до дверей палаты, — «чтобы заодно погасить свет». Но все же не удержалась и выглянула: он стоял на площадке, возле лифта, в глубокой задумчивости, вертя в руках сигару, и даже не узнал Полину, которая вышла из лифта и придержала ему дверцу. Он поблагодарил ее рассеянным «спасибо, цыпочка!», и Полина, войдя в палату, спросила, что такое я наговорила этому человеку, что он ведет себя как зомби.

В темноте она присела на стул:

— Ну, начнем?

Начнем так начнем! Сматывая бинты и отклеивая компрессы, она рассказывала об одном приятеле Рашель по Школе изящных искусств, — он всегда снимал покрывало со своей скульптуры в темноте, и она, Полина, его вполне понимает. Все сделанные ею операции завершались вот этим «моментом истины», которого не избежать — днем раньше, днем позже…

— Я боюсь не твоего разочарования, а своего собственного: хорошо ли я поработала, сделала

ли все возможное? Никогда не думаю в эту минуту о пациенте, понимаешь? — ну, в общем, по-настоящему не думаю. Меня интересует другое: УДАЛОСЬ ЛИ МНЕ?

На секунду она примолкла, движения замедлились; было ли это ответом на некоторые мои, не заданные вслух вопросы?

— Я всегда влюбляюсь в своих больных — не важно, мужчины они или женщины. Это прямо как лихорадка — нападает и... проходит, когда они выздоравливают, когда я вижу результат.

Полина улыбнулась:

— Ты не думай, что я тебе зубы заговариваю, нет! Но, знаешь, ты очень странно действуешь на людей. Рашель из-за тебя вдруг обнаружила, что ей еще хочется пожить: на следующей неделе она ложится на операцию. Давно пора! Мой коллега Бом творит настоящие чудеса со свиными сердечными клапанами, и Рашель уже свыклась с этой идеей. Вот видишь, это твоя заслуга!

Если все пройдет благополучно, значит, я действительно преуспела больше Полины, которая тщетно склоняла сестру к операции целых два года, с тех пор как ее сердечная недостаточность приняла угрожающую форму.

Я почти не слушала Полину: воздух, лившийся

в приоткрытое окно, холодил обнаженное лицо; ощущение было просто восхитительное.

— Я зажгу свет?

— Давай!

Полина уже сняла бинты со лба, со щеки. Теперь глаза ее были закрыты, губы беззвучно шевелились.

— Полина, да ты, никак, молишься?

Наконец она решилась — взглянула и тут же испустила ликующий крик:

— Господи, какая замечательная кожа! И опухоль почти спала, и шов заживает превосходно! — Она потянулась за компрессом. — Сейчас уберу это и принесу тебе зеркало.

— Нет!

— Ты не хочешь себя видеть?

Я хотела, чтобы пришла «цыпочка», — иными словами, медсестра.

— Учти, Полина, в доме моей матери не было ни одного зеркала. Я «смотрелась в людей», всегда только в глаза людей, ну так вот: здесь у меня под рукой лишь эта особа.

— А я, черт возьми?

Нет, решительно, мы не понимали друг друга. Вряд ли мы с ней станем близки — слишком многое мне приходилось ей объяснять.

«Цыпочка» ворвалась в палату с надменным видом потревоженной королевы: «Что тут еще стряслось, у меня и так полно работы!»

Но тут она увидела. Подошла, пощупала мне лицо:

— Ну вот и вы как новенькая! Ваш приятель будет доволен, я его только что видела. Он, по-моему, сильно переживает, хотя и позволяет себе нахальничать.

И она вышла из палаты, бросив напоследок:

— Сегодня на ужин бифштекс с пюре или ветчина со шпинатом, вам что принести?

До чего же кстати бывают подобные надутые индюшки — они привносят романтическую струю в пищеварительные процессы; ей-богу, порой весьма полезно вляпаться в дерьмо под ногами, чтобы не воспарить безвозвратно в звездные кущи. Что я и доложила Полине, вызвав у нее смех. Но вскоре этот смех сменили слезы, горько исказившие ее лицо; она уже не думала обо мне: Рашель, ее надорванное сердце заняли то место страждущих срочного спасения, которое я сегодня освободила.

* * *

Хоэль наведывался каждое утро; приоткрыв дверь с глазком, выходящую во дворик, он вопрошающе глядел на Хендрикье или на одну из служанок Мадлен. Но в его помощи пока что не нуждались, хотя, конечно, он был «очень мил и так услужлив» — по словам Минны, так и не отучившейся от некоторых старорежимных выражений. Тогда он чмокал Коллена, если тот играл поблизости, и удалялся, а мальчик ковылял следом за ним: ему так хотелось пойти с этим дядей в порт! Разумеется, их тут же перехватывали, бранили на все корки, одновременно обцеловывая малыша, и моряк уходил прочь своей жесткой, поистине деревянной походкой.

Хоэль был неразговорчив и ни на кого не заглядывался. Захоти он, и Дина не отказалась бы пококетничать с ним, но Элиза подняла ее на смех: «Не трудись, милая моя, его сердце далеко, на французских берегах!» — на что Хендрикье сердито приказала обеим больше помалкивать.

Дни текли один за другим — медлительные, полные забот. Конец лета был тягостно душным, вода в бухте зацвела и теперь издавала тошнотворный запах гниющих водорослей, но разве не

случалось такое каждый год? Ни одна из женщин не осмеливалась спросить: «КОГДА же они вернутся?» — так же, как не говорили они вслух и о возвращении своих мужчин.

Хендрикье, однако, временами ворчала: «Не-што я сбегаю из дому, как последняя бродяжка?» — стараясь хоть так выделиться из всех, кто стоял между нею и Изабель. Она обиняками говорила об этом, сидя и вышивая рядом с Минной, пришедшей поцеловать внука. Та мирно молчала и лишь спустя какое-то время, когда приходилось зажигать лампы из-за ранних сумерек, со вздохом шептала: «Молчи!» — вот тут-то пустота и становилась совсем непереносимой. Хендрикье приходилось беситься молча, и это еще сильнее подогревало ее гнев. А назавтра, поутру, она шептала в свою очередь: «И вчера не вернулась…»

Минуло уже три недели. Ребенок часто капризничал, плакал, просился к тетке; Минна не отвечала, только вглядывалась в морскую даль с незнакомой ей доселе боязнью, которой сама стыдилась, но которую незаметно сообщала и всем остальным. «Что, если вернется Арман-Мари… вернется, чтобы забрать нас… что тогда?» Она вздрагивала при виде корабельного паруса на горизонте, а появление трехмачтовой шхуны

повергало ее в ужас.

«Никогда не прощу!» — твердила она с несвойственной ей злобой, и Хендрикье не знала, как это понимать.

Но вот однажды вечером Хоэль прислал сказать, что нужно принести в дюны теплую одежду, никому ничего не говоря, даже Аннеке.

Хендрикье с трудом совладала с собой. Дождавшись, когда женщины и ребенок заснут, она выскользнула на улицу с узлом, спрятанным под плащ.

Аннеке следила за уходящей матерью в щелочку ставен — без удивления, разве лишь с легкой горечью. Что поделаешь: любовь — птица ночная и летает, где хочет, а ее мать имеет полное право любить Изабель. Когда Аннеке думала о таких делах, она почти беззлобно говорила себе: «Я тоже люблю ее, что бы там ни было», и сама же ругала себя дурой: как будто мадам Изабель нуждается в их любви, уж им ли с матерью не знать, к кому влечется ее сердце!

Миновав последние хибарки за доками, Хендрикье, взволнованная до крайности, побежала. Сейчас Изабель услышит ее шаги. На бегу она злорадно думала: Вервиль сгорел, в этом она не сомневалась с самого начала, незачем было и

плавать за тридевять земель; отныне у Изабель только и осталось, что она сама, Коллен да они, служанки, которые теперь значили еще больше, чем прежде. Изабель, бедная моя маркиза, ничего у тебя больше нет на свете, одни только мы…

В одной из хижин, где рыбаки хранили сети и драги, ждала Изабель.

Ее лицо, обожженное ветром и соленой водой, осунулось за трудные ночи плаванья, и отвратительные оспины опять ярко выступили на коже. Сморенный усталостью Жозе спал на куче пустых мешков. «Не по годам ему такие дела, — бурчал племянник, — как бы не слег совсем». Стуча зубами от холода, Изабель куталась в теплый плащ и покрикивала на парня: «Хватит, замолчи! Надоели мне твои причитания; с самой Франции скулишь у меня над ухом, я уж как-нибудь сама разберусь, что мне делать!»

И она вытолкнула Хендрикье за порог, добавив: «Дай нам время согреть воды и приводи старика. Он куда крепче тебя, хлюпика. Вот увидишь, малыш, это тебя надобно будет лечить, а не его, даю голову на отсечение».

Они поднимались по дороге к дому; Изабель тяжело опиралась на руку почтенной служанки, которая констатировала вслух: «Я гляжу, стран-

ствия не улучшили ни вашеге нрава, ни лица; нешто вам невдомек, что нынче не след еще больше себя уродовать?»

Изабель остановилась, резко повернула к себе толстуху: «Эй, Хендрикье, не забывайся!»

Ночной сторож выкрикивал время где-то поблизости, и они пошли берегом, чтобы не встретиться с ним.

Едва войдя в дом, Изабель бессильно прислонилась к перилам лестницы: «Быстро, свари-ка нам мясного бульону покрепче, я умираю с голоду, и они тоже; последние дни мы питались одним заплесневелым хлебом». Хендрикье не решалась отойти от нее, готовая подхватить, но Изабель жестом велела ей исполнить приказ: «Не беспокойся, я еще держусь на ногах. Надо быстро все приготовить, старик кашляет так, что сердце разрывается слушать; я не хочу, чтобы он отдал концы».

Хендрикье вздула огонь в печи. Она слышала, как Изабель ходит по двору; вот она подтащила две бельевые лохани к большой банной, взгромоздила их на камни очага, наполнила водой; поднимая тяжести, она бесстыдно, откровенно кряхтела и пыхтела, как простая баба. Потом им обеим удалось довольно быстро разжечь огонь

под лоханями; дрова и уголь занялись разом, несмотря на сырую ночь. Хендрикье подбрасывала раскаленные угли, взятые из кухонной печи, и ворчала: «На вас прямо смотреть страшно!» Изабель молча закатала рукава: руки ее были изъедены, расцарапаны, сплошь покрыты синяками и кровоподтеками.

— Что это с вами стряслось?

— Устье Лека. Мы подошли в неудачное время. Они не захотели ждать прилива; пришлось идти против течения. Лодку потрепало еще на том пути, здесь она не выдержала. Пепе пошел ко дну, как топор, — ты ведь знаешь, эти дурни и плавать-то толком не умеют. К счастью, обломки помогли нам удержаться на воде; мачта с парусом и все остальное затонуло. Нас здорово потрепало, всех троих. Хоэль увидел нас, — верно, сторожил весь день напролет, полоумный! — и вытащил на берег.

— Что-то я его там не видала, вашего Хоэля.

— Ну и тем лучше!

Скрипнула калитка. Антон и Пепе вошли, еле волоча ноги. Несмотря на поздний час, было еще довольно тепло, но они дрожали в промокшей одежде.

Женщины взялись за старика; в мгновение

ока они раздели его и усадили в лохань. «А ты, племянничек, сам справишься или тебе, может, прислать Дину в подмогу?»

— Давайте присылайте! — хихикал парень, позабыв о недавней злости, вызванной нападками Изабель. Пепе подремывал в своей лохани, пока Хендрикье обдавала его чуть ли не кипятком и едва не до крови оттирала мочалкой. «Вы только гляньте на этого старого дурака: отправился на своей посудине по морям, по океанам, ухажера из себя строить! Ну и чего ты достиг, — ни лодки теперь, ни здоровья!»

— Ни кожи, если ты мне ее сотрешь до костей, дурная баба!

— Лодка — это мое дело! — откликнулась Изабель из кухни, где она с урчанием оголодавшего зверя пожирала хлеб, размоченный в бульоне.

— Эй, нам-то оставьте хоть крошку, у меня в брюхе барабанщики зорю бьют, ей-богу!

Парень совсем развеселился, глядя на женские тени, мелькающие за окном второго этажа, и Хендрикье пришлось охладить его пыл: «А ну спрячь свои прелести! Ишь ты, красуется, что твой петух!»

Наевшись, Пепе немного воспрянул духом. Но глаза у него заблестели — слишком ярко для здо-

рового. Он хорохорился, как мог: а не вернуться ли нам обратно? — но голос у него был хриплый, и Изабель, приглядевшись, сказала: «Э-э-э, мой милый, да у тебя жар! Ну-ка, отоприте папашину комнату да уложите его там, а ты, Хендрикье, разотри ему спину лечебным бальзамом, да посильнее, чтобы его пробрало до самых кишок!»

Устроив на ночь обоих мужчин, Изабель со вздохом облегчения уселась в лохань с водой и позволила Хендрикье делать с собою все что угодно: мыть, мять, оттирать, бранить. Губы ее набухли, словно от чувственного удовольствия, она блаженствовала в клубах горячего пара, она задремывала от изнеможения.

— Ну и как? — сердито вопрошала Хендрикье. — Много ли выгадали? Вон старику загубили лодку, один убыток от вас! Вервиль сгорел; я наперед могла вам это сказать, стоило только взглянуть на Шомона.

Она продолжала браниться и ворчать даже в спальне, укладывая в кровать Изабель два раскаленных, закутанных в полотенца кирпича, чтобы согреть ей ноги. Наконец та твердой рукой встряхнула ее за шиворот:

— Ну довольно бубнить, старая чертовка! Мне нужно все видеть своими глазами, так я устроена,

и ты меня не переделаешь. А теперь отправляйся спать, утро вечера мудренее.

Однако не успела Хендрикье переступить порог, как она окликнула ее:

— Послушай-ка: что касается лодки, все очень просто, — у него будет другая. Считай, что она уже у него есть, этим-то сейчас и занимается Хоэль. Так что не обвиняй людей, если ничего не знаешь, старая ты дура!

Обе улыбнулись. И Хендрикье расхохоталась от души:

— Ну и хитра же, каналья!

Два дня спустя Изабель встретилась с Минной в Хаагенхаусе. Хендрикье проворно разожгла огонь в камине просторной парадной залы; дамы уселись друг против дружки, старшая пустыми глазами смотрела на свои праздно лежащие руки.

Изабель нервно расхаживала по плиточному полу. Губы ее кривила гримаса лихорадочного торжества и голос звучал поэтому особенно пронзительно. Путешествие во Францию явно не подавило ее; оно просто окончательно захлопнуло за нею те двери, что и надлежало закрыть навсегда. Она была переполнена энергией. Нынче она надела свой праздничный кружевной

воротник и сняла чепец. Ее волосы, которые она часто подрезала, не давая им отрастать, густыми локонами вились чуть ниже ушей, над массивными сапфировыми серьгами в форме капель. Она привела в порядок руки, но ладони еще носили следы порезов и ушибов, и она не скрывала их. Вот такою, полною жажды жизни, действия, просторов, и предстала она перед Минной, вызвав у той печальный вздох:

— Все-таки не понимаю я тебя!

Изабель резко остановилась. До сих пор Минна ни разу не обратилась к ней на «ты».

Они молча, серьезно взглянули одна на другую, потом Изабель опять заходила взад-вперед и в голосе ее зазвучала язвительная, хотя и беззлобная горечь. Она вдруг принялась оправдываться; впервые так безраздельно доверялась она другой женщине.

— Я из тех, кому все в жизни дается кровавым потом и тяжкими трудами. Поверьте, Минна, не всегда это было приятно — продаваться маркизу, оплачивать собою Вервиль, камень за камнем; и не считайте меня бесстыжей потаскухой, не я первая, — такая купля-продажа вершится с незапамятных времен. Только со смертью Мертея я поняла, что Вервиль — мой, мое детище,

но окончательно убедилась в этом лишь здесь… когда стало уже слишком поздно. Против меня затеяли подлый судебный процесс, Минна, и я его проиграла. А ведь я платила за Вервиль дважды — или вдвойне, понимайте как хотите. И вот теперь — в третий раз. Как же мне было взять и бросить все, что у меня отняли обманом, и даже не убедиться в потере своими глазами?! Ну нет, меня и так слишком долго водили за нос.

Шомон пересказал вам все, что болтали о моей жизни, не правда ли? Чего же еще ждать от этого мелкого проныры, — он и восхищается мною, и ненавидит. Быть женщиной — это почти то же самое, что принадлежать к третьему сословию; так было раньше, так, я думаю, будет и впредь: после того, как я увидела нынешнюю Францию, у меня не осталось иллюзий на этот счет. Вероятно, он расписал вам, какая я злая и жестокая, как я держала в руках счастье других и разрушала его. Так он полагал раньше, так думает и сейчас, но его суждения ровно ничего не значат.

Шевалье Вальмон все тридцать четыре года своей жизни брал женщин, не слишком заботясь о том, что от них остается, когда он бросал их. Он умер, также открыв для себя перед смертью, как дорого приходится платить, когда тебя больше не

хотят или когда теряешь то, что любишь. Благодаря мне он умер вдвойне, и я рада этому.

Какое существование я, по-вашему, вела там? Мертей любил напоминать, что женился на мне без приданого. Разве могла я знать то, о чем умолчали все, даже мои родные? Стало быть, за отсутствие приданого я должна была платить красотой. И я быстро обучилась этому. В первые дни ему то и дело приходилось преодолевать мое сопротивление. Нелегко пятидесятипятилетнему старику побеждать, раз за разом, молодую нелюбящую женщину. И тогда он нашел выход. За каждую ночь с ним я стала получать какую-нибудь малость для Вервиля; не забывайте, Минна, мне приходилось за все платить сторицей. А на самом деле он продавал вторично то, что ему даже не принадлежало! Почему Корнелиус Каппель смолчал, как вы думаете? Да потому, что ему мало было просто растоптать мое сердце. Ох, как я ненавижу этого человека!

Минна молчала. Изабель видела, как шевелятся ее губы над сложенными ладонями.

— Чего вы просите у Бога, — чтобы он утихомирил меня или чтобы воздал наконец по справедливости? Один из этих, «благородных», когда-то спавший со мною, увидав после моей

болезни, бросил: ее душа запечатлелась на ее лице. Мои любовники не отличались щедростью, Минна, — ни до, ни после. Так чем же могла я привлечь их с таким лицом? Разве им нужна была моя прекрасная душа, когда под покровом ночи они являлись, чтобы взять меня и научить (или думать, будто научили), для чего служит женщине рот, когда мужской член отмыкает ей губы.

Каждый человек имеет право на свою долю счастья; мне нужно было урвать свой кусок от общего пирога, и я это сделала.

Я ни о чем не жалею. Вервиль умер… ну ладно! Умерли и люди, отнявшие у меня молодость, невинность, даже имущество. Гильотина одним махом отрезала все. Я была даже менее жестокой, чем она, разве не так?

Вот только я еще не сложила оружия и заставлю дать себе отчет, но я не верю в Провидение, я не собираюсь сидеть в уголке и благодарить того, кто соизволит захотеть и снисходительно терпеть меня; нет, отныне со мною придется СЧИТАТЬСЯ!

Наконец она опустилась перед Минной на колени, подняв строптивую голову к заплаканному старческому лицу.

— О ком вы плачете?

— О себе, дитя мое. И вы ошибаетесь в отношении Шомона; он не ненавидит вас, он просто боится Эктора, вот и все, да и другие, полагаю, боялись тоже. Их игры вы превращали в войну, их мелкие светские драмы — в трагедию.

Разжав ладони, Минна тихонько гладила изъеденные оспой щеки.

— Я все думаю о ваших ночах, полных ненависти… Когда вы были во Франции, я почти не спала, все пыталась молиться, но у меня ничего не выходило. Вместо этого вспоминалась моя счастливая супружеская жизнь… счастливая, но такая короткая. Смерть — непоправимая беда, Изабель! И все-таки живешь даже после такой беды и временами забываешь о своей печали. Когда родился Арман-Мари, у меня стало являться ощущение, что человек, объявивший «никогда больше!», сам себя не знает. Ибо мой сын — не прошло и нескольких лет — вновь наполнил мое сердце любовью; другой, но столь же страстной.

И вы — я в этом уверена! — вы тоже полюбили бы, окажись судьба более милостива к вам. Что искали вы в тех молодых людях, которых… с которыми сближались? Их ли самих или смутное сходство с кем-то? Быть может, не все они были

такими уж скверными и чужими вашей душе, какими вы их считали… Взять, например, моего второго мужа — доброго, простого, любящего человека: мы вовсе не были несчастливы, просто слишком уж спокойно относились друг к другу. Но я лишена вашей бурной страстности и мое тело не слишком жадно требовало своей доли…

И Минна, потупившись, прошептала: Мари ван Хааген, столь любимый ею, тоже не сумел дать ей наслаждения.

Они встретились глазами. Подавшись всем телом к старой женщине, зардевшись, Изабель почти простонала:

— К этому нас не готовят, не правда ли?

Долго сидели они молча в темноте. Наконец скрипнула калитка в саду и вошла Хендрикье, высоко подняв лампу и спрашивая, отчего это в камин не подбрасывают дров, вот и огонь потух! — и они взглянули на нее, не разнимая рук. Слабый свет лампы, скрадывающий очертания, лег бликом на черное платье Изабель, как усталая чайка; в тусклом полумраке Изабель казалась живой, сильной, готовой взлететь в небо и хищно высмотреть себе оттуда добычу — какую? — скорее всего мужчину.

Минна вздохнула:

— Я вижу, дочь моя, люди никогда не меняются; вот ты уже и готовишься к новым победам.

Смех Изабель прозвенел торжествующе и смело.

Она гибким прыжком вскочила на ноги и разгладила юбки. Ее взгляд переходил с одной женщины на другую — веселый, задорный. Все в ней говорило: «Пусть ОН побережется — если сможет!»

Но вслух она ничего не сказала.

* * *

Диэго писал мне «многосерийные» письма, служащие дальним отражением моей новой жизни. Ну а я пока что осторожно подстерегала взгляды окружающих. То был не страх, то было… в общем, я чувствовала себя роженицей и знала, что роды — я хочу сказать, созревание — затянутся надолго.

На самочувствие я не жаловалась. Швы мои благополучно рассосались, я ела, пила и спала в положенное время, и мозги у меня функционировали вполне нормально, как у всех людей, — иными словами, то воспламенялись, то пробуксовывали. Я возобновила работу в Национальной библиотеке. Элен не спрашивала,

почему я больше не показываюсь в Сен-Манде, она и так знала причину. Как терпеливый паук, она затаилась в своей паутине и с насмешливой уверенностью смотрела мне прямо в глаза; то был не мир, а всего лишь перемирие. Я не очень-то ясно понимала, какова была ее ставка в этой войне — если мы действительно вели войну. Теперь-то я вижу, что никакой войны и не было, — просто я не переносила их интереса ко мне, вот и все.

Рашель сказала по телефону: «Не беспокой меня сейчас, я работаю. У нас вся жизнь впереди — после операции». Это слово пугало меня. Ее — тоже, и я подозревала, что она «укладывает чемоданы», ибо, отправляясь в такое странствие, никогда не бываешь уверенным в благополучном возвращении, если хоть сколько-нибудь реально смотреть на вещи.

Мне пришлось явиться в клинику к Полине для заключительного осмотра. Она осунулась, выглядела нервной и рассеянной. «Все нормально», — сказала она, снимая швы у меня за ухом, и никак не прокомментировала тот факт, что я больше не прячу под челкой пустую глазницу. Когда-то она мечтала вставить мне искусственный глаз и теперь опять заговорила об этом, но как-то машинально.

Я отказалась. Мне не хотелось носить в себе чужой предмет — неподвижный, а главное, бесполезный.

— Не глупи, у тебя вся щека набита пластиком, это что — не чужое?

Я только пожала плечами; мое решение было принято, и если она не понимала, то как ей объяснить? Поистине, до нее ничего не доходило сразу. Почему эта женщина, временами столь проницательная, становилась бесчувственной, когда речь заходила о живом? Вернее, о высших млекопитающих, каковыми мы являемся; будь я ее кошкой, она бы раскусила меня в два счета.

Руки у нее дрожали. Заметив мой взгляд, она вытянула их перед собой. Дрожь усилилась: теперь ты понимаешь, почему врачебная этика запрещает оперировать родных? Вот затем-то я и стараюсь держать дистанцию, называя лица рожами, — твое, в частности, а пациентов — «случаями»; теперь тебе все ясно, ЦЫПОЧКА?

Я всегда через силу воздаю по справедливости тем, кого побаиваюсь, кому не верю, но в данном случае Полина была трижды права.

Барни, о котором я также не забывала, названивал мне каждый день, задавая один и тот же вопрос: ну как, едем или не едем? В конце концов

я заорала в трубку, что он мне осточертел, что он у меня в печенках сидит, неужели ему не понятно, что я не уеду из Парижа, пока не прооперируют Рашель?!

Диэго избегал подробностей о нынешнем житье-бытье, посвящая свои письма в основном предотъездному периоду, и делал это с большим смаком. «Я наведался в мастерскую Сен-Манде, — писал он, — в тот вечер, когда ты отправилась на семейный ужин к предкам. Зная нашу madre, я был уверен, что ты застрянешь там на добрых четыре часа, выслушивая охи и ахи по поводу расширения вен, воспаления яичников, опущения матки, а также заявления типа «не ценишь ты своего счастья: иметь такое железное здоровье!». Я последовал по твоим стопам, детка, — мне захотелось увидеть хотя бы одну из этих троих. Не могу сказать, что мне нравятся женщины, находящие в гинекеях единственное прибежище… впрочем, я вечно попадаю пальцем в небо, да и кто я такой, чтобы судить их — всего лишь грязный латиноамерикашка! Но ты не беспокойся: сперва я, конечно, позвонил; я ведь понял, что с сердечниками следует обращаться осторожно… Ну, в общем, ты понимаешь, что имеется в виду. Она же засмеялась: приходите и поднимайтесь

прямо ко мне, я уже не позволяю себе быть учтивой и встречать гостей на пороге дома, лестницы у нас слишком крутые.

Она и не подумала навести красоту в мою честь: замусоленный чинарик в зубах, встрепанный вид, взгляд испуганной лисицы… Но она понравилась мне сразу же. Я бы хотел прийтись этой женщине по сердцу, чтобы слегка побаловать ее, — а почему бы и не доставить себе такое удовольствие перед тем, как слинять отсюда, вот было бы интересно! Это ведь совсем не то, что тупо трахаться с киношными красотками, — так-то, детка! Я не оправдываюсь, — просто хочу объяснить. Но она взглянула на меня с высокомерным любопытством недотроги, как будто хотела сказать: неужто никто не догадался оказать вам услугу — набить морду в юные года, чтобы поставить на место? Это было настолько очевидно, что мы оба захохотали как сумасшедшие. Потом я рассказал ей о моих планах — ты понимаешь, каких, — о гасиенде, о Жунсао, об Изабель, — такой, какой я ее видел; и знаешь, Керия, что она сделала? Вдруг повернула ко мне один из своих холстов: берите эту картину, сохраните ее; если я доживу до своей персональной выставки, тогда вы мне ее вернете. Я не осмелился показать тебе

ее перед отъездом, я увез эту картину с собой, — практически украл, поскольку не собираюсь возвращаться.

Я молюсь за Рашель, pequena[103], да, я молюсь за то, чтобы она выжила. Лицо Изабель, каким она его увидела, это лицо безумной, всепоглощающей любви, несбывшегося ужаса и еще чего-то, что мы с тобой ищем с давних пор… по крайней мере, я-то точно ищу. Я гонюсь за тем, о чем поет твоя страшная сирена, о чем кричит эта картина. Дорогая моя сестренка, я люблю твою подругу!»

Когда Диэго впадает в лирику, он прыгает от одной мечты к другой, как девочки, играющие в классики. На одной ножке, на другой, и на двух — из Рая в Ад…

* * *

Минна умерла. Войдя однажды утром в ее спальню, служанки увидели старую даму мирно покоящейся в постели; руки ее прикрывали медальон на груди. Неужели она вот так и спала каждую ночь, касаясь пальцами портрета своей старой любви? Я — я сплю с пустыми руками.

Из ночного сна она незаметно соскользнула в

---

[103] Примечания: 103
Малышка *(исп.).*

сон вечный. Мы тотчас поспешили к ней в дом, Хендрикье и я. В этой тесной и теплой, несмотря на уличный холод, спаленке смерть постеснялась выпускать свои безжалостные когти. Лицо усопшей было умиротворенно-спокойным.

Хендрикье, не говоря ни слова, приподняла почти невесомое тело, я вытащила из-под него простыни. Мы обмыли Минну так бережно, как моют живых — не мертвых. У нас почему-то не было ощущения конца, хотя она уже окоченела и кожа ее приняла восковой оттенок, и я подумала, что вот Мадлен не удалось уйти так безболезненно и мирно. Конечно, Минна была стара, но подобная мысль утешает лишь равнодушных. Мы обрядили ее в белое и голубое, мы вновь скрестили ее пальцы на символе ее верности — маленьком портрете — и прикрыли до самого подбородка пожелтевшей простынею, давно припасенной для савана. Простое полотно — ни вышивки, ни кружев. Откуда она взялась у нее в доме? Но Хендрикье проворчала: фру Минна ведь была бедна до того, как вышла за Мари ван Хаагена, нешто вы этого не знали? — и ее печальные глаза искали мой взгляд: «Знаешь, Изабель, ведь моя мать была ее молочной сестрой!»

Пришли какие-то тихие, молчаливые люди;

они не глядели на нас и исчезли, как явились, безымянные и безгласные, удостоив Хендрикье лишь кивком и словно не заметив меня. Я поняла без объяснений: Минна не отреклась от тех, кто принадлежал к ее бедной семье.

Опечаленный пастор присел у постели: слишком много смертей за такое короткое время… Он не молился, — вернее, губы его шевелились просто, без слов. От этой ночи у меня осталось впечатление всеобщей немоты, безмолвной скорби; мне и самой хотелось неслышно завыть на луну. Словно бродячей собаке. И уже не хватало Минны, ее тихого неназойливого присутствия, ее такого ясного, безмятежного взгляда.

Зимою, в стужу, вечера наступают рано. Пастор, несмотря на преклонный возраст, долго сидел с нами: мы все любили ее, прошептал он. Мы зажгли четыре сальные грошовые свечки, найденные в комоде вместе со смертной простыней. В быстро остывающей комнате сидели мы, подремывая, — не люди, а почти что призраки, тени на стене. Начало светать; вошла Аннеке, тронула мать за плечо: иди поешь! — и села напротив меня, почти касаясь коленями: «Надо бы известить ее сына. На днях из Гааги отходит судно — туда, где они сейчас, напишите ему. Напишите за всех

нас, скажите, что мы тоскуем». Заметив мое удивление, она вдруг выпрямилась с неуклюжим, но оттого не менее ожесточенным высокомерием: «Вот странное дело, мадам Изабель, я-то знаю, что вы любили, но нынче вы любите плохо, ни разу не поинтересовались ничем. А вот в Гааге полно людей, что ходят в плаванье туда, к ним. Они называют это место Ресифом; там, между двух рек, они строятся на песках и на отмелях, прямо как у нас здесь. Говорят, жизнь в тех местах суровая; людей одолевают ядовитые мухи, по реке несет всякую падаль, кругом пустынно. Моряки увозят и привозят вести, напишите же им!»

И я написала о том, что вслед за Мадлен умерла Минна. И что скоро за ними последует весь город, если слухи, доходящие из Франции, будут по-прежнему горячить здешние умы. Я предупреждала, что не намерена ждать, когда грянет гром — и из-за себя самой, и из-за Коллена. Ему уже два года, и Революция, почти его ровесница, уничтожила стольких детей, что уж конечно будет убивать их и дальше. «Ты уехал, чтобы обеспечить будущее своим сыновьям, — писала я, — так берегись, как бы в один прекрасный день для этого будущего не остались одни только имена на могильных камнях». Конечно, то была

пустая риторика, но я не знала, как выразиться сильнее. Минна оставила завещание, в котором наделяла меня — «женщину, не имеющую иного достояния, как только сердечная любовь к близким», всеми своими правами. Сделавшись, в силу данного распоряжения, опекуншею Коллена, я известила Армана-Мари, что ему лучше иметь дело с Шомоном, нежели со мною, а уж я прослежу, чтобы тот не злоупотреблял своею властью поверенного для собственной выгоды. «А пока знай, что голод в стране заставил меня немало потратиться на прокорм твоего семейства и слуг. Вы ушли в плаванье, не слишком заботясь о тех, кого оставили здесь, и не обеспечив должным образом свои семьи». Я была разъярена этим отсутствием, этой забывчивостью, всем, что я узнала от Аннеке; оказывается, ДРУГИЕ-то заботились о домашних, пусть только мысленно, издалека, из-за моря! — и ярость моя побуждала вновь и вновь возвращаться к словам о том, что не имеют они права свободно располагать собою, позабыть о нас, исключить близких из своей жизни. Нам уже все уши прожужжали благими речами, которые, выйдя из салонов, теперь стали популярными на улицах. Но те, кто щеголял этими прекраснодушными идеями, никогда не знал

голода, тогда как здешние женщины и дети давно позабыли вкус белого хлеба. Любовью к ближнему и праведными мыслями сыт не будешь. Можно позволить себе превозносить свободу лишь в том случае, когда она не стоит вам жизни. Я прекрасно понимала, что преувеличиваю: уж мне-то хватило бы одного-единственного слова из его уст, чтобы насытиться на долгие годы, и все же… все же и я похожа на других: мое сердце требует любви лишь на сытый желудок.

— Угомонитесь, — сказала Хендрикье, которой я прочла свое послание, — не такие уж они скверные, просто недоумки, как все мужчины. И потом, откуда нам знать, каково им там приходится, — может, еще похуже, чем нам здесь.

Да, она рассуждала мудро. Но такая мудрость не по мне. Я слишком долго была тем, что хотели во мне видеть другие, — супругой-любовницей, затем «веселой вдовой»… Даже имя мое — «Изабель» — бесследно исчезло. Я глядела на Хендрикье. Она-то никогда не переставала звать-ся Хендрикье, а позже — Хендрикье, жена Джоу. Ее имя никогда не пропадало, мое — кануло в небытие.

Я сразу увидела, что она не понимает, только я одна могла понять это. Во Франции, да и в других

странах, женщины, вышедшие замуж за носителя титула, в самый день своей свадьбы и до смерти лишаются имени. Таков уж обычай. Семь лет я звалась маркизою и только маркизою; даже Мертей величал меня так; развращая в постели, обращаясь бесцеремонно, как со встречной крестьянкою, которой задирают подол на лугу, он в то же время требовал неукоснительного соблюдения всех внешних приличий и правил.

Справедливости ради замечу, что мужчинам повезло не больше нашего. Я так и не узнала имен ни шевалье де Вальмона, ни других своих любовников, которым Мертей уступал меня, которых уступал мне, которых я, овдовев, выбирала сама…

Одни лишь короли сохранили за собою привилегию носить имя. Но даже и в этом, если вдуматься, они не слишком превзошли нас: вместо фамилии им суждено ходить под НОМЕРОМ таким-то.

Мы схоронили Минну почти тайком. Лил дождь. Могильщики открыли склеп; замок еще не успел заржаветь, — так я сперва подумала. И ошиблась: на гробе Мадлен лежали почти свежие цветы, и такие же цветы украшали символическую урну с именем Мари ван Хаагена (сам он

покоится в море, на глубине трех тысяч футов, близ островов Сонды); Минна не забывала тех, кого любила…

Мы благоговейно положили ее рядом с ними. Я говорю «благоговейно», понимая под этим словом тихую любовь, нежную печаль, грустное сожаление.

Покидая кладбище, я чувствовала, что погребла вместе с Минной последние свои колебания. Нужно было уезжать, нужно было не ждать, а спешить навстречу тем, кого мы ждали. Мужчины не возвращались, и ничто не удерживало нас здесь… ничто, кроме разве страха перед неведомым.

Ночью я вернулась в Верхний дом, но тщетно было вопрошать портреты, — они твердят лишь одно: разлука — нема.

III

После операции Рашель прожила два дня.

Сначала все шло хорошо, но на третью ночь она издала крик, вернее, громкий вопль, и когда вбежавшая сестра включила свет, она уже лежала мертвая, с безмерно удивленным лицом. Когда по прошествии многих часов мне наконец разрешили увидеть Рашель, это изумленное выражение еще не покинуло ее; оно кривило ей губы иронической, почти веселой усмешкой. Уж не говорила ли эта усмешка, что смерть — вовсе не такая, какой ее представляют?

Полина с яростной скорбью потребовала вскрытия; разрешение было дано с крайней неохотой. Бом увидел в этом недоверие к своей работе и не скрывал обиды. Полина попросила меня поддержать ее: ты-то, я думаю, понимаешь, в чем дело, объясни же ему!

И я усадила Бома напротив себя, глядя прямо ему в лицо; он же упорно избегал моего взгляда. Он ведь хорошо знает Полину, не так ли, — ее не переделаешь. Она хочет выяснить, не напрасно ли Рашель, по ее настоянию, легла на операционный стол; ей нужно снять с души эту тяжесть.

— Обвинив меня?

Нет, Полина вовсе не обвиняла — пока не обвиняла. Этот Бом начинал действовать мне на нервы: если он столь уверен в своей квалификации, то к чему же нервничать, куда проще вместе с Полиной произвести вскрытие, разве нет? Неужели ему самому не интересно узнать причину смерти? Или он боится того, что Полина может обнаружить?

Бом вскочил как ужаленный — интересная манера прекращать расспросы! Почему все-таки он ни разу не взглянул мне в глаза?

Но нет, — под конец один раз все же удостоил! И уж я-то не стала отводить взгляд, к чему?! Оказалось, ему просто противно на меня смотреть, вот и все: «Я бы предпочел вашу прежнюю искореженную физиономию; по крайней мере, тогда можно было бы…»

— …жалеть меня?

Он не ответил.

При вскрытии Полина констатировала разрыв артерии брыжейки и крайнее истончение нескольких сосудов в надпочечниках и брюшной полости, готовых вот-вот лопнуть от аневризмы. Вывод напрашивался сам собой.

— Это все так, — сказала она, повернувшись к

Бому, — но в клапане осталась щель, пара стежков разошлась, ваш новый кетгут — дерьмо!

Я перебирала в памяти весь этот анатомический кошмар, сидя в трансевропейском экспрессе, уносившем меня в Роттердам. Полине предстояло «забыть» Рашель с помощью ожесточенной, все более и более отточенной работы, сотен новых операций. Не могу сказать, что люблю ее, — это невозможно, — но уважаю бесконечно.

Барни летел самолетом: «У меня нет, в отличие от вас, причин валандаться здесь», — сказал он. Он собирался завернуть в Утрехт и в Германию по делам, связанным с рекуперацией, интересным ему одному.

«А впрочем, может, вам захочется поглядеть, как заключаются сделки между акулами рекуперации?»

Разумеется, я не строила иллюзий на сей счет: мой предок-арматор наверняка был далеко не ангел, а уж старик Каппель, торговец сукном, и подавно. Похоже, нравы Большой Коммерции не меняются со временем, даже если в наши дни их скрывают под благородными названиями международных корпораций.

Я не обманывала себя по этому поводу, — более того, — могла даже кое-что предугадать в

истории дальнейшей жизни Изабель. Негры ведь попали в Бразилию не Святым Духом: думаю, что Арман-Мари тоже промышлял работорговлей — если и не сам возил невольников из Африки, то уж, вне всяких сомнений, пользовался их трудом. Все нуждались в рабочих руках; одни набирали черных рабов на африканском побережье, другие покупали или перекупали их после доставки через океан. Арман-Мари был не хуже и не лучше своих собратьев — это в порядке вещей. Веком позже все они очутились на северо-востоке Бразилии; их оттеснили туда португальцы, которые плевать хотели на законность. А потом там нашли золото и серебро; во все века людей соблазняют одни и те же вещи. Кроме того, католикам весьма легко поладить с собственной совестью, поскольку они пользуются ВНЕШНИМ отпущением грехов. Это ведь гугеноты, которые сами взвалили на себя тяжесть внутреннего самоочищения, запутались в тонкостях моральных проблем.

Я ровно ничего не придумала в этой истории с религией. Хаагены действительно латинизировали свое имя, превратившись в Хагуэносов, и перешли в католичество, тем самым облегчив себе вопрос веры и обеспечив свое существование

в тех местах.

В любом случае это ничего не меняло в течении дел, которые Барни обделывал в Гамбурге или где-то еще: его железяки могли ржаветь там сколько угодно, плевать я на них хотела. А в общем-то я чуточку хорохорилась.

Итак, я села в поезд одна. На перроне я сказала Барни, что он мне нравится — «до некоторой степени», за которой рискует посягнуть на мои права, — «а это вам уже не по зубам, старина!» В действительности же мне просто хотелось ехать в Голландию так же медленно, как ехала некогда Изабель, и глядеть из окна на то, что и она, вероятно, видела в течение пяти-шести дней своего бегства. Было холодно, легкий туман окутывал черные пашни и леса, обвивал ивы и ольхи, что стояли лохматыми седыми чудищами в сером мареве, которым встречала меня Фландрия. Их коренастые черные блестящие стволы-тулова, казалось, исполняют пляску смерти под мерный, костяной перестук колес, и мне смутно припомнился давний, жутко напугавший меня фильм, увиденный в шестнадцать лет, когда хотелось умереть и увлечь за собою весь мир. Там тоже была пляска смерти среди мрачных северных туманов, и под эту музыку худой, как скелет,

рыцарь разыгрывал свою жизнь на шахматной доске. Бывают такие образы, неизвестно почему западающие в душу на всю жизнь. Я и нынче не понимаю этого, но с той поры смерть для меня являет собою некую двусмысленную особу с порочным, скрытым за черными вуалями лицом; когда жизнь внутри нас проигрывает своих королей и ферзей, смерть зловеще хохочет и вступает в свои права…

Роттердам… Город походил на лес из-за сотен гигантских подъемных кранов; штабеля ржавых балок качались на тросах, как листва на ветру. Я готова была часами глядеть, как они исчезают в чреве сухогруза, зияющем на уровне причала или, наоборот, высоко над головой, чуть ли не в облаках. Этот медлительный, неуклюжий «балет», скрип колес и шкивов — пронзительный, как верещание сонма кузнечиков, буквально зачаровали меня. Да, я находила удовольствие в этой форме извращенного экстаза. Изабель такого, конечно, не знала, но и она была из числа женщин, что не отвергают существующую реальность, а умеют насладиться ею.

В конце концов я очнулась от этого наваждения с угнетающим чувством бесполезности моего вояжа, — по крайней мере, в том, где он касал-

ся лично меня. Мне нечего было делать с этим городом, в этом городе. Да, Изабель жила здесь. Вероятно, жила. Я думаю, можно блуждать до бесконечности в тех городах, где вы некогда любили, но это вовсе не означает, что они должны вам нравиться.

А главное, Роттердам оказался слишком уж новеньким. И я не смогла разыскать у моря маленький портовый домик. Да и в центре — в Верхнем городе, где некогда жила знать, — ничто не позволяло с уверенностью сказать: здесь стоял особняк Арматора. От кариатид, от низеньких ворот в стене, от тесного садика с белыми статуями не осталось даже воспоминания; все смела война — снесла, скосила, стерла бесследно… что ж, иногда это не так уж и скверно.

В архивах города и Арсенала я разыскала лишь имена, да и то крайне сомнительные. Ван Хааге-нов оказалось несметное множество, и я наконец уразумела то, что до сих пор, в силу романтического характера, ускользало от моего понимания: имя «Хааген» произошло от названия «Гаага», вот отчего весь Роттердам был сплошь заселен ими.

Я написала Диэго, прося его попытаться разузнать, каким было поначалу житье-бытье этих людей в Ресифе. Я обращалась к нему с этим не

впервые, и он ответил: «Приезжай, раз это тебя интересует, а я пока что борюсь с действительностью и проблем у меня хватает. Это ты, сестренка, въедаешься сейчас в прошлое, как в пирог!» И верно, нам в детстве все уши прожужжали словами «некогда мы, Хагуэносы…». Теперь для Диэго эта фраза, видимо, утратила свое магическое звучание. «Я расстался и с этим тоже, Керия, я покончил с ИХ знаменитым “некогда”, которое служило ИМ единственным маяком, единственной перспективой».

Он добавлял, что Барни в своем последнем письме потряс его сообщением о смерти Рашель и словами о том, что, несмотря на новое лицо, нечто во мне сопротивляется возрождению. Похоже, писал он, что я оттачиваю зубы на всем и на всех — начиная с него самого. Так я получила косвенное подтверждение тому, что Барни — человек слова и «печется» о моей душе.

Я провела свою первую — и последнюю — ночь в Роттердаме в какой-то зачуханной гостиничке, имевшей одно-единственное достоинство: окна ее выходили на доки. Конечно, теперь там не соскребали ракушки с деревянных днищ, а заваривали автогеном корпус огромного военного судна, битком набитого радарами, гидролоками,

ракетными установками и прочей премудростью; оно походило на гигантского кита; крошечный буксирчик с усердным кряхтением майского жука тянул его за собою на жирно блестевшем от тавота тросе. Трос сматывался с лебедки и, ослабевая на миг, извивался непристойно-прихотливыми кольцами, словно металлический змей…

Я почти не сомкнула глаз, — по крайней мере, так мне показалось. Слишком было светло в комнате. В наши дни люди избегают мрака ночи, ее беззвучных содроганий, хотя их снам, их видениям в этой шелковисто-шуршащей тьме было бы привольно, как хищнику на охоте. Но НЕТ, они спят и грезят на ходу, среди безжалостно ярких огней безрадостной жизни.

За моим окном больше не танцуют мачты, не лопочет вода под деревянным килем, не вскипает белой пеной прибой: огромные ворота шлюза навели в гавани свой скучный порядок. Да, ты прав, Диэго, я сожалею о тех временах, которые пытаюсь вытащить из забвения, которые были чреваты — и никому меня в этом не разубедить! — теми же трудностями, что сегодня. И еще одно бесспорно, Диэго: мои сожаления будут недолгими.

Я не осмелилась также спуститься на набережную, — наверное, оттого, что и там было светло, как днем, а приморские таверны превратились в бары с неоновыми огнями и музыкальными автоматами. И пьянчуги в них сидят обыкновенные, одинаковые, как на подбор. И шлюхи, точно как в Сан-Паулу, трудятся все как одна в «Эрос-центрах», в асептических условиях. Нет, черт возьми, сколько можно предаваться ностальгическим переживаниям в духе Мак-Орлана?![104]

Поутру я быстренько сложила вещички и убралась из этого города. Приходилось смириться с тем, что в одну реку не входят дважды. Это понимают абсолютно все — когда дело не касается тебя лично.

Барни не ждал меня в Гамбурге, и встреча с ним не входила в мои первоочередные планы, однако я все же почему-то села на самолет.

Стояла хмурая, неприветливая погода, шел снег, и пастельные стены домов выглядели грязно-желтыми. Но мне сразу понравился порт, ровная, аккуратная линия его причалов и доков. Льдины расступались перед носом прогулочного

[104] Примечания: 104

Пьер Мак-Орлан (1882–1970) — французский писатель, в произведениях которого фантастическое смешивается с романтическими сожалениями о прошлом.

катера, — я, естественно, разыграла из себя туристку и совершила морскую прогулку! В одном из доков железные остовы судов окрашивали воду вокруг себя в кровавый цвет ржавчины; сцепившиеся друг с другом корпуса напоминали дракона с колючим туловищем, которого разделывают на части автогеном. Там я и увидела Барни, с непокрытой головой, в дубленой куртке, возвышавшегося над группой людей, закутанных в шубы и шарфы; он указывал на суда, которые следовало оставить целыми, и рабочие метили их суриком. Барни не обращал внимания на окружающих — он был полностью поглощен своими любимыми железками. В посадке его головы, в улыбке, которую я не видела издали, но угадывала, было что-то весьма соблазнительное. Мне нравилось в нем то упрямое бесстрастие, которым можно всерьез увлечься, если вовремя не сообразить, какой волевой, даже тиранический характер скрывается за ним. И это бесстрастие — не наигрыш, оно неподдельно, оно… не знаю, как определить точнее… оно дремлет в глубине большого и сложного механизма страстей и желаний, словно сама неумолимая судьба. Я думаю, Барни бросает вещи и людей до того, как это сделают они, и поступает так вовсе не из ложного самолю-

бия. Ох, не стоило бы мне прилагать столько сил, пытаясь разгадать тайны натуры Барни!

Я решила дождаться его в кафе, выходящем окнами на причал. Эдакий «тест на прочность». Официант обслужил меня, не моргнув глазом, а двое парней в синих спецовках под меховыми куртками поперхнулись своим грогом и вылупили на меня глаза. Вернее, не на всю меня, а на туго обтянутый джинсами зад. И я вдруг спросила себя, удастся ли мне привести их в замешательство, если у меня вдруг возникнет такое желание. Ясно было, что мой мертвый глаз не смущает никого, кроме меня самой и, может быть, нескольких слабонервных представителей противоположного пола, чьи мужские достоинства мгновенно сводит на нет любая малость. С такими мне делать нечего, хватит и Бома, что застрял в моей самолюбивой памяти, как кость в горле.

Когда Барни и его свита сошли на берег с катерка, на котором они, презрев ледяной ветер и холодные брызги, носились по акватории, я пошла за ними следом, держась достаточно близко, чтобы слышать Барни; он изъяснялся по-английски, и голос его звучал жестко, в полном соответствии с суровым, замкнутым выражением лица. Внезапно он словно постарел

на несколько лет: угрюмость наложила на эти, и без того немолодые черты защитную маску, под которой невозможно было разглядеть прежнего, знакомого мне Барни. Каждый его жест был четким, повелительным, непререкаемым. Я начала понимать, что он действительно способен сколотить себе состояние из чего угодно, пользуясь… нет, благодаря именно тому бесстрастию, которое мой брат советовал ему вырабатывать в себе, тогда как Барни весь, целиком, был замешан на нем и прекрасно знал это.

Пятеро мужчин остановились рядом с двумя черными лимузинами; шоферы в форме вышли, чтобы открыть дверцы своим хозяевам. Те уселись в машины. Барни же расположился в одиночку в белом «мерседесе», снял трубку и начал с кем-то гово-рить. Черные лимузины тронулись с места; их владельцы, проезжая мимо Барни, любезно помахали ему на прощанье, но когда машины поравнялись со мной, стоящей на углу, люди уже не улыбались, они что-то наговаривали на портативный магнитофон. Барни натянул перчатки, вынул дорожную карту, и я воспользовалась этим моментом, чтобы стукнуть в стекло, открыть дверцу и плюхнуться на сиденье. Он глянул на меня и спросил: «Куда при-

кажете?» Мне хотелось есть; он тут же сложил карту и включил мотор: «Поехали. Потом решим, что делать дальше».

Он вел машину уверенно, почти не глядя на дорогу, — видно, часто бывал здесь. Я же вновь открывала для себя этот старинный ганзейский город, таящий в своем статусе вольности несбиваемую спесь — пусть жизнерадостную, но все-таки спесь. Близилось Рождество, на каждом углу сверкали огнями елки, магазины и лавки тонули в пышных ветвях остролиста и омелы и оттого походили друг на друга, как две капли воды. Машина тихо скользила мимо этих раззолоченных, разукрашенных мишурою зарослей, и Барни заметил, как само собой разумеющееся, что предпочитает порт с его грязными железяками.

Впервые я увидела этот город, с его чистенькими прикрасами, хорошенькими кукольными домиками, мещанским самодовольством и всем, что ИЗЯЩНО отрицало истинные источники своего существования, под иным углом зрения. Я взглянула на все это глазами Барни и внезапно, как он, предпочла ржавый железный лом в порту — уж он-то, по крайней мере, не прячет от глаз своей сути и цели.

Мы пообедали в самом дорогом ресторане го-

рода, на верхнем этаже башни, откуда ровным счетом ничего не было видно. Проследив за моим взглядом, Барни заметил, что туман, скрывающий дали, позволяет забыть… Под толстой курткой на нем оказался свитер с высоким воротом. Все остальные посетители мужского пола щеголяли галстуками, крахмальными манжетами, платочками в верхнем кармане пиджака и сидели с постным видом хорошо одетых праведников, иными словами, с еще одной маской на лице. Нет, решительно, я сегодня была не склонна к всепрощению. И, конечно, Барни по сравнению с этими обезьянами выглядел элегантнейшим денди. Почему же он так интересовал меня, — неужто из-за того, что «не наслаждается одними телами»?

Сидя в своих тесных джинсах на бархатной банкетке, лицом к залу, я изо всех сил старалась сохранять самообладание. Пока Барни не скинул куртку и не предстал передо мною в своем спортивном облачении, я успела «скукожиться» при виде всех этих людей, разряженных, несмотря на будний день, вполне по-воскресному. Женщины сверкали украшениями не хуже елок на улицах.

Да, нелегко учиться жить по собственному разумению, когда только-только привыкаешь

показывать людям свою физиономию.

— Ну что, поездка оказалась неудачной? — спросил Барни.

Не то слово! Поездка оказалась бесполезной. Теперь Изабель была реальной только в моем воображении. А в Роттердаме она растворилась в прошлом, от которого не осталось и следа. Бомбардировки уничтожили почти все, в том числе старинный «фон», на котором мне было бы легче восстановить ее образ.

Барни пожал плечами: я мог предсказать вам это заранее. Он с аппетитом поедал толстенный бифштекс с картошкой и на сто процентов выглядел тем, кем был на самом деле, — нуворишем, который и не претендует на иное звание.

— Почему ты на меня так смотришь?

Если он и отличался душевной тонкостью, то очень умело скрывал ее. Вот мы уже и на «ты». Интересно, как он обращался к Диэго?

— Я ко всем обращаюсь на «ты», почти сразу же. А что, тебя это шокирует?

Мне было в высшей степени наплевать.

— Ну так расскажи, чего ты достигла.

— Да ровным счетом ничего.

— Ладно, ладно притворяться, не валяй дурака! Что там с нашей Изабель?

В настоящее время «наша» Изабель продолжала сохнуть на корню, но в ее жилах текла слишком горячая кровь, чтобы в двадцать шесть лет удовольствоваться одними воспоминаниями; чрево ее жадно требовало мужчины, жадно требовало ребенка.

Барни громко, чистосердечно расхохотался, он никак не мог остановиться, и я просто физически ощутила прихлынувшую волну интереса всего зала.

Мы вышли под нацеленными на нас острыми женскими взглядам; у лифта Барни, слава богу, оставил свои вызывающие замашки: я не обольщаюсь, Керия, это ты их заинтриговала, а не моя скромная особа. Спасибо, хоть это он понимал!

Сев в машину, он неожиданно церемонным тоном осведомился, не угодно ли мне вернуться в порт вместе с ним. День быстро угасал, и в нескольких доках, где еще продолжалась работа, горели яркие прожектора. Электросварщики с молнией в руках, в железных забралах, расхаживали вдоль металлических бортов тяжелой поступью усталых громовержцев. Спускавшиеся сумерки наводили на меня тоску; я думала: люди борются, люди каждое утро все начинают снача-

ла, вот это-то и есть жизнь.

Вода хлюпала вокруг понтонов; эти всплески, короткие, как пощечины, смешивались со стуком льдин об опоры причала, между которыми шнырял холодный пронизывающий ветер. Барни полез в багажник и протянул мне куртку, подбитую овчиной: наденька, мне нужно еще раз сплавать на склад.

Здесь его хорошо знали; он пожимал руки на каждом шагу. Мы пришли на какую-то стройку, и толстяк с апоплексическим затылком побежал в застекленную будку за ключами; на ходу он с жирным хохотом бросил Барни несколько слов, которые я не поняла. Все окружающие явно хорошо относились к Барни, и здесь он выглядел улыбчивым добряком.

У причала ждала моторная плоскодонка — полная противоположность прогулочному катеру. Пробираясь с черепашьей скоростью среди льдин, которые вблизи выглядели довольно внушительными, она держала курс на «кладбище погибших кораблей». Пенная струя за кормой, у самых наших ног, извивалась как белый дракон. Яркие буквы «Б», разбросанные по железным корпусам, отмечали заповедник Барни.

— Сюда свозят все отслужившие свое суда или

их обломки. Потом мы делим пирог.

— Пирог?

— Естественно. Ты что думаешь, я их скупаю с благородной целью очистить окружающую среду?

Он смеялся, но за этим смехом я угадывала почти сладострастие, и сладострастие вполне серьезное.

Взвыли сирены, и грохот вблизи нас тотчас же стих. Теперь работы продолжались вокруг другого военного корабля, еще более мощного, чем тот, в Роттердаме, но сквозь этот отдаленный шум я опять различила плеск воды у причала, похожий на детское чмоканье. Барни не сводил глаз со своих любимых железяк: «Прислушайся, Керия!»

В наступившей вдруг тишине я уловила какие-то скрипучие звуки, легкое, почти неслышное потрескивание; оно звучало скорее непонятно, чем угрожающе. Барни с мечтательным видом сказал: «Это поет ржавчина»…

Мы ехали в сторону Франции. Барни спокойно и умело вел машину; он говорил со мной, не отрывая взгляда от дороги. Вид у него был невозмутимый и чуточку высокомерный; вполне вероятно, что он давал все свои разъяснения далеко не впервые, однако у меня сложилось иное

впечатление. Может, в этом-то и заключается истинное обаяние — высказывать мысли таким образом, как будто они только что пришли на ум? Что-то во мне противилось такому банальному выводу. Впрочем, женщины вечно попадаются в одну и ту же ловушку, и самые достойные из них — в силу гордыни…

Я не хотела попасть в ловушку, я хотела луну с неба и птичьего молока в придачу, я не хотела, чтобы Барни меня соблазнял, мне требовалось… его доверие. В общем, я такая же идиотка, как все прочие бабы.

А он тем временем монотонно рассказывал: «Я понял, что полюблю возиться с железом, в доме моего дяди Эндрю. Он был слесарем. Знаешь, я ведь из простых. У него во дворе, за лавкой, лежала целая куча ключей, тогда она казалась мне огромной. На мой вопрос, сколько их там, дядя неизменно отвечал: “Миллион!” Вранье, конечно. На самом деле тысяч пятьдесят уже составляют тонну; мой отец оценивал вес на глаз, не прибегая к помощи безмена.

Когда дяде приносили ключ или замок, он первым делом отправлялся к куче, долго рылся в ней и возвращался с тремя-четырьмя ключами, которые задумчиво взвешивал на ладони и обтирал

уголком своего серого фартука. Назавтра клиент получал новенький блестящий ключ, готовый к употреблению. Дядя был слесарь, что называется, от Бога: за всю жизнь — ни одной жалобы от заказчиков.

Я ужасно любил смотреть на эту кучу в дождь, когда она источала ржавые слезы. Мало-помалу я проникся убеждением, что эти железки — живые, что они говорят, движутся, меняют форму и цвет. В те времена машины еще не ездили по ночам, и единственным звуком, что доносился с улицы в мою комнатку на первом этаже, был скрипучий щебет[105]. Позже, когда я начал работать вместе с отцом на стройках, я опять услыхал эту железную музыку и постепенно набрался опыта. Меня трудно провести, всучить что-нибудь негодящее. Люди не понимают, как я разбираюсь в этом, а на самом деле все просто: я умею слушать голос металла. Сталь поет своим голосом, железо — своим, у латуни пустой звук без обертонов, алюминий скучно бренчит, чугун гудит — иногда гулко, иногда надтреснуто; я половину жизни провожу в их компании. Тебе, наверное, смешно слышать, что можно вкладывать душу в железки».

---

[105] Примечания: 105

На франц. жаргоне «rossignol» (соловей) означает либо «скрежет, скрип», либо «отмычка».

Он не стал дожидаться моего ответа и вышел из машины, чтобы заправить бак; пока он набирал бензин, я бродила по станции. Мимо неслись автомобили, было сыро и не то рано, не то поздно, а еще мне немного хотелось есть.

Вздрагивая от холода, я вернулась в машину и уткнулась лицом в воротник куртки, которую так и не скинула с тех пор, как Барни надел ее на меня. Она была мне велика, но приятно грела и слабо пахла лавандой, а если принюхаться, то и овчиной.

История Барни оживила в моей памяти картины собственного детства, которые я считала прочно забытыми. И вот теперь эти образы ожили вновь.

Я начала рассказывать об этом Барни, когда он плавно выруливал на автостраду. Данный эпизод имел место в год окончания Алжирской войны. Уж не знаю, за каким чертом мои родители помчались в Швейцарию, — наверное, какие-то денежные махинации: только что в Бразилии умер дед. Во всяком случае, меня они оставили во Франции, — не помню точно, сколько мне было лет, но не больше шести, — на попечении деда

одной из наших baby sitter[106], веселой девушки, о которой наша madre говорила: «У нее не все дома, — подумайте, ей даже не противно смотреть на Керию!» И, естественно, Диэго они взяли с собой, — он, мол, слишком мал, чтобы обойтись без своей «дорогой мамочки»… Мне на это было плевать, я обожала Сильветту, которая бранила и шлепала меня так, словно у меня было нормальное лицо вместо помятой маски с зияющей дырой вместо глаза.

В школе меня надолго оставили в покое благодаря мудрому деду Сильветты. «Предсказывай им судьбу по-португальски, — посоветовал он мне, — это их здорово напугает, маленьких паршивцев». И я старалась вовсю, изображая из себя ведьму-гадалку…

В Лотарингии я сперва отчаянно скучала. Там жила еще одна маленькая девочка и ее брат, парень лет двенадцати, который накачивал мышцы и ежедневно, в соответствии с уставом бойскаутов, совершал одно доброе дело, чтобы стать «начальником патруля». Именно для него дед и организовал нам посещение старой угольной шахты, где работал в молодости.

---

[106] Примечания: 106
Приходящая няня *(англ.)*.

Как-то в субботу (инженер по технике безопасности был выходной) сын дедова приятеля спустил нас вниз в шахтерской клетке. Я, как и все прочие, надела каску — она съезжала мне на нос, зато на ней была лампочка, — ветхий комбинезон, собравшийся книзу гармошкой, и мужские, тоже слишком большие ботинки.

Моя уродливая физиономия смущала деда так же мало, как и его внучку. Думаю, madre сказала бы про них обоих: вот малохольные!

Внизу нам все рассказали и показали: как прорубают штольни, как крепят свод, как уголь доставляют на конвейерной ленте к подъемнику, как его опрыскивают водой, чтобы сбить пыль, как опасны рудничный газ и водяные мешки, как здесь, внизу, течет время — без цвета, без запаха… Я жадно слушала, я боялась — я всегда отчаянно боялась темных сводов, пещер, земли над головой.

Мальчик и его сестра засыпали вопросами младшего из наших провожатых. Я же стояла, вцепившись в руку старика, который больше помалкивал и только принюхивался, прислушивался к чему-то. Он был явно доволен — дед — и в то же время насторожен… вдруг он подвел меня к узкому лазу и тихо сказал: послушай! И

я услышала журчание, как будто где-то текла подземная река, и еще там звучали загадочные шепоты, легкие смешки. Старик поднял палец: «Когда шахта подает голос, это дурной знак, дочь моя, надо живо собирать манатки и сматываться. Шахта смеется — значит, жди обвала. Все старые шахтеры знают это».

Всю следующую ночь мне снились кошмары, на голову обрушивался земной шар… а потом я вдруг страстно полюбила камни, мне нравилось прижимать их к груди, сосать, как леденцы, придумывать им жизнь — длинную, многовековую жизнь минерала.

Барни остановил машину и пристально вгляделся в меня.

— А знаешь, ведь на земле есть места, где камни живут как люди, где они бегают, танцуют. Я тоже безумно люблю такие места; там у меня рождается ощущение вечности. Метаморфизм[107] — прекраснейшее из всех слов!

После этих откровений, обнаживших нашу суть куда больше, чем жесты, мы всю ночь ехали молча. Под конец я заснула, убаюканная плав-

[107] Примечания: 107

Метаморфизм — процесс существенного изменения структуры и минерального состава горных пород под воздействием температуры, давления и проч.

ным ходом машины. Барни вел ее со скоростью двухсот километров в час, но так умело, что я осознала эту скорость лишь на заре, проснувшись и увидев пригороды Парижа.

Барни, по-прежнему молча, притормозил на площади Фюрстенберга и с учтивейшим безразличием — худшим из всех видов безразличия — довел меня под локоток до улицы Сен-Бенуа. Уж лучше бы он дал мне пощечину! Я буквально окаменела от этой очевидности: держись, детка, держись! вспомни, что он не любит… Ладно!

Не угощу ли я его завтраком? — вдруг спросил он. В лифте с полированными стенками, куда я ни за какие блага не села бы одна в этот час, он закрыл глаза. Он выглядел усталым, он просто устал, ну конечно же, Господи Боже, он всего лишь!..

Он предоставил мне самой возиться в кухне, разжигать огонь в старинной чугунной печурке, которую Диэго еще так недавно начищал и полировал с почти маниакальным наслаждением.

Я настолько проголодалась, что взяла на себя смелость сварить по паре яиц каждому из нас. Я глотала слюнки, поджаривая хлеб, и, несмотря на ощущение пустоты в животе — во всех смыслах этого понятия, — радостно наслаждалась своим

здоровым, волчьим голодом — тем самым, что некогда переживала Изабель.

Барни сидел на полу у камина, скрестив ноги, и дремал с открытыми глазами. Не знаю, что толкнуло меня опуститься на колени у него за спиной и начать массировать его одеревеневшие плечи и шею, как я часто делала с Диэго после его немых, но жестоких приступов бешенства.

«Однажды, в самый разгар неистового ожидания Изабель, французы, во главе с Пишегрю[108], подошли к воротам города. Шомон объявил ей об этом, трясясь от страха и перед нею, и перед ними, и перед всем, что грозило ему самому, и это было скорее утешительно, чем серьезно: он, как всегда, оказался ни на что не годен».

Барни рассмеялся: «У тебя ловкие руки, Шехерезада, продолжай в том же духе. И продолжай свою сказку, не то я сейчас засну».

* * *

Шомон говорил о Пишегрю с почтительным ужасом; правда, его приводил в ужас любой пустяк. Еще когда Дюмурье одним броском за-

---

[108] Примечания: 108

Шарль Пишегрю — французский генерал, оккупировал Голландию в 1794–1795 гг.

хватил Жеммап и Вальми, Шомон дрожал при одной лишь мысли о том, что этот развращенный негодяй, вскормленный в серале короля и верно прислуживавший Дюмурье, может занять город.

Весть о нем перелетела через океан, и между 89 и 92-м годами встревоженный Арман дважды посылал Джоу и его зятя Виллема на одном из своих кораблей в Голландию с наказом привезти женщин и Коллена, если там действительно опасно оставаться.

Он так и не ответил на письмо Изабель. А Джоу в ответ на все расспросы смущенно пробормотал, что капитан, узнав о смерти Минны, заперся в каюте и всю ночь ходил там взад-вперед, но «что мы можем сделать, если он не пишет?!».

И дважды моряки возвращались назад одни. Во второй приезд Джоу Изабель усадила старика в кресло, впилась в него пронизывающим взглядом, не допускавшим ничего кроме правды, и прошипела: «Ну, говори!»

Джоу побледнел как мертвец, глаза его забегали: «Поймите, там совсем не то, что вы думаете».

Об этом Изабель догадывалась и без него. «Не расписывай мне опасности, я и сама знаю, что вам приходится не сладко; теперь я хочу знать, что грозит нам в тех местах?»

Хендрикье задала Джоу тот же вопрос, но он уклонился от ответа. Сейчас он не осмелился промолчать и обрисовал ей картину их жизни: опасные встречи, губительный климат, постоянные стычки с португальцами за место под солнцем. «Мы-то ведь прибыли первыми, — говорил Джоу, — но их больше, чем нас. И они привозят туда черных рабов, а нам такое не по нутру… ну, не очень-то по нутру…»

Изабель потребовала уточнений. Припертый к стенке, Джоу вынужден был признаться, что они, конечно, неграми не торгуют, но трудом их пользуются… о, конечно, не злоупотребляя!..

Изабель с горечью думала: Франция захлебывается в крови во имя Свободы, Ван Хаагены торгуют рабами во имя колонизации свободных земель, а мы тут…

— А мы тут… что мы такое? Самки для продолжения рода, которых держат про запас? Конечно, ведь время размножаться пока еще не приспело!

И как раз в этот миг Джоу промямлил, что морякам требовались женщины… и там тоже.

Изабель заставила его подскочить безжалостным тычком в причинное место: «Ах, вот как! Ты, значит, бегаешь за тамошними юбками?»

Джоу, багровый от стыда, пробормотал: «Какие

там юбки, они ходят в чем мать родила, но все равно это лучше, чем путаться с двумя-тремя белыми шлюхами, добравшимися и до тех мест. Жизнь — она всюду жизнь, что тут поделаешь!» Да, Изабель знала это; недаром же она наведывалась в портовые кабаки. Джоу вдруг поднял поникшую голову и добавил — неожиданно мягко, так что она поняла все — и Хендрикье с ее суровой стыдливостью, и Аннеке с ее высокомерным осуждением, и себя самое, чьим единственным прибежищем было теплое детское тельце, ее Коллен, — итак, Джоу добавил: «Да посмотрите же правде в глаза: больше всего нам не хватает разговоров, женских голосов, женского пения. А негритянки, ежели с ними обходиться по-людски, поют так же хорошо, как… как другие».

Уже стоя на пороге, он с каким-то холодным высокомерием (не будь это Джоу, она подумала бы, с презрением) добавил: «Ну разве я мог сказать о таком Хендрикье? Эх, мадам Изабель, человек слаб, а мы устроены так же, как все мужчины в мире».

Она отпустила его, озадаченная и вместе с тем растроганная.

Двумя годами позже, вспомнив об этом разговоре и оказавшись почти в таком же положении,

она сохранила спокойствие, не стала никого распекать; ночью тихонько вошла она в портовую таверну и села за стол между Пепе — «дедушкой» — и старым «китайцем», который прибыл сюда в трюме каравеллы с островов Сонды и не захотел возвращаться обратно. Мужчины были молчаливы; Изабель и не просила их говорить. Все ее мысли поглощал город, который строился там, на слиянии двух рек, и за который шла борьба. И еще она неотступно думала обо всех этих мужчинах — сильных, но измученных разлукой и долгим воздержанием, ищущих утешения и спасения от одиночества в черных женских телах… Да, верно, нужно смотреть правде в глаза. Арман-Мари уже шесть лет, как уехал; глупо надеяться, что и ему не захотелось развлечься с негритянками…

Но тут Изабель встряхнулась: самое срочное сейчас — Пишегрю с его французами, а ревность к экзотическим красоткам может и подождать.

В городе никогда «не махали кулаками после драки». Старшины не отличались воинственным пылом еще со времен Карла Пятого[109]. Они пустили в ход иные средства борьбы — куда более медленные, зато более надежные и скрытые до

[109] Примечания: 109

Карл V (1500–1558) — император Германии, принц Нидерландский (1516–1555), король испанский и сицилийский.

такой степени, что какой-нибудь Пишегрю и заподозрить не мог их козней, хотя его считали ловким, энергичным деятелем, подобием Дюмурье, только удачливее и моложе. А впрочем, птицей того же полета. Ходили слухи о его личных честолюбивых замыслах, связанных не с роялистскими пристрастиями, а с убеждением, что при Робеспьере и Сен-Жюсте карьеру сделать невозможно. Шомон — когда речь заходила о людях и их намерениях, — стоил всей тайной полиции вместе взятой. Эти двое поддерживают Пишегрю, утверждал он, но скольким своим лучшим друзьям они уже поотрубали головы!..

Как бы то ни было, а солдатня заняла город, и тут уж генерал ровно ничего не значил, его вояки распоряжались сами. Ну а местные жители спасались от них старыми испытанными способами.

Ни Аннеке, ни Элиза больше и носа не высовывали из дому. Молодым женщинам в такие времена на улице не место. Хендрикье же, выпустив из-под чепца седые пряди и ссутулившись, семенила по городу старческой походкой, которой и не думала расхаживать по дому. Что же касается Изабель, то ей достаточно было снять повязку с глаза, чтобы вновь оказаться вне поля зрения мужчин.

Когда стало ясно, что армия расположилась прочно и надолго, старшины Верхнего города дали знать генералу молодой Французской республики, — одновременно заверив в своей безраздельной симпатии к ним обоим, — что особняк Ван Хаагенов пустует. Не будет ли господину генералу там удобнее, чем в его нынешних тесных покоях, где и так полно народу? Предложение звучало так мягко, так радушно, так убедительно! Кроме того, дом богатый, его хозяйки — женщины состоятельные, разве не интересно на все это взглянуть?

Но когда Пишегрю нагрянул туда со своими приспешниками, готовыми взломать ворота и двери, эти последние оказались широко открытыми, в комнатах горели все лампы, все свечи в канделябрах. На каменном крыльце, между кариатидами, стояла «дама» в парадной бархатной робе, набеленная и нарумяненная, с пустой глазницей; она смотрела на командующего с едва заметной усмешкой.

— Генерал Пишегрю, добро пожаловать в наш дом!

Генерал склонился в поклоне. Он едва говорил по-фламандски, и ему приходилось жестикулировать, подыскивая нужное слово. Побарахтавшись

в трудных оборотах, он предпочел укрыть смущение за грубостью, выставил вперед ногу — а ноги у него были стройные, — и объявил…

Но Изабель не дала ему выговорить слово «реквизиция».

О, она будет счастлива принять генерала в доме своего зятя, ныне находящегося в дальнем плаванье; она вверяет себя широко известной французской учтивости и рассчитывает на почтение к этим стенам, только что пережившим траур.

Пишегрю, при всем его желании, никак не удавалось оскорбить ее; итак, он пообещал всему этому черному бархатному великолепию, этому рубину на левой руке позаботиться о том, чтобы ни он сам и никто из его людей не уронил в ее глазах благородной репутации французов. Спокойное высокомерие этой женщины, изувеченной лицом, но сохранившей все повадки надменной светской красавицы, напомнило ему поведение только что обезглавленной французской аристократии. В яростном бессилии (совсем как некогда Шомон) утвердить новые ценности, свергнув старые, он шагнул вперед. Она посторонилась, пропустила его.

Взору генерала предстали сумрачные покои. В

парадной зале стоял накрытый стол: белоснежные скатерти, сверкающий хрусталь. Хендрикье разливала по кубкам дорогое вино. Ее пухлое лицо единственным светлым пятном выделялось на фоне черных — также черных! — одежд. Только слепой не заметил бы, что в этом доме царит траур.

Изабель едва пригубила из бокала и с реверансом отступила назад. Хендрикье, уже в плаще, окутала плечи хозяйки бархатной накидкой, поправила на ней капюшон, и обе они, вежливо поклонившись офицерам, удалились. Хендрикье аккуратно притворила за собою ворота.

Пишегрю, еще не опомнившись от изумления, молча глядел им вслед, потом с судорожной, часто одолевавшей его яростью грохнул свой стакан о плиточный пол. Повернувшись к своей свите, он прорычал, к сведению «молодых офицеров» (некоторые из них годились ему в отцы), что Республике незачем якшаться с этими старорежимными буржуазными шлюхами и что он… Тут он осекся.

Изабель повесила свой портрет над камином, куда он как раз в этот миг обратил взор; кровавый глаз на сером рябом лице смотрел прямо на него. Это было тем более отвратительно, что генерал

минуту назад видел Изабель в том же самом платье и чуть было не поддался очарованию ее хрустально-чистого голоса, который заставил его ненадолго позабыть о своем тайном грабительском зуде.

Свита без особого удивления следила за тем, как генерал, схватив шпагу и плащ, хлопнул дверью; уже в саду он отдал подчиненным приказ немедленно реквизировать дом помощника бургомистра, который завлек их в эту ловушку.

* * *

— Ты его придумала, этого Пишегрю?

Барни ел яйца всмятку, макая в них поджаренный хлеб, и пил черный кофе. Он поставил локти на стол и держал чашку обеими руками. Я никак не могла решить, откуда у него эти манеры — от дяди-слесаря с его кучей ключей или же просто он приноравливается к моим, весьма скверным.

— Эй, Керия, ты что, заснула? Ответь, ты выдумала этого Пишегрю?

Еще чего не хватало! Как-никак, это была История Франции и, насколько я знала, история его

страны тоже. Барни смеялся: ну и имечко!.. [110]

Я рассказала ему биографию Пишегрю. Она вполне подошла бы самому Бонапарту, только что звали того поприличнее; впрочем, имя ничего не облегчает своему хозяину. В молодости Пишегрю был репетитором в Бриенне. Жизнь куда богаче возможностями, чем любой роман: не исключено, что он учил там Наполеона. Итак, он — всего лишь жалкий учителишка низкого происхождения, которое постоянно препятствует его карьере, когда он начинает делать ее всерьез. С Американской войны он возвращается в скромном чине старшего сержанта. Революция и Случай возносят его в командующие Северными армиями сразу же после Дюмурье, не угодившего принцу Кобургскому и слишком закоснелого, чтобы прибегать к более современной стратегии. Первая война в Голландии была проиграна именно из-за этой косности в военной науке. Пишегрю, как и все худородные честолюбцы, напротив, привержен новым идеям, и он побеждает. Но он слишком хорошо сознает всю шаткость своего положения в столь критический период и усиленно размышляет над этим — смешной, как и

[110] Примечания: 110

По-французски фамилия Пишегрю созвучна словам «дешевая шлюха».

его фамилия, и тем не менее крепко держащий в руках и армию, и захваченные им Нидерланды. Сила характера лучше всего проявляется у стен вражеского города.

Барни слушает меня разинув рот.

— У Пишегрю на руках все козыри, понимаешь? Начать хотя бы с его ратных подвигов. Солдаты любят его; скажи он им: давайте завоюем луну! — и они не раздумывая пойдут за ним следом. В этом он ничем не отличается от Бонапарта. Более того: они оба переживают свои звездные часы как раз в одном и том же возрасте.

Судьба завязывает жизнь человека узлом до тех пор, пока он решительной рукой не затянет до конца либо не разрубит этот узел. Иначе из таких переделок не выходят.

Наполеону также сопутствует удача, судьба благосклонна к нему. Пишегрю верит в Наполеона, хотя изредка его обуревают сомнения, что свидетельствует об уме или, скорее, о верном инстинкте. Эти же сомнения помогают ему отбирать себе помощников из окружения Принца и надежно привязывать их к себе. И только позже, когда Пишегрю перестанет сомневаться в Наполеоне, иначе говоря, забудет о своих приступах недоверия, он, ослепленный собственной славой

героя салонов и коварной любовью окружающих, позволит беспрепятственно обманывать себя всему свету. До Империи еще далеко. Бонапарт — победоносный и пока еще не всеми понятый генерал — знает, что лучшее средство закрепить достигнутые успехи — это вырвать поводья у Истории и крепко держать их самому; отсюда государственный переворот, 18 брюмера, Консульство и все прочее. Но Пишегрю представляет себе Революцию совсем иначе. Его честолюбие вовсе не простирается настолько далеко, он предпочитает синицу в руке, его мечта — мирно окончить свои дни в цивильном халате, оплаченном благодарной монархией, и вот он строит козни, цель которых — реставрация королевской власти, подтверждение его генеральского чина, отставка и приличная пенсия. Иначе говоря, 39-часовая рабочая неделя и досрочный выход в отставку — предел мечтаний современного чиновника. Пишегрю не с чем себя поздравить.

Барни встал, чтобы вымыть свою чашку; он недоуменно пожал плечами: что это дает для истории Изабель?

Рашель — та поняла, и Элен, и даже Диэго… Иногда я забываю очевидное: мужчина, которого желаешь, редко способен понять или опередить

тебя мыслью. Хочешь не хочешь, приходится выбирать — либо развлекаться в постели пару часов в сутки и дохнуть со скуки остальное время, либо наоборот. Но в двадцать пять лет ни о чем таком не думаешь, а короткое удовольствие по формуле-1 раздувается до 24 часов в сутки. Уродство помогло мне созреть раньше времени, так что я, можно сказать, груша-скороспелка. А он, Барни…

— Послушай, если не считать твоих драгоценных цветных металлов…

Он грубо схватил меня за плечи. Глаза его, когда он этого хочет, становятся серо-стальными, жестокими, безжалостными. Цветные металлы, как видно, научили его играть и с людьми. Только на иной манер. По этому поводу он мог бы преподать мне немало трюков и фокусов, — например, как стать миллионером в сорок лет. В настоящий момент он хотел знать, почему мой интерес к Пишегрю объясняет характер Изабель и вытекающие из него поступки.

А может, он… Нет, он не понимал, ему-то ведь не приходилось писать романтические биографии. Я же вдобавок вещала с высокомерно-загадочным видом пифии…

И он ушел, распахнув и не закрыв дверь. Этот сволочной лифт, которого никогда нет на месте,

если торопишься, на сей раз оказался тут как тут. Барни бросился в него. Надо же. Как это просто — мужчина, который уходит от вас и при этом не опаздывает на лифт!

Гордыню, зафиксированную в зеркале, можно либо затянуть — на манер тугого корсета, либо, наоборот, распустить. Я получила свою дозу; этим утром я точно измерила ее.

Барни был первым мужчиной, которого я интересовала. Диэго не в счет, — ну что такое брат?! Даже когда он нежно любит, нежно обнимает, все-таки это не Другой, не Чужой.

Барни интересовался Изабель со страстью, которой я желала для себя. Вот почему я реагировала на его уход так, словно у меня вырвали изо рта последний кусок хлеба. И в то же время я ругала себя последними словами. Изабель… я изобретала, я воссоздавала ее… Барни возжелал узнать, как действует механизм, который изобретался и воссоздавался мною. Когда читатель требует, чтобы ему показали устройство прекрасного, приведшего его в экстаз образа, это так же противно, как разоблачать фокусы. Что я должна была объяснить Барни? Что повествование — это, в общем-то, тонкое надувательство, что рассказчик добывает истину, но никогда не выкладывает

ее перед публикой целиком, что он лжет, не обманывая, грешит по неведению? Мне нужно было ВСЕ узнать о Пишегрю, чтобы с его помощью создать правдоподобную иллюзию хитроумия Изабель. Я знаю все делишки Пишегрю, о которых сам он умолчал, все его ошибки, которых ему не следовало делать и которые он тем не менее совершил почти сознательно. Эту алчную душу томила жажда оглушительного фиаско; может быть, это единственная его человеческая черта. Я знаю всех женщин, на которых он ни разу не взглянул, — и поэтому могу определить тех, чьих милостей он добивался; определить — и в свою очередь сорвать с них покров неизвестности. В общем, это именно я дергаю за ниточки своих марионеток. Отчего — из страха перед тем, что еще не сбылось, из властолюбия? Ох уж эта ангажированность писателя… неужто мое тело тоже придерживается необходимой в таких случаях нравственности?!

Я с дьявольской проницательностью разбираюсь в душах Изабель и Армана не только потому, что веду от них свой род. Я исследую все хитросплетения их былой страсти с зорким беспристрастием хирурга. Такое отношение позволяет мне выворачивать Историю и Время

то так, то эдак, по собственному разумению. Я чувствую себя в их «романе» так же привольно, как моя рука — в моем кармане, и это «расковывает» моих героев, вдыхает в них жизнь. Я и сама живу внутри их бытия, точно яйцо в инкубаторе, ощущая, как в моей наследственной памяти дают всходы все семена, посеянные предыдущими поколениями; я — это я и, одновременно, все те, кто прожил до меня свои жизни в течение двух последних веков. Керия Дос Хагуэнос… Я ношу это имя, и ищу, и ХОЧУ…[111]

Изабель, помоги мне, я люблю этого человека, а ведь я еще не научилась любить!

* * *

Хендрикье обнаружила зверя, как всегда, первая. Эктор в городе; говорят, он якшается с французами и вид у него подозрительно веселый, словно он облечен какими-то выгодными полномочиями. Шомон также видел его, но разве Шомон способен на быстрые логические выводы?!

Поставленная в известность, Изабель тем же вечером обратилась к своим друзьям в порту;

---

[111] Примечания: 111
Имя «Керия» означает на испанском «я хотел(а) бы».

нужно было обдумать, как спрятаться.

Хоэль и Пепе недоверчиво качали головами, не понимая ее резонов, ее спешки: чего ты боишься? Она попыталась объяснить им, каким образом Эктор может отомстить ей, пользуясь тайными переговорами австрийцев с Пишегрю за спиной у Французской Революции; Шомон предсказал их возможность еще до самого Пишегрю. Но мужчины так ничего и не уразумели.

— Да ведь это же проще простого! — раздраженно втолковывала им Изабель. — Пишегрю готовит заговор, ему нужны гарантии, и он должен представить их, это же дураку ясно! А то, что Эктор попутно работает на себя, вполне согласуется с убогой логикой его характера, — как по-вашему, чего он попросит у Пишегрю за труды?

Она так и не убедила ни того, ни другого, но все же они выполнили ее просьбу, уж больно она волновалась.

Два дня спустя, на рассвете, Хендрикье вернулась с базара бегом: в саду Верхнего города бесчинствует солдатня, они жгут мебель.

Изабель ощутила тот же толчок, что и шесть лет назад: уехать немедля! Пока Элиза и Аннеке складывали одежду и припасы, она взяла Колле-

на и собрала в кучу свои бриллианты, свой плащ и свою злобную решимость: а ну поторапливайтесь, вы, копуши! Вскоре четыре женщины и ребенок растаяли в туманной дымке порта. Хоэль сердито окликнул их с дальнего конца причала: а ну, живо садитесь в лодку, черт возьми, — Пепе ждет нас на берегу Ноордерэйланда. Вы оказались правы: зря мы не прикончили его тогда!

И в самом деле, они ушли вовремя. Наведавшись поутру в дом, Хоэль увидал распахнутые двери и хмельного Эктора, в гневе бесновавшегося перед Пишегрю, который молча глядел на него из-под тяжелых век.

Они едва не попались! Изабель с мрачным ожесточением шагала взад-вперед по сырой хижине, притулившейся на берегу поросшего ивняком залива. Пепе тщетно пытался растопить очаг плавником, который лишь дымил; в хижине становилось все холоднее.

Не в силах терпеть этот чадящий трескучий огонь, Изабель весь день бродила по заснеженным дюнам; подступившая ночь — и та не утешила ее. Тем временем служанки обустроились в домике; огонь, как и всегда, в конце концов разгорелся. И внезапно Изабель приняла решение. Она надела чепец, приладила повязку на глаз.

Стоял лютый холод; она закуталась в шерстяную шаль, сверху накинула плащ, спрятав под него руки, и направилась по едва видной тропинке в город. Хендрикье попыталась удержать ее: куда вы? Если они вас схватят, что станется с нами?

Они едва не разругались. Споря с Хендрикье, Изабель почти с нежностью думала: она меня любит.

— Никто меня не схватит, ну а если и так, что они мне сделают? Убьют? Какая им от этого выгода? Надругаются? Как бы не так, — мой глаз отпугнет любого, пусть от него будет хоть такой толк! Ты думаешь, Эктор не рассказал ИМ про бриллианты? Он глуп, но не безумен, он умеет распознать алчную душу среди тех, кого встречает на своем пути.

Она была совершенно спокойна. Хендрикье глядела ей вслед, прижав руку к щеке, в которую Изабель поцеловала ее напоследок: а все же поостерегитесь, алчные — они ведь не разбирают, один ли глаз, два ли.

Объявленный в городе комендантский час еще больше приглушил и без того негромкий гул таверн, где нынче гуляла одна солдатня. Изабель тихонько пробиралась по затихшим улицам в своих набитых соломой сабо. В январе темнеет

быстро, но небосвод, расчищенный резким ветром, еще хранил бледные отсветы дня, а горизонт слабо рдел будущей зарей. Это было красиво. Даже при столь печальных обстоятельствах это было красиво.

По улицам расхаживали ватаги солдат, патрулировавших город; они и не думали скрываться или понижать голос, так что Изабель всякий раз успевала спрятаться за штабелем досок, за изгородью, под навесом. Длинные висячие сосульки дребезжали и звенели под ветром, словно праздничные бубенцы.

Под звуки ленивого шарканья солдатских сапог она размышляла в своем укрытии: война питается плотью и переплетает жизненные воспоминания; ни один мужчина не способен устоять перед тем неодолимым зовом, который страх гибели пробуждает в мужских чреслах. Вряд ли Пишегрю отличается от других, — на это-то она и рассчитывала. И, как всегда, не обманывая себя, признавала, что и ее не миновало смятение, что и ее кровь бурлит.

Низенький портовый домик мирно дремал в темноте. Ну что ж, по крайней мере, знаешь, чего держаться: видно, эти вояки предпочитают богатые кварталы Верхнего города. Единственный

часовой лениво прохаживался перед дверью, сутулясь не то от дремы, не то от стужи.

Во втором этаже горел неяркий колеблющийся свет. В окне то и дело мелькала тень человека: склоненная голова, руки за спиной. Это был не Эктор, в такое время Эктор, верно, надувается где-нибудь пивом и злобой, а то еще елозит по чьей-нибудь покорной спине, мало заботясь о том, кому она принадлежит.

Изабель пробралась в задний дворик, прислушалась, вгляделась. Снег был чист, здесь никто не проходил, но это еще ни о чем не говорило. Она подошла к двери. Ключ по-прежнему висел на притолоке, там, где Хендрикье обычно прятала его. В кухонном очаге никто не поддерживал огонь, здесь стоял ледяной холод.

Изабель вошла, заперла за собою дверь. Она радовалась своему открытию: значит, в доме никого — никого, кроме этого молодца наверху, что с громким топотом расхаживает перед камином. Это Пишегрю, именно он, или я совсем не разбираюсь в мужчинах.

Она кралась по комнатам, сторожко замирая на каждом пороге. Вещи были не тронуты, даже пяльцы Аннеке, на которых та с утра до вечера вышивала рубашечки и воротнички для Коллена,

наряжая его, как младенца Иисуса, по-прежнему лежали на топорном секретере «Конторы».

Изабель нагнулась к пятнистому зеркальцу, вгляделась в свое лицо. Да, ее губы слишком красивы, чтобы так долго оставаться нецелованными. Она поправила волосы, непокорно вьющиеся с тех пор, как их больше не осыпали пудрой, развязала узел шали на груди. Голова и шея, выступавшая из черного шерстяного платья, выглядели в этой загадочной полутьме весьма аристократически, — во всяком случае, совсем не по-республикански. Эта мысль вызвала у нее усмешку.

Подойдя к клавесину, она принялась играть стоя. Нужно заставить его услышать и поскорее спуститься вниз, она уже озябла от промозглой сырости.

Шаги наверху замерли. Изабель продолжала играть, тихонько, почти речитативом напевая:

Вернись же в край снегов,
Как только буря минет.
Так пуст и тих мой кров,
Так страшно сердце стынет.

Да, это был он, Пишегрю.

Он держал в руке наспех зажженный, ды-

мящий факел, он глядел на нее с враждебным удивлением, недоверчиво и жестко, но за этой чисто военной повадкой крылся обыкновенный, вполне прозаический вопрос, вопрос о нем и о ней. Все в порядке, он не станет звать часового.

— Мои люди ищут вас.

— Вот потому-то я здесь.

— Это что, легкомыслие?

— О нет, генерал, простой расчет!

И оба усмехнулись, каждый своей мысли. У Пишегрю были бледно-голубые глаза с расширенными зрачками. Он не отличался красотой — слишком был грузен для этого, но не жирен, а мускулист, и ноги крепкие, «железные»... Этот церемониться не станет.

— Что вам даст мой арест? Вы хотите заплатить мною Эктору?

— Кто такой Эктор?

— Молодчик со шрамом на физиономии, вечно в подпитии. Не знаю, каким именем он назвался вам.

— Вервиль.

Изабель рассмеялась: вот это да! И что же он наговорил вам обо мне?

— Что вы опасны, что вы враг.

— Враг — кому? Республике?

— Его друзьям.

— Так я и думала.

Изабель покачала головой.

— Ваш Вервиль зовется Эктором, маркизом де Мертей. Я его мачеха; он преследует меня уже много лет. Хочет отобрать то, что принадлежит мне по праву брака с его отцом, — он считает это своим имуществом. Что до Вервиля, то это название имения и замка. Он там родился. Но только его отец продал Вервиль моему — за меня. Эктор спалил тамошние фермы вместе с людьми. Он — безумец, лишенный человеческих чувств, жалости, обыкновенного здравого смысла. Им руководят лишь хитрость и алчность, он заботится только о себе; он водит вас за нос, генерал.

И Изабель передернулась.

— Он вам так противен?

Подняв факел, Пишегрю внимательно вгляды-вался в нее.

— О нет, просто мне холодно.

Пишегрю повернулся и вставил свой факел в кольцо на стене.

— Нынче утром я впал в ярость и уступил первому порыву. Я слишком легко уступаю первым порывам, знаю это за собой. Там, в Верхнем городе, они сейчас разоряют ваш дом. Теперь я

сожалею об этом — не столько из-за вас самой… просто жаль красивой мебели, красивых вещей. Глупо было сжигать их.

Присев на корточки перед очагом, Изабель пыталась вздуть огонь. Скоро в комнате слегка потеплело; хотя здесь и летом-то бывает холодно, пояснила она.

— Теперь вы еще более опасны.

— Из-за того, что мне известно?

— Не только.

Они стояли лицом к лицу; он продолжал: «Вы…»

— …красива, хотели вы сказать? Полноте, генерал! Я ведь не из тех девиц, которых насилуют, задрав им юбку на голову, чтобы не видеть их безобразия.

Пишегрю поморщился.

— И потом, что это меняет? Вам незачем опасаться меня, я пришла лишь для того, чтобы предупредить вас: Эктор ведет двойную игру, он всегда был двуличным, в этом и состоит его хитроумие. Не знаю, вправду ли он способен служить посредником между вами и своими «друзьями», — может быть, да, а может, нет. Но в одном я уверена: он делает это из-за денег. А сможете ли вы заплатить ему? Сомневаюсь. Ре-

волюция нашла казну пустой, вот почему она не скупится на щедрые посулы. Я полагаю, вам это хорошо известно.

Пишегрю сжал зубы: плачу не я, а… другая сторона. Изабель насмешливо и нетерпеливо отмахнулась: ну вот, еще один тугодум! Что, по-вашему, выгоднее: когда платят обе стороны или только одна? И если вы не отдадите меня в его руки, он не получит того, на что рассчитывал, и потребует другого возмещения убытков, а вам больше нечего ему предложить. Нет уж, меня увольте, генерал!

Пишегрю набычился, зло взглянул на нее: стало быть, мне достаточно схватить вас и…

Но Изабель засмеялась:

— А ну, попробуйте!

Он шагнул вперед. Изабель мгновенным движением набросила свою шаль на факел и выхватила пистолет из ящика отцовского секретера: ну, зовите солдат, меня арестуют, но прежде вы умрете!

Пламя очага освещало их короткими скупыми сполохами. Запахло паленой шерстью. Изабель, внезапно охрипшим голосом, сказала:

— Вы нравитесь мне, генерал Пишегрю!

Они утихомирились, остыли, уселись — осто-

рожно, как выздоравливающие больные. Изабель отложила пистолет: он не заряжен! — и протянула озябшие руки к огню.

— Так чего же вы все-таки добиваетесь?

— Я хочу вернуться домой вместе с племянником и служанками. Впрочем, ненадолго: мой зять плывет сюда, чтобы забрать нас, так что мы очень скоро очистим для вас место, это вопрос нескольких недель, а то и дней. Мебель сожжена… тем хуже, мне придется сожалеть только о портретах.

На сей раз Пишегрю оказался проворнее Изабель; он сорвал ее с кресла, грубо смял чепец и воротник: вы — дьяволица! Я приказал снять оба портрета, они здесь, — и вы, и тот молодой человек!..

Он тяжело, надсадно дышал, он искал взгляд Изабель: снимите свою повязку! — и опять вздрогнул при виде пустой глазницы.

Он был согласен с Изабель: молодую, но некрасивую женщину легче изнасиловать, завернув ей юбку на голову; отчего же он так желает эту, глядя в ее изуродованное лицо?!

Она пожала плечами: просто я люблю мужчин. Почти всех мужчин. И она лукаво улыбнулась: недавно я как раз подумала, что мой рот слишком

красив, чтобы оставаться пустым. Неужто вы не понимаете, что наши желания стоят ваших, мужских? Вы берете женщин приступом… о да! Но чем вы завладеваете? Нашей слабостью, нашим вынужденным согласием? Три года назад Эктор изнасиловал меня, а ведь я тогда была ужасна, отвратительна, точь-в-точь, как на том портрете. Он «принудил» меня, он взял меня столько раз, сколько смог. И что же? — разве он получил за это Вервиль и все остальное? Он не только не удовлетворил своего желания — он усугубил его.

— А вы… что вы сделали?

— Я приняла ванну, я отмылась, генерал.

Пишегрю отпустил ее.

— Завтра можете возвращаться домой, я прикажу отменить поиски.

Он был красен как рак. Изабель видела его насквозь и знала, что он не задет; покраснел же потому, что вожделеет к ней, несмотря на мерзкий образ покрывающего ее Эктора. Эти блондины… у них все на лице написано.

Изабель, глядя в старое зеркальце, поправила воротник. Ей вспомнились привычные, испытанные жесты, ласки; от этого мужчины исходил запах гари… или горького миндаля? Она тронула его за плечо:

— Поцелуйте меня!

Он мрачно буркнул: «Нет!» Ах, как он глуп, разве я прошу поцелуя в залог или в знак благодарности? Мне это нужно… ну, я прошу вас!

Она на миг задержалась в его объятиях, часто и глубоко дыша. Когда же он стряхнул с себя оцепенение, вытер мокрый лоб и понял, что поцелуя ему мало, она уже бесшумно переступила порог, безразличная… нет, не то, — спешащая к… в общем, он услышал звяканье дверного кольца и тогда лишь уразумел, что она ушла — так же внезапно, как появилась. Ночь только-только начиналась; уж не сон ли ему привиделся? Да нет… эта шлюха укусила его. Она добилась своего, обвела его вокруг пальца, одурачила и оставила здесь — растерянного и… о нет, он ей, конечно, не поддался! И он подумал со злорадной усмешкой: «Она ждет этого своего зятька, словно мессию; ну что ж, он, Пишегрю, желает ему получить удовольствие». Рот у него слегка кровоточил от… от удовольствия.

Назавтра, когда Эктор заявился к дому Арматора, он увидел там двух солдат, помогавших Хендрикье вытаскивать ведра из колодца; обе служанки выметали солому из комнат, ворча, что с этой подлой войной забот не оберешься, вон как

загадили дом! Генерал велел передать Эктору, что отныне тому придется улаживать свои дела самому, а он с армией идет на Амстердам. Было 18 января 1795 года.

* * *

Мне ужасно хочется, чтобы кто-нибудь поколотил негодяя Эктора, но кто за это возьмется?! Впрочем, он получил по заслугам, умерев двадцать лет спустя в Вене, в полной нищете. Талейран[112] упоминает о нем в своих мемуарах: «На Пратере, в толпе калек-ветеранов множества бессмысленных баталий, я приметил господина де Мертея, что командовал при Людовике XV драгунским полком, а при Людовике XVI — шайкою наемников, из тех, чьи никчемные услуги оплачиваются всегда слишком дорого. С тех пор он не сделался ни умнее, ни благообразнее. Его злобные маленькие глазки становятся маслеными при виде молодых людей в тесно облегающих панталонах. Сразу ясно, насколько справедливы слухи, о нем ходившие; одни эти черные губы чего стоят! Шрам шириною в палец безобразно искривил

[112] Примечания: 112

Шарль-Морис де Талейран-Перигор (1754–1838) — французский политический деятель.

его глаз и щеку. Разумеется, он подскочил к моей карете, встретив меня угодливым “господин Перигор!” и тотчас развеяв все мои иллюзии на его счет. Бравые агенты князя Меттерниха впились в меня глазами. Стоило мне лишь повести бровью, чтобы Мертея наказали примерно, как и прочих опрометчивых болванов, которые не дают мне прохода со времени моего так называемого “предательства”. Мертей опоздал родиться ровно на одно царствование — опоздал, как это случалось с ним всю жизнь. Наш милый Клеменс вовсю старается задобрить Францию в моем лице, и я отлично понимаю зачем. Но меня так просто не провести. Я умею обращаться с господами, подобными Мертею: я бросил десять талеров в его подставленную шляпу с облезлым пером; самое мерзкое — то, что он их принял».

Мои раздумья прервал звонок Полины. Они с Элен покидали домик в Сен-Манде и перебирались в четырехкомнатную квартиру в Марэ[113]. «Приезжай, выбери себе картину, — сказала она, — мне, правда, трудно с ними расставаться, но надо привыкать. Американские покупатели шуруют вовсю, они организовали выставку-про-

[113] Примечания: 113
Марэ — квартал в черте Парижа.

дажу, чтобы заморозить цены, я-то знаю эти штучки; Рашель наверняка отказалась бы от подобных махинаций, но мне уже на все наплевать, я больше не в силах смотреть на них, просто не в силах. Каждый раз начинаю реветь, и каждый раз меня выбивает это из колеи на целый день. Керия, я больше не могу!»

Она говорила без остановки, не давая мне вставить ни слова; наконец я заорала в трубку: «Да замолчи ты, черт возьми, я еду!»

Сердце мое бешено билось. Когда зазвонил телефон, я подпрыгнула от неожиданности и… услышала в трубке истерический голос Полины… не тот голос, который я ждала.

Барни привез меня из Германии две недели, нет, пятнадцать дней назад, и с тех пор пятнадцать веков наваливались на меня каждое утро невыносимым гнетом, невзирая на работу, невзирая на Изабель, невзирая на письмо Диэго и визит madre. Я словно сорвала в январе оливку с ветки — вкусную, переспелую… а, собственно, для чего она спела, неужто для такого же одиночества, как раньше? Стоило менять себе физиономию, если не изменились ни душа, ни сумрачное нетерпение, одолевающее меня при каждом мужском взгляде!

Диэго захлебывался от упоения. Я ровно ничего не понимала в его рассказах о тамошней жизни; каждый эпизод тонул в восторженных отклонениях: он буквально ВЛЮБЛЕН в гасиенду; он намерен строить склад-холодильник; он ОБОЖАЕТ здешний народ, людей приезжает все больше и больше, вот уже два века «Жунсао» — их маяк, их путеводная звезда; внедрять холодильные установки в здешних местах — истинное мучение, но все равно, сюда нужно ехать, он уверен, что работа найдется для всех; Барни пишет, что я настоящая стерва с гадючьим характером: что ты ему сделала, этому бедняге? Местные женщины изменчивы и зыбки, как дюны; их тела нежны до слез, они поют, они танцуют; кухня здесь однообразная и тяжелая, но холодильники все это переменят, а Барни трудится, как вол, он потрясающе деловой тип, пообещал мне целый десяток холодильников по бросовой цене, а какие красотки разгуливают здесь на плантациях сахарного тростника! Барни отлично танцует, девчонки от него просто без ума!

Письмо завершалось раздраженной фразой: ты даже не удосужилась объяснить ему, что зарабатываешь на жизнь переводами для фирм по импорту-экспорту!

Можно подумать, это кого-то интересует; можно подумать, что перевод на четыре языка инструкции по пользованию японским вибромассажером являет собою повод для восторгов!

Ну а madre — та высказалась куда более определенно: «Ты ОПУСТИЛАСЬ до какого-то торговца железным ломом! Вспомни, дочь моя, ты ведь из рода Хагуэносов…»

Не могу понять, почему я до сих пор щадила их — ЕЕ Хагуэносов.

— Когда входишь в семью с помощью двойного взлома, желательно помалкивать. Ты вышла за старика ради Имени, а за молодого — ради мошны старика, так ведут себя только шлюхи. Я всего лишь ваша дочь, madre.

Она замкнулась в непробиваемом достоинстве, всю смехотворность которого я наконец-то разглядела. Я вежливо открыла ей дверь. На площадке (уж к ней-то этот чертов лифт не спешил!), где нужно было о чем-то говорить, она злобно бросила, что отречение от родных не добавит мне ни красоты, ни привлекательности. На сей раз я ответила ей пощечиной, даже двумя, — медлительный лифт предоставил мне такую возможность.

Из этой стычки я вынесла довольно зловещую,

но утешительную для себя уверенность в том, что умею пользоваться языком, а когда не хватает и его, то руками. В конечном счете, соблазняют ведь и словом и жестом.

Перед тем как отправиться в Сен-Манде, я пристально и подробно исследовала свою новую внешность; хоть это-то я обязана была сделать для Полины. В моем распоряжении не имелось старого пятнистого зеркальца, чтобы рассмотреть рот, в который никогда ничего, кроме пищи, не попадало. Но я все же убедилась в том, что губы мои выглядят пышными, чувственными, зубы — по-негритянски здоровыми и белоснежными. И голос был, как у негритянок, — низкий, хрипловатый. Я тоже пою: «Deep river!» — о, бездонная река былых моих отчаяний!.. Где я отыскала те слова, что приписывала своей Изабель? В мрачной бездне голодного сердца — наследия предков, не правда ли, маркиза?

Как констатировала когда-то Рашель, у меня есть свои достоинства: буйная шевелюра — к счастью, не в мою мать Долорес, длинное стройное тело. Я никогда не ублажала себя вкусной пищей, но это не моя заслуга, просто madre готовила хуже некуда. Мой единственный глаз горит золотым огнем. Не уверена, что меня можно счи-

тать красавицей, но я далеко не уродлива. И не красоты искала я под скальпелем Полины. Нет, я — ЖИВАЯ, и это куда интереснее, я вся — движение, вихрь, танец!

В мастерской Рашель я предпочла остаться одна. Это захватывает — оценивать чье-то творчество самостоятельно, а не просто взять да повесить одну из картин на стену.

Я напряженно вглядывалась, размышляла: полотно должно было вызвать у меня внутри огненную вспышку, какая возникает при неодолимом желании завладеть чем бы то ни было — мужчиной ли, произведением ли искусства…

Полина глядела на меня тревожно, почти враждебно, что отнюдь не помогало мне сохранять присутствие духа. Внизу, в кухне, Элен гремела кастрюлями, безразличная ко всему. Я стала лучше понимать ее с тех пор, как она, вновь увидев меня в библиотеке, проворчала, что я молодец, — не забросила работу. Земля не остановится оттого, что вам хочется ее остановить; ни к чему сыпать соль на раны, все равно они заживут, ну и так далее. Это типичная для нее едкая манера говорить жестокие слова — жестокие, пока не встретишься с нею глазами и не поймешь, что эта женщина много чего повидала в жизни и что лю-

ди действительно в конце концов все забывают.

А дни становились все длиннее. И я все чаще думала о весне, о магнолиях в саду рядом с домом, где жила Рашель, о самой Рашель, что никогда больше не увидит их, — разве что со стороны корней. Тривиальность случившегося возбраняла слезы, но кто нуждался в моей выдержке?! И я всласть наревелась, пока разглядывала один за другим холсты Рашель, выбирала тот, что запал мне в душу, бережно, не жалея бумаги, заворачивала, запаковывала, обвязывала его. Во всей этой суете сквозь плач было больше горестной сладости, чем горечи.

На «моей» картине изображен был куст пионов, роняющих лепестки в золотисто-черных сумерках, и устремленная к нему фигура… нет, самой фигуры не было, лишь тень на стене. Я сразу почувствовала, что никогда не устану любоваться этими опадающими лепестками и нежным контуром простертой к ним руки.

Подруги сидели внизу за столом, не зажигая света, и молчали. Я сказала — нужно было хоть что-то сказать, настолько довлел надо мною их страх, что мне не понравится ни одна из картин Рашель, — что в городе им, наверное, не будет хватать сада, но Полина умоляюще прервала

меня: давай поужинаем в темноте и помолчим, не нужно ничего говорить! Элен только вздыхала — шумно, как печальная корова.

Мало-помалу мы пришли в себя. Убирая со стола фарфоровую супницу, в которой звякала разливная ложка, Элен вслух спросила себя, сможет ли она угадать, какую из картин я выбрала. Полина встала, зажгла свет, — нехотя, но все же…

В самом центре Марэ они подыскали себе четырехкомнатную квартиру на последнем этаже, под крышей, в старинном доме. Половина окон выходила во двор особняка Роганов, другая — в сад, где летом, по их словам, играл какой-то театрик. Квартира, разумеется, требовала ремонта, правда, небольшого. Элен спокойно разъяснила, что это очень кстати: она как раз уходит на пенсию, вернее, «ее уходят» — «мне ведь, знаешь ли, уже пятьдесят семь». Кроме того, в Национальной библиотеке грядут перемены, обновления, и ей вовсе не улыбается глядеть, как весь этот «модернизм» запустит лапу в книги, которые вот уже три века мирно дремлют на своих полках. И она засмеялась: если уж дышать строительной пылью, то лучше в своей квартире, чем там. Полина молчала, нервно стиснув руки.

— Ну а ты?

Ну а она намерена работать. Со мной дело сделано, но на ее век еще хватит всяких «рож». И она будет исправлять их, а результат ее не интересует, пусть сами устраиваются с ними как хотят. И внезапно обе они настороженно замерли, словно испугались моей реакции. Но я промолчала.

Полина пристально вгляделась в меня, потом широко улыбнулась: вот теперь ты стала такой, как я тебя «увидела»; по-моему, в тебе что-то наконец зашевелилось. Я показала ей язык, и мы обе облегченно расхохотались. Стояла такая теплая погода, что впору было расположиться на лужайке, как в первый мой приход. Тень Рашель промелькнула и растаяла во тьме, навеяв на нас мирную грусть, и когда Элен поцеловала меня на прощанье, я поняла, что не скоро увижу их снова: они вошли в тот период отрешенного покоя, где мне не найдется места. Ибо меня ждала ЖИЗНЬ со всеми ее тревогами.

Полина помогла мне водрузить холст на заднее сиденье машины.

— Знаешь, Керия, а ведь эту американскую выставку организовал Барни.

Я вздрогнула.

— Причем организовал втихую, анонимно. И

предостерег нас от всякого жулья, разъяснил мне мои права.

Ага… значит, теперь они хотя бы знают, как им себя вести, что подписывать или не подписывать.

Но ему-то это все зачем? Полина облила меня презрением: нет, ты все-таки редкая идиотка! Впрочем, презрение — это слишком сильно сказано, просто моя нерешительность донельзя раздражала ее. Но, как бы там ни было, а Барни правильно сделал, предупредив Полину, и притом вовремя: их уже вовсю осаждали двое нью-йоркских торговцев картинами, которым было в высшей степени наплевать на талант Рашель; они предлагали не выставлять сейчас ее полотна, а подождать лет пять, не меньше, а потом все передоверить им! Поскольку, видите ли, сейчас продажа ее картин весьма проблематична, зато впоследствии они заплатят бешеные деньги.

Полина с удовольствием вышвырнула их вон. Элен оказалась права: человек со всем свыкается, и в этом Полина пошла по общим стопам. Она уже могла без слез разглядывать картины сестры, восхищаться ими. Рашель возрождалась на этих полотнах в фантастических очертаниях, напри-

мер, корабля, что смотрел с холста, висящего над камином, где горели, вернее, еле тлели толстые поленья.

А я тем временем мечтала о Ресифе — мечтала почти так же неистово, как некогда Изабель; я грезила о нескончаемом карнавале, неумолчной дурманящей музыке, о буйной самбе на крышках холодильников. Что называется, танцевать от печки…

Я звонила куда только могла: в главный офис, на склады, в литейные цеха, словом, во все учреждения, состоящие в концерне «Барни и К°», и повсюду мне отвечали одно: господин президент-директор за границей. Я даже попыталась дозвониться на киностудию «Международный киносоюз», где работал Диэго, а делами заправлял в основном Барни.

Испив сполна эту чашу стыда, я набрала его домашний номер. После гудков и треска в трубке раздался повелительный женский голос, первым делом осведомившийся, КТО звонит. В Кашане, где Барни провел детство, мне ответил чуть насмешливый старческий голос, проскрипевший, что «малыш уехал в Рио, там ведь теперь лето, милая дамочка», и я не осмелилась спросить, с кем говорю… уж не с дядей ли Эндрю. Но сей-

час меня обуяла не ведомая ранее уверенность, заставившая произнести в ответ слова, также непривычные для моих уст: «Я кривая сирена».

Наступила пауза. Из трубки донесся шелест перелистываемых бумаг, потом женский голос все так же сухо и решительно спросил, откуда я звоню, не из дома ли. Если так, мне принесут пакет с рассыльным; мистер Барни оставил его на тот случай, если я объявлюсь. И женщина добавила: напомните мне ваш дверной код, боюсь, что я его потеряла.

Мы принадлежали к разным мирам, и она имела полное право насмехаться, пусть даже втихую, над моим дурацким ответом. В моей жизни сирены не разгуливают по улицам и еще способны удивить при встрече. В ее же, кто знает…

Позже, много позже, мадемуазель Одюба, секретарь дирекции, милостиво объяснила мне, с высоты своей компетентности, что когда работаешь с железным ломом, чего только не навидаешься и не наслушаешься — кругом полно всякой швали. Что же до кривых, то там их пруд пруди: попала железная соринка в глаз — и готово дело, никакой врач не поможет. А сейчас мне тонким намеком дали понять, что секретарь — не более чем предмет обстановки, наделенный

даром речи и Минителем[114], и говорит она не из квартиры Барни, а из офиса, по параллельному телефону.

Два часа спустя оглушительно заверещал мой дверной звонок. Тщедушный паренек с плейером на груди и наушниками на голове выплясывал на площадке ритмичный танец. Он позабыл закрыть дверь лифта, и кто-то уже нетерпеливо барабанил внизу. Курьеру было лет двадцать — черноглазый мальчишка с курчавой африканской шевелюрой. Из его плейера неслись пронзительные звонки.

— Вы чего уставились, телефона, что ли, никогда не слыхали?» — осведомился он и оглядел меня с головы до ног: — Ну, вы шикарная женщина; в следующий раз я приду на деревянной ноге и умыкну вас, о кей?

И он с хохотом вручил мне конверт.

Авиабилет, аккредитив, мой паспорт с въездной американской визой. «После Рио, — писал Барни, — мне нужно будет заехать в Хьюстон, так что тебе удастся много чего повидать. Брат ждет тебя. Он уже успел влюбиться по уши во все подряд — в Бразилию вообще, в Ресиф в частности, а

---

[114] Примечания: 114

Минитель — род компьютера, служащий для наведения справок.

также в метиску по имени Соледад, которая пожирает его глазами… и всем телом. Он становится все больше похож на самого себя — настоящего; он похудел и пылает, как греческий огонь; я всегда подозревал в нем этот внутренний жар. Приезжай и ты, чтобы гореть здесь, Керия, приезжай под опаляющие взгляды мужчин и расскажи мне продолжение твоей истории. Мой личный пожар в настоящее время зовется Маркизой».

А еще в пакете лежало кольцо с рубином Изабель. О, конечно, не с тем самым, но он был очень похож. В глубине огромного темного камня рдел огонек, яркий, как раскаленный уголь. Я надела его на палец с немым ликованием. Изабель… Она повидала свет — и Старый и Новый, построенный на обманутых надеждах из числа тех, что никогда не исчезают бесследно. В этом-то и состояла разница. Мои чаяния были обречены, следовало изничтожить их еще в зародыше…

Прежде всего я связалась с агентством, дававшим мне работу на дом, и расторгла договор. По возвращении я намеревалась обратиться в Министерство образования, чтобы получить преподавательскую должность; ученая степень предоставляла мне такое право. Встреча лицом к лицу с «милыми детками» всегда приводила

меня в ужас, иначе и быть не могло. Но теперь для этого ужаса не осталось оснований или, вернее, их была целая куча, но ведь когда-то же нужно начать, и чем такое начало хуже любого другого?!

Я забронировала место в самолете Эрранс. «Хагуэнос… это ведь бразильская фамилия, не так ли? Веселого вам карнавала, мадам!» Когда я уходила, желтоглазая девчушка, оформившая мне билет, шепнула подруге: «Видала, какие формы? Ну и красотки же эти бразильянки!»

И я услышала за спиной твой смех, маркиза!

IV

— Барни, прекрати!

Диэго раздраженно шагал по комнате: перестань ты сосать свою незажженную сигару; хлюпаешь тут, как… как землечерпалка!

— А ты почему нервничаешь?

— Я не нервничаю, мне просто не терпится узнать, какого черта она там засиделась. Ты здесь уже целых две недели, и что же? Хочешь знать мое мнение? Она не приедет. Напрасно ты рассчитывал, что ее привлечет твое загадочное молчание; ты не знаешь мою сестрицу, она способна терпеть и молчать двадцать лет.

Барни улыбнулся, отбросил изжеванную сигару, встал, потягиваясь: пойду-ка я спать.

— Я вижу, тебе наплевать, приедет она или нет, ты ведь все равно найдешь ее, не здесь, так в другом месте, а я…

— Она приедет.

— Вот что меня бесит — твоя самоуверенность!

Но Барни не был самоуверен, — всего лишь казался таковым, и потом, он ведь мог и ошибиться, разве нет? Ошибка — не позор.

Барни рассеянно глядел за колонны патио,

вдаль, на юг, где Жунсао катила свои желтые воды почти так же лениво, как зимой. Луна величаво проплывала сквозь курчавые облачка; легкий бриз, наконец-то освежавший кожу, ворошил запахи речного ила и фруктов. Барни было хорошо, спокойно. Нетерпение не мучило его. Он всегда отличался выдержкой.

— Что ты ей написал?

— Все. Я хочу сказать, все, что лежит на поверхности.

— То есть?

— Ну, о заработках, о фильмах, о путешествиях и женщинах, о том, что знаю о тебе. О том, что ты скучаешь…

— Я никогда не скучаю.

— Когда я писал, я этого не знал.

Барни шагнул в тень, с удовольствием ощущая под босыми ногами чуть влажный прохладный песок. Гасиенда, построенная два века назад на илистой, укрепленной людьми косе, все же слабо подрагивала под напором воды обеих обтекающих ее рек. Рев водоворота на месте их слияния слышался издалека; к нему примешивался более тихий, походящий на довольное чмоканье голос морского прилива, который образовывал третью, соленую реку, соединяющуюся с первыми двумя.

Барни охотно допускал, что название гасиенды — «Триречье» — придумала именно Изабель. «Мне нравится здесь, — думал он, — я почти жалею, что вынужден делить здешние места с этим неисправимым младенцем».

О, конечно, он любит Диэго — так любят породистого коня или охотничьего пса, — нежно, но не страстно. А Диэго без узды, Диэго без ошейника никогда не возьмет барьера, не поднимет дичь. Это очевидность, которую нужно признать, не осуждая его. Но и не забывая об этом. Ведь Барни весьма дорого обходилась эта младенческая самоуверенность, лишенная будущего.

— Перестань твердить мне, что она не хочет, чтобы я ее увидел! — взволнованно говорил тем временем Диэго в доме. — Ты можешь понять, почему? Какая она сейчас?

— Интересная. Я думаю, ты счел бы ее красавицей. Но этого слова мало для верного описания.

— Ах, скажите пожалуйста! Ты любишь ее?

— Что ты знаешь о любви, малыш?! Мы по-разному понимаем это слово.

— Ну конечно, еще бы! У месье есть опыт, а у бедного маленького Диэго всего лишь образование! Ладно, ладно, все равно все узнают, что если я молокосос, то и ты не бог весть какой ученый, —

специалист без диплома.

Барни не ответил. Эти пререкания надоели ему. Он не видел ничего зазорного в том, чтобы остаться, подобно дяде Эндрю, самоучкой и только самоучкой. Все, что он знал и умел, он выбрал и освоил по собственному почину, оттого, что это было ему необходимо. А Диэго получал образование, не имея перед собой иной цели, как только «раздобыть дипломчик», по его же собственному выражению. Барни подошел к водоему, куда сбегал весело брызжущий родничок; вода текла по узкой полоске гравия, отделявшей патио от сада. Пахло влажной землей; порывистый ветер приносил и другие запахи вперемежку с обрывками музыки. Повсюду царил карнавал. Воздух был напоен его терпкими ароматами — перца, жареной баранины, пота, самбы и пылкой, неистовой печали, которая, быть может, знаменовала собою пустоту изнеможения. Девушки танцевали до тех пор, пока не падали наземь и не засыпали там, где у них подкосились ноги. Осунувшиеся от усталости лица сияли тем светом вдохновенной отрешенности, что так часто осеняет чело ясновидцев. Saudad![115]

---

[115] Примечания: 115
Бразильское приветствие.

Несколько раз он наблюдал, как Керия замыкается, уходит в себя; неведомый образ вставал между нею и им, словно барьер; это навязчивое видение могло родиться только из писем Диэго, из его описаний гасиенды, из его призывов вспомнить…

Вот почему он так торопил Керию закончить историю Изабель — она отвлекала ее от настоящего.

— Она хочет превратить их отношения в красивый роман, я тебе давно это говорил.

— Ну и что с того? Какая разница, приукрашивает она свою историю или нет? — она знает, что делает. А вот ты — ты даже не понял, зачем Рашель подарила тебе картину; уж она-то реальна, реальней некуда!

— Да ты и сам не понял. Но эту картину я люблю.

— А я люблю твою сестру, а ты любишь Соледад, а мы все трое любим эту гасиенду, и черта, и дьявола…ух, до чего ж ты мне надоел!

Диэго взглянул сквозь противомоскитную сетку: ага, наконец-то ты закурил!

Барни и в самом деле держал в руке зажженную «гавану», затягиваясь ровно настолько, чтобы не дать ей погаснуть; он неслышно усмехнулся: это

от комаров, они не любят дыма.

Диэго отправился спать, прихватив с собой керосиновую лампу. Электричество строго экономилось: все для холодильников! Нежный переливчатый смешок Соледад всколыхнул ночную тьму: почему мы не идем танцевать, Диэго, я хочу танцевать! Она прищелкнула пальцами, точно кастаньетами, и пересохшие половицы испуганно заскрипели под дробный топоток ее босых ножек.

— Ночь еще не кончилась, Диэго, пойдем танцевать!

— Мы ждем мою сестру.

— Мы уже две недели ее ждем! Почему он ничего не делает — Барни, почему он ждет, а не отправится за нею сам? И потом, сегодня она уже не приедет, самолет был еще утром; ну идем, Диэго!

Барни побрел в сторону маленького причала. Здесь почва подрагивала сильнее. Если не считать мощного каменного выступа, мешающего гасиенде сползать в воду при каждом весеннем паводке, вся окрестность представляла собою зыбучие пески. Сколько раз за истекшие десятилетия Хагуэносы спокойно встречали рассвет на этом незыблемом утесе, где гасиенда стояла,

точно цапля на одной ноге, среди жирного ила и размытой земли? Здесь ходила поговорка: «Каменные, как Хагуэносы». И еще одна: «Жизнерадостная, как Изабель». По-португальски это звучало красивее.

Временами, особенно когда Барни надоедала болтовня Диэго, ему хотелось закончить историю Изабель на свой манер — одним махом. И точно так же, как он сдерживался и не просил Диэго заткнуться, он пока еще не решался схватить Керию «поперек живота», отшлепать всласть по круглому заду, замереть, прижавшись к ее жаркому телу и признаться ей наконец, как она нужна, необходима ему; пускай назовет это любовью, если хочет! Но нет, он позволял Диэго молоть языком, он придумывал все новые и новые предлоги, родившиеся из разговора с Полиной в Сен-Манде. Ничто не подготовило его к увиденному там.

Сидя напротив него в саду, где от заснеженной земли по ногам текла ледяная стужа, Полина слушала его, нервно сжимая в руках папку с рисунками. После долгих колебаний, окончательно продрогнув, он пробормотал, что здесь очень холодно. Полина невозмутимо отрезала: «Тем лучше. Мне необходимо как следует прозябнуть, чтобы откровенно поговорить с вами». Она имен-

но так и выразилась. Эта ведьма насмешливо взирала на него, пока он целых три четверти часа барахтался в путаных объяснениях по поводу интереса к этой малышке Хагуэнос… к Изабель… я хорошо знаю, что… ну, в общем, вы понимаете… Полина улыбнулась: о да, она понимает, все мужчины действительно идиоты.

Словом, они начали пикироваться и притом весьма умело. Полина, увлекшись, пошла напролом, заявив, что Изабель действительно существует, то есть существовала, даже если Керия придала ей форму литературного персонажа, которая никого не способна ввести в заблуждение. И, кроме того, между ними есть существенное различие (Полина в азарте даже стукнула кулаком по подлокотнику своего шезлонга): неужели непонятно, что маркиза ни на йоту, ни на миг не была Керией; она — всего лишь попытка приближения к реальной действительности, и попытка не во всем удачная! И Полина, с раздражением учительницы перед тупым двоечником, произнесла в высшей степени пламенную речь, раздражающую Барни как прикосновение оголенных электрических проводов. О Господи, до чего же она действовала ему на нервы! Эти умные бабы кого хочешь доведут, обращаясь с

вами как с приготовишками!

— А вам, глупому жестянщику, и невдомек, что Изабель возродилась и прожила вторую жизнь ПОСЛЕ того, как была красавицей; Керия же с самого рождения лишена этого. То новое, что она пытается приручить, приспособить к своему нынешнему лицу, — всего лишь потенциальная реальность. Если вы не знали человека до того, как его изуродовали, к нему еще можно привыкнуть. Но если вы видели его раньше, если можете сравнить… вот в чем состояла проблема для Армана-Мари и, я полагаю, ваша собственная тоже. Ибо наша Керия вся замешана именно на этом: она гордячка, она хочет, чтобы ее любили и прежнюю, и нынешнюю.

И Полина всунула ему в руки папку с рисунками: «Поглядите на ЭТО, а потом уж ищите нужные слова, которые убедят ее в вашем желании понять ее, а не в вашей жалости».

И она вытолкала его на улицу, не дав раскрыть папку. Элен крикнула из окна второго этажа: «Ты такая же ненормальная, как он; мне на вас обоих смотреть противно!»

И они завязали такую яростную перебранку, что совершенно забыли о Барни, который съежился, словно его облили помоями, и поспешил

унести ноги.

После этой схватки он два дня не мог опомниться; ругал себя последними словами — трусом, бабой, заячьей душонкой; ругал и… не решался раскрыть папку. И тогда, точно как в детстве, обратился к старику Грегуару, рассказав ему всю историю с начала до конца. Грегуар состроил потешную гримасу, воздев к небу единственный глаз. Перекошенное веко и свернутый направо нос придавали ему вид циклопа, которому прищемило лицо дверью. С годами он усох и теперь, со своими длиннющими, чуть ли не до щиколоток, руками до смешного походил на шимпанзе.

А в молодости он мог поднять и пронести на одной руке железяку килограммов в сорок или самого Барни, весившего тогда ничуть не меньше. По воскресеньям он неизменно отправлялся на танцы, и шестнадцатилетний Барни восхищенно наблюдал, как этот Геркулес, несмотря на уродливое лицо, одерживал победу за победой: женщины буквально вешались ему на шею.

Грегуар сразу же сказал: а ну, покажи! — и склонился над папкой, убрав подальше корявые, обожженные кислотой руки — «чтоб ничего не попачкать».

Проваленная щека, запавшая скула, крова-

во-красное вывернутое нижнее веко, пустая глазница, сдвинутая к переносице бровь… Нос и губы, к счастью, не пострадали. А с другой стороны — пламенно-черный глаз, изящный очерк подбородка, высокий лоб, обрамленный густой массой темных кудрей.

— Ничего себе штучка! Надеюсь, ты постараешься, чтобы это перекроили как надо?

— Уже сделано, Грегуар!

Старик взглянул на него удивленно, почти пренебрежительно: ну так какого же черта ты мне мозги пудришь своими баснями? В чем проблема?

И Барни озадаченно промолчал, подумав: а и верно, в чем?

Чтобы поскорее привыкнуть, он развесил самые страшные из эскизов над своим письменным столом, в кабинете, куда мадемуазель Одюба являлась за распоряжениями, если он торопился в очередную поездку и не мог прийти в контору. Спустя какое-то время он пришпилил туда же бумажку с вопросом для нее: что она думает об этих набросках?

Одюба, никогда не отягощавшая себя соображениями такта, написала в ответ своим мелким, но неизменно четким секретарским почерком

следующее: «Оригиналы. Принадлежат недавно умершей Рашель Берлиоз. Вклады обещают быть перспективными. Во Франции пока ценится низко, за границей уже дороже, особенно в США. Ее смерть повысила ценность работ, стоит поискать соответствующую картину маслом. По всей видимости, модель являлась пациенткой сестры художницы, Полины Берлиоз, хирурга по пластическим операциям лица, работающей в клинике Святого Иосифа и в частной лечебнице Венсенна. Все вместе — картина и рабочие эскизы — может составить хороший лот. ИНТЕРЕСНО!» И она добавила — с той долей мягкой иронии, которую привносила в разговоры с ним, когда подозревала, что тема затрагивает его лично: «Особенно если модель вам знакома».

Сидя на причале и опустив ноги в илистую воду Карибарибе, Барни усмехнулся. Именно из-за этого тонкого понимания его натуры он и держал при себе Одюба. Ему вообще нравилось работать с женщинами: как сотрудники они куда интереснее мужчин, энергичнее, веселее. Те из них, что принимали себя слишком всерьез, конечно, уподоблялись мужикам, и тогда с ними становилось скучно, но такое случалось довольно редко. Одюба была способна и мгновенно проанализировать

целую кучу статистических данных, и шепнуть ему в какой-нибудь толчее: «Эй, оглянитесь, посмотрите, какая шикарная штучка!» И они оба с видом знатоков разглядывали удалявшуюся «штучку», которая действительно заслуживала самого пристального внимания. Иногда — но крайне редко! — Одюба примечала «штучку» мужского пола — для себя, но Барни ни разу не удалось сравняться с нею быстротой реакции и вовремя засечь предмет вожделений своей секретарши…

Прошел день, второй, но с трехчасовым самолетом так никто и не прилетел. Диэго, увлеченный Соледад в вихрь карнавала, танцевал как безумный, худея прямо на глазах. Загоревший до черноты, с тоненькой полоской отросших усиков, он все больше походил на местных знатных бразильцев.

За два дня до конца карнавала Барни покинул «Триречье» и отправился на местном тарахтящем самолетишке в район Северо-востока — обследовать один полуразвалившийся заводик, который небезвыгодно было бы перекупить. Он изо всех сил пытался жить так, словно ничего не случилось. «Видно, старею», — думал он, пряча от самого себя истинное состояние души.

По возвращении его ждала короткая, но, как всегда, исчерпывающая телеграмма от Одюба: «Звонила К.Х. Оформила билет до Рио. Голос, имя: Кривая Сирена. Личное впечатление: 9 баллов. Вы никогда не убирали паруса вовремя, предупреждаю: SOS, идет тайфун».

И впервые за все время их совместной работы она подписалась Марианной. Ага! Значит, нашему милому роботу Одюба тоже не чуждо человеческое!

Через час Барни, Диэго и Соледад выехали в местный аэропорт, где арендовали целый самолет до Рио. Соледад, до крайности возбужденная, крестилась, шумела, кричала: «Надейся, Барни, кажется, Господь смилостивился к тебе!»

— Ты совсем спятил, — говорил Диэго, и Соледад энергично кивала: спятил, конечно, спятил, — разыскать Керию в Рио, в гуще карнавала, — да это же все равно, что иголку на дне морском!

— Ну и что с того? А если мне хочется именно разыскивать ее, какое тебе дело? Мне так нравится!

— А что означает эта девятка в телеграмме?

— Силу ветра. Ты же знаешь, я обожаю ураганы.

— В твоем-то возрасте?

Барни со смехом обозвал его наглым молокососом и одобрительно хлопнул Соледад по заду: ты-то меня понимаешь!

Ну еще бы! Конечно, она понимала его, эта знойная метиска; она прищелкнула пальцами: эй, берегись девчонок на карнавале, парень; если ты не найдешь свою сирену, то уж они-то тебя найдут, не сомневайся!

Полет прошел прекрасно. Самолетик бодро пролетел над бухтой и приземлился чуть ли не в самом центре праздничного фейерверка. Барни ворчал: «Мой возраст… подумаешь, мой возраст! Да мне никогда не будет больше сорока!» Пилот объявил, что такси им нипочем не поймать, и вообще, ему тоже хочется потанцевать, чем он хуже других?!

Как приятно было плыть к своей мечте, не торопясь, без руля и без ветрил, ничего не предвидя и не планируя заранее! Керия стала почти реальной, Изабель же отодвинулась в неизвестность. Полина, конечно, оказалась права: у Керии нет ничего общего с Изабель… почти ничего.

Все женщины, которых он знал доселе, запомнились ему как ненасытные кошки. Наверное, все они были одного сорта, ведомы одним тщеславным желанием. Диэго толковал ему о восьми

женах Синей Бороды, Одюба — о племени оголодавших самок, что грызут мужчину, как мыши. Но эта!.. Берегись, Барни, берегись, старик, — как бы тебя здесь не слопали с потрохами!

* * *

Город струился, тек, набегал, захлестывал волнами жары, света, музыки, пива, блесток, едкого пота и неизбывной печали. Марево, бездна, погибель одинокой души…

Керия шла навстречу людскому потоку, едва успевая осваиваться с ураганом мгновенных впечатлений. В нескончаемом хороводе самбы некоторые танцоры доходили до полного исступления, но экстаз, запечатленный на лицах, все чаще сменялся гримасой — усталости ли, чего-то другого, заставлявшего их замирать, не окончив жеста, бессильно прислоняться к стене, искать убежища в тени меж домов и садиться, а то и валиться прямо на землю, с запрокинутой головой, с жадно раскрытыми дрожащими губами. Saudade!

Стояла такая влажная удушающая жара, что девушки в слишком пышных платьях выбегали из плотной толпы танцующих и неверной походкой устремлялись на пляж, где спали сморенные

усталостью люди. Шумно, со свистом дыша, точно загнанные лошади, они бросались в воду и долго не выходили на берег. На их изможденных лицах экстаз чередовался с почти трагической печалью; все повторяется, думала Керия, всюду одно и то же; радость уходит, как вода в песок, опьянение рано или поздно оборачивается пустотой.

Какой-то человек, распластавшись по стене, размеренно бился в нее лбом; какая-то девушка, присев на кромку тротуара, сдирала зубами с пальцев длиннющие накладные посеребренные ногти. Свою пышную тюлевую юбочку она запихала между мокрыми от пота коленями; плечи ее тоже лоснились испариной, и волосы, распрямленные помадой, вновь мелко завивались под диадемой с фальшивыми рубинами. Она не улыбалась, не плакала; она вперилась взглядом в черное небо над деревьями, словно оттуда вот-вот должен был явиться Сатана.

Керия по-прежнему шагала навстречу людскому потоку. Время от времени она встречала пьяные взгляды танцующих, на миг погружалась в тот вихрь безумия, что уносил, увлекал за собою вошедшие в транс тела. Она подумала: не люблю карнавал, когда он кончается. Это похоже на испуганное бегство, на исход…Старуха, уроженка

Антильских островов, что стирала белье у их матери, говаривала, видя их с братом танцующими, как здесь, на этом безумном шабаше: «К чему, дети мои, к чему?! Даже Смерть — и та боится небытия!..»

Мимо со смехом и с испуганными вскриками пробежала молодая, совершенно голая негритянка; за нею гнались двое мужчин в пропотевших, прилипших к телу рубашках и брюках. Керия подставила ногу, один из мужчин упал, увлекая за собой и второго. Когда они поднялись, негритянка уже скрылась в толпе. Мужчины со зловещей ухмылкой двинулись к Керии. Она усмехнулась, откинула волосы со лба, показала пустой глаз. Музыка неистовствовала вокруг них, застывших наподобие механических кукол. Миг — и напряжение спало; мужчины расслабились, отвели взгляд и, опасливо обойдя Керию, зашагали дальше нарочито церемонной походкой. Они деланно улыбались; один из них, скрестив пальцы, пробормотал: «Стало быть, верно говорили, будто сюда, на карнавал, явилась ведьма!»

Найдет ли она Барни в такой толчее? Впрочем, это не имело никакого значения. Утром в аэропорту самолеты возьмут курс на Хьюстон, как будто ничего не случилось, да и что, собственно

говоря, случилось? Карнавал окончится, и все эти изнуренные танцем тела почти с облегчением вернутся к повседневной жизни. Уборщики повыметут с улиц груды серпантина, конфетти, лент, блесток, потерянных сандалий, грязных тюлевых оборок, а может, и недвижные тела людей, что проснутся лишь в больнице — если вообще проснутся.

Керия покинула улицы, где толпа, еще не рассасываясь, однако заметно сбавляла темп. Теперь танец все чаще сбивался со своего чеканного ритма, хоровод смахивал на утомленное стадо, в воздухе носились запахи пива, человеческого пота… сладковатый запах смерти, заждавшейся своей добычи. Но, несмотря на это, Керия ощущала голод — здоровый голод, который насытила бы, например, краюха хлеба с сыром, с капелькой оливкового масла. Старый дед Сильветты (Господи, как давно это было!) вечно подкармливал ее таким манером; ужинали у них поздно, а разных изысков, вроде тартинок с вареньем на полдник, он не признавал.

На пляже было полно народу; одни спали, другие беседовали — тихими, сорванными голосами людей, перенесших тяжелый кошмар. Влюбленные парочки обнимались медленно и лениво,

как уставшие пловцы; песок под их телами, казалось, обретал собственную жизнь, его скрипучий шепот заглушал шелест волн. Каждый глядел на соседей с завистливым любопытством, словно искал на чужом лице отблеск счастья, — но нет, счастья не было. Одна лишь усталость, бесконечная усталость. Что ж, спите спокойно!

Керия подошла к морю, ступила в воду по колено, не боясь замочить платье. Огни погасли, и небо с его грузными раскаленными облаками казалось пустым. Она чувствовала блаженное успокоение. На старом выцветшем холсте Изабель с двумя детьми, ухватившимися за ее юбки, обращала смеющееся лицо к неясному силуэту, от которого осталась различимой лишь рука. Пальцы теребили прядь волос, отделившуюся от прически, словно пытались пристроить ее обратно на место. Пустой глаз без повязки скрывала тень; зато ясно были видны чувственные губы, жадно раздутые ноздри, длинная шея, гордо посаженная на широких плечах. Картина — отнюдь не шедевр, и все-таки, глядя на нее, хотелось узнать, кто же эти люди и отчего они так счастливы.

У подножия мачты с флажками и фонариками Керия вдруг заметила Барни. Он сидел, присло-

нясь к ней спиной, обхватив колени руками, и глядел в небо с тем веселым спокойствием, в котором она больше всего нуждалась сейчас. Керия улыбнулась. Он один, и он весел. Это хорошо. Мне нужно, чтобы меня любили, но не слишком сильно; нужно, чтобы он был рядом, но не всегда.

Боже праведный, вот сейчас жизнь схватит и унесет ее! Для чего же она родилась на свет? Теперь она знала: для того, чтобы жить; о, как необъятно широко это понятие! И рядом с ним оно не сузится ни на йоту.

Когда же он заметит ее? Наверное, и он вот так же ищет то, что годится лишь ему одному, ищет в ней, через нее… а почему бы и нет?! Ищет все то лучшее, что есть в жизни… нет, не нужно облекать это в банальные формулы. Когда я проживу с ним лет сто и узнаю до конца; когда он мне надоест хуже горькой редьки, этот тип… И она засмеялась над собой. Ночь, пронизанная безнадежной, трагической печалью окружающих, для нее благоухала сладостью спелого плода. Она гордо сказала себе: я ничего, ничего не жду от жизни; лишь в этом случае все, что она мне подарит, станет РАЕМ и АДОМ, ЧУДОМ и КОЙ.

Барни увидел ее, но не шевельнулся, не встал. Только сказал:

— Берегись, Керия, если ты подойдешь, я тебя больше не выпущу!

Как Синяя Борода — своих восьмерых жен? Она приблизилась, мягко опустилась на песок. Он подвинулся, давая ей место рядом с собой, у бетонного подножия мачты; море прекрасно, и я хочу, хочу тебя! — шептала лижущая берег волна.

Их руки не соприкасались.

— Знаешь, Керия, в Хьюстоне будет опять железный лом, и только он.

Ну и что же? Она ничего не имеет против железного лома, и все равно ей придется привыкать, разве нет?

Барни перестал улыбаться:

— Это что, предложение?

— Более чем предложение, — мольба. Ты хочешь меня, Барни?

Но только пусть он не обольщается, она вовсе не собирается становиться очередным номером в его дон-жуанском списке. Если он намерен взять ее на пять минут, позабавиться, а потом «на тебе, милочка, подарочек, спасибо за все и адье!», тогда я выцарапаю тебе глаза, Барни, я отучу тебя переплавлять женские сердца в твоих дурацких домнах! Я ведь как Изабель, я хочу ВСЕ!

— Ну, конечно! А потом сама же и сбежишь…

Верно! Но сперва она объяснит ему, какая она, сперва это.

Он откинул голову назад, к мачте: ах эта Полина, она все-таки оказалась права! Молчи, Керия! И он вынул из кармана маленькую ужасную фотокарточку — из тех, что делают в дешевых автоматах метро для проездных билетов или водительских прав: на, смотри!

Где он откопал ее старозаветную фотографию тех времен, когда она поступала в университет?

— Ты бы тогда отшатнулся от меня…

— Наверняка! Разве только взглянул бы сперва на другую половину.

И они чуть заметно улыбнулись, глядя друг другу в глаза. Музыка там, сзади, почти угасла. Теперь это был не танец, а песня; мужской голос негромко и нежно воспевал «бедра Марии» под убаюкивающий мотив una tristeza sem fin[116].

Они поднялись, готовясь уйти; облако над ними брызнуло мелким дождиком, слишком слабым, чтобы принести прохладу, но люди все равно жадно тянулись к нему. Мужчина все пел, вовлекая их тела в скрытый, почти недвижный танец, единственный, какой им выпал на этом

---

[116] Примечания: 116
Бесконечная печаль *(порт.)*.

карнавале.

Когда голос замер, Барни шепнул, спрятав лицо в волосах Керии:

— Только не надейся, что я позволю тебе забыть об Изабель!

Дождь внезапно прекратился. Люди вокруг них тоже поднимались на ноги, с жалобными возгласами разминая поясницу. Маленькая, черная, как сажа, девчушка плакала так горько и самозабвенно, словно прощалась с жизнью. Ее розовое платьице ярко рдело в предрассветной заре; она походила на привядший цветок гибискуса, что распускается и оживает лишь на солнце. Красавица! Барни залюбовался ею:

— Знаешь, мне ведь наверняка захочется других, да и тебе тоже.

— Других тел, моложе, чем твое, старый ты сатир?

Они нравились друг другу, они нравились самим себе, их восхищала собственная терпимость: они ведь взрослые люди, почему бы и нет?! Взрослые, проницательные… или осторожные?

Самолет уходил через два часа. Чернокожая красотка прошла мимо и, задев Керию плечом, насмешливо бросила ей на своем сочном бразильском диалекте: «Эй, если он тебе не нужен,

я беру!»

Возле трамвайного депо им повстречался паренек в растерзанном ярко-красном карнавальном наряде — гладкокожий красавчик с портативным приемником в руке. Из приемника несся бархатный голос Эллис Реджины: «О-о-о, Маддалена!» Парень прищелкивал пальцами в такт песне, на лице его застыл безумный экстаз завершенного марафона пляски.

Барни задумчиво остановился:

— Хочу тебе признаться, Керия, — когда я знакомлюсь с человеком, то сразу же начинаю искать в нем суть, самое сокровенное, понимаешь? Ничего не могу с собой поделать. Это как с моими железками: в их ржавых грудах я стараюсь различить шепот металлического естества. И в живых людях я тоже ищу его, ищу искру божию. В девяти случаях из десяти ее нет, а может, я не там искал или не умел видеть, кто знает… С мужчинами все просто: я ухожу, и никто из них не задает мне лишних вопросов. Но с женщинами… когда я расстаюсь с ними, они не понимают причины, думают, что надоели мне, что я ищу разнообразия. Или же считают меня паршивым бабником и утешаются этим.

Впрочем, его мало заботило, что о нем болтают.

Да, это правда, у него было восемь любовниц. Наверное, я не умел выбирать, а может, ждал именно тебя, Керия, почему бы и нет? Мечтать об идеале не заказано в любом возрасте. В общем, он расставался с ними. О, вполне мирно, без трагедий. И прощальный подарок они получали именно такой, какого ждали вначале, на сей счет он не строил иллюзий. Другие не торопились осуждать его, — например, Полина или та же Одюба…

— С этой тебе предстоит познакомиться. Вот увидишь, она тебе заявит с самым официальным видом: я всего лишь вычислительная машина!

— Уже заявила.

— Ага, я так и знал. Она и мне не устает твердить, что никогда не путает постель с работой. Тут мы с ней вполне солидарны. Но я иногда спрашиваю себя, какова она в любви, Одюба, — это должно быть потрясающее зрелище! Тебе придется ладить с ней, Керия.

— Ты ее очень любишь.

— Да. Она тоже уповает на тебя, представь себе. Однажды, при шестом или седьмом моем романе, она не выдержала и разразилась: «Господи боже мой, до чего ж мне надоели эти вешалки для платьев; они и в постели помнят только одно слово

— money[117]».

— Какую искру божию ты нашел в Диэго?

— Я обнаружил ее в Ресифе, в прошлом году. До тех пор я считал его всего лишь приятным мальчиком, заурядным «специалистом по связям», чуть менее скучным, чем все остальные… и вот я увидел, как он ступил в «Триречье» и рыщет в развалинах, точно… голодный, кровожадный волк. Когда он вошел в патио со стороны Жунсао, где еще сохранилась колоннада, он рухнул на плиты, прижав руки к груди; он бился о бортик водоема, как припадочный, он лизал камни, он совершенно обезумел. Заметь, мы ни капли не выпили в тот вечер, слишком было жарко. Он бормотал какие-то слова, которых я не понимал, лишь видел, что от них ему ничуть не легче. И в то же время он светился каким-то внутренним светом. Он забыл обо мне, он кричал: «Queria viver aqui, queria viver!»[118] — вот когда я понял, что означает твое имя. Это было как озарение. До того я не знал… у меня нет привычки анализировать имена. «Керия» — для меня это было просто необычное звучание, вот и все. Понимаешь?

---

[117] Примечания: 117
Деньги *(англ.).*

[118] Примечания: 118
Хочу жить здесь, хочу жить! *(исп.)*

А мало ли необычных имен на свете?! Рашель рассказала мне о первой вашей встрече, когда ты бросила ей в лицо, что зовешься Ninguem — Никто. Я не понял. Я туго соображаю, до меня медленно доходят подобные вещи, придется тебе принять меня таким, каков я есть, Керия.

Они остановились, почти сурово взглянули друг на друга. Керия без улыбки прильнула к нему всем телом: я беру!

И, расхохотавшись, они пустились бежать: самолет ждать не станет.

* * *

Итак, женщины вернулись в домик у порта. Несмотря на опрокинутые стулья в «Конторе» и запах гари, въевшийся в стены комнаты, где тлела шаль, они сразу же погрузились в прежнюю жизнь, словно и не дрожали от холода в дюнах, возле дымящего очага с сырым хворостом. Но Изабель, едва обустроившись, надела свои кружева и парчу, отправилась к бургомистру, вышла из экипажа без посторонней помощи, поднялась по парадной лестнице и проследовала сквозь анфиладу комнат, глухая к робким, косноязычным протестам не поспевавших за нею старых слуг в черном.

На шум шагов, на пыхтение челяди бургомистр вышел из внутренних покоев в тот миг, когда Изабель уже взялась за ручку двери. Увидев ее, он величественно выпрямился. Она взглянула на него с горькой усмешкой: «Итак, минхеер Хемск, вот вы и избавились от французов! Войдемте, мне нужно поговорить».

Сейчас она вела себя как истинная Каппель: она не улыбалась, она держала в руках свитки, пахнущие кожей и воском, она шла прямо на него так, что ее невозможно было остановить; бургомистру ничего не осталось, как запереть за нею двери. А она уже стояла у окна, подняв занавеси по-хозяйски, словно у себя дома, и глядя на двух стражей во дворе, что степенно расхаживали взад-вперед, уставившись в пространство. Ее унизанная кольцами рука небрежно сжимала старые пергаменты со свисающими печатями, которые были ему хорошо знакомы, которые он сразу признал.

— Если не ошибаюсь, мой отец оставил кое-какие незавершенные дела; пришла пора вернуться к ним, — полагаю, и вы того же мнения?

Когда Изабель уходила, бургомистр проводил ее до самых ворот и лишь там осмелился заговорить прежним бодрым тоном: «Вы достойная

дочь вашего батюшки!»

— Да, господин бургомистр, более чем достойная, я еще хуже его; не забывайте этого. Когда мною пренебрегают, я отнюдь не пренебрегаю местью.

— Но я не сделал вам ничего худого!

— Да неужто? А указать Хаагенхаус этим бандитам — значит, не сделать мне ничего худого?

Бургомистр молча пошевелил губами, не в силах оторвать взгляд от ее единственного глаза. Против этой нависшей над ним затаенной угрозы он был бессилен. Его собственные печати… Папаша Каппель не полагался на слова, он доверял только документам, и его смерть ничего не изменила в положении дел. Эта кривая фурия кружила над его домом, словно стервятник, почуявший добычу. Изабель улыбнулась, и он испуганно вздрогнул. Каким образом, почему удача вдруг отвернулась от него?!

Изабель, не попрощавшись, уселась в экипаж. А бургомистр поплелся в дом, где из окна за ним следили жена и дочери. И эти тоже следят!.. Он никак не мог прийти в себя от изумления: не в его привычках было повиноваться кому попало. И, однако, у него не оставалось иного выхода.

Тем же вечером в таверне, принадлежавшей од-

ной гулящей девице и ее братцу, который делил с нею клиентов, произошла драка. Полуголого пьяного Эктора одели, выволокли на улицу, бросили в грязную повозку и препроводили к границе страны. Там его и отпустили, недвусмысленно предупредив, что, если он когда-нибудь вернется в Голландию, ему не миновать плахи.

Эктор яростно взвыл: что они себе позволяют, сам генерал Пишегрю у него в долгу! — но солдаты с грубым хохотом швырнули его в кусты. «Слыхали? Пишегрю, мол, у него в должниках, ну и умора, как будто у Пишегрю других забот нет!»

Изабель мечтательно глядела в огонь камина.

— Ты решила разорить его? — спросила Хендрикье, думая о бургомистре.

— Ну вот, к чему такие громкие слова? Никто его не заставлял влезать в долги, этого бургомистра. Он-то небось надеялся, что папаша Каппель отправится на тот свет, не успев взыскать с него своих денег. Это тебя не коробит? И потом, золото в тех местах нам понадобится так же, как и всюду. Хемску придется заплатить. А знаешь ли, как он извернется? Просто-напросто запустит лапу в чей-нибудь другой карман, дабы пополнить мой, так что воздержись от скорых суждений, Хендрикье.

— Ладно, ладно, только странно мне думать, что Корнелиус Каппель был…

— …ростовщиком?

И Изабель рассмеялась: да нет, он был обыкновенным скупцом. И ни ты, ни я никогда не узнаем, что толкало его на стяжательство. Ведь «пристроив» Мадлен и меня, он и дальше продолжал копить деньги. Это страсть… заставлять других платить за неудачные предприятия, урывать то там, то тут, спекулировать на возвращавшихся из дальних плаваний кораблях, на торговле шелками, на иностранных войнах; я долго недоумевала, о чем мог он размышлять, запираясь у себя в «Конторе» и часами сидя у очага с тлеющим торфом; какие комбинации задумывал — просто «из любви к искусству»? Когда же он поднимался наконец в спальню, то не ложился сразу в постель, а долго смотрел на спящую Саскию, да и за нами не упускал случая подглядеть. Мадлен дрыхла без задних ног, ей и в голову не приходило, что за нею следят, и матери тоже… но я даже в полутьме видела его глаза, а за ними… за ними стояла пустота. Он вслушивался в наше дыхание, пытался уловить наши мысли, он копил ВСЕ. От него не осталось ни записок, ни писем — одно только завещание, да еще вот эти

пергаменты, где цифры злорадно запечатлели разорение его должников. Корнелиус не знал жалости.

— Он был вашим отцом.

Изабель усмехнулась: а я завидую тебе, — у тебя был другой отец — обычный, заурядный, благообразный донельзя, из тех, что могут позволить себе спать спокойно, поскольку их мелкие грешки надежно скрыты от окружающих. Поздравь себя с этим и не суди других. Мне повезло меньше, чем тебе.

— Он дал вам жизнь.

— А я его об этом не просила. И потом, я уже говорила тебе: одной жизни еще мало. И хватит, замолчи наконец! Прибереги свое сердоболие для кого-нибудь другого, не для этого жулика-бургомистра. Ну-ка, прикинь, что он предпримет, когда мы уедем? Шомону с ним не совладать, этот стряпчий — теперь ничто, как во Франции, так и здесь. Старый мошенник Хемск сумеет нажиться на двух наших домах, он ведь прекрасно понимает, что мы не вернемся.

— Откуда вы знаете?

— Конечно, не вернемся! Хватит, меня уже три раза таскали туда-сюда, словно тюк с мануфактурой!

— Но…

— Я сказала: хватит! И вообще, утро вечера мудренее.

Неделю спустя к господину Хемску явился Шомон с четырьмя подручными; они вышли из дома бургомистра тяжело нагруженные и снесли свою поклажу в хибарку среди дюн. Там Хоэль и Жозе сложили ящики в баркас, довели его каналами до взморья, где стояли на рейде корабли из Гааги, собравшиеся в плаванье через океан. Вскоре туман поглотил их, и Шомон озабоченно вздохнул. Изабель доверилась этим людям, — что ж, дело ее! Он умывает руки.

С некоторого времени он вздыхал непрестанно: сомневаюсь, что решусь сопровождать вас.

— Не возвращайтесь во Францию, Шомон, будьте осторожны! — бесстрастно советовала ему Изабель.

Он пожимал плечами:

— Куда же прикажете мне деваться?

Изабель улыбнулась:

— Например, в Австрию.

— В Австрию, к эмигрантам? — и стряпчий возмущенно вскинулся. — Я не из их компании!

— И не из компании их наследников, не правда ли? Старый мир — тот, в котором прожило

несколько поколений вашей семьи, — умер и благополучно погребен. А новый еще не устоялся.

Он, конечно, свыкнется с этой мыслью и поедет с ними: да вы уже начали прислушиваться к пересудам в городе, когда приходят корабли, Шомон!

Однако тем утром в порту и на взморье ничто не предвещало важных событий: просто на рассвете в гавани возникли две каравеллы, словно два призрака, порожденные ночною тьмой; подошли к причалу, спустили на берег экипаж.

Моряки разбежались по домам, по городу, прося людей подсобить им, и вскоре все поняли: на этот раз плаванье будет в один конец, без возврата; моряки забирают семьи и уезжают навсегда.

В приземистом портовом домике Арман-Мари неотрывно смотрел на мальчика, чье младенчество протекло без отца. Коллен не отпускал юбку Изабель и только исподтишка косился серыми глазенками на незнакомца с черными, уже седеющими волосами, суровым, темным, обожженным на солнце лицом: странный взрослый, но совсем не страшный!

Изабель разжала детские ручонки, обхватившие ее ноги:

— Ступай к отцу, Коллен, это Арман-Мари, твой папа.

Ребенок недоверчиво спросил:

— А можно?

Изабель рассмеялась, и Коллен бегом кинулся к жестким ботфортам, подняв голову и протянув руки.

Арман поднял его:

— Сколько тебе лет?

— Почти уже шесть.

— Как тебя зовут?

— Коллен-Мари; знаешь, я арматор, и, когда мне исполнится семь лет, мне подарят красный кораблик с парусами, — тетя Изабель обещала мне такой, а крестная Аннеке и Джоу купят для него шкоты и ванты, а Хендрикье…

Женщины умиленно посмеивались.

Изабель хлопнула в ладоши:

— А ну-ка, девушки, собирайтесь, нужно пойти открыть Верхний дом.

Арман покачал головой: не нужно, он заночует на борту.

— Отплытие назначено через пять-шесть дней, — если французы дадут нам спокойно уехать, — добавил он.

Все замерли. Коллен, которого отец поставил на пол, в восторге запрыгал по комнате, не обращая внимания на гробовое молчание взрослых: ура,

мы уезжаем!

Хендрикье схватила его за руку: пока что пойдем-ка со мной!

У Изабель задрожали руки.

— Оставь нас здесь!

— Нет, мы уедем ВСЕ, тут больше делать нечего; французы водворились надолго, они намерены завоевать всю Европу. Но до Америки им не достать!

Голос его изменился — стал хриплым, суровым. И глаза тоже теперь были другие. Он смотрел на Изабель, он ВИДЕЛ ее, она была деревом в его пейзаже, а деревья — они ведь живые.

— Решай сама, Изабель, я не заставляю тебя ехать с нами.

— Я не расстанусь с Колленом!

Его губы на миг искривила горькая гримаса: Боже, неужто он ждал чего-то другого? Не забудь о своих уловках, маркиза, ведь даже вытекший глаз — еще не конец женской жизни! И она заговорила о сборах, о делах. Помолчав, он спросил, как обстоит с наследством Минны. На что он может рассчитывать?

Изабель отперла отцовский секретер, вынула сафьяновый портфель, ларец: все здесь, все в полном порядке; мы жили на проценты, как и

сама Минна, ну а дом принадлежит мне. Французы заняли Хаагенхаус на два дня, спалили всего несколько стульев и диванов, вот и весь ущерб, — Амстердам не так-то легко взять на испуг.

— Мне сказали, что Пишегрю жил у тебя.

— Да. А я пока жила в дюнах. Но и это продолжалось недолго.

Он улыбнулся, но думал явно о другом. На полу котенок, пронзительно мяукая, возился, играл с брошенной веревочкой.

— Боюсь, я не смогу сейчас вернуть тебе приданое Мадлен.

Изабель вздрогнула: приданое Мадлен? Какое ей до него дело?!

— Я даже не притронулся к нему, ни гроша не истратил, — слишком дорого оно мне обошлось. Я давно уже решил отдать его тебе, но нынче оно всем нам пригодится, других денег у меня нет.

Изабель, задыхаясь, стащила с себя чепчик, рывком расстегнула воротник; она яростно крикнула, что не желает и слышать о деньгах, о приданом: замолчи, мне нужно совсем другое, а это другое за деньги не купишь. Я взыскала с должников моего отца все, что ему причиталось, и эти деньги отправлены в ТВОЙ город — на шхуне Жозе в Гаагу, а оттуда за океан. Все это

принадлежит Коллену. А ты мне тут болтаешь о каком-то приданом!

Он встряхнул ее за плечи: я вовсе не хотел тебя обидеть.

— Ну так вот, обидел!

Арман зло скривился, умолк. Сейчас он смотрел тем бледным, гневным взглядом, какой бывал и у Коллена, когда тот сердился или капризничал, — взглядом прежнего горячего и недоброго пятнадцатилетнего подростка. Он с трудом сдержался, встал, отошел: черт подери, все женщины на один лад!

На пороге, до белизны в суставах сжав косяк, он оглянулся:

— Послушай, Изабель, плаванье длится два месяца, и я клянусь тебе, черт подери, — если ты будешь продолжать в том же духе, я привяжу тебя к койке на одной шхуне, а сам переберусь на другую!

И неожиданно он улыбнулся, словно этот петушиный бой позабавил его: «Постарайся же понять!»

Изабель, едва переводя дух, спросила, когда они отплывают.

— Через пять дней… или больше, чем через пять, если я не управлюсь с делами.

— Мы больше не вернемся сюда?

Он покачал головой: нет! Изабель почти беззвучно шепнула: а как же наши усопшие? И оба молча, скорбно склонили головы. Арман протянул руку, приподнял за подбородок лицо свояченицы:

— Верно ли мне рассказали, что ты помогла Мадлен разродиться?

Изабель кивнула. Он опустил руку.

— Ладно, не горюй. Наши усопшие будут с нами, где бы мы ни жили.

И вышел. Она следила, как он уходит, шагает к гавани, поднимается на борт своей шхуны. Такой похожий на самого себя…

Аннеке тихонько подошла, мягко потянула ее за собой: уложите Коллена сами, сегодня он раскапризничался. Изабель вздохнула: иду. Молодая женщина улыбнулась: какой красивый мужчина!

— Да, ему нетрудно будет найти себе жену.

Аннеке рассмеялась: жаль мне ту, что соберется за него замуж.

— Это еще почему?

— Ей придется не только обольстить его, но и от вас еще избавиться!

Вот подлая девка! Они весело взбежали по лест-

нице и предстали перед возбужденным, разрумянившимся Колленом, уже грезившим о стройных каравеллах с белоснежными распущенными парусами. Они засиделись допоздна, — ребенок так и не заснул и путался у них под ногами, — разбирая белье и платья, решая, что взять, а что оставить до другого раза… если вернутся. Изабель, невзирая на поздний час, бодро отдавала распоряжения, шумела, смеялась, шутила, переходя от суеты к полной неподвижности, к тому обманчиво мягкому молчанию, что всегда предвещало бурю. Хендрикье, столкнувшись в дверях с дочерью, шепнула: боюсь, нас ждут веселые деньки!

* * *

— Или веселые ночи, — прошептал Барни.

Они сбежали от толстых, благоухающих пивом торговцев железным ломом и теперь рука об руку быстро шли по улицам Хьюстона в свой отель — скопище низеньких белых домиков, обсевших озерцо, точно стая чаек.

Едва поставив чемоданы, Керия погасила свет, распахнула балконную дверь, сжала руки Барни:

— Я люблю тебя — может быть, надолго. Так все говорят, ну и пусть, — давай и мы говорить

то же самое!

Большие мужские руки говорили на своем нетерпеливом ласковом языке. Керия дрожала. Она пыталась овладеть собою с помощью слов… о, эта жажда абсолютного, терзающая всех нас!.. но, Боже мой, надо ли… надо ли?! Прильнув губами к ее шее, Барни выпевал свою неразборчивую любовную литанию, он тоже дрожал всем телом, и Керия торжествующе рассмеялась.

Позже, когда их первая жажда открытия была утолена, понадобились и взгляды. В светлой полутьме комнаты, в отблесках озерной воды, они украдкой изучали друг друга; потом Керия отвела глаза и повторила: или веселые ночи…

* * *

Аннеке весело и чуть насмешливо ворковала, глядя на мужа. Виллем стоял подле окна и молча наблюдал за нею, готовясь стаскивать вниз тяжелые узлы с вещами. Они с Аннеке не изучали друг друга украдкой, только изредка переглядывались, но молодая женщина светилась от счастья и радостно трепетала, как огонек на ветру.

А какие ночи ждали Изабель?.. Никто не взялся бы предсказать это, однако в их доме снова воцарилась тишина, нарушаемая лишь скрежетом

железных сундуков по плиточному полу да скрипом лебедок на борту корабля.

Наконец затеплившийся рассвет утихомирил обитателей дома. Коллен сладко спал в объятиях Изабель, а она задумчиво покачивала пустую колыбель Саскии; что она убаюкивала в ней, уж не свое ли заветное желание? О, сколько вещей останется здесь после них и сколько всего несбывшегося, о чем придется сожалеть в далеком краю! Запоздалые сожаления… Изабель задним числом переписывала свою жизнь: ах, если бы я сказала «нет» в день моей свадьбы!

* * *

— В общем, я гляжу, ты пускаешь в дело все подряд…

Опершись на локоть, Барни глядел на Керию. Они поставили лампу на пол, за кресло, и ее свет причудливыми отблесками трепетал на стенах и потолке, делал еще темнее пустую глазницу Керии, еще ярче другой, живой, золотисто-черный горделивый глаз, пытливо ищущий на лице Барни то незнаемое, доселе скрытое от нее, что дерзко и торжествующе отражалось в этом застывшем, почти нечеловеческом зеркале. Так вот что такое писатель, — подумал он вслух, — все-

пожирающий потоп! И только он один знает, что из этого выйдет.

— И еще… — Керия касалась языком его бедер, чутко вслушиваясь в трепет мужского тела, в скрытые его толчки — предвестие экстаза, так хорошо знакомое внимательным губам… — то, что из этого выйдет, зависит от того, что туда входит. Когда жизнь плоха, она отдает свои краски истории, она подчиняется ее течению и, лишь став переносимой, снова отрешается от нее. Все, что ты читаешь, есть одно только слабое отражение того, что другие перечувствовали, — ибо пережили, ибо пережили именно ЭТО. Не так, как ты, а, впрочем, и это небесспорно. Ну и присочиняют, конечно, многое, — а как же иначе? Ты можешь сколько угодно держаться за отправную идею; она все равно извернется, разовьется, трижды изменится и наделает дел, прежде чем ты вновь ухватишь ее. Итак…

Керия, прикрыв глаз и нежно улыбаясь, искала Барни губами, и последнему «итак» пришлось подождать…

Пишегрю не просто позволил им уехать, он почти что выдворил их из города. Им владело мрачное возбуждение, заставившее его вернуться из Амстердама — взятого, укрощенного и, однако,

крайне важного, поскольку то была столица, — в этот совершенно незначительный городишко, где его соблазнило нечто иное, соблазнило в худшем смысле этого слова. Бездна…

И, само собой разумеется, он реквизировал Хаагенхаус. Занимал его один, только ординарец состоял при нем.

Он не пытался поговорить с Изабель, просто не скрываясь следил за нею с непроницаемым лицом. В порту, где люди жадно интересуются каждым новым человеком, откуда бы он ни явился, говорили: этого неотвязно точит червь, оттого и глаза у него потерянные. Что же точило его — злоба? «Да нешто она захомутала только этого борова Эктора? — кричал Жозе. — Ни хрена вы не смыслите!» Все молча выжидали, а женщины сладостно грезили о грубых желаниях, терзавших это крепкое мужское тело, крививших этот мясистый рот. До последнего дня непонятно было, впрямь ли он намерен позволить судам выйти в море.

Пишегрю позволил все. В день отплытия десять человек, посланных генералом, подняли на борт тяжелые тюки и свертки, среди которых оказалось даже несколько мешков с книгами; об этом узнали потому, что два из них — тяжеленных —

прорвали джутовую ткань и плюхнулись в воду.

Сержант вручил Изабель ларец. Генерал велел передать, что Республика умеет признавать и неоказанные услуги. В ларце, который он открыл перед нею, — великолепная кашемировая шаль и письмо.

Несколько двусмысленных фраз: «Вы оказались правы насчет Вервиля, он преследовал лишь свои корыстные цели. Вот уже пять дней я наблюдаю за Вами и знаю, к какому источнику жаждет припасть Ваш пересохший рот. Не упустите ни капли этой влаги, мадам, она напоена горечью, которая Вам сродни». Он подписался коротко: Пишегрю. Ни званий, ни титулов, хотя всегда и всюду присоединял их к своему имени.

Арман протянул руку, но Изабель проворно сунула записку в рукав.

— Чего он хотел?

— Поблагодарить.

Серые глаза сузились. Но солдаты уже сошли на берег, трап поднят, задул попутный ветер и нужно было спешить — прилив ждать не станет.

Женщины пробрались в свое помещение узкими корабельными коридорами, а тем временем Арман, подбоченясь, выкрикивал приказы, недобро поглядывая на задержавшуюся Изабель:

«А ты зачем тут торчишь, иди вниз!»

— Я тебе скажу, чего он хотел, Пишегрю. Просто напомнить мне, что к правде нельзя прикоснуться безнаказанно. Теперь он знает, что ему нужно — еще более трудных, еще более почетных побед. Некоторые выигрывают в этой лотерее, другие же… — Она пожала плечами с видом покорности судьбе и удалилась. Арман-Мари глядел на стройную спину, на тонкую талию в пышных складках юбки. Джоу, стоявший позади него, промолвил:

— Ох уж эти создания, хозяин, их либо любят, либо убивают. Да и смертью их не запугать, — коли не захотят говорить, так ты хоть башку об стену разбей, не добьешься ни словечка!..

Барни вздохнул: а знаешь, я ревную! Керия лежала на нем, вытянув руки вдоль тела и сжимая его запястья. Она не двигалась, хотя при этих словах ей безумно захотелось схватить его за горло. Он ревнует, скажите пожалуйста!

— Да, я ревную, Керия. А скажи, уж не выдумала ли ты и меня заодно с ними?

— Выдумывать тебя?! — Керия резко привстала. — Вот еще не хватало, что ты о себе воображаешь? ЕГО я действительно придумала, хотя у меня достаточно истинных доказательств: письмо сохранилось, и шаль тоже. Нет, решительно,

ты умеешь СЛЫШАТЬ свой железный лом, но НЕ ВИДИШЬ ничего другого. Вспомни, что такое Арман-Мари! Что мы знаем о нем кроме того, что она его любит? Одна видимость, бесплотный призрак, вот я и подумала: она любит ветер, она любит именно то, что ускользает от нее.

Барни встал, чтобы напиться, — пыльная сухая жара сушила рот. Они выключили кондиционер, открыли окна, но застывший воздух не нес прохлады.

Он протянул ей стакан воды: я чувствую, мы еще сцепимся с тобой из-за различного понимания вещей. Твоя Изабель любит любовь, и теперь, ощущая свою относительную неполноценность, концентрирует все свои чувства на этом типе.

— Концентрирует! Господи, ну и словечко! Это у вас в Кашане так выражаются? А Хоэль, а Пишегрю, а все прочие, кого я не назвала и кто тем не менее слетается к ней, как мухи на мед? И чаще всего по низменным причинам, — в этом случае они берут ее. Молчи, Барни, я знаю, какой вопрос вертится у тебя на языке; да, у меня были мужчины. Я не платила им, я не бегала за ними. Они приходили сами, и каждый отрывался от моего тела со смешанными чувствами, с желанием верить, что я всю жизнь ждала именно его,

и, одновременно, с разочарованием: я НЕ ждала его всю жизнь… Можно сколько угодно рассуждать о безобразии; дело не в нем, вернее, дело в другом: безобразных женщин не любят, но они возбуждают. Горбунья, хромуша затрагивают самые низменные стороны мужского естества, дружок; они пробуждают древний, атавистический инстинкт охоты и великодушия, ведь они так легко доступны. Слабому легко помочь, на слабого легко охотиться, слабый — легкая добыча. Но разве я-то слаба? Барни, когда женщина хочет трахаться, она это делает; то же самое происходит и с мужчинами. Но я хотела не трахаться, а ЛЮБИТЬ… вот почему я согласилась на операцию. Полина говорила мне: твои родители либо не понимают ситуации, либо безжалостны к тебе. На самом же деле они просто полагали, что я, судя по виду, вполне хорошо устраиваюсь в жизни, притом не стоя им ни гроша, потому-то они ничего и не предпринимали. Говорят, мух не приманивают на уксус. Как бы не так, все зависит от мух. А уж приманив, пожираешь их за милую душу. Большего мне и не требовалось. Потом я увидела, как Диэго томится смутной жаждой чего-то ИНОГО, вот тогда-то все и закрутилось. Он слишком часто рассказывал мне о тебе, и я

заподозрила, что бывают мужчины поинтереснее грязных подонков, которых только и хватает на то, чтобы трахать уродин и калек.

Она засмеялась: Диэго далеко не глуп — или, может, слишком глуп, иди знай! — он бросил одно словцо, которое все и решило; он сказал, что ты «любишь не тела». Вполне вероятно, я ослышалась и «не» там отсутствовало, но мне захотелось понять это именно так. И все же… нет, он хорошо знал меня, он понимал, что мне нужно, что меня…

И она притянула его к себе: Барни, Барни, я истязала себя этой мыслью — он тоже ищет чего-то иного, простого, как мир. Она заполонила меня, эта мысль, я захотела тебя с первого же взгляда.

— К счастью! — И Барни засмеялся, прильнув лицом к ее лону. — Керия моя! Только этого мне и не хватало! — Его руки нежно, но настойчиво надавили на ее живот, зубы прикусили кожу, и Керия простонала: ах!..

Наслаждение огненными письменами трепетало в воздухе, — кому дано запечатлеть их на бумаге?!

— Иногда, думая о тебе, я умираю от невозможности проникнуть к тебе под кожу, в вены, вместе с кровью доплыть до сердца, стать твоим сердцем,

биться, как оно, или разорваться от нежности!

И она изогнулась под его укусами: о, скорей, скорей, умоляю!..

Их судно почти сразу же отстало от другой каравеллы, которую Виллем, по всей видимости, нарочно гнал вперед на всех парусах. На следующий день она уже едва виднелась вдали, на горизонте, а к вечеру превратилась в темную точку, двигавшуюся гораздо южнее их собственного курса. Изабель, пристально следившая за ней, прошептала: Африка! Она обернулась, Арман-Мари утвердительно кивнул.

— Неужели нельзя обойтись без этого?

— Нет, но прошу тебя, не считай нас мерзавцами, все равно эти люди — разменная монета для их собственных царьков. И потом, мы сами не без греха, у нас тоже есть слуги, у наших предков были рабы, в чем же разница? Я считал тебя менее… щепетильной.

Изабель пробормотала, что с тех пор не изменилась, но — пусть он смеется, сколько хочет! — она открыла в слугах такую деликатность и понимание, каких никогда не встречала у знатных вельмож; разве это не наводит на размышления?

— Мне со всех сторон твердят, что времена меняются, Арман; так разве не меняются они

для всех? В трюмах твоей шхуны будут черные женщины, и некоторые из них родят в пути… им придется рожать там, внизу, без повивальной бабки, без кружевных простынь и чепчиков, а кому-то случится и умереть в родах, как той, что спала в твоей постели, и не проси меня забыть об этом!..

— Иногда ты и сама не знаешь, куда они тебя заведут.

Керия иронически усмехнулась: пустота, отсутствие следа… да, такое случается, хотя чаще всего угадываешь верный путь. Я так давно плаваю в этих водах, своим и их курсом, что мне и придумывать ничего не нужно, я их просто смешиваю, вот и все.

Они сидели на берегу озерца. «Парадный» бассейн перед мотелем щеголял бирюзовой водой с искусственными волнами; этот же прудик, на заднем дворе, стоял в забросе, его края поросли мхом, пышнолистные тополя вокруг шумно перешептывались, приветливо махали друг другу ветвями под свежим ветерком.

Барни поднял голову, вопросительно взглянул.

Изабель ни словом не описала это плаванье, никому не рассказала о нем. Хендрикье тоже не понадобился дневник-письмо с подробным

повествованием для Джоу, поскольку Джоу находился рядом.

— Все, что я знаю об этом, я знаю от себя самой. Она владеет мною, а я крепко держу ее; она щеголяет моей гордыней, которую я унаследовала от нее. Она хочет иметь все, ибо имела все или почти все; и я — тоже, ибо не имела ничего или почти ничего.

Барни нетерпеливо взмахнул рукой.

— Погоди, не торопи меня, я же пытаюсь тебе объяснить; я не колеблюсь, не отступаю, просто хочу рассказать о ней и о себе, а это и дважды одно и то же, и две разные вещи одновременно. И так без конца.

Ветер взметнул с земли колючки, перекинул их через изгородь, покрутился у их ног, вспорхнул и улетел. Странный край… и сколько пропадающей зря воды так близко от пустыни…

Керия рассеянно проронила:

— Ты видел их вчера, этих людей? Они пьют, как автоматы: глотают, писают, глотают, писают, — настоящий трубопровод.

Барни рассмеялся. Вчера один из местных воротил, Росс, пристально вглядевшись в Керию, указал на ее пустой глаз: «Автомобильная авария?» Тогда Керия ткнула пальцем в его круглый

живот и спросила тем же тоном: «Надутый баллон?»

Собравшаяся за столом компания взвыла от восторга, ничуть не заботясь о чувствах толстяка. История эта быстро распространилась, и Керии начали оказывать новое, почтительное и чуточку ехидное внимание. Керия исподтишка изучала окружавших ее мужчин, потом шепнула Барни: «Завтра тебе придется из-за меня выложить кругленькую сумму за их железки».

На самом деле торг прошел тут же, за столом, и вел его тот самый жирный боров, который гоготал громче всех присутствующих. Но его крошечные холодные глазки не смеялись, и Барни как бы вскользь (он тоже не смеялся) добавил к контракту статью, по которой тот входил в силу лишь после определения стоимости лота и, таким образом, ограждал его от возможных подвохов.

— Я, наверное, никогда к этому не привыкну!

— Привыкнешь. Пойми, подписанный договор незыблем, как скала; здешние людишки, как правило, пытаются надуть вас ДО, а не после.

— И тебе все это нравится?

— Да, представь себе! — И Барни весело улыбнулся. — Тут, как в шахматах, масса всяких комбинаций. Назови это, если хочешь, жульниче-

ством, — тем хуже для тех, кто на него поддался. Если ты не любишь играть и не умеешь проигрывать, лучше уж быть чиновником… — И, пожав плечами, он добавил: — И холостяком.

— А твои «королевы», когда они ставили тебе шах и мат?..

— Вот-вот, я и платил.

И он нарочито небрежно потянулся.

— Я платил… шесть раз, как истинный игрок.

— А еще два раза?

А еще два… ну, тут дело посложнее: одна действительно любила его, но одной любви не всегда достаточно — ей ли не знать этого?! А вторая… та умерла. И он добавил сквозь зубы, что с нею все кончилось раньше, чем ему надоело.

Они взглянули друг на друга, остывая от разговора. Ну, а она — она любила? Керия вздохнула; этот вид безумия ее миновал.

Позже они отправились на склады Росса. При выезде из города их встретила пустыня; по иссушенной земле ветер катил за машиной клубки колючек, прыгавшие, как футбольные мячи. Там и сям на горизонте высились скелеты нефтяных вышек и слышались астматические всхлипы насосов. Некоторые были заброшены и ржавели на солнце, разбрасывая вокруг красную пыль. У их

подножия стояли плакаты с предостережением: «Не подходить!»

Керия нахмурилась. Все это железное убожество выглядело призрачным, заколдованным… вот-вот из-за вышек возникнут старые мифические фигуры — ковбои без стад, но с оружием; казалось, в этом голодном крае водится больше револьверов, чем коров. Накануне она убедилась, что все мужчины и даже несколько женщин ходят вооруженными. И это плохо сочеталось с угодливым гостеприимством местных миллиардеров.

В огромном, взятом напрокат лимузине царило молчание. От шофера пахло кожей, потом и пивом; он включил радио, из приемника лилась музыка в стиле «кантри» вперемежку с рекламными объявлениями, парень отстукивал ритм на баранке.

— Какой-нибудь часок, и мы на месте, — сказал он им.

Керия тронула его за плечо, указала на приемник: stop it![119]

Теперь в тишине слышалось лишь урчание кондиционера. Слепящее солнце скрадывало ре-

---

[119] Примечания: 119
Выключите! *(англ.)*

льефы, равнина казалась плоской, однообразной, нескончаемой. Керия вздохнула:

— Ты намерен остаться здесь после того, как закончишь дела? Барни приложил палец к губам, подмигнул:

— Мы же еще не видели здешних бурь!

И Керия кивнула.

* * *

Целых две недели шхуны медленно ползли по морю вдоль атлантического побережья. Трехмачтовик неуклонно следовал к югу, но ветер ленился надувать паруса, а жара мало-помалу вступала в свои права, безжалостная, как осиный рой. Ночью она мгновенно сменялась пронизывающим, но совершенно сухим холодом. Дети капризничали. Вода в бочонках отдавала тухлятиной, и ее было мало; вскоре пришлось ограничить дневную порцию. От немытых людских тел исходил тяжкий запах соленого пота.

Дважды или трижды береговой бриз вселял надежду на перемены, и корабли продвигались на несколько миль к западу, но ветер, едва поднявшись, стихал, и вновь продолжался невыносимо медленный дрейф.

Изабель, измученная жаждой вместе с осталь-

ными, избегала выходить на палубу, особенно, на корму, где Арман проводил большую часть дня. Она старалась не оставаться с ним наедине и, несмотря на удушающую жару, сидела в каюте. Но как только приходила ночь — здесь, на этих широтах, она падала мгновенно, как черный занавес, — Изабель пробиралась в носовую часть судна и усаживалась вместе с Колленом под бушпритом; вскоре к ним присоединялась Хендрикье или Аннеке, а то и обе. Они подходили почти украдкой, не смея проронить словечка. Разумеется, не потому, что Изабель прогнала бы их — Господь свидетель, нет! — просто с самого начала плаванья они держались на почтительном расстоянии от своей хозяйки и арматора, как будто сложившееся положение (или удовольствие, им доставляемое) требовало, чтобы его оценивали издалека. Вот они и усаживались поодаль, слушая, как Изабель болтает с малышом, расписывая ему неведомые края, куда они плыли; звонкий детский голосок то и дело прерывал ее: это правда? ты правду говоришь?

Разумеется, она сочиняла, но какое это имело значение? Прислонясь к мачте, Арман — застывшая тень в путанице снастей — тоже слушал ее, покуривая трубку. Его матросы, как и обе жен-

щины, потихоньку мечтали об одном и том же. Однажды ночью Джоу поведал Хендрикье, что это предчувствие любви, это терпеливое, полное манящих образов ожидание (они слышали голос Изабель и угадывали красоту тела, откуда он исходил) помогает им переносить муки жажды.

А потом резкий холод прогонял всех с палубы, но перед уходом женщины развешивали на вантах чистые простыни, чтобы собрать на них ночную росу, хотя и этой влаги становилось все меньше и меньше.

В одну из тех томительных ночей, когда Арман метался в полусне, пытаясь забыть о проклятущем ветре, который упорно отказывался дуть, превращая суда в беспомощных чаек, что качаются на воде, непригодной для питья, ему вдруг примерещилось стадо, быстрый, несмолкаемый топот копыт. Звук становился все громче и громче, к нему примешались людские голоса, они окончательно разбудили Армана, и он понял, что это бегают наверху, по палубе.

Шел дождь.

Люди кинулись натягивать брезенты, вытаскивать пустые бочки, навешивать водосточные трубы. Некоторые парни, особенно из «сухопутных», скинули рубахи и с блаженным мычанием

подставляли тела под струящуюся воду. Арман поспешил сделать то же самое.

Коллен смеялся взахлеб и радостно визжал под холодными струями воды, пока Аннеке, в расстегнутом платье, с распущенными, обвисшими, мокрыми волосами, намыливала и оттирала его, поила из сложенных ладоней.

Стоя под мачтой, Изабель, без чепца, без повязки, подставляла ливню шею, плечи, лицо. Рядом с нею Хендрикье, тоже распахнув ворот, гудела от удовольствия, точно сигнальный рог в тумане. В бочки шумно низвергалась из деревянных водостоков желанная влага.

Появился Арман. Изабель тотчас отвернулась, проворно прикрыв рукой пустую глазницу. Он остановил ее: «Почему ты прячешься от меня? Посмотри мне в глаза, прошу тебя!»

И она обернула к нему лицо: что ж, пускай смотрит!

Коллену захотелось поиграть: папа, папа, подкиньте меня вверх! Но Хендрикье торопливо увела его: «А ну-ка, минхеер Коллен, пошли в постельку, завтра успеете наиграться!»

Мужчины, ежась под ливнем, катили бочки вниз, в трюм, торопясь закрыть их и подставить под трубы другие; на бегу они ненароком задева-

ли стоящих у мачты. Грозу относило в сторону, и дождь слабел, следовало спешить.

В каюте Хендрикье сквозь зубы яростно и требовательно молила: «Боже, не шлите нам ветер, подождите хоть еще одну ночь, ну что Вам стоит?!» Аннеке, слушая мать, посмеивалась: «Ты же знаешь, она терпеть не может твоих молитв, да хоть бы ветер и задул, не волнуйся, уж она как-нибудь устроится!»

А там, наверху, на опустевшей палубе (матросы уже разошлись по своим гамакам) Арман впился серыми глазами в Изабель: я не лица твоего боюсь, а нрава! Он склонился, его губы жадно раскрылись, руки жадно потянулись к ней.

И, разумеется, Господь не внял молитвам Хендрикье. Мощное дыхание ветра коснулось обвисших парусов, разгладило, наполнило их. В несколько мгновений разбуженные матросы высыпали на палубу и Арман-Мари, взлетев на мостик, уже командовал: «Все наверх!»

Изабель неторопливо застегнула платье, надела чепец. Пальцы ее не дрожали — теперь они никогда больше не задрожат. Она прикрыла повязкой пустую глазницу. Выкрикивая команды, Арман уголком глаза следил за ней.

— Эй, Джоу, поторопись с парусами, нужно

успеть поймать попутный ветер, а там и боковой, на нем дойдем до самого Санто-Доминго!.. А ты, Виллем, скажи людям, чтобы задраивали люки, а не то… Жозе, ты что, оглох, я кому велел проверить, крепко ли принайтованы пушки!

Он орал во всю глотку… но взгляд его не отрывался от Изабель.

Когда Изабель поравнялась с огромным румпелем, который с трудом ворочали двое матросов, она подняла голову, улыбнулась — ветру, слабеющему дождю, последним сполохам грозы — и сделала им грациознейший придворный реверанс. Мужчины расхохотались, а она пошла вниз по лестнице, цепляясь за перила и кляня на чем свет стоит эту чертову качку, мотавшую судно туда-сюда, словно фрегат в гуще битвы.

— И это все?

— А чего же тебе еще? Ты жаждешь трогательных подробностей? Например, таких: когда она уходит, он кричит ей вслед: «Эй, когда ты вернешь мне мое кружевное жабо?» Эдакий тошнотворно-сладенький хеппи-энд.

Барни скривился:

— А тебе больше по душе, если бы они подрались и наставили друг другу синяков. Или если бы в одного из них в этот миг ударила молния,

а другой бы рыдал над бездыханным телом. Все это мелодрама, дорогая моя! А может, ты хочешь, чтобы она продолжала бегать от него? Да ты вспомни: они народили пятерых детей; такое количество трудненько зачать на расстоянии…

Они вернулись из пустыни потные, сгоревшие на солнце. Росс потащил их на свои стройки в самое жаркое время дня, надеясь, что это пекло притупит бдительность Барни. Но тот извлек из багажника куртки, шляпы, солнечные очки и, когда они обрядились во все это, Росс нарочито вежливо сказал: «Son of a bitch?»[120] Керия сразу почувствовала, как напрягся толстяк при их появлении и как обмякал по мере продолжения разговора. У нее была своя теория по поводу таких вот жирных туш; нужно бы изложить ее Барни. Жир защищает и прикрывает слабость; среди диктаторов нет ни одного тучного, а если такой и находится, то ведь до Святой Елены рукой подать! Барни, спокойный, невозмутимый, не пропускал ни одной мелочи, отказался от двух предложенных Россом лотов, выбрал два других, от которых его учтиво и незаметно пытались оттеснить. Сделал замечание по поводу архитектуры железных

---

[120] Примечания: 120
Ну, теперь можем идти? *(англ.)*

«монбланов»: не кажется ли хозяевам, что так лом плохо проветривается? «Правда, у меня на складах проблема жары не стоит». Мгновенно, с точностью, заставившей американцев горько скривиться, вычислил стоимость предлагаемого и поставил последнюю подпись уже перед тем, как сесть в машину. Теперь только Росс улыбнулся. Керию кольнуло подозрение: а может, все-таки здесь надувают и до и ПОСЛЕ сделки? Но тут Барни вытащил из-под сиденья чемоданчик, поднял антенну рации и связался со своим агентом. Росс опять нахмурился.

Не прошло и получаса — эта скорость многое говорила о доверии, которое Барни питал к Россу Картеру! — как из облака дорожной пыли возникли два грузовика с подъемными кранами, а за ними целая вереница трейлеров; пыльная дымка заволокла горизонт, скрыв заодно и несколько отдаленных строений, куда Росс их так и не пригласил. Люди тут же взялись за погрузку под предводительством низенького апоплексичного человечка, которого Керия сразу признала, — она видела его в Гамбурге. Она обернулась к Барни, восхищенно взглянула на него: ну и ну, с виду этакий любитель «голосов железа», а все предусмотрел!

Убедившись в том, что погрузочные работы идут полным ходом, они распрощались с Россом, который, играя желваками, созерцал эту картину.

Заходящее солнце скрадывало природную скудость местности, выставляя напоказ великолепные, четкие тени кактусов и высохших деревьев. Зачарованная Керия так и ждала, что вот-вот на горизонте возникнет бесстрашный ковбой Джон Уэйн на своем горячем скакуне.

Войдя в номер, она со стоном повалилась на кровать: ой, я умираю от жажды!

Они молча, медленно пили. Душ окончательно привел Керию в чувство, напомнив ей историю шхуны, попавшей в грозу, и Барни, вытираясь, так впитывал ее, словно и сам умирал от жажды. Но только, кажется, от другой.

Я тебя держу! От этих слов у Керии жар приливал к щекам. Но внезапно она преисполнилась самоуничижения: там, в пустыне, уязвленный Росс Картер пробормотал: что ж вы — не доверяете мне? — и Барни, почти с нежностью указав на груды железа вдали, которые в результате небольшой ночной манипуляции вполне могли вырасти вдвое, похлопал толстяка по плечу: «Не огорчайтесь, папочка, я НИКОГДА и НИКО не

доверяю».

— У меня бедное воображение… — Барни помолчал и продолжил с легкой горечью: — Или, вернее, у меня воображение прагматика; я бизнесмен до мозга костей.

Да уж, такой бизнесмен, что вечно попадался в ловушку: для него открытое, наивное женское лицо означало лишь чистые, бескорыстные мысли; ему и в голову не приходило, что и женщины могут быть дьявольски прагматичны. Но, даже и поняв это, он все же продолжал надеяться на лучшее: «Я, наверное, так и останусь навсегда двенадцатилетним наивным подростком, что вслушивается во дворе у дяди в пение железных соловьев… до меня все туго доходит».

Керия молча массировала ему затекшие плечи. Потом приникла к его спине, стиснула его руки: я люблю тебя!

Обернувшись, он обнял ее, сжал голову в ладонях, стал целовать стройную крепкую шею. Керия прикрыла веки; желание поднималось из глубин ее чрева — темное, конвульсивное, влажное, как затянувшаяся гроза…

Они долго отдыхали, с удовольствием ощущая блаженное изнеможение слившихся и неразделенных тел. Наконец Барни прошептал: долго

они еще ждали?

Керия молчала.

— Я думаю, он все-таки пришел к ней за своим жабо.

— Ну нет, он заставил прийти ее первую — совсем как ты меня…

Изабель гляделась в зеркало «Конторы» — она увезла его с собою, как, впрочем, и клавесин. Когда любимые вещи сопровождают тебя, уезжать намного легче… Она надела белое льняное платье с голубыми фестонами. Аннеке вышила узоры по вороту — чтобы «оживить», так говорила она всякий раз, как уступала своей мании усложнять простоту вещей. Всем нам надобен жизненный багаж…

На пустой глаз легла повязка — тоже голубая. Я не красива, я больше, чем красива. Я ЖИВАЯ!

Она приколола кружева к вырезу, улыбнулась своему отражению. Узенькая каюта, где она жила с самого отплытия, то и дело освещалась вспышками молний. Коллен часто спал здесь, среди тяжелых, скрипучих сундуков, набитых холстами, полотнами, бархатом и кашемиром, шелком, тафтой и парчой, — хватит на одежду целой семье в течение… Сундуки источали ароматы восточных тканей и лаванды, погружавшие

ребенка в мечтательное забытье. Но нынче вечером Коллен ночевал у своей крестной.

Изабель усмехнулась: ну и хитрющие эти бабы, вот чертовы сводни!

Она вышла, приблизилась к капитанской каюте — ни один звук не доносился из-за массивной двойной двери.

Изабель вошла. Стол был завален картами, бумагами, секстанами, подзорными трубами. Мокрая одежда, разбросанная по полу, словно указывала путь к приоткрытой двери в спальню. Арман молча глядел, как она идет к нему.

Позже Барни пробормотал ей в шею:

— Никак не могу избавиться от этих двоих, помоги мне. Скажи что-нибудь банальное, осязаемое, у тебя и это хорошо получится.

— Вот я и приплыла в свою гавань, — думала Керия, — но путника и в порту ждут дела. Он хочет чего-то конкретного, — ладно, пусть получает.

На рассвете Изабель встрепенулась и промолвила — таким ясным, хрустальным голосом, что он донесся к ним через два столетия:

— Любовь моя, любимый мой, поднимись, не то ты меня раздавишь!

Париж 12 октября 1983,
11 мая 1986, 10 августа 1986

Послесловие

Рождение романа

Зарождение книги в моем сознании гораздо больше походит на ускоренную кристаллизацию, чем на медленное созревание сюжета. Да, в моем случае военные действия начинаются внезапно, и толчком к ним часто служит всплеск любопытства, желание позабавиться, а порой и приступ возмущения или ярости. Так и с финалом «Опасных связей», в котором судьба, уготованная Лакло маркизе де Мертей, не могла не вызвать у меня чувства протеста. Ее нравоучительное «падение» (во всех смыслах слова) — будто попытка в припадке лицемерного раскаяния стыдливо прикрыть лицо — довольно-таки грубо попирает восхищение, которое, как мне кажется, Лакло, несмотря на высказанное в начале осторожное предупреждение, испытывал к своей героине; в общем оно выглядит фальшивым заигрыванием с *приличным* обществом, проповедующим моральные принципы, идущие глубоко вразрез с его же нравами.

Де Мертей столь агрессивно подчиняет себе окружающих, что в отношении ее правомерно говорить о смене полярности — в паре с Вальмоном

роль мужчины принадлежит именно ей. И роль соблазнителя — тоже ей. Созданная воображением мужчины, хотя, по всеобщему убеждению, у нее имелся прототип, она обворожила абсолютно всех, включая своего «отца», — вещь довольно редкая. В сравнении с ней все остальные женщины — или курицы и гусыни, или такие же потаскушки, только хуже вооруженные, или хитрюги, прикидывающиеся скромницами. Настигаемая в конце повествования чем-то вроде кары Божьей, де Мертей, привыкшая выступать с поистине королевским величием, терпит, как о том сообщается в десяти строках, полное фиаско — физическое (обезображенная оспой и окривевшая) и материальное (утратившая положение). Развязкой романа служит громкий скандал, в результате которого она проигрывает судебный процесс и теряет состояние, а значит и ключи вседозволенности; от нее отворачиваются все — даже те, кто вовлек ее в игру и вел себя намного подлее, но под прикрытием искусного камуфляжа.

Разумеется, физический крах служит лишь материальным подтверждением краха социального (он и хронологически происходит позже, являясь наглядным доказательством общественного

отторжения). Вместе с ним происходит утрата последнего орудия власти — соблазнительной внешности, для полностью порабощенной женщины XVIII века — единственного надежного средства защиты своих интересов. Последнюю точку ставит поспешное бегство с прихваченными бриллиантами, составляющими немалую долю богатства, которое полагается вернуть законным наследникам. Она — воровка! Если бы ее поймали, ее ждали бы клеймо на плече и насильственная отправка в американские колонии. В качестве прислуги, готовой на ВСЕ и низведенной до НИЧТОЖЕСТВА.

О нет, это уж слишком. Нагромождение унижений, сопровождающее «последний выход» маркизы, и чрезмерность наказания превращают концовку романа в почти совершенный негатив типичной литературы того времени, даже в жанре похождений ловеласа непременно оканчивающейся хеппи-эндом: добродетельная девушка выходит замуж за искупившего свои грехи соблазнителя (чем не апофеоз черного юмора убежденных развратников, пекущихся о поддержании имиджа порядочных людей?). А здесь — позор, нищета и общественный остракизм. И осуждение негодяйки, посмевшей покуситься на

внешние приличия.

Но для нас, женщин XX века, имеющих, буде на то наше желание, возможность освободиться от необходимости брака при помощи достойнейшего из способов, именуемого финансовой независимостью, — способа, отнюдь не доставшегося нам даром! — для нас это существо без прошлого (ибо в «Опасных связях» почти ничего не говорится о жизни маркизы до описываемых событий) и без будущего, заключенное между двумя безднами небытия, чтобы вырваться на несколько недель и черным светом осветить вокруг себя мир, для нас это ледяное, рассудочное даже в непристойности создание остается невероятно притягательным. Она вышагивает по реальности в ореоле абсолютной новизны: в первый и, похоже, в последний раз мужчина вложил в уста женщины мысль о том, что гораздо интереснее рассказывать о любви, анализировать ее детали, ОПИСЫВАТЬ ее, нежели ею заниматься. В крайнем случае любовь может быть сведена до единственного акта, в дальнейшем открывающего путь к бесконечному исследованию. Отсюда уже совсем недалеко до Сада, вынужденного за неимением лучшего изливать содержимое своих гениталий на бумагу.

Все эти соображения, на протяжении долгого (почти двадцать пять лет!) времени не всегда ясные мне самой, потихоньку подогревали желание отблагодарить маркизу де Мертей чем-то большим, нежели окрик: «Занавес!», звучащий в наихудший момент ее жизни. И потом, разве это не дивная возможность посмотреть, а что было дальше? Потому что это и составляет *подлинный* сюжет «Зимы красоты», а маркиза де Мертей — всего лишь лишний аргумент в защиту неотвязного наваждения. Что было после этого, как я его называю, большого пожара? После того, как была нанесена травма — физическая или моральная, после того, как под ударами — часто жестокими — приоткрылась щель, в которую проскользнула идея — нет, не смерти, а ее неотвратимости? До того мы все — сыновья Принца, перед нами целая Жизнь… Но после? Вот именно, что ПОСЛЕ? Что остается от амальгамы желаний, страстей, амбиций и убежденности, что мы всегда пребываем во времени, в каком-то его миге?

Эти мысли неотвязно преследовали меня, возвращались вновь и вновь. Гора публикаций (сотня рассказов), предшествовавших «Зиме…», оказалась не в силах с ними справиться. И ответ, заключенный в романе, не становился яснее и

определеннее. К тому же не так уж комфортно быть уродливой женщиной. В наши дни легко поверить, что красота — всего лишь один из ключей, отпирающих темницу одиночества. Кроме нее, есть еще ум, воля, работа (и хирургия). Но в XVIII веке красота женщины все еще была единственным выходом из затруднительного положения, средством, способным помочь ей вырваться из абсурдных тисков бытия, навязанных эпохой, — кастрюли и дети.

Вот такие разрозненные чувства потихоньку томились в ведьмином котле моего сознания с тех пор, как. С тех пор, как со мной перестал разговаривать родной отец, потому что в один прекрасный день я коротко остригла волосы, лишив себя «единственной красоты». Тот факт, что ты наделена умом и, как следствие, способностью обеспечить себе выживание, нисколько не рассеивал мрачную тень чужой оценки в сфере того, что во все времена было пробным камнем права женщин на существование.

Время ничего не лечит. Скорее уж оно пожирает, отправляя *отцов* вместе с их ножичками для кастрации туда, где все мы будем. В октябре 1983 года, девять месяцев спустя после кончины моего, мы ужинали с Полой Констан. Обе мы пре-

бывали в том странном пространстве, где жизнь не движется и куда попадает автор, только что выпустивший книгу. Кажется, что больше ты уже никогда ничего не напишешь, и поневоле приходится прибедняться. В настоящий момент ты пуст, вдохновение на нуле.

В ожидании, когда оно опять забрезжит, мы обсуждали трактат о воспитании, который Пола мечтала написать (и который написала. «Мир к услугам барышень» не родился в тот вечер, он лишь дал почувствовать свою необходимости, что уже немало). Расширив рамки спора, мы коснулись темы «трактирщиц», то есть хозяек литературных салонов конца XVIII века — всех этих Дю-Деффан, Тенсен и Леспинас, которые были обворожительными шлюхами, ибо времена стояли суровые, а места под солнцем стоили дорого. Я призналась, как привлекает меня этот век, хотя и в мыслях не держала сочинять роман в стиле автора той эпохи. Напротив, единственным, что меня преследовало день и ночь, был смутный сюжет о нашей современнице, изучающей историю одной из этих фигур прошлого — вначале, чтобы отыскать в череде поколений достойный подражания пример, а затем, чтобы неожиданно открыть для себя новый взгляд на

будущее, в которое беспрерывно просачивается прошлое. Тут и вспомнилась маркиза де Мертей, длинный список свалившихся на нее унижений, догадок о том, что случилось с ней ПОСЛЕ, наша с ней близость и разделяющая нас дистанция, — и все это вместе нахлынуло на меня, лишая воли к сопротивлению. Я вдруг заговорила с непонятным для самой себя жаром, почти физически почувствовала, что начался процесс «кристаллизации», а выдуманная история обрастает плотью. Пола довольно смеялась.

— Я должна начать немедленно, я что-то такое ухватила…

— У тебя получится, я знаю, что получится!

Суфле у меня всегда опадает, в самые безумные минуты я довольно быстро возвращаюсь к здравомыслию. И в тот раз тоже поспешила обуздать свой прекрасный порыв. Все же я дала Поле обещание. Если моя попытка не завершится крахом, если, осуществившись, она удовлетворит нашим взаимным ожиданиям, я посвящу это октябрьское дитя ей.

В ту же ночь я написала пять первых страниц в том виде, в каком они существуют и поныне, и тогда же нашла название книги. Несколько недель спустя у Моники Дорсель в Брюсселе во

время ночной читки в режиме нон-стоп, куда я явилась вооруженная только блокнотом, с которым не расстаюсь (в подобных ситуациях я всегда оказываюсь упавшей с небес), я бросила свой пятистраничный «булыжник» в голову ничего не подозревающих слушателей. Реакция была достойной краткости «отрывка», однако я сумела почувствовать нечто вроде интереса (люди там и вправду собрались очень хорошие). На протяжении последующих трех лет я писала роман. «Зима красоты» стала делом времени и труда. Ну, и удовольствия тоже, к чему кривить душой. Никто не станет тратить такой кусок своей жизни на самомучительст-во, хотя понемножку все мы ежедневно этим занимаемся.

Роман создавался в состоянии бурного, почти ликующего воодушевления. Временами чужие чувства скрашивали тяжкие часы, в которые и жить-то казалось невыносимо, не то что писать. Это были три года изматывающей работы.

Но ничего не дается просто так.

Палезо, октябрь 1987–1989

Лучший подарок

Для писателя нет большей радости и удовольствия, чем увидеть, как созданный на бумаге персонаж обретает в глазах читателя очертания реального существа из плоти и крови.

Маркиза де Мертей — выдающаяся интриганка и больше, чем просто шлюха, родилась «в чернильнице»; и я подхватила перо, отложенное Лакло, чтобы дать этой утратившей все свои козыри женщине вторую жизнь. Разумеется, я понятия не имела, что из этого получится, но в моем понимании она в любом случае оставалась абсолютно вымышленной фигурой. Говорят, правда, что у героини Лакло был прототип, но я отталкивалась от «бумажной» маркизы и создавала на ее основе свой «бумажный» образ, не претендуя ни на что иное.

Некоторое время спустя ко мне обратился Мишель Делон с просьбой дать ему какой-нибудь неопубликованный отрывок. Поскольку я обожаю вплетать в вымышленную канву повествования всевозможные живые нити, то решила столкнуть «свою» маркизу нос к носу с Джакомо Казановой. Так появилась «Невероятная (во всех

смыслах слова) встреча».

Но самый неожиданный сюрприз подстерегал меня на Книжном салоне. Ко мне подошла незнакомая женщина и, краснея, с тысячей реверансов, сообщила, что перечитала «Мемуары» Казановы и его переписку, но не обнаружила ни малейших упоминаний об этой встрече. Может быть, мне в руки попали какие-то новые документы?..

Сначала я разинула рот. Потом собрала волю в кулак, чтобы не расхохотаться. Ведь, как ни крути, а то был момент славы. Да и читательница отнюдь не выглядела дурочкой. Просто маркиза де Мертей, по всей видимости, благодаря таланту (sic!) своего второго автора, сбросила бумажные одежки, чтобы воплотиться в милейшее — кривой глаз не помеха! — создание и поговорить со старым соблазнителем о судьбах мира. Эх, так бы ее и расцеловала! Читательницу, я имею в виду.

Да, я струсила и не призналась, что ее разыскания обречены на неуспех в силу того, что никакой маркизы де Мертей никогда не существовало. Я избрала другой путь и всей душой верю: она меня поймет.

И очень надеюсь, что не обидится.

Кристиан Барош, январь 2004

Невероятная встреча

Неудачи французских войск на фламандских границах ни для кого в Европе не были секретом. Пруссия торговалась, суля свою поддержку то одним, то другим, играя на неизвестности исхода каждого сражения и пытаясь вовлечь как можно больше народу в конфликт, отныне превратившийся не столько в схватку двух стран, сколько в столкновение двух идеологий.

Ош первое время творил чудеса, но он был молод, порывист, чтобы не сказать ретив, и движим гордыней и пылкой любовью. В довершение всех бед он «сидел на месте», то есть находился далеко от двора. Разумеется, короля больше не было и двор вроде бы как прекратил существование, но на самом деле его понятие сохранилось в умах, может быть, именуясь иначе и располагаясь не там, где прежде. Все кто раньше блистал в салонах, где формировались мнения и вызревали новые идеи, отныне посещали клубы, комитеты, модные кафе и гостиные, похожие на прежние салоны, окружая вниманием тех, кто держал (временно) в руках все нити. Но Ош там как раз и не бывал, ибо нельзя одновременно сидеть на мельнице

и торговать на ярмарке. Пока он действовал на границе, требовал подкреплений и накапливал боевой опыт, отдельные сторонники Сен-Жюста и Робеспьера плели интриги, разнюхивали, что к чему, и тормозили любые начинания, одним словом, спекулировали на инерции событий. В их число входил и Пишегрю.

Шомон, как всегда, знавший все обо всем, посвятил Изабель в подробности закулисных разговоров. «В городе я встречаюсь с людьми, для которых скорое заключение мира не подлежит сомнению. Французы победят, но, если штатгальтер пожелает, Пруссия ради него сотрет нас с лица земли».

— Чего именно вы боитесь, Шомон?

Этого он и сам не знал. Просто его мучает некий неопределенный страх, объяснил он. Смутный, поняла Изабель, предпочитавшая явные опасности…

Такова была обстановка, заставившая волноваться весь город. Безликий страх преследовал не одного Шомона. Аристократы задавались теми же вопросами, что терзали его. Все эти люди, до сих пор жившие в свое удовольствие, радуясь богатству и не ведая невзгод, вдруг оказались лишенными своего статуса и очертя голову бро-

сились в водоворот увеселений — празднества, пиры, грандиозные балы. Увы, подлинным блеском на всех этих торжествах сияли только свечи: исступление весельем присутствовало, но самого веселья не было. Яркие краски давным-давно спрятались под черными камзолами и жесткими воротниками, а вино, если кого и приводило в возбуждение, так только торговцев-спекулянтов.

Изабель, подстегиваемая любопытством, передавшимся ей от Шомона, не смевшего открыто посещать суровых буржуа, а также чем-то вроде тяги к развлечению, оживляемой воспоминаниями о днях, когда она дергала за ниточки в Париже, — Изабель приняла несколько присланных ей приглашений. Теперь, когда Минна умерла, между алчностью этих людей и остатками влияния Ван-Хаагена стояла лишь она — единственным и последним бастионом. Она старалась ради Колена — ради него пробиралась сквозь факелы и толпы слуг, выставляя напоказ свое решительное лицо. Она несла себя с высокомерной гордостью, свойственной женщинам с длинной шеей, что так и просится под ярмо. Она об этом знала и как будто нарочно провоцировала окружающих. Длинный белый стебель, служивший опорой маленькой, лишенной волос

головке, открывал взору нежное горло, в котором медленно пульсировала кровь женщины, более не способной испытывать страх ни перед чем, — интересно, они это понимали? Чуть выше располагался рот, застывший в улыбке. Конечно, еще выше находились: единственный глаз и черная бархатная повязка на месте второго. Каждый мог с точностью сказать, что она скрывает, или — слабое утешение — легко об этом догадаться.

Ее упорно продолжали повсюду приглашать. Этот хрупкий бюст, навевающий сумрачные мысли, эта раздражающе тонкая шея, которую так и хочется… Ну ничего, вот придут французы, они с нее спесь-то посбивают!

Вечер за вечером она погружалась в водоворот наречий и слушала, как ЕСЛИ превращаются в КОГДА, выдавая тайные надежды собеседников. Впрочем, эти лишившиеся короля французы, эти республиканцы — проводники свободы, ей не страшны. Пруссия, другое дело.

В то же время со стороны арматоров и буржуа старой Гильдии, любезно «проинформированных» Эктором, Изабель чуяла опасность, исходившую от Франции. Разумеется, если все разговоры соответствуют действительности. Воровка в бегах, как утверждал Эктор, и лишившаяся со-

стояния аристократка, если прислушаться к намекам, коими изобиловали выспренние речи Шомона. В любом случае по-настоящему Изабель угрожала только Франция, а Торговля продолжала ее приглашать, ждать ее визитов и с затаенным ликованием оказывать ей почести в надежде, что события примут наихудший оборот.

Как-то вечером она услышала у себя за спиной восклицание: батюшки, да это же милейшая маркиза де Мертей! Она обернулась. Ее взгляд столкнулся с взглядом старика с разноцветными глазами, в замешательстве замершего перед ней. У него были длинные руки с пергаментными пальцами и когда-то наверняка очень красивый рот. Благодаря сухости фигуры, затянутой в бледно-голубой фрак, знававший лучшие дни, ему удавалось сохранять некое подобие стати. Белые волосы перехвачены атласным бантом. Он держался очень прямо, сжимая в чуть подрагивающих руках длинную трость черного дерева.

Они посмотрели друг на друга. Рядом раздавался шум голосов, даже не шум, а какое-то стрекотанье, настороженное, как у насекомых. Толкотня вокруг немного улеглась. Изабель весело улыбнулась самой широкой из своих улыбок: счастлива снова видеть вас, господин шевалье, и

проскользнула мимо.

На следующий день она записала в дневнике:

«12 октября 1794 года. Я сейчас же поняла, что любопытство возьмет над ним верх. Он и в самом деле явился. Протянул Хендрике плащ — черный и тяжелый, должно быть, кутался в него, спускаясь из Верхнего города вдоль Моргенштраат. На улице холодно и сыро, как всегда бывает осенью, едва минуют теплые сентябрьские дни. Хендрике пригласила его в малую гостиную, которой мы не пользуемся, потому что ее окна выходят на сухой док, а я терпеть не могу запаха гудрона. Она зажгла огонь: через минутку вам станет лучше, а я пока пойду принесу бульону.

И бегом взлетела по лестнице. Какой-то шевалье, шептала она, теребя манжеты рукавов, странный такой господин, и глаза какие чудные, я таких отродясь не видала. Не противные, нет, просто… Сказал, шевалье… Как-то на «А», что ли, я толком не расслышала.

Вот так-то! Обаяние старого повесы еще действует! Сколько лет ему может сейчас быть? Она спустилась очень скоро; я слышала, как она торопит Элизу, давай-ка, раздуй угли, да поживее, а то вода никак не согреется. Ей казалось, что он зябнет, и она спешила принести ему выпить

чего-нибудь горячего.

Вскоре шум и суматоха улеглись, и я увидела, как она идет из кухни с подносом в руках. Фартук она сняла, а на грудь нацепила коралловую брошь. Кстати сказать, извлекла из буфета наш утрехтский фарфор. Ах, какие почести, господин Джакомо Казанова!

Мы встречались с ним в Милане, еще при жизни маркиза, — я была тогда очень молода. Впрочем, это не мешало мне оценивать мужчин с одного взгляда. На тот момент я различала всего две их разновидности: тех, кому я нравилась из нужных побуждений (моих собственных), и тех, кто предпочитал дурные. Последних я была не прочь обвести вокруг пальца, преподнеся их голову в качестве подарка господину своему супругу, который был мне за этой благодарен. Я не выносила, когда меня принимали за стратегическую ценность. Мужу я говорила: «Не доверяйте им, друг мой, с вами они поведут себя ничуть не более честно, чем со мной», и маркиз, раздуваясь от важности, пытался взглянуть на их проделки моими глазами, в результате чего выигрывал в делах.

Джакомо Казанова был из породы первых. И я относилась к тому сорту женщин, которых он

любил. Нам сказали об этом наши глаза, только глаза. Он был еще старше маркиза, и я решила, что с меня довольно. Тем не менее мы часто болтали, и как-то вечером разговор зашел о соблазнении. Мы говорили в спокойном тоне, так, словно лично нас это совершенно не касалось. Он высказал одну мысль, которую я не смогла забыть, может быть, потому, что он, не отдавая себе в том отчета, произнес свои слова слишком громко. Женщины-соблазнительницы, проронил он, редко бывают достаточно холодны для того, чтобы использовать плоды соблазна до конца, — и я сейчас же поняла, что он имел в виду. Мы, женщины, даже поддаваясь любви, не должны позволять себе играть в игры Амура. Я ощутила краткий миг удовлетворения: несмотря на свои восемнадцать лет, мелькнуло у меня, я всегда это знала и всегда умела сдерживать проявления собственного желания — хотя никогда не отказывала себе в проявлениях получаемого наслаждения.

И вот, спустя десять лет, он сидел напротив меня, не пряча любопытства и легкого удивления, но без намека на отвращение. Что я делаю в Роттердаме в подобном облачении? И он указал рукой на мое лицо.

Еще в Милане я оценила эту сторону его темперамента. Витиеватый, если не изворотливый, с мужчинами, с женщинами он всегда разговаривал с исключительной прямотой. Почему, поинтересовалась я, и его ответ, который можно было бы счесть отговоркой, на самом деле, как я подозреваю, тоже отличался прямотой: «Женщины, мадам, вопреки тому, что принято думать, никогда не боятся голой правды. Что их раздражает, так это неуклюжие пародии. По сравнению с нами вы обладаете тем преимуществом, что откровенность желания не кажется вам дерзновенной. И, напротив, настойчиво изобретать все новые хитрости, чтобы его утаить, представляется вам излишним, — разумеется, если вы не влюблены, мадам».

В нем еще сохранялось лукавство плоти, ямочкой прорезавшее щеку, и мне пришлось приложить больше, чем обычно, усилий, чтобы не утратить перед ним сдержанности. Набравшись нахальства — маркиз стоял неподалеку, так что бояться мне было нечего, — я любезно поинтересовалась, уж не по причине ли этого принципа он не пытается со мной флиртовать? И тут мы оба внезапно замолчали. Его красивый рот изогнулся в почти соблазнительной улыбке.

Полагаю, он относится к тому редкому типу мужчин, которым не нужны слова, чтобы в единый миг понять: я не из тех, кого берут, потому что предпочитаю брать сама.

И вот теперь он сидел передо мной, глядя внимательным, безо всякой злобы, взглядом. Коротко объяснил, что привело его в Роттердам. Он направлялся в Гаагу и Амстердам, попытаться выколотить пару флоринов из книгопродавцев, когда-то издавших его книги. Сделать это следовало до прихода французов, несмотря на освободительную Революцию и юную Республику, как всегда, озабоченных тем, чтобы прибрать к рукам людишек с их добром, и применявших за границей совсем другие законы. К тому же, вы и сами это отлично знаете, война никому не уступит в алчности, особенно если дело касается золота.

Разумеется, я это знала. От поездки во Францию у меня до сих пор не прошел во рту привкус дикости. С той лишь разницей, дорогой мой шевалье, что в нынешние времена убийственными для меня стали идеи. Грабеж идет по-прежнему, правда мухи слетаются не только на сокровища, хранимые в поместьях, но и на безумные желанья свободы и власти, в наши дни нераздельно связан-

ные. Все это мне не нравится, как не нравилось и то, что было раньше.

Джакомо Казанова, не дослушав моей гневной тирады, подался назад, словно отшатнувшись:

— Вы что же, против них?

— Я полагала вас, шевалье, умным человеком.

Он выпрямился. Я и есть умный, моя дорогая, хотя ум — не та вещь, что принесла мне в жизни больше всего пользы, а мои идеи нередко разрушали то, на что позволяла надеяться физическая привлекательность, но нет, я вас не понимаю. Мы с вами оба — жертвы древнего ордена, который торговля телом смогла лишь чуть поколебать. К нашей выгоде, ибо те, кто не смел пользоваться нашими средствами…

— Ах, зачем вы сводите к расчету то, что было в вас природной силой! Вы пользовались женщинами с аппетитом, и ему до ваших амбиций не было никакого дела! Вспомните! Впрочем, что меня в вас и привлекало, так это ваша способность легко забывать о придворных заботах, стоило поблизости промелькнуть юбке!

Раз уж он разрешил мне в кои-то веки говорить с ним откровенно, я собиралась отплатить ему тем же. Дело в том, что он ошибался. Раньше, скажем, вчера, только желание мужчин позво-

ляло двигаться прямо к цели, как на словах, так и в действиях. Что до нашего, то оно всего лишь подталкивало к словам и действиям, хотя порой не заставляло себя ждать. И, если он вспомнит себя, разве он когда-нибудь оценил бы, одобрил, да даже просто допустил вероятность того, что первый шаг будет сделан не им? Так о чем тут говорить?

Он поудобнее устроился в кресле. Выдумщик каких поискать, к тому же всегда гордившийся своими выходками, он, тем не менее, сохранил честность, свойственную юности, еще не успевшей притереться к лживости окружающего мира.

— Я всегда считал, маркиза, что ваша голова устроена ничуть не хуже, чем ваше тело. И даже лучше. Вы никогда не были полновластной хозяйкой последнего, и оно частенько вас подводило. Подводит и сегодня. Несмотря на щит в виде отсутствующего глаза.

Я покраснела. Он склонился к моей руке и взял ее слегка подрагивающими пальцами. Вчера вечером, продолжил он, после вашего ухода, о вас много говорили. Эти нотабли вас ненавидят. Кое-кто пустил слух: дескать, вы ищете союза с низами, полагая, что они придут вам на помощь,

если вы лишитесь поддержки верхов. Они, не скупясь на коварство, рассуждают о ваших способностях вертеть людьми и утверждают, что вы не остановитесь ни перед какими средствами. Из чего я вывожу, что, несмотря на побивший вас град времени, у вас остались кое-какие козыри и вы не разучились играть. В городе шепчутся — и, думаю, дело не обошлось без тайной женской зависти, — что все мужчины — стар и млад, включая увечных, — позволяют вам вить из них веревки. Чтобы обеспечить себе тылы, вы ничем не побрезгуете.

— И это кажется вам удивительным? — Я вырвала у него из рук свои пальцы, которые он ласково поглаживал. Его сухая мятая кожа хранила тепло — словно пережиток прежней гипнотической силы.

— О нет, дорогая, — засмеялся он. — Мне известна власть уродства и увечности. Я много раз ощущал на себе ее гнет. Не уверен, но, возможно, в определенной мере уродство давит даже сильнее, чем красота с ее банальными эффектами. Если уродство или болезнь становятся соблазнительными, значит, за ними кроется что-то еще, дорогая маркиза.

Затем мы перевели беседу на другой сюжет,

пусть более вялый, зато нейтральный, и заговорили о современных идеях.

Когда он ушел, я поняла, что мы просидели несколько часов, даже не заметив, что занялась заря. Хендрике подала нам поздний ужин, споро и умело накрыв на стол. Мы ели при свете двух поставленных в принадлежавшие Минне серебряные подсвечники свечей, оставлявших лица в тени. В рассветных лучах он показался мне помолодевшим — или и вправду помолодел? В язвительности его речи прорывалась былая живость, окрашенная той веселой, почти смешной, галантностью, которой часто объясняется недолговечное обаяние немного женственных мужчин. Ради меня он разливался соловьем, его разноцветные глаза сверкали, а рот вновь обрел тот нежный изгиб, что сгубил столько сердец.

Прощаясь, он сжал мое запястье: благодарю вас, дорогая. Вы очень переменились. Не стану оскорблять вас, отрицая то, что с вами произошло, но ваша власть, несмотря ни на что, лишь возросла — возможно, потому, что вы ощутили свою уязвимость. Ах, какая жалость! Будь мне на тридцать лет меньше, я бы смог кое-что предложить вам нынешней. В вас появился совершенно новый вкус, мадам, как во мне — неожиданные

чувства. Я прекрасно вижу, что вы принадлежите к числу тех, кого любят, даже если раньше, в другом мире, вы, Изабель, разделяли трудную судьбу женщин, притягивающих к себе, но всего лишь на час.

Он бережным жестом взял плащ, который Хендрике собиралась накинуть ему на плечи, и посмотрел на мою взволнованную неотесанную служанку с галантной симпатией. Он не пожелал, чтобы его провожали по скользким улицам, и мы смотрели, как он уходит, размышляя, во всяком случае, я, о том, что в отдельных мужчинах даже недостатки обретают некую форму вечности.

В тот вечер я отправилась спать, махнув рукой на сжигавший меня пожар. Говорят, в доме погорельцев нельзя упоминать огонь, однако, навеянные им воспоминания и мысли о возможном будущем позволили мне погрузиться в адское наслаждение.

Я думала, что не усну, слишком взволнованная тем «открытием», что он мне подарил, сам о том не догадываясь. Разумеется, Хендрике явилась меня будить поздним утром, ворча, нечего, дескать, принимать старых проказников, и встряхивая мои юбки в ногах постели. Я рассмея-

лась ей в лицо. Во мне занималось гораздо больше рассветов...»

Увенчался ли демарш Казановы успехом? В действительности сие неизвестно. В своих «Мемуарах» он об этом не упоминает, равно как и о поездке в Роттердам. Единственным свидетельством остается письмо, адресованное графине де Л., в салоне и, вероятно, в постели которой он бывал в годы правления Людовика XV. В изгнании — сначала в Вене, затем в Лондоне — она старалась сохранять достоинство своего ранга и смертельно скучала, перед всяким, кто соглашался слушать, изливая свою желчь против этих тяжеловесных, как бревна, «готов», накачанных пивом.

«Дражайшая графиня! Я вернулся из Гааги, лишившись последних иллюзий относительно возможности вновь обрести хоть какую-то независимость. Урожай оказался столь скуден, что почти сразу же разошелся, не оставив по себе никаких следов. Лучше бы я употребил свои последние силы на то чтобы нанести визит вам — на большее меня уже не хватит — и немного развлечь вас изложением теории виденных мною вещей и встреченных людей.

Голландия мчится навстречу прелестям буду-

щего завоевателя. Штатгальтер и Пруссия могут сколько угодно вопить, что Франция, поглядывая на Нидерланды, целится захватить всю Европу, чтобы взрастить в ней свою новую правду, именуемую Республикой. Голландцы заранее сдались. Они не станут защищаться — ни от армий, ни от новых идей. Города и населяющий их народ, вопреки усилиям своего князя, остаются спокойными. Все они торговцы в душе. Это известно давно, и, мой бог, я могу это подтвердить: мне гроша лишнего не дали, мало того, тряслись над каждой причитающейся мне монетой, только что не мошенничали. Нет, сильно испуганные люди так себя не ведут!

Разумеется, какая-то часть народа испытывает страх — те, кому нечего предложить, кроме своей доброй воли. Они-то знают: чью бы сторону они ни приняли, всегда будут виноваты уже тем, что живут на свете. Но все прочие спешат заглушить свои тревоги и веселятся напропалую, устраивая одно празднество за другим, разве что не с таким шумом, как прежде. Решительно, эти фламандцы умеют радоваться втихаря и тем счастливы. До их женщин мне более нет никакого дела; от желания осталось одно воспоминание, но я не жалею, что мне нечего им предложить; те, с кем

мне довелось встречаться, были уродливы, и не просто уродливы, а еще и глупы, что совсем уж непростительно.

Все это утомительное путешествие было бы с моей стороны последней глупостью, учитывая мои преклонные года, если бы меня не поджидал самый большой в жизни сюрприз. В Роттердаме. Меня пригласили в дом одного из тех, кого называют «парвеню» — только они еще верят, что мне известна изнанка дипломатии, — если я правильно понял, это был городской бургомистр. Никакой пользы для себя я не извлек, только пришел в дурное расположение духа и уже намеревался, сославшись на усталость, удалиться, когда вдруг на горизонте, словно высокобортный фрегат, возникла — угадайте кто? — маркиза де Мертей. Вы, как и я, слышали и о ее разорении, и о ее бегстве. Теперь она забилась в нору в городе, давшем ей рождение (то, о чем мы с вами не знали), имея на лице все основания к тому, чтобы зарыться как можно глубже в землю, а в сердце, вернее, в душе — ровно столько же, чтобы не сдаваться.

Оспа стерла с ее лица красоту и то выражение холодной дерзости, которое вам так хорошо знакомо, ибо вы от нее пострадали. Ведь это из-за нее виконт Гибер нанес вам оскорбление, не так ли?

Ей же вся эта история только добавила блеску и огня. Теперь у нее остался всего один глаз, но он пылает по-прежнему. Во времена яростной нежности, заставлявшей маркиза тянуться к ней, ее взгляд хранил загадочность. Сегодня в нем не осталось тайн — только сила и высокомерие. Нежность улетучилась — вместе с персиковым цветом щек. Остался лишь голос с его неподражаемым тембром. Ах, этот голос, сударыня! В полумраке ее маленькой гостиной — вы ведь понимаете, что я туда заявился, предварительно собрав о ней всевозможные слухи и убедившись, что ее в равной мере любят и ненавидят. И эта смесь ей весьма идет. Впрочем, о чем бишь я? Так вот, в ее будуаре, за плотно закрытыми ставнями, в сумрачном свете свечей, умело ею расположенных, ее тело, почти не пострадавшее от болезни, сохраняло всю свою власть, а ее голос делал эту власть еще могущественней. Отныне она не скрывает своей силы, пряча только свои слабости.

Служанки окружают ее трогательной заботой. Мужчины не спускают с нее выжидательных глаз, по первому знаку готовые преодолеть прибой легкой гадливости, являющейся ценой известных побед.

Мы побеседовали. Мне не составило труда

провести с ней долгие часы позднего ужина, во время которого мы, моя дорогая, перекроили карту мира. Здесь, вернее сказать, там ждут, что Франция через французов-оккупантов схватит ее и приговорит. Забавно, но я думаю, что они заблуждаются. Она уедет куда-нибудь далеко. Создаст заново свой собственный мир, к несчастью энного любовника, — а может быть, к его полнейшему счастью. Дело не в том, мадам, что она переменилась; дело в том, что она перестала таиться: ни богатство, ни знатность, ни власть ее более не занимают. Она первая женщина в эти неспокойные времена, которая желает БЫТЬ, не вымаливая ни у кого разрешения на право существования. Я ей завидую. Да, дорогая моя, я подыхаю от зависти к ней. Разумеется, это только слова, я умираю от одной мысли о том, что мне осталось лишь несколько лет жизни, но вместе с тем их ведь еще можно провести в мечтах о том, во что превратится этот мир, когда любовь перестанет служить пропуском привилегированных особ.

Впрочем, я вам, должно быть, наскучил, графиня. У вас и без меня хватает забот…»

Оставшаяся часть письма посвящена довольно-таки злобному заигрыванию с туповатой

графиней де Л. Сразу же чувствуется, что в другом месте и в другое время — например, в наше, когда бедность остается пороком, при желании побеждаемом не только с помощью сексуальных уловок, — Казанова с радостью отдался бы своей склонности подружиться с Изабель.

Но это всего лишь догадки. Тем не менее, если кто-то решит, что Изабель извлекла из этой встречи зерно уверенности в завтрашнем дне, подобная догадка была бы не вовсе лишена смысла. Порой самые поверхностные люди ухитряются ткнуть пальцем в небо и попасть в самую точку, указав путь другим.

В конце концов Казанова кое-что сделал для Изабель, и сделал это вовремя, ибо Пишегрю стоял уже у городских ворот.

Примечания

Шодерло де Лакло. «Опасные связи»

«Опасные связи» Шодерло де Лакло выдержали множество изданий в оригинале. Укажем из них следующие:

1. Первое издание 1782 года в четырех томах без иллюстраций.

2. Издание 1796 года, так называемое «лондонское» (хотя, вероятно, оно печаталось во Франции), с гравюрами.

3. Издание 1820 года с иллюстрациями Деверия.

4. Два роскошных издания 1908 года. Одно — с цветными литографиями Любена де Бове, другое — с офортами Ван Меле.

5. Издание 1913 года «Bibliotheque des curieux» под общей редакцией Гийома Аполлинера.

В России «Опасные связи» переводились и издавались трижды.

1. Вредные знакомства, или Письма, собранные одним обществом для предостережения других, ч. 1–4, в Театральной типографии. СПб. 1804–1805.

Без указания автора и переводчика.

2. Шодерло де Лакло. Опасные связи. Перевод

Н.Д. Эфрос с введением А. Эфроса, «Academia». М. — Л., 1933.

С вкладными иллюстрациями.

3. Шодерло де Лакло. Опасные связи. Перевод с французского, статья и примечания Н.Я. Рыковой, «Наука». М. — Л., 1965 (серия «Литературные памятники»).

Настоящий перевод сделан по изданию «Bibliotheque des curieux» (1913), в основу которого положен текст первого издания 1782 года.

Письмо 1

In fiocchi (ит.) — в парадном туалете.

Пансионерка. — При отсутствии светской школы для детей дворян сыновья их обычно получали образование в иезуитских коллежах или же дома, тогда как дочери отдавались на воспитание и обучение в женские монастыри, где и находились в течение ряда лет на полном содержании (на средства родителей — откуда и термин «пансион»). Это не налагало никаких монашеских обязанностей; однако девушке из дворянской семьи, которую из-за отсутствия приданого или по каким-либо порочащим причинам родные не могли или не хотели выдать замуж (и которая тем самым лишалась средств к существованию), обычно не оставалось иного выхода, как постри-

жение в монахини, нередко в том же монастыре, где она и воспитывалась.

Письмо 4

Президент, президентша. — Госпожа де Турвель является женой председателя одной из палат какого-либо из провинциальных парламентов, то есть одного из высших судебно-административных органов дореволюционной Франции. Благодаря системе покупки должностей, ставшей наследственной привилегией, члены парламентов (советники палат, президенты и т. п.) превращались в замкнутую касту — «дворянство мантии». По образованности и политическому влиянию они подчас стояли выше родовой аристократии или военно-служилой знати («дворянства шпаги»). Но по своим более строгим нравам были патриархальнее, отличаясь и по хозяйственному укладу. Вопросы нравственности и, в частности, религиозное благочестие, волновавшие французское общество с середины XVII века (Паскаль, Расин), имели своей питательной средой именно эти круги.

Письмо 10

«Софа» — эротико-сатирический роман французского писателя Кребийона Младшего (1707–1777).

Элоиза. — Имеется в виду знаменитый роман в письмах Ж.-Ж. Руссо «Новая Элоиза». Повествуя в нем о любви плебея Сен-Пре и дворянки Юлии, Руссо восстает против преград, которые ставятся чувству общественными условностями и предрассудками, но признает, однако, преграды, которые воздвигает сознание нравственного долга.

Письмо 39

…на Корсике. — В 1735 году Корсика отделилась от Генуэзской республики; для подавления корсиканского освободительного движения Генуя призвала в 1738 году на помощь Францию. Но и последней в течение тридцати лет не удавалось добиться успеха, пока наконец, купив остров у Генуи за два миллиона франков (в 1768 г.), Франция не разбила вождя корсиканцев Паоли в 1769 году. Однако для усмирения военные силы привлекались и впоследствии.

Письмо 44

Пирон. «Метромания». — Алексис Пирон (1689–1773) — французский поэт, автор эротических стихотворений, а также комедий и либретто для комических опер. «Метромания» — стихотворная комедия, высмеивающая дилетантов-рифмоплетов, — считается лучшим его произведением.

Цитируемая здесь строка взята из IX сцены II действия.

Стойкость Сципиона. — Имеется в виду эпизод из жизни Публия Корнелия Сципиона Эмилиана Африканского (ок. 235–185 гг. до н. э.): вместо того чтобы сделать пленную испанскую девушку своей наложницей, он возвратил ее жениху.

Письмо 51

Селадон — герой романа Оноре д'Юрфе «Астрея» (1619). Имя это сделалось прозвищем всякого томного любовника.

Письмо 58

Примечание Шодерло де Лакло — прием, посредством которого автор старается придать максимальное правдоподобие своей роли «редактора» какого-то собрания якобы подлинных писем. Виконт де Вальмон действительно «неточен» в ссылке на Руссо: здесь имеется в виду то место из I главы «Эмиля», где рекомендуется бороться с иррациональным страхом у ребенка путем приучения его к вещам и явлениям, вызывающим этот страх.

Письмо 59

...в облигатном речитативе... — Облигатным называется речитатив, сопровождаемый и прерываемый оркестром и потому накладывающий

и на певцов, и на оркестр определенные взаимные обязательства.

Письмо 63

…подобно… афинскому архитектору… — В «Наставлении государственным деятелям» Плутарха приводится анекдот о двух афинских архитекторах, один из которых пространно описывал, какие замечательные строения он возведет, а другой произнес только слова, процитированные в данном письме.

Грессе, комедия «Злюка». — Жан-Батист Грессё — французский поэт и драматург (1709–1777). Лучшее его произведение — комическая поэма «Vert-Vert» (о попугае, живущем в женском монастыре, любимце всех монахинь). Грессе был посредственным драматургом; но комедия «Злюка» («Le Mechant», 1747) в свое время пользовалась успехом. Стих, приведенный в данном письме, взят из I сцены II действия.

Магдалина — блудница из евангельской легенды, обращенная Христом на путь добродетели. В искусстве эпохи Ренессанса и более позднего времени «кающаяся Магдалина» — один из частых сюжетов.

Письмо 70

…пословицу вы знаете. — Имеется в виду рас-

пространенная пословица a bon entendeur salut, по смыслу аналогичная русской — «имеющий уши да слышит».

Письмо 71

Расин, трагедия «Британии». — «Британии» — трагедия на сюжет из истории Древнего Рима; написана была в 1669 году. Здесь цитата из II сцены II действия.

Письмо 81

Тиранов свергнутых, что делались рабами. — По всей вероятности, автор данных стихов — сам Шодерло де Лакло. «Плохими» он, проявляя авторскую скромность, объявляет их за банальность мысли и ее поэтического выражения.

…история Самсона. — Намек на библейскую легенду об одном из «судей израильских» (племенных вождей), богатыре Самсоне. Самсон держал в тайне от всех, что магическим источником его силы и мощи были его длинные волосы. Однако любовнице Самсона, Далиле, женщине из враждебного евреям племени филистимлян, удалось выведать у него эту тайну, и, когда он уснул, она остригла ему волосы, после чего филистимляне захватили его в плен и ослепили.

Письмо 85

Ландскнехт — карточная игра, распространен-

ная в конце XVIII века.

Вы плачете, Заира? — Заира — героиня одноименной трагедии Вольтера (1732). Здесь имеется в виду II сцена IV действия.

Оросман — султан, влюбленный в Заиру.

Вот, однако, и все! — из «Нравоучительных историй» Мармонтеля («Аннетта и Любен»). Но Шодерло де Лакло допустил ошибку: слова эти на самом деле говорит не пастушка Аннетта, а ее возлюбленный пастушок Любен.

Письмо 99

…подобно копью Ахилла… — Ахилл — один из героев древнегреческого эпоса, сын царя Пелея и морской богини Фетиды. Согласно мифу об Ахилле, копье его обладало свойством исцелять нанесенные им раны.

Я справедлив, а не любезник льстивый — реплика одного из персонажей «Нанины», графа д'Ольбана, в VII сцене I действия.

Письмо 104

Мы живем не во времена госпожи де Севинье. — Маркиза де Севинье (1626–1696) прославилась своими письмами к дочери. Стиль этих писем, изящный и в то же время простой и непосредственный, остроумие, меткость в оценке людей и обстоятельств эпохи, искусство, с которым об-

рисована в них жизнь «двора и города», сделали их одним из классических произведений французской литературы. Данная фраза из письма госпожи де Мертей объясняется обилием в письмах маркизы де Севинье практических советов и сведений, характеризующих быт французской знати XVII столетия, и намекает на контраст между современной Шодерло де Лакло роскошью и относительной простотой жизни высших классов в минувшем веке.

Письмо 107

«Христианские мысли». — В XVIII веке под этим названием неоднократно издавались сборники отрывков из произведений духовных писателей, Отцов Церкви», известных проповедников. Здесь имеется в виду сборник, изданный аббатом Форе, единственное из подобных изданий, вышедшее в двух частях.

«Кларисса» — роман английского писателя Самюэля Ричардсона (1689–1761) «Кларисса Гарлоу» (1747»1748), в котором изображена горестная судьба молодой девушки из буржуазной семьи, соблазненной аристократом Ловеласом и гибнущей по его вине.

…слушала у Фельянов обедню — то есть в парижском монастыре, получившем название от

аббатства Фельянов в Лангедоке, которое являлось ответвлением сурового бенедиктинского братства. Во время французской революции, когда орден был ликвидирован, в помещении монастыря возник один из революционных клубов, так и называвшийся «Клуб Фельянов».

Письмо 110

Сен-Пре — герой «Новой Элоизы» Руссо.

Реньяр, «Любовное безумие». — Жанрансуа Реньяр (1656–1709) — знаменитый французский комедиограф. Уступая Мольеру, своему великому предшественнику, в глубине, Реньяр все же отличался многими качествами, благодаря которым театр его не может считаться устаревшим (живость и остроумие диалога, меткость характеристик, сценичность положений). «Любовное безумие» («Les folies amoureuses») — одна из наиболее веселых его комедий фарсового типа. Приводимое в тексте Лакло выражение находится в XII сцене II действия.

Письмо 113

«Всего не предусмотришь!» — комическая опера Монсиньи (1729–1817); либретто Седена (1719–1797). Слова, приведенные в тексте письма, не точная цитата, а изложение мысли по памяти.

Письмо 125

Тюренн — виконт Анри де ла Тур д'Овернь Тюренн (1611–1675), французский полководец, участник Фронды (гражданских войн между крупной феодальной аристократией и королевской властью) и нидерландских походов Людовика XIV.

Фридрих — Фридрих II, король прусский (1740–1786), считавшийся выдающимся полководцем. Во время так называемой Семилетней войны, когда против Пруссии образовалась коалиция из Австрии, Франции и России, ему удалось добиться значительных военных успехов — главным образом вследствие того, что коалиция действовала несогласованно. Однако русские войска нанесли Фридриху II жестокие поражения и в 1759 году заняли Берлин.

…Ганнибал среди утех Капуи. — Ганнибал (247–189 гг. до н. э.) — знаменитый карфагенский полководец, действовавший против Рима во время так называемой Второй Пунической войны (между Римом и Карфагеном). Ганнибал одержал над римлянами блестящие победы, его войска вторглись в 218 году до н. э. в Италию и захватили Капую, где Ганнибал долгое время оставался в бездействии, но отнюдь не потому, что предавался «капуанским утехам», а из-за отсутствия

помощи из Карфагена.

Письмо 133

Дю Беллуа, трагедия «Осада Кале». — Дю Беллуа (настоящее имя — Пьер-Лоран Бюпрет, 1727–1775), французский драматург и актер, несколько лет проживший в Петербурге, где он пользовался покровительством императрицы Елизаветы, автор трагедий «Тит», «Зельмира», «Гастон и Баярд», «Осада Кале». Последняя считается лучшим его произведением. Граф д'Аркур — один из персонажей трагедии, лицо историческое (род. в 1356 г.); изгнанный из Франции королем Филиппом VI, он сражался на стороне англичан против своей родины, затем получил прощение и возвратился, но снова изменил королю и опять оказался на чужбине. Приведенные здесь слова д'Аркура — из XII сцены II действия.

Письмо 145

Лесаж — Ален Рене Лесаж (1668–1747), французский драматург и романист-сатирик. Как автор «Хромого беса» и в особенности «Жиль Блаза» Лесаж — один из основоположников критического реализма во французском романе. Острой сатиричностью отличается его комедия «Тюркаре». В данном письме имеется в виду не какое-то определенное высказывание Лесажа, а размыш-

ления Жиль Блаза после крушения его карьеры и окончательного его ухода в частную жизнь (последние три части одноименного романа).

Письмо 146

Алкивиад — политический и военный деятель Афин конца V в. до н. э., принадлежавший к демократической партии и несколько раз возглавлявший афинские вооруженные силы в войне со Спартой. Имея в Афинах много врагов, всячески вредивших ему своими происками, Алкивиад не раз в отсутствие свое подвергался осуждению и изгнанию. В молодости он был другом и учеником Сократа.

Мармонтель — Жанрансуа Мармонтель (1723–1799), французский писатель, прогрессивный мыслитель, автор трагедий, романов и нескольких сборников новелл «Нравоучительные истории», к числу которых относится и упомянутая в данном письме повесть об Алкивиаде («Alcibiade ou de moi»). Сюжет повести — любовные похождения юного Алкивиада, который добивается бескорыстной любви «ради себя самого». Беспрестанно разочаровываясь в женщинах, Алкивиад в конце концов приходит к Сократу за советом. Шодерло де Лакло и на этот раз цитирует Мармонтеля не совсем точно, но общий смысл фразы,

сказанной Сократом, сохранен.

Письмо 152

Менехмы — персонажи комедии греческого драматурга Менандра (IV в. дон. э.) под тем же названием и ее римской переделки (Плавт, Ив. до н. э.); комическая интрига основана в «Менехмах» на путанице, возникающей из-за сходства двух близнецов. Существует также одноименная комедия Реньяра (1703).

Н. Рыкова